

18+

ДЖЕЙМС БАЛЛАРД

Ballard

империя солнца

доброта женщин

FANZON

Империя Солнца. Доброта женщин

Джеймс Грэм Баллард

Аннотация
Джеймс Баллард. Империя Солнца. Доброта женщин
Империя Солнца
Предисловие к «Империи Солнца». Джон Ланчестер
Джеймс Баллард. Империя Солнца
Часть I
1. Канун Перл-Харбора
2. Нищие и акробаты
3. Заброшенный аэродром
4. Нападение на «Буревестник»
5. Бегство из госпиталя
6. Парень с ножом
7. Высохший бассейн
8. Затянувшийся пикник
9. Мир без добрых людей
10. Сухогруз на отмели
11. Фрэнк и Бейси
12. Танцевальная музыка
13. Летний кинотеатр

14. Американские самолеты
15. По дороге в лагерь
16. Глоток воды
17. Пейзаж с аэродромами
18. Бродяги
19. Взлетно-посадочная полоса
Часть II
20. Лагерь Лунхуа
21. Угол
22. Школа жизни
23. Воздушный налет
24. Больничка
25. Кладбищенский огород
26. Ветераны Лунхуа
27. Казнь
28. Исход
29. Поход на Наньдао
30. Олимпийский стадион
31. Империя Солнца
Часть III
32. Евроазиат
33. Летчик-камикадзе
34. Летающий холодильник
35. Лейтенант Прайс
36. Мухи
37. Забронировать комнату

38. Дорога на Шанхай
39. Бандиты
40. Упавший летчик
41. Операция по спасению
Часть IV
42. Страшный город
Конец моей войны. Джеймс Баллард
Доброта женщин
Предисловие к «Доброте женщин». Мишель Фейбер
Часть I. Сезон убийц
1. Кровавая суббота
2. Неудавшийся побег
3. Японские солдаты
Часть II. Безумные годы
4. Королева ночи
5. Ребята из НАТО
6. Волшебный мир
7. Остров
8. Доброта женщин
9. Чокнутые
10. Царство света
11. Выставка
12. Под объективом камеры
13. Станция скорой помощи
Часть III. После войны

14. При свете дня
15. Последний выпуск
16. Невероятный дворец
17. Выкуп за мечту
Баллардовский подход. Уилл Селф
Худшее из времен. Джеймс Баллард, Дэнни Дензигер

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Ребенком он пережил войну и превратил воспоминания о боли в повести, которые невозможно забыть. В одной книге – покрытый пеплом Шанхай и ужасы концлагеря, в другой – послевоенный взрывоопасный мир, охваченный культурной революцией шестидесятых. Два романа, один автор, одна история взросления человека и целого века.

«Империя Солнца» начинает историю Джима. Чтобы выжить, ему предстоит найти в себе силы противостоять всему, что его окружает.

Шанхай, 1941 год. Город, захваченный армией Японской империи. На улицах, полных хаоса и трупов, молодой британский мальчик тщетно ищет своих родителей и просто ста-

рается выжить. Позднее, уже в концлагере, он становится метафорическим свидетелем яростной белой вспышки в Нагасаки, когда бомба возвещает о конце войны… и рассвете нового загубленного мира.

В 1987 году роман был экранизирован Стивеном Спилбергом. Фильм удостоился шести номинаций на премию «Оскар» и получила три премии BAFTA. Главные роли играли 13-летний Кристиан Бейл и Джон Малкович.

«Доброта женщин» продолжает историю Джима. Он возвращается в послевоенную Англию и взрослеет.

Джим изо всех сил старается забыть свое прошлое и обрести внутреннюю стабильность. Он поступает на медицинский факультет одного из колледжей в Кембридже. Позже, под влиянием детских воспоминаний о камикадзе, бомбардировках Шанхая и Нагасаки, учится на пилота Королевских ВВС – чтобы участвовать в грядущей атомной Третьей мировой войне. Но стабильность оказывается иллюзией. Джим погружается в водоворот шестидесятых, становясь активным участником культурной и общественной революции, и пытается разобраться в происходящих на

Западе потрясениях.

Обращаясь к событиям собственной жизни, Баллард создает откровенную, поразительную и, в самых интимных эпизодах, эмоциональную фантастику.

«Уходящий вглубь тревожного военного опыта автора, этот роман – один из немногих, по которому будут судить о двадцатом веке». – The New York Times

«Глубокое и трогательное творчество». – Los Angeles Times Book Review

«Блестящий сплав истории, автобиографии и вымысла. Невероятное литературное достижение и почти невыносимо трогательный роман». – Энтони Берджесс

«Один из величайших военных романов двадцатого века». – Уильям Бойд

«Романы обжигающей силы, пронизанные честностью и особой искренностью – вершина художественной литературы». – Observer

«Грубая и нежная в своей красоте и мрачная в своей веселости книга. Еще один крепкий камень в фундаменте великолепной творческой карьеры». – San Francisco Chronicle

«Продолжение автобиографической эпопеи Балларда рассказывает о последующих

событиях его жизни, предлагая читателю непосредственность и пронзительную честность». – Publishers Weekly

«Этот прекрасно написанный роман с пронзительными актуальными высказываниями и неизменной мудростью должен понравиться широкому кругу читателей». – Library Journal

«Это необыкновенный, завораживающий, гипнотически убедительный рассказ о жизни мальчика. Война, голод и выживание, лагерь для интернированных и постоянное неумолимое ощущение смерти. В нем пронзительная честность сочетается с почти галлюцинаторным видением мира, полностью оторванным от действительности». – Кинопоиск

«Баллард предстает холодным фиксатором психопатологии и деградации как отдельных людей, так и человеческой цивилизации в целом». – Фантлаб

Лауреат премии Гардиан и Мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка.

Номинант Букеровской премии и премии Британской Ассоциации Научной Фантастики.

Джеймс Баллард
Империя Солнца. Доброта женщин

J. G. Ballard
EMPIRE OF THE SUN
Copyright © J. G. Ballard 1984
THE KINDNESS OF WOMEN
Copyright © J. G. Ballard 1991

Перевод с английского *Вадима Михайлина* («Империя Солнца»), *Галины Соловьевой* («Доброта женщин»)

© В. Михайлин, перевод на русский язык, 2025
© Г. Соловьева, перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Империя Солнца

Предисловие к «Империи Солнца»
Джон Ланчестер

Выход «Империи Солнца» в 1984 году произвел огромный эффект. Он был двойственным: с одной стороны, публикация книги повлияла на репутацию ее автора. В том году Дж. Г. Балларду исполнилось пятьдесят четыре, он уже издал девять романов и больше дюжины сборников рассказов. Уже имел реноме писателя, которым восхищаются, у которого есть поклонники. Это подразумевало определенный круг восторженных читателей — впрочем, не слишком широкий. Балларда знали как писателя научной фантастики. Излишне многозначное понятие, которое, возможно, отвращает больше людей, нежели привлекает. Когда позже, в 1987 году, я беседовал с Баллардом у него дома, в Шеппертоне, готовясь писать статью о романе *The Day of Creation*, он специально попросил меня не называть новую книгу «научной фантастикой». Это была бы слишком узкая формулировка, ограничивающая представление читателей. Даже те из нас, кто восхищался этой книгой, понимали, почему она

не снискала широкой популярности. Текст живой, образы ясные — но тем сильнее бросается в глаза странность миров, описанных Баллардом. Большинству обывателей его никогда не понять — но мы, истинные поклонники, любили его за это еще больше.

И вот вышла «Империя Солнца». Вместо ожидаемых фантастических картин, чуждых и таинственных, читатель получил весьма реалистичную, во многом автобиографическую историю жизни подростка в Шанхае во время войны. Новая книга, казалось, объясняла, увязывала в определенный контекст предыдущие. Она сразу же снискала популярность, и не только из-за достоинств сюжета: широкой публике вдруг стало в принципе понятно творчество Балларда. Во всех его книгах так или иначе присутствовала атмосфера покинутости: высохшие бассейны, разбитые самолеты, разрушенные, опустевшие дома. Объекты, созданные людьми и для людей, но служащие совсем иным целям, которые и представить-то трудно — либо отданные на откуп природе. И теперь стало ясно, где исток этих образов: в Шанхае.

Баллард родился в Шанхае в 1930 году и провел там первые шестнадцать лет жизни. В пред-

военные годы Шанхай претендовал на звание самого интересного — и диковинного — города в мире. Бóльшую часть Китая уже контролировали японцы, вторгшиеся туда в 1937 году. Зверства, которые они творили на захваченных территориях, стали одними из самых ужасных в двадцатом веке. Особенно страшный эпизод стал впоследствии известен как Нанкинская Резня. Но Шанхай частично оставался в стороне от хаоса войны. Часть города занимал Международный сеттльмент[1] — территория, которую китайцы вынуждены были отдать в соответствии с договором, положившим конец опиумным войнам девятнадцатого века. В Международном сеттльменте не действовали китайские законы и правила, однако там проживало более миллиона китайцев. Когда пришли японцы, их армия остановилась на границе сеттльмента: перейти ее означало бы объявить войну союзному правительству. Японцы предпочли дождаться атаки на Перл-Харбор и только потом нанесли удар. О том, что случилось дальше, и повествует «Империя Солнца» — очень личная, хоть и частично вымышленная история переживаний самого

[1] Примечания: 1

Территория Шанхая, находившаяся под международным управлением с 1842 по 1943 год. — *Здесь и далее прим. редактора.*

автора, гармонично и точно вписанная в исторический контекст.

Темы, которые Баллард косвенно затрагивал и в других работах, в «Империи Солнца» выходят на первый план. В каждом его романе сквозит ощущение, что реальный мир вокруг нас — не более чем театральные подмостки. Хлипкая, временная декорация, которая может исчезнуть, внезапно и навсегда. Причем речь идет вовсе не о возвышенной концепции «реальность — это иллюзия» в буддистском или юмовском понимании. Нет, посыл, который несет Баллард, гораздо мрачнее. В его романах любая, сколь угодно надежная реальность может разлететься вдребезги и собраться заново, в совершенно ином виде. В «Империи Солнца» это начинается уже на первой странице. «По ночам на стене его спальни на Амхерст-авеню, казалось, мерцали неровным светом одни и те же немые фильмы и превращали его спящий мозг в безлюдный кинозал, где показывают хронику». А когда война действительно докатывается до Шанхая, Баллард очень ярко показывает этот переход из старой жизни в новую: афиша «Унесенных ветром» с кадром пылающей Атланты на фоне настоящего пожара, уже бушующего в Шанхае. «Плотники-китайцы

снимали фанерные щиты с написанным на них дымом пожарищ, который вздымался высоко — казалось, в самое шанхайское поднебесье — и был едва отличим от настоящего дыма, все еще висевшего над многоэтажками Старого города, где нерегулярные гоминьдановские части пытались было остановить японское наступление». Этот образ города, охваченного огнем, становится реальностью. На протяжении следующих трехсот страниц реальность останется зыбкой, и жизнь Джима все время будет в опасности.

В этом мире, как и в других, созданных Баллардом, много образов, балансирующих на грани символизма. Юного Джима завораживает все, что связано с авиацией, особенно военной. Он знает очень много о реальных военных самолетах, как союзнических, так и японских. Разбираться в самолетах, как с горечью видит читатель, Джим начинает не от хорошей жизни, но в то же время и они, и их пилоты становятся символом свободы, пути на волю, прочь от Шанхая и ужасов войны. Эта тенденция прослеживается во всех книгах Балларда: некая часть реальности является одновременно и фантастическим элементом. В «Затонувшем мире» это подводный город, в «Высотке» — многоэтажный дом, в *The*

Day of Creation — река. В каждой работе Балларда чувствуется огромное психологическое напряжение, угадывается воздействие неких сильных эмоций на все основные образы. И только теперь мы, читатели, вроде бы уяснили, откуда взялись все эти эмоции.

И сам настрой баллардовских книг тоже, казалось, стало проще понять. Всем его работам свойственна общая характерная черта: яркие, мощные образы выписываются нарочито безэмоционально. Его рассказчики — слово «герои» здесь не вполне уместно — видят вокруг себя что-то невероятное, немыслимое, но внешне остаются бесстрастными. Актеры, когда разыгрывают комедию, придерживаются железного правила: сохранять серьезность. Зритель должен поверить: они и не подозревают, что происходит что-то смешное. Так и персонажи Балларда, сталкиваясь с ужасами, никогда не показывают страха. Их невозмутимость в числе прочего и наделяет его книги такой мощью, пронизывает такой тревогой. Корни этой невозмутимости, этой особенной, поразительной скудости эмоций опять-таки следует искать в Шанхае. И, судя по всему, вызвана она детскими впечатлениями от таких картин, которые маленький ребенок

в принципе видеть не должен. Чего стоит одна только флотилия гробов, проплывающая каждую ночь по Янцзы в окружении бумажных цветов. «Джиму не нравилась эта мертвецкая регата. В занимающемся свете утра завитки бумажных цветов были похожи на внутренности, разметанные вокруг жертв взрыва на Нанкинском проспекте, когда террорист бросил бомбу». В одиннадцать лет ничего этого не должно быть у человека в голове: ни гробов, ни террористов, ни разорванных внутренностей. А в романе Балларда таких картин полным-полно. «Приглядевшись к перчатке повнимательней, Джим понял, что это кожа с руки корабельного старшины, обгоревшая и целиком отставшая от мяса во время пожара в машинном отделении».

К этому ужасу примешивается чувство покинутости. Джим живет в мире, где больше нет ни безопасности, ни любви, ни авторитета старших — короче говоря, в мире без родителей. Сам Баллард отправился в лагерь для интернированных вместе с отцом и матерью. Так уж вышло, что в том же лагере оказался мой крестный, Билл Стюарт, и он был очень категоричен на этот счет. «Я хорошо знал Джеймса Балларда, — говорил он, имея в виду отца писателя, — у них все было

не так». Но важно другое — как это ощущалось. В подобных лагерях родители ничем не могли помочь своим детям. Их жизнь и смерть зависела от одних только японцев. Дети это тоже понимали. В «Империи Солнца» Джим остался без родителей, потому что в реальной жизни было не важно, рядом они или нет — человек все равно чувствовал себя покинутым, одиноким. «На душе у него стало вдруг необычайно легко, не оттого, что родители от него отказались, а оттого, что он заранее знал, что так и будет, и теперь ему было на это плевать».

* * *

В «Империи Солнца» все это собрано воедино: реальность как театральная декорация, мощные образы на грани символизма, ужасные картины войны и странное равнодушие к ним. Отношение к Балларду изменилось буквально на следующий день после выхода книги. Поклонники всегда четко ощущали в его текстах творчески переработанную правду, но лишь теперь мы как следует поняли, откуда она родом.

Но важной эту книгу делает не только ее влияние на репутацию автора. «Империя Солнца» считается одним из лучших английских романов

о Второй мировой. Это драматическое повествование о войне, о ее колоссальном географическом размахе, о ее историческом значении для всего мира. Ужасающее спокойствие, с которым Джим глядит на смерть, еще страшнее оттого, что это очень показательная реакция. Джим — дитя войны и привык к подобным картинам. Это страшно, но в таких обстоятельствах естественно. В войне двадцатого века, впервые за всю историю человечества, типичный воин — вовсе не воин, а обычный мирный человек. Эта-то горькая правда и отражена в истории Джима.

Отражено там и многое другое, и ярче всего — ощущение полнейшего хаоса войны. Ее ход обычно описывают через сражения, через крупные и мелкие конфликты. Рассказывают о линиях фронта, арьергардных боях, атаках и отступлениях. Но для людей, особенно гражданских, которым просто приходится переживать войну, она представляет собой именно хаос — бесформенный, изменчивый, непредсказуемый. Маленький Джим каждую секунду может расстаться с жизнью, он усвоил это так хорошо, что уже успел смириться. В Шанхае и его окрестностях нет больше ни власти, ни закона, а есть только смерть. И таких мест в двадцатом веке

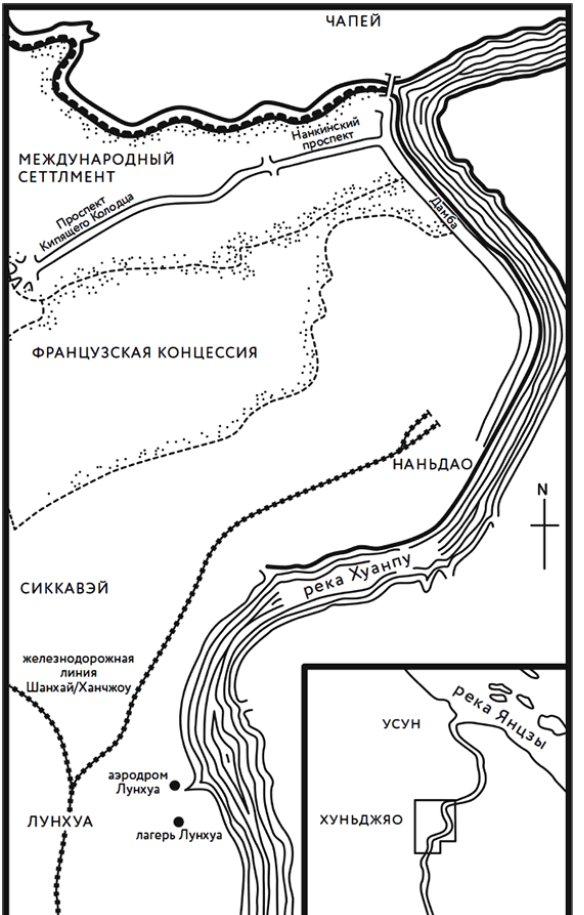
было множество. Мои дедушка и бабушка были в Гонконге, когда его захватили японцы (отца они успели отправить в Австралию). Иногда бабушка рассказывала о тех временах и о жизни сразу после войны — ее рассказы вызывали гнетущее чувство хаоса и анархии. Есть только одна книга, в которой я ощутил тот же самый дух, — «Империя Солнца».

Но роман раскрывает и иную правду. Это история не только о Джиме, о лагере для интернированных, о Шанхае и скрытых реалиях гражданской войны. Это также и история о будущем. Один из самых пронзительных эпизодов — когда Джим видит, какой бедлам творится в Шанхае, потому что война кончилась, и боится, что начнется новая, Третья мировая: «В том, что Вторая мировая война закончилась, сомнений у него больше не было, но началась ли между тем Третья мировая война?» И больнее всего сознавать, что Джим не так уж и не прав. Да, во второй половине двадцатого века человечество избежало новой мировой войны — и все же войны постоянно вспыхивают по всему миру. В «Империи Солнца» мир летит в тартарары и уже никогда не будет прежним. Джим понимает это, а вместе с ним и читатель. В романе мы

видим конец Британской империи и зарождающийся Азиатский век. Век китайский, в котором мы только начинаем жить. «Война изменила китайцев — и деревенские, и бродяги-кули, и разбредшиеся кто куда солдаты из марионеточных армий смотрели на европейцев с выражением, которого Джим до войны в принципе за китайцами не замечал: как будто европейцы просто перестали существовать на свете». «Империя Солнца» — роман, в котором глазами маленького узника японского лагеря мы видим, как история кардинально меняет свой ход, резко поворачивает совсем в другую сторону.

Лондон, 2014 год

Джеймс Баллард
Империя Солнца


ЧАПЕЙ
Нанкинский проспект
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТТЛМЕНТ
Проспект Кипящего Колодца
Дамба
ФРАНЦУЗСКАЯ КОНЦЕССИЯ
НАНЬДАО
N
река Хуанпу
СИККАВЭЙ
железнодорожная линия Шанхай/Ханчжоу
аэродром Лунхуа
ЛУНХУА
лагерь Лунхуа
УСУН
река Янцзы
ХУНЬДЖЯО

«Империя Солнца» основана на моем собственном опыте, пережитом во время Второй мировой войны в Шанхае и в Концентрационном лагере для гражданских лиц Лунхуа, где я был интернирован в 1942–1945 годах. Роман по большей части основан на событиях, свидетелем которых я стал во время японской оккупации Шанхая и в лагере Лунхуа.

Японцы атаковали Перл-Харбор воскресным утром 7 декабря 1941 года, но из-за разницы во временны́х тихоокеанских поясах в Шанхае в это время уже наступило утро понедельника, 8 декабря.

Джеймс Баллард

Часть I
1
Канун Перл-Харбора

Войны одна за другой быстро докатывались до Шанхая, наступая друг другу на пятки, как волны прилива, которые стремительно шли вверх по Янцзы и возвращали в многоцветный город гробы, отправленные в дрейф с похоронных пирсов Китайской Дамбы — все до единого.

Джиму начали сниться войны. По ночам на стене его спальни на Амхерст-авеню, казалось, мерцали неровным светом одни и те же немые фильмы и превращали его спящий мозг в безлюдный кинозал, где показывают хронику. Зимой 1941 года в Шанхае крутили сплошь одни военные фильмы. Джим бродил по городу и повсюду носил с собой неотвязные фрагменты снов; в фойе универмагов и отелей образы Дюнкерка[2]

---

[2] Примечания: 2

С 27 мая по 4 июня 1940 года английская экспедиционная армия, потерпевшая поражение во Франции и окруженная немцами в районе Дюнкерка, при фактическом попустительстве последних смогла эвакуироваться через Ла-Манш. С англичанами удалось уйти и небольшой части разгромленных французских войск.

и Тобрука[3], плана «Барбаросса» и взятия Нанкина[4] буквально распирали его переполненную голову.

К полному смятению Джима, даже настоятель Шанхайского собора обзавелся допотопным кинопроектором. После утренней воскресной службы 7 декабря, в канун японской атаки на Перл-Харбор, хористов не отпустили домой и препроводили в крипту. Не снимая ряс, они расселись по реквизированным у шанхайского яхт-клуба шезлонгам и просмотрели годичной давности «Марш времени».

Джим оттянул в сторону тугой гофрированный воротничок — он думал о своих тревожных снах; его озадачивало полное отсутствие в них звуковой дорожки. Органное соло головной болью

---

[3] Примечания: 3

Крепость в Ливии, на побережье Средиземного моря, центр одноименного британского укрепрайона. Пала в ходе наступления, начатого немецко-итальянской армией фельдмаршала Роммеля в ночь с 26 на 27 мая 1942 года. После падения Тобрука судьба британской армии в Египте — и в Средиземноморском регионе вообще — висела на волоске, особенно если учесть непрекращавшуюся цепь поражений в предыдущие два года (Албания, Югославия, Греция, Крит). Немцев удалось остановить только под Аль-Аламейном, уже в Египте, в шестидесяти милях от Александрии.

[4] Примечания: 4

В марте 1927 года гоминьдановские войска, находившиеся до этого момента в союзе с коммунистами и представлявшие «единое народное» кантонское правительство, за которым стоял СССР, вошли в Шанхай, разгромив войска местных «полевых командиров» проанглийской и

проамериканской ориентации. В шанхайских европейских поселениях (сеттльментах) возникла вполне оправданная паника, связанная с ожиданиями антиевропейских погромов. Однако вместо этого гоминьдановцы начали уничтожать коммунистов и налаживать отношения с европейскими странами. Гоминьдановское правительство было перенесено в Нанкин, а главным его противником стали теперь коммунистические вооруженные формирования и контролируемые коммунистами профсоюзы. Однако наиболее удачливым игроком на китайском политическом поле в тридцатые годы оказалась Япония. В 1931 году она оккупировала Северо-Восточный Китай, создав там марионеточное государство Манчжоу-Го во главе с последним китайским императором Пу-И. С 1937 года, после провокации на мосту Марко Поло возле Бейпина, японцы перешли к открытым боевым действиям против гоминьдановцев и коммунистов в Центральном Китае и вдоль линии побережья. После падения (в том же 1937 году) Нанкина реальный контроль над основными промышленными и торговыми центрами Китая перешел к японцам, хотя гоминьдановские и прокоммунистически настроенные полевые командиры продолжали вести полупартизанскую войну против них (и между собой). Однако до атаки на Перл-Харбор японцы не трогали английские и американские сеттльменты в Шанхае и даже старались наладить с англосаксонскими фирмами довольно-таки тесные деловые контакты.

било сквозь цементный потолок, а на экране пульсировали привычные картинки танковых сражений и воздушных боев. Джиму хотелось домой, вечером доктор Локвуд, вице-председатель Ассоциации британских подданных, дает рождественский бал-маскарад, к которому уже давно пора готовиться. Они поедут на машине через японские позиции в Хуньджяо, а потом будут китайские фокусники, фейерверк и опять кинохроника; впрочем, у Джима был собственный резон рваться на маскарад к доктору Локвуду.

Снаружи, за дверью ризницы, ждали возле «паккардов» и «бьюиков» шоферы-китайцы и раздраженно о чем-то спорили между собой. Устав от фильма, который он видел уже, наверное, чуть ли не десяток раз, Джим слушал, как Янг, отцовский шофер, изводит церковного служку, австралийца. Впрочем, просмотр кинохроники давно уже стал патриотическим долгом каждого живущего вне родины британца, чем-то вроде благотворительных лотерей в загородном клубе. Званые вечера с танцами и увеселениями в саду, бесчисленные бутылки выпитого в поддержку вооруженных сил скотча (как и все дети, Джим интересовался спиртными напитками, но смутно их не одобрял) довольно быстро позволили

набрать денег на покупку «Спитфайра»[5] — быть может, копии одного из тех, подумал Джим, что были сбиты при первом же боевом вылете, потому что пилот задохнулся перегаром от благотворительного «Джонни Уокера».

В обычное время Джим жадно проглатывал выпуски новостей; их показ был частью пропагандистской кампании британского посольства в противовес немецким и итальянским военным фильмам, которые крутились в шанхайских общественных кинотеатрах и в клубах держав — членов Оси. Иногда, после просмотра очередного отснятого в Англии ролика от Патэ, у него возникало ощущение, что британцы, несмотря на нескончаемую серию поражений, искренне наслаждаются войной. Выпуски «Марша времени»

---

[5] Примечания: 5

Букв. «огнеплюй». Один из двух основных (наряду с «Харрикейном») типов истребителей-перехватчиков, находившихся на вооружении британских Королевских военно-воздушных сил (RAF) во время т. н. «битвы за Британию» — массированных воздушных боев за контроль над воздушным пространством над южной частью Великобритании в августе — сентябре 1940 года. Немецкие бомбардировки нанесли британской экономике серьезный урон, британская авиация потеряла в ходе боев 915 самолетов. Однако британцам удалось сохранить как экономическую мощь, так и костяк военно-воздушных сил (пилоты со сбитых самолетов в основном приземлялись на своей территории). Немцы же, потеряв 3098 боевых машин вместе с кадровыми экипажами, вынуждены были постепенно отказаться от борьбы за полный контроль над воздушным пространством — хотя и не прекратили массированных воздушных налетов. «Спитфайр» развивал бóльшую скорость, чем «Мессершмитт Ме-109», основной немецкий истребитель

этого времени, но сильно уступал последнему в маневренности и огневой мощи. «Харрикейн» даже и в скорости с «Ме-109» равняться не мог. Однако «Ме-109», который изначально строился как истребитель-перехватчик, обладал весьма ограниченным радиусом действия, что регулярно вынуждало немцев оставлять бомбардировщики без прикрытия. А против тихоходных и слабовооруженных «Штук» («U-87»), и даже против более скоростных и «огрызающихся» «Хенкелей» («He-111»), «Юнкерсов» («Ju-88») и штурмовиков «Ме-110», «Спитфайры» и «Харрикейны» были более чем эффективны.

были выдержаны в тональности более серьезной и мрачной, и Джиму это нравилось. Задыхаясь в тесной рясе, он смотрел, как объятый пламенем «Харрикейн» падает с усеянного дорньеровскими бомбардировщиками неба прямо в зеленые английские луга, напоминавшие пейзаж из детской книжки, которого он сам ни разу в жизни не видел. Линейный крейсер «Граф Шпее» заваливался набок на Рио-де-ла-Плата[6], медлительной реке, похожей на Янцзы; поднимались столбы дыма над жалким городишкой где-то в Восточной Европе, на черной планете, откуда Вера Френкель, его семнадцатилетняя гувернантка, сбежала шесть месяцев тому назад на корабле с беженцами.

Киножурнал закончился, и Джим вздохнул свободно. Вместе с другими хористами он, щурясь, выбрался на свет божий, туда, где дожидались шоферы. Его лучшего друга, Патрика Максте-

---

[6] Примечания: 6

13 декабря 1939 года в заливе Ла-Плата британская эскадра (тяжелый крейсер «Эксетер», легкие крейсеры «Аякс» и «Ахилл»; 14 декабря с Фолклендов взамен поврежденного «Эксетера» подошел тяжелый крейсер «Камберленд») серьезно повредила немецкий рейдер «Граф Шпее», один из самых современных на начало войны немецких броненосных крейсеров («карманных линкоров»). Капитан пытался завести поврежденное судно в порт Монтевидео для ремонта, но, после того как уругвайские власти отказали ему в этом, принял решение затопить корабль в устье реки Ла Плата. До этого «Граф Шпее» вел в Южной Атлантике активную «охоту» на торговых путях союзников, впрочем, не слишком удачную.

да, мать увезла на корабле из Шанхая, от греха подальше, в британскую крепость в Сингапуре, и Джиму казалось, что теперь он должен смотреть киножурналы и за Патрика тоже, и даже за русских белоэмигранток, которые продавали на ступенях собора драгоценности, и за расположившихся среди могильных плит нищих китайцев.

Он скользил в родительском «паккарде» домой по запруженным шанхайским улицам, а в голове у него по-прежнему отдавался гулкий голос диктора. Янг, шофер и балабол, когда-то работал статистом на местной киностудии, на съемках фильма с Чань Чинь в главной роли: потом она перестала сниматься в кино, пожертвовала карьерой ради того, чтобы присоединиться к коммунистическому лидеру по имени Мао Цзэдун. Янгу нравилось производить впечатление на своего одиннадцатилетнего пассажира байками о киношных эффектах и трюках. Но сегодня Янг вообще не обращал на Джима никакого внимания, сослав его на заднее сиденье. Он то и дело оглушительно дудел в клаксон: привычная на проспекте Кипящего Колодца война со злобными местными рикшами, которые так и норовили сбиться в кучу, чтобы оттеснить очередной иностранный автомобиль в кювет, пауз не знала.

Опустив стекло, Янг охаживал кожаным ездовым хлыстом беспечных пешеходов, прогуливавшихся вдоль дороги проституток с американскими сумочками, старух, согнувшихся пополам под бамбуковыми коромыслами, с которых густо свисали тушки обезглавленных цыплят.

Прямо перед ними свернул на боковую улицу открытый грузовик, битком набитый профессиональными палачами — едут в Старый город на публичную казнь. Босой мальчик-нищий, естественно, не упустил такого шанса и тут же побежал бок о бок с «паккардом», барабаня кулаками в дверцу, протягивая к Джиму сложенную лодочкой ладонь и выкрикивая извечный уличный шанхайский клич:

— Мама нет! Папа нет! Виски-сода нет!

Янг вытянул его хлыстом, мальчик упал и, еле вывернувшись из-под колес едущего навстречу «крайслера», побежал рядом с ним.

— Мама нет, папа нет…

Джим терпеть не мог хлыста, клаксон — совсем другое дело. По крайней мере, он мог заглушить звучавшие в голове рев восьмипушечных истребителей, вой лондонских и варшавских сирен воздушной тревоги. Европейской войной он был сыт по горло. Мимо проплыл кричаще-яркий

фасад универмага «Синсиер компани»; в самом центре витрины красовался огромный портрет Чан Кайши[7], который призывал китайский народ ко все большим и большим жертвам в борьбе против японских захватчиков. На безвольной нижней губе генералиссимуса дрожал неровный тусклый отсвет от наполовину перегоревшей неоновой трубки, тот самый отсвет, который Джиму виделся во сне. Шанхай на глазах претворялся в призрачный киножурнал, который как-то сам собой понемногу просочился наружу из Джимовой головы.

Может быть, он слишком часто смотрит военную кинохронику и у него теперь что-то не в порядке с головой? Джим пробовал рассказать о своих снах маме, но она, как и все взрослые в Шанхае, была в эту зиму слишком занята, чтобы его слушать. Может, ей и самой снились по ночам страшные сны. Эти бесконечно тасующиеся у него в голове образы танков и пикирующих бомбардировщиков были странным и зловещим образом лишены звуковой дорожки; словно во сне его мозг пытался отделить настоящую войну от бутафорских сражений, придуманных «Патэ»

[7] Примечания: 7

Лидер гоминьдана, занял пост после смерти в 1925 году Сунь Ятсена, более или менее просоветски ориентированного основателя партии.

и «Бритиш мувитон».

Отличить придуманное от настоящего было проще простого. Настоящую войну он видел каждый день, с тех пор как в 1937 году японцы вошли в Китай; настоящая война была на подступах к городу; в Хуньджяо и в Лунхуа, где каждую весну из-под земли прорастали кости непохороненных мертвых. Настоящая война была — тысячи китайцев, умирающих от холеры в обнесенных колючей проволокой загонах в Путуне, и окровавленные головы солдат-коммунистов, выставленные на пиках вдоль Дамбы. В настоящей войне никто не знал, на чьей он стороне, и не было ни флагов, ни комментаторов, ни победителей. В настоящей войне даже врагов не было.

А вот неизбежный конфликт между Британией и Японией, начала которого все в Шанхае ждали к лету 1942 года, принадлежал как раз к области слухов. Немецкий корабль снабжения, закрепленный за патрулирующим Восточно-Китайское море рейдером, теперь открыто заходил в Шанхай, бросал якорь на реке и грузился топливом, а топливо ему подвозили на дюжине лихтеров, многие из которых, как говорил с кривой усмешкой отец Джима, принадлежали американским нефтяным компаниям. Почти всех американок

вместе с детьми из Шанхая давно уже эвакуировали. На занятиях в Соборной школе вокруг Джима множились пустые парты. Бóльшая часть его друзей вместе с матерями перебралась от войны подальше, в Гонконг или в Сингапур, а их отцы позапирали домá и поселились в отелях, на Дамбе.

В начале декабря, когда как-то раз в школе отменили занятия, Джим вместе с отцом поднялся на крышу офисной многоэтажки на улице Шечуан, и они стали жечь ящики с документами, которые подвозили им снизу на лифте клерки-китайцы. Клочки обугленной бумаги столбом поднялись над Дамбой и смешались с дымом из труб последних, рвущихся с привязи пароходов, покидающих Шанхай. На сходнях толклись, прокладывая себе дорогу на палубу, пассажиры, метисы-евроазиаты, китайцы, европейцы, с узлами и чемоданами, готовые рискнуть головой: в устье Янцзы их караулили немецкие подлодки. На крышах офисных зданий в финансовой части города повсюду горели костры, а за ними из бункеров на той стороне реки, в Путуне, следили сквозь полевые бинокли японские офицеры. И Джима беспокоила даже не столько японская злость, его беспокоило то, какие они терпеливые.

* * *

Машина подъехала к дому на Амхерст-авеню, и он помчался наверх, переодеться. Ему нравились персидские тапочки, вышитая шелковая рубашка и синие бархатные брюки, в которых он был похож на статиста из «Багдадского вора», и очень хотелось поскорее отправиться на вечеринку к доктору Локвуду. Он как-нибудь перетерпит тамошних фокусников и неизменный киножурнал, а потом отправится по своим тайным делам, которые из-за слухов о близкой войне приходилось вот уже не первый месяц откладывать на потом.

По счастливому стечению обстоятельств в воскресенье после обеда у Веры бывал выходной, и она ездила к родителям в гетто в Хонкю. Эта усталая молодая женщина, сама еще почти ребенок, не отпускала Джима ни на шаг, как цепная собака. И как только Янг доставит его домой — родители собирались задержаться у Локвудов на ужин, — он останется один в пустом доме, сам себе хозяин — самое изысканное из доступных ему удовольствий. Будут, конечно, еще и слуги-китайцы, девять человек, но для Джима, как и для любого другого британского ребенка, они были все равно что мебель — ничего не

видят и ни во что не вмешиваются. Он наконец покроет лаком свой сделанный из бальзового дерева самолет и закончит очередную главу практического руководства под названием «Как играть в контрактный бридж», которое он писал в обычной школьной тетрадке. Из года в год он оставался с мамой, когда она играла в бридж, и, поскольку попытки найти хоть какую-то логику в чередовании фраз типа «Одна бубна», «Пас», «Три червы», «Три без козыря», «Удваиваю», «Удваиваю сверху» ни к чему не привели, он в конце концов заставил ее сесть и выучить его правилам и даже овладел умением вести торг: своего рода шифром внутри другого шифра; Джиму всегда нравились такие вещи. Заручившись помощью самоучителя по бриджу Эли Калберстон, он как раз собрался взяться за самую сложную главу, по психологии карточного торга, — а кроме того, надо бы добавить еще и насчет «одиночки».

Впрочем, если задача окажется совсем уже непосильной, можно будет отправиться на велосипеде во Французскую концессию, захватив с собой воздушку на случай нежданной встречи с бандой с авеню Фош — группой двенадцатилетних французов. Домой он вернется как раз к началу радиосериала о Флэше Гордоне по «Экс-

эм-эйч-эй», а потом будет программа по заявкам, куда он и его приятели обычно звонили и заказывали музыку под самыми свежими своими псевдонимами — «Бэтмен», «Бак Роджерс» и (собственный Джимов) «Ас»: ему нравилось слышать, как диктор произносит это имя, хотя одновременно всякий раз хотелось провалиться на месте от смущения.

Сбросив рясу на руки китаянке-ама[8] и переодевшись в маскарадный костюм, он вдруг выяснил, что все эти планы могут оказаться под угрозой срыва. Взбудораженная слухами о том, что скоро начнется война, Вера решила не ехать к родителям.

— Езжай на вечеринку, Джим, — сказала ему Вера, застегивая пуговицы на шелковой рубашке, — а я позвоню родителям и скажу, что не могу тебя оставить.

— Но, Вера, они же так по тебе соскучились. Точно соскучились. Нельзя же думать только о себе, Вера… — Джим осекся и не стал развивать тему. Мама велела ему быть с Верой подобрее и не дразнить ее, как прежнюю гувернантку. Та была из русских эмигранток, настроение у нее меня-

[8] Примечания: 8

Ама (amah) — в британских колониях на Востоке — няня, кормилица, горничная из туземцев.

лось что ни час, а как-то раз она по-настоящему испугала Джима, который как раз переболел корью и едва-едва начал приходить в себя, сказав, что слышит, как гремит над Амхерст-авеню глас Господень и упреждает неправедных. Под неправедными явно имелись в виду Джим и его родители. Вскоре после этого Джим произвел фурор среди своих школьных товарищей, заявив, что он атеист. Вера Френкель, напротив, была девушка вполне уравновешенная: она никогда не улыбалась, хотя и сам Джим, и его родители, и все, что с ними связано, казались ей ужасно странными, — такими же странными, как Шанхай, чужой и жестокий город, за тысячи и тысячи миль от ее родного Кракова. Она успела уехать вместе с родителями из оккупированной Гитлером Европы на одном из последних выпущенных немцами пароходов, и теперь, как и тысячи других еврейских беженцев, они жили в Хонкю, мрачном, застроенном сдаваемыми внаем многоэтажками районе по ту сторону шанхайского порта. К полному изумлению Джима, герр Френкель и Верина мама жили вдвоем в одной комнате.

— Вера, а где живут твои родители? — Ответ был известен заранее, но Джим решил убедиться лишний раз. — У них что, свой дом?

— У них комната, Джеймс. Одна комната.

— Одна комната! — Это казалось непостижимым, куда более странным, чем привычные чудеса в комиксах про Супермена и Бэтмена. — А она большая, эта комната? Как моя спальня? Или как наш дом?

— Как твоя гардеробная, Джеймс. Некоторым людям в жизни везет чуть меньше, чем тебе.

Проникшись благоговейным трепетом, Джим закрыл за собой дверь в гардеробную и переоделся в бархатные брюки. И смерил глазами крохотную комнатенку. Понять, как два взрослых человека могут жить в такой тесноте, было не легче, чем разобраться в принципах торга в контрактном бридже. Должно быть, к этой тайне есть какой-то ключ, самый элементарный, — вот и будет ему тема для очередной книги.

* * *

К счастью, у Веры были свои представления о должном и не должном, и она таки попалась на его наживку. Она уже давно ушла, отправилась пешком за тридевять земель, к трамвайному кольцу на авеню Жоффр, а Джим все никак не мог выбросить из головы тайну этой волшебной комнаты. Он решил опробовать этот вопрос на отце

с матерью, но они, как обычно, были слишком увлечены новостями о войне, чтобы обращать на него внимание. Они стояли у отца в кабинете в маскарадных костюмах и слушали на коротких волнах английские сводки новостей. Отец, в костюме пирата, откинув на лоб кожаную «одноглазую» нашлепку и надев очки, стоял на коленях возле радиоприемника, более всего похожий на ударившегося в разбой профессора, и устало смотрел на желтый огонек настройки — этакий золотой зуб на благородном, из красного дерева, лице приемника. На расстеленной поперек ковра карте уже была отмечена новая линия обороны, на которую отошла Красная армия. Отец прошелся по ней безнадежным взглядом: судя по всему, российские просторы поражали его ничуть не меньше, чем Джима — миниатюрность комнаты Френкелей.

— К Рождеству Гитлер будет в Москве. Немцы по-прежнему наступают.

Мама, в костюме Пьеро, стояла у окна и глядела в стальное декабрьское небо. Вдоль улицы проплыл длинный волнообразный хвост китайского похоронного змея; голова с жуткой яростной улыбкой заглядывала в окна европейских домов, то и дело теряя ветер и ныряя вниз.

— В Москве сейчас, наверное, идет снег. Может, хоть погода их остановит…

— По разу в каждые сто лет? Честно говоря, надежда слабая. Вот если бы Черчиллю удалось уговорить американцев вступить в войну…

— Пап, а кто такой Генерал Грязь?

Отец поднял голову: Джим стоял в дверях, в синем бархате, похожий на волонтера-пехотинца, готового в любой момент отправиться на помощь русским; за его спиной ама, как оруженосец, держала в руках воздушку.

— Нет, Джейми, только не ружье. Сегодня оно ни к чему. Возьми лучше самолет.

— Ама, положи на место! Убью!

— Джейми!

Отец, оторвавшись от приемника, развернулся в его сторону, — вот-вот ударит. Джим встал рядом с матерью и застыл, выжидая. Носиться по Шанхаю на велике — это одно дело, но дома он старался держаться поближе к маме. Она была женщина тактичная и умная, и Джим уже давно решил про себя, что главный смысл ее жизни состоит в том, чтобы ездить на вечеринки и помогать ему делать домашние задания по латыни. Когда ее не было дома, он часами блаженствовал у нее в спальне, смешивая духи из флакончиков

и лениво перелистывая фотоальбомы. На фотографиях она была молоденькая, еще до свадьбы: кадры из немого фильма, в котором она сыграла роль его старшей сестры.

— Джейми! Не смей так говорить… Ни ама, никого другого ты не убьешь.

Кулаки у отца разжались сами собой, и Джим вдруг понял, что тот очень устал. Джиму часто казалось, что отец, придавленный угрозами в адрес фирмы со стороны коммунистических профсоюзов, работой в Ассоциации британских подданных, страхами за Джима и за жену, держится из последних сил. Когда он усаживался слушать новости, его клонило в сон. И вообще в последнее время между родителями вспыхнула такая страстная привязанность, какой он раньше за ними не замечал. Отец, конечно, иногда на него сердился, но при этом с самым неподдельным интересом старался вдаваться в малейшие его дела, так, словно действительно верил в то, что помощь сыну в постройке авиамодели куда важнее всяких войн. Впервые в жизни его совершенно перестали интересовать полученные Джимом в школе оценки. Он постоянно пичкал Джима какими-то странными сведениями — о химическом составе искусственных красителей,

о том, как компания планирует переустроить систему соцобеспечения для китайских рабочих, о той школе и о том университете, в которые Джим поступит в Англии после войны, и о том, как Джим — если он, конечно, сам этого захочет — сможет стать врачом. Он говорил с ним как со взрослым, так, словно торопился, словно боялся, что эта взрослость может никогда не наступить.

По здравом размышлении Джим решил не подливать масла в огонь и даже не заикаться ни о таинственной комнате Френкелей в хонкюйском гетто, ни о психологических проблемах карточного торга, ни об отсутствии звуковой дорожки в снах про войну. Он больше никогда не станет угрожать ама смертью. Они едут на вечеринку, а он пока подумает, как ему приободрить отца, и еще — нет ли способа остановить немцев у самых ворот Москвы.

Джим забрался в «паккард», вспоминая рассказы Янга об искусственном снеге на Шанхайской киностудии. Амхерст-авеню была битком набита автомобилями — европейцы разъезжались по рождественским вечеринкам, — и Джиму это пришлось по душе. Казалось, что все, кто жил в западных предместьях, переоделись в маскарадные костюмы, и Шанхай превратился в город

клоунов.

2
Нищие и акробаты

Родители, Пьеро и Пират, тихо сидели в машине, скользившей по направлению к Хуньджяо, загородному району в пяти милях к западу от Шанхая. Обычно мать предупреждала Янга, чтобы тот не задел расположившегося в самом конце подъездной аллеи старого нищего. Но на этот раз, когда Янг, почти не снижая скорости, лихо вписал автомобиль в проем ворот и вывернул на Амхерст-авеню, Джим заметил, как переднее колесо раздавило нищему ногу. Нищий появился два месяца назад, ходячий пучок лохмотьев, вся собственность которого состояла из вытертого хлопчатобумажного коврика и пустой жестянки из-под сигарет «Крейвен А»: он протягивал ее навстречу прохожим и встряхивал. С коврика он так ни разу за все это время не встал, однако занятый им клочок земли за воротами защищал отчаянно и яростно. Даже Бой и Первый Кули, то есть казачок и первый помощник повара, оказались не в состоянии согнать его с насиженного места.

Впрочем, особого проку от места за воротами

старик все равно не добился. Зима в Шанхае выдалась не из легких, и после первой же недели заморозков он настолько ослаб, что был не в состоянии даже поднять жестянку. Джим переживал за него, и мама сказала, что Кули выносит ему к воротам миску риса. Как-то ночью в начале декабря прошел обильный снегопад, и старика укрыло с головой: его лицо торчало из-под толстого снежного пледа, как лицо младенца из-под стеганого, на гагачьем пуху, одеяла. Двигаться он перестал совсем, и Джим решил, что ему просто слишком тепло и уютно там, под снегом.

Нищих в Шанхае была тьма-тьмущая. Они сидели по всей Амхерст-авеню у ворот подъездных аллей и трясли своими сигаретными жестянками, как активисты Армии спасения. Многие выставляли напоказ воспаленные раны и увечья, вот только теперь никто уже не обращал на них внимания. В городе стало не протолкнуться от беженцев из ближайших к Шанхаю деревень и городишек. Амхерст-авеню была сплошь запружена деревянными повозками и рикшами, и на каждой тележке громоздился скарб целой крестьянской семьи. Взрослые и дети, согнувшись под тяжестью привязанных к спинам тюков, толкали руками колеса. Рикши налегали на оглобли,

что-то монотонно выкрикивая на ходу и сплевывая под ноги, и переставляли ноги со вцепившимися в икры толстыми пальцами вен. Мелкие чиновники толкали перед собой велосипеды, нагруженные матрасами, печками-буржуйками и мешками риса. Безногий нищий, грудная клетка у которого была притянута ремнями к массивной кожаной подошве, сновал по мостовой, в густом лабиринте колес, отталкиваясь от земли при помощи двух больших деревянных гантелей. Когда Янг попытался клаксоном согнать его с дороги, он плюнул на «паккард», сопроводил плевок могучим хуком справа в бампер и тут же исчез в мешанине повозок и велорикш, уверенно, как рыба в воде, скользя в знакомом царстве плевков и пыли.

Когда они подъехали к выезду из Международного сеттльмента на Большую Западную дорогу, по обе стороны блокпоста выстроились длинные очереди машин. Шанхайская полиция оставила всякие попытки хоть как-то контролировать людские потоки. На пулеметной башне бронеавтомобиля стоял британский офицер, курил сигарету и смотрел на осадившие его с обеих сторон тысячные толпы китайцев. Время от времени, как будто для очистки совести, сер-

жант-сикх в защитного цвета тюрбане нагибался с брони вниз и принимался лупить китайцев по плечам и спинам бамбуковой тростью.

Джим поднял голову и стал смотреть на полицейских, вверх. Он был буквально зачарован их тускло отблескивающими ремнями, их вызывающими смутное чувство тревоги гениталиями, которые они ничуть не стеснялись свободно демонстрировать всему свету каждый раз, как им хотелось помочиться, а еще полированными кобурами, в которых таилось все их мужское достоинство. Джиму хотелось в один прекрасный день самому надеть точно такую же кобуру и ощутить, как тяжко ляжет на бедро огромный револьвер системы Уэбли. В отцовском гардеробе, среди рубашек, Джим как-то раз нашел автоматический «браунинг», маленький блестящий предмет, похожий разом на драгоценный камень и на внутренности родительской кинокамеры, которую он как-то раз нечаянно открыл, засветив не одну сотню футов кинопленки. Трудно было представить, что такие миниатюрные пульки действительно могут убить человека, не говоря уже об этих здоровенных активистах из коммунистических профсоюзов.

С другой стороны, «маузеры», состоявшие на во-

оружении у старших японских унтер-офицеров, впечатление производили даже более сильное, чем «уэбли». Длинная деревянная кобура свисала аж до самых колен, и было похоже, что в эти ножны можно вставить целую винтовку. Джим наблюдал за японским сержантом на блокпосту, маленьким, но крепко сбитым человеком, который то и дело пускал в ход кулаки, чтобы отогнать китайцев. Крестьяне, пытаясь сладить со своими телегами и двухколесными повозками-рикшами, едва не сбили его с ног. Джим сидел рядом с Янгом на переднем сиденье «паккарда», крепко держал в руках свой бальзовый самолет и ждал, когда же сержант вынет наконец свой «маузер» и выстрелит в воздух. Но японцы не стали тратить патронов зря. Двое солдат расчистили место вокруг крестьянки, чью повозку они только что перевернули. Сержант взял штык, распорол мешок и стал высыпать из него рис, прямо под ноги крестьянке, полукругом.

Она даже не двинулась с места — только дрожала мелкой дрожью и заунывно, на одной ноте, причитала — в окружении сверкающих «паккардов» и «крайслеров», в которых сидели одетые в маскарадные костюмы европейцы.

Она что, пыталась провезти через блокпост

оружие? Среди китайцев было полным-полно шпионов, коммунистов и гоминьдановцев. Джим пожалел про себя эту крестьянку, у которой, может быть, кроме этого мешка с рисом, совсем ничего не было, но японцы все-таки молодцы. Ему нравилась их смелость, нравился их стоицизм, а еще ему казалось странным, что они всегда такие грустные: Джиму грустно не было никогда. Китайцев Джим знал как облупленных, они были народ холодный и зачастую жестокий, и все-таки, как бы китаец ни задирал нос, все равно они всегда держались вместе; но всякий японец был в одиночку, сам по себе. У каждого из них были при себе фотографии, а на фотографиях — совершенно одинаковые семьи. Люди на этих снимках стояли и сидели в вынужденных позах: как будто вся японская армия сплошь состояла из клиентов дешевых фотоателье.

В своих велосипедных заездах по Шанхаю — о которых родители, кстати, ровным счетом ничего не знали — Джим подолгу застревал у японских блокпостов, и время от времени у него и впрямь получалось втереться в доверие к какому-нибудь скучающему рядовому. Но ни один из них ни разу так и не показал ему свое оружие — не то что британские «томми» в обложенных мешками с

песком блокгаузах вдоль Дамбы. Они лениво лежали в гамаках, не обращая никакого внимания на ключом бьющую вокруг них жизнь прибрежной полосы, и Джиму дозволялось передергивать затворы их «ли-энфилдов» и чистить ветошкой стволы. Джиму нравились и они сами, и их едва ли не потусторонние голоса, когда они принимались говорить о странной, непостижимой стране под названием Англия.

Но если и впрямь начнется война, смогут они побить японцев? Джиму так не казалось, и он знал, что и отцу его тоже так не кажется. В тридцать седьмом, в самом начале войны с китайцами, две сотни японских морских пехотинцев поднялись по реке и зарылись в черную прибрежную грязь, прямо под окнами отцовской хлопковой фабрики в Путуне. Из окон родительской квартиры в «Палас-отеле» можно было во всех деталях наблюдать за тем, как их атаковала целая дивизия китайцев под командованием племянника мадам Чан[9]. Пять дней японцы удерживали свои окопы, которые во время прилива по грудь заливало водой, а потом примкнули штыки, перешли в контратаку и опрокинули

[9] Примечания: 9
Супруга генералиссимуса Чан Кайши.

китайцев.

Цепочка машин с европейцами и американцами, опаздывающими на рождественские вечеринки, медленно сочилась через контрольно-пропускной пункт. Янг осторожно подкатил к шлагбауму и испуганно присвистнул. Прямо перед ними остановился разукрашенный флажками со свастикой туристический «мерседес», битком набитый нетерпеливыми молодыми немцами. Однако на тщательности японского досмотра машины это никоим образом не сказалось.

Мама положила Джиму руку на плечо:

— Милый мой, только не сейчас. А то японцы испугаются.

— Ни за что не испугаются.

— Джейми, правда не стоит, — присоединился к разговору отец и даже пошутил, что в общем-то, с ним случалось не часто: — А то, чего доброго, дашь им повод для войны.

— Что, правда?

Джима эта мысль заинтриговала. Он опустил самолет пониже, чтобы не было видно из окна. Солдат-японец провел примкнутым к винтовке штыком вдоль ветрового стекла, словно разрезав невидимую паутину. Джим знал, что будет

дальше: он заглянет сквозь боковое окно в салон «паккарда», выдохнет, и в его дыхании будет привкус усталости и еще этот неизменный запах, исходивший ото всех японских солдат, — запах угрозы. И все будут сидеть очень тихо, потому что за малейшим движением последует короткая пауза — и тут же следом, жестокий акт возмездия. Год назад, когда Джиму было десять, он едва не довел Янга до сердечного приступа, уставив свой металлический «Спитфайр» прямо в лицо японскому капралу и выпалив: «Ра-та-та-тата…» Капрал едва ли не целую минуту молча, безо всякого выражения, смотрел на отца Джима и медленно кивал сам себе. Отец был сильным человеком; Джим знал, что такого рода сила происходит от привычки играть в теннис.

На сей раз Джиму хотелось, чтобы японец всего-то навсего увидел его бальзовый самолет; не то чтобы оценил, нет. Просто чтобы принял во внимание. Теперь он стал старше, и ему нравилось считать себя вторым пилотом «паккарда». А самолетами Джим всегда интересовался, особенно японскими бомбардировщиками, которые в тридцать седьмом году разрушили два шанхайских района — Нантао и Хонкю. Китайские кварталы улица за улицей обращались в прах, а

на проспекте Эдварда VII одна бомба убила целую тысячу человек — больше чем любая другая бомба за всю историю ведения войн.

Главная радость на вечеринках у доктора Локвуда состояла, собственно, в заброшенном аэродроме в Хуньджяо. Японцы целиком контролировали окрестности города, но основные их силы были заняты патрульной службой по периметру Международного сеттльмента. К тому, что несколько американцев и европейцев живут за пределами города, они относились спокойно, и, по правде говоря, японских солдат там если и видели, то крайне редко.

Когда они доехали до одиноко стоящего дома доктора Локвуда, Джим с облегчением понял, что ничего особенного тут сегодня не будет. Машин на подъездной дорожке стояло не больше дюжины, и шоферы деловито вытирали с крыльев пыль, явно не собираясь надолго здесь задерживаться. Из бассейна спустили воду, и садовник-китаец как раз доставал со дна трупик иволги. Дети, которые поменьше, сидели вместе со своими ама на террасе и смотрели, как карабкаются по смешным лесенкам в небо и делают вид, что растворяются в нем, акробаты из кантонской труппы. Они превращались в птиц, распахивали

мятые бумажные крылья и притворно, в танце, кидались в самую гущу визжащих от восторга детей, потом прыгали друг другу на спину и превращались все вместе в огромного красного петуха.

Джим провел свой бальзовый самолет сквозь двери веранды. Мир взрослых над его головой зажил своей обычной жизнью, и он пошел дальше по кругу. Многие гости приехали без маскарадных костюмов, так, словно их повседневные роли и без того доставляли им слишком много хлопот, чтобы дать себе труд надеть маску. И Джим тут же вспомнил о давнишних вечеринках на Амхерст-авеню, которые имели обыкновение затягиваться до следующего вечера: матери в помятых вечерних платьях, не слишком уверенно держась на ногах, со смущенным видом бродят вдоль бассейна и делают вид, что ищут мужей.

Разговор угас сам собой, как только доктор Локвуд включил коротковолновый радиоприемник. Ну вот, наконец-то все и заняты — Джим радостно выскользнул через боковую дверь на заднюю террасу дома. Через лужайку протянулась цепочка из двадцати китаянок в черных брюках и блузках, плечом к плечу, каждая со своим крохотным стульчиком. Они стригли газон;

ножи вспыхивали в траве, а китаянки безостановочно болтали за работой. Лужайка доктора Локвуда за их спинами превращалась в подобие зеленой чесучи.

— Привет, Джейми. Опять что-то задумал? — На веранде появился мистер Макстед, отец ближайшего друга Джима. Одинокая фигура в блестящем шелковом костюме; и точка зрения на мир — сквозь большой стакан виски с содовой. Он указал на китаянок кончиком сигары: — Если все китайцы, сколько их ни на есть, усядутся в рядок, их хватит ровнехонько от Северного полюса до Южного. Никогда об этом не думал, а, Джейми?

— И они тогда подстригут весь мир?

— Можно и так сказать. Я слышал, ты ушел из волчат[10].

— Ну, в общем… — Джим поколебался, раздумывая, стоит ли объяснять мистеру Макстеду мотивы, по которым он ушел из отряда: бунтарский акт, предпринятый исключительно с целью проверить, чем дело кончится. К его немалому разочарованию, на родителей это, судя по всему, должного впечатления не произвело. Он подумал, а не сказать ли мистеру Макстеду, что он

---

[10] Примечания: 10
Члены бойскаутской организации.

не только ушел из волчат и сделался атеистом; он подумывает еще и о том, чтобы стать коммунистом. Коммунисты обладали поразительной способностью выбивать из колеи кого и когда угодно, а такого рода талант Джим почитал первостатейным.

Впрочем, он знал, что мистера Макстеда и этим не проймешь. Мистером Макстедом, архитектором, который вдруг стал антрепренером, основателем и владельцем кинотеатра «Метрополь» и множества шанхайских ночных клубов, Джим искренне восхищался. Он даже пробовал подражать его отвязной манере, но вскоре обнаружил, что держаться вот так, расслабив все мышцы, — это тяжелая работа. Джим понятия не имел о том, что ему предстоит в будущем: в Шанхае нужно было жить одним днем, и жить интенсивно, — однако в мыслях он видел себя взрослого: похожего на мистера Макстеда. Мистер Макстед, всегда с одним и тем же, как казалось Джиму, стаканом виски-соды в руке, представлял собой законченный тип англичанина, который приспособился к жизни в Шанхае; отец Джима, сколь угодно серьезный и умный, никогда таким не станет. Джиму всегда нравилось ездить с мистером Макстедом на машине: они с Патриком

устраивались вдвоем на переднем сиденье и отправлялись в непредсказуемый мир пустынных в светлое время суток ночных клубов и казино. Машину мистер Макстед вел сам — черта, которая Джиму казалась удивительной и даже слегка его коробила. Они с Патриком играли за пустым столом в рулетку на деньги мистера Макстеда, под снисходительно-улыбчивыми взглядами «девочек» из белоэмигранток: они за стойками штопали шелковые чулки, а мистер Макстед сидел в конторе с владельцем казино и перекладывал с места на место пачки банкнот.

Может, взять мистера Макстеда с собой в экспедицию на аэродром Хуньджяо — в качестве ответной любезности?

— Не пропусти кинохронику, Джейми. Я надеюсь, ты будешь держать меня в курсе последних новинок военного авиастроения…

Джим стоял и смотрел, как мистер Макстед неверной походкой идет по самому краю пустого бассейна, и думал: упадет или нет? Если мистер Макстед постоянно падает в бассейны, везде и всюду, тогда почему он падает только в те из них, где есть вода?

3
Заброшенный аэродром

Раздумывая над этой загадкой, Джим сошел по ступенькам с террасы. Он пробежал по лужайке за спинами у китаянок, и его самолет на бреющем пронесся прямо у них над головами. Не обращая на него внимания, они по-прежнему подсекали ножами траву, но всякий раз, как Джима заносило к ним слишком близко, он чувствовал легкую рябь страха. Можно себе представить, что будет, если он упадет — и прямо к ним под руки.

В дальнем юго-западном углу участка у доктора Локвуда стояла радиомачта. Кусок деревянного забора уступил здесь место проволочным растяжкам, и, пробравшись между ними, Джим оказался на краю заросшего сорняками поля. В самом центре, в зарослях дикого сахарного тростника, возвышался погребальный курган; из наспех насыпанной земли торчали гробы, как полки шифоньера.

Джим двинулся через поле. Проходя мимо кургана, он остановился, чтобы заглянуть в открытые, без крышек, гробы. Пожелтевшие

скелеты были полуутоплены в подушках из мягкой, намытой дождями глины, так, словно этих бедных крестьян ни с того ни с сего вдруг водрузили на роскошные шелковые перины. И Джима в который раз поразила разница между безликими телами недавно умерших — он каждый день лицезрел их в Шанхае — и этими согретыми теплым солнышком скелетами, каждый из которых был личность. Черепа — их пристальные, искоса, взгляды, их длинные оскаленные зубы — вызывали в нем самый живой интерес. В каком-то смысле эти скелеты были куда более живыми, чем те крестьяне, которые обладали ими ничтожно краткий срок. Джим ощупал собственные скулы, челюсти, пытаясь представить, как его скелет лежит здесь на солнышке, посреди мирного заросшего поля, рядом с заброшенным аэродромом.

Оставив за спиной погребальный курган, населенный выводком желтеющих скелетов, Джим пошел через поле к шеренге чахлых тополей. Он взобрался по деревянному перелазу и очутился на высохшем рисовом поле. В тени, под изгородью, лежал высохший труп буйвола, а в остальном пейзаж был пуст, как будто все китайцы, сколько их ни было в бассейне Янцзы, сбежали в Шанхай.

Подняв над головою самолет, Джим побежал по гладкому растрескавшемуся дну сухого рисового поля туда, где в сотне ярдов к западу стояло на самом краешке плоской возвышенности обшитое листовым железом здание. Растрескавшаяся, заросшая крапивой и сахарным тростником бетонная дорога вела мимо полуразвалившейся сторожки, а затем терялась в бескрайнем море бурьяна.

Это и был аэродром Хуньджяо, волшебная страна Джима, где сам воздух дышал восторгом и густым ароматом грез. На краю поля стоял ангар из оцинкованного железа, но в целом от этого военного аэродрома, с которого в 1937 году взлетали китайские истребители, чтобы атаковать идущие на Шанхай колонны японской пехоты, почти ничего не осталось. Джим шагнул вперед: бурьян доходил ему до пояса. В нем, как в море возле Циндао, теплой была только поверхность, а ниже начиналось прохладное полутемное царство, пронизанное таинственными сквознячками. Свежий декабрьский ветер оглаживал траву, и вокруг Джима закручивались волны и водовороты, как будто пролетел невидимый самолет. Если прислушаться, то услышишь, как работают моторы.

Он запустил бальзовую модельку навстречу ветру и поймал, когда она сама вернулась в руку. В общем-то, этот игрушечный планер уже успел ему надоесть. На том самом месте, где он сейчас играет, стояли затянутые в летные костюмы японские и китайские пилоты и поправляли большие, как стрекозиные глаза, очки, перед тем как отправиться на очередной боевой вылет. Джим сделал шаг вперед, бурьян стал еще выше и гуще, и он с трудом, как сквозь воду, побрел вперед. Тысячи травинок вслепую ощупывали его бархатные брюки, его шелковую рубашку, так, словно пытались вспомнить этого маленького летчика.

Южной границей летному полю служила неглубокая канава. Там, в густых зарослях крапивы, лежал фюзеляж одномоторного японского истребителя, сбитого, должно быть, при заходе на посадку. Крылья, пропеллер и хвостовую секцию с самолета сняли, но кабина осталась нетронутой, и дожди давно успели выбелить ржавый металл пилотского кресла и рычагов управления. Сквозь открытый решетчатый радиатор Джиму видны были цилиндры двигателя, который когда-то носил и самолет, и пилота по небу. Полированный металл стал шероховатым, как коричневая пем-

за, как корпуса подлодок, ржавеющих на приколе в бухточке под немецкими фортами в Циндао. Но, несмотря на всю эту ржавчину, японский истребитель по-прежнему был частью неба. Джим уже несколько месяцев пытался измыслить способ заставить отца перевезти его на Амхерст-авеню. По ночам он лежал бы около его кровати, подсвеченный немой кинохроникой снов.

Джим положил свою бальзовую модель на обтекатель, перелез через ветровое стекло и опустился на металлическое сиденье. Без парашюта, на котором, как на подушке, сидел пилот, Джим оказался на самом полу кабины, в пещере из ржавого металла. Он оглядел полукруглые циферблаты приборов с японскими идеограммами, дифферентометр и рычаг шасси. Под приборной панелью видны были казенные части пулеметов, вмонтированные под основание ветрового стекла и привод прерывателя, уходивший вперед и вниз, туда, где пропеллерная ось. В кабине сгустилась плотная до дрожи атмосфера — единственное похожее на ностальгию чувство, известное Джиму: первобытная память о пилоте, который сидел здесь, положив руки на штурвал и рычаги управления. Где теперь этот пилот? Джим попытался подвигать рычагами, как будто

сей акт симпатической магии мог вызвать из небытия дух давным-давно ушедшего в мир иной авиатора. Из-под затуманенного стеклышка на одном из приборов выползла на приборную панель металлическая полоска с тесным рядком японских буквиц: не то уровни давления во всем многообразии, не то возможные варианты балансировки. Джим отколупнул едва державшиеся за приборный щиток проржавевшие зажимы, потом встал и сунул полоску в карман брюк. Он вылез из кабины и забрался на капот двигателя. Руки и ноги у него дрожали от противоречивой полноты чувств, которую неизменно вызывал в нем этот сбитый самолет. Давая выход возбуждению, он подхватил модель планера и запустил ее в воздух.

Подхваченный порывом ветра, самолетик резко набрал высоту и улетел за край аэродрома. Он лег на крыло, боком скользнул мимо крыши старого бетонного блокгауза и упал по ту сторону, в густую траву. Взбудораженный его внезапно проявившимися летными качествами, Джим соскочил с обтекателя и побежал к блокгаузу, раскинув руки в стороны и расстреливая на лету порхающих над бурьяном насекомых.

«Та-та-та-та-та… Ра-ра-ра-ра-ра-ра!..»

По ту сторону заросшей доверху канавы начиналось поле, на котором в 1937 году шли бои. Здесь китайские войска предприняли одну из многочисленных и равно безуспешных попыток остановить японское наступление на Шанхай. Зигзагами разбегались полузасыпанные траншеи, дамба вдоль заброшенного канала превратилась в цепочку погребальных курганов с провалами между братскими могилами — там, где брали землю. Джим прекрасно помнил, как в тридцать седьмом, через несколько дней после окончания боев, он побывал здесь с родителями. Целые экскурсии европейцев и американцев приезжали сюда из Шанхая и парковали свои лимузины на усыпанных винтовочными гильзами обочинах проселочных дорог. Леди в шелковых платьях и их мужья в светло-серых костюмах бродили сквозь живописно разбросанный — незадолго до них здесь будто нарочно поработала проезжая команда подрывников — строительный мусор войны. Джиму поле битвы казалось похожим скорее на опасный оползень на краю оврага, куда сваливают мусор, — патронные ящики и гранаты на длинных ручках были разбросаны по всей дороге, сломанные винтовки навалены кучами, как хворост, лошадиные трупы впря-

жены в постромки разбитых пушек Лежавшие в траве пулеметные ленты напоминали старую кожу каких-то явно ядовитых змей, и куда ни бросишь взгляд, всюду были тела мертвых китайских солдат. Они лежали по обочинам дорог, они плавали в каналах и сбивались в заторы под опорами мостов. В траншеях между курганами сотни мертвых солдат сидели плечом к плечу, уткнувшись головами в развороченную землю, как будто уснули все разом, ушли в глухой и долгий сон войны.

* * *

Джим добрался до блокгауза, железобетонного форта, где сквозь узкие щели бойниц в густую и влажную тьму внутри пробивались тусклые отсветы дня. Он залез на крышу и пошел по краю, выглядывая в высокой траве свой самолетик. Планер упал метрах в двадцати от блокгауза, зацепившись за ржавые мотки колючей проволоки перед первой линией окопов. Бумага на крыльях, конечно, разодралась, но бальзовый каркас устоял.

Он уже совсем собрался спрыгнуть вниз, как вдруг заметил, что из траншеи за ним кто-то наблюдает. У обвалившейся земляной стенки

сидел на корточках японский солдат при полном вооружении: винтовка, портупея и скатка прорезиненной плащ-палатки рядком лежали на земле перед ним, как будто для проверки. Лет ему было не больше восемнадцати, спокойный и луноликий, он смотрел на Джима, ничуть не удивившись тому, что перед ним вдруг появился маленький мальчик-европеец в синих бархатных брюках и в шелковой рубашке.

Джим перевел глаза чуть дальше вдоль траншеи. На торчавшей из земли деревянной балке, поставив винтовки между колен, сидели еще два японца. Траншея была полна вооруженными людьми. Чуть дальше, ярдах в пятидесяти, под бруствером земляного блиндажа сидел еще один взвод: солдаты курили и читали письма. А за ними были еще и еще солдаты, чьи головы едва виднелись сквозь крапиву и сахарный тростник. На бывшем поле боя расположилась на отдых целая пехотная рота, как будто души убитых на прошлой войне солдат восстали из мертвых, собрали, начистили и смазали разбросанные когда-то винтовки и заново встали на вещевое и продуктовое довольствие. Они курили, щурясь от непривычного солнечного света, и лица их были повернуты туда, где высились в деловой части

Шанхая небоскребы, подсвечивая неоновыми вывесками пустые пересохшие рисовые поля.

Джим обернулся и посмотрел на истребитель, едва ли не в полной уверенности, что мертвый пилот стоит сейчас, по пояс высунувшись из кабины. Сквозь высокую траву между блокгаузом и самолетом шел японский сержант. Его сильное тело оставляло за собой в бурьяне желтовато-зеленую промоину. Он поднес к губам тлеющий окурок сигареты и втянул в легкие последнюю порцию дыма. Джим знал, что, хотя сержант не обращает на него внимания, он уже решил, что ему делать с мальчиком на крыше.

— Джейми!.. Мы все тебя ждем... У нас для тебя сюрприз!

Его звал отец. Он стоял в самом центре аэродрома, но, судя по всему, прекрасно видел сотни японских солдат в заброшенных окопах. На нем были очки; повязку с глаза и пиратский камзол он, судя по всему, оставил у доктора Локвуда. Он, должно быть, бежал всю дорогу бегом и теперь едва переводил дыхание, но старался стоять спокойно и не делать лишних движений, чтобы как можно меньше тревожить японцев. Китайцы, которые в самый критический момент принимались кричать и размахивать руками, этого не

понимали.

Однако, к удивлению Джима, сей маленький знак почтения со стороны отца, казалось, совершенно успокоил сержанта. Даже не взглянув на мальчика, он выбросил окурок и, спрыгнув в отделявшую аэродром от поля канаву, подобрал застрявший в колючей проволоке самолетик и зашвырнул его в крапиву.

— Джейми, сейчас начнется фейерверк… — отец осторожно двинулся вперед, по колено в траве, — нам с тобой давно пора идти.

Джим слез с крыши блокгауза.

— У меня самолет улетел — вон туда. Может, получится его достать?

Отец стоял и смотрел, как японский сержант идет вдоль бруствера. Джим видел, что речь дается ему с большим трудом. Лицо у него было такое же бледное и напряженное, как в тот день, когда профсоюзные активисты на хлопкоочистительной фабрике сказали ему, что они его убьют.

— Давай оставим его солдатам. Кто нашел, тот и хозяин.

— Это как с воздушными змеями?

— Ага.

— Он вроде бы не очень рассердился.

— Такое впечатление, что они сидят здесь и

чего-то ждут.

— Очередной войны?

— Нет, не думаю.

Они пошли через летное поле, рука об руку. Кругом было тихо, если, конечно, не считать безостановочной ряби на поверхности травы — как будто в ожидании невидимых доселе самолетов. Когда они дошли до ангара, отец вдруг крепко, до боли, стиснул Джима: как будто они должны были теперь расстаться навсегда. На Джима он вовсе не сердился и, казалось, был даже рад, что ему пришлось прогуляться на заброшенный аэродром.

Но Джим отчего-то чувствовал себя немного виноватым, и как-то вообще было не по себе. Он потерял модель, и отцу пришлось из-за него встретиться с японцем, ничего хорошего. Европейцы, которые поодиночке попадались японцам за городом, оставались потом лежать на обочине дороги мертвыми.

Когда они вернулись в дом доктора Локвуда, гости уже разъезжались. Собрав, как овец, своих детей и ама, они спешно погрузились в машины и тронулись, все вместе, в сторону Международного сеттльмента. Доктор Локвуд, в шароварах от Деда Мороза и в ватной бороде, махал им с

подъездной дорожки; мистер Макстед потягивал на берегу пустого бассейна свой виски, а китайские фокусники все карабкались по лесенкам и превращались в воображаемых птиц.

* * *

Джим сидел между родителями на заднем сиденье «паккарда» и никак не мог отделаться от мысли о потерянном самолетике. И к тому же — они что, боялись теперь посадить его рядом с Янгом, чтобы он не влез еще в какую-нибудь переделку? Вечеринку у доктора Локвуда он благополучно испортил, так что ему теперь навряд ли еще когда-нибудь удастся побывать на аэродроме в Хуньджяо. Он думал о разбившемся истребителе, с которым столько всего связано, и о мертвом летчике, чье присутствие он ощутил в ржавой кабине пилота.

Мысли были невеселые, но Джим тут же пришел в свое обычное радостное расположение духа, когда мама сказала ему, что они на несколько дней съедут из дома на Амхерст-авеню и поживут в зарезервированных за компанией комнатах в «Палас-отеле». На следующий день в Соборной школе начинались семестровые экзамены, геометрия и Священное Писание. А

поскольку от собора до отеля всего несколько сот ярдов, утром у него будет полным-полно времени, чтобы повторить материал. Джиму нравились занятия по Священному Писанию, особенно теперь, когда он сделался атеистом, и он неизменно получал самое искреннее удовольствие от успевшей войти в привычку похвалы преподобного Мэттьюза: «Наипервейший и величайший из всей этой шайки язычник, по имени…»

Джим сидел на переднем сиденье «паккарда» и ждал, пока родители переоденутся и пока погрузят в багажник их чемоданы. Когда они проезжали через ворота, он успел бросить взгляд на неподвижную фигурку нищего на старом истлевшем коврике. На левой ступне старика отпечатались следы от файерстоуновских протекторов[11]. Голову уже занесло жухлыми листьями и клочками газет: он успел стать частью той бесформенной мусорной кучи, из которой возник.

Джиму было жаль старого нищего, но думать он почему-то мог только о следах автомобильных покрышек на его босой ноге. Если бы они ехали на «студебекере» мистера Макстеда, след остался бы другой: старика заклеймили бы торговой мар-

---

[11] Примечания: 11

Протекторов, выпущенных американской компанией «Firestone Tire and Rubber».

кой компании «Гудиер»...[12]

Пытаясь отвлечься, Джим включил встроенный в приборную панель радиоприемник. Он всегда с особым чувством ждал этих вечерних поездок по центру Шанхая, города опасного и яркого, искрящегося электрическим током, будоражащего больше, чем какой-либо другой город на свете. Как только машина вырулила на проспект Кипящего Колодца, он прижался лицом к лобовому стеклу и стал смотреть на тротуары, вдоль которых сплошь стояли ночные клубы и заведения для азартных игр, на проституток из баров, на бандитов и богатых нищих, при каждом из которых состоял эскорт из телохранителей. В шестистах милях к востоку, в другом временном поясе, едва брезжило воскресное утро, спокойно спали в Гонолулу американцы, но здесь, на день вперед во времени, как и во всем остальном, Шанхай уже готовился встретить новую неделю. Толпы азартных игроков брали штурмом входы на стадионы для джай-алай, перекрывая движение по проспекту Кипящего Колодца. Перед

---

[12] Примечания: 12

На покрышках, выпускаемых химической компанией «Goodyear Tire and Rubber» (названа в честь изобретателя процесса вулканизации Чарлза Гудиера), выдавливается слово Goodyear. Рекламный лозунг компании гласит: «На лучших в мире шинах всегда написано “Гудиер”».

«паккардом» покачивался полицейский грузовик с двумя «томпсонами», торчащими из стальной башенки над кабиной, и расчищал дорогу. Группа молодых, одетых в платья с блестками китаянок склонилась над детским гробиком: гробик изукрашен бумажными цветами. «Паккард» подтолкнул их радиатором; они, не расцепляя рук, легли на капот, потом проплыли мимо Джимова окошка, шлепая ладонями о стекло и выкрикивая ругательства. Сотни проституток-евроазиаток в длинных, до земли, шубах рядами сидели в люльках рикш возле «Парк-отеля»: стоило в стеклянном турникете на выходе из отеля показаться постояльцу, и они тут же принимались призывно ему свистеть; их сутенеры оживленно торговались с чешскими и польскими парами — среднего возраста, в аккуратно заштопанных и залатанных костюмах, — которые пытались продать им свои последние бриллианты. Тут же, рядом, у витрины универмага «Сун-Сун» на Нанкинском проспекте, группа молодых евреев из Европы дралась в самой гуще фланирующей толпы с немцами: немцы были постарше, и на рукавах у них красовались украшенные свастикой повязки клуба «Граф Цеппелин». Полицейская сирена спугнула их, и они тут же исчезли за

дверьми «Катая», самого большого в мире кинотеатра, возле которого уже собиралась толпа китайских девушек, машинисток и продавщиц, а также карманников и нищих, — посмотреть, как станут съезжаться к вечернему сеансу зрители. Выплывали из лимузинов дамы в вечерних платьях и несли себя сквозь почетный караул из пятидесяти облаченных в средневековые костюмы горбунов. Три месяца тому назад, когда родители взяли Джима на премьеру «Собора Парижской Богоматери», горбунов тут было двести: дирекция кинотеатра выискивала их по всем шанхайским закоулкам и нанимала на работу. Как обычно, спектакль у входа в кинотеатр был во много раз интереснее того, что могли показать внутри, и Джиму хотелось вернуться обратно на улицу, подальше от назойливо напоминавших о войне киножурналов.

После ужина Джим лежал в спальне на десятом этаже «Палас-отеля» и изо всех сил пытался не уснуть. Он вслушивался в гудение приводнившегося на базе военно-морской авиации в Нантао японского гидроплана и думал об истребителе, который разбился на заброшенном аэродроме, и о японском пилоте, чье место в кабине он занял сегодня утром. Быть может, дух японского пилота

уже вселился в него, и японцы вступят в войну на стороне Британии? Джим грезил о надвигающейся войне, о кинохронике, в которой он, в летном костюме, будет беззвучно стоять на палубе авианосца, готовый в любой момент встать плечом к плечу с этими вечно одинокими людьми, островитянами из Китайского моря, унесенными «божественным ветром»[13] на другую сторону Тихого океана.

4
Нападение на «Буревестник»

Утренний прилив нес по реке Хуанпу со стороны Янцзы целое поле бумажных цветов: они сбивались у чумазых, покрытых нефтяными

---

[13] Примечания: 13

«Божественный ветер», камикадзе, согласно имеющей исторические основания легенде, спас японские острова от монгольского завоевания в 1274 году, когда, после победоносного сражения при Хаката, монголы почему-то не стали развивать успех, а ушли на кораблях обратно в Корею. Впрочем, при повторной попытке осуществить десантную экспедицию в том же районе (в 1281 г.) именно мощный тайфун уничтожил китайско-корейский флот с монгольским экспедиционным корпусом в пределах прямой видимости с японского берега, после чего японцам осталось только подавить сопротивление нескольких тысяч спасшихся вплавь завоевателей на маленьком островке Такашима. Мифологема «божественного ветра» широко использовалась японской пропагандой еще в ходе подготовки ко Второй мировой войне, что позволило создать целую культуру самурайского служения, связанную с летчиками-камикадзе (и менее эффективными, а оттого и менее

известными «людьми-торпедами»).

пятнами пирсов в яркие, разноцветные бумажные воротники. Джим сидел у окна в спальне в «Палас-отеле»; до рассвета оставалось всего несколько минут. Он уже успел надеть школьную форму; до завтрака еще целый час, как раз хватит времени повторить материал. Однако ему, как всегда, трудно было оторвать взгляд от воды и от того, что творилось на воде и с водою рядом. Лоточники у отеля уже раскочегарили жаровни, и запах от шипящих на арахисовом масле рыбьих голов с соевым соусом доносился до верхних этажей. Запачканные тунгом джонки с нарисованными по носу глазами шли под парусами мимо опиумных притонов, устроенных в старых, пришвартованных у путунского берега дебаркадерах. Тысячи суденышек-сампанов и паромов-плоскодонок были зачалены вдоль Дамбы, целый город плавучих хибар, все еще скраденный тьмой. Однако сквозь путунские фабричные трубы уже сочились над рекой первые проблески солнечного света, рельефно оттеняя глыбистые

очертания КСШ[14] «Бдительный» и ЕВК[15] «Буревестник».

Американская и британская канонерки стояли на якоре прямо на самом фарватере, напротив выстроившихся вдоль Дамбы гостиниц и банков. Джим увидел, как от берега отвалил катер: два британских офицера возвращаются на «Буревестник» после ночевки на берегу. С капитаном Полкингхорном, командиром «Буревестника», его как-то раз познакомили в «Шанхай кантри-клаб», да и вообще он знал наизусть все военные суда на этой реке. Даже в тусклых утренних сумерках он сумел разглядеть, что итальянский монитор[16] «Эмилио Карлотта», который выбрал себе для якорной стоянки место у примыкавшего к Дамбе городского парка — нахально прямо напротив британского консульства, — ночью снялся с якоря. Теперь на его месте стояла японская канонерка, приземистая, с грязно-серыми

---

[14] Примечания: 14

«Корабль Соединенных Штатов», стандартная аббревиатура для обозначения американских боевых кораблей.

[15] Примечания: 15

«Его (Ее) Величества Корабль», то же самое — в отношении британского военного флота.

[16] Примечания: 16

Небольшое боевое судно с невысокими бортами и мощным артиллерийским вооружением. Использовалось для бомбардировки прибрежных районов.

пушечными стволами и камуфляжными пятнами на трубе и палубных надстройках. По обе стороны от носа, от якорных портов вниз тянулись пятна ржавчины. Иллюминаторы на мостике были задраены стальными ставнями, а барбеты носовой и кормовой орудийных башен обложены мешками с песком. Джим глядел на этот мощный маленький корабль и думал, что он, должно быть, получил повреждения, патрулируя устье Янцзы. У рубки суетились офицеры и матросы; сигнальный фонарь передал на берег какое-то сообщение.

В двух милях выше по течению, возле военно-морской авиабазы Наньдао, было плавучее заграждение — бон; китайцы в тридцать седьмом году затопили там десятка полтора сухогрузов и пассажирских судов, пытаясь перекрыть доступ в реку. Сквозь рваные дыры в стальных мачтах и в трубах светило солнце; прилив гнал волны через палубы, заплескивал в каюты. Всякий раз по дороге домой с отцовской фабрики Джим мечтал остановить автомобиль у бона и полазать по кораблям, исследовать ушедшие под воду каюты, целый мир давнишних чьих-то путешествий, забытых, заплывших ржавчиной.

Он смотрел, как настойчиво пульсирует сиг-

нальный фонарь на мостике японской канонерки у городского парка. Может быть, и это усталое, ощерившееся пушками судно тоже вознамерилось пойти ко дну? Джим глубоко уважал японцев, но все шанхайские британцы ни в грош не ставили их флот. Впрочем, крейсер «Идзумо», стоявший на якоре возле японского консульства в Хонкю, в полумиле вниз по течению, все равно выглядел куда внушительнее и «Бдительного», и «Буревестника». Хотя, в общем-то, «Идзумо», флагман здешней японской флотилии, построен был в Англии и числился в Королевском военно-морском флоте, пока его не продали японцам во время Русско-японской войны 1905 года.

Свет пробирался по-над плоским хребтом реки, то там, то здесь выхватывая вдруг бумажное соцветие, как обрывки гирлянд, пущенных по воде поклонницами военных моряков. Каждую ночь жители Шанхая, слишком бедные для того, чтобы как следует похоронить своих родственников, отправляли трупы в плавание с похоронного пирса в Наньдао, засыпав сверху гроб бумажными цветами. Унесенные отливом, с утренним приливом гробы возвращались обратно к шанхайскому прибрежью, вместе с прочим отброшенным городом за ненадобностью мусором. Целые луга

бумажных цветов дрейфовали по воле прилива и сбивались в миниатюрные клумбы вокруг раздувшихся стариков и старух, молодых матерей и младенцев, которых, казалось, откармливала всю ночь терпеливая Янцзы.

Джиму не нравилась эта мертвецкая регата. В занимающемся свете утра завитки бумажных цветов были похожи на внутренности, разметанные вокруг жертв взрыва на Нанкинском проспекте, когда террорист бросил бомбу. Он снова сосредоточил внимание на японской канонерке. С нее как раз спустили на воду моторную шлюпку, которая тут же тронулась через реку в сторону КСШ «Бдительный». В шлюпке лицом друг к другу, держа винтовки как вертикально поднятые весла, сидела дюжина японских морских пехотинцев. На носу стояли два военно-морских офицера в парадной форме, и у одного в обтянутой перчаткой руке был мегафон.

Джим, удивленный этим явно официальным визитом в столь ранний час, залез на подоконник и прижался лицом к стеклу. От «Идзумо» отвалили два сторожевых катера, на каждом по полсотни морпехов. Все три суденышка встретились посреди реки и заглушили моторы. Они стояли и покачивались на волнах, в окружении

бумажных цветов и старых пустых ящиков. Мимо них прошла моторная джонка, битком набитая бамбуковыми клетками: в клетках лаяли собаки, джонка шла на мясной рынок в Хонкю. У штурвала стоял голый кули и пил из бутылки пиво. Он даже и не попытался хоть немного изменить курс, когда его носовая волна накрыла спущенную с канонерки шлюпку. Японский офицер, не обращая внимания на брызги, поднял ко рту мегафон и обратился на «Бдительный».

Джим рассмеялся и забарабанил ладонями о стекло. Весь Шанхай, до последнего человека, знал, что никого из американских офицеров на борту сейчас нет. Спят себе спокойно в номерах «Парк-отеля». Ну точно: из носового кубрика появился заспанный матрос-китаец в тельняшке и шортах. Он только покачал головой и принялся полировать медные поручни, когда японский сторожевик пришвартовался к канонерке, морские пехотинцы взобрались по трапу и мигом рассеялись по всей палубе. Держа обеими руками винтовки с примкнутыми штыками, они принялись исследовать корабль, пытаясь найти хоть кого-нибудь из американцев.

Моторка в сопровождении второго сторожевика подошла к ЕВК «Буревестник». Краткий

разговор с молодым британским офицером на мостике закончился бесцеремонным жестом британца: именно так родители Джима отказывались покупать в сингапурской гавани яванские маски и резных слоников у торговцев из лодок-долбленок, которые мигом собирались вокруг любого круизного парохода.

Неужто японцы пытались что-то продать британским и американским морякам? Даже Джиму было яснее ясного, что они зря тратят время. Стоя на подоконнике, прижавшись всем телом к стеклу, он стал сигнализировать японцам руками, изо всех сил пытаясь вспомнить азбуку флагов, которую так неохотно учил в свое время у скаутов. Японский офицер из шлюпки передал что-то фонариком на канонерку у городского парка. Проследив глазами заикающуюся скороговорку света, Джим увидел, что мимо британского консульства бегут сотни китайцев. Из трубы канонерки повалили густые клубы дыма и пара, казалось, корабль вот-вот взлетит на воздух.

Ствол носового башенного орудия взорвался вдруг мгновенной яркой вспышкой, которая разом осветила и мостик, и палубу. В шестистах ярдах от канонерки раздался ответный взрыв: снаряд ударил в палубные надстройки на «Бу-

ревестнике». Взрывная волна прокатилась по гостиницам вдоль Дамбы, и тяжелое оконное стекло ударило Джима по носу. Как только канонерка произвела второй выстрел из кормового орудия, он соскочил с подоконника на кровать и заплакал, а потом затих и присел за массивным, из красного дерева, изголовьем.

С якорной стоянки возле японского консульства открыл огонь крейсер «Идзумо». Вспышки выстрелов пробивались сквозь дым, который валил из всех трех его труб и полз над водой, как черное боа из перьев. «Буревестник» был уже едва виден через плотную пелену пара: сквозь пар тут и там прорывались языки пламени и отражались в воде. Вдоль Дамбы пронеслись на бреющем два японских истребителя, так низко, что Джим успел разглядеть в кабинах пилотов. По трамвайным путям врассыпную бросились толпы китайцев, одни на пристань, другие попытались укрыться под козырьками гостиниц.

— Джейми! Что ты делаешь? — В спальню ворвался отец, босой и в пижаме. Он неуверенно пробежался глазами по мебели, так, словно не узнал комнаты в собственном, давным-давно знакомом номере. — Джейми, отойди от окна! Одевайся и делай так, как скажет мама. Мы ухо-

дим через три минуты.

Судя по всему, он даже не заметил, что на Джиме уже надеты школьная форма и блейзер. Внезапно оба невольно зажмурились: казалось, орудия прямой наводкой ударили по отелю, — и тут с середины реки донесся мощный взрыв. Горящие обломки «Буревестника» взлетели высоко, как ракеты во время фейерверка, и упали в воду. Джим едва соображал от дыма и грохота. По коридорам гостиницы бежали люди; пожилая англичанка кричала в шахту лифта. Джим сел на кровати и стал смотреть на горящую платформу посреди реки. Каждые несколько секунд из самой ее середины вырывался высокий язык пламени. Британские моряки на «Буревестнике» пытались огрызаться. Они развернули одно орудие и били по «Идзумо». Но Джим смотрел на них, и радости их героизм в нем не вызывал ровным счетом никакой. Ему казалось, что война, вероятнее всего, началась по его вине: японский офицер в шлюпке увидел его неразборчивые сигналы из окна гостиницы и неправильно их понял. Надо ему было остаться в волчатах. Преподобный Мэттьюз теперь, наверное, высечет его розгами на глазах у всей школы за то, что он японский шпион.

— Джейми! Ляг на пол! — Мама стояла на четве-

реньках в соседнем дверном проеме. В перерыве между залпами она оторвала его от окна и прижала к ковру.

— А как же школа? — спросил Джим. — У меня сегодня экзамен по Священному Писанию.

— Нет, Джейми. Сегодня в школе выходной. Надо пойти посмотреть, не сможет ли Янг отвезти нас домой.

Джима поразило, какая она спокойная. Он решил не рассказывать ей о том, что войну начал именно он. Родители оделись, и они все вместе тронулись в путь. Вокруг лифтов собралась уже целая толпа европейцев и американцев. По лестнице никто из них идти явно не собирался: они колотили в решетчатые двери лифтов и кричали в шахты. Все надели шляпы и плащи, взяли с собой чемоданы, так, словно собирались поспеть на следующий рейс до Гонконга. Мать присоединилась было к ним, но отец взял ее за руку и силой вытянул на лестничную клетку.

Джим мчался впереди, то и дело стукая от усердия коленями друг о дружку, и в нижний холл спустился первым. Повара-китайцы, постояльцы с нижних этажей и клерки из русских эмигрантов прятались, скорчась, за кожаной мебелью и за пальмами в кадках, но отец Джима решитель-

ным шагом двинулся мимо них к вертящейся двери-турникету на выходе.

Канонада стихла. По Дамбе бежали тысячные толпы китайцев, обтекая застывшие посередине улицы трамваи и припаркованные на ночь автомобили; ковыляли старенькие ама в черных брюках, кули тянули за собой пустые рикши, неслись со всех ног нищие и лодочники с сампанов, одетые в униформу гостиничные коридорные. Над рекой висело плотное облако дыма, огромное, как целый затянутый туманом город, — и над ним поднимались мачты «Идзумо» и «Бдительного». Возле городского парка японская канонерка по-прежнему выбрасывала из трубы клубы раскаленной сажи.

«Буревестник» тонул, так и не снявшись с якоря. С кормы и из средней части корабля валил пар пополам с дымом, и Джим видел, как выстроилась на носу цепочка моряков, в ожидании, когда можно будет занять место в спущенном на воду катере. Вдоль Дамбы шел японский танк, высекая гусеницами искры из трамвайных рельсов. Судорожно дернувшись, он объехал покинутый водителем трамвай и раздавил о телеграфный столб рикшу. Отлетевшее от люльки покореженное колесо, пошатываясь, покатилось по дороге

— нога в ногу с японским офицером, который командовал штурмовой группой. В руке у офицера был обнаженный самурайский меч, приподнятый вверх так, словно он собрался погонять им катящееся рядом колесо. Вдоль среза воды опять пронеслась на бреющем пара истребителей, и воздушная волна от их пропеллеров снесла на сампанах бамбуковые городушки, явив на свет божий сотни скрючившихся на палубах китайцев. На Дамбу вышел батальон японских морских пехотинцев, появившихся, как на оперной сцене, меж искусно выпестованными декоративными деревьями в городском парке. Один взвод, во главе с офицером, примкнув штыки, тут же взбежал по ступенькам британского консульства. В руке у офицера был «маузер».

— Вон машина… бегом!

Схватив жену и Джима за руки, отец потащил их за собой через улицу. Джима тут же сбил наземь пробегавший мимо кули. Оглушенный, он лежал среди гулко дробочущих о землю ног и ждал, когда этот голый по пояс китаец вернется и извинится перед ним. Потом он встал сам, отряхнул пыль с шапочки и блейзера и побежал за родителями следом, туда, где напротив «Шанхай-клаба» был припаркован автомобиль. На

ступеньках сидела группа выбившихся из сил китаянок, они копались в сумочках и кашляли: из накренившегося корпуса «Буревестника» по поверхности реки растеклось горящее дизельное топливо.

Они тронулись с места в тот самый момент, когда японский танк поравнялся с «Палас-отелем». Вокруг металась толпа служащих, коридорные-китайцы в американской униформе с витыми галунами, официанты в белых куртках, постояльцы, то и дело цепляющиеся за чемоданы и шляпы. Перед танком проталкивались через толпу два японских мотоциклиста; у каждого в люльке сидел вооруженный солдат. Привстав на педалях, они пытались протолкнуться через коляски и рикши, телеги и скопления босоногих кули, шатающихся под тяжестью подвешенных к длинным коромыслам кип хлопка-сырца.

Посреди Дамбы уже образовалась изрядных размеров пробка. В который раз извечная шанхайская толкотня и давка засасывала завоевателей. Может быть, на этом война и закончится? Сквозь заднее стекло «паккарда» Джим наблюдал за тем, как японский сержант кричит на сгрудившихся вокруг него китайцев. У его ног лежал мертвый кули, из-под головы которого по

мостовой растекалась кровь. Танк окончательно остановился, затертый множеством повозок: дорогу ему перегородил белый «Линкольн Зефир». Две молодые китаянки в длинных шубах, танцовщицы из ночного клуба, располагавшегося на крыше билдинга «Стандард ойл», сражались с рулем и передачами, то и дело прыская со смеху в маленькие ладошки с пальчиками сплошь в бриллиантах.

— Ждите меня здесь! — Отец распахнул дверцу и вышел на дорогу. — Джим, присмотри за мамой!

Со стороны захваченного японцами КСШ «Бдительный» раздалась пулеметная очередь. Морские пехотинцы стояли на мостике и стреляли из винтовок по плывущим с «Буревестника» к берегу британским морякам. Корабельный катер, набитый ранеными, тонул на грязевой отмели неподалеку от причалов Французской концессии. Моряки прыгали за борт, по бедра уходя в черную грязь, и по рукам у них текла кровь. Раненый корабельный старшина упал в воду, и его понесло течением в сторону темных пирсов Дамбы. Цепляясь друг за друга, моряки беспомощно барахтались в грязи, и их захлестывали набегающие волны прилива. Первые погребаль-

ные цветы уже успели добраться до них и начали сбиваться в пышные оборки вокруг плеч.

Джим наблюдал, как отец пробивается сквозь толпу сгрудившихся у пристани лодочников. От «Шанхай-клаба» уже бежала группа британцев, сбрасывая на ходу плащи и пиджаки. В жилетах и сорочках они прыгали с причала в грязь, уходили едва не по пояс, размахивали руками, пытаясь сохранить равновесие. Японские морские пехотинцы на «Бдительном» продолжали вести огонь по катеру, но двоим британцам уже удалось добраться до раненого моряка. Они схватили его под руки и поволокли ближе к берегу. Следом за ними к катеру пробирался, разгребая перед собой черную жижу, отец в забрызганных водою очках. Когда он подхватил дрейфующего между пирсами раненого старшину, приливная волна захлестнула его по грудь. Он уцепил его за руку и потащил на отмель, а потом, выбившись из сил, рухнул рядом со спасенным моряком на колени, в маслянистую грязь. Другим мужчинам тоже удалось добраться до тонущего катера. Они переваливали через борт последних оставшихся там раненых и падали за ними следом в воду. Потом наполовину плыли, наполовину карабкались по грязи дальше к берегу, где, уже на отмели, им

пришла на помощь вторая волна спасателей.

Пятно горящего топлива с «Буревестника» достигло берега и накрыло дымом образовавшуюся на Дамбе пробку и наступающих японцев. Джим поднял было стекло в своем окне, но тут «паккард» с силой бросило вперед, а потом тряхнуло из стороны в сторону. Лобовое стекло разлетелось вдребезги и засыпало осколками сиденья. Джим упал на пол, маму бросило вбок, и она ударилась головой о стойку дверцы.

— Джейми, выбирайся из машины… Джейми!

Она, оглушенная, открыла дверцу и встала на тротуаре, вытянув за собой из раскачивающейся машины сумочку. «Линкольн Зефир» стоял пустой, китаянки куда-то исчезли, а японский танк продолжал прокладывать себе дорогу вперед. Стальная гусеница смяла заднее крыло «линкольна» вместе с колесом, а потом толкнула тяжелую машину сзади на «паккард».

— Джейми, выходи скорей… мы идем домой…

Прижав одну руку к разбитому лицу, мама другой пыталась открыть покореженную заднюю дверцу. Танк остановился, перед тем как снова ударить «линкольн». Японские морские пехотинцы пробирались между машинами и рикшами, нанося штыками удары вслепую, направо и на-

лево. Джим перебрался на переднее сиденье и открыл шоферскую дверцу. Он выпрыгнул на мостовую и нырнул под оглобли рикши, груженного мешками с рисом. Танк дернулся вперед, выпустив из выхлопных труб облако дыма. Джим видел, как мама попала в толпу китайцев и европейцев, которых морские пехотинцы гнали на ту сторону Дамбы. За первым танком шел второй, а за ними — колонна раскрашенных камуфляжными пятнами грузовиков с солдатами.

Последний винтовочный выстрел щелкнул с КСШ «Бдительный». Последних раненых моряков вытянули на сухой клочок грязи под бетонным парапетом Дамбы. Горючее, вытекающее из подтопленного «Буревестника», длинной полосой протянулось через реку, прикрыв и успокоив поле битвы. Англичане, которые помогли спастись морякам с канонерки, сидели в перепачканных сорочках у воды рядом с ранеными. Отец пытался вытянуть раненого старшину повыше, на сухой берег. Но сил у него было немного, он оступился и упал ничком в мелкий ручей, который тек через заляпанную нефтяными потеками отмель из канализационного сброса под пирсом.

Японские солдаты на Дамбе оттесняли толпу от парапета, выгоняя европейцев и китайцев из

машин и рикш. Мама куда-то пропала, отрезанная от Джима колонной военных грузовиков. Раненый британский моряк, светловолосый, лет восемнадцати, не больше, от роду, стал взбираться вверх по ступенькам причала, расставив руки в стороны, как две окровавленные ракетки для пинг-понга.

Поправив школьную шапочку, Джим метнулся мимо него, мимо молчаливо наблюдающих за происходящим лодочников с сампанов. Он скатился по ступенькам и спрыгнул с причала на губчатую поверхность отмели. Уйдя по колено, он побрел, с трудом вытаскивая ноги, по чавкающей грязи к отцу.

— Мы вытащили их, ты молодец, Джейми.

Отец сидел посередине ручья, рядом с телом корабельного старшины. Он потерял очки и одну туфлю, брюки его выходного костюма были сплошь заляпаны нефтью, но галстук и крахмальный воротничок по-прежнему были при нем. В руке у него была желтая шелковая перчатка, вроде тех, что мама надевала на официальные приемы в британском посольстве. Приглядевшись к перчатке повнимательней, Джим понял, что это кожа с руки корабельного старшины, обгоревшая и целиком отставшая от мяса во время

пожара в машинном отделении.

— Все, сейчас утонет…

Отец резким движением зашвырнул перчатку в воду, так, будто оттолкнул руку назойливого нищего. Приглушенный, хрипло-сдавленный взрыв раздался над рекой — откуда-то из-под накренившегося корпуса «Буревестника». Палуба взлетела на воздух, из-под нее вырвались густые клубы пара, и канонерка скрылась под водой. Вода вскипела, над поверхностью яростно взбухло облако дыма и заметалось из стороны в сторону, словно пытаясь отыскать исчезнувший на глазах корабль.

Отец откинулся на спину и лег прямо в грязь. Джим сел рядом с ним на корточки. Грохот танковых двигателей на Дамбе, громкие команды японских сержантов и рев нарезающих над городом круги самолетов ушли, казалось, куда-то далеко-далеко. Вода принесла первые обломки с «Буревестника»: спасательные жилеты, куски деревянной обшивки, кусок полотняного навеса с волочащимися за ним веревками, похожий на огромную медузу, которую затонувшая канонерка вспугнула и заставила подняться на отмель из сумеречных речных глубин.

Солнечные зайчики заплясали по отмели и

пирсам, как беззвучный огонь артиллерийских батарей. Наверху, вдоль парапета Дамбы, выстроились сотни японских солдат. Их штыки были похожи на мечи, целый частокол обнаженных мечей, — и на штыках играло солнце.

5
Бегство из госпиталя

— «Мицубиси»… «Зеро-сэн»…[17] э… «Накадзима»…[18] э…

Джим лежал на койке в детском отделении и слушал, как молодой солдат-японец называет марки пролетающих над госпиталем самолетов. В небе над Шанхаем их была тьма-тьмущая. Солдат и знал-то названия всего двух типов самолетов, к тому же у него, по всей видимости, ото всей этой нескончаемой небесной круговерти кружилась голова.

---

[17] Примечания: 17

Очевидно, имеется в виду основная модель японского палубного одноместного истребителя, «Мицубиси» A6M тип 0 («Рэй-сэн», «Зик» или «Зеро»). Еще в 1940 году две эскадрильи этих машин (общим числом 30 ед.) были направлены в Китай, где отлично показали себя в боях, после чего вся палубная японская авиация была переведена на эту модель.

[18] Примечания: 18

«Накадзима» — марка по крайней мере 8 различных японских боевых машин.

Уже три дня Джим мирно отдыхал в палате на самом верхнем этаже госпиталя св. Марии во Французской концессии, и единственный, кто мешал ему жить, был молодой солдат, который курил как паровоз и был полным дилетантом в авиационной технике. В палате Джим был один; он думал об отце и матери и надеялся, что скоро они к нему придут. А еще он слушал, как с воздушной военно-морской базы в Наньдао взлетают гидропланы.

— …Э… Э…

Солдат тряс головой, в который раз ронял сигарету и принимался искать окурок на девственно-чистом полу. Джим слышал, как в коридоре внизу, под лестничной площадкой, французские сестры-миссионерки спорят с японской военной полицией, которая заняла это крыло госпиталя. Несмотря на жесткий матрас, беленые стены с неприятной иконкой над каждой кроватью — младенец Иисус на кресте в окружении китайских последователей — и зловещий химический запах (неотделимый, как ему в последнее время стало казаться, от веры в Бога), Джиму как-то не верилось, что война и вправду наконец началась. Весь мир, казалось, отгородился от него глухими и гулкими стенами, и каждое встреченное им

лицо выглядело странно.

Он прекрасно помнил рождественский вечер у доктора Локвуда в Хуньджяо и китайских фокусников, которые превращались в птиц. Но вот артобстрел «Буревестника», танк, переехавший «паккард», и тяжелые орудия «Идзумо» принадлежали к царству грез. Ему казалось, что вот-вот в палату войдет Янг и скажет, что на Шанхайской киностудии снимается новый цветной фильм, масштабное эпическое полотно, и это все лишь постановочные трюки.

Что, вне всякого сомнения, относилось к сфере реальности, так это грязевая отмель, куда отец помогал вытаскивать раненых моряков и где они просидели шесть часов бок о бок с телом мертвого корабельного старшины. Казалось, японцы были настолько ошарашены скоростью, с которой город перешел в их руки, что им потребовалось время для того, чтобы осознать смысл происшедшего. Через несколько часов после атаки на Перл-Харбор японские войска, стоявшие вокруг Шанхая, вошли в Международный сеттльмент. Морские пехотинцы, которые взяли на абордаж КСШ «Бдительный» и оккупировали Дамбу, отпраздновали победу, пройдя церемониальным маршем мимо гостиниц и банковских домов.

Тем временем оставшиеся в живых раненые моряки с «Буревестника» и те штатские британцы, которые пришли к ним на помощь, по-прежнему сидели на отмели возле канализационного стока. Вооруженный отряд военной полиции спустился с причала и прошел вдоль воды. Капитана Полкингхорна, раненного в голову, и его первого помощника увели, но прочих так и оставили сидеть на солнышке. Японский офицер в парадной форме, сжав в руке ножны меча, обошел изможденных, истекающих кровью людей, вглядываясь в каждого по очереди. Когда очередь дошла до Джима, который, по-прежнему в блейзере и школьной шапочке, сидел возле выбившегося из сил отца, японца явно озадачила сложносочиненная кокарда и нашивки Соборной школы: должно быть, он принял Джима за необычайно юного гардемарина флота Его Величества.

Часом позже капитана Полкингхорна вывезли на моторке на место затопления «Буревестника». Прежде чем покинуть корабль, капитану удалось уничтожить шифры, и японцы еще несколько дней вели в этом месте водолазные работы, безуспешно пытаясь достать кодировщики.

В начале одиннадцатого японцы возобновили движение по Дамбе, и к парапету были согнаны

тысячи взбудораженных китайцев и европейцев-нейтралов. Они смотрели вниз на окровавленную команду «Буревестника» и молча наблюдали за тем, как на мачте КСШ «Бдительный» торжественно подняли «Восходящее Солнце». Джим прижался к отцу — на холодном декабрьском солнце его била дрожь — и глядел в лишенные всякого выражения глаза китайцев, сбитых японцами в кучу у парапета. Их привели сюда в качестве свидетелей окончательного и бесповоротного унижения союзных держав перед лицом Японской империи: наглядный урок для тех, кто не желает присоединяться к Содружеству во имя Процветания[19]. К счастью, несколько часов спустя через толпу удалось пробиться представителям германского и французского вишистского посольств. Они начали бурно протестовать против такого обращения с ранеными британцами. Настроение японцев, как это нередко с ними случалось, вдруг резко переменилось, они дали себя убедить, и пленников буквально тут же отправили в госпиталь св. Марии.

Едва переступив порог, Джим сразу начал думать о том, как ему сбежать отсюда и вернуться

[19] Примечания: 19

Официальное пропагандистское самоназвание держав Оси в их экономически-интеграционной ипостаси.

к маме на Амхерст-авеню. Французский доктор, который намазал ему зеленкой колени, и сестры, которые его купали, сразу поняли, что он британский школьник, и попытались добиться для него свободы. Японцы, однако, заняли целое крыло госпиталя, очистили его от больных китайцев и установили на каждом этаже по охраннику. У детской палаты на верхнем этаже поставили молодого солдата, который проводил время, стреляя сигареты у сестричек и выкрикивая названия пролетавших над головой самолетов.

Монахиня-китаянка сказала Джиму, что его отец вместе с другими гражданскими находится в палате этажом ниже, отходит от последствий резких нагрузок на сердце и неблагоприятного воздействия среды, но через несколько дней его выпишут. Тем временем, преследуя какие-то свои цели, японское верховное командование принялось превозносить храбрость капитана Полкингхорна и его команды. На второй день после боя капитан «Идзумо» прислал в госпиталь группу офицеров при полном параде, и они торжественно отдали честь раненым морякам в полном соответствии с традициями бусидо, поклонившись лично каждому. Англоязычная «Шанхай таймс», издававшаяся британцами, но

давно уже не скрывавшая своих прояпонских симпатий, поместила на первой странице фотографию «Буревестника» и статью, воспевшую подвиг команды. В вынесенных на первую полосу заголовках говорилось о японской атаке на Перл-Харбор и о бомбардировке Кларк-Филд в Маниле[20]. Карандашные эскизы, предоставленные нейтральным агентством новостей, демонстрировали апокалипсические сцены с облаками дыма над уходящими под воду американскими боевыми кораблями.

Теперь, когда японцы выиграли войну, думал Джим, жизнь в Шанхае, по идее, должна вернуться в нормальное русло. Когда молодой солдат показал ему газету, он внимательнейшим образом изучил фотографии, на которых с японских авианосцев поднимались в небо истребители-бомбардировщики, сцены, словно бы нарочно переснятые с его собственных снов в спальном

---

[20] Примечания: 20

Речь идет о достаточно удачной атаке 8 декабря японских 21-й и 23-й морских воздушных флотилий на американскую авиабазу Кларк-Филд неподалеку от Манилы. Несмотря на сообщение о бомбардировке Перл-Харбора и о начале войны, командование авиабазой оказалось совершенно не готово к японской атаке, в результате чего японцы неожиданно для себя застали практически все имеющиеся на базе самолеты на земле — и, естественно, сожгли их, уничтожив тем самым половину тяжелых бомбардировщиков и треть истребителей всех американских дальневосточных военно-воздушных сил.

номере «Палас-отеля» накануне войны.

Развалившись на соседней койке, солдат тыкал пальцем во взлетающие самолеты, ожидая, что на Джима произведет впечатление эта ошеломляющая демонстрация военной мощи.

— …Э… Э…

— «Накадзима», — сказал Джим. — «Накадзима Хаябуса»[21].

— «Накадзима»?

Солдат глубоко вздохнул, как если бы сам разговор о военной авиации был явно не по плечу маленькому английскому мальчику. По правде говоря, Джим узнавал по силуэту едва ли не любую японскую боевую машину. Британские выпуски кинохроники о японо-китайской войне открыто насмехались над японскими самолетами и летчиками, но и отец, и мистер Макстед всегда говорили о них с уважением.

Джим как раз раздумывал над тем, как бы ему повидаться с отцом, когда дежурный капрал прокричал снизу в лестничный проем какую-то команду. Молодому солдату этот маленький про-

---

[21] Примечания: 21

Джим уточняет, что речь идет об армейском одноместном истребителе-бомбардировщике «Накадзима» Ки. 43 тип 1 «Хаябуса». Следовательно, над Шанхаем «демонстрирует мощь» не только морская, но и армейская японская авиация.

тивный капрал (важнее чина в японской армии, судя по всему, не существовало) явно внушал ужас. Он тут же отбросил окурок, подхватил винтовку и пулей вылетел из палаты, погрозив предварительно Джиму пальцем.

Счастливый тем, что остался один, Джим тут же выбрался из постели. Сквозь окно ему была видна группа выздоравливающих сирот-китайчат на балконе соседнего крыла госпиталя. Они целыми днями сидели на балконе и пялились на него, одетые, милостью местной французской благотворительной организации, в точно такие же, как у него, европейские халаты. Между крыльями здания шла металлическая пожарная лестница, обложенная еще в 1937 году мешками с песком — для защиты окон от шальных, время от времени залетавших из-за реки снарядов.

Джим, как был босиком, подошел к задней двери. Между мешками был оставлен узкий проход, а в нем просыпавшийся песок и сотни окурков — свидетельства тоскливых докторских перекуров. Стараясь не наступать на осколки битого оконного стекла, он пошел вниз по пожарной лестнице. К соседнему крылу от расположенной этажом ниже палаты вел ржавый металлический мостик.

Джим быстро спустился по железным ступень-

кам и пробежал по мостику. Где-то на этом этаже были отец и те, кто выжил на «Буревестнике». Окна палат, выходивших на пожарную лестницу, были закрашены черной краской — для светомаскировки. Провожаемый любопытными взглядами китайчат, он пошел по металлическому настилу вокруг крыла. Дверь черного хода в палату была заперта изнутри, но когда он потянул за ручку, головы китайчат вдруг разом исчезли за перилами балкона. На крыше стоял японский солдат с винтовкой: он посмотрел вниз, во двор-колодец между крыльями госпиталя, и что-то крикнул. Через внутренний двор побежали солдаты с примкнутыми штыками, а потом сквозь ворота вырулил мотоцикл с пулеметом на бронированной коляске. Джим слышал, как грохочут о каменные ступени солдатские башмаки и приклады винтовок; потом до него донеслись возмущенные крики французских монахинь.

Он присел за мешками с песком, перед запертой дверью. Солдаты уже бежали по металлическому настилу мимо детской палаты, и сквозь ржавый решетчатый пол сыпался песок. С авеню Фош донесся автомобильный гудок, и Джим понял, что все японские оккупационные войска, сколько их было в Шанхае, уже подняты по тревоге на

его поиски.

Щелкнула задвижка, и дверь в палату распахнулась. Внутри было темно; затем, в случайно прорвавшейся сквозь облака вспышке солнечного света, Джим разглядел большую, на пещеру похожую комнату, в которой было полным-полно забинтованных людей, причем некоторые лежали на полу между койками; там были еще монахини, и японские солдаты с винтовками и брезентовыми носилками в руках отталкивали их с дороги. Бледные лица молодых британских моряков повернулись к солнцу, и тут же комната тяжело дохнула на него болезнью, ранами и затхлостью, и свежего воздуха вокруг не стало.

В дверном проеме стоял японский капрал и смотрел на Джима, скорчившегося между мешками с песком. Потом он захлопнул дверь, и Джим услышал, как он с криком влепил кому-то из солдат-японцев затрещину.

* * *

Час спустя Джим, опять водворенный в детскую палату, остался один. На авеню Фош снова загудели клаксоны, и он увидел, как в больничный двор задним ходом въезжает грузовик. Команду «Буревестника» и восьмерых гражданских, кото-

рые помогали спасать моряков, согнали вниз по лестницам и погрузили в кузов. Раненые лежали на носилках, прочие сидели, едва не падая от изможденья.

Отца Джим не заметил, но сестра-француженка сказала, что и его тоже увезли на грузовике в военную тюрьму в Хонкю.

— Сегодня утром один из ваших моряков сбежал. Для нас это может очень плохо кончиться.

Сестра смотрела на Джима осуждающим взглядом японского капрала. Она сердилась на него, и за прошедшие несколько недель он уже успел привыкнуть к этой новой разновидности людского осуждения: на тебя злятся не за то, что ты что-то сделал не так, а за то, что ты не в силах изменить обстоятельств, в которых оказался.

— Ты живешь на Амхерст-авеню? Вот и иди себе домой. — Сестра сделала знак рукой монахине-китаянке, которая тут же выложила на койку свежевыстиранные вещи Джима. Было видно, что они рады возможности наконец-то от него отделаться. — Пускай твоя мамаша за тобой и смотрит.

Джим оделся, повязал галстук и старательно выровнял школьную шапочку. Он хотел было поблагодарить сестру, но она уже успела уйти

к сиротам.

6
Парень с ножом

Войны всегда вдыхали в Шанхай новую жизнь, учащали пульс его запруженных людскими толпами улиц. Даже трупы в канавах стали выглядеть как-то оживленнее. Тысячи крестьянок заполонили тротуары на авеню Фош, у *Cercle Sportif Français*[22] торговцы сталкивались друг с другом на ходу, сцеплялись колесами велосипедов: вело- и просто рикши сплошным потоком, по десять в ряд, лились по дороге, затирая автомобили, которым едва-едва, на черепашьей скорости и под оглушительный рев клаксонов, удавалось как-то двигаться вперед. Молодые бандиты-китайцы в американских костюмах из блестящего шелка стояли на углах и выкрикивали друг другу номера в джай-алай. Возле «Ридженси-отеля» сидели в колясках рикш проститутки в меховых шубах под бдительным присмотром сутенеров: как будто заботливый муж собрался вывезти на прогулку свою очаровательную супругу. Весь

[22] Примечания: 22
Французское спортивное общество.

город высыпал на улицы, как будто специально для того, чтобы отпраздновать захват Международного сеттльмента, его отторжение от Европы и Америки в пользу пусть чужой, но азиатской державы.

Впрочем, на пересечении авеню Петэн и авеню Хейг движение по-прежнему регулировали с подвесной площадки британский полицейский сержант и два сикхских унтер-офицера из шанхайской полиции под надзором одного-единственного стоявшего у них за спинами японского солдата. Вооруженные японские пехотинцы разъезжали по городу на разукрашенных камуфляжными пятнами грузовиках, как туристы на экскурсии. У Института Радия стояла, подтягивая перчатки, группа японских офицеров. Поверх рекламы кока-колы и колтекса красовались свеженаклеенные плакаты с портретами Ван Цзинвея, коллаборациониста, лидера местного марионеточного правительства. На авеню Петэн

Джима нагнала колонна китайских солдат[23]; перекрывая шум толпы, они скандировали лозунги. То и дело сбиваясь с ноги, эта армия обычных кули, одетых в оранжевые мундиры и в кеды американского образца, промаршировала мимо барочного фасада казино «Дель Монте», а потом — мимо стадиона для собачьих бегов.

На проезжей части возле трамвайной остановки на авеню Хейг сотни пассажиров на минуту притихли, наблюдая за публичной казнью. На посадочной платформе лежали обезглавленные тела в стеганых крестьянских халатах, мужчины и женщины, должно быть, карманники или шпионы-гоминьдановцы. Китайские унтеры вытирали башмаки от крови, которая уже успела набраться в желобки трамвайных рельсов. Подошел переполненный трамвай, зазвонил и отогнал палачей в сторону. А потом прогремел себе по маршруту дальше, со свистом высекая дугой из провода и разбрасывая по сторонам искры,

[23] Примечания: 23

Эти части, регулярно упоминающиеся далее в тексте как «марионеточные», состояли на службе у организованного японцами в Нанкине коллаборационистского правительства под руководством уже упомянутого Ван Цзинвея. С их помощью японцы вели войну с гоминьдановцами и коммунистами, причем небезуспешно — по крайней мере на сторону войск Ван Цзинвея в 1942–1944 годах перешли несколько десятков гоминьдановских генералов вместе со вверенными им войсками.

и передние колеса у него были окрашены влажно отблескивающим темно-алым цветом, как будто на ежегодной демонстрации профсоюзов.

В обычное время Джим бы остановился, чтобы посмотреть на толпу. По дороге домой из школы Янг часто заезжал в Старый город. Публичную казнь через повешение обычно приводили в исполнение на маленьком стадионе с начищенным скребками полом и скамьями вокруг тиковых виселиц, и это зрелище неизменно собирало многочисленную задумчивую аудиторию. Китайцы потому так и любят спектакль смерти, решил про себя Джим, что он напоминает им о том, что они и сами до сих пор живы по чистой случайности. И проявлять жестокость они любили по той же самой причине, чтобы не тешить себя лишний раз мыслью, будто в мире есть что-то, кроме жестокости.

Джим наблюдал за тем, как кули и крестьянки смотрят на обезглавленные тела. Поток пассажиров постепенно оттеснил их прочь, затопив, затоптав это маленькое поле смерти. Он свернул в сторону, запнувшись о жаровню, на которой уличный торговец поджаривал кусочки отбитого змеиного мяса. Капли жира падали в деревянную бадью, где плавала еще одна змея, дергаясь и

колотясь о стенки всякий раз, как на нее попадало раскаленное масло. Торговец ткнул в Джима горячей шумовкой, стараясь попасть в голову, но тот уже успел поднырнуть под припаркованные рядом рикши и побежал по запачканным кровью рельсам к остановке.

Пробравшись между ждущими своей очереди пассажирами, он нашел себе местечко на бетонной скамье, рядом с группой крестьянок, которые куда-то везли кур в плетеных корзинах. От женщин пахло усталостью и пóтом, но Джим слишком утомился, чтобы двигаться. Он прошел по запруженным толпой улицам больше двух миль. И знал, что за ним уже давно идет молодой китаец, должно быть, сутенер или шестерка на посылках у одного из десятков тысяч шанхайских мелких гангстеров. Высокий парень с бледным, словно лишенным костей лицом, масляными черными волосами и в кожаной куртке, — он пристроился к Джиму возле собачьего стадиона. Киднеппинг в Шанхае был обычным делом, и родители даже требовали, чтобы Джима в школу непременно сопровождала гувернантка, до тех пор, пока не привыкли доверять Янгу. Он решил, что парень клюнул на блейзер и кожаные туфли, а еще на летные часы и на торчавшую у него из

кармана американскую авторучку.

Парень протиснулся через толпу и прямиком двинулся к Джиму; его желтые руки были похожи на пару хорьков.

— Американски мальчик?

— Английский. Сейчас сюда должен подъехать мой шофер.

— Англиски… мальчик. Иди сюда.

— Нет — вон он едет.

Парень подался вперед, выругался по-китайски и схватил Джима за запястье. Его пальцы забегали по металлическому браслету, пытаясь расстегнуть замок. Китаянки не обращали на происходящее никакого внимания; куры мирно спали у них на коленях. Джим стряхнул было руку, но парень тут же перехватил его за предплечье. Другой рукой он уже успел достать откуда-то из-под куртки нож и явно собирался отхватить Джиму кисть.

Джим вывернулся. Прежде чем парень успел снова схватить его, он опрокинул на него корзину с колен той китаянки, что сидела справа от него. Парень упал навзничь, молотя ногами по пронзительно кудахчущей птице. Женщины вскочили на ноги и принялись на него кричать. Не обращая на них внимания, он спрятал нож

и пошел за Джимом, который метнулся сквозь толпу пассажиров, показывая им на бегу синяк на руке.

Ярдах в ста от остановки был перекресток с авеню Жоффр. Джим добежал до поворота и остановился передохнуть у запертого на висячий замок парадного входа в «Нанкин-театр», где в прошлом году крутили пиратскую китайскую копию «Унесенных ветром». Полуразобранные лица Кларка Гейбла и Вивьен Ли красовались на фоне арматуры и вида на горящую Атланту, едва ли не в натуральную величину. Плотники-китайцы снимали фанерные щиты с написанным на них дымом пожарищ, который вздымался высоко — казалось, в самое шанхайское поднебесье — и был едва отличим от настоящего дыма, все еще висевшего над многоэтажками Старого города, где нерегулярные гоминьдановские части пытались было остановить японское наступление.

Парень с ножом по-прежнему маячил у Джима за спиной — обходил пешеходов, подскакивал на носках дешевых кед. Посреди авеню Жоффр был расположен полицейский пропускной пункт, выложенные из мешков с песком огневые позиции обозначали западную границу Французской концессии. Джим прекрасно отдавал себе отчет

в том, что ни вишистская полиция, ни японские солдаты даже и пальцем не пошевелят, чтобы ему помочь. Как раз в эту минуту они с головой ушли в созерцание одномоторного японского бомбардировщика, который на бреющем шел над беговой дорожкой стадиона, так, словно собирался прямо здесь зайти на посадку.

Тень от самолета скакнула через улицу, и в тот же момент Джим почувствовал, как парень с ножом сорвал у него с головы школьную шапочку и одновременно ухватил за плечи. Джим рванулся вперед и побежал через толпу, через улицу к пропускному пункту, вскакивая в коляски рикш, спрыгивая по другую сторону и крича во весь голос:

— «Накадзима»!.. «Накадзима»!..

«Вспомогательный» китаец в вишистском мундире хотел было ударить его бамбуковой тростью, но тут один из японцев-часовых запнулся на ходу и посмотрел на Джима. Его взгляд зацепился за японские закорючки на металлической полоске, которую Джим унес недавно из разбитого истребителя на аэродроме в Хуньджяо, а теперь выставил, как пропуск, перед собой. Едва снизойдя до того, чтобы обратить внимание на мальчика, он, не торопясь, пошел дальше, но

успел разрешающе качнуть в его сторону стволом винтовки.

— «Накадзима»!..

Джим влился в очередь, выстроившуюся перед пропускным пунктом. Как он и предполагал, его преследователь тут же растворился среди нищих и болтающихся без дела рикшей-кули на французской стороне изгороди из колючей проволоки. И в который раз Джим уяснил для себя одну простую истину: его единственными защитниками в Шанхае были японцы, с официальной точки зрения — его главные здесь враги.

Нянча ноющую руку, злясь на себя за то, что лишился школьной шапочки, Джим наконец добрался до Амхерст-авеню. Синяки он старательно прикрыл рукавом рубашки. Мама постоянно переживала из-за того, что на улицах Шанхая его поджидают разного рода опасности, и даже понятия никакого не имела о его долгих разъездах на велосипеде по всему городу.

На Амхерст-авеню было пусто. Толпы нищих и беженцев все куда-то подевались. Ушел даже старик у ворот и унес с собой жестянку. Джим побежал по подъездной дорожке, мечтая поскорей увидеть маму, как она сидит на диване у себя в спальне, и поговорить с ней о Рождестве. Он

уже решил для себя, что о войне не скажет с ней ни слова.

К парадной двери был прибит длинный матерчатый свиток, весь покрытый японскими иероглифами, печатями и регистрационными номерами. Джим нажал кнопку звонка и стал ждать, пока Второй Бой откроет ему дверь. Он чувствовал себя измотанным, изношенным, как вконец стоптанные туфли у него на ногах, а еще он заметил, что вор успел разрезать ножом рукав его блейзера — от локтя вниз.

— Бой, быстро!.. — Он начал было выговаривать привычное: — Убью!.. — но осекся.

В доме было тихо. Во флигеле для прислуги не спорили между собой над чаном грязного белья ама, и привычного стрекота ножниц садовника, подстригающего газон вокруг клумб, тоже не было слышно. Кто-то выключил мотор насоса, подающего воду в бассейн, хотя отец строго-настрого велел не останавливать его всю зиму, чтобы не испортился фильтр. Он посмотрел вверх, на окна собственной спальни, и увидел, что решетка кондиционера опущена.

Джим слушал, как в пустом доме отдается эхо звонка. Тянуться к кнопке еще раз у него уже не было сил; он сел на полированную ступеньку и

стал дуть на разбитые колени. Трудно было даже представить, каким образом родители, Вера, девять человек слуг, шофер и садовник могли все одновременно уйти из дома.

От ворот донесся приглушенный хлопок, кашлянула паровыпускная коробка тяжелого автомобильного двигателя. На Амхерст-авеню въехал японский полугусеничный броневик — экипаж стоял в кузове между радиоантеннами. Они ехали по самой середине дороги, заставив свернуть на тротуар «мерседес» — лимузин из соседнего немецкого поместья.

Джим спрыгнул с крыльца и спрятался за колонной. Вокруг дома шла высокая, выложенная керамической плиткой стена, а наверху — осколки битого стекла. Цепляясь кончиками пальцев за щели между плитками, он взобрался на стену как раз под зарешеченным окном гардеробной. Вскарабкавшись на плоский бетонный парапет, он по-крабьи, боком пошел на коленях, старательно обходя острые стеклянные лезвия. Весь последний год, тайком от садовника и сторожа, он лазал на эту стену — наверное, раз двенадцать, не меньше — и всякий раз убирал по нескольку самых опасных стекляшек. Потом он перекинул ноги через край стены и спрыгнул прямо в

темную путаницу кедровых ветвей за летним домиком.

Перед ним оказался запертый снаружи тихий сад, в котором Джим ощущал себя дома — даже в большей степени, чем в собственной спальне. Здесь он предавался самым безудержным своим фантазиям. Он был сбитый летчик, приземлившийся на крышу затянутой вьющимися розами беседки, снайпер, который забрался на самую верхушку тополя за теннисным кортом, пехотинец, который бежит через лужайку с воздушкой наперевес, падает, подстрелив сам себя, и снова встает, чтобы рвануть на штурм устроенного под флагштоком декоративного каменного садика с горками.

Из густой тени за летним домиком Джим стал разглядывать окна веранды. Над головой пролетел самолет, и он решил, что бросаться прямо вот так, опрометью, через лужайку не стоит. Сад стоял нетронутым, но почему-то казался темнее, чем всегда, и каким-то неухоженным. Нестриженый газон отрос и лег по ветру, да и рододендроны выглядели как-то безрадостно — он помнил их куда более веселыми. На ступеньках террасы лежал его велосипед; руки поотбивать садовнику. Джим пошел через непривычно путающуюся под

ногами траву к бассейну. В воде плавали листья и дохлые насекомые, уровень упал почти на три фута, и по бокам обнажились широкие осклизлые полосы. На белых плитках лежали раздавленные каблуком окурки, а под трамплином плавала пустая пачка от китайских сигарет.

Джим пошел по дорожке к ютившемуся за домом флигелю для прислуги. Во внутреннем дворике стояла металлическая печка-буржуйка, но дверь в кухню была заперта. Он постоял и послушал еще: из дома не доносилось ни звука. Возле кухонного крыльца, под гофрированным металлическим кожухом был наполовину встроенный в стену уплотнитель отходов. От уплотнителя сквозь кухонную стену к нише под раковиной шел наклонный желоб. Два года назад, когда он был совсем еще маленький, он до смерти напугал маму, забравшись на кухню через желоб в тот самый момент, когда она обсуждала со старшим помощником повара меню для званого ужина.

На сей раз опасаться, что кто-нибудь не вовремя включит мотор, не приходилось. Джим поднял кожух, протиснулся между похожими на серпы лезвиями измельчителя и стал пробираться дальше, по жирному на ощупь брюху желоба. Откинулась металлическая крышка, и он увидел

знакомую, выложенную белой плиткой кухню.

— Вера! Я дома! Бой!

Джим осторожно спустился на пол. Он еще ни разу не видел, чтобы в доме было так темно. Он перешагнул через лужу воды возле холодильника и вышел в пустынный холл. Поднимаясь по лестнице в мамину спальню, он почувствовал в воздухе тяжелый привкус чужого пота.

Мамины вещи были разбросаны по неубранной кровати, на полу лежали открытые чемоданы. Кто-то смахнул с туалетного столика все ее щетки для волос и флакончики с духами, и полированный паркет был сплошь покрыт слоем талька. На тонком порошке остались десятки следов, мамины босые ноги вперемешку с четкими отпечатками подошв тяжелых армейских башмаков, вроде как схемы сложных танцевальных па в родительских самоучителях по фокстроту и танго.

Джим сел на кровать и уставился на собственное, разбежавшееся морской звездой из центра зеркала изображение. В длинное, в рост человека напольное зеркало попали чем-то тяжелым, и теперь казалось, что куски его лица и тела разлетелись по комнате, рассыпались по всему пустому дому.

Он уснул в ногах маминой кровати, успокоив-

шись запахом ее шелковой ночной рубашки, — под усыпанным бриллиантовыми блестками изображением взорвавшегося изнутри маленького мальчика.

7
Высохший бассейн

Время застыло на Амхерст-авеню, недвижное, как висевшие в комнатах столбы пыли, которые лениво завивались вокруг Джима, когда он шел через пустынный дом. Полузабытые запахи, едва заметная отдушка старого ковра напоминали о том, что и как здесь было до войны. Три дня он ждал, что вот-вот вернутся мама и отец. Каждое утро он забирался на пологую крышу над окном спальни и вглядывался поверх жилых кварталов в западные пригороды Шанхая. Он видел, как со стороны суши входят в город японские танковые колонны, и пытался починить свой блейзер, думая о том, как встретит родителей, когда они приедут с Янгом на «паккарде».

Самолеты у него над головой летали тучами, и он часами глядел на них, определяя по силуэтам марки. Под ним расстилалась нетронутая лужайка, она только становилась с каждым днем

немного темнее, потому что садовник больше не подравнивал живые изгороди и не стриг траву. По вечерам Джим отправлялся туда поиграть, полазать в каменном садике, воображая, что он — японский морпех и берет на абордаж «Бдительный». Но игры в саду как-то утратили былую прелесть, и бóльшую часть времени он проводил на кровати, у мамы в спальне. Ощущение ее присутствия висело в воздухе, как запах ее духов, и не давало исчезнуть рассеченной на куски фигуре в разбитом зеркале. Джим вспоминал долгие часы, проведенные вместе с ней за уроками латыни, и те истории, которые она ему рассказывала о собственном детстве в Англии, стране куда более чужой и незнакомой, чем Китай, стране, где он будет учиться в школе, когда кончится война.

Рассыпанный по полу тальк хранил следы маминых ног. Ее бросало из стороны в сторону, может быть, тот японский офицер, которого она пыталась научить танцевать танго, оказался слишком рьяным учеником. Джим попытался сам отработать запечатленные на полу танцевальные па, но они оказались куда более отчаянными, чем любое когда-либо виденное им танго: дело кончилось тем, что он упал и порезал руку о кусок разбитого зеркала.

Высасывая ранку, он вспомнил, что мать учила его играть в маджонг — таинственные, ярко разукрашенные дощечки, которыми так славно щелкали о невысокие, из красного дерева, стенки. Джим подумал было о том, чтобы написать книгу по маджонгу, но бóльшую часть правил он уже успел забыть. Он принес из теплицы охапку бамбуковых шестов, свалил на ковре в гостиной и начал строить огромного, такого, чтобы человека мог поднять, воздушного змея, согласно научным принципам, которым обучил его отец. Но японские патрули на Амхерст-авеню сразу обратят внимание, если кто-нибудь станет запускать из сада воздушного змея. Пришлось оставить и эту затею; Джим слонялся по пустому дому и следил за тем, как — почти неуловимо — падает в бассейне уровень воды.

Еда в холодильнике стала издавать подозрительный запах, но шкафы в буфетной были битком набиты консервированными фруктами, крекерами и банками деликатесной ветчины — едой, которую Джим просто обожал. Он ел за обеденным столом, сидя на своем обычном месте. Когда наступал вечер и становилось ясно, что родители сегодня уже не приедут, он отправлялся спать наверх, к себе в спальню, и брал с собой в

постель какую-нибудь из авиамоделей; кстати, Вера строго-настрого ему это запрещала. А потом на него наваливались сны про войну, весь японский военно-морской флот, в полном составе, шел вверх по Янцзы, паля изо всех орудий по тонущему «Буревестнику», а они с отцом спасали раненых моряков.

На четвертое утро, выйдя к завтраку, Джим обнаружил, что с вечера забыл закрыть кран на кухне, и за ночь вся вода из запасного бака вытекла в раковину и дальше в сток. В буфетной стояли батареи сифонов с содовой водой, но он уже понял, что родители домой не вернутся. Он сидел и смотрел из окна веранды на разлохматившийся сад. Война не то чтобы все переменила — Джим был бы даже рад переменам, — она все оставила как есть, только перепутала в каком-то странном, вызывающем тревогу порядке. Даже дом теперь казался мрачным, как будто, что ни день, отдалялся от него и делал мелкие, ни с чем не сообразные гадости.

Для того чтобы не терять присутствия духа, Джим решил обойти дома своих ближайших друзей, Патрика Макстеда и близнецов Реймондов. Вымывшись содовой, он вышел в сад, чтобы взять велик. За ночь бассейн пересох оконча-

тельно. Джим еще ни разу не видел его совсем пустым и принялся с интересом разглядывать покатое дно. Загадочный во время оно мир тихо подрагивающих синих линий — сквозь пелену поднимающихся со дна пузырьков — был открыт и наг при свете утреннего солнца. Осклизлые плитки, покрытые грязью и бурыми листьями, хромированная лесенка в самой глубокой части, когда-то уходившая в неведомые глубины, вдруг обрывалась рядом с парой грязных резиновых шлепанцев.

Джим спрыгнул на дно в мелкой части бассейна. Он поскользнулся, ссадина на разбитом колене открылась, и на влажной плитке осталось пятнышко крови, возле которого тут же приземлилась муха. Осторожно переступая ногами, Джим пошел по наклонному дну. У забранного медной сеточкой стока собрался целый маленький музей прошлых летних сезонов — мамины солнечные очки, Верина заколка для волос, стакан для вина и английская монетка в полкроны, которую отец специально для него бросил в бассейн. Джиму часто попадался на глаза этот серебряный, блестящий как жемчужина кружок, но донырнуть до него он так никогда и не смог.

Джим сунул монету в карман и оглядел сырые

стены. В спущенном плавательном бассейне было что-то неуловимо зловещее, и он попытался представить, что тут могло бы быть, если вообще не наливать сюда воду. Ему тут же пришли на память бетонные бункеры в Циндао и кровавые отпечатки ладоней сошедших с ума немецких артиллеристов на стенках кессона. Может быть, в шанхайских плавательных бассейнах станут убивать людей, а плиткой их выложили для того, чтобы удобнее было смывать со стен кровь?

Джим забрал в саду велосипед и провел его в дом через дверь веранды. А потом устроил представление, о котором мечтал всю свою сознательную жизнь: сел на велик и стал гонять по пустым, чопорно застывшим комнатам. Радостно представляя себе, какие были бы лица у Веры и слуг, если бы они его сейчас увидели, он лихо описал круг по отцовскому кабинету, с любопытством оборачиваясь на оставленные колесами на толстом ковре следы. Ударившись об стол, он сшиб на пол настольную лампу и, покачнувшись, вырулил в гостиную. Привстав на педалях, он зигзагом прошел сквозь строй столов и кресел, потерял равновесие и рухнул на диван, снова встал на колеса, даже не коснувшись ногой пола, с ходу врезался в двойные двери в столовую, рас-

пахнул их и начал на бешеной скорости нарезать круги вокруг длинного полированного стола. Потом он сделал набег на кладовку, со свистом промчавшись туда-сюда по луже возле холодильника, сбил с кухонной полки выстроившиеся по росту кастрюли и с сумасшедшей скоростью понесся лоб в лоб с высоким напольным зеркалом в нижней гардеробной. Когда переднее колесо, подрагивая, уперлось в запылившееся стекло, Джим закричал во всю глотку от переполнившего грудь радостного возбуждения. Хоть одна радость ото всей этой войны.

Счастливый, Джим закрыл за собой парадную дверь, расправил японский свиток и покатил к дому близнецов Реймонд, недалеко, на Коламбиа-роуд. У него было такое чувство, словно шанхайские улицы — это комнаты огромного пустого дома. Он пронесся мимо марширующего вдоль по Коламбиа-роуд взвода игрушечных китайских солдат и с демонстративной неспешностью свернул на боковую улицу, когда капрал разорался ему вслед. Джим мчался по пригородным тротуарам, проскакивая под двойными опорами телефонных столбов, расшвыривая на ходу жестянки, оставленные после себя куда-то подевавшимися нищими.

К дому Реймондов на немецком конце Коламбиа-роуд он подъехал, совершенно запыхавшись. Он попетлял между припаркованными «опелями» и «мерседесами» — странными, мрачного вида автомобилями, по одному только виду которых становилось ясно, что из себя представляет эта самая Европа, — и въехал по тормозам прямо к передней двери.

К дубовой дверной панели был пришпилен знакомый японский свиток. Дверь открылась, вышли две ама и стали стаскивать вниз по ступенькам туалетный столик миссис Реймонд.

— А Клиффорд дома? Или Дерек? Ама!..

Он прекрасно знал обеих ама и ждал, что вот сейчас они ему ответят на своем пиджин-инглиш[24]. Они, однако, не обратили на него никакого внимания и снова взялись за свой столик. Их изуродованные ноги, похожие на сжатые кулачки, скользили по ступенькам.

— Миссис Реймонд, это Джемми…

Джим попытался пройти мимо ама, но тут одна из них развернулась и ударила его по лицу.

---

[24] Примечания: 24

Букв. «голубиный английский», искаженный китайским произношением «business English» — китайский низовой вариант английского языка «для делового общения», с более или менее английской лексикой и китайской грамматикой (в чем-то аналогичный т. н. «моя-твоя», приграничному русско-китайскому жаргону начала XX века).

Едва разбирая дорогу сквозь плавающие перед глазами круги, Джим пошел обратно к велосипеду. Он еще ни разу в жизни не получал такого сильного удара, ни во время школьных тренировок по боксу, ни в драках с бандой с авеню Фош. Казалось, всю переднюю часть его лица отбили от костей. В глазах щипало, но плакать он себе запретил. Руки у ама были как кувалды: еще бы, повыжимай всю жизнь белье. Он стоял, смотрел, как они возятся с туалетным столиком, и знал, что или он сам, или Реймонды чем-то их обидели, и вот теперь он заплатил по счету.

Он стоял и ждал, пока они не добрались до самой нижней ступеньки. Когда одна из ама пошла к нему, явно вознамерившись еще раз его ударить, он вскочил на велосипед и нажал на педали.

Неподалеку от того места, где подъездная дорожка Реймондов выходила на улицу, два мальчика-немца, его одногодки, играли в мяч, пока их мать отпирала семейный «опель». В обычное время они тут же принялись бы выкрикивать немецкие лозунги и швырять Джиму вслед камни — покуда мать не остановит. Но сегодня все трое стояли молча. Джим проехал мимо, стараясь не показывать им разбитого лица. Мать

обняла сыновей за плечи и долго смотрела вслед Джиму, как будто знала, что с ним будет дальше.

* * *

Все еще в шоке от той ярости, которую он увидел на лице ама, Джим взял курс на многоэтажный дом во Французской концессии, где была квартира Макстедов. Голова у него гудела, как чугунный котел, а в нижней челюсти шатался зуб. Ему хотелось увидеть родителей, и еще хотелось, чтобы как можно быстрее кончилась война, лучше бы уже сегодня к вечеру.

Весь в пыли и почему-то очень усталый, Джим доехал до забора из колючей проволоки у пропускного пункта на авеню Фош. Людей на улицах стало значительно меньше, но перед шлагбаумом все же выстроилась очередь из нескольких сот китайцев и европейцев. Швейцарский «бьюик» и вишистский бензовоз часовые-японцы пропустили не глядя. Обычно пешеходы-европейцы сразу шли в начало очереди, но теперь они безропотно вставали в хвост, вместе с рикшами-кули и крестьянами, толкающими перед собой тележки. Джима, вцепившегося в велосипед, едва не сбил с ног босоногий кули со вздувшимися икрами и коромыслом с подвешенными к нему вязан-

ками дров; кули протиснулся вперед. Вокруг Джима сомкнулась толпа, сомкнулись запахи застоявшегося пота, рабочей одежды, дешевого жира и рисового вина, новые, незнакомые ему шанхайские запахи. Мимо, сигналя на ходу, пронесся открытый «крайслер» с двумя молодыми немцами на переднем сиденье — и заднее крыло оцарапало Джиму руку.

Пройдя через контроль, Джим подправил переднее колесо и поехал к знакомой многоэтажке на авеню Жоффр. Регулярный парк во французском стиле был ухожен как всегда, и это напоминание о былом Шанхае согрело Джима. Покуда лифт нес его на седьмой этаж, он постарался при помощи собственных слез отмыть от пыли руки и лицо, смутно надеясь, что миссис Макстед вернулась из Сингапура.

Дверь в квартиру была открыта. Джим вошел, и первое, что он увидел, было кожаное пальто мистера Макстеда на полу. Тот же смерч, который пронесся по маминой спальне на Амхерст-авеню, успел побывать и тут, в каждой комнате. На кроватях лежали опрокинутые ящики с одеждой из комодов, у раскрытых шкафов громоздились горы обуви, и повсюду чемоданы, чемоданы, чемоданы: как будто дюжина семей по фамилии

Макстед получила приказ собраться в пять минут и никак не могла решить, что же все-таки брать с собой.

— Патрик…

Джим запнулся перед дверью в комнату Патрика и постучал, перед тем как войти. Матрас с кровати был сброшен на пол, а на открытых окнах ветер перебирал шторы. Но с потолка по-прежнему свисал весь воздушный флот Патрика, модельки, склеенные так, что комар носа не подточит, не Джимовым чета.

Джим взгромоздил матрас обратно на кровать и лег. Он лежал и смотрел, как по воле гуляющего по пустой квартире холодного ветра раскачиваются игрушечные самолеты. Сколько часов они с Патриком провели в этой спальне над авеню Жоффр, измышляя воображаемые воздушные баталии… Джим глядел, как кружатся у него над головой «Спитфайры» и «Харрикейны». Их безостановочное движение успокоило его, отступила боль в разбитой челюсти, и ему захотелось остаться здесь навсегда, уснуть в постели уехавшего друга и спать, пока не кончится война.

Однако Джим уже наверное знал, что ему нужно во что бы то ни стало найти родителей. А если ни отца, ни мамы отыскать не получится, то сой-

дет любой другой британец.

Напротив Макстедовой многоэтажки, на противоположной стороне авеню Жоффр, был расположен жилой комплекс компании «Шелл», причем по большей части в домах жили именно британцы. Джим и Патрик охотно играли с тамошними детьми и были почетными членами банды «Шелл». Выкатив велосипед с подъездной дорожки Макстедов, Джим понял, что британцы там больше не живут. У добротного, «коробочкой», забора из колючей проволоки, огораживающего весь комплекс, стояли японские часовые. Группа китайских кули под надзором японского капрала грузила мебель из оставленных квартир в армейский грузовик.

В нескольких шагах от забора, под платанами, стоял пожилой человек с газетой и наблюдал за японцами. Несмотря на то что костюм его был заношен до последней степени, из-под пиджака виднелись накрахмаленные манжеты и манишка.

— Мистер Гуревич! Я здесь, мистер Гуревич!

Этот старый русский эмигрант работал в «Шелл» уборщиком и жил вдвоем со старушкой матерью в крохотной сторожке у ворот. В холле стоял японский офицер, чистил ногти и курил

сигарету. Джиму всегда нравился мистер Гуревич, хотя сам он явно не производил особенного впечатления на престарелого белоэмигранта. Тот был художник-любитель и под настроение рисовал Джиму в альбоме для автографов затейливо проработанные парусники. Кухонька у него была серая и тесная, размером с буфет, и сплошь забита крахмальными воротничками и миниатюрными к ним манишками, и Джим жалел мистера Гуревича, который не может себе позволить купить настоящую сорочку. Может быть, он согласится переехать к нему на Амхерст-авеню?

С этой мыслью Джим распростился сразу, как только мистер Гуревич махнул ему в ответ газетой с другой стороны улицы. Маме этот русский, может быть, даже придется по вкусу, но Вере уж точно нет: эти восточноевропейцы и русские эмигранты снобы почище англичан.

— Здравствуйте, мистер Гуревич. Я ищу родителей.

— А здесь-то им откуда взяться? — Старик русский указал на вздувшееся лицо Джима и покачал головой: — Мир объят войной, а ты все носишься на своем велосипеде…

Японский унтер начал кричать на одного из кули, и мистер Гуревич тут же утянул Джима за

ствол дерева. Он раскрыл газету и показал мальчику размашистый, чуть не на полстраницы, рисунок: два огромных боевых корабля идут на дно под градом японских бомб. На помещенных тут же фотографиях Джим узнал «Отпор» и «Принца Уэльского», непотопляемые твердыни, каждая из которых, с точки зрения дикторов в английских военных киножурналах, могла одной левой отправить к праотцам весь японский флот[25].

— Так их ничему и не научили, — вдумчиво сказал мистер Гуревич. — Британская линия Мажино. Вот и тебе досталось, как и следовало ожидать.

— Я упал с велосипеда, мистер Гуревич, — из чувства патриотизма соврал Джим, и ему тут же стало неприятно, что приходится обманывать, выгораживая флот Его Величества. — Просто решил проехаться, поискать родителей. Знаете,

---

[25] Примечания: 25

Речь идет о трагическом рейде новейшего (1940 г. постройки) британского линкора «Принц Уэльский» и модернизированного в 1936 году линейного крейсера «Отпор» (Repulse). 10 декабря 1941 года при попытке перехватить японские транспорты, высаживавшие десант в Малайе, эти корабли были атакованы японскими бомбардировщиками и торпедоносцами. Несмотря на то что оба корабля были оснащены достаточным количеством тяжелой зенитной артиллерии и шли в сопровождении эсминцев, отсутствие воздушного прикрытия и неудачное построение в кильватерную колонну обрекло их на быструю гибель. Бой длился всего около часа. Оба корабля были потоплены, а японцы потеряли всего четыре самолета.

не так-то это просто.

— Да уж! — Мистер Гуревич проводил взглядом проехавшую мимо колонну грузовиков. У задних бортов несли вахту охранники-японцы с примкнутыми штыками. За ними, положив друг другу головы на плечи, сидели на дешевеньких чемоданах и постелях-скатках цвета хаки группы британских женщин и детей. Джим решил, что это семьи пленных британских солдат.

— Давай-ка, парень! Жми педали! — Мистер Гуревич толкнул Джима в плечо. — Давай скорей, за ними!

— Но, мистер Гуревич, — на Джима произвел самое гнетущее впечатление этот убогий скарб, да и сами эти нелепые жены рядовых британской армии, — я не могу ехать с ними — это же пленные.

— Давай катись! Ты же не сможешь жить на улице!

Когда Джим уперся, вцепившись в руль велосипеда, мистер Гуревич похлопал его по голове и подтолкнул через дорогу. И стал по-прежнему, прикрывшись газетой, наблюдать за тем, как японцы грабят дома, — так, словно вел для «Шелл» инвентаризацию потерянного мира.

— Я как-нибудь еще к вам заеду, мистер Гу-

ревич.

Джиму и впрямь было жаль старика-уборщика, но на обратном пути до Амхерст-авеню его гораздо больше беспокоили те два линкора. Врать в британских кинохрониках всегда были горазды. Джим видел, как японский флот потопил «Буревестник», а теперь ему стало ясно, что японцы в состоянии потопить кого и где угодно. Половина американского тихоокеанского флота уже отдыхает на дне Перл-Харбор. Возможно, мистер Гуревич и в самом деле был прав, и ему следовало поехать за грузовиками. Может быть, родители уже сидят в той самой тюрьме, куда повезли солдатских жен.

И он пусть нехотя, но согласился с мыслью, что ему придется сдаться японцам. Солдаты, охранявшие контрольно-пропускной пункт на авеню Фош, отмахнулись от него, когда он попытался с ними заговорить, и Джим принялся во все глаза выглядывать какого-нибудь капрала, который, как и положено японскому капралу, будет в курсе и в ответе за все.

Но по какой-то причине в тот день в Шанхае на японских капралов будто напал мор. Несмотря на усталость, Джим сделал по дороге домой длинный крюк по Большому Западному проспекту и

по Коламбиа-роуд, но там вообще не оказалось никаких японцев. Однако, когда он подъехал к дому на Амхерст-авеню, у парадной двери его ждал припаркованный лимузин «крайслер». Из машины вышли два японских офицера, оправили мундиры и принялись разглядывать дом.

Джим совсем уже собрался подъехать к ним и объяснить, что в доме живет он и что он готов сдаться. Но тут из-за каменной опоры ворот вышел вооруженный японский солдат. Левой рукой он схватил велосипед за переднее колесо, за покрышку, пропустив пальцы между спицами, и, выкрикнув что-то резкое, отшвырнул Джима назад, в придорожную кучу мусора.

8
Затянувшийся пикник

Сдаться не вышло, и Джим вместе со сломанным велосипедом вернулся в квартиру Макстедов во Французской концессии. С этого самого дня он и стал жить один в пустующих домах и квартирах в западных пригородах Международного сеттльмента. Они, как правило, принадлежали британцам и американцам, а также голландцам, бельгийцам и сторонникам «Свободной

Франции», которых японцы интернировали в первые несколько дней после нападения на Перл-Харбор.

Дом, в котором находилась квартира Макстедов, принадлежал богатому китайцу, сбежавшему в Гонконг за несколько недель до начала войны. Бóльшая часть квартир и до войны пустовала месяцами. Две комнаты в первом этаже занимал консьерж-китаец с женой, но японский взвод, пришедший за мистером Макстедом, настолько их напугал, что они теперь предпочитали не совать нос в чужие дела. Трава на нестриженых газонах понемногу отрастала, регулярный парк принимал все более и более иррегулярный вид, а они выходили на улицу только для того, чтобы сварить себе что-нибудь на обед — на железной печке, которую они установили на дне декоративного прудика, в окружении парковых скульптур. И запах соевого соуса и острой китайской лапши щекотал бетонные ноздри раздевающихся нимф.

Всю первую неделю Джим приходил и уходил, когда ему вздумается. В первый день он просто-напросто завел велосипед в лифт, поднялся на седьмой этаж и пробрался в квартиру Макстедов через незапертую дверь с антимоскитной сеткой на балконе для слуг. Основная дверь была снаб-

жена глазком и сложным набором электрических замков — на мистера Макстеда, видного деятеля организованного местными бизнесменами прочанкайшистского «Общества дружбы с Китаем», было как-то совершено покушение. Раз заперев дверь, Джим оказался не в состоянии снова ее открыть, но к нему все равно никто не заходил, если не считать иракской старухи, которая жила в пентхаусе. Когда она позвонила в дверь, Джим выглянул в глазок и стал наблюдать, как она гримасничает, стараясь не выходить за пределы его поля зрения: казалось, каждая часть этого старческого лица пытается передать ему какое-то свое послание. Потом она десять минут стояла в неподвижном лифте и над чем-то раздумывала, безукоризненно одетая, увешанная бриллиантами, одна в пустой многоэтажке.

Джим был рад, что его оставили в покое. После того как японский солдат сшиб его с велосипеда, он едва-едва добрел до квартиры Макстедов и весь остаток дня проспал в постели Патрика. На следующее утро он проснулся от перезвона трамваев на авеню Фош, от трубного звука японских клаксонов — заходили в город колонны армейских грузовиков — и от тысячного хора обычных автомобильных гудков, которые в Шанхае слу-

жили вместо утреннего гимна.

Кровоподтек у него на щеке стал понемногу спадать, и он с удивлением заметил, что лицо у него стало более узким, чем раньше, а линия рта — более жесткой и взрослой. Стоя перед зеркалом в ванной Патрика, одетый все в тот же пропылившийся блейзер и в запачканную рубашку, он думал: интересно, а узнают ли его вообще родители, если увидят. Джим вытер одежду мокрым полотенцем — как мистер Гуревич; встречные китайцы как-то странно на него смотрели. И тем не менее Джим понял: быть бедным тоже по-своему неплохо. Никто не станет гнаться за тобой, чтобы отрезать руку.

Кладовка у Макстедов была забита ящиками виски и джина, целая волшебная пещера, полная золотых и рубиновых бутылок: но кроме спиртного, там было всего лишь несколько банок оливок и жестянка с крекерами. Джим съел свой скромный завтрак за большим обеденным столом, а потом принялся за починку велосипеда. Он был нужен ему, чтобы свободно передвигаться по Шанхаю, чтобы найти родителей и сдаться японцам.

Сидя на полу в столовой, Джим попытался распрямить погнувшиеся спицы. Но руки у него

тряслись, и он никак не мог заставить пальцы сжаться на покрытом пылью металле. Он знал, что вчера его здорово напугали. Вокруг него разверзлось какое-то странное пустое пространство, причем тот надежный и безопасный мир, с которым он был знаком до войны, остался по другую сторону и был недосягаем. С гибелью «Буревестника» и с исчезновением родителей он за несколько дней успел как-то освоиться, но теперь он постоянно был как будто весь на нервах, и ему все время было холодно, даже в здешнюю сравнительно теплую декабрьскую погоду. Он постоянно ронял и бил чашки, чего с ним раньше никогда не случалось, и у него с трудом получалось хоть на чем-то сосредоточиться.

Тем не менее Джиму удалось наладить велосипед. Он развинтил переднее колесо и выпрямил спицы, привязав их к прутьям балконной решетки. Он опробовал велосипед в гостиной, а потом спустился на лифте в нижний холл.

Проезжая по авеню Фош, Джим заметил, что Шанхай переменился. Улицы патрулировали тысячи японских солдат. На главных проспектах, в пределах видимости друг от друга, были выстроены обложенные мешками с песком сторожевые посты. Улицы были по-прежнему полны пешими

и велорикшами, грузовиками, конфискованными в пользу марионеточной китайской милиции, но толпа явно подобрала хвост. Китайцы, которые тысячами толпились возле универмагов на Нанкинском проспекте, старались смотреть в землю и не встречаться взглядами с японскими солдатами, неторопливо прогуливающимися посреди многолюдной улицы.

Отчаянно работая педалями, Джим догнал грохочущий вдоль авеню Эдварда VII перегруженный трамвай, обвешанный со всех сторон мрачными китайцами. Коротко стриженный юноша в костюме мандарина плюнул в Джима, тут же соскочил с трамвая и замешался в толпу, испугавшись, что даже за такого рода ничтожным противоправным актом последует немедленное и жестокое возмездие. Трупы китайцев со связанными за спиной руками лежали повсюду посреди дороги, сваленные за мешками с песком: полуотрезанные головы приткнулись на плечо друг к другу. Исчезли тысячи молодых бандитов в американских костюмах: впрочем, на пропускном пункте на проспекте Кипящего Колодца Джим увидел, как одного такого молодого человека в синем шелковом костюме избивают палками двое солдат. Когда его начали бить по

голове, он упал на колени, прямо в лужу крови, стекавшей с лацканов пиджака.

Все игорные залы и опиумокурильни в переулках за ипподромом были закрыты, на дверях ломбардов и ссудных контор красовались металлические решетки. Даже почетная гвардия горбунов у «Катай-театра» и та покинула свой пост. Джим расстроился. Без нищих город казался еще беднее, чем был на самом деле. Тон в мрачном ритме нового Шанхая задавал беспрестанный вой японских клаксонов. Ездить на велосипеде ему стало труднее, чем раньше, когда он целыми днями гонял по шанхайским улицам, и, не успев отъехать и пары кварталов, он почувствовал, что уже устал. Казалось, руки у него холоднее, чем велосипедный руль. Чтобы хоть как-то поднять настроение, он решил проехаться по тем местам в Шанхае, где люди знали его родителей, и начать с отцовской конторы. Старшие клерки-китайцы всегда очень радовались Джиму и всячески его баловали, так что теперь они, конечно же, постараются ему помочь.

Однако Сычуаньский проспект оказался перекрыт японцами. С обоих концов улицу перегородили колючей проволокой, и тысячи японцев в штатском суетились у входов в иностранные бан-

ки и торговые представительства с пишущими машинками и кипами папок в руках.

Джим поехал вниз по Дамбе, над которой царила теперь серая глыба «Идзумо». Крейсер стоял на якоре в четырехстах ярдах от пристани: допотопного образца трубы выкрашены заново, над орудийными башнями — полотняные тенты. Чуть дальше вверх по течению стоял КСШ «Бдительный», уже под «Восходящим Солнцем», с размашисто написанными по носу японскими иероглифами. Перед «Шанхай-клабом» шла тщательно продуманная церемония присвоения кораблю нового имени. Десятки японцев в смокингах, итальянцы и немцы в экстравагантных фашистских мундирах наблюдали за церемониальным маршем японских офицеров и матросов. Вокруг этого импровизированного плац-парада на конечном кольце трамвайного маршрута выстроились два танка, несколько артиллерийских орудий и почетный караул морских пехотинцев. Тяжелые матросские башмаки вызванивали о замкнутые в круг рельсы гимн японской победе над британской и американской канонерками.

Уткнувшись подбородком в руль велосипеда, Джим наблюдал за солдатами, которые, примкнув штыки, стояли в карауле у входа в «Па-

лас-отель». Наверняка никто из них не говорит по-английски, да и вообще навряд ли они возьмут в толк, что этот мальчик-европеец с искореженным велосипедом — представитель воюющей с ними нации. Если он попробует подойти к ним на виду у насильно согнанных на церемонию китайцев, они просто-напросто сшибут его с ног.

Джим уехал с Дамбы и пустился в долгий и многотрудный путь обратно к дому Максгедов. Добравшись до пропускного пункта на авеню Жоффр, он уже настолько устал, что слез с велосипеда и дальше толкал его перед собой сквозь толпу клянчивших милостыню крестьянок и сонных рикш-кули. Забравшись на седьмой этаж, он сел за обеденный стол, съел несколько оливок и крекеров и запил их содовой из сифона. А потом уснул в постели друга, убаюканный бесконечным кружением самолетов под потолком спальни, похожих на рыб, которые пытаются найти выход из запертого со всех сторон небесного аквариума.

В течение следующих нескольких дней Джим еще несколько раз пытался сдаться японцам. Как и все его школьные друзья, он искренне презирал всякого, кто готов поднять руки, — суровая мораль бойскаутских журналов принималась здесь безоговорочно, однако на поверку сдаться

врагу оказалось гораздо сложнее, чем он думал. Джим безо всякого плана кружил на велосипеде по шанхайским улицам, и главное чувство было — усталость. К часовым, стоявшим на посту у «Кантри-клаба» и во внутреннем дворике собора, подходить было слишком опасно. На проспекте Кипящего Колодца он погнался было за «плимутом», принадлежавшим шоферу-швейцарцу и его жене, но они стали кричать на него, чтобы он убирался прочь, и швырнули ему — на дорогу — монету: так, словно он был какой-нибудь нищий китайчонок.

Джим попытался отыскать мистера Гуревича, но тот больше не надзирал за жилым комплексом «Шелл», — может быть, и он тоже решил сдаться японцам. Потом Джиму пришла на память та немка, которую он видел у дома Реймондов. Ему показалось, что она переживала за него: впрочем, когда он добрался до Коламбиа-роуд, он обнаружил, что на воротах в немецкое поместье висит замок. Немцы так же, как и все остальные европейцы, относились к японцам весьма настороженно и старались поглубже забиться каждый в свою раковину. На Нанкинском проспекте Джима едва не сшибли две японские штабные машины, которые неожиданно притормозили и

перегородили улицу. Они остановили грузовик, набитый немцами, членами клуба «Граф Цеппелин», которые ехали в Хонкю громить тамошних евреев. Они отобрали у немцев дробовики и дубинки, сорвали с них повязки со свастикой и отправили восвояси.

Через неделю после того, как он поселился на квартире у Макстедов, отключили электричество и воду. Джим, стуча задним колесом велосипеда о ступеньки, спустился в вестибюль, где старуха из Ирака как раз о чем-то спорила с китайцем-консьержем. Оба тут же повернулись к Джиму и стали кричать, чтобы он немедленно убирался из дома вон, хотя всю неделю прекрасно знали, что он здесь живет.

Он ушел, и даже с радостью. Крекеры кончились, и за весь вчерашний день он съел всего лишь пакетик заплесневелых бразильских орешков, случайно обнаруженный в буфете. Он ощущал усталость, но в голове и на душе у него было удивительно, до головокружения легко — от нескольких последних капель воды из кранов в ванной он почувствовал себя едва ли не пьяным: похожее чувство бывало у него до войны, перед тем как сесть в машину и отправиться на какую-нибудь вечеринку. Он напомнил себе о

родителях, однако их лица уже начали понемногу стираться из памяти. Он все время думал о еде и знал, что в западных пригородах Шанхая полным-полно пустых домов и что тамошних бесконечных запасов крекеров и содовой ему хватит до самого конца войны.

Джим сел на велосипед, вырулил за пределы Французской концессии и поехал по Коламбиа-роуд. По обе стороны от него тянулись тихие, обсаженные деревьями улицы; в разросшихся садах прятались никем не занятые дома. Дождь смыл чернила с японских свитков, на дубовых дверных панелях остались ярко-красные потеки, и оттого казалось, что всех здешних европейцев и американцев расстреляли прямо на пороге собственных домов.

Японские оккупационные войска были слишком заняты, чтобы всерьез озаботиться этими брошенными домами. Джим выбрал изогнутый в форме полумесяца укромный тупичок, где из-за высокой стены виднелся наполовину каменный, наполовину деревянный дом. Между фонариками на бронзовых консолях у парадной двери висел знакомый пожелтевший японский свиток. Джим прислушался к царящей в доме тишине, а потом спрятал велосипед в наметенной ветром

у крыльца куче листьев. С третьей попытки он взобрался на стену выстроенного в тюдоровском стиле гаража, а с нее — на крышу. Потом спустился в густую листву сада, вцепившегося в дом мертвой хваткой, как тяжелый и тягостный сон, от которого никак не можешь проснуться.

Подобрав упавшую с крыши черепицу, Джим пошел по высокой траве к застекленной веранде. Он дождался, пока над головой пролетит самолет, и, разбив окно со встроенным кондиционером, забрался в дом, открыв на полную раскладные жалюзи кондиционера, чтобы не было видно выбитого стекла.

Джим наскоро прошелся по темным комнатам — серия картин в позабытом музее. В доме было много фотографий какой-то очень красивой женщины, и она позировала перед камерой, как кинозвезда. На большой, забранный в раму фотопортрет на рояле и на огромный глобус возле книжного шкафа он не обратил никакого внимания. В недавнем прошлом Джим непременно бы остановился, чтобы поиграть с глобусом — он годами выпрашивал такой у отца, но сейчас он был слишком голоден, чтобы терять несколько лишних секунд.

Дом принадлежал дантисту-бельгийцу. В его

кабинете, под висящими на стене — в рамочках — дипломами, стояли белые стеклянные шкафы, а в них — челюсти, десятки челюстей. И они скалились на Джима из полумглы, как ненасытная, о многая глотки, пасть.

Джим прошел через столовую на кухню. Он привычным движением обошел натекшую из холодильника лужу и взглядом знатока окинул полки в кладовой. К немалому его разочарованию, бельгийский дантист и его очаровательная приятельница оказались поклонниками китайской кухни — родители ничего подобного в жизни в рот не брали, — и кладовая, словно склад какого-нибудь заштатного компрадора[26], была сплошь увешана сушеными кишками и связками сморщенных фруктов.

Но там нашлась банка сгущенного молока, такого густого и такого сладкого, какого Джим еще ни разу в жизни не пробовал. Он выпил молоко, сидя за столом в кабинете у дантиста, и зубы улыбались ему из шкафчиков, а потом уснул в спальне на верхнем этаже, на шелковых простынях, хранивших запах женщины с лицом кинозвезды.

---

[26] Примечания: 26

Посредник между европейской торговой фирмой и местными покупателями.

9
Мир без добрых людей

Поиски еды были прежде всего, и Джим уехал из дома дантиста на следующее же утро. Очередное временное пристанище он нашел неподалеку, в каменном особняке — с его хозяйкой, вдовой, родители водили знакомство, пока она не уехала в Сан-Франциско. А оттуда он перебрался в следующий, не задерживаясь в каждом очередном доме дольше, чем на несколько дней, отгороженный от далекого злого города высокими стенами и разросшейся густой травой.

Японцы конфисковали все приемники и фотоаппараты, но в остальном дома стояли нетронутыми. В некоторых из них царила роскошь, Джиму мало знакомая — отец был человек не бедный, но нравом отличался вполне спартанским, здесь же были оборудованы целые домашние кинотеатры и бальные залы. Покинутые владельцами «кадиллаки» и «бьюики» медленно оседали в гаражах, по мере того как камеры спускали воздух.

Но полки в кладовых по большей части стояли

пустыми, и Джиму приходилось питаться жалкими крохами, оставшимися от бесконечной, в полвека длиной, вечеринки с коктейлями, которая называлась «Шанхай». Иногда, обнаружив в ящике письменного стола нетронутую коробку шоколадных конфет, Джим немного оживал и вспоминал, как танцевали родители — под радио, перед воскресным обедом; и свою спальню на Амхерст-авеню, где жили теперь японские офицеры. Он играл в бильярд в темных бильярдных залах или садился за ломберный стол и устраивал партию в бридж, играя за каждую из сторон настолько честно, насколько это вообще было возможно. Он валялся в странно пахнущих постелях, листая «Эсквайр» и «Лайф», а в доме доктора-американца прочел от корки до корки «Алису в Зазеркалье», сказку о милом и забавном мире, куда менее странном, чем его собственный.

Он заглядывал в детских комнатах в шкафы с игрушками, и каждый раз внутри у него разверзалась какая-то странная пустота. Он перелистывал фотоальбомы, заполненные образами растаявшего мира маскарадов и спортивных праздников. Он все еще надеялся увидеть родителей и часами просиживал у окон в спальнях, а тем временем

в плавательных бассейнах западных пригородов Шанхая понемногу убывала вода, оставляя на белоснежных стенках неопрятную драпировку из пены и слизи. Джим был слишком слаб, чтобы задумываться о будущем, но он прекрасно отдавал себе отчет в том, что здешние небогатые запасы пищи скоро подойдут к концу и что японцы скоро вспомнят об этих пустых домах — в отдельные особняки в районе Амхерст-авеню уже начали вселяться семьи японских гражданских чиновников.

Джим с трудом узнавал собственные отросшие и висевшие сосульками волосы и впалые щеки — чужое лицо в чужом зеркале. Он окидывал взглядом оборвыша, который являлся ему в зеркалах на Коламбиа-роуд, беспризорника, похудевшего в два раза против прежнего и в два раза состарившегося. Бóльшую часть времени Джим помнил, что болен, и иногда целыми днями лежал в постели. Водоснабжение на Коламбиа-роуд давно отключили, а у воды из резервных, вмонтированных в чердачные помещения баков был неприятный металлический привкус. Однажды, когда он лежал пластом в спальне, в мансарде дома на Большом Западном проспекте, в дом вошла группа японцев, штатских, и около часа

ходила внизу по комнатам, но Джим слишком плохо себя чувствовал, чтобы их позвать.

Как-то раз среди бела дня Джим перелез через стену дома за «Американ кантри-клаб». Он спрыгнул в просторный заросший сад, бросился бежать к веранде и тут вдруг заметил, что возле пустого бассейна расположилась группа японских солдат и варит в котле еду. Трое из них присели на трамплинах и подбрасывали в огонь палочки. Еще один спустился вниз и ковырялся в затонувшем когда-то мусоре: солнечные очки, шапочки для купания.

Японцы смотрели на запнувшегося посреди заросшей лужайки Джима и помешивали рис, в котором плавали редкие куски рыбы. Они не стали хвататься за винтовки, но Джим знал, что бежать от них лучше даже и не пробовать. Он не спеша подошел к краю бассейна и сел на усыпанную листьями плитку. Солдаты стали есть, тихо переговариваясь между собой. Это были крепко сбитые люди с наголо бритыми головами; портупеи и снаряжение у них были несколько добротнее, чем у японских часовых в Шанхае, из чего Джим сделал вывод, что перед ним ветераны из фронтовых частей.

Джим смотрел, как они едят, провожая глазами

каждый кусочек пищи. Когда самый старший из четырех солдат, рядовой первого класса, лет сорока, доел свою порцию, он медленно и аккуратно соскреб в свой котелок из общего котла немного приварившегося к донышку риса вперемешку с рыбьей чешуей, подозвал к себе Джима и протянул котелок ему. Потом японцы закурили и, мягко улыбаясь себе под нос, стали смотреть, как Джим, давясь, глотает куски слипшегося жирного риса. Это была первая горячая еда с тех пор, как он ушел из госпиталя, такая горячая, пахучая и жирная, что у него заболели десны, а глаза заволокло слезами. Солдат, который сжалился над Джимом, понял, что мальчик действительно умирает с голода: добродушно рассмеявшись, он вытащил из фляжки резиновую пробку. Джим глотнул чистой, с легким запахом хлорки воды, совсем непохожей на ту затхлую, которая текла из кранов на Коламбиа-роуд. Он поперхнулся, осторожно проглотил рвоту, хихикнул в ладошку, чтобы скрыть неловкость, и улыбнулся японцу. Вскоре они смеялись уже все вместе, откинувшись на высокую траву возле пересохшего бассейна.

Всю следующую неделю Джим вместе с японцами патрулировал пустынные улицы пригорода.

Каждое утро солдаты покидали свой бивуак возле контрольно-пропускного пункта на Большом Западном проспекте, а Джим скатывался с крыльца очередного дома, в котором провел ночь, и присоединялся к ним. Солдаты редко заходили в дома иностранцев, их главной заботой было распугивать китайских воров и нищих, которым могло прийти в голову забраться в этот тихий район. Время от времени они перебирались через стены и обследовали запущенные сады: судя по всему, здешние декоративные деревья и кустарники вызывали у них куда больший интерес, нежели роскошные особняки. Джим бегал с поручениями, приносил им купальные шапочки, которые они зачем-то собирали, рубил дрова и разводил огонь. В середине дня он молча смотрел, как они съедают свой обед. Почти каждый раз они оставляли ему немного рыбы и риса, а однажды рядовой первого класса вынул из кармана плитку какой-то сладкой, похожей на карамель массы, отломил кусок и тоже дал Джиму, — но в остальном никто из них не проявлял к нему ровным счетом никакого интереса. Догадывались ли они, что он — бездомный побродяжка? Они разглядывали его изношенные, но прекрасного фасона туфли, его школьный блейзер из отличной шерстяной

ткани, и им, должно быть, казалось, что до войны он жил в какой-нибудь богатой, но совершенно неприспособленной к жизни европейской семье, которая больше не дает себе труда кормить своих детей.

Всю эту неделю Джим, за редким исключением, ел только то, что ему перепадало у солдат. Бóльшую часть домов по Коламбиа-роуд заняли японцы, военные и гражданские. Несколько раз он пытался подойти к необитаемым с виду домам, но его прогоняли телохранители-китайцы.

Однажды утром японские солдаты не пришли. Джим терпеливо ждал их во дворе дома за «Американ кантри-клаб». Пытаясь заглушить чувство голода, он наломал веток рододендрона, чтобы можно было в любой момент мигом развести огонь у пересохшего бассейна. Он смотрел, как в холодном февральском небе кружат самолеты, и пересчитывал три оставленные на черный день в кармане блейзера шоколадные конфеты с ликером; а черный день, было у него такое ощущение, уже не за горами.

У него за спиной открылись двери веранды. Он встал; на террасу вышли японские солдаты. Они стали махать ему руками, и Джиму вдруг показалось, что это оттого, что они привели с

собой его родителей, почему они, собственно, и не стали перебираться, как обычно, через стену, а чинно-важно вошли через парадную дверь.

Он побежал к японцам, которые что-то кричали ему на удивление резкими голосами. И только добежав до террасы, он понял, что патруль сменился. Капрал дал ему подзатыльник, правда, не сильный, толкнул между цветочных клумб, а потом заставил убрать сложенные возле бассейна сухие ветки рододендрона. Выкрикнув какую-то фразу на немецком, он вытолкнул его на подъездную дорожку и с грохотом затворил за его спиной решетчатые ворота из витого чугуна.

Вокруг стояли залитые солнцем дома, замкнутые и запечатанные миры, куда ему ненадолго удалось проникнуть, чтобы продлить детство. Он двинулся в сторону Дамбы — не ближний свет! — и думал по дороге о японских солдатах, которые кормили его из своих котелков, однако теперь он совершенно ясно отдавал себе отчет в том, что доброта, которой его так старательно пичкали дома и в школе, не стоит выеденного яйца.

10

Сухогруз на отмели

По воде мелкой рябью разбегался холодный солнечный свет, превратив поверхность в россыпь мелко битого стекла и преобразив стоявшие в отдалении отели и банки в бесконечный ряд роскошных свадебных тортов. Джиму, который сидел на мостках погребального пирса возле заброшенных доков в Наньдао, казалось, что трубы и мачты «Идзумо» вылеплены из сахарной глазури. А орудийные башенки и вовсе были похожи на карамельные украшения на рождественском пироге; из-за приторного запаха он его отродясь терпеть не мог.

Впрочем, несмотря на запах, Джим сейчас с удовольствием съел бы этот корабль. Он представил себе, как откусывает мачты, высасывает крем из нелепых, в эдвардианском стиле труб, запускает зубы в марципановый нос и заглатывает, заглатывает всю переднюю часть корабельного корпуса. А потом он навернет еще и «Палас-отель», и здание «Шелл», и вообще весь Шанхай…

Из труб «Идзумо» вырвался клуб дыма, осекся в воздухе и прозрачной дымкой поплыл над водой. Крейсер выбрал кормовые якоря, и теперь прилив разворачивал его носом по течению реки. Он

помог японским войскам установить контроль над Шанхаем и теперь готов был отправиться на другой театр военных действий. Словно бы нарочно для того, чтобы отпраздновать это событие, с приливом в реку вернулась целая флотилия трупов. Тела мертвых китайцев, каждое в окружении собственного плотика из бумажных цветов, окружили «Идзумо», изготовились эскортировать его к устью Янцзы.

Джим огляделся, опасаясь японского морского патруля. За рекой, на Путунском берегу, громоздились оцинкованные крыши и современных пропорций трубы отцовской хлопкоочистительной фабрики. В памяти смутно маячили воспоминания о том, как он приезжал на фабрику, о том, как неловко он себя чувствовал, когда менеджеры-китайцы вели его по цехам под ничего не выражающими взглядами тысяч работавших там китаянок. Теперь там царила тишина; впрочем, Джима сейчас интересовал перегородивший реку бон из затопленных сухогрузов. Ближайший из них, однотрубный каботажник, уткнулся в дно глубоководного канала всего в сотне ярдов от края похоронного пирса. И для Джима тайн за этим ржавым мостиком, похожим на черствый ломоть ржаного хлеба, крылось ничуть не

меньше, чем в далекие довоенные дни. Война, которая изменила до неузнаваемости весь мир Джима, давным-давно забыла про эту старую калошу, но он по-прежнему отчаянно мечтал туда попасть. Встретиться с родителями, сдаться японцам, даже найти хоть какую-то еду — все эти надобности ничего не значили здесь и сейчас, когда затонувший корабль оказался в пределах прямой досягаемости.

Джим два дня бродил по берегу реки. После встречи с японским патрулем он не задумываясь отправился на Дамбу. Единственная надежда отыскать отца и маму была теперь связана со случайной встречей с кем-нибудь из родительских знакомых-нейтралов, со швейцарцами или шведами. Нейтралы по-прежнему колесили по шанхайским улицам, но Джим не увидел ни единого британского или американского лица. Неужели их всех отправили в лагеря, в Японию?

Потом как-то раз, когда он ехал по Нанкинскому проспекту, его обогнал военный грузовик. У заднего борта сидели часовые, а за ними — светловолосые мужчины в британской военной форме.

— Давай, парень! Покажи, на что способен!

— Нажимай, нажимай! Мы тебя ждать не станем!

Джим грудью налег на руль, с бешеной скоростью вращая ногами педали. Они подбадривали его, махали ему руками, хлопали в ладоши — а японцы-охранники хмурились, взирая на эту непонятную английскую игру. Джим что-то кричал вслед уходящему грузовику, а в ответ раздался смех, в жесте одобрения поднялись в воздух большие пальцы рук — и тут его переднее колесо застряло в выемке трамвайной рельсы, и он кувырком полетел под ноги рикшам.

Вскоре после этого он лишился велосипеда. Он пытался выпрямить переднюю вилку, когда к нему подошли два китайца, лавочник и его кули. Лавочник крепко ухватился за руль, но Джим сразу понял, что это не для того, чтобы помочь ему справиться с вилкой. Китайцы смотрели на него просто и прямо. А он уже слишком устал и не хотел, чтобы его снова били.

Джим стоял и смотрел, как они уводили его велосипед сквозь толпу, пока не скрылись в каком-то из бесчисленных здешних переулков. Через час он дошел пешком до Сычуаньского проспекта, но весь финансовый центр Шанхая был оцеплен японцами: сотни солдат и броневики на углах.

Джим вернулся обратно на Дамбу и стал смот-

реть на «Идзумо». Всю вторую половину дня он провел, слоняясь вдоль набережной, мимо грязевой отмели, где выбралась на берег израненная команда «Буревестника» и где он в последний раз видел отца, мимо причалов для сампанов и рыбного базара, где мертвенно-бледная кефаль лежала прямо на мостовой, между трамвайными рельсами, и в конце концов вышел к причалам Французской концессии, где Дамба упиралась в похоронный пирс и в доки Наньдао. Здесь Джима никогда никто не обижал. Этот район мелких ручьев и мусорных отвалов был сплошь усеян опиумными притонами в корпусах старых, выброшенных на берег кораблей, трупами дохлых собак и гробами, вымытыми отливом обратно на черные илистые отмели. Он понаблюдал за гидропланами, зачаленными у буев на военно-морской авиабазе. Ему казалось, что на мостках и на пирсе вот-вот должны показаться пилоты в летных шлемах. Но как выяснилось, никому, кроме Джима, гидропланы были не интересны — они стояли себе и стояли, покачиваясь на длинных лыжах-поплавках, и только ветер время от времени перебирал пропеллеры.

Ночь Джим провел на заднем сиденье одного из десятков брошенных на отмели старых

такси. На Дамбе завывали клаксоны японских бронеавтомобилей, по поверхности реки шарили прожекторы патрульных катеров, но воздух был холоден и свеж, и Джим заснул моментально. Ему казалось, что его худое тело парит в ночи, плывет над темной водой, разве что в силу привычки цепляясь за едва уловимые людские запахи, застрявшие в подушках заднего сиденья такси.

* * *

Вода поднялась, и гидропланы начали кружить на привязи, каждый возле собственного буя. Течение реки больше не давило на бон из затопленных сухогрузов. На несколько секунд поверхность воды застыла, превратившись в маслянистое зеркало, сквозь амальгаму которого пробились — как будто проросли из собственных отражений — ржавые остовы пароходов. На грязевой отмели у похоронного пирса оторвались от дна, закачались на воде полузатопленные старые сампаны.

Джим присел на металлическом мостике и стал смотреть, как на железную решетку у него под ногами заплескивают волны. Он достал из кармана блейзера одну из двух оставшихся у него шоколадных конфет. Потом другую. По оберткам

вились непонятные, как знаки Зодиака, иероглифы; он осторожно взвесил конфеты на ладони. Отправив большую обратно в карман, меньшую он положил в рот. Огненная волна ликера обожгла ему язык, он проглотил ее и стал вдумчиво перекатывать во рту темный сладкий комочек шоколада. Вокруг пирса плавно колыхалась коричневая вода, и он вспомнил: отец рассказывал ему, как солнечный свет убивает микробов. В пятидесяти ярдах от него плавал между сампанами труп молодой китаянки; тело вращалось, как часовая стрелка — пятки кружили вокруг головы, словно выбирая в нерешительности, куда сегодня направить свой путь. Джим сложил одну ладонь лодочкой, подставил ее под другую, осторожно процедил сквозь пальцы немного воды и быстро выпил, так, чтобы бациллы не успели его заразить.

От ликера и от монотонного плеска волн у Джима опять закружилась голова, и он оперся о борт наполовину залитого водой сампана, прибитого приливом к пирсу. Не дав себе труда задуматься и неотрывно глядя на затопленный сухогруз, он перебрался в сампан, оттолкнулся и поплыл наискосок через маслянистую, на студень похожую реку.

Воды в полусгнившей лодке было до середины борта, и у Джима тут же промокли и туфли, и брюки почти до колен.

Он оторвал от борта набухшую влагой планку и стал понемногу подгребать к сухогрузу. Когда он добрался до корабля, сампан уже едва держался на воде. Он уцепился за поручни на правом борту, прямо под мостиком, и взобрался на палубу, а лодка с еле-еле выступающими над водой бортами пошла своей дорогой, к следующему затопленному пароходу.

Джим проследил за ней взглядом, а потом побрел через залитую по колено водой палубу. Река осторожно перебиралась через нее, гладко, будто навощенная, втекая в открытую каюту под мостиком и покидая корабль через перила по левому борту. Джим вошел в каюту, в ржавый грот, который казался даже еще более древним, чем немецкие форты в Циндао. Он стоял на поверхности реки, которая собрала воду изо всех ручьев, и рисовых делянок, и каналов Китая, чтобы нести на своей спине этого маленького европейского мальчика. И если он шагнет через перила по левому борту, он сможет пройти по ней, словно посуху, до самого «Идзумо»…

Из труб крейсера повалили густые клубы дыма:

он явно вознамерился сняться с якоря. Может быть, родители тоже там, на борту? До Джима вдруг дошло, что он остался в Шанхае совсем один, на ржавом полузатопленном пароходе, до которого он всю жизнь мечтал добраться; Джим поднялся на мостик и посмотрел на берег. Начался отлив, и убранные цветами трупы ногами вперед тронулись в сторону моря. Пароход тоже подался под напором воды, стеная и скрипя ржавым железом бортов. Стальные листы скрежетали друг о друга, о палубу терлись тросы, фалы невидимых парусов, — как будто все еще надеялись стронуть с места эту ржавую посудину и увести ее в какое-нибудь безопасное место, в теплые моря, за тысячу тысяч миль от Шанхая.

Дрожь мостика под ногами передалась Джиму, он засмеялся — и тут вдруг заметил, что из доков за похоронным пирсом кто-то за ним наблюдает. В рубке одного из трех недостроенных сухогрузов-угольщиков стоял человек в бушлате и шапочке моряка американского торгового флота. Джим несколько неуверенно — но и не без достоинства, как капитан капитана, — поприветствовал его взмахом руки. Человек не ответил на приветствие, а вместо этого еще раз затянулся спрятанной в кулак сигаретой. Он внимательно

наблюдал — но не за Джимом, а за молодым моряком в металлической шлюпке, которая только что отвалила от соседнего полузатопленного парохода.

Обрадовавшись возможности принять на борт своего первого то ли пассажира, то ли члена команды, Джим стал спускаться с мостика на палубу. Моряк был уже совсем недалеко, подгребая сильными короткими движениями, беззвучно окуная весла в воду. Через каждые несколько гребков он оборачивался через плечо, чтобы посмотреть на Джима и заглянуть в иллюминаторы, словно опасаясь, что ржавый китайский сухогруз кишмя кишит мальчиками-европейцами. Шлюпка в воде сидела низко, вес у молодого, с мощной широкой спиной моряка явно был порядочный. Он поставил лодку бортом к борту, и Джим увидел, что под ногами у него сложены ломик, разводной ключ и ножовка по металлу. На кормовой банке лежали медные кольца, снятые с корабельных иллюминаторов.

— Привет, малец, на берег прокатиться не желаешь? Кто тут еще с тобой?

— Никого.

Молодой американец явно предлагал ему защиту и покровительство, но Джиму как-то не

хотелось так сразу расставаться с кораблем.

— Я жду родителей. Они… задерживаются.

— Задерживаются? Ну что ж, может, потом подгребут. А вид у тебя, честно сказать, так себе.

Он потянулся вперед, явно вознамерившись взобраться на палубу, но едва Джим успел подать ему руку, чтобы помочь взойти на борт, моряк резко рванул его на себя, и Джим перелетел в шлюпку, ударившись коленями о медные окантовки иллюминаторов. Моряк посадил его на скамью и попробовал на ощупь материал блейзера, дотронулся до школьной эмблемы. Растрепанные волосы, открытое американское лицо — но реку он оглядел каким-то скользким вороватым движением глаз, как будто опасался, что вот-вот у самого борта шлюпки вынырнет японский водолаз в полном боевом снаряжении.

— А теперь говори, какого черта ты сюда забрался? Кто тебя послал?

— Я сам пришел, — сказал Джим, оправляя блейзер. — Теперь это мой корабль.

— Ага, понятно, чокнутый британшонок. Это ведь ты два дня сидел на пирсе? Ты вообще кто такой?

— Джейми… — Джим отчаянно старался придумать, чем таким можно произвести на американ-

ца впечатление; он уже понял, что ему во что бы то ни стало нужно зацепиться за этого молодого моряка. — Я строил воздушный змей, такой, который поднимает человека… а еще написал книгу по контрактному бриджу.

— Нет уж, пускай Бейси сам с тобой разбирается.

Их отнесло от сухогруза, и американец налег на весла. Несколькими сильными гребками он подогнал шлюпку к илистой отмели. Они вошли в неглубокий канал между двумя похоронными пирсами, вяло текущий ручей с темной, пахнущей нефтью водой, который шел вдоль доков. Американец мрачно посмотрел на пустой гроб, успевший где-то избавиться от своего груза; плюнул внутрь, чтобы свести на нет дурную примету, и оттолкнул гроб веслом. Он виртуозно завел шлюпку за корпус яхты со срубленной мачтой, намертво зашвартованной за посаженный на мель лихтер. Укрывшись за выполненным в форме лебедя кормовым выступом яхты, они зачалились у дощатых мостков. Американец нанизал медные кольца на руку, собрал инструмент и знаком велел Джиму выходить из шлюпки.

Они прошли по докам, мимо сложенных в штабели стальных листов, свернутых бухтами

цепей и катушек ржавеющей проволоки, к обшарпанным остовам трех угольщиков. Джим изо всех сил старался не отставать, подлаживаясь к напористой походке американца. Наконец-то он встретил человека, который поможет ему отыскать родителей. А может быть, американец и тот, другой, в рубке тоже пытаются сдаться? Если они пойдут сдаваться все втроем, японцы уже не смогут просто так от них отмахнуться.

Под винтом большого угольщика стоял грузовой «шевроле». В борту не хватало одного листа обшивки, и сквозь этот проем они вошли внутрь. Американец подсадил Джима на идущий вдоль киля настил. Они поднялись по трапу на следующую палубу, прошли через рубку и сквозь узкий люк нырнули в металлическую кабину за капитанским мостиком.

Джим и так уже едва держался на ногах от голода, а теперь у него закружилась голова, и он облокотился на дверной косяк. В воздухе висел знакомый запах, похожий на запах маминой спальни на Амхерст-авеню, пахло пудрой, одеколоном и сигаретами «Крейвен А» — и на секунду ему показалось, что вот сейчас из какого-нибудь уютного темного закуточка появится, как рождественская фея, мама и скажет, что война

окончена.

11
Фрэнк и Бейси

В центре каюты топилась, на малом огне, железная печка-буржуйка, и сладковатый дымок уходил вверх, в открытый световой люк. Пол был покрыт промасленной ветошью и деталями двигателей, медными окантовками иллюминаторов и корабельных поручней. По обе стороны от печки стояли шезлонги с выцветшими надписями «Империал Эйруэйз» и застеленные китайскими пледами раскладушки.

Американец бросил инструменты в кучу металлических деталей. На несколько секунд его могучая фигура заполнила собой едва ли не всю каюту, но он тут же развернулся и неловко, боком, рухнул на шезлонг. Он заглянул в стоявшую на печи кастрюлю и с мрачным видом уставился на Джима.

— Бейси, он меня уже достал. Даже не знаю: псих он, потому что такой голодный, или такой голодный, потому что псих…

— Заходи, заходи, мой мальчик. Вид у тебя такой, что лучше бы тебе прилечь.

Из-под пледа выглянул маленький немолодой человечек и сделал в сторону Джима приглашающий жест; в белой руке дымилась сигарета. У него было мягкое, лишенное морщин лицо, лицо хорошо пожившего и многое повидавшего на своем веку человека, который, однако, не спешит кого бы то ни было ставить об этом в известность; и вялые белые руки, густо посыпанные пудрой. Его цепкий взгляд мигом пробежался по каждой мало-мальски значимой детали заляпанного грязью костюма Джима, по его судорожно дернувшемуся рту, по впалым щекам и ногам, которые вот-вот готовы были подломиться.

Он стряхнул с постели — из-под одеяла — просыпавшийся тальк и пересчитал медные кольца.

— Это и всего-то, Фрэнк? С этим на базар и соваться нечего. Хонкюйские лавочники дерут по десять долларов за мешок риса.

— Бейси! — Молодой моряк от души пнул тяжелым ботинком груду металла; злился он, судя по всему, скорее на себя, чем на старшего напарника. — Этот пацан два дня торчал на похоронном пирсе! Ты что, хочешь, чтобы сюда понабежали япошки?

— Фрэнк, япошкам до нас дела нету. В этой речушке, в Наньдао, холеры просто хоть ложкой

мешай, потому-то мы с тобой сюда и забрались.

— Ты бы еще вывеску вывесил. А может, ты бы и рад был, если бы они сюда нагрянули? А, Бейси? — Фрэнк окунул кольцо в жестянку с полиролью и принялся яростно оттирать въевшуюся в медную окантовку сажу. — Если ты такой работящий, давай попробуй сам поплавать там средь бела дня, а этот малец на тебя станет пялиться.

— Фрэнк, но мы же с тобой договорились: у меня легкие. — Бейси втянул очередную порцию дыма от своей «Крейвен А», вероятно, как раз для того, чтобы успокоить сей ранимый орган. — К тому же мальчик тебя даже и не заметил. У него на уме были совсем другие дела, Фрэнк, мальчишеские дела, про которые ты забыл, а я вот помню. — Он разгладил на раскладушке местечко и еще раз махнул Джиму рукой: — Иди сюда, сынок. Как тебя звали, пока не началась война?

— Джейми…

Фрэнк в сердцах отшвырнул тряпку.

— Да не заработаем мы так на сампан до Чунцина[27], ни в жисть! Для этого надо «Титаник» обчистить. — Он удостоил Джима не самым приятным взглядом. — А на тебя, малец, у нас и риса

---

[27] Примечания: 27

Временная столица гоминьдановского Китая после захвата японцами Нанкина и Шанхая.

не хватит. Как там тебя? Джейми?..

— Джим, — объяснил Бейси. — Другая жизнь, другое имя.

Усадив Джима рядом с собой, он протянул напудренную руку и осторожно прижал большим пальцем его подергивающийся от голода уголок рта. Джим не предпринял ни малейшей попытки сопротивления, когда Бейси обнажил ему десны и внимательно осмотрел зубы.

— Нечего сказать, зубы в полном порядке. Кто-то выложил кругленькую сумму наличными за этакий опрятный ротик. Ты, Фрэнк, даже представить себе не можешь, до чего безответственно некоторые люди относятся к зубам своих детей. — Бейси похлопал Джима по плечу, попутно оценив качество его синего шерстяного блейзера. Потом соскреб ногтем грязь со школьной эмблемы. — Н-да, Джим, и школа хорошая. Соборная, так ведь?

Фрэнк сердито выглянул из-за наваленных кучей медных деталей. Джим, судя по всему, доверия у него не вызывал — словно мог в любой момент увести у него Бейси из-под самого носа.

— Соборная? Это что же, он вроде как поп какой-то?

— Нет, Фрэнк, речь про Соборную школу. — Интерес Бейси к Джиму явно рос с каждой мину-

той. — Это школа для птичек высокого полета. Джим, ты, наверное, знаком с очень известными людьми, да?

— Ну… — засомневался Джим. Он не мог думать ни о чем другом, кроме риса, скворчащего на железной печке; но потом вдруг вспомнил полуофициальный прием в саду британской миссии. — Однажды меня представили мадам Сунь Ятсен.

— Мадам Сунь? Тебя… представили?

— Мне было тогда всего три с половиной года.

Джим сидел смирно, пока Бейси обследовал его карманы. Часы как-то сами собой соскользнули с его запястья и исчезли в одеколонно-пудровом мареве под пледом. Однако сама по себе внимательная и заботливая манера Бейси, похожая на манеру слуг, которые когда-то одевали и раздевали его, отчего-то успокаивала и внушала доверие. Моряк ощупал каждую его косточку так, словно искал что-то ценное. Сквозь открытый люк Джим видел, как с военно-морской авиабазы готовится взлететь летающая лодка. Дорогу ей перекрыл японский патрульный катер, который сделал широкий крюк, чтобы обойти бон из затопленных кораблей, — течение вошло в полную силу, и возле бона было полным-полно мощных кло-

кочущих водоворотов. Джим вернулся взглядом к кастрюле и снова вдохнул опьяняющий запах пригоревшего жира. И вдруг ему пришла в голову мысль, что эти два американца хотят его съесть.

Но тут Бейси снял с кастрюли крышку. От густого месива из риса и рыбы растекся восхитительный, почти физически осязаемый аромат. Бейси сунул руку под койку и достал из кожаного мешка пару оловянных ложек и плошек. С ловкостью официанта из «Палас-отеля», не выпуская изо рта «Крейвен А», он наложил по порции себе и Джиму. Джим, давясь, набросился на пищу, а Бейси сидел и смотрел на него с тем же немного брезгливым одобрением, которое недавно было написано на лицах японских солдат на Коламбиа-роуд.

Потом Бейси тоже принялся за еду и тоже с жадностью.

— А мы попозже поедим, да, Фрэнк?

Фрэнк, не отрывая глаз от кастрюли, снова принялся тереть окантовку иллюминатора.

— Бейси, я всегда ем после тебя.

— Мне приходится думать за нас обоих, Фрэнк. К тому же теперь нам придется заботиться о нашем юном друге. — Он смахнул у Джима с подбородка прилипшую крупинку риса. — Скажи-ка

мне, Джим, а с другими большими здешними шишками, из китайцев, ты знаком? Может быть, с Чан Кайши?..

— Да нет… но, знаете, имя-то у него на самом деле не китайское. — От горячей пищи у Джима поплыло в голове. Он вспомнил слово, часто мелькавшее в отцовской речи, слово, которое он сам старался почаще вставлять в разговоры со взрослыми. — Это производное от «Шанхай-Чех».

— Производное? — выпрямился Бейси. Он уже доел и опять принялся пудрить руки. — Ты интересуешься словами, Джим?

— Немного. И контрактным бриджем. Я написал о нем книгу.

На Бейси это вроде бы особого впечатления не произвело.

— Слова — они важнее, Джим. Каждый день копи по слову. Никогда не знаешь, какое из них и в какой момент может тебе пригодиться.

Джим доел свою порцию и удовлетворенно откинулся назад, прислонившись спиной к металлической переборке. Он не помнил ни одной своей трапезы до войны и помнил каждую с тех пор, как война началась. Его просто зло разбирало при мысли о той пище, от которой он успел отказаться в своей прошлой жизни, и о всех

тех хитроумных уловках, которые изобретали мама с Верой, чтобы он доел очередной пудинг. Он заметил, что Фрэнк смотрит на несколько прилипших к ложке зернышек риса, и тут же начисто ее облизал. А потом как бы ненароком заглянул в кастрюлю и обрадовался, отметив для себя, что риса там вполне достаточно и для того, чтобы наелся Фрэнк. Теперь он был вполне уверен, что эти два моряка с торгового флота есть его не собираются, но перетрусить он успел всерьез — в «Кантри-клабе» ходили слухи о британских моряках, торпедированных в Атлантике, и о том, как эти моряки доходили до каннибализма.

Бейси положил себе на тарелку еще ложечку риса. Есть эту добавку он не стал, просто сидел и играл с тарелкой под самым носом у голодного Фрэнка. Джим уже понял, что ему нравится держать молодого матроса на коротком поводке и что его самого он тоже использует, чтобы поиграть у Фрэнка на нервах. Воспитание, полученное Джимом, было нарочно придумано для того, чтобы избавить его от встреч с людьми, подобными Бейси; но вот пришла война и смешала карты.

— А что твой папаша, а, Джим? — спросил Бейси. — Почему ты не дома, с мамой? Твои родители — они сейчас в Шанхае?

— Да… — Джим заколебался. Опыт предшествующих нескольких недель научил его, что верить нельзя никому, за исключением разве что японцев. — Они в Шанхае, но только сейчас ушли в море, на «Идзумо».

— На «Идзумо»? — Фрэнк пулей вылетел из шезлонга. Он тоже достал из рюкзака плошку и начал с бешеной скоростью выскребать в нее из кастрюли рис. — Слушай, пацан, да кто ты вообще такой? Бейси…

— Только не на «Идзумо», Джим. — Бейси опустил под койку набеленную руку и выудил из мешка кусок угля. — «Идзумо» взял курс на Фучжоу и на Манила-Бей. Джим просто пошутил над тобой, Фрэнк. Не на японском же крейсере, Джим.

— Бейси!..

— Фрэнк… — передразнил его интонацию Бейси. — Когда же ты научишься мне доверять? У меня такое впечатление, что родителей Джима забрали вместе со всеми остальными британцами и теперь Джим пытается их отыскать. А, Джим?..

Джим кивнул и выудил из кармана блейзера последнюю конфету с ликером. Он содрал фольгу и впился зубами в миниатюрную шоколадную

бутылочку. Потом, вспомнив о том, что Вера все уши ему прожужжала о необходимости быть вежливым, он протянул оставшуюся половинку Бейси.

— Кюрасо… Что ж, стоило тебе появиться, Джим, и дела стали идти на лад. Все эти новые слова, а теперь еще и конфета, сказочная конфета, Джим, — с тобой мы причастились красивой жизни. — Бейси впился острыми белыми зубами в шоколадную чашечку и высосал начинку, более всего похожий сейчас на белую крысу, которая высасывает мозг из мышиного черепа. — Значит, все это время ты жил дома, Джим, совсем один. Где-нибудь в районе Французской концессии?

— Амхерст-авеню.

— Фрэнк… Прежде чем уехать из Шанхая, мы непременно должны туда наведаться. Там, должно быть, уйма пустующих домов, а, Джим?

Джим закрыл глаза. Он не спал, он просто очень устал, он думал о съеденной пище и заново пробовал на вкус каждую отдающую рыбой ризинку. Бейси все что-то говорил, и его как будто сквозь подушку звучавший голос кружил в прокуренном воздухе каюты и пах одеколоном и сигаретами «Крейвен А». Джиму вспомнилась мама, как она сидит и курит в гостиной на Амхерст-авеню. Вот

он встретил этих двух американских моряков, и уж теперь-то отыскать ее будет много проще. Он останется с Бейси и Фрэнком; они будут все вместе выбираться на затопленные корабли; рано или поздно их заметят с японского патрульного катера.

В лицо пахнуло горячим, отдававшим рыбой дыханием. Джим резко втянул в себя воздух и проснулся. Над ним нависло могучее тело Фрэнка, тяжелые руки у него на бедрах, пальцы лезут в карманы блейзера. Джим оттолкнул его прочь, и Фрэнк тут же вернулся в шезлонг, полировать подложки от иллюминаторов.

В каюте они были вдвоем. Джим слышал, как внизу, по бамбуковому настилу, ходит Бейси. Потом хлопнула дверца грузовика, закашлялся допотопный двигатель и резко смолк. Издалека донесся рев сирены на «Идзумо». Фрэнк бросил на Джима многозначительный взгляд и снова принялся тереть суконкой потускневшую медь.

— Знаешь что, малец, у тебя просто талант действовать людям на нервы. Как это ты до сих пор не угодил к японцам в лапы? Бегаешь, наверное, быстро.

— Я пытался им сдаться, — уточнил Джим. — Только это не так-то просто. А вы с Бейси хотите

сдаться?

— Черта с два, хотя насчет него не знаю. Я все пытаюсь его убедить, что нам надо купить сампан и уйти вверх по реке в Чунцин. Но только Бейси — у него сегодня одно на уме, завтра другое. Теперь тут япошки, и Бейси хочет остаться здесь. Он думает, что, попади мы в лагеря, мы там загребем кучу денег.

— А много вы продаете этих медных штук, Фрэнк?

Фрэнк уставился на Джима, все еще не очень для себя решив, как он должен относиться к этому пацаненку.

— Малец, да мы еще ни одной не продали. Это у Бейси просто игра такая, вроде наркотика, ему нравится, чтобы люди на него работали. У него где-то в доках припрятан мешочек с золотыми зубами, вот их-то он и продает в Хонкю.

Фрэнк поднял массивные, в пятнах масла, пассатижи и, усмехнувшись, дотронулся ими до Джимова подбородка.

— Тебе повезло, что у тебя нет золотых зубов, а то бы… — И он сделал резкое движение рукой.

Джима словно подбросило: он вспомнил, как Бейси рылся у него во рту. В металлической каюте реверберировал звук работающего мотора. С

этими морячками, которые каким-то неведомым образом избежали расставленных японцами вокруг Шанхая сетей, нужно было держать ухо востро; он понял, что опасаться их стоит, пожалуй, не менее, чем любого другого жителя города. Этот Бейси с его потайным мешочком золотых зубов… В ручьях и каналах Наньдао плавало полным-полно трупов, и у каждого трупа во рту были зубы. Китаец перестанет себя уважать, если не вставит себе хоть один золотой зуб, а теперь война, люди умирают, а у родственников иногда просто не хватает сил, чтобы снять золотые коронки перед похоронами. Джим представил себе, как эти два американца рыщут ночью по грязевым отмелям с пассатижами в руках, Фрэнк на веслах неслышно гребет вдоль по черным мелким каналам, Бейси с фонарем сидит на носу, ворочает плывущие мимо трупы и шарит пальцами у них во рту…[28]

[28] Примечания: 28

В традиционном китайском (даосском) похоронном обряде покойному в рот клали кусочек золота (глотающий золото и/или жемчуг не только удлиняет себе жизнь, но и обеспечивает существование тела после смерти). Золотые зубы в данном случае — своего рода вариация древней темы.

12
Танцевальная музыка

Все три дня, которые Джиму пришлось провести с моряками-американцами, прошли под знаком этого кошмарного образа. Ночью, когда Бейси и Фрэнк спали, прижавшись друг к другу и укрывшись пледом, он лежал на стопке мешков из-под риса возле печки, и сна не было ни в одном глазу. Догорающие угли отблескивали на медных окантовках иллюминаторов и поручнях — совсем как золотые зубы. По утрам, едва проснувшись, он ощупывал челюсть, чтобы убедиться в том, что Фрэнк не выдрал ему ночью, из чистой вредности, коренной зуб.

Днем Джим сидел на похоронном пирсе на стреме, покуда Фрэнк орудовал на затопленных кораблях. Замерзнув, он возвращался в каюту и забирался под плед, а Бейси сидел в шезлонге «Империал эйруэйз» и мастерил из старых ершиков для чистки трубок проволочные игрушки. Раньше Бейси служил стюардом в «Катай-американ-лайн», и вот теперь он обучил Джима нескольким скороговоркам и салонным фоку-

сам, которыми в свое время развлекал детишек пассажиров. Он даже давал себе труд следить за тем, чтобы Джим как следует ел — два раза в день, утром и вечером, — под аккомпанемент бесчисленных вопросов об отце и о матери. Бейси явно хотелось быть похожим на пассажирок с трансокеанских рейсов: в одной руке пуховка, другая прикуривает сигарету; жара, полумгла.

Каждый день после полудня они садились в грузовик и ездили на Хонкюйский рынок. Бейси выторговывал очередной мешок риса и несколько кусков рыбы — в обмен на пачки французских сигарет, которые хранились в картонных коробках у него под кроватью. Иногда он говорил Фрэнку, чтобы тот подвел Джима к прилавку: лавочник-китаец с мрачным видом осматривал мальчика и качал головой.

Джим вскоре понял, что Бейси пытается его продать. Сопротивляться у него не было сил, он просто сидел в машине между двумя американцами, похожий на куренка, вроде тех, что китаянки сажают рядом с собой на трамвайные сиденья. По большей части он чувствовал себя неважно, но в счет своей потенциальной стоимости мог, по крайней мере, рассчитывать на еду, и даже с вареной рыбой. Рано или поздно до китайцев

дойдет, что они смогут заработать пару йен, если донесут на них японцам.

А пока он старался избегать тяжелых Франковых лап, шарил в памяти в поисках слов позаковыристей, какие нравились Бейси, и угощал бывшего стюарда байками о роскошных особняках на Амхерст-авеню. Жизнь, придуманная Джимом, была полна безудержной мишурной роскоши, и он клялся, что его родители проводили время именно так. Эти истории из жизни шанхайского высшего общества буквально зачаровывали Бейси.

— Расскажи-ка мне об этих званых вечеринках с купанием в бассейнах, — просил Бейси, покуда Фрэнк возился с мотором. Они как раз собирались в свою последнюю поездку на рынок в Хонкю. — Там, наверное, всякого хватало… веселья.

— Да, Бейси, конечно, там было очень весело. — Джим вспомнил о долгих часах, проведенных в полном одиночестве и в безуспешных попытках достать серебряную монетку, блестевшую на дне бассейна, как зуб у Бейси во рту. — Там были конфеты с ликером, и белый рояль, и виски с содовой. А еще чародеи.

— Чародеи, Джим?

— По-моему, это были самые настоящие ча-

родеи…

— Ты устал, Джим. — Они сели в грузовик, и Бейси тут же обнял Джима за плечи. — Ты слишком много думаешь, все эти новые слова…

— Я уже вспомнил все, какие знал, Бейси. А война скоро кончится?

— Не волнуйся, Джим. Максимум месяца через три японцы сломаются.

— Так быстро, Бейси?

— Ну, может быть, чуть позже. Войны, они тоже с бухты-барахты не начинаются, люди вкладывают деньги, большие деньги, Джим, и эти инвестиции приходится защищать. Вроде как мы с Фрэнком вложились в этот грузовик.

Джиму раньше никогда не приходило в голову, что кто-то может хотеть продолжения войны, и едва ли не полпути до Хонкю он раздумывал над этой странной логикой. Машина громыхала по проселочной дороге за доками, мимо пустующих складов, мусорных отвалов и могильных холмиков. Возле каналов в выстроенных из ящиков и старых автомобильных покрышек хибарах ютились нищие. У затхлой заводи сидит на корточках старуха, отскребает деревянное сиденье из уборной. Отсюда, из уютной безопасности автомобильной кабины, Джиму было жаль этих

несчастных людей, хотя всего несколько дней назад его собственное положение было еще более отчаянным. В его сознании произошло странное раздвоение реальности, как если бы все, что случилось с начала войны, происходило в зеркале. Головокружение и голод были прерогативой его зеркальной половины, и о еде, постоянно и неотвязно, тоже думала именно она. А у него к ней не осталось даже жалости. Должно быть, именно так умудряются жить на этом свете — и выживать — китайцы, подумал Джим. Но в один прекрасный день китаец может вынырнуть из зеркала.

Переезжая через ручей Наньдао во Французскую концессию, они наткнулись на первый японский патруль, охраняющий блокпост у северного въезда на стальной решетчатый мост. И тут выяснилось, что Бейси и Фрэнк совсем не боятся солдат, — на американцев, заметил для себя Джим, вообще не так-то просто произвести впечатление. Фрэнк даже посигналил японскому солдату, который не вовремя вышел на дорогу. Джим тут же пригнулся как можно ниже, ожидая, что вот сейчас в них начнут стрелять, но японец с угрюмой миной на лице дал им отмашку: должно быть, принял Фрэнка и Бейси за русских рабочих, из белоэмигрантов.

Потом они битый час колесили по хонкюйскому рынку, мимо сотен заходящихся лаем собак в бамбуковых клетках, причем не одних только «мясных» китайских дворняжек, но и спаниелей, и такс, и рыжих сеттеров, и эрделей, которые, утратив хозяев-европейцев, остались одни на голодных шанхайских улицах. Несколько раз они останавливались; Бейси выбирался из машины, подходил к лавочнику и бегло говорил с ним на портовом кантонском диалекте. Но ни медные кольца, ни золотые зубы в ход не шли.

— Фрэнк, а что Бейси хочет купить?

— Сдается мне, он скорее продает, чем покупает.

— А почему у Бейси никак не получается меня продать?

— Да кому ты нужен. — Фрэнк щелчком подбросил в воздух полкроны, украденные у Джима из кармана, и на лету подхватил монетку тяжелой пятерней. — Ты же гроша ломаного не стоишь. Или, как тебе кажется, — стоишь ты хоть чего-нибудь?

— Я гроша ломаного не стою, Фрэнк.

— Кожа да кости. А скоро совсем в доходягу превратишься.

— А если они меня купят, что они со мной ста-

нут делать? Есть меня без толку, я же — кожа да кости.

Но Фрэнк не удостоил его ответом. В грузовик, качая головой, забрался Бейси. Они выехали из Хонкю и, переправившись через речку Сучжоу, оказались в Международном сеттльменте. Грузовик не спеша тронулся в путь по главным здешним улицам, застревая в пробках на авеню Фош, следуя за медленными, погромыхивающими на ходу трамвайчиками сквозь густой, колесо к колесу, поток пеших и велорикш.

Джим попытался было указывать дорогу к жилым районам в западной части Шанхая, в сотый раз пересказывая сказки о роскошных особняках, битком набитых бильярдными столами, виски и конфетами с ликером. Потом до него дошло, что Фрэнк и Бейси просто-напросто убивают время, выжидая темноты. После шести часов вечера солнечный свет ушел с фасадов жилых многоэтажек во Французской концессии. Моряки одновременно подняли в дверцах стекла. Фрэнк свернул с проспекта Кипящего Колодца и углубился в темные китайские кварталы в северной части города.

— Фрэнк, ты не туда едешь… — Джим попытался указать нужное направление. Но Бейси тут

же прижал к его губам тыльную сторону густо напудренной руки.

— Тише, Джим. Чем чаще мальчик молчит, тем для него же лучше.

У Джима плыло перед глазами, и он положил голову на плечо Бейси. Они пустились в бесцельное путешествие по узким улочкам, едва протискиваясь между рикшами и телегами с впряженными в них буйволами, и сотни китайских лиц внимательно следили за ними из окон — сквозь стекло. Джиму снова хотелось есть, а от бесконечной тряски — автомобиль шел по заброшенным трамвайным путям — у него кружилась голова. Ему хотелось поскорее вернуться в Наньдао, к железной печке, на которой скворчит кастрюлька с рисом.

Часом позже Джим проснулся и обнаружил, что они наконец добрались до западных пригородов Шанхая. На Коламбиа-роуд, на коньках тамошних крыш, догорали последние лучи солнца. Проезжая мимо припаркованных «опелей» и «бьюиков» в немецком квартале, Бейси указывал пальцем на пустующие дома.

Джим встряхнулся и стал дышать на руки, чтобы хоть немного их согреть. Бессмысленная болтанка по городским улицам осталась поза-

ди; теперь Джим понимал, что его болтовня о шикарной жизни заставила двух этих не самых законопослушных мужчин пуститься в весьма рискованное предприятие. И он, как ведущий группу доверчивых туристов гид, принялся описывать дома, в которых успел побывать за последние два месяца.

— Вот здесь джин и виски, Бейси. В том вон — виски, джин и белый рояль; а, нет, только виски.

— Бог с ней, с выпивкой. Мы с Фрэнком не собираемся открывать распивочную. Ты же хорист, а, Джим? Вот мы и поставим тебя на белый рояль, и ты споешь нам «Янки дудл денди».

— А в этом домашний кинотеатр, — не унимался Джим. — А здесь полным-полно зубов.

— Зубов, Джим?

— Тут раньше жил дантист. Может, там и золотые есть, Бейси.

Они свернули на Амхерст-авеню и тихо покатили мимо пустых особняков. Света здесь по-прежнему не было, дома прятались в разросшихся садах, и вид у них в ранних сумерках был еще более угрюмый, чем раньше, — совсем как у затопленных пароходов в речном боне. Впрочем, Бейси взирал на них с неподдельным почтением, так, словно долгие годы, проведенные им в каче-

стве стюарда на «Катай-Американ» приучили его отдавать должное истинной ценности этих громоздких, вымытых на берег посудин. Знакомство с Джимом явно льстило ему.

— Правильный это был выбор с твоей стороны, Джим, — родиться именно здесь. Мальчик, который умеет ценить хороший дом, вызывает уважение. Родителей каждый может выбрать, но вот ума на то, чтоб заглянуть чуть дальше…

— Бейси… — прервал его мечтательные излияния Фрэнк. Они остановились под деревьями, ярдах в двухстах от подъездной дорожки к дому Джима.

— Да, Фрэнк, ты прав.

Бейси открыл дверцу и спустился на дорогу. Японских патрулей видно не было, охранники-китайцы по случаю наступления темного времени суток также покинули свои посты у ворот. Бейси указал на узенький тупичок, который вел к одному из домов между двумя рядами нестриженой живой изгороди из бирючины.

— Джим, самое время размять ноги. Давай-ка, прогуляйся и посмотри, не играет ли там кто на белом рояле.

Джим прислушался к тихому, но четкому ритму мотора. Фрэнк, развалившись, сидел за рулем,

но нога его в тяжелом башмаке лежала на педали газа. Бледное лицо Бейси китайским фонариком покачивалось в тени деревьев. Джим знал, что здесь они его и оставят. Продать его китайцам у них не вышло, и вот теперь они бросят его умирать на темных шанхайских улицах.

— Бейси, я... — Фрэнк опустил ему на плечо тяжелую лапу, готовясь силой вышвырнуть его на дорогу. — Может, лучше к моему дому, а? Он более изысканный, даже лучше, чем этот.

— Изысканный? — Бейси покатал новое слово в тусклом сумеречном воздухе. Он оглядел близлежащие дома, тюдоровские щипцы крыш и белые фасады в стиле модерн, стилизованные швейцарские шато и асиенды с зелеными черепичными крышами. Затем забрался обратно в кабину и осторожно прикрыл дверцу, не защелкнув замка. — Ладно, Фрэнк. Давай-ка взглянем на дом Джима.

Они проехали под деревьями и свернули на подъездную аллею. Часового на посту не было. Увидев дом, Бейси был явно разочарован, чего и следовало ожидать. Он снова открыл дверцу, изготовившись схватить Джима за шкирку и вышвырнуть его из кабины вон, к порогу собственного дома.

Джим вцепился в приборную панель, и в это время на крыльце показались две одетые в белое фигуры, с плывущими позади, как крылья, широкими рукавами. Джим почти воочию увидел маму: она вернулась домой и теперь провожает какую-то засидевшуюся у нее дотемна гостью.

— Бейси! Япошки!..

Джим услышал, как кричит Фрэнк, и понял, что те двое на крыльце были сменившиеся с поста японские солдаты в обычных выходных кимоно. Солдаты тоже их заметили и стали что-то кричать внутрь дома, сквозь открытую дверь. В коридоре, в тусклом облаке света от керосиновой лампы, появился сержант в полной форме. Он вышел и остановился на самой верхней ступеньке, придерживая на крепком коротком бедре кобуру «маузера». Фрэнк стал с бешеной скоростью выкручивать руль, пытаясь развернуть машину, но тут оба солдата в кимоно вспрыгнули с двух сторон на подножки и ударили кулаками в стекла. С крыльца скатились еще два солдата с бамбуковыми палками в руках.

Двигатель заглох, и Джим почувствовал, как его выдернули из кабины и бросили наземь. Из дома, похожие на стайку посходивших с ума и выскочивших прямиком из ванной женщин,

бежали японцы в белых кимоно. Джим сидел на колючем гравии между начищенными до блеска башмаками японского сержанта, о напрягшееся бедро которого сердито постукивала кобура. Солдаты поймали Фрэнка прямо в кабине. Они молотили его бамбуковыми палками прямо по разбитым в кровь лицу и груди, а он только дергал ногами. Еще два солдата наблюдали за этой сценой с крыльца, по очереди отвлекаясь, чтобы ударить кулаком скорчившегося у них под ногами на подъездной дорожке Бейси.

Японцам Джим был рад. Через открытую дверь, сквозь звуки ударов и вопли Фрэнка он вслушивался в хриплые аккорды японского танцевального оркестра: пластинку они принесли с собой, но граммофон был мамин, портативный, специально чтобы возить с собой на пикники.

13
Летний кинотеатр

Раскинув руки, Джим лениво грелся на ласковом весеннем солнышке, сидя в переднем ряду летнего кинотеатра под открытым небом. Улыбаясь сам себе, он глядел на близкий, не далее чем в двадцати футах, пустой экран. Вот уже целый час

как по белому полотну не спеша передвигалась размытая тень «Парк-отеля». Проделав долгий путь по забегаловкам и многоквартирным доходным домам Чапея, до экрана добралась наконец и тень от неоновой вывески на крыше гостиницы. Огромные буквы, каждая из которых была в два раза выше вышагивающего по сцене японского часового, довольно быстро прошли по экрану слева направо, то и дело поглощая тень и от самого солдатика, и от его винтовки, — в этаком изысканном немом кино, где роль проектора сыграло солнце.

Радуясь редкому зрелищу, Джим рассмеялся; он сидел, подобрав к подбородку грязные коленки и поставив ноги на скамью, набранную из тонких тиковых планок. Эта послеполуденная диорама, совместное производство солнца и «Парк-отеля», была его главным развлечением на протяжении трех недель, которые он уже успел провести в этом летнем кинотеатре. До войны сюда ходили в основном работницы с хлопкоочистительных фабрик и рабочие с судоремонтного, сплошь китайцы, смотреть отснятые на шанхайских киностудиях мультфильмы и приключенческие сериалы. Джиму часто приходило в голову, что и Янг, их бывший шофер, тоже наверняка появ-

лялся на этом экране. Он успел обследовать этот фильтрационный лагерь до последнего закоулка и в заброшенной конторе над киноаппаратной нашел катушки с кинопленкой. Может быть, японский сержант-связист, который как раз взялся разбирать кинопроектор, покажет им один из фильмов с участием Янга?

Его хихиканье явно не понравилось часовому на сцене, и тот кинул в его сторону недовольный взгляд. К Джиму он относился с явной подозрительностью, и Джим старался держаться от него подальше. Прикрыв глаза рукой, солдат окинул взглядом ряды деревянных скамей, где расположились на солнышке интернированные. Тремя рядами выше сидел муж умирающей миссионерки. Сама она лежала в «спальне», оборудованной в бывшем складском помещении под трибуной, лежала давно, с того самого дня, как ее сюда привезли, но мистер Партридж, ее муж, терпеливо за ней ухаживал, носил ей воду из крана в уборной и кормил жидкой рисовой кашицей, которую раз в день варили во внутреннем дворике за билетными кассами две женщины-евроазиатки.

Джим как мог заботился об этом старом англичанине с торчащими клочьями седых волос и мертвенно-бледной кожей. Время от времени ка-

залось, что он не узнает даже собственную жену. Джим помог ему сделать ширму вокруг миссис Партридж, которая за все это время не сказала ни единого слова; запах от нее, надо сказать, шел преотвратный. На ширму пошло старое английское пальто мистера Партриджа и пожелтевшая ночная рубашка его супруги: Джим подвесил их к потолку при помощи отодранного от стены электрического провода. Если становилось совсем уже скучно, Джим шел вниз, на женский склад, и выгонял оттуда вечно устраивавших там какие-то игры детишек-евроазиатов.

В фильтрационном центре, куда Джим попал после недели, проведенной в Центральной шанхайской тюрьме, было что-то около тридцати человек. По сравнению с сырой общей камерой, где, кроме него, сидело еще человек сто британцев и евроазиатов, залитый солнцем летний кинотеатр казался курортом — почти как на пляжах в Циндао. С Бейси Джим не виделся с того самого вечера, когда их взяли японцы, и радовался, что отделался от бывшего стюарда. Никто из заключенных в Центральной тюрьме — а это по большей части были строительные прорабы-контрактники и моряки с торгового флота — не слышал о родителях Джима, но пе-

ревод в фильтрационный центр был шагом по направлению к ним.

Вскоре после того, как он оказался у японцев, Джим заболел: у него был сильный жар, все тело болело, и его рвало кровью. И он подумал, что в фильтрационный центр его перевели на поправку. Кроме Джима, тут были еще несколько престарелых английских пар, старик голландец с дочерью, уже взрослой, и тихая бельгийка с раненым мужем, который спал на мужском складе рядом с Джимом. А в остальном — одни только евроазиатки, которых бросили в Шанхае их британские мужья.

То есть интересно тут не было ни с кем — все были либо слишком старые, либо мучились от малярии с дизентерией, а из детишек-евроазиатов почти никто не говорил по-английски. Так что бóльшую часть времени Джим проводил на трибуне, бродя меж деревянными скамейками. У него очень болела голова, но он все же предпринял несколько, неудачных, впрочем, попыток наладить отношения с японскими солдатами. А ближе к вечеру всякий раз показывали театр теней, тихий фильм о шанхайском пейзаже.

Джим смотрел, как расплываются и гаснут буквы неоновой вывески над «Парк-отелем». В

фильтрационном центре ему нравилось, несмотря на то что он постоянно был голоден. Он столько месяцев слонялся по шанхайским улицам, и вот наконец ему удалось сдаться японцам. Тема сдачи в плен долго занимала Джима: на поверку для этого потребовалась немалая смелость, да и без хитрости не обошлось. Интересно, как это люди умудряются сдаваться в плен целыми армиями?

Он прекрасно отдавал себе отчет: японцы взяли его в плен только из-за того, что он оказался вместе с Бейси и Фрэнком. Он каждый раз пугался при воспоминании о том, как солдаты в кимоно били Фрэнка бамбуковыми палками, но теперь он, по крайней мере, сможет в ближайшем будущем отыскать родителей. В фильтрационный центр постоянно привозили новых заключенных и увозили прежних. За вчерашний день умерли двое британцев: забинтованная с ног до головы женщина, на которую Джиму не разрешили даже взглянуть, и еще один старик, отставной инспектор из шанхайской полиции, у него была малярия.

Если бы только удалось выяснить, в который из дюжины разбросанных вокруг Шанхая лагерей отправили отца и маму… Он снялся с места и попытался поговорить с мистером Партриджем,

но у старика опять что-то соскочило в голове, и до него было не достучаться. Джим подошел к двум сидевшим через несколько скамеек от него евроазиаткам. Но они, как всегда, затрясли головами и бесцеремоннейшим образом отмахнулись от него, как от мухи.

— Дрянь такая!..

— Грязный мальчишка!..

— Пошел вон отсюда!..

Они всегда кричали на Джима и старались не подпускать к нему своих детей. Иногда они даже передразнивали его — тот голос, которым он говорил во время приступов лихорадки. Джим улыбнулся им в ответ и вернулся на прежнее место. Навалилась усталость, обычное дело; он подумал, что неплохо было бы сейчас спуститься на склад и поспать часок на циновке. Но ближе к вечеру давали еду, вареный рис, и вчера, когда у него был очередной приступ, он в результате остался без ужина. Его всегда удивляло, как эти старые и больные люди умудряются всякий раз вставать и идти за едой. Джима никто из них будить даже и не подумал, и пищи для него в большом медном котле тоже никакой не осталось. Когда же он попытался возмутиться, солдат-кореец просто-напросто дал ему подзатыльник. Джим

уже давно подозревал, что евроазиатки, которые отвечали за сложенные в билетных кассах мешки с рисом, каждый раз не докладывают ему еды. Он ни на грош не доверял ни им самим, ни их странным детям, которые на вид были почти как англичане, но говорили только по-китайски.

Джим твердо решил заполучить свою долю риса. Он знал, что сильно исхудал с начала войны и что родители могут его не узнать. Когда подходило время раздачи пищи и он умудрялся мельком заглянуть в растрескавшееся окошко билетного киоска, всплывавшее навстречу ему вытянутое лицо с запавшими глазницами и обострившимися чертами лица казалось незнакомым. Зеркал Джим старался избегать — евроазиатки вечно наблюдали за ним при помощи маленьких карманных зеркалец.

Джим решил подумать о чем-нибудь полезном и откинулся на тиковую скамью. Он проводил глазами на другую сторону реки летающую лодку «Кавaниси»[29]. Гул моторов успокаивал и навевал воспоминания о былых грезах наяву: как его тянуло летать. Когда ему слишком уж сильно

[29] Примечания: 29

«Кавaниси H6K», Тип 97 («Мейвис»), либо более мощная и тяжелая «Кавaниси H8K», Тип 2 («Эмили»). Оба самолета совмещали функции морского разведчика и бомбардировщика-торпедоносца.

хотелось есть или увидеть родителей, он принимался мечтать о самолетах. Один раз, когда у него был сильный жар, он даже видел, как над фильтрационным центром летели американские бомбардировщики.

Из внутреннего дворика у билетного киоска раздался резкий свисток. Дежурный сержант держал в руках список: очередная перекличка. Джим заметил, что сержант был не в состоянии дольше чем на полчаса запомнить имена интернированных. Джим взял за руку мистера Партриджа, и они пошли следом за парочкой евроазиаток. У ворот снаружи остановился военный грузовик; стены кинотеатра нарочно выстроили высокими, чтобы жители соседних многоэтажек не могли бесплатно смотреть кино прямо у себя из окон. В интервалах между свистками Джим слышал, как снаружи плачет ребенок, британский ребенок. Привезли очередную группу заключенных. Значит, скоро кого-то увезут — по-другому здесь не бывает. Джим был уверен, что через несколько минут он уже будет трястись в грузовике, направляясь, может быть, в один из этих новых лагерей возле Хуньджяо или возле Лунхуа. На складе он встал с миской в руке у своей циновки, и вместе с ним те из стариков, кто еще мог стоять.

Он слышал, как из грузовика выгоняют вновь прибывших. К сожалению, среди них оказалось несколько маленьких детей: они, конечно, будут ныть и отвлекать японцев от их главной на данный момент задачи — решить, куда отправить Джима.

На пороге показался японский сержант в сопровождении двух вооруженных солдат. У всех троих на лицах были марлевые повязки — от спящего на полу молодого бельгийца шел тяжкий запах, — но внимательный взгляд сержанта по очереди прошелся по каждому из них и пересчитал точное число котелков. Дневной рацион риса или сладкого картофеля предназначался котелку, а не закрепленному за ним заключенному. Если, к примеру, мистер Партридж, покормив жену, слишком уставал, Джим брал его порцию сам. Однажды, на обратном пути, он поймал себя на том, что, сам того не замечая, начал есть водянистую кашу. Джиму стало не по себе, и он строго посмотрел на руки-искусительницы. Разные части его души и тела часто действовали сами по себе, словно их уже ничто между собой не связывало.

Стараясь, чтобы щека у него не слишком дергалась, он лучезарно улыбнулся японскому сержанту и постарался глядеть молодцом. Только

здоровые и крепкие люди имели шанс уехать из фильтрационного центра. Впрочем, на сержанта этот его взгляд произвел скорее обратное впечатление — как всегда. Он отступил на шаг в сторону, и в складское помещение вошли новые заключенные. Два тюремных санитара-китайца внесли на носилках англичанку в сильно запачканном хлопчатобумажном платье — она была без сознания. Волосы, влажные и слипшиеся, забились ей в рот, а по бокам, держась за носилки, шли два ее сына, ровесники Джима. За ними проковыляли три пожилые женщины, не обратив ни малейшего внимания на вонь и тусклый свет. Потом — долговязый солдат в тяжелых башмаках и британских армейских шортах. Он был страшно истощен; его грудная клетка была похожа на другую клетку, птичью, и Джиму показалось, что он видит, как изнутри о ребра бьется сердце.

— Так держать, парень… — Он оделил Джима беззубой улыбкой и потрепал его по голове. И тут же сел к стене и уткнулся обтянутым кожей, похожим на череп лицом в сырой цемент. Рядом с ним другая пара китайцев поставила еще одни носилки. Из гнездышка, свитого из соломенных жгутов, они вынули маленького, явно немолодого человечка в перепачканной кровью матросской

куртке. Раны на его распухших руках, лице и лбе были залеплены полосками японского бинта из рисовой бумаги.

Джим уставился было на этого безнадежного доходягу, и тут же уткнулся лицом себе в предплечье, чтобы не задохнуться от вони. Из фильтрационного центра забрали нескольких евроазиаток вместе с детьми. Джим окинул взглядом больных и умирающих людей на складе, китайцев-санитаров и японских солдат в марлевых повязках, и до него в первый раз начал доходить истинный смысл фильтрационного центра.

Мистер Партридж и другие старики стояли каждый у своей циновки и громыхали котелками, требуя положенной еды. Раненый моряк сделал забинтованными руками Джиму какой-то знак и тоже стал стучать своей жестянкой в том же самом ритме, что и умирающий старик-нищий, который когда-то сидел у ворот их дома на Амхерст-авеню. Даже скелетоподобный солдат уже успел дотянуться до крышки от котелка. Не отрывая лица от стены, он несколько раз ударил ею о каменный пол.

Джим тоже начал громыхать котелком, а японцы стояли и смотрели на них поверх белых марлевых масок. И в тот самый момент, когда он уже

почти отчаялся когда-нибудь найти родителей, в нем вдруг поднялась мутная волна надежды. Он встал на колени и взял жестянку из рук раненого моряка, узнавающе вдохнув еле слышный запах одеколона, — уже преисполненный уверенности в том, что вдвоем-то они непременно выберутся из фильтрационного центра и проложат себе дорогу к далеким спасительным концентрационным лагерям.

— Бейси! — всхлипнул он. — Все в порядке, Бейси!

14
Американские самолеты

— Война скоро кончится, Бейси. Я видел американские самолеты, бомбардировщики, «Кёртис»

и «Боинги»...[30]

— «Боинги»?.. Джим, да ты...

— Ты лучше не разговаривай, Бейси. Теперь я буду на тебя работать, совсем как Фрэнк.

Джим склонился над американцем, пытаясь вспомнить, как вели себя в его раннем детстве ама. Ему еще ни разу в жизни не приходилось за кем-либо или за чем-либо ухаживать — если не считать ангорского кролика, который трагически погиб буквально через несколько дней после того, как поселился у Джима. Он наклонил котелок и попытался влить Бейси в рот немного воды; потом обмакнул в и без того грязную воду пальцы и дал Бейси их обсосать.

Три недели Джим только тем и занимался, что выхаживал бывшего стюарда, носил ему его

---

[30] Примечания: 30

Флотские двухместные палубные разведчики и пикирующие бомбардировщики «Кёртис SB2C Хеллдайвер» и армейские десятиместные тяжелые бомбардировщики «Боинг B-17 Летающая Крепость». Горячечные фантазии Джима остаются горячечными фантазиями Джима, но автор делает здесь ход вполне в духе собственного — привычного массовому читателю — творчества 60–70-х годов. При всей нарочитой внешней достоверности роман имеет еще и целый ряд сугубо литературных — и даже мистических — внутренних планов. Джим, с которым происходят странные телесные, душевные и духовные трансформации, который не видит и не понимает очень многих бытовых обстоятельств (или не всегда желает их замечать), в своем «зазеркальном» бытии видит очень странные вещи — и на поверку именно они зачастую оказываются истинными. Эти «заныры» смертельно опасны; тем более что происходят они как-то сами собой, практически независимо от воли Джима. И из каждого такого нырка в Зазеркалье он может

попросту не вернуться. Но 18 апреля 1942 года 16 американских средних бомбардировщиков «Норт Америкен B-25 Митчелл», стартовав с авианосцев «Хорнет» и «Энтерпрайз», отбомбились по Токио и ушли дальше на запад, имея целью перелететь через оккупированные японцами прибрежные китайские провинции и приземлиться на гоминьдановских аэродромах во внутреннем Китае. Шанхай лежит несколько в стороне от предполагаемого курса, и бомбили Токио не «Кёртисы» с «Боингами», а «Митчеллы». Но, во-первых, ни один американский самолет так и не дотянул до намеченного аэродрома, а бóльшая часть к тому же еще и сбилась с курса, так что один из них сел аж возле Хабаровска. А во-вторых, Джим видит «духовную суть» очень важного для тогдашнего состояния душ и умов по обе стороны от линии фронта события. Американцы на самом деле бомбили в этот день Токио и летали над Китаем. Чего никто от них — после Перл-Харбора и Манилы — не ожидал.

порцию вареного риса или сладкого картофеля, набирал из крана в коридоре воды. Он часами сидел под окошком с фрамугой возле циновки Бейси и обмахивал моряка самодельным веером. От притока свежего воздуха тот вскоре начал оживать, и один за другим стали исчезать бумажные бинты, трепетавшие от каждого сквознячка у него на лице и на запястьях. С помощью Джима он отодвинул свою циновку от английского солдата, который потихоньку умирал у стены. За неделю он оправился настолько, что начал следить за японскими часовыми и за тем, как исчезали и снова появлялись евроазиатки, готовившие для заключенных пищу.

Вычищая котелок Бейси, Джим думал о том, на самом ли деле моряк его узнал. А если узнал, то, интересно, понял он или нет, как Джим его подставил? В принципе он может рассказать об этом другим заключенным, но, с другой стороны, а что особенного они могут сделать с Джимом? Мысль о том, что теперь в войне с евроазиатками у него появился союзник, его обрадовала, и он опустил голову Бейси на колени…

Очнулся он, почувствовав, как Бейси толкает его котелком.

— Время шамать, Джим. Давай-ка в очередь.

Джим сел, искренне надеясь, что ничего не сказал во сне, — и Бейси тут же стер с его щеки какое-то грязное пятнышко. Стюард прошелся взглядом по изможденной фигурке мальчика, и Джим понял, что тот видит его насквозь.

— Попробуй чем-нибудь помочь миссис Блэкберн, Джим. Втереться, так сказать, к ней в доверие. Если женщина разводит костер, ей всегда нужна помощь.

Каким-то образом Бейси уже успел вызнать имя евроазиатки, хотя никуда, кроме уборной, не ходил. Джим выбежал со склада с двумя котелками в руках. За ним шли остальные заключенные; зашевелились старики, с трудом отдирая себя от циновок. Мистер Партридж взял котелок из руки английского солдата, который неподвижно сидел у стены в луже мочи.

Над внутренним двориком за билетным киоском поднимались клубы дыма. Евроазиатка обмахивала веером тлеющие в печи угольные брикеты, но вода в котлах с рисом и сладким картофелем совсем перестала кипеть. Солдат-японец неодобрительно посмотрел на стынущее варево, на голодных заключенных и покачал головой. Они прошаркали между тиковыми скамейками кинотеатра, расселись в первом ряду и стали

смотреть, как плывут через экран облака дыма.

Не выпуская котелков из рук, Джим прошелся туда-сюда мимо миссис Блэкберн и одарил ее самой искренней из своих улыбок. Джима она терпеть не могла, но не стала возражать, когда он взялся наколоть и принести ей корзину щепок. Он совал лучину в печь и дул изо всех сил, чтобы она занялась. Он обмахивал угли веером до тех пор, пока брикеты опять не занялись. Получасом позже, при полном одобрении со стороны японского часового, Джима наградили первой за все время полноценной порцией еды.

Бейси был удовлетворен достигнутым, но особого впечатления на него сей подвиг не произвел. Прикончив свою порцию, он привстал на локтях, окинул взглядом товарищей по несчастью — некоторые настолько выбились из сил, что не могли даже есть, — и оборвал последние клочки бинтов с разбитых надбровий. Что бы там ни случилось с ним в Центральной шанхайской тюрьме — а у Джима так ни разу и не хватило смелости спросить о Фрэнке, — Бейси снова стал таким, как был: бывший стюард с «Катай-Американлайн», всегда готовый на руинах разваливающегося на глазах мироздания воздвигнуть свой собственный маленький мирок — из попавшихся под

руку обломков. Он еще раз внимательно оглядел Джима — похожего на пугало, в обтрепанной одежде, с запавшими желтыми глазами. И без лишних слов протянул ему кусочек картофельной шкурки.

— Ага, спасибо, Бейси.

— Я присматриваю за тобой, Джим.

Джим жадно проглотил коричневый лоскуток.

— Ты присматриваешь за мной, Бейси.

— Ты помог миссис Блэкберн?

— Я втерся к ней в доверие. Я ей так помог, что лучше не бывает.

— Вот и ладно. Если научишься помогать людям, всегда сможешь жить на проценты.

— Вроде этой картофельной шкурки… Бейси, когда ты был в шанхайской Центральной, там никто ничего не говорил о моих родителях?

— Мне кажется, что-то я такое слышал, Джим. — Бейси заговорщицки приставил к губам сложенную ковшиком ладонь. — Хорошие новости: они в одном из лагерей и очень по тебе скучают. А уж для тебя, Джим, я постараюсь разузнать, в каком именно лагере они сидят.

— Спасибо тебе, Бейси!

С этого дня Джим постоянно помогал миссис Блэкберн. Он вставал, чуть только светало, что-

бы выгрести из печки золу, наколоть щепы и как следует уложить брикеты. Задолго до того, как успевала закипеть вода в котлах, Джим успевал пометить для себя и для Бейси сладкие картофелины, выбирая наименее гнилые и заплесневелые. Он следил за тем, чтобы рис миссис Блэкберн накладывала им самый разваренный и чтобы там было как можно меньше воды. После еды, когда все остальные заключенные отправлялись мыть котелки к крану в уборной, Бейси неизменно отправлял Джима набрать в обе посудины тепловатой жижицы, в которой варилась картошка, а потом заставлял его выпить эту мутную, мучнистую жидкость — и пил сам.

Бейси, так же как и все прочие, старался без лишней надобности не подпускать к себе Джима слишком близко, но старания мальчика он ценил. К концу второй недели своего пребывания в фильтрационном центре он позволил ему передвинуть циновку и положить ее рядом со своей собственной. Лежа у ног Бейси, Джим всегда мог перехватить миссис Блэкберн по пути к киоску.

— Будь всегда начеку, Джим. — Бейси откинулся на циновку; Джим обмахивал его веером. — Что бы ни случилось, надо быть тут как тут. Твой отец дал бы тебе тот же самый совет, что и я.

— Конечно, Бейси, тот же самый. После войны вы будете играть с ним в теннис. У него здорово получается.

— Н-да… Я имел в виду, Джим, что я по-своему пытаюсь продолжить твое образование. Твой отец, пожалуй, был бы не против.

— Я думаю, он обязательно тебя за это вознаградит. — Джим решил для себя, что обещание награды подстегнет Бейси в поисках отца. — Однажды он дал пять долларов таксисту, который привез меня домой из Хонкю.

— Да что ты говоришь? — Иногда складывалось такое впечатление, что Бейси и впрямь не знает, верить Джиму или нет. — Скажи-ка, Джим, а сегодня ты самолетов не видел?

— Видел. «Накадзима Секи»[31] и «Зеро Сэн».

— А американские самолеты были?

— Я их больше не видел. С тех самых пор, как ты здесь появился, Бейси. Я видел их три дня подряд, а потом они пропали.

— Я так и думал. Наверное, был какой-нибудь особый разведывательный рейд.

— Посмотреть, как мы тут, да? А откуда они

---

[31] Примечания: 31

Т. е. одноместный армейский истребитель «Накадзима» Ки. 44 «Секи».

прилетели, Бейси? С острова Уэйк?[32]

— Нет, Джим, это слишком далеко. Они бы не смогли вернуться обратно. — Бейси взял у Джима веер. Подошел пожилой австралиец, поговорить с Бейси о войне. — Иди-ка лучше помоги миссис Блэкберн. И не забудь поклониться сержанту Учида.

— Я всегда ему кланяюсь, Бейси.

Джим пытался было послоняться где-нибудь неподалеку, надеясь услышать последние новости, но Бейси и австралиец прогнали его прочь. Бейси странным образом был неплохо осведомлен о ходе войны — о падении Гонконга[33], Манилы[34] и Голландской Ост-Индии[35], о том, что сдали Сингапур[36] и что японцы уверенно прибирают к рукам Тихий океан. Единственной хорошей новостью было появление в небе аме-

---

[32] Примечания: 32
База США на одноименном атолле в средней части Тихого океана. Захвачена японцами 23 декабря 1941 года.

[33] Примечания: 33
25 декабря 1941 года.

[34] Примечания: 34
26–27 декабря 1941 года.

[35] Примечания: 35
10 марта 1942 года (капитуляция Явы).

[36] Примечания: 36
15 февраля 1942 года.

риканских самолетов, которые Джим своими глазами видел над Шанхаем, но об этом Бейси почему-то никогда не упоминал. Ему нравилось этак небрежно, через губу, рассказывать старикам-британцам о тех, с кем он сидел в шанхайской Центральной, — кто из них умер, кого передали швейцарскому «Красному Кресту». Иногда он продавал информацию за небольшие порции пищи. Мистер Партридж дал ему картофелину за новости о своем шурине из Нанкина. Джим, вдохновленный его примером, попытался рассказать об американских самолетах миссис Блэкберн, но она просто-напросто велела ему заниматься своим делом — угольными брикетами.

Теперь Джим и сам несколько окреп и понял, насколько это важно — все время думать о еде. Если дневной рацион распределялся между заключенными поровну, его было явно недостаточно, чтобы выжили все. Многие из здешних узников уже умерли, и всякому, кто жертвовал собой ради других, жить тоже оставалось недолго. Единственный способ покинуть фильтрационный центр состоял в том, чтобы остаться в живых. И до тех пор, пока он служит у Бейси мальчиком на побегушках, вкалывает на миссис Блэкберн и кланяется сержанту Учида, все с ним

будет в порядке.

Тем не менее некоторые повадки Бейси были Джиму не по душе. В то самое утро, когда умерла миссис Партридж, Бейси узнал обнадеживающие новости о нанкинском шурине и вскоре после этого смог продать миссис Блэкберн оставшиеся от старухи щетки для волос. Когда бы и кто бы в лагере ни умирал, Бейси всегда был тут как тут, старался утешить как мог, делился новостями, — впрочем, для бывшего стюарда само слово «смерть» имело смысл весьма растяжимый и трактоваться могло любым удобным на данный момент способом. Джим два дня подряд получал паек рядового Блейка после того, как тот совсем перестал шевелиться, а просто лежал на полу у стены, с ребрами, туго обтянутыми кожей, как китайский фонарик рисовой бумагой. Он знал, что рядовой умер от какой-то болезни, которой заразился и он сам, и многие другие заключенные в фильтрационном центре. Однако он уже стал ловить себя на том, что как-то по-особенному смотрит на стариков-миссионеров, выжидая момент, когда смерть окончательно призовет их под свое знамя. Как только они с Бейси признали за собой право на этот дополнительный способ получать паек, всякое чувство вины улетучилось.

Джим прекрасно понимал, что Бейси в этом смысле очень и очень отличается от отца. Дома, если он что-нибудь делал не так, последствия его неподобающих поступков затмевали все и вся на несколько дней вперед. А вот с Бейси от них в тот же миг не оставалось и следа. Впервые в жизни Джим почувствовал, что свободен делать то, что ему действительно хотелось. В голове у него бродили самые причудливые мысли, а голод и лихорадочное возбуждение от сознания того, что он ворует у стариков еду, только подстегивали их. Отдыхая в перерывах между поручениями в первом ряду, перед огромным пустым полотнищем экрана, Джим думал об американских самолетах, которые он видел летящими меж облаков в шанхайском небе. Теперь он мог одним усилием воли едва ли не заново вызвать их к жизни, заставить серебристый воздушный флот зримо явиться в дальней части неба. Чаще всего он видел их, когда бывал голоден; и в нем жила надежда, что рядовой Блейк, который, судя по всему, голоден был постоянно, — что рядовой Блейк тоже их видел.

15
По дороге в лагерь

В тот день, когда умерла англичанка, в фильтрационный центр привезли очередную партию заключенных. Джим как раз замешкался в дверях женского склада, где миссис Блэкберн и дочь старика голландца пытались хоть как-то утешить оставшихся сиротами мальчиков. Мать, в мокром насквозь платье, лежала на каменном полу, похожая на утопленницу, которую только что достали из реки. Сыновья то и дело оборачивались и смотрели на нее так, словно ожидали, что она вот-вот начнет давать напоследок какие-то необходимые им советы. Братьев звали Пол и Дэвид, и Джиму было их жаль, хотя и знаком-то он с ними был разве что вприглядку. Они казались гораздо младше его самого, хотя в действительности были старше — оба больше чем на год.

Джим не отрываясь смотрел на котелок мертвой англичанки и на ее теннисные туфли. У большинства заключенных обувь была много лучшего качества, чем у японских солдат, и он уже давно обратил внимание на то, что когда

из ворот фильтрационного центра вывозили трупы, ноги у них были босые. Но едва он только бочком протиснулся в комнату, из дворика возле билетной кассы раздался резкий свисток, а за ним череда отрывистых, лающих криков. Сержант Учида старательно вводил себя в очередной пароксизм, без которого, казалось, он был не в состоянии отдать даже самого элементарного распоряжения. Японские солдаты в марлевых повязках начали выгонять из спальных помещений всех, кто еще мог передвигать ноги. Снаружи, перед воротами кинотеатра, остановился грузовик, и на дороге перед ним уже столпились заключенные.

Всякая мысль относительно принадлежавших покойнице теннисных туфель тут же улетучилась у Джима из головы. Наконец-то можно будет уехать в какой-нибудь лагерь в пригородах Шанхая. Протиснувшись мимо Пола и Дэвида, Джим нырнул в зазор между охранниками и побежал по ступенькам вверх. Он встал в очередь вместе с другими заключенными; мистер Партридж взял с собой чемодан жены, так, словно пытался увезти с собой куда-то на другой конец света самую память о ней; еще в очереди стояли оба сына мертвой англичанки, голландка с отцом и ста-

рики-миссионеры. Бейси маячил где-то позади, уткнув белые щеки в поднятый воротник матросской куртки, стушевавшись настолько, что глаз на нем как-то даже и не останавливался — как будто его вообще здесь не было. Он уже вычеркнул себя из маленького мирка фильтрационного центра, которым дирижировал несколько недель подряд, и теперь, подобно какому-нибудь морскому паразиту, появится из раковины только тогда, когда достигнет более плодородной почвы концентрационных лагерей.

Привезли новую группу узников, двух женщин-аннамиток, горстку британцев и бельгийцев: больных и немощных несли на носилках санитары-китайцы. Приняв во внимание, что у большинства глаза были совершенно желтые, Джим решил, что лишних котелков ждать недолго.

Сержант Учида, с марлевой повязкой на лице, начал отбирать заключенных для отправки в лагеря. Мистеру Партриджу он отрицательно мотнул головой и раздраженно пнул его чемодан. Потом указал на голландку, на ее отца, на Пола с Дэвидом и на две пожилые миссионерские четы.

Джим облизнул пальцы и постарался отереть

с лица сажу. Сержант подтолкнул к грузовику Бейси. Даже не оглянувшись на Джима, бывший стюард шагнул вперед, в проход между часовыми; его руки легли на плечи Пола и Дэвида.

Сержант Учида пощупал кончиками пальцев чумазый лоб Джима. Этот мальчишка, который вечно улыбался и кланялся, и в любую минуту был готов сорваться с места, чтобы выполнить какое-нибудь поручение, надоел сержанту хуже горькой редьки, и он явно был рад возможности от него избавиться. Потом он оглянулся на вновь прибывших, которые безучастно смотрели на погасшую печь и на венчик рисовой накипи на ободе котла.

Сержант ухватил Джима сзади за шею. С коротким, приглушенным марлевой повязкой криком он толкнул его обратно, к печи. Когда Джим поднялся с колен, сержант пнул уставленные рядком мешки с углем и рассыпал брикеты по каменному полу.

Джим выгреб из топки спекшиеся куски угольного шлака. Вновь прибывшие вяло бродили между рядами кинотеатра, рассаживались лицом к экрану, так, словно ждали, что вот-вот им начнут показывать фильм. И Бейси, и голландцы, Пол и Дэвид, и старики-миссионеры уже стояли

на улице, возле армейского грузовика, и с другой стороны улицы на них глазела толпа кули и крестьянок.

— Бейси!.. — крикнул Джим. — Я и дальше буду на тебя работать!..

Но стюард потерял к нему всякий интерес. Он уже успел подружиться с Полом и Дэвидом и включить их в штат своей свиты. Они помогали ему, когда он, осторожно опираясь на разбитые колени, стал перебираться через задний борт грузовика.

— Бейси!.. — отчаянно, на высокой вопросительной ноте крикнул Джим. Он оглянулся на пустой экран, на который уже легли первые тени от шанхайских небоскребов. Японский солдат в марлевой повязке отсчитывал стопку котелков. Санитары-китайцы понесли мимо него на склад носилки с больными, и Джим понял, что бóльшая часть обитателей фильтрационного центра попала сюда потому, что эти люди были или слишком старыми, или вот-вот должны были умереть: от дизентерии, от брюшного тифа или от этой, другой болезни, которой он сам и рядовой Блейк заразились через грязную воду. Он знал как дважды два, что скоро многие из этих людей умрут и что если он здесь останется, то умрет

вместе с ними. Женщина-аннамитка уже взяла из рук солдата стопку котелков. Аннамитки о чем-то говорили и указывали пальцами на печь и на мешки с брикетами. Значит, рис и сладкий картофель варить станут именно они, и полного пайка Джиму не видать как своих ушей. Он снова увидит американские самолеты в небе над Шанхаем, а потом умрет.

— Бейси?..

Джим уронил решетчатый печной поддон. Последние из отъезжающих заняли места в кузове грузовика. Японский солдат у заднего борта укладывал голландку на деревянный пол. Бейси уселся меж двух английских мальчиков, извлек откуда-то кусок проволоки и принялся мастерить игрушку. Грузовик завелся, проехал несколько метров и снова встал. Водитель-японец что-то крикнул из окна. Он размахивал холщовым планшетом и стучал кулаком о железную дверцу машины. Охранники, стоявшие на тротуаре, начали кричать в ответ, им явно не терпелось поскорее закрыть ворота фильтрационного центра и тихо-мирно отправиться обратно в караулку. Мотор заглох, и осталась только раздраженная многоголосица солдатской перебранки: охранники спорили с шофером о том, куда ему везти

свой груз.

— Вусунг… — Сержант Учида приспустил свою марлевую повязку. Лицо у него начало багроветь, и в уголках рта показались капельки слюны — как будто из раны выдавили гной. Взвинтив себя до подобающей отметки, он деревянной походкой пошел через ворота к шоферу. Тот уже успел выскочить из кабины, не подозревая, какой сейчас на него обрушится шквал. Он вытряхнул из планшета карту, развернул ее в воздухе, разложил на крыле автомобиля и безнадежно пожал плечами, вглядываясь в лабиринт прилегающих к кинотеатру улиц.

Джим пошел к воротам, следом за сержантом Учида. Было ясно, что ни сержант, ни шофер-японец понятия не имеют, где находится этот самый Усун, сельскохозяйственный район, примыкавший к северным окраинам Шанхая возле самого устья Янцзы. Шофер махнул рукой куда-то в сторону Дамбы и Наньдао и залез обратно в кабину. И продолжал сидеть, неподвижно и безучастно, когда сержант Учида, растолкав уставших пререкаться солдат, подошел к кабине и принялся осыпать его оскорблениями.

Стоя бок о бок с солдатами, Джим ждал, когда сержант Учида достигнет наивысшей точки кипе-

ния, — тогда ему так или иначе придется принять решение. И точно: сержант обвел взглядом горизонт, загроможденный стоявшими впритык друг к другу доходными домами, и наугад ткнул пальцем в улицу с булыжной мостовой, по центру которой шли рельсы заброшенной трамвайной линии. Впрочем, на водителя его тирада явно не произвела большого впечатления. Он прочистил горло, ленивым жестом завел мотор и выплюнул сгусток мокроты прямо Джиму под ноги.

— Прямо туда!.. — крикнул ему Джим. — Если в Усун, то нужно ехать прямо в ту сторону!..

Он указал на улицу с ржавеющими посреди мостовой трамвайными рельсами.

Сержант Учида отвесил Джиму затрещину, каким-то образом умудрившись задеть сразу оба уха. А потом ударил еще раз, спереди, и изо рта у Джима пошла кровь. В этот момент из ворот выкатился на улицу большой клуб дыма. Аннамиткам удалось растопить печь сырым, промокшим под дождем деревом, и теперь весь открытый кинотеатр был сплошь полон дыма, как будто ни с того ни с сего занялся экран.

Обрадовавшись, что теперь он может отделаться от Джима, сержант Учида подхватил его на руки и, крикнув что-то охраннику-японцу, кото-

рый сидел с заключенными в кузове, зашвырнул мальчика через задний борт. Солдат проволок Джима в глубь кузова, прямо через ноги голландки и ее отца. Как только грузовик отъехал от фильтрационного центра и колеса его попали в трамвайную колею, Джим пробрался еще дальше вперед, к раскрашенной камуфляжными пятнами кабине. Он упал на резко скошенную крышу и, не обращая внимания на шофера, который тут же принялся кричать на него изнутри, подставил разбитый рот ветру, дав гнилостным запахам Шанхая промыть себе легкие, счастливый тем, что отправился в путь — навстречу родителям.

16
Глоток воды

Заблудились они, что ли? Машина уже битый час рыскала по промышленным пригородам в северной части Шанхая; Джим вцепился в деревянную перекладину у водительской кабины, и в голове у него сменяли друг друга десятки топографических азимутов. На лице застыла улыбка: болезнь и отчаянная — из недели в неделю — тоска остались позади, в летнем кинотеатре. Колени у него саднило от бесконечных ухабов, и время от

времени приходилось даже цепляться за кожаный ремень сидящего рядом японского солдата. Но зато он наконец-то ехал туда, где его ждали открытые сельские горизонты и гостеприимный мир концентрационных лагерей.

Мимо проплывали бесконечные улицы Чапея, района дешевых многоэтажек и допотопных хлопкоочистительных фабрик, полицейских казарм и трущоб, притулившихся к берегам черных затхлых каналов. Они проезжали под навесными конвейерами сталелитейных заводов, на конвейерах красовались рекламные щиты фестиваля драконов: как будто давным-давно уснувшие доменные печи спали и видели сны о вихрях пламени и искр. Запертые металлическими ставнями ломбарды возле закрытых радио- и табачных фабрик, пивоваренный завод «Дель Монте» и грузовую автобазу «Доджа» патрулировали взводы солдат китайской марионеточной армии. Джим никогда раньше не бывал в Чапее. До войны мальчик-англичанин расстался бы здесь с жизнью буквально за несколько минут: только потому, что на нем хорошие кожаные туфли. А теперь он может просто так ездить по Чапею и ни о чем не беспокоиться, потому что теперь он под защитой японских солдат, — ему

понравилась эта мысль, и он так долго и громко смеялся, что в конце концов голландка протянула руку, чтобы его успокоить.

Впрочем, это не помешало Джиму наслаждаться испарениями переполненных продуктами человеческой жизнедеятельности открытых сточных канав, — верного признака того, что скоро город кончится и начнется сельская местность. Даже откровенная враждебность водителя больше его не беспокоила. Всякий раз, как они останавливались возле очередного контрольно-пропускного пункта, водитель высовывался из кабины и грозил Джиму пальцем, так, словно этот одиннадцатилетний заключенный был единственным виновником совершенно бессмысленной, с его точки зрения, поездки.

Прикинув высоту солнца и направление падающих теней — занятие, которому он посвятил не один час в фильтрационном центре, — Джим пришел к выводу, что направляются они на север. Они проехали мимо развалин Чапейского керамического завода: торчат рядами печи для обжига и сушки, похожие на немецкие форты в Циндао. У ворот стоял фирменный знак — китайский чайник высотой с трехэтажный дом, весь сложенный из глазированного зеленого

кирпича. Во время Японо-китайской войны 1937 года его сплошь изрешетило осколками, и теперь он был похож на странный, испещренный большими и малыми дырами географический глобус. Тысячи кирпичей успели за прошедшие несколько лет откочевать через окрестные поля в деревеньки возле транспортного канала и заняли свое место в стенах тамошних жилых домов и хозяйственных построек: этакая греза о волшебном буколическом Китае.

Эти чудные перемещения в пространстве пришлись Джиму по душе. В первый раз он почувствовал, что и в войне тоже есть своя прелесть. Он радостно разглядывал выгоревшие изнутри трамваи и коробки многоэтажек, тысячи дверей, открытых навстречу облакам, заброшенный город, оккупированный небом. Единственное, что ему не нравилось, так это отсутствие у товарищей по заключению распирающего его самого изнутри чувства радостного возбуждения. Они с мрачным видом сидели на скамейках вдоль бортов машины и смотрели под ноги. Одна из миссионерок лежала на полу, и с ней возился светловолосый британец с разбитой скулой: одной рукой он держал ее запястье, а другой ритмично давил на диафрагму. Двое мальчи-

ков-англичан, до которых, видимо, до сих пор не совсем дошло, что их мать умерла, по-прежнему сидели между Бейси и голландцами.

Джим стал ждать, когда Бейси глянет в его сторону, однако бывший стюард, казалось, едва ли не вовсе забыл о самом факте его существования. Его внимание было полностью сосредоточено на двух новых мальчиках, и он проворно обустраивался в той пустоте, которая вдруг разверзлась в самой сердцевине их жизни. Из старой китайской газеты он мастерил одну за другой целую серию бумажных зверушек и радостно хихикал всякий раз, когда ему удавалось выдавить из мальчишек слабое подобие смеха. А параллельно, этаким фокусником-извращенцем, то и дело запускал руки в карманы их брюк и школьных курточек-кардиганов, выискивая всякие полезные мелочи.

Джим смотрел на него безо всякого чувства обиды. Да, они с Бейси помогали друг другу в фильтрационном центре просто для того, чтобы выжить; но как только Бейси представилась возможность отправиться в лагерь, он тут же избавился от Джима и имел на это полное право.

Грузовик влетел в глубокую выбоину в булыжной мостовой, свернул с дороги и остановился у заросшей бурьяном насыпи. Они выехали

за пределы шанхайских пригородов, и теперь вокруг расстилались заброшенные пашни и рисовые поля. В двухстах ярдах от них, за цепочкой погребальных курганов, тянулся к вымершей деревне оросительный канал. Японец-водитель выскочил из кабины и нагнулся, чтобы осмотреть переднюю ось. Потом принялся о чем-то горячо говорить с перегретым мотором, то и дело поминая Джима. Ему было от силы лет двадцать, но, судя по всему, жизнь его была полна разочарований, и причин злиться у него было через край. Джим старался не поднимать головы, но водитель вскочил на подножку, ткнул в его сторону пальцем и разразился длинной гневной речью, которая звучала как объявление войны.

Потом шофер, ворча и поглядывая в карту, вернулся в кабину, а Бейси откомментировал:

— Вот и засунь ее себе хоть в задницу, все равно ты в ней ни хрена не смыслишь. — Его внимание явно успело переключиться с мальчиков на сложившуюся ситуацию и на те выгоды, которые можно было из нее извлечь. — Джим, ты сам-то знаешь, куда ты нас везешь?

— В Усун. Я бывал там в загородном клубе.

Бейси повертел в руках бумажную зверушку.

— Мы едем в загородный клуб, — объяснил он

мальчикам. — Если, конечно, Джим сможет его где-нибудь здесь отыскать.

— Как только доберемся до реки, Бейси, сразу все станет ясно. Тогда нужно будет ехать либо на восток, либо на запад.

— Неоценимое уточнение, Джим. На восток ли, на запад…

Светловолосый британец, пытавшийся помочь миссионерке, встал с колен. На левой стороне лба и на скуле у него был большой, сочащийся сукровицей кровоподтек — как если бы его недавно ударили в лицо прикладом. Каждое движение явно давалось ему с трудом, и он тут же опустился на скамью. Из форменных армейских шорт торчали длинные веснушчатые ноги, а на ногах — ременные сандалии. Ему было под тридцать; ни багажа, ни вообще единственной вещички за душой, если не считать характерной самоуверенной манеры: Джим прекрасно помнил, как рисовались на садовых вечеринках, приводя в трепет мамаш его школьных друзей, офицеры военно-морского флота. На охранника-японца он не обращал ровным счетом никакого внимания и разговаривал прямо сквозь него, так, словно это был матрос-посыльный, которого через минуту отошлют обратно в кубрик. Джим понял, что

перед ним один из тех зануд англичан, которые никак не желали понимать, что эту войну они проиграли.

Англичанин осторожно дотронулся до кровоподтека и обратился к Джиму, попутно окинув взглядом — но без малейшего намека на оценку — его оборванную фигурку.

— Японцы захватили столько земли, что карт на нее у них уже просто не хватает, — улыбнулся он. — Джим, тебе не кажется, что они теперь просто не знают, что им делать дальше?

Джим обдумал услышанное.

— Да нет, вряд ли. Просто они не смогли захватить достаточного количества карт.

— Хороший ответ. Никогда не путай карту с местностью. С тобой мы и впрямь доберемся до Усуна.

— А мы не можем вернуться назад, в фильтрационный центр, а, доктор Рэнсом? — спросил один из миссионеров. — Мы все очень устали.

Врач окинул долгим взглядом пустынные рисовые поля, потом — лежащую у его ног женщину.

— Может, оно бы и к лучшему. Эта бедняжка долго не протянет.

Грузовик снова тронулся с места и будто через силу покатил по пустынной дороге. Джим вернул-

ся на свой наблюдательный пост у водительской кабины и принялся изучать поля в поисках хоть чего-нибудь, что могло бы отдаленно напоминать Усун. Слова доктора вконец его расстроили. Пусть даже они и в самом деле сбились с пути, неужели из-за этого возвращаться в фильтрационный центр?

Джим знал, что гнев сержанта Учиды — достаточное основание для того, чтобы шофер не слишком жаждал поворачивать обратно. Но за доктором Рэнсомом он на всякий случай решил приглядывать повнимательней, чтобы выяснить, достаточно ли тот владеет японским, чтобы сбить водителя с пути истинного. У доктора, судя по всему, не все было в порядке с глазами, особенно когда он смотрел на Джима: быстрый взгляд искоса, и вообще он весь какой-то странный. Джим решил, что на войну доктор попал позже, чем он сам или Бейси. Наверное, жил в каком-нибудь миссионерском сеттльменте, вдали от побережья, а потому и понятия не имеет, что такое фильтрационный центр.

Но все-таки заблудились они или нет? Направление, в котором попадавшиеся по дороге телеграфные столбы отбрасывали тень, почти не изменилось, — Джима всегда интересовали

тени, с тех пор, как отец показал ему способ вычислить высоту даже самого высокого здания, просто-напросто измерив шагами его тень на земле. Они по-прежнему ехали на северо-запад и, следовательно, в скором времени должны были добраться до железнодорожной ветки Шанхай — Усун. Из-под капота машины со свистом валил пар — лицо у Джима стало совсем мокрым, и встречный ветер приятно его холодил. Но тут шофер предупреждающе забарабанил в дверь, и Джим понял, что именно сейчас тот решает, не остановиться ли ему и не повернуть ли обратно в Шанхай.

Смирившись с тем, что поездка вышла зряшная, и с тем, что все равно придется возвращаться в Шанхай, Джим принялся изучать охранника — винтовку с затвором и имперскую кокарду с хризантемой. Но тут голландка потянула его за перепачканный сажей рукав блейзера.

— Джеймс, посмотри-ка, вон там. Это не…

На берегу заброшенного канала лежал остов сгоревшего самолета. Бурьян и крапива проросли сквозь крылья и оплели кабину, но опознавательные знаки и номер эскадрильи все еще можно было разобрать.

— Это «Накадзима», — ответил он госпоже Хаг,

обрадовавшись, что она разделяет его интерес к авиации. — У него всего два пулемета.

— Всего два? Но это же и так очень много…

Голландка вроде бы всерьез удивилась, но Джим уже успел забыть про самолет. По ту сторону рисового поля спряталась в зарослях крапивы железнодорожная насыпь. На бетонной платформе какого-то забытого полустанка расположился на отдых взвод японских солдат и готовил на костерке из сухого тростника еду. У рельсов стоял раскрашенный камуфляжными пятнами грузовик с выдвижной лестницей. В кузове громоздились мотки провода: это были связисты, и они восстанавливали телеграфную линию.

— Миссис Хаг… это же ветка на Усун!

Грузовик затормозил, и пар тут же заполнил водительскую кабину. Шофер начал выкручивать руль. Охранник, сидевший рядом с Джимом, прикурил сигарету — на обратную дорожку. Джим потянул его за пояс и указал на ту сторону рисового поля. Солдат обернулся, посмотрел туда, куда указывала вытянутая рука Джима, а потом спихнул его на пол. Он что-то крикнул водителю, и тот отшвырнул планшетку с картой на пустое соседнее сиденье. Окутанный клубами пара, грузовик с ревом взобрался на подъем, сделал

полукруг и покатил по грунтовке к полустанку.

Доктор Рэнсом успокоил мальчиков, которым удалось наконец вырваться из когтей Бейси, перегнулся через миссионерку и помог Джиму подняться с пола.

— А ты молодец, Джим. У них наверняка найдется для нас немного воды, — ты, наверное, очень хочешь пить.

— Есть немного. Я успел глотнуть воды в фильтрационном центре.

— Весьма разумно с твоей стороны. Сколько ты там пробыл?

Этого Джим не помнил.

— Довольно долго.

— Вот и мне так показалось. — Доктор Рэнсом стряхнул налипшую у Джима на блейзере грязь. — Там раньше был кинотеатр?

— Но фильмов они все равно не показывают.

— Оно и понятно.

Джим откинулся на скамейке, отряхивая пыль с колен и улыбаясь госпоже Хаг. Заключенные вяло сидели на идущих вдоль бортов скамьях, покачивались туда-сюда, как тряпичные куклы, когда из них вытащишь часть набивки. Поездка за город ничуть их не оживила: напротив, они стали какими-то желтыми с лица и нервными.

Джим проводил взглядом ржавый остов самолета и улыбнулся. Теперь они уж точно не вернутся в фильтрационный центр. Солдат-японец выбросил недокуренную сигарету и взял винтовку в обе руки. С платформы спрыгнул капрал-связист и пошел к ним через железнодорожные пути.

— Миссис Хаг, теперь, мне кажется, мы уже не вернемся обратно в Шанхай.

— Да, Джеймс, — глаз у тебя, должно быть, острый, как у орла. Когда вырастешь, станешь летчиком.

— Может быть. Я уже сидел в самолете, миссис Хаг. На аэродроме Хуньджяо.

— А этот самолет летал?

— Ну, в каком-то смысле.

Со взрослыми не стоит быть слишком откровенным: никогда не знаешь, к чему это приведет. Он был уверен, что доктор Рэнсом за ним наблюдает. Доктор сидел рядом с отцом миссис Хаг; дыхание тому давалось с явным трудом, и доктор старался ему помочь. Но глаза его неотрывно следили за Джимом, оценивая исхудавшие, как палки, ноги, рваную одежду и ссохшееся возбужденное лицо. Когда они подъехали к железнодорожному полотну, он ободряюще улыбнулся Джиму, но Джим на улыбку решил не отвечать. Он знал,

что доктору Рэнсому почему-то не понравилось то, что он сделал. Но доктор Рэнсом не сидел в фильтрационном центре.

Они остановились возле полотна. Водитель отдал капралу честь, ушел вслед за ним на полустанок, и они тут же разложили на ящике от полевого телефона карту. Заключенные сидели, грелись на солнышке и смотрели, как капрал тычет пальцем куда-то через пересохшие рисовые поля. От невозделанной земли поднималась легкая пыльная дымка, белесая кисея, скрадывавшая контуры далеких шанхайских небоскребов. По дороге проследовал конвой японских грузовиков, вал грохота и рева, смешавшийся с отдаленным гудением транспортного самолета.

Джим встал со скамьи и сел рядом с госпожой Хаг, которая пыталась поддержать старика-отца, обхватив его поперек груди. Обе миссионерки лежали на полу, прочие заключенные либо дремали, либо явно нервничали. Бейси утратил интерес к мальчикам-англичанам и пристально наблюдал за Джимом поверх поднятого запачканного кровью воротника куртки.

Вокруг грузовика успели собраться тысячи мух, привлеченных по́том и лужами мочи на дощатом полу кузова. Джим думал, что водитель

уже разобрался в карте и вот-вот вернется, но тот все сидел на катушке телефонного провода и говорил с двумя солдатами, которые варили обед. Их голоса и треск горящего дерева витали над стальными рельсами, гулко отдаваясь от мерцающего странным светом купола неба.

Солнце начинало припекать, и Джим заерзал на скамье. Он видел все окружающее в мельчайших деталях: чешуйки ржавчины на рельсах, зубчатые края листьев крапивы на обочине дороги, белую пыль с отпечатавшимися на ней следами протекторов. Джим принимался считать то иссиня-черные щетинки вокруг губ оставшегося скучать с ними в кузове охранника-японца, то капельки мокроты, которые появлялись и исчезали у него в ноздрях при каждом вдохе-выдохе. Он смотрел, как на ягодицах одной из лежащих на полу миссионерок расплывается мокрое пятно, как пляшут язычки пламени под котелком у японцев и отражаются в полированных стволах составленных в козлы винтовок.

Раньше Джиму один-единственный раз доводилось видеть мир настолько отчетливо и ясно. Значит, скоро снова появятся американские самолеты? Пустив в доктора Рэнсома косой взгляд, чтобы позлить, он обвел взглядом небо. Он хотел

увидеть разом все: каждый булыжник на чапейских мостовых, запущенные сады Амхерст-авеню, маму с папой, вместе, в серебристых отсветах американских самолетов.

Неожиданно для себя самого Джим встал и закричал. Но солдат-японец тут же грубо толкнул его обратно на скамейку. Связисты сидели на железнодорожной платформе, среди разбросанного там и сям инвентаря, и набивали рты рисом и рыбой. Капрал что-то крикнул в сторону грузовика; охранник встал, перешагнул через миссионерку и спрыгнул на землю через задний борт. Он положил винтовку на рельсы, вынул штык-нож и спустился с насыпи туда, где торчали высохшие стволики дикого сахарного тростника. Набрав достаточное количество топлива, он присоединился к солдатам на платформе.

Примерно час дым столбом поднимался в ясное небо. Джим сидел на скамье и отгонял с лица мух; ему очень хотелось обследовать полустанок и разбитый самолет у канала. Но если кто-то начинал шевелиться, японцы на платформе принимались кричать и предупреждающе тыкали в сторону грузовика дымящимися сигаретами. У заключенных не было с собой ни еды, ни воды, но в кузове грузовика с выдвижной лестницей сто-

яли две большие канистры, и солдаты наливали из них воду во фляжки.

Когда отец госпожи Хаг уже не мог больше сидеть и ему тоже пришлось лечь на пол, доктор Рэнсом начал громко протестовать, обращаясь к японцам. Нетвердо держась на ногах, он стоял у заднего борта; японцы сердито кричали на него, но он не обращал на их крики внимания и по-прежнему указывал на лежащих у его ног измученных людей. Кровоподтек у него на скуле воспалился от солнца и мушиных укусов, и левого глаза было почти не видно. Его стоическая манера напомнила Джиму о нищих, которые сидели вдоль шанхайских улиц, выставляя напоказ свои увечья. Капрал-японец вроде бы не очень проникся состраданием, но потом, обойдя неспешным шагом вокруг грузовика, все же разрешил заключенным спуститься на землю. Бейси и доктор Рэнсом, при помощи мужей-миссионеров, спустили старух вниз и уложили в тени между задними колесами.

Джим сел на корточки и принялся обводить палочкой в белой пыли узор автомобильных протекторов. Интересно, сколько раз должно повернуться колесо, чтобы резина на нем стерлась до самой основы? Подобного рода проблемы

занимали его постоянно, но как раз эту решить было относительно легко. Джим разровнял участок белой пыли и взялся за арифметику. Когда получилось сократить первую дробь, он даже выкрикнул в собственную честь хвалу — и тут заметил, что на солнцепеке между грузовиком и железнодорожной платформой он остался один.

При помощи доктора Рэнсома, который, кстати, сам едва держался на ногах, заключенные сбились в кучку в убогой лужице тени под задним бортом грузовика. Бейси с головой, как моллюск в раковину, ушел в матросскую куртку, и вид у него и у стариков был совершенно безжизненный — ни дать ни взять отслужившие свое манекены, которых Джим часто видел в переулке за универмагом «Синсиер компани».

Нужна была вода, иначе один из них наверняка умрет и им всем придется возвращаться в Шанхай. Джим посмотрел на японских солдат на платформе. Обед закончился, и двое из них уже принялись разматывать бухту телефонного провода. Поддевая ногой камушек, Джим как бы невзначай подошел к железнодорожной насыпи. Он пересек рельсы и тут же, ни на секунду не запнувшись, взобрался на бетонную платформу.

Японцы все еще смаковали вкус только что

съеденной пищи и сидели кружком возле тлеющих углей костра. Когда Джим подошел поближе, поклонился и застыл в выжидательной позе, они подняли головы и стали на него смотреть. Никто из них не отмахнулся от него, но Джим знал, что никогда не стоит испытывать их терпение даже самой обворожительной из своих улыбок. Он понял, что, подойди к ним доктор Рэнсом — вот так, сразу после еды, — они тут же сбили бы его с ног, а то и вовсе убили.

Он подождал, пока водитель не заговорит с капралом-связистом. Беспрестанно тыча в Джима пальцем, тот закатил целую лекцию — очевидно, о напастях, которые обрушились на японскую армию вот из-за этого назойливого мальчишки. Капрал рассмеялся: он наелся рыбы, и настроение у него было благодушное. Он вынул из рюкзака бутылку из-под кока-колы и до половины налил в нее воды из фляжки. Потом поднял ее повыше и жестом подозвал к себе Джима.

Джим взял бутылку, отвесил глубокий поклон и отступил на три шага назад. Японцы молча смотрели на него, старательно пряча улыбки. Из тени за грузовиком выглянули Бейси и доктор Рэнсом, завороженно глядя на ленивую игру солнечных лучей в прозрачной, заключенной в

граненое стекло жидкости. Судя по их лицам, они явно ждали от Джима, что вот сейчас он принесет воду к грузовику и можно будет честно разделить этот неожиданно свалившийся на них рацион.

Джим аккуратно вытер горлышко бутылки рукавом блейзера, поднес ее к губам и стал медленно пить, стараясь не поперхнуться, потом сделал паузу и допил последние несколько капель.

Японцы разразились хохотом, оборачиваясь друг к другу, смеясь друг другу в лицо так, словно боялись, что кто-то из них упустит соль хорошей шутки. Джим тоже стал смеяться вместе с ними, вполне уверенный в том, что из всех британцев он один сумел эту шутку оценить. Бейси отважился на вялую полуулыбку, но доктор Рэнсом вроде бы даже расстроился. Капрал взял у Джима бутылку из-под кока-колы и наполнил ее по самое горлышко. Солдаты, похохатывая, встали с места и взялись за прежнюю работу — растягивать телефонный провод.

Джим понес бутылку обратно к грузовику, сопровождаемый водителем и вооруженным охранником. Бутылку он протянул доктору Рэнсому, который просто взял ее у него из рук и не сказал ни слова. Доктор сделал глоток и тут же

передал тепловатую жидкость по кругу, а потом помогал водителю наполнять ее из фляжки заново. Одну из миссионерок вырвало водой прямо ему под ноги, в белую дорожную пыль.

Джим занял свое прежнее место за водительской кабиной. Он знал, что был совершенно прав, когда выпил всю первую порцию воды сам. Все прочие — и Бейси, и доктор Рэнсом — тоже мучились от жажды, но только он был готов рискнуть всем на свете ради пары глотков. Японцы вполне могли швырнуть его на железнодорожное полотно и поломать ему на рельсах ноги, как они это делали с пленными китайскими солдатами, которых перебили на вокзале Сиккавэй. Джим уже чувствовал, что он не похож на других заключенных, которые вели себя пассивно, совсем как китайские крестьяне. Джим понял, что он ближе к японцам, которые взяли Шанхай и потопили в Перл-Харборе американский флот. Вслушиваясь в звук транспортного самолета, невидимого за пыльным белым маревом, он снова представил себе авианосцы в открытом море, в самом сердце Тихого океана, и маленьких человечков в мешковатых летных костюмах, которые стоят на палубе возле своих легких, лишенных даже намека на броню самолетиков, готовые рискнуть всем

на свете, притом что надеяться им приходится на одну только собственную волю — больше, считай, и не на что.

17
Пейзаж с аэродромами

Водитель стал доливать в радиатор воды, а доктор Рэнсом тем временем устроил госпожу Хаг на скамейке, рядом с мальчиками-англичанами. Джиму показалось, что обе лежавшие на полу миссионерки того и гляди умрут: губы у них побелели, а глаза были как у нажравшихся отравы мышей. По лицам у них ползали мухи, то ныряя в ноздри, то вновь выбираясь наружу. Подняв их в кузов, доктор Рэнсом настолько вымотался, что больше помогать им был просто не в состоянии, и сел на скамью, опустив руки на тяжелые мосластые колени. Мужья сидели тут же, рядышком, бок о бок, и смиренно смотрели на своих умирающих жен, так, словно привычка лежать на полу была просто их милой эксцентрической особенностью, с которой все равно ничего не поделаешь.

Джим лег животом на крышу кабины. Доктор Рэнсом, который, видимо, тоже осознал разверз-

шуюся между Джимом и остальными заключенными пропасть, встал и перебрался поближе к нему. Из-за пыли, загара и долгого утомительного пути его веснушки почти совсем обесцветились. И Джим вдруг понял, что доктор, несмотря на крепкий торс и сильные ноги, вымотался гораздо сильнее, чем хотел казаться. Воспалившийся кровоподтек на лице сочился кровью, и вокруг глаза уже начал собираться первый гной.

Он поклонился и подошел к японскому солдату, который устроился рядом с Джимом.

— Н-да, нам всем действительно стало гораздо лучше, оттого что удалось попить. Очень смелый поступок с твоей стороны, Джим. Откуда ты родом?

— Из Шанхая!

— И ты этим гордишься?

— Естественно, — усмехнулся Джим, пожав плечами так, словно доктор Рэнсом был какой-нибудь знахарь из самой что ни на есть сельской глуши. — Шанхай — самый большой город на свете. Отец мне говорил, что даже Лондону с ним не равняться.

— Будем надеяться, что таковым он и останется, — видишь ли, пара голодных зим… А где твои родители, а, Джим?

— Уехали, — уклончиво ответил Джим, решая про себя, не выдумать ли ему для доктора Рэнсома какую-нибудь очередную историю. Особое недоверие вызывали в нем самоуверенные вид и тон молодого врача, весьма характерные для всех тех, кто недавно прибыл из Англии; интересно, подумал Джим, а как британские киножурналы умудрились подать публике падение Сингапура. У доктора Рэнсома вполне хватит ума начать пререкаться с японскими солдатами, а после этого мало не покажется никому. Однако при всей своей — напоказ — правильности воды доктор Рэнсом выпил больше, чем приходилось на его долю. А еще Джим заметил, что на самом деле умирающие старухи вызывали в докторе куда меньше интереса и участия, чем он старался выказать.

— Они в лагере Усун, — сказал он. — В общем, живы.

— Что ж, очень рад. В лагере Усун? Так, значит, ты скоро с ними встретишься?

— Очень скоро… — Джим окинул взглядом тихие рисовые поля. При мысли о том, что, может быть, и впрямь вскоре получится увидеть маму, он улыбнулся — и почувствовал, как непривычно натянулись на лице мышцы. Она ведь и

понятия не имеет, что ему пришлось пережить за последние четыре месяца. Даже если он обо всем ей расскажет, звучать это будет ничуть не лучше тех душераздирающих историй, которые он привозил с собой из послеобеденных вылазок на велосипеде в город, еще до войны, — историй, которые так и остались при нем.

— Ага, теперь уже совсем скоро. Хочу познакомить их с Бейси.

Изжелта-бледное лицо Бейси вынырнуло из-за воротника матросской куртки. Он устало посмотрел на японских солдат, которые копошились на железнодорожном полотне, так, словно заранее знал, что их ожидает в этих голых заброшенных полях.

— С удовольствием с ними познакомлюсь, Джим. — И добавил для доктора Рэнсома, без особого, впрочем, воодушевления: — Я тут понемногу присматривал за этим пацаненком.

— Ага, присматривал. Бейси пытался продать меня в Шанхае.

— Правда? А что, идея, в общем, неплохая.

— Торговцам из Хонкю. Только за меня никто ничего не давал. Но кроме того, он и правда за мной присматривал.

— И его старания не пропали даром. — Доктор

Рэнсом похлопал Джима по плечу. Он пропустил руку к Джиму за спину и оттуда, с другого бока, ощупал его вздувшийся живот; потом приподнял ему верхнюю губу и осмотрел зубы. — Все в порядке, Джим, не волнуйся. Я просто хотел выяснить, чем тебя в последнее время кормили. Как только окажемся в Усуне, надо будет нам всем заняться огородничеством. А может, японцы продадут нам козу.

— Козу? — Джим никогда не видел козы, экзотического зверя, наделенного капризным и независимым нравом — качествами, которые в Джиме вызывали исключительное уважение.

— Ты интересуешься животными, Джим?

— Да нет… не слишком. Чем я действительно интересуюсь, так это авиацией.

— Авиацией? То есть модели самолетов и все такое?

— Нет, не совсем. — И Джим осторожно добавил: — Я даже сидел как-то раз в кабине японского истребителя.

— Тебе нравятся японские летчики?

— Они такие смелые…

— А это — очень важно?

— Не самое худшее качество, если ты собираешься выиграть войну.

Джим вслушался в отдаленный гул невидимого самолета. Этот врач, с его длинными ногами, с его английской манерой говорить и держать себя, с его повышенным интересом к зубам, вызывал в нем сильные подозрения. Чего доброго, они еще споются с Бейси, и будет у нас славная такая шайка мародеров. Джим подумал о козе, которую доктор Рэнсом собрался покупать у японцев. Из прочитанных книг у него сложилось устойчивое впечатление, что нрав у этих животных еще тот, откуда в очередной раз следовало, что доктор Рэнсом — навряд ли человек практичный. Европейцы редко вставляют себе золотые зубы, а других трупов, кроме европейских, доктору Рэнсому, похоже, еще очень долго не видать.

* * *

Джим решил, что обращать внимание на доктора Рэнсома больше не стоит. Он стоял бок о бок с японским солдатом, и раскрашенный камуфляжными пятнами металл водительской кабины приятно грел руки. Когда они тронулись в сторону главной дороги, солдаты уже успели вытянуться вдоль по железнодорожному пути, разматывая бесконечные катушки телефонного провода. Сейчас возьмут и запустят змея, боль-

шого, на котором может летать человек. Самый дальний солдат уже наполовину растворился в пыльном белом мареве, и его размытая фигурка, казалось, вот-вот оторвется от земли. Джим прыснул со смеху, представив себе, как у них над головами проносится воспаривший в небо солдатик. Джим с помощью отца запустил из сада на Амхерст-авеню не одну дюжину змеев. А огромные змеи-драконы, которые плыли вслед за китайскими свадебными и похоронными процессиями, вызывали в нем искреннее чувство восхищения; и еще боевые змеи, которых запускали с причалов в Путуне и которые пытались разрезать друг друга бритвенно-острыми бечевами, покрытыми клеем и битым стеклом. Но лучше всего были, конечно, пилотируемые змеи, какие отцу приходилось видеть в Северном Китае, на дюжине веревок, и каждую держит сто человек. В один прекрасный день Джим тоже полетит на таком змее и сядет на плечо ветру…

Грузовик бежал по пустынной дороге, и глаза у Джима слезились от встречного ветра. Водитель, окончательно сориентировавшийся на местности, спешил доставить заключенных в Усун и вернуться в Шанхай еще засветло. Джим изо всех сил цеплялся за крышу кабины, а за его

спиной подпрыгивали на скамьях, все более и более сбиваясь в кучу, остальные заключенные. Оба миссионера-мужа уже сидели на полу, а доктор Рэнсом помогал госпоже Хаг лечь вдоль борта на скамейку.

Но Джиму они все были теперь совершенно неинтересны. Машина въезжала в район, сплошь застроенный военными аэродромами. Бывшие китайские военно-воздушные базы, прикрывавшие устье Янцзы, перешли теперь в распоряжение японских армейских и военно-морских авиационных соединений. Они проехали мимо разбитой бомбами базы истребительной авиации, где солдаты японских инженерных войск как раз одевали новой крышей стальную раковину ангара. На заросшем травой поле выстроилась шеренга истребителей «Зеро», и между крыльями бродил пилот в полном летном снаряжении. Джим, совершенно автоматически, помахал ему рукой, но пилот тут же исчез за частоколом пропеллеров.

Примерно мили через две, возле пустой деревни со сгоревшей пагодой, им пришлось остановиться и пропустить колонну грузовиков, груженных крыльями и фюзеляжами двухмоторных бомбардировщиков. Эскадрилья точно таких

же машин стояла в полной боевой готовности, развернувшись к послеполуденному солнцу, так чтобы в любой момент можно было взлететь и отправиться громить китайские армии на западе. От всей этой суеты внутри рождалось тревожное возбуждение. Они остановились на контрольно-пропускном пункте при въезде на Сучжоуское шоссе, а Джиму уже не терпелось ехать дальше. Он сидел рядом с Бейси и постукивал каблуками друг о друга, пока дежурный сержант проверял наличие заключенных по списку, а доктор Рэнсом возмущался отношением военных властей к находящимся в тяжелейшем состоянии миссионеркам.

Вскоре после этого они свернули с шоссе на проселок, идущий вдоль транспортного канала. Мимо на палубах моторизованных лихтеров проплывали японские танки, а экипажи спали на расстеленных брезентовых тентах. В обычное время Джим при виде этих боевых машин наверняка дал бы волю воображению, но теперь его интересовали одни только самолеты. Как ему хотелось оказаться плечом к плечу с теми японскими летчиками, которые атаковали Перл-Харбор и разнесли американский флот, или в экипаже какого-нибудь из торпедоносцев, отпра-

вивших на дно «Отпор» и «Принца Уэльского». Может быть, после войны ему удастся вступить в японские военно-воздушные силы и нашить на рукав эмблему с Восходящим Солнцем — вроде как тем американским летчикам из «Летающих тигров»[37], которые носят на кожаных куртках флаг китайского националистического правительства.

Ноги у Джима уже отваливались от усталости, но он по-прежнему стоял, вцепившись в кабину, когда грузовик на полной скорости вырулил на финишную прямую к воротам лагеря Усун. Про себя он решил, что японские самолеты на равнине Янцзы — добрый знак, и теперь он наверняка вскоре увидит родителей. Их обогнал маленький одномоторный истребитель и, несомый золотистым подбоем крыльев, вскарабкался в послеполуденное небо. Джим поднял руки в

[37] Примечания: 37

Американское «добровольческое» авиационное соединение под командованием генерала Клэра Шеннолда, воевавшее на стороне гоминьдановских войск в Китае и, помимо прямого участия в боевых действиях, осуществлявшее поставки военных грузов для гоминьдановских армий с английских баз в Бирме, а затем в Индии. И летчики, и наземный состав не носили американской военной формы и нашивали на куртки китайские знаки отличия, дабы, в случае пленения, не дать повода японцам обвинить США в прямом участии в боевых действиях против японских войск. Название «Летающие тигры» было связано еще и со своеобразным «звериным стилем», в котором летчики расписывали свои машины.

стороны — солнце тут же залило крышу кабины, покрытую пятнами камуфляжной краски, которая перепачкала ему ладони и запястья, — и представил, что он тоже самолет. За его спиной голландка тяжело рухнула на пол кузова. Она лежала у ног отца, а доктор Рэнсом и японец-охранник пытались поднять ее и усадить обратно на сиденье.

Они проехали по деревянному мостику через рукав искусственного озера, мимо выгоревшего остова загородного клуба: не сгорели только псевдотюдоровские балки из крашеного железобетона. На мелководье лежал корпус прогулочной яхты, сквозь палубу пророс тростник; впрочем, тростниковые заросли разбрелись теперь и по всему пляжу, вплоть до самого пепелища.

Впереди военный грузовик как раз свернул в ворота заброшенного скотного двора, на котором, судя по всему, недавно отбушевал еще более страшный пожар. У караулки лениво прохаживались несколько японских солдат и следили за тем, как рабочие-китайцы разматывают колючую проволоку и прибивают ее к сосновым столбам. За караулкой стояли склад стройматериалов, окруженный штабелями досок и горбыля, и бамбуковый навес, под которым отсыпалась

на циновках возле печки-буржуйки еще одна бригада китайцев.

Грузовик остановился возле караулки; водитель и заключенные окинули взглядом открывшуюся им безрадостную перспективу. На месте бывшего скотного двора явно устраивали лагерь для гражданских лиц, но заключенных здесь начнут принимать не раньше чем через несколько месяцев. Джим сидел между Бейси и доктором Рэнсомом и злился на себя за нелепую уверенность в том, что его родители окажутся в первом же попавшемся им по дороге концлагере.

Между японцем-водителем и дежурным сержантом, ответственным за строительство лагеря, завязался продолжительный спор. С самого начала было ясно: сержант решил для себя, что ни грузовик, ни прибывшая с ним партия перемещенных лиц попросту не существуют. Он вышагивал взад-вперед по деревянной веранде караулки и задумчиво помахивал сигаретой, не обращая внимания на протесты водителя. Наконец он указал на заросший крапивой участок земли с внутренней стороны от ворот, который, видимо, счел ничейной территорией между лагерем и внешним миром.

Доктор Рэнсом медленно оглядел обширное

пространство, сплошь в пеньках от сгоревших столбов, обугленный лабиринт, в котором когда-то сортировали скот.

— Не может быть, чтобы это и был наш лагерь. Если только они не хотят, чтобы мы сами же его и отстроили.

Из-за воротника матросской куртки вынырнули бескровные уши Бейси. Ему едва хватало сил на то, чтобы сидеть более или менее прямо, но малейший признак открывающихся «возможностей» не мог не пробудить в нем интереса.

— Усун? Тут могут оказаться для нас кое-какие перспективы, доктор… мы все-таки первые сюда приехали…

Доктор Рэнсом снова взялся было помогать госпоже Хаг встать с пола, но охранник-японец тут же махнул в его сторону стволом винтовки и указал на место. Сержант стоял по колено в крапиве и глядел через задний борт на изможденных пленников. Старухи-миссионерки в лужах мочи лежали у ног своих мужей. Мальчики-англичане притиснулись поближе к Бейси, а госпожа Хаг положила голову на колени к отцу.

Джиму вдруг вспомнились мама и долгие счастливые часы, проведенные у нее в спальне за бриджем. В носу у него засвербело от слез, и

он сглотнул их, освежив пересохшее горло. Может быть, доктору Рэнсому тоже не помешало бы научиться плакать? Он смотрел на тлеющий кончик сержантской сигареты, на мерцающий сквозь сумерки теплый зев печки-буржуйки. Бригада китайцев, работавших над возведением ограды, снялась с места и двинулась к бамбуковому навесу.

— Джим, ты уже всем успел надоесть, — предупреждающим тоном сказал доктор Рэнсом. — Сиди смирно, а не то я скажу Бейси, чтобы он тебя продал японцам.

— Вот я им сдался! — Джим вывернулся у доктора из-под руки и снова встал на колени за кабиной водителя. Раскачиваясь взад-вперед, он стал смотреть, как сержант ведет обоих японцев в караулку, где солдаты уже успели сесть за ужин. На освещенном керосиновой лампой столе стояли бутылки с пивом и рисовым вином. У печки присел на корточки кули и принялся раздувать угли, пока они не раскалились добела; по воздуху поплыл густой запах разогретого жира.

Джим должен был так или иначе привлечь к себе внимание японцев. Он знал, что солдатам нет до незваных гостей ровным счетом никакого дела, и они просто-напросто оставят их здесь на

всю ночь. А утром сил на то, чтобы добраться до следующего лагеря, у заключенных уже не останется, и в результате их попросту вернут обратно в Шанхай.

Вечерний воздух воцарился над сгоревшим скотным двором. Китайские кули закончили ужинать и сидели теперь под своим бамбуковым навесом, пили рисовое вино и играли в карты. Японцы в караулке пили пиво. Над Янцзы взошли сотни звезд, и вместе с ними — бортовые огни японских самолетов. В двух милях к северу, за цепочкой погребальных курганов, Джим заметил огни японского сухогруза: корабль шел к морю, и его белые палубные надстройки плыли над сумеречными полями подобием призрачного замка.

От одной из миссионерок шла густая вонь. Ее муж сидел на полу, рядом с нею, опершись спиной о ноги доктора Рэнсома. Стараясь не упустить из виду сухогруз, Джим перебрался на крышу кабины. Он сидел там и смотрел, как корабль ускользает в ночь, а потом поднял голову и стал разглядывать звезды. Он уже год как задался целью — еще с прошлого лета — выучить основные созвездия.

— Бейси… — У Джима закружилась голова; ночное небо стремительно опрокинулось ему прямо

в лицо. Он потерял равновесие и упал на крышу кабины, чуть-чуть не докатившись до края, потом сел — как раз вовремя, чтобы увидеть, как из караулки выходят водитель и несколько солдат. В руках у них были бамбуковые трости, и Джим решил, что они собираются избить его за то, что он сидел на крыше. Он мигом скользнул в кузов и лег на полу рядом с голландкой.

Водитель открыл задний борт. Борт с грохотом упал, и японец звучно провел тростью по закрепленным на нем цепям. Он стал кричать на заключенных и жестами приказал им выгружаться. Госпожа Хаг и оба старика при помощи доктора Рэнсома спустились в крапиву. Потом вместе с Бейси и мальчиками-англичанами они пошли вслед за солдатом к складу пиломатериалов. Обе миссионерки так и остались лежать на грязном полу. Они были все еще живы, но когда доктор Рэнсом попытался вернуться за ними, водитель замахнулся на него тростью и отогнал от машины.

Джим, стараясь не наступать в лужи, подошел к краю кузова и спрыгнул на землю. Он уже собрался было бежать вслед за доктором Рэнсомом, но тут водитель схватил его за плечо и указал на застывшего на крыльце караулки сержанта.

Сержант стоял, освещенный со спины светом керосиновой лампы, и держал в руках маленький мешок, так, словно это была дубинка с залитым в тяжелую часть свинцом.

Джим осторожно подошел к сержанту, и тот швырнул мешок на землю, ему под ноги. Джим встал на колени в глубокой двойной колее, оставленной колесами грузовика, и одарил сержанта самой лучезарной из своих улыбок. В мешке лежали девять сладких картофелин.

Весь следующий час Джим деловито сновал по двору. Его товарищи по несчастью улеглись отдыхать на складе пиломатериалов, а он тем временем заново разжег потухшую было буржуйку.

Под скучающими взглядами китайских кули он сперва раздувал угли, пока не появилось пламя, а потом не дал огню угаснуть, подкармливая щепой. Доктор Рэнсом и мальчики-англичане принесли ему из бочки за караулкой ведро воды. Госпожа Хаг уже успела напиться из этого ведра, но Джим решил, что пить будет потом, когда остынет вода из-под картошки. Доктор Рэнсом пытался помочь ему с чугуном, но Джим попросту его отпихнул. Евроазиатки в фильтрационном центре научили его, что быстрее всего карто-

фель варится в малой воде под плотно прижатой крышкой.

Позже, перед тем как отнести сварившиеся картофелины на склад, Джим выбрал себе самую крупную. Он сидел на сосновых досках, рядом с доктором Рэнсомом, а мужья-миссионеры лежали на груде опилок, слишком слабые для того, чтобы есть. Джиму было жаль тратить на них даже самую крохотную картофелину. С другой стороны, эти старики были нужны ему живыми, чтобы добраться до следующего лагеря. Голландка вроде бы держалась молодцом, даже несмотря на то что скормила свою картофелину мальчикам-англичанам. Но Бейси уже принялся осматривать склад с целью полной инвентаризации имеющихся «возможностей», и если японцы оставят их в Усуне, Джиму уж точно никогда не увидать родителей.

— На, Джим, держи. — Доктор Рэнсом протянул Джиму свою картофелину. Он откусил от нее с одной стороны, но бóльшая часть сладкой мякоти осталась нетронутой. — На вкус ничего. Тебе понравится.

— Ну, спасибо… — Джим быстро проглотил вторую картофелину. Жест доктора Рэнсома удивил его. Японцы к детям относились хорошо,

пара американских моряков в каком-то смысле тоже вела себя с ним по-дружески, но до сих пор Джиму казалось, что британцев дети в принципе не интересуют.

Он принес себе и Бейси картофельного отвара, а потом предложил густую мучнистую жидкость всем прочим. Джима знобило, и зубы у него стучали, но он подошел даже к старикам-миссионерам и опустился возле них на колени, надеясь, что эмблема Соборной школы вызовет в их душах хоть какую-то ответную искру веры и они немного оживут.

— Вид у них так себе, — пожаловался он доктору Рэнсому. — Может, хоть к утру наберутся сил и съедят свою картошку.

— Будем надеяться. Отдохни, Джим, ты и так уже совсем замотался, приглядывая за нами всеми. Завтра в дорогу.

— Н-да… и путь может выйти неблизкий. — От второй картофелины внутри у Джима разлилось приятное тепло, и ему в первый раз стало жаль доктора Рэнсома из-за этой воспалившейся раны на лице. В качестве ответной любезности он решил поделиться полезной информацией. — Если когда-нибудь окажетесь на похоронных пирсах в Наньдао, ни в коем случае не пейте тамошней

воды.

Джим лежал на груде опилок, вдыхая ласковый запах сосны. Сквозь открытые двери были видны бортовые огни крейсирующих в ночи японских самолетов. Через несколько минут пристального наблюдения он был вынужден признать, что не может отыскать ни единого знакомого созвездия. Небо, как и все на свете, с первого же дня войны включилось в бесконечный процесс перемен. И японские самолеты, несмотря на подвижность, оставались единственным осмысленным и устойчивым элементом небесного пейзажа — второй Зодиак над разбитой и разграбленной землей.

18
Бродяги

— Правее… правее… нет… то есть левее!

Грузовик осторожно взбирался на деревянный настил понтонного моста, а Джим, высунувшись из окна кабины, отдавал указания шоферу. Японские саперы навели эту временную переправу через речку Сучжоу в первые же недели после нападения на Перл-Харбор, но движение по нему было слишком интенсивным, и мост еле держался. Едва грузовик двинулся по направлению к

первому стальному понтону, размокшие доски, кое-как скрепленные наполовину перетершимися канатами, начали вытворять бог знает что.

Водитель поставил Джима впередсмотрящим, и тот теперь внимательно следил за тем, как уходят под давлением передних колес под воду доски настила. Ему всегда нравилось наблюдать, как вода поднимается сквозь решетки или взбирается по ступеням причала. Мутно-бурый поток смыл с изношенных покрышек слой пыли и явил на свет божий оттиснутое сбоку название фирмы-производителя — «Данлоп», британская компания, хорошая примета, если иметь в виду поиски родителей. Грузовик, скрипя старенькими рессорами, то и дело кренился набок. За спиной по кузову перекатывались человеческие тела, но Джим был совершенно заворожен тем, как хлещет вода сквозь зубчатые колесные диски — как будто под днищем грузовика устроили потайной фонтан.

— Левее… левее!.. — выкрикнул Джим, но в кузове уже зашелся воплями солдат-охранник. Водитель с усталым вздохом вытянул на себя ручной тормоз, приказал Джиму убираться из кабины и сам тоже вышел на залитый речным течением настил.

Джим пролез в кузов через заднее окно кабины. Он перебрался через вытянутые ноги доктора Рэнсома и приготовился с самым живым участием стать свидетелем разгорающегося спора между водителем и охранником.

В двухстах ярдах ниже по течению японская саперная команда поднимала рухнувший центральный пролет старого железнодорожного моста. Джиму очень нравилось, что можно понаблюдать за такой интересной работой. Все утро он ощущал внутри какую-то непривычную легкость, а мерное течение воды поверх настила успокаивало глаз. Он измерил себе пульс, прикидывая, не подхватил ли он бери-бери, или малярию, или еще какую-нибудь из тех болезней, о которых говорили доктор Рэнсом с госпожой Хаг. Ему как будто даже захотелось попробовать какую-нибудь новенькую болезнь, но потом он вспомнил фильтрационный центр и американские самолеты в небе над Шанхаем. Прошлой ночью, когда они остановились на ночлег возле свинофермы, на которой хозяйничали японские жандармы, Джим начал подозревать, что даже доктор Рэнсом видит самолеты.

По правде говоря, вид у доктора Рэнсома был не слишком. С тех пор как они уехали из Усу-

на, воспаление со скулы и лба перекинулось у него и на челюсть, и на нос. Теперь он лежал в кузове на полу, подставив яркому солнцу подозрительно белые ноги. Он спал, но казалось, что одна половина его головы просто очень глубоко о чем-то задумалась. С Джимом они в последний раз говорили перед ужином, когда он хотел удостовериться, что мальчик получил от охранника-японца положенный ему паек целиком. Невероятным усилием воли он заставил Джима раздеться, а потом выстирал его одежду в свиной поилке при помощи одолженного у госпожи Хаг куска душистого мыла.

Там же, на полу, рядом с ним сидел Бейси, и на коленях у него лежали головы обоих мальчиков-англичан: мальчики спали. Бывший стюард был все еще в сознании, но, как всегда, закуклился, целиком ушел в себя, и его лицо было похоже на испод надкушенного, забытого и понемногу высыхающего плода. Его часто рвало, и весь пол кузова был загажен мочой и блевотиной; выныривая из своего полузабытья, Бейси тут же принимался ворчать и требовать, чтобы Джим все это убрал.

Госпожа Хаг и ее отец тоже лежали на полу, но почти не разговаривали между собой, пытаясь

сосредоточиться на каждой очередной попавшей под колеса выбоине. Обе миссионерские четы, к счастью, остались в Усуне. Их место заняли немолодой англичанин и его жена, чопорная особа из британского консульства в Нанкине. Они сидели в задней части грузовика, рядом с охранником, с лицами, лишенными всякого выражения, — какая-то у них там в Нанкине случилась трагедия. Между ними на скамье стоял плетеный чемодан с одеждой: водитель с охранником рылись в нем каждый вечер и всякий раз находили себе то туфли, то тапочки. Эти двое ни о чем между собой не говорили и только молча глядели на проплывающие мимо рисовые поля и каналы, из чего Джим сделал вывод: этих война больше не интересует.

Дважды в день, когда японцы останавливались, чтобы запалить на обочине костерок и приготовить себе еду, охранник приказывал Джиму отнести заключенным глиняный кувшин с водой. Все остальное время Джим был предоставлен самому себе и всей душой отдавался своей главной цели — довести старенький грузовик до того лагеря для интернированных, где японцы содержат отца и маму.

День за днем они выписывали по сельской

местности милях в десяти к северо-западу от Шанхая прихотливую ломаную линию. Точного количества прошедших дней Джим не помнил, но по крайней мере они двигались вперед, а японцев, к счастью, никоим образом не беспокоило все ухудшающееся состояние заключенных.

В первый же день, выехав из Усуна и поколесив часа три по открытой местности, они добрались до бывшей семинарии св. Франциска Ксаверия на Сучжоуском шоссе, до одного из первых концентрационных лагерей, устроенных японцами вскоре после нападения на Перл-Харбор. В самой семинарии было полным-полно военных. Они до вечера простояли в длинной очереди из конфискованных автобусов Шанхайской транспортной компании, на которых привезли несколько сот бельгийцев и голландцев, штатских. Джим изо всех сил вглядывался в то, что происходило за двойным ограждением из колючей проволоки. Возле домиков слонялись группки британских солдат; многие сидели на плацу, на вынесенных из церкви молитвенных скамьях со спинками, похожие на паству какого-то странного собора под открытым небом. Но гражданских там не было — ни мужчин, ни женщин, ни детей. Охранники-японцы были слишком заняты бесконечными

перекличками, чтобы снизойти до новичков, прибывших сюда в надежде, что их тоже впустят. Джим стоял на скамье и размахивал руками, так, чтобы оказаться выше проволоки и чтобы любой человек в лагере смог его увидеть.

Впрочем, сотням скучающих солдат не было никакого дела ни до шанхайских автобусов, ни до сидящих в автобусах штатских. И у Джима стало легче на душе, когда они развернулись и двинулись восвояси. Грузовик взял курс на Сучжоу, и водитель разрешил Джиму пересесть к нему в кабину. Этот английский мальчик, который за первый день успел безумно ему надоесть, теперь отчего-то внушал чувство покоя: пусть слабое, но все-таки лучше, чем ничего. В карте, испещренной японскими иероглифами, Джим не понимал ни аза, как и в долгих, обращенных к заляпанному встречными насекомыми ветровому стеклу монологах. Но он то и дело вставал на колени на своем сиденье, чтобы выглянуть, стуча зубами, в окно — навстречу каждому пролетающему мимо самолету. Казалось, все японские военно-воздушные силы встали на крыло, чтобы нанести удар по китайским войскам на западе.

На плоских полях вдоль дороги Шанхай — Сучжоу когда-то тоже шли бои; растянувшиеся

на многие мили залитые затхлой водой окопы и покосившиеся, в потеках ржавчины, купола дотов напомнили Джиму иллюстрации из энциклопедии к статьям вроде «Ипр» или «Сомма», этакий огромный военный музей, в котором вот уже много лет как не было ни единого посетителя. Осколки былой войны и беспрерывно мелькавшие над головой истребители и бомбардировщики несколько взбодрили его. Ему хотелось, подобно китайскому боевому воздушному змею, взлететь над ломаными линиями брустверов и приземлиться в одном из массивных, выстроенных из мешков с песком и втиснутых между погребальными курганами укрепрайонов. Джима расстраивало, что никто из товарищей по несчастью не разделяет его интереса к войне. Это помогло бы им сохранить присутствие духа — задача, которую сам Джим находил все более и более сложной.

Джиму постоянно приходило в голову, что истинным лидером этой бродячей труппы является не кто иной, как он, и эта мысль ему нравилась. По временам, когда он, скажем, нес тяжелый кувшин с водой или вечером разводил огонь в печке, он знал, что на него смотрят, как смотрели когда-то на Амхерст-авеню на младшего

поваренка. Но если бы не было Джима и некому было бы собирать хворост и варить сладкий картофель, то даже доктор Рэнсом, даже Бейси уже давно отправились бы по той же дорожке, что и старухи-миссионерки. Он заметил, что, после того как они переночевали на свиноферме, где японцы устроили жандармский участок, все заключенные как-то разом решили, что они тяжело больны. Всю ночь японцы избивали вора-китайца; и вопли обреченного, подергивая рябью поверхность, разносились над залитыми водой рисовыми делянками. На следующее утро на полу лежали все, включая Бейси со своими легкими и доктора Рэнсома, глаз у которого заплыл уже совершенно.

Джима тоже знобило, но он наблюдал за пролетавшими японскими самолетами. От звука их двигателей в голове у него как-то прояснялось. Если настроение было ни к черту или, скажем, хотелось пожалеть себя, он вспоминал о тех серебристых самолетах, которые видел в фильтрационном центре.

Грузовик таки перебрался через речку по понтонному мосту при помощи подоспевшего на выручку взвода японских саперов, которые вручную вытолкали его на противоположную

сторону. Джиму стало трудно держать равновесие, и он соскользнул со скамьи на пол. Доктор Рэнсом вяло протянул руку, пытаясь ему помочь:

— Держись, Джим. Давай-ка перебирайся опять к водителю — проследи, чтобы он нигде не задерживался…

На лице у доктора Рэнсома пировали десятки мух, вгрызаясь в нагноившуюся рану вокруг глаза. Рядом лежали Бейси, Пол с Дэвидом, госпожа Хаг и ее отец. Сидела в задней части грузовика только английская чета с плетеным чемоданом, полным туфель.

Когда через задний борт в кузов забрался японский капрал, Джим как мог одернул блейзер. Капрал был очень сердит, у него были мокрые башмаки, и он, надсадно крича, командовал саперами, которые выталкивали застрявший на мосту грузовик. Когда машина добралась до противоположного берега, солдаты пошли вдоль линии воды обратно к железнодорожному мосту, где их ждала работа. Капрал, которому откровенно не понравился вид заключенных, начал отчитывать водителя. Он вынул из кобуры «маузер» и стал тыкать стволом в сторону оставшегося на том берегу противотанкового рва.

Джим вздохнул свободно, когда капрал все-таки

повернулся к ним спиной и тоже пошел к мосту. Им всем, конечно, было очень худо, но перспектива отдыха в противотанковом рву отчего-то совсем его не радовала. Усидеть на скамейке становилось все труднее и труднее, а искушение лечь на пол рядом с доктором Рэнсомом, так чтобы можно было смотреть прямо в небо, становилось почти непреодолимым. Однообразный ландшафт — рисовые делянки, речушки, пустые деревни — плыл себе мимо, выныривая из белой дымки: как будто перемололи и пустили на ветер кости всех мертвецов Китая. Пыль густым слоем покрыла кабину и капот грузовика, закамуфлировав его под стать тому царству, в которое он так торопился въехать. Сколько времени они провели в дороге? Цепочки погребальных курганов начали вести себя как-то не так, отводя Джиму глаза, волнами накатывая на переваливающийся с борта на борт автомобиль: живое море мертвых. Кругом лежали открытые гробы, пустые, готовые принять американских летчиков, которые вот-вот посыплются с неба. Гробов были тысячи, вполне достаточно, чтобы принять доктора Рэнсома и Бейси, и отца с мамой, и Веру, и младшего поваренка с Амхерст-авеню, и самого Джима…

Грузовик затормозил, и Джим ударился головой

о кабину. У дороги стояла кучка крытых смоленой бумагой хибарок — на некотором расстоянии от ограды из колючей проволоки, за которой был берег канала. Джим без особого любопытства стал оглядывать маленький лагерь для перемещенных лиц, выстроенный в компаунде[38] керамической фабрики. У причала лежали два завалившихся на бок металлических лихтера, во дворе возле печей для обжига все еще стояли миниатюрные рельсовые платформы, груженные керамической плиткой. Ограждение проходило прямо по территории фабрики, и два кирпичных склада оказались включенными в лагерную зону. На крылечках деревянных домиков грелись на солнце мужчины и женщины, между окнами были натянуты веревки, а на веревках, этаким жизнерадостным набором сигнальных флагов, сушилось белье.

Джим опустил подбородок на борт грузовика. На дне кузова завозился, пытаясь сесть, доктор Рэнсом. Охранник перепрыгнул через задний борт и пошел к воротам, возле которых вокруг автобуса, принадлежавшего когда-то Шанхайскому университету, толпились японские солдаты.

---

[38] Примечания: 38

Огороженная и обычно охраняемая территория вокруг предприятий, на которых работают европейцы.

Изнутри, сквозь запыленные окна, выглядывали пассажиры: две монахини в черных апостольниках, несколько детей, ровесников Джима, и человек двадцать взрослых британцев, мужчин и женщин. Возле проволоки уже собралась группа заключенных. Засунув руки в карманы рваных шорт, они молча наблюдали за тем, как японский сержант зашел в автобус — посмотреть, кого ему привезли.

Доктор Рэнсом встал на колени у заднего борта, прикрыв рану на лице рукой. Джим смотрел на женщину в изношенном хлопчатобумажном платье: она стояла у ограды, взявшись обеими руками за проволоку. Она посмотрела на него, и выражение у нее на лице было точь-в-точь такое же, как у той немки с Коламбиа-роуд.

Ворота открылись, и автобус заехал внутрь. Сержант-японец стоял в дверном проеме и, размахивая пистолетом, отгонял собравшуюся толпу. По угрюмым лицам было яснее ясного, что старожилы новичкам, мягко говоря, не слишком рады: рацион и без того скудный, а ртов теперь прибавится. Грузовик тронулся с места и покатил к воротам; Джим сел прямо. Доктор Рэнсом упал на пол, и английская чета с плетеным чемоданом помогла ему подняться и сесть на скамью.

Женщина шла параллельно с грузовиком, вдоль проволоки, и Джим ей улыбнулся. А когда она в ответ протянула к нему руку, ему пришла в голову мысль, что она может оказаться какой-нибудь маминой знакомой. В лагере было много семейных, люди прогуливались парами, и любая из этих пар могла оказаться его родителями. Он вглядывался в чисто английские лица, в смеющихся детей за спинами японских солдат. Потом, к немалому собственному удивлению, почувствовал нечто вроде сожаления или печали, что его путешествие в поисках отца и мамы подходит к концу. До тех пор, пока поиски длились, он был готов терпеть болезни и голод, но теперь, когда вот-вот все закончится, ему вдруг стало грустно при мысли о том, через что ему пришлось пройти, и о том, как он за это время изменился. Теперь он был куда ближе к разбитым артиллерией полям и к этому окруженному тучей мух грузовику, к девяти сладким картофелинам в мешке у водителя под сиденьем, даже в каком-то смысле к фильтрационному лагерю, чем… чем к дому на Амхерст-авеню, по-настоящему вернуться в который все равно уже не получится.

Грузовик остановился у ворот. Сержант-японец заглянул через задний борт в кузов и окинул

взглядом лежавших на полу заключенных. Он попытался остановить доктора Рэнсома, толкнув его стволом «маузера», но раненый доктор все равно спустился на землю и тут же, задохнувшись, упал у ног сержанта на колени. Толпа интернированных начала понемногу рассасываться. Не вынимая рук из карманов шорт, мужчины побрели обратно к своим лачугам и снова расселись рядом с женщинами на крылечках.

Над грузовиком роились мухи, то и дело присаживаясь возле наполовину впитавшихся в дерево луж на полу. Они вертелись у Джима возле рта, целясь на усеявшие десны язвочки. Минут десять солдаты-японцы спорили между собой, а шофер и доктор Рэнсом ждали. Потом из ворот вышли двое британцев, явно члены какого-то местного самоуправления, и тоже вступили в спор.

— Лагерь Усун?

— Нет-нет-нет…

— Кто их сюда прислал? В таком состоянии?

Явно избегая доктора Рэнсома, они подошли к грузовику и принялись сквозь тучу мух разглядывать лежавших в кузове людей. Джим стукнул каблуками и стал что-то насвистывать себе под нос, но выражение на лицах соотечественников нисколько не изменилось. Японцы-часовые

открыли было затянутые колючей проволокой ворота, но британские заключенные тут же снова их закрыли и начали кричать на японского сержанта. Доктор Рэнсом сделал шаг вперед, пытаясь что-то им возразить, но от него попросту отмахнулись:

— Давай-ка, парень, убирайся отсюда…

— Мы никак не сможем вас принять, доктор. Здесь дети.

Доктор Рэнсом вскарабкался обратно в кузов и сел на полу, возле Джима. Он долго стоял и совершенно выбился из сил; прикрыв рукой рану, он откинулся на спину, а мухи жужжали и бились у него между пальцами.

Госпожа Хаг и английская пара с плетеным чемоданом молча дожидались, чем кончится спор. Когда японцы вернулись в лагерь и заперли за собой ворота, миссис Хаг сказала:

— Они нас не примут. Британцы, лагерная верхушка…

Джим посмотрел на гулявших по лагерю заключенных.

На мощенном кирпичом дворе керамической фабрики мальчишки играли в футбол. А что, если отец с матерью прячутся сейчас за печами для обжига? Может быть, они так же, как и лагерная

верхушка, хотят, чтобы Джим отсюда уехал, потому что испугались мух и той болезни, которую он привез с собой из Шанхая.

Джим помог Бейси и доктору Рэнсому глотнуть воды, а потом сел на противоположную скамью. Он повернулся к лагерю спиной — к интернированным британцам и к их детям. Все, на что он мог надеяться, теперь было связано с расстилавшимся перед ним пейзажем, со всеми его прошлыми и будущими войнами. На душе у него стало вдруг необычайно легко, не оттого, что родители от него отказались, а оттого, что он заранее знал, что так и будет, и теперь ему было на это плевать.

19
Взлетно-посадочная полоса

Примерно за час до наступления сумерек они въехали в район интенсивных боевых действий времен японо-китайской войны, в девяти милях южнее Шанхая. Над землей висело послеполуденное марево, словно возвращая солнцу малую толику той силы, которую оно истратило на здешние ко всему безразличные поля. Пейзаж, переполненный траншеями и дотами, казалось,

сам собой выскакивал у Джима из головы. На пересечении Шанхайской и Ханчжоуской дорог стоял танк, похожий на снабженную гусеницами китайскую хибару, и внутрь, сквозь открытые люки, прожектором светило солнце. Траншеи рыскали меж погребальных холмов: лабиринт, сам в себе заплутавший.

За перекрестком через канал был перекинут легкий деревянный мостик. Сваи, из которых дожди давно уже успели вымыть всякое воспоминание о смоле, были мягкими, как пемза. Водитель свернул карту и принялся обмахиваться брезентовой планшеткой, не рискуя довериться этим сгнившим более чем наполовину бревнам. Госпожа Хаг и английская чета сидели в задней части кузова, и их тени привольно раскинулись по белым прямоугольникам высохших рисовых делянок. Джим смахнул мух с лица у доктора Рэнсома и осторожно потрепал его по голове. Он представил себя такой вот тенью, черным ковром, который бросили на уставшую жить землю. В миле к югу, между погребальными курганами, выстроились в ряд, хвостами к нему, самолеты, — как рыбья кость торчит зубцами вверх, в темнеющее небо. Джим пригляделся повнимательней и узнал брусковатые фюзеляжи и

радиальные двигатели. Это были брюстеровские «Буффало»[39] — разновидность американских истребителей, которым нечего и тягаться с истребителями японскими.

Неужто именно здесь, среди погребальных курганов, американские самолеты ждали часа, когда можно будет еще раз пролететь перед его горячечным взором? Впрочем, водитель-японец тоже увидел эти самолеты. Он отшвырнул недокуренную сигарету и что-то крикнул охраннику, который незадолго до этого спрыгнул с грузовика и теперь пробовал на прочность гнилые сваи моста.

— Лунхуа… Лунхуа!..

Мотор завелся, и на перекрестке водитель свернул на восток, взяв курс на далекий аэродром.

— Мы едем на аэродром Лунхуа, доктор Рэнсом, — сказал Джим себе между колен. Врач лежал на полу рядом с Бейси и отцом голландки и смотрел на Джима своим единственным глазом. — Там стоят «Буффало» — наверное, американцы уже успели выиграть войну.

---

[39] Примечания: 39

Одноместные американские истребители фирмы «Брюстер» F2A «Буффало», состоявшие на вооружении американских военно-воздушных сил в начале войны. В бою серьезно уступали японским «Зеро» и «Накадзима».

Джим подставил лицо теплому встречному ветру. Они подъезжали к военному аэродрому, к самому большому летному полю с травяным покрытием, которое Джим видел в районе Шанхая. Еще там были три металлических ангара и машиностроительная мастерская, устроенная на месте бывшей автостоянки возле пагоды Лунхуа. На макадамовых дорожках возле ангаров выстроились десятки самолетов, скоростных истребителей какой-то новейшей модификации. У края поля и в самом деле стояли три «Буффало» с закрашенными американскими опознавательными знаками. Группа саперов при помощи мощного крана поднимала на верхнюю площадку каменной пагоды зенитную установку.

Водитель остановился у контрольно-пропускного пункта, оборудованного укрепленной огневой позицией. Солдаты прохаживались взад-вперед в наступающих сумерках, а капрал говорил по полевому телефону. Им махнули рукой, разрешив въезд, и указали на дорогу, идущую по периметру аэродрома. Глубокие выбоины и колеи были забросаны соломенными циновками, которые только что прошедшая колонна грузовиков со строительным камнем уже успела переместить и превратить в сечку. В хвосте

колонны переваливалась с боку на бок машина с грузом кровельной черепицы, снятой с домов в Старом городе.

По периметру аэродрома, вдоль дороги, ходили патрули — пара солдат с полным боекомплектом, примкнутые штыки режут сумеречный воздух. На самом краю летного поля стояли два одномоторных транспортных самолета. Японский летчик, окруженный группой наземного персонала, о чем-то говорил с двумя офицерами в выходной форме. Летчик указал офицерам на проезжавший мимо грузовик, и Джиму пришло в голову, что его с Бейси и доктором Рэнсомом могут прямо сейчас отправить из Шанхая воздухом в Японию или в Гонконг, и там-то он как раз и встретит родителей.

Джим ждал, что грузовик остановится возле самолетов, но водитель поехал дальше, вдоль южного периметра аэродрома. Ровная, покрытая гладкой травой лужайка осталась позади, уступив место кочковатому, заросшему диким сахарным тростником пустырю. Они пересекли русло пересохшего ирригационного канала и вслед за грузовиком с черепицей въехали в узкую лощину, на обоих скатах которой высились дремучие заросли крапивы. Военные грузовики

из шедшей впереди колонны принялись вываливать из кузовов на землю строительный и бутовый камень, и в воздухе стало не продохнуть от густой пепельно-белой пыли. Лощину охраняли солдаты и полиция военно-воздушных сил: с винтовками на изготовку, в мундирах, выбеленных пылью.

Японцы наблюдали за сотнями пленных китайских солдат в рваных мундирах, которые брали на отвале черепицу и булыжник и укладывали их в основание будущей бетонной взлетно-посадочной полосы. Даже в сумерках и даже после пережитых за последние несколько месяцев невзгод Джим не мог не обратить внимания на то, в каком ужасающем состоянии были эти пленные китайцы. Многие явно были уже на полпути на тот свет. Одни сидели, совершенно голые, среди вытоптанной крапивы, держа в руках единственную черепицу, как если бы то был осколок кружки для сбора подаяний. Другие кое-как взбирались по пологому откосу на край летного поля, прижав к груди плетеные корзины с камнем.

Грузовик остановился у отвала. Звякнули цепи; задний борт упал. Первым на землю спрыгнул охранник, за ним — госпожа Хаг и английская

пара. Доктор Рэнсом с трудом привстал на колени, опершись обеими руками на скамью: его мосластое тело двигалось как бы само по себе.

— Ну вот и ладно, Джим, давай-ка перебираться на новые квартиры. Помоги миссис Хаг. Бейси, мальчики…

Ноги его не слушались, но он все-таки умудрился поднять с пола Бейси. Лицо бывшего стюарда уже успело покрыться слоем талька: нежная женственная кожа того самого оттенка, который Джим впервые увидел на погребальном пирсе в Нантао. Опершись о плечо Джима, Бейси зашаркал по волглым доскам кузова к заднему борту.

Они слезли все и сгрудились в кучку в облаке белой пыли возле отвала. Госпожа Хаг села рядом с отцом на кучу булыжника, взяв обоих мальчиков за руки. Пленные китайцы наполняли корзины и, перед тем как поднять очередной груз, плевали на камни. Когда они взбирались по истоптанному неровному откосу наверх, к будущей взлетно-посадочной полосе, их выбеленные известняковой пылью фигурки, казалось, освещали быстро темнеющий воздух.

Вокруг молча стояли и наблюдали за работой солдаты-японцы. Чуть в стороне, футах в пятидесяти, возле свежевырытой в зарослях крапивы

ямы, сидели на бамбуковых стульях двое сержантов. Их башмаки и земля у них под ногами были перепачканы известью.

Джим подобрал с земли серую керамическую плитку. Японцам, казалось, не было никакого дела до того, собираются они здесь работать или нет, но Бейси уже держал в обеих руках небольшой булыжник. Джим пошел к взлетно-посадочной полосе вслед за голым китайским солдатом. Он выбрался наверх и пошел дальше, по неровной изрытой земле. Китайцы высыпали из корзин камень и возвращались к отвалу. Джим тоже положил свою черепицу в неглубокую, уходящую через все летное поле в наплывающий ночной сумрак траншею, уже наполовину наполненную камнями и битым кирпичом. Бейси на ходу толкнул его и уронил ему под ноги камень. Он стоял, покачиваясь, в полумгле и пытался отряхнуть с ладоней мелкую меловую пыль — как пудру.

Позади, возле отвала, стояли доктор Рэнсом, госпожа Хаг и английская пара. Доктор пытался что-то втолковать японскому солдату, который указывал рукой на взлетно-посадочную полосу. Перехватив винтовку одной рукой, солдат нагнулся, поднял с отвала черепицу и сунул ее в руки доктору Рэнсому.

Джим не торопился уходить обратно вниз. Он смотрел в темноту вдоль белой поверхности взлетно-посадочной полосы, вспоминал, как водоворотами закручивалась у него за спиной трава на аэродроме в Хуньджяо, и пытался представить себе, как бежит по траве волна турбулентности вслед за взлетающим «Буффало». Он обернулся к стоявшим у окружной дороги транспортным самолетам. Летчик и оба офицера шли по траве к взлетно-посадочной полосе. Потом они остановились на покрытом полузасохшей грязью краю откоса и стали, пересмеиваясь между собой, наблюдать за тем, как идет работа. Их начищенные кокарды и поясные бляхи сияли в полумраке, совсем как драгоценности на тех европейцах, которые ездили в район Хуньджяо взглянуть на места, где совсем недавно шли бои.

Джим шагнул в траву, оставив за спиной облака пыли и цепочки изможденных китайцев. Ему хотелось в последний раз посмотреть на самолеты, постоять в тени широко раскинутых крыльев. Он знал, что живыми китайцы отсюда не выберутся и что кости этих голодающих людей станут ложем для очередной взлетно-посадочной полосы, и на них будут садиться японские бомбардировщики. А сами они отправятся в яму, где

их поджидают сержанты с «маузерами» и в перепачканных негашеной известью башмаках. И он сам, и Бейси, и доктор Рэнсом, немного потаскав камни, закончат свой путь все в той же яме.

На фюзеляжах самолетов погас последний отблеск заката, но Джим чуял в свежем ночном воздухе запах моторов. Он полной грудью вдохнул аромат машинного масла и смазочно-охлаждающей эмульсии. Голоса, белые тела китайских солдат, выложенная из человеческих костей взлетно-посадочная полоса — все куда-то исчезло, потесненное этим запахом. Он заглушил и молодого японского пилота в летном костюме, который что-то кричал сержантам у ямы и указывал на Джима пальцем. Джим очень надеялся, что его родители уже умерли, и теперь им хорошо и покойно. Отряхивая на ходу с блейзера известковую пыль, он бежал к единственно надежному укрытию, к самолетам, готовясь рухнуть в широкие объятия крыльев.

Часть II
20
Лагерь Лунхуа

Голоса бродили между тихо бормочущей на ветру колючей проволокой, прорываясь сквозь монотонный перебор, — как ключевые ноты мелодии под пальцами арфиста. Джим лежал в пятидесяти футах за ограждением, в высокой траве, рядом с силками на фазана. Он слышал, как спорят о чем-то двое часовых, совершающих свой ежечасный обход по периметру лагеря. Теперь, когда налеты американской авиации перестали быть чем-то из ряда вон выходящим, японские солдаты больше не забрасывали винтовок за плечо. Они держали свои длинностволки обеими руками и стали такими нервными, что, если бы заметили сейчас Джима за лагерной оградой, застрелили бы прямо на месте, ни секунды не задумываясь.

Джим лежал и смотрел на них сквозь раскинутую сеть силков. Только вчера они застрелили кули-китайца, который пытался пробраться в лагерь. В одном из часовых он узнал рядового

Кимуру, широкого в кости крестьянского парня, который за годы, проведенные в лагере, вырос примерно настолько же, насколько вырос за это время сам Джим. Могучая спина рядового так и распирала изнутри ветхую гимнастерку, и казалось, что изношенная эта одежка держится на нем только благодаря стянувшим ее ремням с подсумками.

До того как война окончательно повернулась к японцам спиной, рядовой Кимура часто приводил Джима в бунгало, которое он делил с тремя другими охранниками, и разрешал надеть свои доспехи для кэндо[40]. Джим помнил, с какими бесконечными церемониями японские солдаты облачали его в доспехи из кожи и металла, и густой дух тела рядового Кимуры, который неизменно держался в шлеме и наплечниках. Он помнил и внезапные вспышки ярости, когда рядовой Кимура срывался с места и налетал на него с мечом, и вихрь ударов, обрушивающихся на шлем, прежде чем он успевал отбить хотя бы один. Голова потом гудела, как пивной котел, — и не один день. Бейси вынужден был кричать в голос, давая ему очередное поручение, — так,

[40] Примечания: 40
Японское искусство владения мечом.

что будил всю мужскую спальню в блоке Е, — а доктор Рэнсом вызывал Джима в лагерный госпиталь и обследовал уши.

Вспомнив о том, какие сильные руки у рядового Кимуры и какие у него быстрые глаза, Джим поглубже вжался в землю в высокой траве за силками. В первый раз он был счастлив тем, что фазан в силки не попался. Японцы остановились у самой проволоки и принялись внимательно изучать кучку заброшенных домов, примыкавших к северо-западному периметру лагеря Лунхуа. Рядом с ними, на самой границе лагеря, стояла полуразрушенная коробка бывшего актового зала, подведенная — вместо давно обвалившейся крыши — под концентрический обвод верхнего яруса. Лагерь был размещен на месте бывшего педагогического колледжа, который сперва разбомбили, а потом повредили в ходе наземных боев во время сражения за аэродром Лунхуа в 1937 году. Те развалины, которые оказались ближе всего к аэродрому, в лагерную зону не вошли, и свои силки на фазанов Джим ставил теперь именно здесь, на длинных, заросших бурьяном прямоугольниках между бывшими студенческими общежитиями. Утром, после переклички, Джим проскользнул под забором, там,

где он упирался в крапивную чащу на боку заброшенного бункера, входившего когда-то в систему обеспечения безопасности аэродрома. Оставив туфли на ступеньках бункера, он прошел вброд по обмелевшему каналу, а потом, сквозь густой бурьян, вскарабкался на противоположный откос, к развалинам.

Первая ловушка стояла всего в нескольких метрах от лагерной ограды: расстояние, показавшееся Джиму бесконечным, когда он впервые прополз под колючей проволокой. Он оглянулся на уютный и безопасный мир лагеря, на бараки и водокачку, на караулку и переоборудованные под новых постояльцев общежития, и испытал чувство, похожее на испуг, при мысли, что его теперь могут попросту не пустить обратно. Доктор Рэнсом часто говорил про Джима: «дух веет, где хочет», когда тот носился по лагерю с какой-нибудь очередной идеей. Но здесь, в высоком бурьяне между разрушенными зданиями, он вдруг ощутил на душе непривычную тяжесть.

Джим лежал за силками, и вновь прихлынувшая тяжесть помогала ему еще плотнее прижаться к земле. С аэродрома Лунхуа взлетел самолет, четкий силуэт на фоне желтых многоквартирных домов Французской концессии, — но Джим не

обратил на самолет никакого внимания. Солдат, стоявший рядом с рядовым Кимурой, что-то крикнул детям, которые играли на верхнем ярусе бывшего актового зала. Кимура опять подошел к самой проволоке. Он принялся внимательно осматривать воду в канале и торчавшие у воды пучки дикого сахарного тростника. Из-за убогого рациона — а в последний год японцев-охранников кормили едва ли не так же скверно, как их британских и американских подопечных, — у рядового Кимуры исчезли последние намеки на юношескую пухлость. А после недавнего приступа туберкулеза его сильное волевое лицо стало каким-то одутловатым и похожим на лицо китайского кули. Доктор Рэнсом уже не в первый раз настрого запрещал Джиму надевать доспехи для кэндо, если это были доспехи рядового Кимуры. А бой теперь был бы, пожалуй, едва ли не на равных, несмотря на то что Джиму было всего четырнадцать. Если бы не винтовка, с Кимурой вполне можно было бы и потягаться…

Рядовой Кимура, как будто и вправду почувствовав исходящую из бурьяна угрозу, подозвал напарника. Он прислонил винтовку к сосновой опоре, переступил через проволоку и оказался по пояс в крапиве. Из канала тут же налетели мухи

и принялись ползать у него по губам, но Кимура не обращал на них никакого внимания: он внимательно смотрел на полоску воды, отделявшую его от Джима и фазаньих силков.

Он что, заметил отпечатки босых ног Джима в мягкой глине на дне канала? Джим отполз подальше, но возле силков остался пятачок примятой травы, по форме точно повторяющий контуры его тела. Кимура закатал ветхие рукава гимнастерки, явно вознамерившись задать противнику трепку. Джим лежал и смотрел, как он идет сквозь крапиву. Он был уверен, что в беге даст Кимуре сто очков вперед, но с пулей из винтовки второго охранника ему в скорости не тягаться. Не объяснять же, в самом деле, рядовому Кимуре, что всю эту затею с силками придумал Бейси? Именно Бейси настаивал на том, чтобы как следует замаскировать ловчую сеть листьями и веточками, и на том, чтобы Джим два раза в день лазал туда-сюда через проволоку, хотя никто из них так ни разу и не видел в этих местах фазана, не говоря уже о том, чтобы его поймать. С Бейси, у которого были свои, не слишком обильные, но вполне надежные источники получения пищи, нужно было ладить. Можно, конечно, сказать Кимуре, что Бейси знает о подпольной

лагерной радиоточке, но тогда и еды лишней тоже не будет.

Больше всего беспокоила Джима мысль о том, что если Кимура его ударит, то он ответит ударом на удар. Не многие подростки, сопоставимые с Джимом по возрасту, отваживались связываться с ним, а с прошлого года, когда урезали рацион, — и не многие взрослые мужчины. Но, как бы то ни было, если он ударит в ответ рядового Кимуру, его попросту убьют.

Он постарался успокоиться и высчитать оптимальный момент для того, чтобы встать и сдаться. Он отвесит Кимуре поклон, он не выкажет никаких эмоций и будет изо всех сил надеяться на то, что сотни часов, убитых в караулке — хотя ходил он туда исключительно по наущению Бейси, — хоть как-нибудь зачтутся в его пользу. Когда-то он даже давал Кимуре уроки английского языка, но японцам, хотя войну они уже, считай, проиграли, английский был отчего-то совершенно неинтересен.

Джим ждал, когда Кимура заберется к нему наверх. Солдат стоял на самой середине канала и держал в руке какой-то блестящий черный предмет. В ручьях, прудах и заброшенных колодцах, попавших в черту лагеря Лунхуа, можно было

при желании собрать целый арсенал ржавого оружия и негодных боеприпасов, оставшихся со времен войны 1937 года. Джим смотрел сквозь бурьян на заостренный с одного конца цилиндр и думал, что, вероятнее всего, прошла очередная приливная волна и вымыла из ила старый артиллерийский снаряд — или минометную мину.

Кимура что-то крикнул второму солдату, застрявшему возле забора. Он смахнул с лица мух и стал говорить с предметом ласково, как будто нашептывал что-то на ухо ребенку. Потом поднял предмет над головой в той позе, которую принимали японские солдаты, чтобы бросить гранату. Джим ждал взрыва, но тут до него дошло, что в руке у рядового Кимуры большая пресноводная черепаха, которая как раз высунула из панциря голову, — и Кимура радостно расхохотался. Его распухшее от туберкулеза лицо стало похоже на лицо младенца, напомнив Джиму о том, что рядовой Кимура тоже когда-то был ребенком, как и сам Джим, пока не началась война.

Часовые пересекли плац-парад и скрылись за натянутыми между бараками веревками, на которых сушилось латаное-перелатаное белье. Джим тоже выбрался из волглой пещеры старого бункера. Надев кожаные туфли для гольфа,

подаренные доктором Рэнсомом, он перебрался через колючую проволоку. В руке у него была зажата черепаха рядового Кимуры. В этом древнем создании мяса было не меньше фунта, а Бейси наверняка знает какой-нибудь особенный рецепт, как готовить черепах. Джим представил себе, как Бейси при помощи живой гусеницы выманивает черепаху из панциря, а потом разом отхватывает ей голову складным ножом…

Перед Джимом лежал лагерь Лунхуа, его дом и его вселенная в течение прошедших трех лет и, по совместительству, унылая тюрьма для почти двух тысяч граждан союзных государств. Под июньским солнышком грелись ветхие бараки, бетонные общежития, разбитый плац-парад и караулка с покосившейся наблюдательной вышкой — предел мечтаний каждой мухи и каждого комара во всем бассейне реки Янцзы. Но, едва ступив за проволоку, Джим почувствовал, что тревожащие душу сквознячки разом смолкли, и мир стал снова ясен и прозрачен. Он помчался по усыпанной угольным шлаком дорожке, и драная рубашка билась вокруг его худого тела, совсем как белье на ветру, когда его развесят на веревках между бараками.

Джим, который день-деньской без устали бро-

дил по лагерю, знал здесь каждый камушек, каждую травинку. В проходе между бараками висела на бамбуковом шесте табличка с кое-как намазанными краской буквами: «Риджент-стрит». Джим не обратил на нее никакого внимания, точно так же, как и на другие таблички, которыми были обозначены основные улицы лагеря: «Пикадилли», «Найтсбридж» и «Петтикоут-лейн». Эти осколки воображаемого Лондона — которого многие из родившихся в Шанхае англичан ни разу в жизни не видели — обладали странным свойством одновременно заинтриговать и задеть Джима. Старые английские семьи в лагере только и знали, что трепаться о довоенном Лондоне, и претендовали на этом основании на какой-то особенный статус. Он вспомнил строчку, одно из тех стихотворений, которые его заставил выучить наизусть доктор Рэнсом: «…и Англией зовешь клочок чужой земли…». Но здешняя земля называлась Лунхуа, а не Англия. А названные в честь полузабытых лондонских улиц проходы между гниющими бараками, пусть даже грязные, пусть даже в лужах помоев, давали множеству британских заключенных лишний повод отгородиться от лагерной реальности, лишний повод сидеть себе спокойно на крылечках, вместо того чтобы

помочь доктору Рэнсому чистить отстойники. Ни американцы, ни голландцы, ни бельгийцы, попав в лагерь, не тратили времени на ностальгию, и Джим их за это уважал. За годы, проведенные в Лунхуа, он составил о соотечественниках весьма невысокое мнение.

И все же таблички с названиями лондонских улиц его завораживали: он вообще за последние несколько лет стал чувствителен к магии имен. Что, интересно знать, могло скрываться за именами «Лордз», «Серпентайн» или «Трокадеро»? Книг и журналов в лагере было настолько мало, что любая табличка с незнакомой фирменной маркой выглядела таинственной, как послание с далекой звезды. Если верить Бейси, который никогда не ошибался, американские истребители с радиаторами на брюхе, которые время от времени налетали на аэродром Лунхуа, назывались «Мустанг»[41] — как дикая лошадь. Джим долго

[41] Примечания: 41

Американские одноместные многоцелевые истребители компании «Норт Америкен» P-51 «Мустанг» использовались как дальние истребители, истребители-перехватчики, штурмовики и выпускались во множестве модификаций. Скорость до 700 км/ч (при скорости однотипного японского перехватчика «Накадзима» Ки. 44 тип 2 «Секи» в 605 км/ч), дальность в 3340 км («Накадзима» — 1700 км) и вооружение шестью 12,7 мм пулеметами (против четырех 12,5 мм у «Накадзимы») обеспечивали «Мустангам» подавляющее превосходство над противником. К тому же «Мустанг» мог нести до полутонны бомб.

катал это имя во рту; знать, что эти самолеты назывались «Мустангами», было куда важней, чем лишний раз удостовериться в том, что Бейси имел доступ к подпольной лагерной радиоточке. Тяга к именам у него была просто неодолимой.

Джим споткнулся на неровной дорожке: туфли для гольфа бежали как будто сами по себе. В последнее время у него что-то слишком часто начала кружиться голова. Доктор Рэнсом запретил ему бегать, но налеты американской авиации и ощущение, что война вот-вот кончится, рождали в нем нетерпеливое чувство, и ноги сами срывались на бег. Он попытался не повредить черепаху и в результате ссадил себе колено. Волоча ногу, он пересек дорожку из угольного шлака и опустился на крыльцо бесхозной водоочистной станции. Когда-то заключенные кипятили здесь в котлах тошнотворную жижу из входящих в лагерную черту прудов, превращая ее в более или менее пригодную для питья воду. На лагерных складах еще оставался небольшой запас угля, но бригада из шести британцев, которая служила при котлах истопниками, как-то утратила интерес к работе. Доктор Рэнсом неоднократно пытался уговорить их вернуться к своим обязанностям, но они предпочитали страдать от хронической дизентерии,

чем дать себе труд перекипятить воду.

Пока Джим приводил в порядок разбитую коленку, все эти шесть человек сидели на крыльце соседнего барака и внимательно вглядывались в небо с таким видом, словно война должна кончиться максимум минут через десять. Джим узнал мистера Малвейни, бухгалтера из Шанхайской энергетической компании, который часто плавал в бассейне на Амхерст-авеню. Рядом с ним сидел преподобный Пирс, миссионер-методист, жена которого говорила по-японски и открыто работала на лагерную охрану, каждый день снабжая японцев информацией о том, что происходит среди заключенных.

Никто не ставил этого миссис Пирс в вину; по правде говоря, бóльшая часть заключенных из лагеря Лунхуа с радостью делала бы то же самое, если бы знала как. У Джима подобная деятельность вызывала смутное чувство неодобрения, хотя он в любой момент готов был признать: если речь идет о том, чтобы выжить, любые средства вполне оправданны. После трех лет в лагере такое понятие, как патриотизм, утратило всякий смысл. Самые смелые из заключенных — а сотрудничество с японцами было делом небезопасным — как раз и пытались так или иначе втереться в

доверие к лагерной охране и тем самым открыть себе и своим близким доступ пусть к скудным, но все же источникам дополнительной пищи и перевязочного материала. К тому же доносить-то, в общем, было и не о чем. Никому в Лунхуа даже и в голову бы не пришло попытаться устроить побег, и всякий первым побежал бы докладывать японцам об идиоте, которому вздумалось лазать через проволоку; и правильно бы сделал, потому что в итоге японцы не стали бы разбирать, кто виноват, и досталось бы всем. Истопники сидели на крыльце, отскребали грязь с деревянных башмаков и пялились в небо, давая себе труд разве что протянуть руку, чтобы вытащить впившегося между ребер клеща. На вид они были доходяги чистой воды, но процесс истощения каким-то образом имел тенденцию останавливаться, не добираясь до скелета примерно на толщину человеческой кожи. Джим завидовал мистеру Малвейни и преподобному Пирсу — он-то сам по-прежнему рос. Доктор Рэнсом обучил его нехитрой арифметике, при помощи которой он уже давно вычислил, что снабжение лагеря продовольствием уменьшается в гораздо более выраженной прогрессии, чем число едоков.

Посреди плац-парада кучка двенадцатилетних

мальчиков играла на неровной земле в шарики. Увидев черепаху, они тут же рванули к Джиму. У каждого в руках была нитка с привязанной на конце стрекозой. Над головами у них сновали туда-сюда быстрые синие искры.

— Джим! А можно потрогать?

— А что это такое?

— Тебе что, рядовой Кимура ее дал?

Джим снисходительно улыбнулся:

— Это бомба.

Он вытянул перед собой руку с черепахой и милостиво разрешил мелюзге рассмотреть ее со всех сторон. Несмотря на разницу в возрасте, он успел еще в первые несколько дней, проведенных в лагере, довольно-таки близко сдружиться с некоторыми из этих мальчишек — тогда ему был нужен любой союзник, которого только можно было здесь найти. Но он давно уже их перерос и обзавелся новыми друзьями — доктором Рэнсомом, Бейси и американскими моряками из блока Е: у тех были довоенные номера «Ридерз дайджест» и «Попьюлар микеникс», которые Джим глотал залпом. Время от времени, словно вспомнив о просочившемся между пальцев детстве, Джим возвращался в мир мальчишеских игр и гонял с ними в волчки, в шарики или в классики.

— Она что, дохлая? Не, смотри, шевелится!

— У нее кровь течет!

Пятнышко крови из разбитой коленки Джима придало черепахе совершенно разбойничий вид.

— Джим, ты же ее убил!

Самый крупный из мальчиков, Ричард Пирс, протянул руку, чтобы дотронуться до черепахи, но Джим тут же убрал ее и сунул под мышку. Ричарда Пирса, росту в котором было почти столько же, сколько в самом Джиме, он не любил и слегка побаивался. Ричарду перепадала лишняя еда, которую мать приносила от японцев, и это вызывало зависть. Кроме еды, у Пирсов была еще и небольшая библиотечка из конфискованных книг, которую они ревнивейшим образом оберегали.

— Это мы с ней побратались, — величественно объяснил он. Черепахи, в общем-то, должны водиться в море или в больших реках, вроде той, что текла примерно в миле к западу от лагеря: широкий приток великой Янцзы, вниз по которой он когда-то мечтал сплавать вместе с родителями — и очутиться в тихом мире, где нет и не было войны.

— Ты поосторожней. — Он небрежно отмахнулся от Ричарда. — Я ее натаскал, и она теперь сама

на людей кидается.

Мальчишки попятились назад. Чувство юмора Джима время от времени ставило их в тупик. Как Джим с собой ни бился, но не завидовать тому, как они одеты, он не мог — перелицованные матерями взрослые вещи, но все равно куда более прочные, нежели его собственные обноски. Более того, его обижал сам факт наличия у них отцов и матерей. За последние несколько лет Джим постепенно понял, что не помнит даже, как выглядят его родители. Их закутанные во что-то бесформенное фигуры по-прежнему являлись ему во сне, но лица — лица он забыл напрочь.

21
Угол

— Джим, парнишка!..

Его окликнул с крыльца блока G почти что голый мужчина — в одних деревянных башмаках и драных шортах. Перед собой он держал деревянную тачку на железных колесах. Тачка была пустая, но вес ее ручек едва не выворачивал человеку из суставов руки. Рядом с ним на бетонных ступенях сидели англичанки в выцветших платьях, и он о чем-то с ними разговаривал. По

ходу дела он пытался жестикулировать руками, но в руках были рукояти тачки, и складывалось впечатление, что лопатки у него пытаются выбраться из-под кожи, вспорхнуть и улететь куда-то за колючую проволоку.

— Я здесь, мистер Макстед! — Джим оттолкнул Ричарда Пирса и побежал по усыпанной шлаком дорожке к общежитию. При виде пустой раздаточной тележки его обожгла мысль о том, что он пропустил раздачу пищи. Страх остаться без еды хотя бы на один-единственный день был настолько силен, что он готов был накинуться на мистера Макстеда с кулаками.

— Давай-ка, Джим, поторапливайся. Без тебя вкус у здешней кухни будет совсем не тот.

Мистер Макстед бросил взгляд на его туфли для гольфа, чьи шипованные подошвы, казалось, жили собственной жизнью и сами собой — безостановочно — носили его похожую на пугало фигурку по всему лагерю. Обернувшись к женщинам, он заметил:

— Наш Джим проводит время в неизменном офсайде.

— Я же обещал, мистер Макстед. Я всегда готов…

Добежав до ступенек блока G, Джиму пришлось

остановиться. Он стоял и работал легкими до тех пор, пока круги перед глазами не ушли, а потом снова сорвался с места. С черепахой в руке он взлетел вверх по лестнице в холл, проскочив по дороге меж двух стариков, которые застыли лицом друг к другу, словно два призрака, углубившихся сто лет назад в беседу, о предмете которой они уже давно успели позабыть.

По обе стороны коридора были расположены маленькие комнатки, в каждой по четыре деревянные койки. После первой же зимы, когда в неизолированных бараках умерло множество детей, семьи с детьми переселили в бывшие общежития педагогического колледжа. Отопления здесь тоже не было, но стены были бетонные, и температура даже в самые холодные ночи оставалась выше нуля. В одной комнате с Джимом жила молодая пара, мистер и миссис Винсент, и еще их шестилетний сын. Он вот уже два с половиной года жил на расстоянии нескольких дюймов от Винсентов, но существования более раздельного придумать было бы, наверное, трудно. В первый же день, когда к ним подселили Джима, миссис Винсент отгородила положенную ему четверть площади старым покрывалом. И она сама, и ее муж — бывший брокер на Шанхайской фондовой

бирже — до сих не могли смириться с фактом его присутствия в их комнате и за прошедшие годы всеми силами старались укрепить возведенную вокруг его угла перегородку, пустив на эти цели и навесив на бечевку протершуюся шаль, нижнюю юбку и крышку от картонной коробки, так что больше всего эта конструкция стала походить на те миниатюрные лачуги, которые, казалось, сами собой выстраивались вокруг шанхайских уличных попрошаек.

Впрочем, Винсентам было мало того, что они замкнули Джима в крохотном тесном мирке, они постоянно покушались даже и на эту его собственность, передвигая гвозди и веревку, на которой крепилась ширма. Джим боролся как умел: сначала выгибал гвозди обратно и довыгибался до того, что однажды ночью, к немалому смятению Винсентов, вся конструкция рухнула в тот самый момент, когда они раздевались; затем он попросту взял и разметил стену при помощи линейки и карандаша. Винсенты немедля отплатили ему той же монетой, замазав его разметку, а поверх нее нанесли свою собственную.

Обо всем этом Джим успел вспомнить, пока бежал домой. В силу какой-то особенной логики ему по-прежнему нравилась миссис Винсент,

красивая, хотя и изрядно выцветшая блондинка, — несмотря на то что она постоянно была на нервах и ни разу не предприняла даже самой наималейшей попытки проявить о нем какую-то заботу. Он знал, что если будет умирать от голода у себя на койке, она непременно найдет какой-нибудь достойный предлог, чтобы не обращать на него внимания. В первый год лагерной жизни не многим оставшимся без родственников детям удалось выжить — на них просто никто не обращал внимания, если только они не позволяли использовать себя в качестве прислуги. Джим единственный не опустился до рабской доли, никогда не бегал для миссис Винсент с поручениями и не помогал ей носить тяжести.

Когда он ворвался в комнату, миссис Винсент сидела на своем соломенном матрасе, сложив на коленях бледные руки — как забытую пару перчаток. Она смотрела в беленую стену над кроватью сына, как будто смотрела на экране кинотеатра какой-то невидимый миру фильм. Джима это беспокоило, ему казалось, что миссис Винсент слишком часто смотрит эти невидимые фильмы. Глядя на нее сквозь щели в ширме из своего угла, он пытался представить, что она там такого видит — может быть, любительское кино

про себя саму, в Англии, еще до замужества, как она сидит на одной из тех залитых солнцем лужаек, которыми, судя по картинкам и фильмам, была сплошь покрыта вся эта страна.

Джим подумал, что, должно быть, именно на этих лужайках и устраивали во время битвы за Британию запасные аэродромы для экстренной посадки. Из своих шанхайских наблюдений он вынес заключение, что немцы были не особые любители залитых солнцем лужаек. Может, потому они и проиграли Битву за Британию? Подобные идеи постоянно бродили у него в голове, образуя в итоге такую путаницу, что даже доктор Рэнсом иногда уставал раскладывать бредни Джима по полочкам.

— Джим, ты опаздываешь, — с явным неудовольствием в голосе сказала миссис Винсент, не сводя глаз с теннисных туфель мальчика. Ее, как и всех прочих, эти туфли отчего-то пугали. И Джим уже понял, что обладает из-за них какой-то особой властью над людьми. — Весь блок G уже давно тебя ждет.

— Я был у Бейси, слушал последние сводки с фронта. Миссис Винсент, а что такое офсайд?

— Тебе не следует работать на Бейси. Эти американцы заставляют тебя делать такие вещи… Я

же тебе говорила, что на первом месте стоим мы.

— На первом месте стоит блок G, миссис Винсент. — Джим сказал как отрезал. И снова нырнул под подол ширмы к себе в угол. Затаив дыхание, он лег на койку, придерживая под рубашкой черепаху. Рептилии его внимание явно не слишком нравилось, и Джим переключился на новые туфли. Сияющие полированными мысками, подбитые аккуратными гвоздиками, они были нетронутым фрагментом довоенной жизни, и он мог смотреть на них часами, как миссис Винсент на свои невидимые фильмы. Джим тихонько рассмеялся и откинулся на спину, глядя, как в квадрате солнечного света на старом покрывале корчатся чудные китайские узоры. Глядя на них, он представлял себе воздушные бои и столкновения морских флотилий, гибель «Буревестника» и даже сад на Амхерст-авеню.

— Джим, пора идти на кухню, — крикнул кто-то с крыльца под окнами.

Но Джим даже и не пошевелился. До кухни рукой подать, а приходить туда заранее никакого смысла не было. Японцы по-своему отметили День Победы[42], урезав вполовину и без того

---

[42] Примечания: 42

8 мая. Действие происходит в июне 1945 года, уже после безоговорочной капитуляции Германии.

скудный паек. Тот, кто приходил первым, часто получал меньше опоздавших, поскольку до поваров с трудом доходило, что со вчерашнего дня кто-то из заключенных успел умереть или настолько ослаб, что уже не в силах прийти за едой.

Кроме того, Джим вовсе не обязан был таскаться на кухню с раздаточной тачкой — как, собственно, и мистер Макстед. Но Джим давно успел заметить: те, кто с самого начала был готов помогать другим заключенным, помогали им по мере сил, но это никоим образом не мешало ныть и жаловаться на жизнь тем, кто был слишком ленив, чтобы работать. Особенно любили ныть британцы, в отличие от голландцев или американцев. Но ничего, подумал не без толики мрачной радости Джим, скоро они настолько ослабнут, что даже и на нытье у них не будет сил.

Он смотрел на туфли, сознательно воспроизведя на лице детскую улыбку рядового Кимуры. Деревянная койка занимала практически весь угол, но для Джима эта миниатюрная вселенная была счастливейшим из мест. К стенам он пришпилил несколько подаренных Бейси страниц из старого журнала «Лайф». Здесь были фотографии

британских летчиков времен Битвы за Британию, сидящих в креслах рядком перед своими «Спитфайрами»; были сбитый бомбардировщик «Хейнкель» и собор Св. Павла, плывущий, как линкор, сквозь море огня. Рядом висела цветная, в полный разворот, реклама автомобиля «паккард», не менее прекрасного в глазах Джима, чем истребители «Мустанг», совершающие регулярные налеты на аэродром Лунхуа. Интересно, американцы выпускают новую модель «Мустанга» каждый год или каждый месяц? Может быть, сегодня тоже будет налет, и он сможет оценить новейшие модификации «Мустангов» и «Суперкрепостей»[43]. Джиму нравились воздушные налеты.

Возле «паккарда» был пришпилен маленький квадратик, вырезанный Джимом из большого снимка толпы у ворот Букингемского дворца в 1940 году. Размытый образ стоящих рука об

---

[43] Примечания: 43

Самый мощный и — в конце войны — самый массовый американский армейский дальний бомбардировщик «Боинг В-29 Суперкрепость». Десятиместный, с дальностью полета в 5230 км и потолком в 9710 м, при скорости до 576 км/ч, вооруженный одиннадцатью 12,7 мм пулеметами и способный нести до девяти тонн бомб, он представлял собой мощнейшую ударную силу. Использовался также как дальний разведчик и как транспортный самолет по доставке гуманитарных грузов на те территории, куда по тем или иным причинам нельзя было приземлиться.

руку мужчины и женщины напоминал Джиму о родителях. Эта безвестная английская чета, быть может, уже успевшая с тех пор погибнуть при авианалете, почти что заменила ему отца и мать. Джим знал, что это совершенно чужие люди, но продолжал притворяться, что это не так, чтобы, в свою очередь, не совсем умерла уснувшая память о его настоящих родителях. Довоенный мир, детство на Амхерст-авеню, класс в Соборной школе — все это проходило по тому же ведомству, что и невидимые фильмы, которые миссис Винсент, сидя на койке, смотрела на белой стене.

Джим выпустил черепаху на соломенную циновку. Если взять ее с собой, то рядовой Кимура или кто-нибудь еще из японцев может заподозрить, что он выходил за пределы лагеря. Теперь, когда война клонилась к концу, японцы отчего-то вбили себе в голову, что британские и американские заключенные только и думают о том, как бы им сбежать из лагеря, хотя ничего более абсурдного, по сути, и вообразить было нельзя. В 1943 году действительно сбежали несколько британцев, надеясь найти убежище у своих шанхайских друзей-нейтралов, но у японцев была целая армия информаторов, и беглецов вскоре выдали. Летом 1944-го несколько групп американцев попыта-

лись добраться до Чунцина, столицы китайского националистического правительства в девяти сотнях миль к западу. Их всех выдали запуганные репрессиями китайские крестьяне, японцы схватили их и казнили всех до единого. К июню 1945 года местность вокруг лагеря Лунхуа стала настолько небезопасной, а вероятность попасть в руки к бандитам, голодающим крестьянам или дезертирам из марионеточных армий настолько близка к ста процентам, что лагерь, окруженный колючей проволокой и охраняемый японцами, остался единственным надежным убежищем.

Джим погладил пальцем морщинистую черепашью голову. Варить ее было жаль — Джим завидовал ее массивному панцирю, персональной крепости, в которой можно спрятаться от всего мира. Он вытянул из-под кровати деревянную коробку, которую ему помог сколотить доктор Рэнсом. Внутри лежали все его богатства: японская кокарда, подарок рядового Кимуры; три боевых волчка со стальной окантовкой; набор шахматных фигур и латинский учебник Кеннеди для начинающих — и то, и другое ему одолжил на неопределенный срок доктор Рэнсом; блейзер Соборной школы, аккуратно сложенное напоминание о далеком детстве; и еще пара деревянных

башмаков, которые он носил последние три года.

Джим положил черепаху в коробку и накрыл ее блейзером. Когда он выбирался из-под занавески, миссис Винсент следила за каждым его движением. Она вела себя с ним как с собственным младшим поваренком, и он прекрасно отдавал себе отчет, что терпит такое отношение только в силу каких-то особенных, не очень ему самому понятных причин. Джиму, как и любому другому мужчине в блоке G — и любому подростку из тех, что постарше, — нравилась миссис Винсент, но на самом деле корень ее особой притягательности для Джима крылся в чем-то другом. Долгие часы, которые она проводила, глядя в беленую стену, и эта ее отстраненность даже по отношению к собственному сыну — она кормила измученного дизентерией мальчика и меняла ему белье, иногда по нескольку минут не глядя на предмет своей заботы, — означали для Джима выключенность из лагерного пространства, из мира охранников-японцев, и голода, и американских авианалетов, к которому сам Джим принадлежал всецело, всей душой. Ему хотелось до нее дотронуться, не столько даже из чисто подростковой похоти, сколько из простого любопытства.

— Если хотите вздремнуть, миссис Винсент,

можете воспользоваться моей кроватью.

Джим протянул к ее плечу руку, но она его оттолкнула. Взгляд, доселе отстраненный, сошелся вдруг в резком и совершенно определенном фокусе.

— Мистер Макстед все еще ждет тебя, Джим. Может быть, тебе и впрямь лучше было бы вернуться в бараки…

— Только не в бараки, миссис Винсент. — Он попытался изобразить жалобный стон. Только не в бараки, яростно повторял он про себя, выходя из комнаты. В бараках холодно, и если война затянется еще на одну зиму, бог знает, сколько людей успеет умереть в этом леднике. Хотя ради миссис Винсент он, пожалуй, согласился бы даже и на бараки…

22
Школа жизни

Над лагерем стоял скрип железных колес. В окошках бараков, на ступеньках общежитий сидели заключенные, которых на несколько минут воскресило к жизни воспоминание о еде.

Джим выскочил из холла блока G и обнаружил, что мистер Макстед все так же держит рукоятки

раздаточной тачки. Сделав двадцать минут назад над собой усилие, чтобы оторвать их от земли, он окончательно истощил сегодняшний запас решительности. Бывший архитектор и антрепренер, воплощавший когда-то едва ли не все, что Джиму нравилось в старом Шанхае, он как-то ссохся и сдулся за несколько лет в Лунхуа. Обнаружив его в лагере сразу по приезде, Джим очень обрадовался, но теперь он понимал, насколько мистер Макстед успел измениться. Глаза его вечно шарили по земле в поисках выброшенных японцами окурков, но быстроты на то, чтобы их подобрать, хватало только у Джима. Джима раздражала эта его неловкость, но он как мог снабжал мистера Макстеда куревом из ностальгии по прошлой детской мечте: вырасти и стать как мистер Макстед.

«Студебекер» и поджидающие по вечерам в казино девочки оказались не самой лучшей школой для жизни в лагере. Подхватив деревянные рукоятки тачки, Джим подумал: интересно, а сколько бы архитектор здесь простоял, если бы Джим вообще не пришел. Может статься, что и до вечера, пока бы не упал, — а британцы из блока G все так же сидели бы на крылечке и смотрели бы на него, и никому бы и в голову не пришло предложить помощь. Они сидели на ступеньках

в своем тряпье и пялились весь день на пустой плац-парад, и даже пролетевший над самой головой японский истребитель нимало их не интересовал. Несколько семейных пар с котелками в руках уже выстроились в очередь: своего рода условный рефлекс на появление Джима.

— Ну наконец-то…

— …только за смертью посылать…

— …набегался…

Это брюзжание вызвало на лице у мистера Макстеда понимающую улыбку.

— Джим, сдается мне, что тебя забаллотируют на ближайших выборах в наш элитный загородный клуб. Не обращай внимания.

— А я и не обращаю…

Мистер Макстед споткнулся, и Джим подхватил его под руку.

— Вы хорошо себя чувствуете, мистер Макстед?

Джим помахал рукой сидевшим на крылечке мужчинам, но никто из них в ответ даже и не пошевелился. Мистер Макстед восстановил равновесие.

— Пойдем, пожалуй, Джим. Кто-то работает, а кто-то смотрит, как работают другие, вот и все, что можно по этому поводу сказать.

Весь прошлый год в команде был еще один постоянный участник, мистер Кэри, владелец агентства «Бьюик» на Нанкинском проспекте. Но мистер Кэри полтора месяца тому назад умер от малярии, а японцы к тому времени настолько урезали пайки, что катать тачку вполне можно было и вдвоем.

В новых туфлях Джим летел по угольной дорожке как на крыльях. Железные колеса на ходу высекали из кремешков искры. Мистер Макстед держался за его плечо и пыхтел, стараясь не отставать.

— Потише, Джим, не торопись. А то добежишь до кухни раньше, чем война кончится.

— А когда кончится война, мистер Макстед?

— Джим… а что, разве она и впрямь скоро кончится? На следующий год, в сорок шестом. Ты же говорил, что слушаешь у Бейси радио.

— Сам я радио не слышал, мистер Макстед, — искренне ответил Джим. Бейси был не такой дурак, чтобы допускать британцев в тесный круг посвященных. — Но я знаю, что японцы сдали Окинаву[44]. Вот и надеюсь, что война скоро кончится.

---

[44] Примечания: 44
21 июня 1945 года.

— Я бы на твоем месте не слишком торопился, Джим. Дело в том, что у нас тогда могут начаться настоящие проблемы. Ты все еще даешь уроки английского языка рядовому Кимуре?

— Ему неинтересно учить английский язык, — пришлось признать Джиму. — Мне кажется, по большому счету для рядового Кимуры война уже кончилась.

— А для тебя война когда-нибудь кончится, а, Джим? По большому счету? Найдешь отца с матерью…

— Ладно… — Джим предпочитал ни с кем не говорить о родителях, даже с мистером Макстедом. У них уже давно сложились прочные партнерские отношения, хотя помощи от мистера Макстеда было немного, и про сына своего, Патрика, а также про их совместные визиты в шанхайские клубы и бары он вспоминал нечасто. Мистер Макстед уже давно перестал быть той сногсшибательной фигурой, которая на вечеринках падала в бассейны. Но что больше всего беспокоило Джима, так это что его родители тоже, вероятнее всего, очень и очень изменились. Вскоре по прибытии в Лунхуа он услышал, что их вроде бы интернировали в какой-то лагерь возле Сучжоу, но японцы отказались воспринимать

даже малейший намек на возможность перевода из лагеря в лагерь.

Они пересекли плац-парад и подошли к лагерной кухне возле караулки. У раздаточного окошка уже скопилось штук двадцать тележек, люди толкались и пытались пробиться без очереди, совсем как рикши на шанхайских улицах. Как Джим и рассчитывал, им с мистером Макстедом удалось занять место где-то в середине очереди. По угольным дорожкам у них за спиной дребезжали колесами тележек опоздавшие, и сотни исхудавших заключенных провожали их взглядами. На прошлой неделе японцы как-то раз вообще не дали еды в наказание за разрушительный налет «Суперкрепостей» на Токио, но заключенные до самого вечера продолжали упорно пялиться на кухню. В очереди царило полное молчание, которое на Джима действовало угнетающе, напоминая ему о нищих возле подъездных дорожек на Амхерст-авеню. Он автоматически снял по дороге туфли и спрятал их среди могил на больничном кладбище.

Джим и мистер Макстед заняли свои места в очереди. У караулки бригада заключенных, бельгийцев и британцев, чинила ограждение. Двое заключенных разматывали большой моток

колючей проволоки, а остальные нарезали ее на куски и приколачивали к опорам. Плечом к плечу с ними работали несколько японских солдат, чьи обтрепанные мундиры были едва отличимы от выцветшего хаки интернированных.

Повод для беспокойства подала группа из тридцати китайцев, разбившая лагерь прямо перед воротами. Разорившиеся крестьяне и нищие сельскохозяйственные рабочие, солдаты из марионеточных армий и дети-беспризорники, они сидели прямо на дороге и смотрели, как против них натягивают лишний слой проволоки. Первые такого рода неимущие появились у лагеря месяца три назад. Ночью самые отчаянные из них попытаются пролезть через проволоку, только для того, чтобы попасть в руки патрулю лагерной секции внутреннего порядка. Тех, кто, оказавшись в караулке, дотянет живым до рассвета, японцы утром отведут к реке и забьют насмерть палками.

Очередь понемногу продвигалась к раздаточному окошку, а Джим тем временем смотрел на китайцев. Стояло лето, но на крестьянах по-прежнему была стеганая зимняя одежда. Ясное дело, ни единого китайца за все это время не пустили в лагерь, не говоря уже о том, чтобы дать кому-то

из них поесть. Но они по-прежнему шли и шли к лагерю, к единственному месту в этой безжизненной стране, где все еще была хоть какая-то еда. И сидели у ворот, пока не умирали от голода. Джима это беспокоило. Мистер Макстед был прав, когда сказал, что с окончанием войны заключенные как раз и столкнутся с настоящими трудностями.

Джим переживал за доктора Рэнсома, за миссис Винсент, да и за всех прочих живущих в Лунхуа заключенных. Что они будут делать, когда японцы перестанут заботиться о них? Больше всех он переживал за мистера Макстеда, чьи избитые шутки насчет загородного клуба в реальном мире не значили и не стоили ровным счетом ничего. Но мистер Макстед, по крайней мере, хоть что-то делал на общую пользу, а жизнь в лагере теплится только до тех пор, пока люди не успели окончательно забыть друг о друге.

В 1943 году, когда война еще складывалась в пользу японцев, заключенные жили единой общиной и работали вместе. Существовал оргкомитет во главе с мистером Макстедом, и каждый вечер в лагере была либо лекция, либо какой-нибудь концерт. Это был самый счастливый год в жизни Джима. Устав от вечной тесноты и от неизменного — с выстукиванием ногтками о

каретку кровати — безразличия миссис Винсент, он каждый вечер ходил слушать лекции, очарованный бесконечным разнообразием тем: строительство пирамид, история рекордов скорости на поверхности земли, жизнь районного комиссара в Уганде (докладчик, отставной офицер Индийской колониальной армии, клятвенно уверял, что назвал собственным именем озеро размером с весь Уэльс; Джим был потрясен до глубины души), пехотное вооружение времен Первой мировой войны, управление Шанхайской трамвайной компанией и еще не меньше дюжины других.

Сидя в первом ряду актового зала, Джим жадно впитывал каждое слово: причем на большинство лекций он ходил по два, по три раза. Он помогал переписывать роли для «Макбета» и «Двенадцатой ночи» в постановке труппы под названием «Комедианты Лунхуа», а в нескольких постановках помогал перемещать по сцене декорации. Бóльшую часть 1944 года в лагере действовала школа, преподавали в которой миссионеры; но Джим находил ее скучной по сравнению с вечерними лекциями. Однако Бейси и доктор Рэнсом велели ему туда ходить, и он ходил. Они оба строго-настрого наказали ему не пропускать уроков,

ни единого, — хотя было у Джима этакое смутное подозрение, что они таким образом просто дают себе роздых от его неуемной и вездесущей энергии.

Но к началу зимы 1944 года всей этой роскоши пришел конец. После налетов американских истребителей на аэродром Лунхуа и бомбовых ударов по шанхайским докам японцы ввели в лагере комендантский час. Электричество в лагере отключили насовсем, и с наступлением темноты заключенные волей-неволей разбредались по койкам. И без того скудный паек урезали и кормили теперь один раз в день. Американские подлодки заперли дельту Янцзы, и огромные японские армии в Центральном Китае, будучи не в силах прокормить себя, стали откатываться к побережью.

Перспектива окончательного поражения японцев и неминуемого вторжения на собственно Японские острова все больше и больше тревожила Джима. Он выискивал и уничтожал на месте любую съедобную крупицу, принимая в расчет растущее число умерших от бери-бери и малярии. Джим искренне восхищался «Мустангами» и «Суперкрепостями», но иногда ему хотелось, чтобы американцы вернулись к себе на Гавайи и

занялись чем-нибудь мирным, вроде подъема потопленных японцами в Перл-Харборе линкоров. И тогда лагерь Лунхуа снова станет тем счастливым местом, которое он запомнил с 1943 года.

Когда Джим и мистер Макстед вернулись к блоку G с полной тачкой, заключенные все так же молча ждали их, держа в руках котелки и плошки. Они стояли на крыльце, голые по пояс мужчины с мосластыми плечами и ребрами наперечет, их выцветшие жены в мешками висящих платьях, — и выражение на лицах было отстраненным и скорбным, как если бы они собрались на похороны. Во главе очереди стояла миссис Пирс с сыном, а за ней — миссионерские семьи, которые весь день бродили по лагерю в поисках чего-нибудь съестного.

Над металлическими ведрами с дробленой пшеницей и сладким картофелем поднимался пар и роились сотни мух. Налегая на рукоятки тачки, Джим морщился от боли: не потому, что ему уж так тяжело было катить эту тачку, а потому, что под рубашкой ему жгла живот украденная на раздаче картофелина. Пока он согнут в три погибели, никто картофелины не заметит, но расплатой за это будет маленькая пантомима, набор гримас и стонов.

— Ой, ой… о, Господи, Боже ты мой…

— Уроки у «Комедиантов Лунхуа» даром не прошли, да, Джим? — Мистер Макстед видел возле кухни, как он выхватывает из ведра картофель, но еще ни разу не сказал слова против. Джим в последний раз согнулся пополам и передал тачку миссионерам. Он побежал вверх по лестнице, мимо Винсентов, которые стояли в очереди с плошками в руках — ни им, ни Джиму ни разу не пришло в голову, что они могли бы захватить из дома и его плошку тоже. Он нырнул под занавеску в свой угол и вывалил дымящуюся картофелину под циновку, надеясь, что волглая солома, так или иначе, удержит пар. Потом схватил миску и пулей вылетел обратно, чтобы занять свое законное место во главе очереди. Мистер Макстед уже успел обслужить мистера и миссис Пирс, но их сына Джим попросту отпихнул плечом в сторону. Он протянул плошку и получил свой половник вареной полбы и еще одну сладкую картофелину: ту самую, которую он указал мистеру Макстеду в первые несколько секунд после того, как они отъехали от кухни.

Вернувшись к себе в угол, Джим в первый раз по-настоящему расслабился. Он задернул занавеску, откинулся на спину, и теплая плошка

грела ему живот, как ласковое летнее солнышко. Его клонило в сон, и одновременно кружилась голова — от голода. Он подстегнул себя мыслью, что, может быть, вечером американцы устроят очередной воздушный налет — и за кого он на этот раз будет болеть? Вопрос требовал серьезного и всестороннего рассмотрения.

Джим взял обеими руками сладкую картофелину. Ему слишком хотелось есть, чтобы успеть по-настоящему почувствовать вкус сладковатой серой мякоти; держа ее в руках, он стал смотреть на фотографию мужчины и женщины у Букингемского дворца в надежде, что его родителям, где бы они сейчас ни оказались, тоже достанется лишняя картофелина.

Когда вернулись Винсенты, Джим сел на кровати и отодвинул занавеску, чтобы как следует рассмотреть то, что у них в тарелках. Ему нравилось смотреть, как ест миссис Винсент. Поглядывая в ее сторону, Джим принялся рассматривать дробленую пшеницу в собственной тарелке. Зернышки были крахмалистые, белесые и разваренные, неотличимые от сварившихся вместе с ними долгоносиков, которых в этих амбарных поскребышках было полным-полно. Раньше долгоносиков выбирали из тарелки или

просто выкидывали в ближайшее окно, но ныне Джим подобной расточительности не одобрял. Он выкладывал жучков в три ряда по краю миски, и часто их там оказывалось больше сотни. «Долгоносиков не выбрасывай, ешь их, — велел ему доктор Рэнсом, и он делал, как сказано, хотя все остальные просто смывали их, когда шли мыть посуду. В жучках был протеин — факт, который отчего-то расстроил мистера Макстеда, когда Джим поделился с ним этой информацией.

Насчитав восемьдесят семь долгоносиков — Джим уже успел вычислить, что их число сокращалось медленнее, чем сами порции, — он снова перемешал их с дробленкой, кормовой пшеницей из Северного Китая, и мигом проглотил свои шесть ложек. Потом решил передохнуть и подождать, пока миссис Винсент начнет есть свою картофелину.

— Может быть, дашь нам поесть спокойно, а, Джим? — спросил мистер Винсент. Бывший брокер и жокей-любитель, он сидел на койке возле больного сына и росточком был не выше Джима. Черноволосый, с морщинистым, похожим на выжатый лимон лицом, он чем-то напоминал Бейси; однако мистер Винсент так и не смог по-настоящему прижиться в Лунхуа. —

Когда война кончится, ты, наверное, будешь скучать по лагерю, да, Джим? Вот бы взглянуть на тебя, когда ты пойдешь в нормальную английскую школу.

— Зрелище, наверно, будет довольно странное, — признал Джим, отправляя в рот последнего долгоносика. Он очень трепетно относился к своей вконец изношенной одежде и ко всему, что могло помочь выжить. Он начисто вытер миску пальцем, и на память ему пришла любимая фраза Бейси.

— Все равно, мистер Винсент, лучшая школа на свете — это школа жизни.

Миссис Винсент опустила ложку.

— Джим, можно мы доедим обед? Мы уже слышали твое мнение относительно школы жизни.

— Да, конечно. Но жучков вам все равно лучше бы съесть, миссис Винсент.

— Знаю, Джим. Доктор Рэнсом тебе так сказал.

— Он сказал, что нам не хватает протеина.

— Доктор Рэнсом совершенно прав. Нам всем не помешало бы есть жучков.

Разговор вроде бы начал клеиться, и Джим, не желая упускать такую возможность, задал вопрос:

— Миссис Винсент, а вы верите в витамины?

Миссис Винсент уставилась в тарелку. И сказала с совершенно неподдельным отчаянием:

— Странный ребенок…

Джима, однако, такого рода отпор нимало не смущал. Все в этой ушедшей в себя женщине с жидкими светлыми волосами влекло его, казалось загадочным, хотя по большому счету он ни на грош ей не доверял. Полгода тому назад, когда доктор Рэнсом диагностировал у Джима воспаление легких, она даже и не пыталась делать вид, что ей до Джима есть дело, и доктору Рэнсому пришлось самому наведываться каждый день, обмывать Джима и убирать за ним. Но вот вчера вечером она вдруг ни с того ни с сего помогла ему с домашним заданием по латыни, сухо и четко объяснив разницу между герундием и герундивом.

Джим дождался своего: она наконец взялась за картофелину. Убедившись, что из четырех попавших в комнату сладких картофелин его собственная крупнее всех, и решив ничего не оставлять спрятанной под койкой черепахе, он прокусил кожицу и мигом заглотил теплую мякоть. Когда исчез последний кусочек, он откинулся на кровать и задернул занавеску. Оставшись в одиночестве — Винсенты, пусть

даже до них сейчас было всего несколько футов, могли с таким же успехом обретаться на другой планете, — Джим начал распределять по порядку все оставшиеся на сегодня дела. Во-первых, нужно было вынести из комнаты вторую картофелину. Потом домашнее задание по латыни для доктора Рэнсома, потом несколько поручений от Бейси и рядового Кимуры и вечерний авианалет — в общем и целом есть чем занять время до вечерней поверки, после которой можно будет пошататься по коридорам блока G с коробкой шахматных фигур в надежде, что кто-нибудь захочет сгонять партию-другую перед сном.

Держа в руке «Латинский для начинающих» Кеннеди, Джим вышел из своего угла. Картофелина оттопыривала карман брюк, но в последние несколько месяцев одного только присутствия миссис Винсент было достаточно для того, чтобы у Джима возникла самопроизвольная эрекция, и теперь он надеялся, что Винсенты именно в этом смысле выпуклость у него ниже пояса и истолкуют.

Ложка мистера Винсента застыла на полпути: он смотрел на брюки Джима, и выражение у него на лице было — мрачнее не придумаешь. Взгляд миссис Винсент был, как обычно, ровным и ни-

чего не выражающим, и Джим, как мог боком, постарался поскорее выскользнуть из комнаты. Как всегда, избавление от Винсентов резко подняло ему настроение; он проскакал по коридору мимо аварийного выхода, к наружной двери, и перепрыгнул через скорчившихся на лестнице малышей. Теплый воздух рванул с плеч и без того расползающуюся на клочки рубашку, а он — он с головой нырнул в знакомый и вселяющий уверенность в будущем мир лагеря.

23
Воздушный налет

Джим не сразу отправился в больничку: по дороге он зашел в развалины бывшего актового зала и сел за латынь. С балкона в верхнем ярусе он мог не только приглядывать за фазаньими силками за оградой, но и наблюдать за тем, что происходило на аэродроме Лунхуа. Лестничный пролет был частично завален кусками упавшей крыши, но Джим протиснулся в привычную щель, давно уже отполированную телами и одеждой лагерных детей. Он взобрался по лестнице и расположился на бетонной ступеньке, на которой раньше держался первый ряд балкона.

Устроив на коленях учебник, Джим не спеша приступил ко второй картофелине. Внизу, где раньше полукругом выступала в зал авансцена, теперь громоздилась мешанина из бетонных обломков и стальных балок, но расстилавшийся вокруг пейзаж был сам по себе весьма похож на те, которые обычно показывают в кино. К северу высились многоэтажки Французской концессии, отражаясь фасадами в затопленных рисовых полях. Справа от Джима из шанхайского района Наньдао пробивалась река Хуанпу и пускалась далее в неспешное и раздольное странствие по обезлюдевшим городским окрестностям.

Прямо перед ним был аэродром Лунхуа. Через большое поросшее густой травой поле бежала наискосок взлетно-посадочная полоса, чтобы закончиться у подножия пагоды. Джим видел как на ладони стволы взгромоздившихся на древний каменный помост зенитных установок и вынесенные на черепичную крышу мощные посадочные прожектора и радиоантенну. Рядом с пагодой были расположены ангары и механические мастерские, и возле каждого здания — огневая позиция из мешков с песком. На бетонированной площадке стояли несколько дряхлых самолетов-разведчиков и переделанных бомбар-

дировщиков — все, что осталось от непобедимой когда-то воздушной армады, базировавшейся в Лунхуа.

По краям летного поля, в зарослях бурьяна возле окружной дороги, лежали в обломках все японские военно-воздушные силы — по крайней мере, Джиму именно так и казалось. Десятки ржавых самолетных остовов приткнулись на покореженных шасси между деревьев или торчали на поросших крапивой откосах, там, куда их вынесло после аварийной посадки, которую кое-как довел до конца истекающий кровью экипаж. Месяц за месяцем на это кладбище, именовавшееся по привычке аэродромом Лунхуа, падали с неба искалеченные японские самолеты: как будто вверху, над облаками шла все это время нескончаемая титаническая воздушная битва.

За разбитые самолеты давно уже взялись банды китайских старьевщиков. С чисто китайским непостижимым умением трансформировать одно барахло в другое они обдирали с крыльев металлическую обшивку, снимали с самолетов шины и топливные баки. Через несколько дней все это появится на шанхайских рынках в виде кровельных листов, емкостей для воды и сандалий на резиновой подошве. Велась эта разборка

воздушных завалов с дозволения командира базы или нет — этого Джим никак не мог для себя решить. Через каждые несколько часов от пагоды отъезжал грузовик с солдатами и распугивал часть китайцев. Джим смотрел, как они бегут через рисовые делянки у западной границы аэродрома, а солдаты тем временем переворачивали тележки, набитые шинами и кусками металла. Но затем китайцы неизменно возвращались к прерванной работе, а зенитчики в обложенных мешками с песком огневых точках вдоль периметра не обращали на них никакого внимания.

Джим обсосал пальцы, добывая из-под сломанных ногтей последние намеки на вкус только что съеденной сладкой картофелины. Тепло картофельной мякоти хоть немного облегчило ноющую боль в зубах. Он смотрел, как работают китайцы-старьевщики, борясь с искушением проскользнуть под проволокой и присоединиться к ним. Разбитых самолетов становилось все больше и больше. Всего в четырехстах ярдах от фазаньих силков торчал из земли искорежен-

ный остов «Хаятэ»[45], одного из тех мощных высотных истребителей, при помощи которых японцы надеялись избавить Токио от налетов «Суперкрепостей», сбрасывавших на город тонны зажигательных бомб. В буйно разросшийся бурьян между лагерем и южной оконечностью аэродрома патрули практически не забредали. Наметанный глаз Джима мигом пробежался по заросшим крапивой и диким сахарным тростником ложбинкам и откосам, вычленив очертания заброшенного бочага.

Еще одна группа китайцев трудилась в самом центре летного поля над починкой взлетно-посадочной полосы. Между воронками от бомбовых попаданий стояли грузовики, и китайцы в корзинах носили от них камень. По взлетной полосе взад-вперед ездил паровой каток; за рулем сидел японец.

Резкий свист пара, вырывавшегося из клапана катка, мигом осадил Джима, заставив его отказаться от ненужных и несбыточных планов. Он вспомнил, что и сам когда-то работал на стро-

---

[45] Примечания: 45

«Накадзима» Ки. 84 тип 4 «Хаятэ», одноместный истребитель-перехватчик (модификация — истребитель-бомбардировщик). Максимальная скорость — 590 км/ч, потолок — 10 500 м, дальность полета — 2168 км. Вооружение: две 20 мм пушки и два 12,7 мм пулемета. Мог нести две 250-килограммовые бомбы.

ительстве взлетно-посадочной полосы. Всякий раз, когда Джим видел, как с аэродрома Лунхуа стартует японский самолет, он испытывал пусть немного неспокойное, но достаточно отчетливое чувство гордости. Он сам, и Бейси, и доктор Рэнсом вместе с китайскими военнопленными, которых уработали здесь до смерти, помогали строить эту полосу, с которой уходили в небо «Зеро» и «Хаятэ», чтобы громить американцев. Джим прекрасно отдавал себе отчет в том, что его приверженность японским военно-воздушным силам основана на жутковатом воспоминании об одном не слишком приятном факте: он едва не умер на строительстве этой самой взлетно-посадочной полосы, совсем как те пленные китайцы, которые лежат сейчас в заполненной известью яме, а яму даже и не отыскать в подернутых ветром зарослях сахарного тростника. Если бы он умер, его кости, вместе с костями Бейси и доктора Рэнсома, послужили бы стартовой площадкой для японских летчиков, взлетающих с аэродрома Лунхуа, чтобы упасть в последнее пике на американские корабли боевого охранения вокруг Иводзимы и Окинавы. Если японцы одержат победу, та малая часть его души, что навеки осталась вмурованной в бетон взлетно-посадочной

полосы, будет покоиться с миром. Но если их разобьют, все его мучения пойдут прахом.

Джим вспомнил о тех — плоть от плоти сумерек — пилотах, которые приказали убрать его из строительной бригады. Всякий раз, как ему попадались на глаза суетящиеся возле самолетов японцы, он думал о трех молодых летчиках, которые вместе с командой механиков решили под вечер осмотреть строящуюся взлетно-посадочную полосу. Если бы не мальчик-англичанин, бредущий сквозь бурьян к стоящим на краю поля самолетам, они бы и вовсе не обратили на строителей никакого внимания.

Летчики зачаровывали Джима — куда там рядовому Кимуре с его доспехами для кэндо. Каждый день, сидя на балконе актового зала или помогая доктору Рэнсому ухаживать за разбитым при больничке огородом, он видел, как пилоты в мешковатых летных костюмах проводят внешний осмотр машин, перед тем как забраться в кабину. Больше всех прочих ему нравились летчики-камикадзе. За прошедший месяц на аэродром Лунхуа перебросили больше дюжины специальных штурмовых эскадрилий, предназначенных для самоубийственных атак на американские авианосцы в Восточно-Китайском море. Ни ря-

довой Кимура, ни другие лагерные охранники не обращали на летчиков-камикадзе ни малейшего внимания, а Бейси и другие американские моряки из блока Е называли их исключительно «косяк, и в воду» и «где ты, моя крыша».

Но Джим был всей душой с камикадзе, и убогая церемония у взлетной полосы неизменно трогала его до глубины души. Только вчера утром он перестал поливать больничный огород, бросил ведро и побежал к ограде, чтобы в очередной раз посмотреть, как они уходят в небо. Трое летчиков в белых головных повязках были едва старше Джима: по-детски пухлые щеки, мягкие, не успевшие загрубеть черты лица. Они стояли под палящим солнцем возле своих самолетов, нервически отгоняя от лица мух, и, когда командир эскадрильи отдал им честь, лица у них окаменели. Даже в тот момент, когда они прокричали славу императору, слышали их одни только мухи, зенитчики были заняты какими-то своими делами, а рядового Кимуру, который как раз вышагивал через грядки с помидорами, чтобы отогнать Джима от ограждения, повышенный интерес мальчика-англичанина к камикадзе, казалось, просто поставил в тупик.

Джим открыл учебник по латинскому и при-

нялся за домашнюю работу, которую задал ему доктор Рэнсом: проспрягать глагол *amo*[46] во всех прошедших временах. Ему нравилось заниматься латынью; жесткая структура этого языка, целые семьи растущих из одного корня существительных и глаголов чем-то напоминали химию, любимую науку отца. Японцы закрыли лагерную школу в качестве этакой изощренной меры наказания для родителей, которым теперь приходилось весь день нянчиться со своим потомством; но доктор Рэнсом до сих пор отыскивал, чем занять Джима. Приходилось учить наизусть стихи, решать системы уравнений; а еще были естественные науки (в этой области, благодаря отцу, Джиму случалось удивлять своими познаниями даже доктора Рэнсома) и французский, который он терпеть не мог. Джиму казалось, что на школу он тратит удивительно много времени и сил, особенно если принять во внимание, что война вот-вот закончится. Впрочем, очень может статься, что доктор Рэнсом просто хотел занять его чем-нибудь мирным, хотя бы на час в день. В каком-то смысле домашняя работа Джима помогала доктору поддерживать

---

[46] Примечания: 46
Люблю *(лат.).*

в себе иллюзию, что даже и в лагере Лунхуа давно растаявшая система английских ценностей продолжала жить и здравствовать. Чушь, каких мало, но Джим был рад помочь доктору Рэнсому любым доступным способом.

— «*Amatus sum, amatus es, amatus est…*»[47] Повторяя перфект, Джим заметил, как от разбитых самолетов побежали китайцы-старьевщики. Кули, работавшие на починке взлетно-посадочной полосы, также кинулись врассыпную, бросая наземь корзины с камнем. С парового катка соскочил голый по пояс японский солдат и побежал к зенитной огневой точке: установка уже пришла в движение и шарила стволами по небу. На пагоде Лунхуа уже сверкнула серия вспышек, как будто японцы, устроив по случаю визита заморских гостей праздник, принялись благочестиво рвать петарды. Звук одинокой пулеметной очереди рассыпался над летным полем, тут же потонув в жалобном вое сирены. Тревогу подхватил клаксон на караульной вышке лагеря Лунхуа, и его пронзительная скороговорка еще долго пульсировала у Джима в голове.

Перспектива воздушного налета была много-

---

[47] Примечания: 47
«Меня любили, тебя любили, его любили» *(лат.).*

обещающей, и Джим уставился в квадрат неба сквозь разрушенную крышу актового зала. По шлаковым дорожкам лагеря метались интернированные. Мужчины и женщины, только что дремотно, словно пациенты психиатрической клиники, медитировавшие на крылечках бараков, лезли теперь, отпихивая друг друга, в двери, матери перегибались через подоконники первого этажа, чтобы поднять и спрятать в комнатах детей. Не прошло и минуты, как лагерь опустел, и Джим один остался на балконе разрушенного актового зала — дирижировать воздушным налетом.

Он напряженно вслушивался в тишину, уже подозревая, что тревога оказалась ложной. Воздушные налеты начинались с каждым днем все раньше и раньше, по мере того как американцы переносили базы своей авиации все ближе к китайскому побережью со стороны Тихого океана, а китайцы — своей, из Центрального Китая. Японцы стали теперь настолько нервными, что пугались каждого облачка на горизонте. Над рисовыми делянками летел двухмоторный транспортный самолет, экипаж которого явно даже и не подозревал о царившей внизу панике.

Джим вернулся к латыни. И в тот же миг огром-

ная тень промелькнула над актовым залом и понеслась по земле, все дальше, к лагерному ограждению. Верхний этаж пагоды Лунхуа весь зарябил огоньками, как рождественская елка, выставленная на праздник перед шанхайским универмагом «Синсиер компани». Ничуть не испугавшись, «Мустанг» пошел прямо на зенитную вышку, и грохот его работающих пулеметов потонул в реве другого «Мустанга», который пронесся над рисовыми полями к западу от лагеря. За ним следом шел третий, так низко, что Джим мог заглянуть в кабину сверху. Он увидел летчиков и опознавательные знаки на фюзеляжах, запачканных перегоревшим маслом из выхлопа. Над лагерем пролетели еще два «Мустанга», и мощная воздушная волна сорвала с крыши барака рядом с блоком G несколько листов ржавого кровельного железа. В полумиле к востоку, между лагерем Лунхуа и рекой, заходила со стороны моря вторая эскадрилья американских истребителей, так низко, что бегавшая по заброшенным рисовым делянкам тень билась прямо под брюхом у каждого самолета, а сами самолеты то и дело пропадали из виду, прячась за погребальными курганами. Они взяли чуть вверх, перелетая через периметр аэродрома, и снова прижались

к земле, поливая огнем стоящие возле ангаров японские самолеты.

Над лагерем стала рваться шрапнель, и тени от белых облачков родничками запульсировали на земле между бараков. Над актовым залом с сухим оглушительным треском разорвался снаряд, мигом превратив воздух в монолитную ледяную глыбу. С обломков крыши наверху рухнули потоки цементной пыли, засыпав Джиму спину и плечи. Размахивая учебником, Джим принялся считать разрывы и сразу насчитал дюжину. Интересно, знают ли американские летчики, что в лагере Лунхуа сидит Бейси и с ним другие моряки-американцы? Всякий раз, заходя на атаку на аэродром, американские истребители до последней минуты прятались за трехэтажными зданиями бывших общежитий, несмотря на то что японские зенитки вынуждены были из-за этого вести огонь по лагерю и несколько заключенных уже были убиты осколками и шальными пулями.

Но Джим был рад, что «Мустанги» подошли так близко. Он наслаждался каждой заклепкой на их фюзеляжах, и пулеметными гнездами в обводах крыльев, и радиаторами на брюхе, которые, с точки зрения Джима, перенесли туда исклю-

чительно для того, чтобы достичь предельной стильности силуэта. Джим искренне восхищался японскими «Хаятэ» и «Зеро», но «Мустанги» были истинными «кадиллаками» воздушных битв. Он совершенно задохнулся от восторга и не мог кричать, но в меру сил махал снующим туда-сюда под плотным пологом шрапнельных разрывов пилотам своей латинской книжкой.

Первые звенья истребителей уже прошли над летным полем. Их силуэты, ясно различимые на фоне многоэтажек Французской концессии, быстро удалялись в сторону Шанхая, чтобы вот так же, на бреющем полете, атаковать доки и морскую авиабазу в Наньдао. Но зенитные батареи вдоль взлетно-посадочной полосы не прекращали огня. Небо было сплошь расчерчено «кошачьими колыбельками» трассеров, светящиеся нити пересекались, сплетались между собой и снова расходились в стороны. Средоточием фейерверка была пагода Лунхуа, паривша я над клубами дыма, который поднимался от горящих ангаров, — ее орудия держали над аэродромом непроницаемую стену заградительного огня.

Джим еще ни разу не видел такого масштабного воздушного налета. Над рисовыми полями между лагерем Лунхуа и рекой заходила на цель вторая

волна истребителей, за которой вплотную шла эскадрилья двухмоторных истребителей-бомбардировщиков. В трехстах ярдах к западу от лагеря один из «Мустангов» вдруг резко дал крен вправо. Потеряв управление, он скользнул в сторону и задел крылом насыпь заброшенного канала. Самолет волчком завертелся над рисовыми делянками и развалился в воздухе на части. Потом был взрыв, стена разом вспыхнувшего керосина, сквозь которую Джим увидел горящую фигурку пилота, все еще пристегнутого к креслу. Оседлав раскаленные добела обломки своей машины, он прошил насквозь кроны деревьев у лагерной ограды, — отломившийся кусочек солнца, которое по-прежнему полыхало над окрестными полями.

Еще один подбитый «Мустанг» вывалился из строя своего звена. Волоча за собой длинный шлейф дыма, он резко пошел в небо сквозь белые подушечки шрапнельных разрывов. Пилот явно пытался уйти подальше от аэродрома, но как только его «Мустанг» начал терять высоту, он перевернул машину вверх брюхом и спокойно вывалился из кабины. Почти тут же раскрылся парашют, и летчик круто пошел к земле. Его горящий самолет сам собой вернулся в правиль-

ное положение, протянул над пустыми полями густую полосу дыма, а затем рухнул в реку.

Пилот одиноко повис в тихом летнем небе. Его боевые товарищи ушли на Шанхай; серебристые фюзеляжи зарябили и тут же потерялись среди отблескивающих на солнце окон многоэтажек во Французской концессии. Глухой рокот моторов стих вдалеке, и вместе с ним замолкли зенитки. К западу от летного поля над каналами тихо падал второй парашютист. В растревоженном воздухе плыл густой запах перегоревшего масла и смазочно-охлаждающей эмульсии. По всему лагерю осели маленькие смерчики из листьев и сухих насекомых, чтобы всплескивать кое-где, в последних отзвуках воздушных волн от исчезших за горизонтом «Мустангов».

Два парашютиста падали на погребальные курганы. По окружной дороге уже мчался, выбрасывая из-под капота клубы пара, грузовик со взводом японских солдат в кузове — чтобы убить летчиков. Джим вытер пыль с учебника и стал ждать винтовочных выстрелов. Светящееся гало от взорвавшегося «Мустанга» все еще стояло над каналами и рисовыми делянками. На несколько минут солнце спустилось пониже к земле, чтобы выжечь из полей смерть.

Джиму было жаль американских летчиков, которые гибли, так и не сумев выпутаться из паутины привязных ремней, на глазах у вооруженного «маузером» японского капрала и у спрятавшегося на балконе разрушенного здания английского мальчика. Но их смерть напомнила Джиму о его собственной смерти, о которой он так или иначе ни на минуту не забывал с того самого дня, как попал в Лунхуа. Он был рад воздушным налетам, запаху масла и кордита, смерти летчиков и даже тому, что его собственная смерть тоже могла нагрянуть в любую минуту. Кто бы и что бы там ни говорил, Джим прекрасно отдавал себе отчет в том, что не стоит ни гроша. И он свернул учебник в трубочку, весь дрожа от тайной жажды, которую война так просто может унять — в любой момент.

24
Больничка

— Джим!.. Ты там, наверху?.. Тебя не задело?..

На заваленном мусором полу актового зала стоял доктор Рэнсом и кричал вверх, в сторону балкона. Пробежка от самого блока D далась ему нелегко, и легкие ходили ходуном под обтя-

нутыми кожей ребрами. За годы, проведенные в Лунхуа, он стал как будто бы еще длинней, но складывалось впечатление, что теперь его мосластый костяк держится исключительно на ветхом такелаже сухожилий. Его единственный здоровый глаз над ржаво-рыжей бородой уже успел ухватить на балконе макушку Джима, белую от пыли — как будто, пережив налет, мальчик в одночасье поседел.

— Джим, иди скорее в больничку. Сержант Нагата сказал, что на поверку ты можешь остаться у меня.

Джим вынырнул из задумчивости. Зловещее гало, оставленное сгоревшим американским летчиком, по-прежнему стояло над пустынными полями, но он решил ничего не говорить доктору Рэнсому об этой оптической иллюзии. С пагоды сирена завыла — сигнал отбоя воздушной тревоги, и его тут же подхватил клаксон на караулке. Джим слез с балкона и протиснулся вниз по лестнице.

— Я здесь, доктор Рэнсом. Меня, кажется, чуть не убило. А еще кто-нибудь в лагере погиб?

— Будем надеяться, что нет. — Доктор Рэнсом облокотился о балюстраду и смахнул с бороды пыль полями китайской соломенной шляпы.

Налеты явно действовали ему на нервы, но во взгляде, которым он смотрел на Джима, была не только усталость: там было еще и терпение. После налетов, когда охранники начинали кричать на заключенных и даже бить их, он часто срывался на Джима, как будто именно Джим был во всем этом виноват. Он провел рукой по голове мальчика, стряхнув цементную пыль и заодно убедившись в том, что нигде под волосами нет крови. — Джим, мы же с тобой договорились, что во время налетов ты не будешь лазать на балкон. Японцам и без того всегда есть к чему придраться — они могут подумать, что ты пытался подавать американцам какие-то сигналы.

— А я и правда пытался, только они меня не видели. «Мустанги» — они такие скоростные. — Джим любил доктора Рэнсома и хотел как мог убедить его, что все в порядке. — Я сделал домашнюю по латинскому, доктор.

Но доктора Рэнсома, к немалому удивлению Джима, в данный момент совершенно не интересовало, выучил он глаголы или нет. Доктор повернулся к Джиму спиной и быстро пошел к больничке, кучке бамбуковых лачуг, которые заключенные, здраво оценив медицинские возможности лагеря Лунхуа, выстроили рядом с

кладбищем. Поверка уже началась, и на дорожках между бараками было пустынно. Японцы-охранники заходили в дома и попутно били прикладами винтовок последние, чудом уцелевшие, оконные стекла. На этой мере предосторожности настоял господин Секура, комендант лагеря, для того чтобы уменьшить опасность поражения заключенных взрывной волной. В действительности же это было наказание за воздушный налет, которое заключенные смогут по достоинству оценить, чуть только наступят сумерки и из гнилых прудов вокруг лагеря полетят тысячи комаров-анофелесов.

На крыльце блока Е, одного из чисто мужских общежитий, сержант Нагата орал на старшего по блоку, мистера Ролсона, органиста из шанхайского кинотеатра «Метрополь». За спиной у сержанта стояли трое охранников с примкнутыми штыками, так, словно из общежития в любой момент мог вырваться взвод американских морских пехотинцев. Сотни оборванных заключенных терпеливо дожидались окончания сцены. Шел последний год войны, и японцы за последнее время сделались весьма неуравновешенны и опасны.

— Доктор Рэнсом, а что будет, если американцы

высадятся в Усуне?

Этот порт в устье Янцзы был ключом к Шанхаю со стороны реки. В лагере все говорили про Усун.

— Очень может статься, что американцы высадятся именно в Усуне, Джим. Я всегда считал, что тебе самое место у Макартура в штабе. — Доктор Рэнсом остановился, чтобы перевести дыхание. Он с видимым усилием втянул воздух в туго обтянутую кожей грудную клетку, глядя на собственное отражение в полированных носках туфель Джима. — Постарайся об этом не думать — у тебя и без того голова забита бог знает чем. Американцы там могут и не высадиться.

— Если они устроят высадку в Усуне, японцы просто так им порт не отдадут.

— Да, Джим, они станут драться. Как ты совершенно справедливо — и вполне лояльно по отношению к японцам — заметил, они самые смелые солдаты в мире.

— Ну…

Про смелость Джиму говорить не хотелось. Война не имела ничего общего со смелостью. Два года назад, когда он был совсем еще мальчишкой, ему казалось важным выяснить для себя, чьи солдаты самые смелые, — отчасти для того, чтобы хоть как-то сориентироваться в совершенно разладив-

шемся мире. На первом месте были, естественно, японцы, на последнем — китайцы, а британцы болтались где-то посередине. Но теперь Джим думал об американских самолетах, которые утюжат небо как хотят. Какими бы смелыми ни были японцы, они ничего не могли сделать против этих красивых и легких на ходу машин.

— Японцы очень смелые, — признал свое поражение Джим. — Только от смелости сейчас уже ничего не зависит.

— Я в этом не совсем уверен. Вот ты, — ты смелый, а, Джим?

— Нет… да, нет, конечно. Разве что при случае, — здраво оценил себя Джим.

— А мне кажется, что смелости тебе не занимать.

Доктор Рэнсом сказал это как бы между делом, но что-то в его реплике неприятно резануло Джима. Он явно был на Джима сердит, как будто и в самом деле «Мустанги» налетели на лагерь именно по его вине. Может быть, доктор Рэнсом просто чувствует, что Джим научился радоваться войне? Джим раздумывал над этим до самой больнички. На земле возле ветхого бамбукового крыльца лежал неразорвавшийся шрапнельный заряд. Он тут же подхватил его, чтобы проверить,

на самом ли деле тот еще теплый, но доктор Рэнсом вырвал у него снаряд и зашвырнул его прочь, через колючую проволоку.

Джим стоял на полусгнивших ступеньках, загибая носки туфель о бамбуковые жердочки. Он поймал себя на искушении отобрать у доктора Рэнсома снаряд — обратно. Роста он был теперь почти такого же, как врач, а силы в нем было, пожалуй что, и побольше — за последние три года, пока Джим рос, большое тело доктора Рэнсома как-то усохло и съежилось. И Джим уже с трудом верил собственным воспоминаниям о крепком рыжеволосом мужчине с тяжелыми предплечьями и бедрами, который был в два раза больше обычного японского солдата. Но за первые два года в лагере доктор Рэнсом скормил Джиму слишком много своей собственной еды.

Они зашли в помещение, и Джим занял стратегическую позицию возле двери в амбулаторию, где сидели доктор Боуэн — отоларинголог из шанхайской поликлинической больницы — и четыре вдовы-миссионерки, здешний младший медицинский персонал. Они ждали, пока сержант Нагата не придет и не устроит перекличку, а Джим тем временем заглянул в прилегающую палату, где лежали на койках три десятка паци-

ентов. После каждого налета несколько человек умирали — от шока или от общего истощения. Осознание того, что война скоро кончится, казалось, придавало некоторым людям сил для того, чтобы испустить наконец дух. Впрочем, для тех, кто по-прежнему делал ставку на выживание, каждая смерть была хорошей новостью. Для Джима она означала старый ремень или подтяжки, авторучку или даже — один-единственный раз, и это было как чудо — наручные часы, которые он носил целых три дня, прежде чем отдать туда же, куда отдавал и все остальное — Бейси. Японцы конфисковали у заключенных все часы, наручные и любые другие: как сказал доктор Рэнсом, они хотели, чтобы их пленники забыли, что такое время. За эти три дня Джим успел измерить количество времени, необходимое на каждое возможное в его лагерной жизни действие.

Пациенты по большей части страдали от малярии, дизентерии и сердечных заболеваний, связанных с недостатком питания. Особенно тревожили Джима больные бери-бери, с раздутыми ногами и легкими, полными мокроты: в голове у них царил полный кавардак, и им казалось, что они умирают в Англии. В последние часы перед смертью они удостаивались особой привилегии,

единственной на всю больничку москитной сетки, и лежали в этом временном переносном склепе до тех пор, пока не перебирались к месту постоянной прописки — на кладбище за огородом.

Сержант Нагата в сопровождении двух солдат уже шел к больничке, и Джим напоследок заглянул в мужскую палату. Мистер Барраклу, секретарь Шанхайского загородного клуба, вот уже несколько дней как был при смерти, и Джим положил глаз на его золотое кольцо с печаткой. Может статься, в действительности оно было и не золотое — ни одна вещь из тех, что он приносил Бейси, ни разу не оказалась золотой, — но хоть чего-то оно да стоит. Джим не терзался угрызениями совести по поводу того, что крадет у мертвых. В больничку попадали только те недоумки, у которых не было ни друзей, ни родственников и за которыми никто не стал бы ухаживать в бараках и общежитиях. Даже если бы в больничке были лекарства — а тот небольшой запас, который завезли сюда японцы, был израсходован в первый же год, — навряд ли кто-то мог и в самом деле здесь выздороветь. Японцы, здраво рассудив, что всякий, кто попал в больничку, является кандидатом на кладбище, тут же урезали рацион вдвое.

Но даже и в этом случае, подумал Джим, могло пройти достаточно много времени, пока доктор Рэнсом и доктор Боуэн официально заявят о том, что тот или иной заключенный скончался. Джим знал, что многие из съеденных им за эти годы добавочных картофелин были из покойницких порций. Доктор Рэнсом делал для больных все, что мог, и Джиму было жаль, что в последнее время доктор, кажется, тоже начал терять надежду.

— Идут, — подал голос доктор Рэнсом. — Джим, встань по стойке «смирно». И не спорь сегодня с сержантом Нагатой. И ничего ему не говори про налет.

Заметив, что взгляд Джима прикован к перстню с печаткой, он отвернулся — чтобы встретить сержанта Нагату, который как раз поднимался по бамбуковым ступенькам больнички. Доктор Рэнсом не одобрял мародерства, хотя прекрасно знал, что Джим меняет пряжки от ремней и подтяжки на еду. Впрочем, тихо подумал про себя Джим, у доктора Рэнсома тоже есть свои источники дополнительного дохода. В отличие от большинства других заключенных в лагере Лунхуа, которым перед тем, как их интернировать, разрешили собрать чемоданы, доктор Рэнсом приехал сюда в чем был: в рубашке, в шортах и в кожа-

ных сандалиях. Однако в закрепленной за ним отгородке в блоке D скопилось изрядное количество движимого имущества — полный выходной костюм, портативный граммофон с несколькими пластинками, теннисная ракетка, мяч для регби и целая полка книг, источник образования Джима. Все это, вместе с одеждой, которую Джим носил последние три года, и с великолепными теннисными туфлями, на которые тут же упал взгляд сержанта Нагаты, доктор Рэнсом получил от нескончаемого потока пациентов, выстраивающихся по вечерам едва ли не в очередь у его отгородки в блоке D. Многим даже и предложить было нечего, но молодые женщины неизменно вознаграждали доктора Рэнсома каким-нибудь скромным приношением — в благодарность за те таинственные услуги, которые он им оказывал. Как-то раз Ричард Пирс даже узнал на Джиме одну из своих старых рубашек, но поезд уже ушел.

Сержант Нагата остановился перед выстроившимися в ряд заключенными. Масштабы американского воздушного налета явно потрясли его до глубины души. Челюсти у него были плотно сжаты, а на губах выступили несколько капелек слюны. Щетинки вокруг губ мелко дрожали, как усики антенн, принимающих срочное

штормовое предупреждение. Ему нужно было как-то вогнать себя в приступ ярости, но блестящие носки туфель мальчика не давали ему сосредоточиться. Как и все японские солдаты, сержант носил разваливающиеся на ходу башмаки, из которых торчали большие пальцы — как из перчаток опереточного нищего.

— Мальчик…

Он остановился перед Джимом и стукнул его по голове свернутым в трубку списком заключенных, выбив из волос облачко белой цементной пыли. От рядового Кимуры он знал, что, какая бы в лагере ни велась запрещенная деятельность, Джим непременно был в ней замешан, но поймать его за руку никак не мог. Он помахал рукой, чтобы разогнать пыль, и с видимым усилием вытолкнул те единственные два связанных между собой английских слова, которым научили его несколько лет жизни в лагере Лунхуа:

— Трудный мальчик…

Джим, завороженный капельками слюны на губах сержанта Нагаты, ждал, что он станет делать дальше. Может быть, ему доставит удовольствие свеженький, из первых рук, рассказ очевидца о воздушном налете?

Но сержант прошел в мужскую палату и стал

по-японски кричать на обоих врачей. Он пристально смотрел на умирающих, к которым раньше не проявлял ни малейшего интереса, и до Джима вдруг дошло, что доктор Рэнсом наверняка прячет раненого американского летчика. Джим захлебнулся от восторга, ему захотелось дотронуться до пилота, прежде чем японцы его убьют, ощупать шлем и летный костюм, пройтись пальцами по запыленным и запачканным маслом очкам.

— Джим!.. Очнись!..

Миссис Филипс, одна из вдов-миссионерок, поймала его за рукав: он качнулся вперед, едва не потеряв сознание при виде невероятной, похожей на архангела фигуры, падшей с небес на рисовые делянки возле лагеря. Джим снова встал по стойке «смирно», старательно изображая голодный обморок и пытаясь не встретиться глазами с подозрительным взглядом японского солдата у двери в амбулаторию. Он стал дожидаться окончания поверки, прикидывая, сколько всего может оказаться на теле мертвого американского летчика. Рано или поздно одного из американцев наверняка собьют прямо над лагерем Лунхуа. Джим начал прикидывать, в котором из разрушенных зданий будет удобнее

всего спрятать тело. Если таскать понемножку, то за обмундирование и снаряжение с Бейси можно будет целый месяц получать добавочные картофелины, а может быть, даже и теплое пальто на зиму. А картошки хватит и на доктора Рэнсома, которому Джим твердо решил не дать умереть.

Он качнулся на пятках и стал слушать, как в женской палате плачет старуха. За окном стояла пагода Лунхуа. Теперь зенитная вышка представлялась ему в совершенно ином свете.

Потом Джим еще целый час простоял по стойке «смирно» рядом с миссионерками, под пристальным взглядом часового. Доктора Рэнсома и доктора Боуэна сержант Нагата увел к коменданту, должно быть, на допрос. По притихшему лагерю расхаживали охранники со списками в руках, проводя повторную перекличку. Война должна была вот-вот закончиться, но японцам по-прежнему было страшно необходимо знать точное число взятых ими пленных.

Джим закрыл глаза, чтобы немного успокоиться, но часовой тут же рявкнул на него, заподозрив, что Джим затеял какую-то странную игру, которую сержант Нагата не одобрит. Джима распирало изнутри воспоминание о воздушном налете. «Мустанги» по-прежнему мелькали над

лагерем, заходя на зенитную вышку. Он представил себя за штурвалом одного из истребителей и как он падает на землю после того, как самолет взорвался, как снова поднимается в небо одним из молоденьких летчиков-камикадзе, которые кричат: «Да здравствует император!», прежде чем отправить свой «Зеро» в пике на стоящий у берегов Окинавы американский авианосец. Когда-нибудь Джим станет раненым пилотом и рухнет с неба между погребальными курганами и ведущей шквальный огонь пагодой. Куски его летного костюма и парашюта, а может быть, даже и куски его тела разлетятся по рисовым делянкам, чтобы досыта накормить заключенных за колючей проволокой и умирающих от голода под воротами лагеря китайцев…

— Джим!.. — зашипела миссис Филипс. — Повторяй свою латынь…

Стараясь не моргать, чтобы лишний раз позлить японца-часового, Джим принялся смотреть за окно, где царил ослепительный солнечный свет. Казалось, молчаливый пейзаж весь охвачен языками невидимого пламени, тем самым гало, которое осталось от горящего тела американского летчика. Этот свет лег на колючую проволоку лагерной ограды и на пыльные листья дикого

сахарного тростника, выбелил крылья сбитых самолетов и кости крестьян в погребальных курганах. Джим уже мечтал о следующем налете, грезил об ослепительной, отчаянной вспышке света, задыхаясь от жажды, которую доктор Рэнсом смог в нем разглядеть, но никогда не сможет утолить.

25
Кладбищенский огород

Когда поверка закончилась, Джим присел отдохнуть на ступеньках больничного крыльца. Доктор Рэнсом и доктор Боуэн вернулись от коменданта и тут же заперлись со всеми четырьмя сестрами в амбулатории. Доктор Рэнсом был весь на нервах, совсем как японцы. Старый шрам у него под глазом налился кровью. Может быть, он взялся возражать против дальнейшего уменьшения пайка и сержант Нагата ударил его по лицу?

Сунув руки в карманы, Джим медленно побрел по шлаковой дорожке, огибающей лагерную больничку. Он окинул взглядом грядки с помидорами и фасолью и дынную бахчу. Предполагалось, что скромный урожай, зреющий на этом кладбищенском огороде, пополнит скудный паек

больничных пациентов; впрочем, значительная его часть рано или поздно оказывалась в распоряжении американских моряков из блока Е. Джиму нравилось работать с растениями. Он знал каждое из них в лицо и с первого же взгляда замечал отсутствие одного-единственного украденного мальчишками помидора. К счастью, длинные ряды могил на расположенном неподалеку кладбище отпугивали воришек. Огород был источником не только потенциальных прибавок к рациону: ботаника сама по себе тоже была весьма увлекательный предмет. В амбулатории доктор Рэнсом нарезал, подкрашивал и клал под микроскоп (собственность доктора Боуэна) тончайшие срезы стеблей и корней и заставлял Джима срисовывать сотни разнообразных клеток и капилляров. Классификация растений служила дверью в целую вселенную новых слов; у каждой травинки в лагере Лунхуа было свое имя. Имена были вездесущи; под каждым забором, в каждой оросительной канаве скрывались невидимые энциклопедии.

Вчера после полудня Джим выкопал две траншеи для свежей помидорной рассады. Между огородом и кладбищем стоял ряд пятидесятигаллонных баков, которые они с доктором Рэнсомом

вкопали в землю, а потом натаскали туда нечистот из переполненной сточной емкости в блоке G. Местная очистная команда сливала бóльшую часть нечистот в один из пересохших прудов, но Джим и доктор Рэнсом проложили к сточной емкости свою собственную дорожку: с бадьей, веревкой и тачкой. Как сказал доктор Рэнсом, нет смысла пренебрегать любой возможностью оттянуть всеобщий конец хотя бы на несколько дней. На грядках, будто в подтверждение его правоты, довольно быстро разрослись помидоры и одутловатые местные дыни.

Джим снял с одного из баков деревянную крышку. Он дал тысячам круживших вокруг мух снять первую пробу, потом подхватил деревянный черпак на длинной бамбуковой ручке и стал разливать компост по неглубоким траншеям. Он работал в том медленном, но размеренном и ровном ритме, который наблюдал когда-то, еще до войны, у китайских крестьян, удобряющих свои огороды.

Часом позже, засыпав компост слоем земли, Джим присел передохнуть на одну из кладбищенских могил. В больничку тянулся самый разный народ, старшие по блокам, посыльные от тех, кто не мог прийти сам, группа американцев из

блока Е, старшие от бельгийского и голландского землячеств. Но Джим слишком устал, чтобы выпытывать у них новости. В больничном огородике, между зелеными стенами помидоров и фасоли, было покойно и тихо. Он часто представлял себе, как останется здесь насовсем, даже после того, как кончится война.

Он отогнал эту буколическую фантазию на задворки сознания и стал вслушиваться в дрон истребителя «Зеро», разогревающего мотор в конце взлетно-посадочной полосы. Одинокий самолет-камикадзе — все, что наскребли японцы, чтобы отплатить за американский воздушный налет. На молоденьком, едва старше Джима, летчике были положенные церемониальные повязки, но почетный караул состоял всего из двух человек, капрала и младшего рядового. Оба повернулись, прежде чем пилот успел забраться в кабину, и пошли туда, где их ждала работа по починке разбитых ангаров.

Джим проследил за неуверенно вставшим на крыло самолетом. Он прогудел над лагерем — мотор с трудом справлялся с весом подвешенной снизу бомбы, — заложил вираж в сторону реки и взял курс на открытое Восточно-Китайское море. Джим приложил козырьком к глазам руку

и следил за самолетом, покуда тот не скрылся в облаках. Никто из японцев на аэродроме Лунхуа не удостоил самолет даже беглого взгляда. В ангарах у пагоды по-прежнему бушевал пожар, а из разбомбленных инженерных мастерских вырывались клубы белого пара. Но у воронок на летном поле уже суетились китайские кули, заполняя их битым камнем, а старьевщики снова принялись растаскивать по кусочкам разбившиеся самолеты.

— По-прежнему интересуешься самолетами, Джим? — спросила миссис Филипс; они с миссис Гилмор как раз вышли из больничного дворика. — Придется им принять тебя в РАФ[48].

— Я собираюсь вступить в японские военно-воздушные силы.

— Да? В японские?.. — Вдовы-миссионерки захихикали, они по-прежнему никак не могли привыкнуть к специфическому чувству юмора Джима — и снова налегли на ручки деревянной тележки. Железные колеса вызванивали с каждым камешком на шлаковой дорожке; на тележке раскачивался труп, который медсестры везли на кладбище хоронить.

---

[48] Примечания: 48

RAF — Royal Air Force; британские Королевские военно-воздушные силы.

Джим вытер о рубашку три сорванных с грядки помидора. По размеру они были не больше мраморных шариков, но Бейси все равно будет доволен. Он опустил их в нагрудный карман рубашки и стал смотреть, как миссис Филипс и миссис Гилмор копают могилу. Они очень быстро выбились из сил и сели передохнуть на тележку рядом с трупом.

Джим подошел к ним и взял лопату из натруженных рук миссис Филипс. Тело принадлежало мистеру Радику, бывшему шеф-повару отеля «Катай». Когда-то Джиму очень понравилась его лекция о трансатлантическом лайнере «Беренгария», и теперь он был рад вернуть долг. Земля была мягкой, и копалось легко. Когда-то, когда у заключенных еще были силы, они, в порыве предусмотрительности, наметили несколько рядов узких и неглубоких могил. Но теперь у вдов-миссионерок силы для того, чтобы углубить яму еще хотя бы на штык, явно было недостаточно. Мертвых теперь хоронили едва ли не на поверхности, просто засыпав их рыхлой землей. Потом муссоны приносили затяжные — на несколько месяцев — ливни, и земля проседала, так что могильные холмики приобретали очертания лежащих под ними тел: как если бы маленькое

кладбище у военного аэродрома задалось целью вернуть на земную поверхность хотя бы малую толику из тех миллионов, что погибли на этой войне. Кое-где из-под земли торчали то рука, то нога: сон мертвецов был неспокоен, и они то и дело пытались скинуть с себя тяжелые коричневые одеяла. В могиле госпожи Хаг, голландки, которая приехала в лагерь вместе с Бейси и доктором Рэнсомом, крысы понарыли нор, и сложная система подземных коммуникаций напоминала Джиму линию Мажино, которую он когда-то построил для своих оловянных солдатиков в декоративном каменном садике на Амхерст-авеню.

Он налег на лопату, решив зарыть мистера Радика поглубже, так чтобы шеф-повар не стал нынче же ночью дежурным блюдом для кладбищенских крыс. Миссис Гилмор и миссис Филипс сидели на тележке и молча смотрели, как он работает. Всякий раз, как он останавливался, чтобы перевести дух, на лицах у них расцветали две совершенно одинаковые улыбки, такие же бесцветные, как цветочный рисунок на их выгоревших бумажных платьях.

— Джим! Брось это дело и иди ко мне! Ты нужен мне здесь! — позвал его из окна ординаторской доктор Рэнсом. Он терпеть не мог, когда Джим

начинал рыть могилы.

Сотни мух жужжали над тележкой и садились на лицо мистеру Радику. Джим снова вспомнил о «Беренгарии» и стал копать дальше.

— Джим, доктор тебя зовет…

— Ладно, я уже закончил.

Женщины вынули мистера Радика из тележки. Ноша была для них почти непосильной, но все же они пытались обращаться с покойным с должным уважением, как и раньше, пока он был жив. А может быть, для двух этих вдовствующих христианок он до сих пор значился среди живых? На Джима всегда производили впечатление глубокие религиозные чувства. Его отец и мать были агностиками, и он относился к истово верующим с тем же уважением, какое испытывал к членам клуба «Граф Цеппелин» или к тем, кто ходил за покупками в китайские магазины: эти люди были причастны неким экзотическим, не очень понятным для него ритуалам. К тому же слишком часто оказывалось так, что убеждения людей, которые вкалывали больше всех прочих, вроде миссис Филипс и миссис Гилмор или вроде доктора Рэнсома, на поверку выходили самыми правильными.

— Миссис Филипс, — спросил он, когда старухи

опустили мистера Радика в могилу, — а когда душа оставляет тело? До того, как его похоронят?

— Да, Джим. — Миссис Филипс опустилась на колени и начала сыпать землю на лицо мистеру Радику. — Душа мистера Радика уже отлетела. Доктор снова тебя зовет. Надеюсь, ты как следует сделал домашнюю работу по латыни.

— Естественно.

У Джима появилось о чем подумать, пока он шел к больничке. Он часто вглядывался в глаза умирающих, пытаясь отследить вспышку света, когда отлетает душа. Однажды он помогал доктору Рэнсому массировать обнаженный торс молодой бельгийки, которую доконала дизентерия. Доктор Боуэн сказал, что она умерла, но доктор Рэнсом продолжал массировать сердце сквозь грудную клетку, и вдруг ее глаза тронулись с мертвой точки и посмотрели на Джима. Поначалу Джим подумал, что душа вернулась к ней, но она по-прежнему была мертва. Миссис Филипс и миссис Гилмор унесли ее и через час уже схоронили. Доктор Рэнсом объяснил, что на несколько секунд ему удалось закачать ей в мозг кровь.

Джим зашел в амбулаторию и сел за стол напротив доктора Рэнсома. Ему очень хотелось

обсудить вопрос о душе мистера Радика, но доктор был до странного не расположен говорить с Джимом на религиозные темы, хотя сам каждое воскресное утро ходил к службе. Шрам у него под глазом был по-прежнему налит кровью. Была и еще одна характерная деталь: он колдовал над металлическим подносом с расплавленным воском. Всякий раз, когда доктор Рэнсом уставал через край или злился на Джима, он растапливал на подносе несколько свечей и погружал в горячую жидкость куски старой ткани, а потом вывешивал их сушиться. Прошлой зимой он сделал несколько сот таких провощенных пластин, которыми заключенные пользовались вместо разбитых японцами оконных стекол. Его упорными трудами лагерю легче стало переносить пронизывающие холодные ветры, дующие из Северного Китая, но большинство заключенных даже спасибо ему за это не сказали. Впрочем, как заметил Джим, доктора Рэнсома совсем не интересовала их благодарность.

Джим макнул палец в горячий воск, но доктор Рэнсом отмахнулся от него, как от мухи. Разговор с начальником лагеря явно его расстроил — он готовился к зиме так, словно пытался убедить себя в том, что все они по-прежнему будут в лагере,

когда она наступит.

Джим снял туфли и принялся надраивать их. Проходив три года в деревянных башмаках и в чужих обносках, он теперь искренне наслаждался тем эффектом, который производили на окружающих его шикарные ступари.

— Джим, это, конечно, здорово, что вид у тебя такой шикарный, но постарайся не начищать их в любую свободную минуту. — Доктор Рэнсом невидящим взглядом уставился на восковой квадрат. — Сержанту Нагате это не очень по вкусу.

— Мне нравится, чтобы они блестели.

— Они и так блестят дальше некуда. Наверное, даже американские летчики не могли их не заметить. Они, наверное, решили, что у нас здесь бесплатные курсы по гольфу, и теперь выставляют свои компасы на носки твоих туфель.

— То есть вы хотите сказать, что я вношу свой вклад в победу?

— В каком-то смысле…

Прежде чем Джим успел снова надеть туфли, доктор Рэнсом ухватил его за лодыжку. Бóльшая часть ссадин у Джима на ногах воспалялась и, учитывая дурное питание, никогда как следует не заживала, но над правой лодыжкой у него была настоящая язва, размером с пенни, затянутая

сверху слоем подсохшего гноя. Доктор Рэнсом убрал с лампы накаливания поднос с воском. Вскипятив в металлическом ведерке немного воды, он промыл язву и вычистил ее хлопковым тампоном.

Джим покорно ждал окончания процедуры. Единственным по-настоящему близким человеком в Лунхуа он считал доктора Рэнсома, хотя прекрасно отдавал себе отчет в том, что доктору в нем очень многое не нравится. Он обижался на Джима за то, что тот понял про войну одну истину и не скрывал своей догадки: что люди всегда готовы приспособиться к войне и делают это едва ли не с радостью. Иногда ему казалось, что даже латынью Джим увлекается не просто так. Брат у него был тренером по спортивным играм в английской школе-интернате (в одном из тех исправительных заведений, столь схожих по сути с Лунхуа, к которым, судя по всему, Джима готовили в недалеком будущем), а сам он работал в протестантской миссии в Центральном Китае. Доктор Рэнсом чем-то смахивал на школьного организатора внеклассных мероприятий — вроде капитана команды по регби, — хотя порой Джим задавался вопросом, а насколько естественна для него эта манера поведения. Он уже давно

заметил, что доктор, при желании, может вести себя совершенно неподобающим образом.

— Ну, Джим, надеюсь, с домашней работой ты справился успешно…

Доктор Рэнсом открыл учебник латинского языка. Снаружи у входов в бараки и общежития собирались заключенные, и доктора это явно отвлекало, но он тем не менее постарался сосредоточиться на тексте. На плац-параде толкались уже сотни мужчин и женщин, многие были с детьми. Он начал спрашивать Джима, а тот под столом потихоньку полировал туфли.

— «Их любили»?..

— «*Amabantur*».

— «Меня будут любить»?..

— «*Amabor*».

— «Тебя еще будут любить»?..

— «*Amatus eris*».

— Все правильно — я отмечу тебе отрывок для перевода с листа. С лексикой тебе поможет миссис Винсент. Она не будет против, если ты время от времени станешь задавать ей вопросы?

— Уже нет.

Джим доложил о происшедшей с ней в последнее время перемене. Должно быть, подумал он про себя, доктор Рэнсом оказал ей какую-то осо-

бую услугу — по женской части.

— Вот и славно. Люди должны помогать друг другу. Вот с тригонометрией от нее, наверное, будет не слишком много толку.

— Очень мне нужна ее помощь! — Джиму нравилась тригонометрия. В отличие от латыни или алгебры эта отрасль геометрии была теснейшим образом связана с самым близким его сердцу предметом — с военной авиацией. — Доктор Рэнсом, американские бомбардировщики, которые шли следом за «Мустангами», летели со скоростью 320 миль в час, — я посчитал по ударам сердца, сколько времени их теням нужно, чтобы пересечь лагерь. Если они хотят попасть в аэродром Лунхуа, им приходится сбрасывать бомбы примерно в тысяче ярдов отсюда.

— Джим, ты — дитя войны. Мне кажется, японские зенитчики тоже должны об этом догадываться.

Джим откинулся на спинку стула и задумался.

— Да нет, вряд ли.

— В любом случае мы ведь не станем им об этом докладывать, правда? Это будет нечестно по отношению к американским летчикам. Японцы и так слишком часто их сшибают.

— Но сшибают они их уже над аэродромом, —

пояснил Джим. — Когда самолет уже успел сбросить бомбы. Если они хотят, чтобы взлетно-посадочная полоса осталась в целости и сохранности, они должны сбивать их за тысячу с лишним ярдов от аэродрома.

Джим вдруг представил себе открывшиеся перспективы во всем их возможном масштабе — если применить эту новую тактику на японских базах по всему Тихому океану, война может снова обернуться против американцев и лагерь Лунхуа будет спасен. Он забарабанил пальцами по столу — вот так он когда-то играл на белом рояле в пустом доме на Амхерст-авеню.

— Да-да, конечно… — Доктор Рэнсом наклонился вперед и мягко прижал руки мальчика к столешнице, пытаясь хоть немного его успокоить. Потом погрузил в расплавленный воск еще один кусок ткани. — Может быть, нам лучше оставить тригонометрию; пожалуй, задам-ка я тебе лучше что-нибудь из алгебры. Мы все хотим, чтобы война поскорее закончилась, Джим.

— Конечно, доктор Рэнсом.

— А ты и правда хочешь, чтобы война закончилась, Джим? — Доктор Рэнсом, кажется, довольно часто в этом сомневался. — Многие люди здесь, в лагере, долго не протянут. Ты ведь хочешь снова

встретиться с отцом, с мамой?

— Конечно, хочу. Я думаю о них каждый день.

— Это хорошо. А ты помнишь их лица?

— Помню…

Джим терпеть не мог врать доктору Рэнсому, но в каком-то смысле он и не врал, потому что думал о неизвестных мужчине и женщине на фотографии, приколотой к стене у него в углу. Он никогда не говорил доктору, что эти его родители — не настоящие. Джим знал, что об отце и матери никак нельзя забывать, хотя бы для того, чтобы не утратить веры в будущее, вот только их лица уже давно скрыла дымка. Доктору Рэнсому мог не понравиться тот способ, которым он себя обманывал.

— Я рад, что ты о них помнишь, Джим. Они могли за это время сильно измениться.

— Знаю — сейчас все голодают.

— Речь не только о голоде, Джим. Когда война и в самом деле закончится, все здесь будет очень непросто.

— Так, значит, нам лучше оставаться в лагере? — Джима такая перспектива вполне устраивала. Слишком многие здесь только и говорили о том, как бы им выбраться из лагеря, не имея при этом никакого представления, что с ними будет

потом. — Пока мы здесь, японцы будут за нами присматривать.

— А вот в этом я совсем не уверен, Джим. Мы теперь для них — как кость в горле. Они больше не могут кормить нас, Джим…

Так вот, значит, к чему все это время клонил доктор Рэнсом. Джим почувствовал, как на него навалилось тихое чувство усталости. Нескончаемые часы, потраченные на перевозку бадей с нечистотами, на посадку и полив рассады в больничном огородике, на то, чтобы волочь за собой, вдвоем с мистером Макстедом, раздаточную тачку, ушли на то, чтобы хоть как-то поддерживать в лагере жизнь. И все это время он знал, что продовольственное снабжение здесь зависит исключительно от прихоти японцев. Его собственные чувства, его решимость выжить во что бы то ни стало в конечном счете ничего не стоили. Вся эта лихорадочная деятельность значила не больше, чем рефлекторное движение глаз молодой бельгийки, которая, казалось, вот-вот воскреснет из мертвых.

— Значит, еды больше не будет, так, доктор Рэнсом?

— Мы надеемся, что хотя бы малую толику им все-таки удастся сюда доставлять. Японцам уже и

самим нечего есть. Американские подлодки…

Джим уставился на полированные носы своих туфель. Ему хотелось показать их отцу и маме — до того как они умрут. Он постарался взять себя в руки, вызвав из небытия прежнюю волю к жизни. И сознательно стал думать о том странном удовольствии, с которым обычно созерцал похороненные на больничном кладбище трупы: замешенное на чувстве вины возбуждение, просто оттого, что он до сих пор жив. Он знал, почему доктор Рэнсом терпеть не может, когда он помогает рыть могилы.

Доктор Рэнсом отметил в задачнике упражнения по алгебре и дал ему две полоски бинта из рисовой бумаги, чтобы решать на них системы уравнений. Когда он встал, доктор Рэнсом вынул у него из кармана помидоры, все три. И положил на стол возле подноса с расплавленным воском.

— Что, из больничного огорода?

— Да. — Джим прямо и честно посмотрел в глаза доктору Рэнсому. В последнее время он как-то более трезво, по-взрослому, начал воспринимать этого человека. Долгие годы лагерной жизни и постоянные конфликты с японцами сделали из молодого врача человека, которому на вид можно было дать лет сорок. Доктор Рэнсом часто не

верил своим глазам — вот и сейчас тоже не хотел верить в его кражу.

— Я должен всякий раз при встрече давать Бейси хоть что-нибудь.

— Знаю. Это хорошо, что ты ходишь в друзьях у Бейси. Он человек, ориентированный на выживание, хотя люди, ориентированные на выживание, могут оказаться весьма опасными. Войны существуют специально для таких людей, как Бейси. — Доктор Рэнсом собрал со стола помидоры и опустил их Джиму в ладонь. — Я хочу, чтобы ты съел их сам, Джим. Прямо сейчас. А для Бейси я дам тебе кое-что другое.

— Доктор Рэнсом… — Джиму очень захотелось хоть как-то его приободрить. — Если мы скажем сержанту Нагате о дистанции в тысячу ярдов… японцы все равно не смогут сбивать больше самолетов, чем они сбивают сейчас, но, может быть, у них найдется для нас немного еды…

Доктор Рэнсом улыбнулся — в первый раз за весь день. Он открыл медицинский шкафчик и вынул из стальной коробочки два резиновых презерватива.

— Джим, ты прагматик. Отдай это Бейси, и у него тоже что-нибудь для тебя найдется. А теперь ешь свои помидоры — и ступай.

26
Ветераны Лунхуа

Мы ветераны Лунхуа,
Мы всех парней свели с ума,
Мы в грош не ставим жизнь свою,
И каждый вторник мы в раю…

По пути через плац-парад к блоку Е Джим остановился посмотреть, как «Комедианты Лунхуа» разучивают на крыльце шестого барака очередной концертный номер. Командовал труппой мистер Уэнтворт, менеджер банка «Катай», чья театральная и чрезмерно эмоциональная манера держать себя всегда восхищала Джима. Ему нравились любительские спектакли, когда каждый участник представления, так или иначе, оказывался в центре общественного внимания. Джиму удалось сыграть пажа в «Генрихе V», и от этой роли он получил колоссальное удовольствие. Сшитый миссис Уэнтворт специально для него костюм из пурпурного бархата был единственной приличной одеждой, которую он надел на себя за все три года. Он предложил свои услуги — в том же костюме — в следующей постановке «Коме-

диантов Лунхуа», «Как важно быть серьезным», но мистер Уэнтворт так и не внес его в список участников спектакля.

…У нас тут лекции и споры,

У нас концерты, разговоры…

Репетиция явно не клеилась. Четыре девушки-хористки стояли на шаткой самодельной трибуне из ящиков и силились вспомнить текст. Налет не прошел даром, девушки совсем не слушали мистера Уэнтворта, а слушали они — небо. И, несмотря на жаркий солнечный свет, то и дело терли озябшие руки.

Не знающие, чем заняться, интернированные останавливались послушать, потом им становилось скучно и они брели дальше; Джим тоже решил не тратить на это жалкое зрелище времени. В «Комедиантах Лунхуа» числились исключительно члены самых замкнутых и высокомерных английских семейств, и в самом тембре их пронзительно-высоких голосов было что-то абсурдное — столь же нелепое и неестественное, как и тот матч в регби, который доктор Рэнсом, в редком для него помрачении здравого смысла, организовал прошлой зимой. Команды, составленные из высохших от голода заключен-

ных (мужей «Комедиантов Лунхуа»), неровным шагом слонялись туда-сюда по плац-параду в гротескной пародии на регби, и сил у них не было даже на то, чтобы отдать пас; а с крылечек их подбадривала собравшаяся ради такого случая толпа товарищей по несчастью, которых не взяли в игру просто потому, что они оказались неспособны выучить правила.

Джим прошел мимо караулки и попутно огляделся, не происходит ли в лагере чего-то из ряда вон выходящего. У ворот уже столпилась кучка заключенных: ждать военный грузовик, который каждый день привозил из Шанхая дневной рацион на весь лагерь. Никаких официальных заявлений о сокращении пайка сделано не было, однако новость уже успела распространиться по лагерю.

За воротами — что само по себе весьма примечательно — почти совсем не осталось китайских нищих. На заросшей бурьяном обочине дороги лежала мертвая женщина, но солдаты из распущенных марионеточных армий и безработные рикши-кули ушли, оставив после себя жалкую кучку сидящих полукругом стариков и детей с восковыми лицами.

Джим зашел в блок Е, чисто мужское общежи-

тие, и взобрался по лестнице на третий этаж. Вне зависимости от того, какая на дворе стояла погода, британские заключенные из блока Е почти все время проводили, валяясь на койках. Некоторые и впрямь были настолько измучены малярией, что просто не могли двигаться и тихо лежали на своих пропитанных мочой и пóтом соломенных циновках. Но рядом с ними точно так же бездельничали и те, кто вполне мог ходить, часами и днями разглядывая собственные руки или тупо уставившись в стену.

Вид множества взрослых людей, не желающих встраиваться в лагерную действительность, всегда озадачивал Джима, но хорошее настроение возвращалось к нему незамедлительно, стоило только добраться до американского сектора. Ему нравились американцы, и он безоговорочно принимал самый способ их существования. Когда бы он ни пришел в этот солнечный анклав иронии и хорошего настроения, у него словно камень падал с души.

Две бывшие классные комнаты были заняты американскими моряками. Дверь между комнатами сняли с петель, и в большом, с высокими потолками помещении находилось теперь около шестидесяти человек. Джим окинул взглядом

лабиринт отгородок. Британцы в блоке Е жили общими спальнями, но каждый американский моряк соорудил вокруг своей койки маленькую стену из первого попавшегося под руку материала — из рваных простыней, досок, соломенных циновок и переплетенных стеблей бамбука. Время от времени из блока Е появлялась на свет божий группа американцев и устраивала неторопливую игру в футбол, но по большей части каждый из них сидел в своей отгородке. Они лежали на койках и развлекали как могли неослабевающий поток девочек-подростков, одиноких англичанок и даже нескольких замужних дам, которых влекли сюда практически те же самые мотивы, что и Джима.

В силу какого-то особенного внутреннего механизма, в котором Джим так и не смог до конца разобраться, активная половая жизнь имела тенденцию производить на свет нескончаемые запасы тех самых предметов, которые сильнее всего влекли его к себе. Эти сокровища прибыли в лагерь Лунхуа вместе с американскими моряками и ходили теперь по рукам на правах второй валюты — книжки комиксов, выпуски «Лайф», «Ридерз дайджест» и «Сэтеди ивнинг пост», дешевые авторучки, губнушки и коробоч-

ки с компакт-пудрой, кричаще-яркие булавки для галстуков, зажигалки и целлулоидные пояски, купленные по дешевке на ярмарках и распродажах, запонки и ременные пряжки в духе Дикого Запада — целые коллекции безделушек, которые в глазах Джима обладали такой же особой изысканностью и такой же волшебной притягательной силой, как истребители «Мустанг».

— Гляньте-ка, да это же, никак, Шанхай-Джим…

— Эй, парень, Бейси уже просто икру мечет…

— Не хочешь в шахматишки перекинуться, а, сынок?

— Джим, мне нужны горячая вода и мыло для бритья.

— Джим, принеси-ка мне коктейль с апельсиновым соком и ведро денатурата…

— А с чего это Бейси вдруг взъелся на Джима?

Джим на ходу обменивался приветствиями с американцами — с Коэном, великим футбольным тактиком и фанатиком шахмат; с Типтри, большим и добродушным кочегаром и по совместительству королем комиксов; Хинтоном, тоже бывшим стюардом и философом; Дейнти, телеграфистом и первым в лагере пижоном, — с легкими в общении людьми, которые с удоволь-

ствием играли для Джима как-то сами собой распределившиеся между ними роли и постоянно подтрунивали над ним и друг над другом. Большинство американцев относились к Джиму с искренней симпатией — когда замечали его, — а он за это, а также из чистого уважения к Америке, выполнял для них массу постоянно возникающих и совершенно неотложных поручений. Некоторые отгородки были зашторены: моряки принимали гостей. На других занавески были подняты так, чтобы лежащий на койке хозяин мог следить за тем, что происходит в мире. Двоих матросов предпенсионного возраста свалила малярия, но они не делали из болезни особой трагедии. Короче говоря, подумал Джим, лучшей компании, чем американцы, не придумаешь. Они не такие странные, как японцы, и с ними не нужно постоянно быть начеку, но зато уж куда приятней, чем вечно замкнутые и с массой каких-то своих внутренних сложностей англичане.

Почему Бейси на него сердится? Джим нырнул в узкий коридор между подвешенными на веревках простынями. Он слышал, как где-то рядом жалуется на мужа англичанка из пятого барака и как двум девушкам-бельгийкам, которые живут в блоке G с овдовевшим отцом, что-то такое

показывают, отчего они то и дело прыскают в кулачок.

Отгородка Бейси была расположена в самом дальнем северо-восточном углу комнаты, и в ней было целых два окна, так что Бейси прямо с койки мог наблюдать за всем, что происходит в лагере. Он, как обычно, сидел на койке и наблюдал за японскими солдатами у караулки, покуда Демарест, его сосед и ординарец, докладывал ему последние новости. Его выцветшая рубашка с длинным рукавом была тщательнейшим образом отутюжена — после того, как Джим стирал и просушивал его рубашки, Бейси складывал их каким-то сложным, напоминающим искусство оригами способом и клал к себе под циновку, а наутро вид у них был такой, как будто их только что принесли из магазина. Поскольку Бейси редко давал себе труд встать с койки, он в глазах Джима был существом едва ли не более значимым, чем комендант Секура, по крайней мере, держался он куда увереннее и спокойней; в каком-то смысле годы, проведенные в Лунхуа, сказались на Бейси в значительно меньшей степени, чем на господине Секуре. Его руки и щеки остались все такими же мягкими и лишенными морщин, хотя кожа напоминала цветом и фактурой кожу тяжелобольной

женщины. Он перемещался по своей отгородке, как по буфетной на пароходе «Аврора», и воспринимал Лунхуа точно так же, как воспринимал большой мир за пределами лагерной ограды: как систему кают, которые всегда нужно держать наготове, потому что в любой момент их может занять беспечное племя пассажиров.

— Заходи, заходи, паренек. И не надо так тяжело дышать, а то ты вгонишь старину Бейси в краску.

Демарест, бывший корабельный бармен, говорил, совсем не двигая губами, то есть был в прошлой жизни либо чревовещателем, как нравилось думать Джиму, либо — этой точки зрения придерживался мистер Макстед — успел отмотать не один срок в тюрьме, и сроки были немалые.

— Оставь его в покое… — Бейси жестом велел Джиму садиться, и Демарест тут же исчез в своей отгородке. — Парню просто не хватает воздуха во всем как есть Лунхуа. Так ведь, Джим?

Джим постарался совладать с работающей в бешеном темпе грудной клеткой — не хватает красных кровяных телец, если верить доктору Рэнсому, но часто выходило так, что они с Бейси имели в виду одно и то же. Только называли

по-разному.

— Ага, Бейси, ты прав. «Мустанги» уволокли его с собой. Ты видел, какой был налет?

— Я его слышал, Джим… — Бейси с мрачным видом посмотрел на Джима, так, словно именно по его вине поднялась вся эта суматоха. — Эти летчики-филиппинцы, должно быть, проходили летную практику на Кони-Айленд[49].

— Филиппинцы? — Джим наконец справился со своими легкими. — Эти летчики на самом деле были филиппинцы?

— Не все, Джим, только некоторые. Есть там пара эскадрилий, в экспедиционном корпусе у Макартура[50]. Остальные — старые добрые «Летающие тигры», у которых база в Чунцине.

Бейси задумчиво кивнул головой, убедившись,

---

[49] Примечания: 49

Парк аттракционов в южной части Бруклина, рядом с Брайтон-Бич. Место, где впервые появились в качестве аттракциона «американские горки».

[50] Примечания: 50

Дуглас Макартур (1880–1964), американский генерал, в 1941–1945 годах — Верховный главнокомандующий союзными силами в юго-западной части Тихого океана. С января 1945 года и до капитуляции Японии 2 сентября 1945 года — Главнокомандующий американскими войсками на всем Тихом океане. Автор нескольких чисто армейских афоризмов, неоднократно обыгранных затем в англоязычной массовой культуре. Весной 1942 года, когда японцы выбили союзников с Филиппин, произнес сакраментальную фразу «I shall return» («Я вернусь»). В 1944 году его возвращение на Филиппины было обставлено с необычайной помпой — и сопровождалось массой откровенно популистских

эффектов. Особые эскадрильи из этнических филиппинцев также вполне можно провести по этому ведомству (ср. сходные практики, применявшиеся во время Второй мировой войны другими воюющими сторонами, активно формировавшими и использовавшими в пропагандистских целях «национальные» части). В 1945–1951 годах был Главнокомандующим оккупационными войсками в Японии, а в 1950–1951 годах — Главнокомандующим войсками ООН в Корейской войне. Еще одна ставшая классической фраза была произнесена им во время прощальной речи в Конгрессе США, при выходе в отставку в 1951 году. «Старые солдаты не умирают, — сказал Макартур. — Они просто медленно тают на глазах». К этой фразе тут же появилось совсем другое продолжение: «Они просто всегда так пахнут».

что Джим должным образом оценил его сверхъестественные познания.

— Чунцин… — Джим уже сгорал от нетерпения. Именно такого рода информация служила самой питательной пищей его воображению, хотя он прекрасно отдавал себе отчет в том, что Бейси приукрашивает сводки так, как считает выгодным для себя в данный момент. Где-то в лагере был подпольный радиоприемник, который так никогда и не нашли, и вовсе не потому, что его как-то слишком уж умело прятали, а просто потому, что японцы окончательно запутались в ложных наводках, которыми их снабжали всегда готовые настучать друг на друга заключенные, — и махнули рукой. Джим долго и тщетно пытался сам отыскать этот приемник, замолкавший иногда на довольно-таки продолжительные периоды времени. А посему предоставил Бейси снабжать его красочными описаниями своего рода параллельной войны. Джим неизменно делал вид, что полученные сведения потрясли его до глубины души, хотя далеко не всегда мог с ходу отличить слухи от явной выдумки. Но эти сеансы новостей были весьма немаловажным звеном в той цепи, которая связывала их с Бейси.

Кроме того, был еще и неизменный интерес

Бейси ко все расширяющемуся словарю Джима.

— Как справился сегодня с домашней работой, Джим? Все слова выучил?

— Выучил, Бейси. Много новых латинских слов. — Тот факт, что Джим владел латынью, производил на Бейси должное впечатление, но от латинской речи он быстро уставал, и Джим решил не утомлять его пересказом всего спряжения глагола amo в пассиве. — И вдобавок несколько английских. Вот, например, «прагматик», — это был пробный камень, и Бейси встретил его без особого энтузиазма, — или «человек, ориентированный на выживание».

— «Человек, ориентированный на выживание», — Бейси даже хихикнул от удовольствия. — Очень полезное выражение. А ты — человек, ориентированный на выживание, а, Джим?

— Ну, как тебе сказать…

В устах доктора Рэнсома эта фраза звучала вовсе не как комплимент. Джим попытался вспомнить еще какое-нибудь интересное словечко. Бейси никогда не пользовался этими словами, он словно бы откладывал их про запас, готовясь к какой-то иной жизни, основанной на строгом знании этикета.

— А есть еще какие-нибудь новости, Бейси?

Когда американцы высадятся в Усуне?

Но вид у Бейси как-то вдруг стал на удивление занятой. Он откинул голову на подушку и принялся разглядывать содержимое отгородки так, как будто все это изобилие было для него тяжким грузом. На первый взгляд могло показаться, что вся его отгородка сплошь завалена старым тряпьем и плетеными корзинами с хламом, но в действительности ее содержимому мог позавидовать любой деревенский магазин. Здесь были алюминиевые кастрюли и сковороды, целый ассортимент дамских брюк и блузок, набор для маджонга, несколько теннисных ракеток, с полдюжины разрозненных туфель и такое количество номеров «Ридерз дайджест» и «Попьюлар микеникс», которого хватило бы, чтобы выкупить из вражеского плена средней руки короля. Все это Бейси получал по бартеру, хотя Джим никак не мог взять в толк, что же он мог дать взамен — как и доктор Рэнсом, в лагерь он приехал гол как сокол.

С другой стороны, Джиму не раз приходило в голову, что бóльшая часть этих запасов в действительности совершенно бессмысленна. Играть в теннис давно уже ни у кого не было сил, туфли были сплошь дырявые, а в кастрюлях все равно

нечего было готовить. Бывший стюард, несмотря на всю его оборотливость, остался все тем же весьма ограниченным человеком, с которым Джим познакомился на судоверфи в Наньдао, все с тем же кристально острым умением видеть мир и людей — вот только кругозор у него был как у близорукого. Талантов Бейси хватало только на простейшее жизнеобеспечение, и его методы были методами мелкого жулика. Иногда Джим переживал за Бейси — что-то с ним будет, когда кончится война.

— А теперь о деле, Джим, — возвестил Бейси. — Ты расставил силки? Как далеко ты ушел? Через ручей перебрался?

— Как раз за ручьем я их и поставил, Бейси. Дошел аж до старой буровой.

— Это хорошо…

— Но я не видел там фазанов, Бейси. Мне кажется, там вообще нет никаких фазанов. Слишком близко к аэродрому.

— Есть там фазаны, Джим. Только силки нужно ставить как можно ближе к шанхайской трассе. — Он посмотрел на Джима, и глаза у него вдруг стали похожи на два буравчика. — А потом мы там выставим приманку.

— Приманку — это мы можем, Бейси, — задум-

чиво сказал Джим, догадываясь, что с приманкой ничего соображать не нужно. Он сам и есть приманка. Вся эта затея с ловлей фазанов не имела к фазанам ровным счетом никакого отношения. Вероятнее всего, кто-нибудь из американцев решил наведаться в Шанхай, а Джима выслали вперед, чтобы опробовать возможные маршруты бегства. Или, скажем, моряки от нечего делать просто затеяли такую игру и бьются между собой об заклад на то, как далеко Джим успеет уйти со своими силками от лагеря, прежде чем его подстрелит с вышки японский часовой. Джима они по-своему любили, но при этом вполне могли поставить его жизнь на карту. Это был такой особый, не всякому понятный американский юмор.

Джима качнуло от усталости, и единственное желание было — прикорнуть сейчас в изножье кровати. Бейси смотрел на него выжидающе. Он наверняка видел в окошко, как Джим работал в больничном огороде, и ждал теперь, что Джим отдаст ему, как обычно, несколько фасолин или помидоров. Такого рода приношения были непременным атрибутом их встреч, хотя и Бейси тоже по-своему умел быть щедрым. Когда Джим был помладше, Бейси часами мастерил для него игрушки из медной проволоки и пустых катушек

или шил изысканных воздушных змеев в форме рыбы, которые крепились к легким коробчатым конструкциям. И только Бейси помнил, когда у Джима день рождения, и неизменно делал ему подарки.

— Бейси, я тут тебе кое-что принес…

Джим вынул из кармана пару презервативов. Бейси вытащил из-под кровати ржавую жестянку от печенья. Когда он снял с нее крышку, Джим заметил, что «предохранителей», как называли их американцы, там сотни. Эти резинки в замусоленных оболочках давно уже стали основной денежной единицей лагеря Лунхуа — с тех пор как истощились привезенные арестантами с собой запасы сигарет. Число их в обращении за три года практически не сократилось, и вовсе не оттого, что в Лунхуа никто не занимался сексом: просто презервативы были слишком ценным средством обмена для того, чтобы тратить их на всякие глупости. Когда американцы садились играть в покер, ставками служили стопки кондомов. Особую пикантность ситуации, как заметил однажды (а Джим услышал) доктор Рэнсом, придавало то обстоятельство, что обменный курс продолжал медленно, но неуклонно расти, хотя бóльшая часть мужчин в лагере давно уже зара-

ботала импотенцию, а бóльшая часть женщин была не способна к деторождению.

Бейси придирчиво осмотрел презервативы, явно сомневаясь в их девственности.

— Откуда ты это взял, а, Джим?

— Они хорошие, Бейси. Самой лучшей марки.

— Правда, что ли? — Бейси часто полагался на мнение Джима в вопросах, в которых Джим, казалось бы, не должен был понимать ни аза. — Сдается мне, кто-то наведался в медицинский шкафчик к доктору Рэнсому, а?

— Помидоров все равно никаких не было, Бейси. Все пропали — из-за налета.

— Ох уж мне эти филиппинцы… Ну ладно. Расскажи-ка мне лучше о шкафчике доктора Рэнсома. У меня такое впечатление, что там должны быть лекарства.

— Там была куча всяких лекарств, Бейси. Йод, зеленка… — По правде говоря, шкафчик был совершенно пуст. Джим попытался припомнить содержимое отцовского сундучка с медикаментами, стоявшего в ванной комнате на Амхерставеню, и тамошние странные названия, один из ключиков к таинственному миру взрослого человеческого тела. — …Пессарии, микстуры, суппозитории…

— Суппозитории? Давай-ка, Джим, привались ко мне. А то вид у тебя какой-то усталый. — Бейси обнял Джима за плечи. И они вместе стали смотреть в окно, как толпа заключенных у лагерных ворот дожидается сильно запоздавшего грузовика с продовольствием из Шанхая. — Ты, главное, не переживай, Джим. Скоро еды будет — хоть завались. И не обращай внимания на все эти сплетни про то, что японцы собираются урезать паек.

— Они и правда могут это сделать, Бейси. Мы теперь для них — как кость в горле.

— Кость в горле? Доктор Рэнсом зря пугает тебя всеми этими словечками — фразами… Ты уж поверь мне, Джим, у япошек сейчас и помимо нас хватает костей в горле. — Он сунул руку под подушку и вынул маленькую сладкую картофелину. — На-ка вот, съешь пока, а я подумаю над нашими делами. А когда закончишь, я дам тебе «Ридерз дайджест», и можешь забрать его к себе в блок G.

— Бейси, вот спасибо! — Джим впился зубами в картофелину. Ему нравилась выгородка Бейси. Переизбыток предметов, пусть даже совершенно бесполезных, отчего-то успокаивал, как успокаивал переизбыток новых слов вокруг доктора

Рэнсома. Латинская лексика и алгебраические термины тоже не имели никакого практического смысла, но с их помощью легче было поддерживать в мире цельность. И уверенность Бейси в будущем также обнадеживала.

И точно, не успел он облизать с пальцев последние крупицы картофельной мякоти и припрятать шкурку на вечер, как из Шанхая прибыл военный грузовик с дневным пайком на весь лагерь.

27
Казнь

Позади кабины в кузове стояли два японских солдата с примкнутыми к винтовкам штыками, выше колена заваленные мешками с дробленкой и со сладким картофелем. Однако, высунувшись из окошка Бейси, Джим тут же заметил, что паек урезали вполовину. Он был рад, что привезли хоть какую-то еду, но в то же время чувствовал едва ли не разочарование. Толпа в несколько сот заключенных, грохоча деревянными башмаками, засунув руки в карманы драных шортов, побрела следом за грузовиком к кухне. Интересно, а как бы они себя повели, приди грузовик пустым? Было такое впечатление, что никто из арестантов,

даже доктор Рэнсом, не в состоянии собраться, чтобы пережить эти последние месяцы войны. И Джим уже почти с нетерпением ждал голода, настоящего, такого, чтобы снова увидеть странный свет, который несут с собой «Мустанги»…

Вокруг него из отгородок выходили американцы и выглядывали из окон. Демарест указал на столбы дыма, поднявшиеся над портовым районом в северной части Шанхая. До порта было десять с лишним миль, но Джим слышал, как перекатывается над пустынными рисовыми полями густой металлический грохот, заплутавшее эхо грома, которое реверберировало над открытой местностью еще долгое время после того, как взорвались бомбы. Гром отдавался в оконных проемах, — смутным приговором утратившим волю к жизни узникам Лунхуа.

Джим шарил глазами в облаках дыма, пытаясь уцепить силуэты американских самолетов. На аэродроме Лунхуа стояла дюжина боеспособных «Зеро», но ни один из них не поднялся в воздух, чтобы хотя бы попытаться отбить американцев.

— «Б двадцать девятые», да, Бейси?

— В самую точку, Джим. «Суперкрепости», стратегическое оружие защиты Западного полушария, как у нас говорят. Летели сюда от самого

Гуама.

— С Гуама, Бейси?..

Мысль о том, что эти четырехмоторные бомбардировщики проделали гигантский путь через весь Тихий океан, чтобы сбросить бомбы на шанхайские доки, где он когда-то чуть не целыми днями играл в прятки, произвела на Джима глубочайшее впечатление. «B-29» вообще вызывали в нем чувство, похожее на священный ужас. Огромные, с изящными обводами бомбардировщики воплощали в себе всю мощь и всю красоту Америки. Обычно «B-29» шли на большой высоте, вне зоны досягаемости японских зениток, но два дня назад Джим видел, как над рисовыми полями к западу от лагеря пролетела одинокая «Суперкрепость», всего-то навсего в пятистах футах над землей. Два из четырех моторов у нее горели, но самый вид гигантского бомбардировщика с высокой, плавно закругленной лопастью хвоста окончательно убедил Джима в том, что японцы войну проиграли. Ему приходилось видеть американских летчиков, целые экипажи, которые на несколько часов застревали в караулке лагеря Лунхуа. Что его впечатлило сильнее всего, так это что сложнейшими машинами управляли люди, такие же, как Коэн, или Типтри, или Дейнти.

Америка — что тут еще скажешь!

Джим напряженно думал о «B-29». Ему хотелось обнять их серебристые фюзеляжи, погладить обтекатели мощных двигателей, «Мустанг», конечно, красивый самолет, но «Суперкрепость» относится совсем к другому разряду красоты…

— Не переживай так, паренек… — Бейси обнял его поперек ходившей ходуном груди. — Они далеко от Лунхуа. А то, того и гляди, обделаешься со страху.

— Да нет, я не боюсь, Бейси. Война ведь совсем уже почти закончилась, да?

— Да, конечно. Но ты и так успел чуток лишнего захватить. Вот ты мне скажи, ты видел этих, где-ты-моя-крыша, в Шанхае?

— Конечно, видел! Я видел, как они врезались прямо в стену, а стена вся в огне!

— Вот и ладно. Давай-ка немного успокоимся и займемся нашими неотложными делами.

Весь следующий час Джим выполнял отданные ему Бейси поручения. Сперва нужно было набрать из пруда за караулкой воды. Оттащив ведро в блок E, Джим занялся сбором топлива для печки. Бейси по-прежнему не желал пить некипяченую воду, но из-за недостатка топлива обеспечить его кипяченой становилось все

сложнее. Отыскав несколько палочек и кусков расползшихся от старости циновок, Джим стал прочесывать шлаковые дорожки между бараками в поисках затесавшихся среди золы кусочков угля. Даже шлак, если его как следует разогреть, давал на удивление много тепла.

Джим развел огонь и стал дуть на лениво разгорающиеся язычки пламени. Кусочки угля он сложил у самой горловины глиняной трубки Вентури, где, как объяснил доктор Рэнсом, воздух двигался активнее всего. Вскипятив воду, он отлил часть мутноватой жидкости в котелок и отнес наверх, остывать у Бейси на подоконнике. Потом собрал грязные рубашки Бейси и замочил их в оставшейся воде. К ним можно будет вернуться где-нибудь через часок, а пока сходить на кухню и получить за Бейси паек. Чисто мужской блок Е неизменно получал пищу позже всех, и очередь у кухни выстраивалась тоже сугубо мужская. Джиму нравилось это долгое ожидание тарелки с вареной дробленкой и сладким картофелем, которую нужно будет отнести Бейси, ибо он чувствовал себя взрослым мужчиной в компании взрослых мужчин. От выстроившихся в несколько цепочек, покрытых язвами и следами комариных укусов заключенных шел пьянящий

запах агрессии, и Джим прекрасно понимал японских охранников, которые к концу раздачи начинали вести себя куда более настороженно. Бóльшую часть царившей над очередью матерщины он пропускал мимо ушей — нескончаемый поток скабрезнейшего рода разговоров о женщинах и о женских гениталиях; эти изможденные самцы словно бы пытались возбудить себя и сотоварищей, описывая те действия, на которые были уже давно не способны. Но здесь всегда можно было выхватить фразу-другую, чтобы внести в каталог и потом покатать в голове, когда он останется один в своем углу.

К тому времени, как Джим вернулся в блок Е с выстиранными рубашками и пайкой Бейси, он уже чувствовал себя вправе отпихнуть Бейси и самовольно усесться в изножье койки. Он сидел и смотрел, как Бейси ест дробленку, щелчками, как лавочник-китаец на своем абаке, разбрасывая по сторонам долгоносиков.

— Мы с тобой славно потрудились сегодня, Джим. Твой отец — он бы нами гордился. Кстати, в каком, ты сказал, лагере он сидит?

— В Сучжоу, в Центральном. И мама там же. Теперь уже недолго осталось ждать, и я обязательно тебя с ними познакомлю. — Джиму на самом

деле хотелось, чтобы Бейси присутствовал при сцене воссоединения; он сможет подтвердить личность Джима в том случае, если родители его не узнают.

— С удовольствием, Джим, с удовольствием. Если только их не перебросили в Центральный Китай…

Джим отследил в голосе Бейси знакомую нотку.

— В Центральный Китай?

— А что, Джим, очень даже возможно. Может быть, японцы уже эвакуируют те лагеря, что поближе к Шанхаю.

— Значит, война до нас не докатится?

— Н-да, до тебя война не докатится, можешь не переживать…

Бейси спрятал сладкую картофелину где-то между кастрюль под кроватью. Он покопался среди старых башмаков и теннисных ракеток и выудил номер «Ридерз дайджест». Потом не спеша перелистал засаленные страницы, прочитанные каждым из обитателей блока Е не менее десятка раз. Обложка была приклеена к разлохматившемуся корешку несколькими слоями грязного бинта, с пятнами засохшей крови и гноя.

— Джим, ты по-прежнему не прочь почитать «дайджест»? За август сорок первого, есть тут пара неплохих статей…

Бейси наслаждался каждой секундой, видя, как в Джиме нарастает предвкушение будущего счастья. Эта изощренная пытка была составной частью ритуала. Джим терпеливо ждал, прекрасно сознавая, что Бейси безбожно его эксплуатирует, заставляя работать на себя каждый день и расплачиваясь старыми журналами. Эти скучающие в неволе американские моряки давно уже поняли, что он одержим Америкой, и на свой добродушный манер посадили его на вечный крючок, время от времени с видимой неохотой выдавая по затертому номеру «Лайф» или «Кольерз», которые Джиму были нужны не меньше, чем добавочные сладкие картофелины. Его воображение захлебывалось без них, как без воздуха, и отчаянно требовало пищи.

Этот неравноправный обмен, работа на журналы, тоже был частью сознательных попыток Джима не дать лагерной жизни окончательно заглохнуть, любой ценой. Вся эта лихорадочная деятельность не оставляла ему времени на старые страхи, от которых он всеми силами пытался избавиться: что счастливым време-

нам в Лунхуа рано или поздно придет конец и что он снова окажется на строительстве взлетно-посадочной полосы. Всепроникающий свет, разлившийся от тела мертвого летчика из сбитого японцами «Мустанга», был ему — лишний знак, предупреждение. До тех пор, пока Джим состоит мальчиком на побегушках при Бейси, Демаресте или Коэне, пока он стоит в очередях на кухню, носит воду и играет в шахматы, иллюзия, что война продлится вечно, не умрет.

* * *

Зажав в руке «Ридерз дайджест», Джим сидел на крыльце блока Е. Он щурился на солнце, до предела оттягивая момент, когда наконец можно будет с головой уйти в печатные страницы. На террасах толпились группы разомлевших после еды заключенных. Тень под колоннами была отведена больным, которые сидели на корточках кучками, как семьи китайских нищих у входов в деловые учреждения в районе Дамбы.

Рядом с Джимом расположился молодой человек, который когда-то заведовал целым этажом в универмаге «Синсиер компани», а теперь умирал от малярии. Совершенно голый, он, дрожа всем телом, сидел на бетонном полу и смотрел, как

репетируют «Комедианты Лунхуа», повторяя белесыми губами, из которых болезнь давно уже выела последние остатки железа, какую-то одну и ту же совершенно беззвучную фразу.

Джим принялся перебирать про себя способы помочь этому туго обтянутому кожей скелету. Он протянул ему «Ридерз дайджест» и тут же пожалел о своем поступке. Человек схватил журнал и принялся мять страницы, так, словно напечатанные на бумаге слова пробудили в нем совершенно ненужные лихорадочные воспоминания. Потом он начал петь, пронзительным, но еле-еле слышным голосом:

…мы всех парней свели с ума,

Мы в грош не ставим жизнь свою…

Между ног у него побежала струйка бесцветной мочи и закапала со ступеньки на ступеньку. Он уронил журнал, который Джим тут же подхватил, прежде чем странички успели размокнуть в моче. Откинувшись назад, чтобы распрямить позвоночник, Джим услышал, как в караулке завелась сирена воздушной тревоги. И через несколько секунд, прежде чем заключенные успели разбежаться по укрытиям, резко смолкла. Все остановились и подняли головы, высматри-

вая в пустынном небе и над рисовыми делянками очередную волну «Мустангов».

Однако сирена была сигналом к совсем другому представлению. Из караулки вышли четыре японских солдата, в том числе и рядовой Кимура. Между ними китайский кули тащил за собой рикшу, на которой он недавно привез из Шанхая одного из офицеров. Кули явно не успел отдохнуть после длинной пробежки, и его соломенные сандалеты тяжело ступали по голой земле плац-парада. Он осторожно, низко опустив голову, налегал на рукояти рикши и хихикал: обычная манера китайцев, если они всерьез напуганы.

Японские солдаты быстрым маршевым шагом отконвоировали его в центр площадки. Оружия ни у кого из них не было, если не считать палок, которыми они то и дело били по колесам рикши и по плечам китайца. Рядовой Кимура замыкал процессию: он пнул ногой деревянное сиденье рикши, и коляска ударила китайца сзади по ногам. В середине плац-парада японцы выхватили у кули рикшу и толкнули ее прочь, вперед, а самого китайца швырнули на землю.

Солдаты начали не спеша прохаживаться вокруг перевернутой колесами вверх тележки. Рядовой Кимура пнул колесо и выбил спицы.

Потом они все вместе подхватили рикшу и перевернули ее еще раз, так что из нее посыпались подушки.

Кули стоял на коленях и тихо смеялся. В наступившей тишине Джим отчетливо слышал его певучий, на высокой ноте смешок, которым всегда смеются китайцы, когда знают, что сейчас их убьют. По краям плац-парада стояли сотни заключенных и молча смотрели на происходящее. Здесь были и мужчины, и женщины, они сидели возле бараков в самодельных шезлонгах или стояли на крылечках общежитий. «Комедианты Лунхуа» перестали разучивать номер. Никто из них не произнес ни звука, пока японцы расхаживали вокруг коляски, то и дело пиная ее ногами, пока она не превратилась в кучку сухой щепы. Из приделанного под сиденьем рундука выпали сверток тряпья, жестяное ведерко, хлопчатобумажный мешочек с рисом и китайская газета — вся как есть собственность этого неграмотного кули. Сидя среди рассыпавшихся по земле зернышек риса, он поднял лицо к небу и начал петь на высокой пронзительной ноте.

Джим разгладил обложку «Ридерз дайджест», подумывая, а не начать ли ему со статьи про Уинстона Черчилля. Он бы с радостью ушел отсюда,

но кругом неподвижно стояли заключенные и смотрели на плац-парад. Японцы переключились на кули. Каждый из них поднял палку и по разу ударил китайца по голове; потом они снова стали задумчиво прохаживаться вокруг него. Китаец все еще пел, хотя голос у него то и дело прерывался, а по спине текла кровь и собиралась у коленей в лужицу.

Джим знал, на то, чтобы убить кули, японцам потребуется десять минут. Они не знали, что им делать с американскими бомбардировками, они ощущали неизбежное приближение конца войны, но сейчас они были совершенно спокойны. Весь этот спектакль, как и тот факт, что они не взяли с собой оружия, был рассчитан на то, чтобы британцы поняли, как японцы их презирают: во-первых, за то, что они попали в плен, а во-вторых, за то, что никто из них даже с места не сдвинется, чтобы спасти китайского кули.

Джим знал, что японцы правы. Ни один из британских интернированных пальцем не пошевелит, даже если у него перед самым носом забить насмерть всех кули Китая. Джим слышал удары палок и приглушенные крики китайца, который уже начал давиться кровью. Доктор Рэнсом, может быть, и попытался бы остановить

японцев. Вот только доктор никогда даже близко не подходил к плац-параду.

Джим подумал о домашнем задании по алгебре, часть которого он уже сделал — про себя, по памяти. Через десять минут, когда японцы вернулись в караулку, сотни заключенных разбрелись кто куда. «Комедианты Лунхуа» вернулись к прерванной репетиции. А Джим, сунув «Ридерз дайджест» за пазуху, пошел в блок G — на сей раз другой дорогой.

Позже, вечером, расправившись со шкуркой от картофелины Бейси, Джим лег на койку и раскрыл наконец-то журнал. В «Ридерз дайджест» совсем не публиковали рекламных объявлений, что, конечно, само по себе никуда не годилось, но Джим — в качестве аперитива — вволю наглядеся на пришпиленную к стене, внушающую уверенность в будущем картинку «паккардовского» лимузина. Он слышал, как рядом тихо переговариваются Винсенты и как кашляет в подушку их сын: отрывисто, как будто взлаивает. Вернувшись из блока E, он застал пацана играющим на полу с его черепахой. Произошла короткая стычка между Джимом и мистером Винсентом, который попытался помешать Джиму засунуть черепаху обратно в коробку под кро-

ватью. Но Джим не уступил ни на йоту, будучи уверен, что драться мистер Винсент с ним не станет. А миссис Винсент безучастно смотрела, как ее муж отступил и сел на кровать, с отчаянием глядя на поднятые — к драке — кулаки Джима.

28
Исход

— Что, опять война кончилась, мистер Макстед?

Он стоял в очереди возле кухни, и повсюду вокруг люди бросали раздаточные тачки, кричали и указывали в сторону ворот. Над лагерем плыл звук сирены, отбой воздушной тревоги, крик раненой птицы, которая пытается укрыться от американских бомбежек. Положив друг другу руки на плечи, заключенные наблюдали за тем, как из караулки уходят японцы. У каждого из тридцати солдат в руках была винтовка с примкнутым штыком, а на спине — холщовый вещмешок с личными вещами и снаряжением. Помимо циновок и доспехов для кэндо виднелась пара бейсбольных бит, висели привязанные за шнурки кеды, а один из солдат и вовсе нес портативный граммофон: все, что было обменено

у заключенных на сигареты, пищу и новости о попавших в другие лагеря родственниках и знакомых.

— Похоже, твои дружки собрались восвояси, Джим. — Мистер Макстед вслепую пошарил чумазыми пальцами во впадинах между ребер, выискивая отшелушившиеся кусочки кожи. Каждый такой кусочек он придирчиво разглядывал на свет, словно боялся оставить лагерной почве излишне значимую часть себя. — Я постерегу твое место в очереди, если тебе охота помахать на прощание рядовому Кимуре.

— Он знает мой адрес, мистер Макстед. А прощаться я не люблю. К тому же они могут вернуться сегодня же, к вечеру, когда поймут, что идти им все равно некуда.

Джиму не хотелось рисковать местом в голове очереди, которое они заняли с самого раннего утра, и он забрался на тележку. Через головы стоящих впереди людей он увидел, как японцы гуськом выходят за ворота лагеря. Потом они выстроились у обочины дороги, спиной к обгорелому остову японского самолета, лежавшему на рисовой делянке ярдах в ста от них. Этот двухмоторный самолет был сбит два дня назад при взлете с аэродрома Лунхуа, будучи в буквальном

смысле слова разрезан надвое пулеметными очередями вынырнувших невесть откуда, из туманного марева над полями, американских «Лайтнингов»[51].

Балансируя на железной тачке, Джим заметил, как рядовой Кимура опасливо вглядывается в восточный край неба, откуда, подобно сверкающим кускам солнца, появлялись страшные американские самолеты. Даже на теплом августовском солнышке лицо у Кимуры было похоже — фактурой и цветом — на остывший воск. Он поплевал на пальцы и вытер слюной щеки, явно нервничая оттого, что приходится покидать спокойный замкнутый мирок лагеря Лунхуа. Прямо перед ним в бурьяне сидела кучка китайских крестьян. Они не отрываясь глядели на ворота, куда их так долго не пускали, а теперь эти ворота стояли открытыми настежь и безо всякой охраны. Джим был уверен, что эти умирающие от голода китайцы, которые уже успели с головой уйти в царство смерти, попросту не понимают, что означают открытые ворота.

---

[51] Примечания: 51

Армейский одноместный истребитель «Локхид Р-38 Лайтнинг». Скорость — до 666 км/ч, потолок — до 13 410 м, дальность полета — до 4150 км. Вооружение: одна 20-мм пушка, два 12,7 мм пулемета. Мог нести до 1451 кг бомб.

Джим посмотрел на ничейную территорию меж двух столбов. Ему тоже трудновато было привыкнуть к мысли, что и он вскоре сможет свободно входить и выходить из лагеря. Со смотровой вышки спускался по лесенке часовой, повесив на плечо ручной пулемет. Из караулки вышел сержант Нагата и присоединился к своим солдатам по ту сторону ограды. В суматохе, царившей всю прошлую неделю, комендант куда-то исчез, и сержант теперь был самым старшим японским официальным лицом в лагере.

— Мистер Макстед, сержант Нагата уходит — война действительно кончилась!

— Снова кончилась, Джим? Не думаю, что мы надолго ее переживем…

За последнюю неделю новости об окончании войны будоражили лагерь едва ли не по десять раз на дню — и восторженное состояние Джима с каждым днем все явственнее раздражало мистера Макстеда. Бегая с поручениями по лагерным дорожкам, Джим кричал на встречных прохожих, махал руками заключенным, которые сидели на крылечках бараков, скакал среди могил на кладбище, когда над головой носились американские самолеты, в тщетной попытке хоть как-то заглушить тревожное ожидание встречи с миром,

притаившимся за оградой лагеря. Доктор Рэнсом за прошлую неделю дважды его ударил.

Но теперь, когда война и в самом деле кончилась, он вдруг почувствовал, что совершенно спокоен. Скоро он увидит отца и маму, вернется в знакомый дом на Амхерст-авеню, в забытое царство слуг, «паккардов» и полированного паркета. В то же время Джиму казалось, что заключенные обязаны как-то отпраздновать это событие: швырять в воздух деревянные башмаки, захватить оставленную японцами в караулке сирену и завести ее на полную катушку, чтобы слышали в своих самолетах американские летчики. Но практически все вели себя так же, как мистер Макстед: стояли и молча смотрели, как уходят японцы. Вид у них был настороженный и мрачный; мужчины практически голые, в одних только драных шортах, женщины в выцветших платьях и залатанных хлопчатобумажных юбках; их воспаленные от малярийного жара глаза оказались не в силах выдержать пристальный взгляд свободы. Сквозь раскрытые ворота в лагерь, казалось, тек какой-то новый свет, и люди выглядели в нем еще более загорелыми и худыми, чем были в действительности, и в первый раз вид у них был такой, словно они все вместе

совершили какое-то преступление.

Лунхуа устал от бесконечных, противоречащих друг другу слухов. В июле американские воздушные налеты стали практически непрерывными. «Мустанги» и «Лайтнинги» волнами шли с воздушных баз на Окинаве, разнося расположенные в окрестностях Шанхая аэродромы, атакуя японские армии, которые сосредоточились в устье Янцзы. С балкона разрушенного актового зала Джим наблюдал за крахом японской военной машины так, словно смотрел с галерки кинотеатра «Катай» масштабную киноэпопею. Многоэтажек Французской концессии не было видно из-за сотен столбов дыма, поднимавшихся от разбитых грузовиков и подвод с амуницией. Запуганные «Мустангами» японские конвои трогались теперь в путь только с наступлением темноты, и рев моторов из ночи в ночь не давал лагерникам спать. Сержант Нагата и его солдаты совсем перестали охранять лагерный периметр из опасения, что их ненароком подстрелит военная полиция, сопровождающая транспортные колонны.

К концу июля почитай что всякое японское сопротивление американским бомбежкам было подавлено. Водруженное на верхнюю площадку пагоды Лунхуа одинокое зенитное орудие про-

должало вести огонь по налетавшим со стороны материка самолетам противника, но батареи, стоявшие вдоль взлетно-посадочной полосы, сняли для прикрытия шанхайских судоремонтных заводов. В эти последние дни войны Джим часами просиживал на балконе, выискивая в небе высотные «Суперкрепости», чьи сверкающие на солнце крылья и фюзеляжи давали столько пищи его воображению. В отличие от «Мустангов» и «Лайтнингов», которые, как гоночные машины, неслись через рисовые поля, «B-29» появлялись над головой внезапно, как будто вызванные самим Джимом в голодном бреду из синего небесного небытия. А потом из района Наньдао приходило заблудившееся в полях рокочущее эхо разрывов. Севший на мель японский транспорт бомбили едва ли не каждый день, пока его палубные надстройки окончательно не превратились в решето.

И при всем том бетонная взлетная дорожка на аэродроме Лунхуа оставалась в целости и сохранности. После каждого налета японские саперы героически заделывали воронки, так, словно со дня на день ожидали прибытия с родных островов целого воздушного флота, который непременно придет им на помощь. Сверкающая

белизна дорожки завораживала Джима: в ее прожаренной солнцем поверхности ему грезились обызвествившиеся кости мертвых китайцев, а может быть, даже и его собственные кости — в том случае, если он уже умер. Он нетерпеливо ждал, когда же японцы встанут как один на свой последний бой.

Подобного рода неопределенность в пристрастиях к воюющим сторонам, страх за то, что будет с лагерем, если японцы потерпят поражение, в той или иной степени затронули всех обитателей Лунхуа. Когда из идущего на высоте строя вдруг вываливался подбитый японцами «B-29», полубезумные заключенные, которые сидели на корточках возле бараков, разражались радостными криками. Доктор Рэнсом давно предсказывал, что Лунхуа скоро перестанут снабжать продуктами, и он оказался прав. Раз в неделю из Шанхая прорывался одинокий грузовик с несколькими мешками гнилого картофеля и с трухой от кормового зерна, где долгоносиков и крысиного помета было больше, чем полбы. В очереди за этими жалкими крохами то и дело вспыхивали драки. Как-то раз группа британцев из блока E, которым Джим, с раннего утра занявший очередь у кухонных дверей, намозолил за день глаза, вытолкала

его взашей и перевернула металлическую тачку. С тех пор он всегда ходил занимать очередь вдвоем с мистером Макстедом: просто стоял у него над душой, пока тот не вставал с койки.

Всю последнюю неделю июля они вместе вглядывались в дорогу на Шанхай в надежде, что грузовик с продовольствием не стал добычей какого-нибудь вынырнувшего из-за ближайшей дамбы «Мустанга». В эти голодные дни Джим вдруг обнаружил, что большинство заключенных из блока G мало-помалу скопили небольшие запасы сладкого картофеля и что они с мистером Макстедом, добровольно вызвавшиеся получать на всех дневной паек, оказались среди весьма немногочисленного непредусмотрительного меньшинства.

Джим сидел на своей койке с пустой тарелкой в руке и смотрел, как Винсенты едят прогорклую картофелину — одну на троих, — откусывая мякоть желтыми зубами. В конце концов миссис Винсент дала ему маленький кусочек кожуры. Может, просто испугалась, что Джим нападет на ее мужа? К счастью, Джим кормился из скромного запаса, составленного доктором Рэнсомом за счет умерших и умирающих пациентов.

Но к первому августа даже и эти запасы подо-

шли к концу. Джим и мистер Макстед скитались по лагерю со своей тачкой так, словно надеялись, что партия риса или дробленки сама собой материализуется у подножия водонапорной башни или на кладбище среди могил. Однажды мистер Макстед застал Джима за пристальным созерцанием костей запястья госпожи Хаг, вымытых дождем из-под земли, белых, как взлетно-посадочная полоса аэродрома Лунхуа.

Джиму казалось, что лагерь погрузился в какой-то странный вакуум. Время остановилось в Лунхуа, и многие заключенные были уверены, что война давным-давно закончилась. Второго августа, после того как прошел слух о том, что Россия вступила в войну против Японии, сержант Нагата и его солдаты закрылись в караулке и перестали охранять ограду, оставив лагерь на попечение заключенных. Британцы целыми группами перебирались через проволоку и разбредались по окрестным полям. Родители водили детей на погребальные курганы и, взобравшись на верхушку, указывали им на смотровую вышку и на спальные блоки, как будто впервые видели лагерь. Одна группа, чисто мужская, под предводительством мистера Таллоха, главного механика шанхайского агентства «Паккард»,

ушла совсем, намереваясь пешком добраться до города. Другие целый день толклись у караулки, глумясь над японцами, а те смотрели на них из окон.

Весь день Джим пребывал в растерянности: порядка в лагере, казалось, не стало совсем. Ему не хотелось верить, что война закончилась. Он тоже перебрался через проволоку и несколько минут послонялся у фазаньих силков, потом вернулся в лагерь и надолго засел на балконе актового зала. В конце концов, взяв себя в руки, он пошел поискать Бейси. Но американские моряки больше не принимали посетителей и попросту забаррикадировали изнутри двери в спальные комнаты. Бейси окликнул Джима из окошка и настрого заказал покидать лагерь.

Как и следовало ожидать, конец войны продержался недолго. В сумерках мимо лагеря прошла японская армейская моторизованная колонна, направлявшаяся на Ханчжоу. Военная полиция доставила обратно в лагерь шестерых британцев, которые попытались пешком добраться до Шанхая. Жестоко избитые, они три часа лежали без сознания на крыльце караулки. Когда сержант Нагата разрешил разнести их по баракам, они рассказали о совершенно опустошенной земле к

западу и к югу от Шанхая, о тысячах отчаявшихся крестьян, которых отступающие японцы гонят в сторону города, о шайках бандитов и умирающих с голоду солдат из марионеточных армий, которых японцы бросили на произвол судьбы.

Невзирая на все эти ужасы, на следующий же день Бейси, Коэн и Демарест сбежали из Лунхуа.

* * *

Заключенные все ближе подходили к опустевшей караулке, громыхая деревянными башмаками о шлаковую дорожку. Джима толкали со всех сторон, но он не выпускал из рук рукоятей тачки. Другие заключенные давно уже побросали свои тележки, но Джим твердо решил не дать застать себя врасплох, если продуктовый грузовик все-таки придет. Он ничего не ел со вчерашнего дня. Заключенные, того и гляди, могли штурмом взять караулку, но он не мог думать ни о чем другом, кроме еды.

У ворот толпилась группа британских и бельгийских женщин, они что-то кричали через проволоку, обращаясь к выстроившимся в одну шеренгу японским солдатам. Те стояли и маялись на августовском солнцепеке, поводя плечами под непривычной тяжестью винтовок и вещмеш-

ков со скатками. Рядовой Кимура безо всякого энтузиазма смотрел в пустынные рисовые поля, как будто, представься ему только возможность, с радостью бы вернулся в надежно укрытый от опасностей большого мира замкнутый мирок лагеря. Одна бельгийка стала кричать по-японски, а потом начала отрывать от истлевшего рукава платья маленькие полоски материи и швырять их под ноги солдатам.

Джим прилип к тачке и, когда выбившийся из сил мистер Макстед попытался присесть на нее, сердито дернул ее в сторону. Он чувствовал себя другим, не похожим на этих плюющихся женщин и на их возбужденных мужей. Где же Бейси? Почему он сбежал? Несмотря на все слухи об окончании войны, Джиму казалось странным, что Бейси оставил Лунхуа и тем самым подверг себя неисчислимым опасностям открытого пространства за лагерной оградой. Бывший стюард всегда отличался едва ли не излишней осторожностью, он никогда не совался первым на непроторенные дорожки и не ставил на карту своей, пусть скромной, но все же безопасности. Должно быть, по тайному лагерному радио передали какое-то предупреждение, подумал Джим. Иначе стал бы он оставлять свою отгородку, бит-

ком набитую с таким трудом заработанными за годы лагерной жизни сокровищами: башмаками, теннисными ракетками и сотнями неиспользованных презервативов.

Джим вспомнил: Бейси говорил о том, что заключенных из лагерей в окрестностях Шанхая переводят куда-то в глубь страны. Может быть, он таким образом пытался предупредить его о том, что пора уходить, прежде чем японцы впадут в амок, как в Нанкине в 1937-м? Японцы всегда убивают военнопленных, прежде чем выйти на свой последний бой. Но тут Бейси просчитался и, быть может, уже лежит сейчас мертвый в какой-нибудь придорожной канаве, убитый китайскими бандитами.

На шанхайском тракте полыхнули автомобильные фары. Утирая подбородки, женщины отошли от проволоки. На грудях у них бусами лежали длинные нити слюны. К лагерю двигалась колонна военных грузовиков: в кузовах сидели солдаты, впереди колонны шла штабная машина. Один грузовик остановился, взвод солдат выпрыгнул на дорогу и разбежался по засохшей рисовой делянке у западной оконечности лагеря. Примкнув штыки, солдаты заняли позицию — лицом к колючей проволоке.

Сотни заключенных, мигом смолкнув, стояли и смотрели на них. Через канал, отделявший лагерь от аэродрома Лунхуа, перебирался еще один взвод, полиция военно-воздушных сил. С востока круг замкнула длинная излучина реки Хуанпу с целым лабиринтом ручьев и оросительных каналов. Колонна подошла к лагерю: свет фар отблескивал на затянувшихся пыльной пленкой плевках на дороге. Вооруженные, с примкнутыми к винтовкам штыками, солдаты стали спрыгивать с бортов машин. По свеженьким, с иголочки, гимнастеркам и амуниции Джим понял, что это служба безопасности, спецподразделение японской полевой жандармерии. Они быстрым шагом прошли за ворота и заняли позиции у караулки.

Заключенные, толкаясь как стадо баранов, отхлынули назад. Джима тоже подхватило этим противотоком, и, в мешанине тел, он потерял равновесие и упал с тележки. Японский капрал, невысокий, но крепко сбитый человечек, с ремня которого свисал «маузер» в огромной, как дубинка, деревянной кобуре, подхватил рукоятки тачки и покатил ее к воротам. Джим совсем уже было собрался рвануть за ним следом и отобрать тачку, но мистер Макстед схватил его за руки:

— Джим, ради всего святого… Не надо!

— Но это же тачка блока G! Они что, приехали, чтобы нас убить, мистер Макстед?

— Джим… нужно найти доктора Рэнсома.

— А грузовик с едой придет?

Джим оттолкнул мистера Макстеда, устав нянчиться с этим полутрупом.

— Позже, Джим. Может быть, он придет немного позже.

— Не думаю, что грузовик с едой вообще придет.

Пока цепочка японских солдат оттесняла заключенных на плац-парад, Джим наблюдал за расставленными вдоль ограды часовыми. Японцы снова были здесь, и к Джиму вернулось чувство уверенности. Перспектива скорой смерти его возбуждала; после царившего всю прошлую неделю состояния неопределенности любой исход казался долгожданным. На несколько последних секунд, как к рикша-кули, который пел себе под нос, к ним всем вернется здравый смысл, в полном объеме. Что бы ни случилось, он сам обязательно выживет. Он вспомнил миссис Филипс и миссис Гилмор, и разговоры о том, в какой именно момент душа покидает умирающее тело. Душа Джима уже оставила тело, ей давно было тесно в этом хлипком убежище из

едва обтянутых кожей костей — кожа-то сплошь изъедена язвами. Он уже давно был мертв, как и мистер Макстед, и доктор Рэнсом. Все, кто был в Лунхуа, давно умерли. И какая нелепость, что они до сих пор не желают этого понимать.

Они с мистером Макстедом стояли на краю запруженного множеством заключенных плац-парада, на заросшей бурьяном кромке. Джим начал хихикать себе под нос от радости, что понял наконец истинный смысл войны.

— Им незачем убивать нас, мистер Макстед…

— Конечно, они и не собираются нас убивать, Джим.

— Мистер Макстед, им просто незачем это делать, потому что…

— Джим! — Мистер Макстед несильно ударил Джима, а потом прижал его голову к своему ввалившемуся животу: — Не забывай, что ты британец.

Джим осторожно согнал с лица улыбку. Он постарался успокоиться, а потом высвободил плечи из объятий мистера Макстеда. Смешно уже не было, но остались ощущение отстраненности от себя самого и острое понимание сути происходящего. Беспокоясь за мистера Макстеда, который стоял покачиваясь и ронял изо рта себе под но-

ги капельки маслянистой слюны, Джим обнял его за костлявый таз. Он вспомнил поездки на «студебекере» по шанхайским ночным клубам, и ему стало жаль бывшего архитектора и грустно оттого, что человек этот настолько потерял силу духа, что ему оказалось нечем приободрить Джима, кроме напоминания о том, что Джим — британец.

* * *

У караулки, в которой расположился командир жандармской части, старшие по блокам говорили с японским сержантом. Рядом с ними, ссутулившись сверх обычного и тиская в руках китайскую соломенную шляпу, стоял совершенно бледный доктор Рэнсом. В караулку вошла миссис Пирс, приглаживая волосы и щеки и уже отдавая команды подвернувшемуся под руку солдатику на беглом японском. Те заключенные, что стояли перед толпой, вдруг повернулись и бросились бежать через плац-парад, крича на ходу:

— По одному чемодану на каждого! Сбор на этом же месте ровно через час!

— Мы отправляемся в Наньдао!

— Все на выход! Построиться возле ворот!

— Пища для нас лежит в Наньдао!

— По одному чемодану!

Миссионерские семьи уже стояли с сумками в руках на крыльце блока G, как будто заранее предугадали грядущие перемены. При взгляде на них в Джиме окрепла уверенность в том, что лагерь всего лишь переводят в другое место, но никак не закрывают.

— Вставайте, мистер Макстед, мы отправляемся назад в Шанхай!

Он помог совершенно выбившемуся из сил мистеру Макстеду подняться на ноги и провел его через поток из сотен бегущих заключенных. Добравшись до своей комнаты, Джим увидел, что миссис Винсент уже успела упаковать вещи. Сын ее спал на койке, а она стояла у окна и смотрела, как возвращается с плац-парада муж. Джим заметил, что она уже начала забывать все, что было у нее связано с Лунхуа, — как будто сменила кожу.

— Уходим, миссис Винсент. Перебираемся в Наньдао.

— Тогда собирай вещи.

Она ждала, когда он уйдет, чтобы последние несколько минут побыть в комнате одной.

— Ага, конечно. Я уже бывал в Наньдао, миссис Винсент.

— Я тоже. Чего я не могу понять, так это зачем

японцам нас опять куда-то гнать.

— Там на складах лежат наши пайки.

Джим уже прикидывал, а не помочь ли миссис Винсент поднести ее чемодан. Надо налаживать новые связи, а в худеньком, но с сильными бедрами теле миссис Винсент жизненной силы было явно поболее, чем в мистере Макстеде. Что же касается доктора Рэнсома, он будет теперь возиться со своими пациентами, бóльшая часть которых все равно скоро начнет перебираться на тот свет.

— Я скоро увижусь с родителями, миссис Винсент.

— Рада за тебя. — А потом добавила, с едва заметной ноткой иронии в голосе: — Как ты думаешь, имеет мне смысл ожидать от них награды?

Джим смутился и опустил голову. Во время болезни он крупно просчитался, пытаясь подкупить миссис Винсент обещанием некой награды от родителей, но теперь его заинтриговал сам факт, что она нашла почву для юмора в тогдашнем своем отказе хоть как-то ему помочь. Джим замешкался на пороге. Он три года провел с миссис Винсент под одной крышей и тем не менее постоянно ловил себя на том, что она вызывает в нем чувство симпатии. Она была одним из тех

немногих обитателей лагеря Лунхуа, кто сохранил способность воспринимать происходящее с юмором.

Пытаясь ответить ей той же монетой, он сказал:

— Награды? Миссис Винсент, не забывайте, что вы — британка.

29
Поход на Наньдао

Когда два часа спустя начался поход из лагеря Лунхуа в портовый район Наньдао, больше всего это было похоже на откочевку к новому месту прописки убогого сельского карнавала. Со своего места в самом начале колонны Джим смотрел, как собираются в путь заключенные, которые, еще не тронувшись в путь, уже успели устать. Под скучающими взглядами японских жандармов интернированные осторожно пересекали линию ворот: мужчины с чемоданами и скатанными в рулоны циновками, женщины со свертками тряпья в плетенных из соломы коробах. Отцы несли на плечах больных детей, матери волокли за руку тех, что помладше. Стоя рядом со штабной машиной, которая должна была возглавить

шествие, Джим поражался тому, какое огромное количество вещей, оказывается, хранилось все это время в Лунхуа, в бараках под койками.

Когда этих людей интернировали и они паковали чемоданы перед отправкой в лагерь, активные виды отдыха явно занимали в их планах на будущее далеко не последнее место. Годы мирной жизни на дальневосточных теннисных кортах и площадках для гольфа убедили их в том, что и войну они переживут точно так же. К ручкам чемоданов были привязаны десятки теннисных ракеток; повсюду виднелись то крикетный молоток, то удилище, а у мистера и миссис Уэнтворт из двух свертков с карнавальными костюмами торчал полный набор клюшек для гольфа. Оборванные и исхудавшие, заключенные, едва волоча ноги в тяжелых деревянных башмаках, выбредали на дорогу и строились в колонну длиной примерно ярдов в триста. Вес взятого с собой груза уже начал сказываться, и одна из сидящих перед воротами китаянок уже сжимала в руках белую теннисную ракетку.

Японские жандармы, рядовые и унтер-офицеры, стояли, облокотившись на машины, и молча смотрели на это представление. Этих солдат из службы безопасности Кэмпэйтай паниче-

ски боялись китайцы, вид у них был сытый, а снаряжение — по высшему разряду, и это были самые сильные люди, которых видел Джим за всю войну. Впрочем, сегодня, словно бы в виде исключения, они никуда не торопились. Они молча курили на самом солнцепеке, щурились на жужжавшие в небе американские самолеты-разведчики, и никто из них даже и не пытался кричать на заключенных или хоть как-то их поторапливать. Два грузовика зарулили в ворота и проехались по лагерю, забрав пациентов из больнички и тех, кто лежал в бараках, но был слишком слаб, чтобы идти.

Джим сидел на своей деревянной коробке и пытался настроить глаз и общую систему восприятия на открытые перспективы мира вне колючей проволоки. Самый акт прохождения через лагерные ворота, притом что никто тебя не останавливает, вызвал в нем жутковатое чувство, и Джим настолько разнервничался, что нырнул обратно в лагерь под тем предлогом, что ему будто бы нужно перевязать шнурки на туфлях. Немного успокоившись, он погладил деревянный бок коробки, заключавшей в себе все его земное достояние — учебник по латыни, школьный блейзер, афишку с рекламой «паккарда» и ма-

ленькую, вырезанную из газеты фотографию. Теперь, когда в ближайшем будущем маячила встреча с настоящим отцом и с настоящей мамой, он подумывал о том, чтобы порвать эту карточку с неизвестной четой, снявшейся на фоне Букингемского дворца, — с парой, которая столько лет служила ему своего рода эрзац-родителями. Но в последний момент он все-таки сунул фотографию в коробку, на всякий случай.

Он стоял и слушал, как плачут измученные дети. Люди уже начали садиться прямо на дорогу, закрывая лица от роя мух, которые потянулись из лагеря к потным телам по ту сторону колючей проволоки. Джим оглянулся на Лунхуа. Сплошь состоящий из каналов и рисовых полей пейзаж и возвратная дорога в Шанхай, столь естественные и привычные, когда смотришь на них из-за забора, теперь казались зловещими и слишком ярко освещенными пылающим августовским солнцем, частью горячечной галлюцинации.

Джим сжал тихо ноющие зубы, твердо решив, что больше не станет оглядываться на лагерь. Он напомнил себе про запасы продовольствия на складе в Наньдао. Сейчас самое важное — держаться во главе колонны и постараться по возможности снискать расположение двоих

японских солдат, которые стояли возле штабной машины. Джим старательно думал об этих весьма немаловажных вещах, когда к нему, еле волоча ноги, подошел человек, практически голый, в одних рваных шортах и в деревянных башмаках.

— Джим… я так и думал, что найду тебя именно здесь. — Мистер Макстед поднял к солнцу мертвенно-бледное лицо. На лбу и на скулах у него выступили бисеринки жидкого малярийного пота. Он потер рукой во впадинках между ребрами, отшелушив слой грязи, так, словно хотел подставить целительным лучам солнца как можно большую площадь своей восковой кожи. — Так, значит, именно этого мы все и ждали…

— Вы забыли взять свои вещи, мистер Макстед.

— Нет, Джим. Не думаю, что мне еще понадобятся какие-то вещи. Хотя, если посмотреть на прочую публику, тебе это может показаться некоторым чудачеством с моей стороны.

— Уже не кажется. — Джим опасливо окинул взглядом открытый во все стороны пейзаж, бесконечную перспективу из рисовых полей и прячущихся между ними оросительных каналов, чью монотонность нарушали одни только погребальные курганы. Было такое впечатление, что

эти откровенно скучающие японские солдаты взяли и выключили ход времени. — Мистер Макстед, как вы думаете, Шанхай сильно изменился?

Тусклая улыбка, подсвеченная изнутри воспоминаниями о былых счастливых днях, на минуту сделала лицо мистера Макстеда чуть менее напряженным.

— Джим, Шанхай не изменится никогда. Не беспокойся, ты вспомнишь маму и отца тоже вспомнишь.

— Вот и я так думаю, — признался Джим. Другая проблема была — сам мистер Макстед. Джим ушел в голову колонны отчасти для того, чтобы оказаться одним из первых на очереди, когда в Наньдао начнут выдавать паек, отчасти для того, чтобы избавиться от великого множества обязанностей, которые возложила на него лагерная жизнь. Он был один, и оттого ему приходилось браться за любую работу — в обмен на некие, порой весьма условные, преимущества. Мистеру Макстеду явно нужна была помощь, и он рассчитывал, в случае чего, опереться на Джима.

Упрямо отказываясь обещать помощь, Джим сел на свой деревянный ящик и стал думать о мистере Макстеде, пока тот, пошатываясь, стоял рядом. Его бледные руки, протертые едва не

насквозь от многомесячных разбегов туда-сюда с тачкой, плетьми висели по бокам — как два белых флага. И кости держались вместе разве что на честном слове: памятью о барах и бассейнах, в которых блаженствовало его давно ушедшее, молодое «я». Конечно, мистер Макстед страдал от голода, как и большинство составивших процессию мужчин и женщин. Но отчего-то именно сейчас он напомнил Джиму умирающего британского солдата из летнего кинотеатра.

В канаве у обочины лежали серые цилиндры: подвесные баки от «Мустангов»[52]. От мистера Макстеда нужно было как-то отделаться, и Джим уже совсем было собрался перейти на ту сторону дороги, как вдруг из выхлопной трубы штабного автомобиля вырвалась струя горячего дыма. Японский сержант на заднем сиденье встал и махнул рукой, дав команду трогаться. С обеих сторон к дороге пошли с винтовками наперевес японские солдаты, на ходу крича на заключенных.

Раздался мощный аккорд деревянных башма-

[52] Примечания: 52

С целью увеличения дальности полета ряд модификаций американских самолетов времен Второй мировой войны предусматривал подвеску дополнительных баков, которые сбрасывались после выработки топлива.

ков, как будто разом тасовали и сдавали сотни колод деревянных карт. Еще не успев сообразить, в чем дело, Джим подхватил ящик и шагнул вперед, блестя носами полированных туфель в жарком даже для Янцзы солнечном свете. Собравшись, он помахал рукой японскому сержанту и целеустремленно двинулся по грунтовке вперед, не отрывая взгляда от желтых фасадов многоэтажек во Французской концессии, которые подобием миража вздымались над каналами и рисовыми делянками.

Под конвоем мириад жужжащих у них над головами мух заключенные двинулись по проселочной дороге в сторону Наньдао. Через гребни погребальных курганов и заброшенных оборонительных сооружений над полями разносилось эхо взрывов: американцы бомбили доки и сортировочную станцию в северной части Шанхая. Отдаленный грохот рябью разбегался по поверхности затопленных водой рисовых делянок. В окнах офис-билдингов вдоль Дамбы отражались вспышки зенитных орудий и подсвечивали мертвые неоновые вывески — «Шелл», «Колтекс», «Сокони Вакуум», «Филко» — пробуждающиеся призраки транснациональных корпораций, которые на время войны впали в спячку. В полумиле к

западу шел главный Шанхайский тракт, по-прежнему запруженный идущими в сторону города колоннами японских грузовиков и полевой артиллерии. Родовые муки двигателей судорогами корежили стоически терпеливую землю.

Джим шел во главе процессии, стараясь вслушиваться во все, что происходит за его спиной. Но слышал он одно тяжелое дыхание, как если бы внезапно обретенная свобода в одночасье лишила всех этих мужчин и женщин дара речи. На собственные сбивчивые вдохи и выдохи Джим решил не обращать внимания. Носиться по Лунхуа — это одно дело, но ему еще ни разу не приходилось идти вот так, далеко и долго, с деревянным ящиком на плече. Весь первый час он был слишком озабочен состоянием мистера Макстеда, чтобы обращать внимание на свое собственное. Но вскоре после того, как они дошли до железнодорожной линии Шанхай — Ханчжоу, мистер Макстед, которого вконец измучил ведущий к переезду со шлагбаумом некрутой подъем, был вынужден остановиться.

— Все время вверх и вверх, Джим… ни дать ни взять Шанхайская возвышенность.

— Нам нельзя останавливаться, мистер Макстед.

— Да, Джим… ты совсем как твой отец.

Джим остался с мистером Макстедом: тот действовал ему на нервы, но как ему помочь, Джим не знал. Мистер Макстед стоял посреди дороги, уперев руки в кости таза, которые и в самом деле стали похожи на небольшую продолговатую лохань, и кивал проходящим мимо людям. Он потрепал Джима по плечу и махнул рукой:

— Иди, Джим, иди. Ты должен встать в очередь одним из самых первых.

— Я займу вам место, мистер Макстед.

К тому времени мимо Джима уже успели пройти несколько сот человек, и у него ушло полчаса на то, чтобы вернуться в голову колонны. И буквально через несколько минут он снова начал отставать, отчаянно хватая ртом сырой горячий воздух. И только благодаря тому, что вскоре они остановились на отдых возле расположенного у моста через канал контрольно-пропускного пункта, он сам не присоединился к мистеру Макстеду.

Канал был транспортный и шел на запад от реки к Сучжоу. У деревянного мостика стоял блокпост из мешков с песком, который охраняли два забытых войной японских солдатика. Лица у них были такие же заострившиеся, как и у за-

ключенных, с трудом волокущих деревянные башмаки по выщербленным доскам моста.

Пока грузовики осторожно переползали через полусгнившую деревянную конструкцию моста, тысяча восемьсот заключенных уже успели рассесться по заросшему густым бурьяном откосу дамбы, заняв его приблизительно на четверть мили, и разложить свой скарб: чемоданы, теннисные ракетки и молотки для крикета. Они сидели и смотрели на покрытый пятнами ряски канал, как сонные зрители на гребной регате. Около выгоревшего остова армированной джонки, прибившегося к противоположному берегу, течение закручивало буруны.

Джим был рад возможности лечь. Его знобило, и хотелось спать, голова устала от раскаленного солнца, а сухая придорожная трава отражала солнечные лучи совсем как зеркало, и свет резал глаза. Он заметил в хвостовом грузовике доктора Рэнсома: тот, покачиваясь, стоял среди носилок с больными. Джим вспомнил было, что задолжал ему домашнее задание по латыни за целую неделю, но доктор Рэнсом был от него ярдах в ста.

Японцы стояли на обочине дороги и смотрели, как многие из заключенных подходят к кромке воды. Они зачерпывали мисками воду или про-

сто заходили, где помельче, и пили все вместе, прямо из канала. Джим боялся пить из канала, припомнив черные ручьи в Наньдао и сотни литров воды, которые он вскипятил для Бейси. Интересно, а вынул кто-нибудь мертвую команду из бронированной джонки? Быть может, внутри стальной поворотной башенки, которую омывали теперь зеленые воды канала, все еще лежал капитан этого игрушечного боевого судна игрушечной китайской армии; Джим почти воочию увидел, как из мертвого тела бежит в канал кровь и утоляет жажду британских заключенных — в качестве промежуточного этапа, чтобы затем претвориться в удобрение для рисовых побегов, в пищу для новых поколений китайских коллаборационистов.

Джим открыл ящик и вынул оттуда котелок. Пробравшись между отдыхающими женщинами и их окончательно выбившимися из сил детьми, он спустился к воде. Присев на корточки на узкой полоске песка, он аккуратно наполнил котелок водой из тонкого поверхностного слоя, надеясь, что в ряске содержится хоть какое-то количество питательных веществ. А потом стоял и пил теплую воду, глядя, как рассасываются на влажном песке следы его туфель.

Наполнив котелок еще раз, он полез обратно, вверх, туда, где оставил ящик. Справа от него расположилась жена инженера из блока D. Она аморфной массой лежала в высокой траве, и сквозь прорехи в ее бумажной юбке торчали листья осоки. Муж сидел здесь же, рядом с ней, макал в котелок пальцы и смачивал зеленоватой водой ее большие, изъеденные кариесом зубы.

Слева от Джима лежала миссис Филипс. Джим с раздражением подумал о том, что она увидела, как он пьет на берегу, и решила упасть рядом с ним. Наверняка тут же выдумает для него какое-нибудь идиотское задание или начнет надоедать насчет учебника по латыни. Джим ушел из Лунхуа, но лагерь по-прежнему не желал его отпускать. Все, кому он когда-либо оказывал помощь, теперь цеплялись за него. Не хватало еще, чтобы из бронированной башенки на джонке вылез Бейси и крикнул: «Джим, пора нам браться за работу…»

Но, судя по виду миссис Филипс, сейчас ей было не до заданий. Долгая дорога от Лунхуа вконец ее измотала. Она лежала в сочной зеленой траве, и рядом с ней стоял плетеный саквояж — все, что у нее осталось после долгих десятилетий, проведенных в Центральном Китае. Цвет лица у нее

был бледно-перламутровый, как будто ее сперва утопили, а потом вынули из воды полежать и погреться на этом тихом берегу. Глаза сошлись в фокусе на какой-то далекой точке в самой середине неба. Джим дотронулся до ее щеки, чтобы проверить, не умерла ли она.

— Миссис Филипс, я принес вам воды.

Она улыбнулась ему в ответ и стала пить воду, а ее маленькие кулачки по-прежнему судорожно сжимали двойную ручку саквояжа, вцепившись в нее как две белые мыши.

— Спасибо, Джим. Ты очень голодный?

— Сегодня утром был — очень.

Джим попытался придумать шутку, которая хоть немного приободрила бы миссис Филипс.

— Чего мне действительно не хватает после такой проходки, так это не еды, а воздуха.

— Да, Джим, конечно… — Миссис Филипс открыла саквояж, порылась внутри и вынула маленькую картофелину. — Вот, держи. Не забудь помолиться за нас за всех.

— Это уж непременно! — Джим поскорее впился зубами в картофелину, пока миссис Филипс не передумала. — Я обязательно верну вам, как только доберемся до Наньдао. Там все наши пайки.

— Ты уже вернул мне — сторицей, Джим. И мно-

го раз. — Миссис Филипс вернулась к вдумчивому созерцанию отдаленного небесного градуса. — Ты смог ее проглотить — картофелину?

— Она была очень вкусная. — Доев картофелину, Джим заметил, что зрачки у старухи судорожно подрагивают. — Миссис Филипс, вы пытаетесь увидеть Бога?

— Да, Джим.

— Над тридцать первой параллелью? Миссис Филипс, а вам не кажется, что он скорее должен быть где-нибудь над магнитным полюсом? Тогда вам нужно смотреть сквозь землю, под Шанхаем…

Опьянев от полусгнившей картофелины, Джим хихикнул, представив себе всемогущее божество, запертое в земных недрах под Шанхаем, ну, скажем, в фундаменте универмага «Синсиер компани».

Миссис Филипс взяла его за руку, пытаясь успокоить. Не отрывая глаз от неба, она сказала:

— Наньдао… так, значит, они собираются везти нас в глубь страны…

— Нет… наши пайки…

Джим обернулся на японцев-охранников. Все три грузовика наконец перебрались на этот берег, и он заметил, как среди пациентов ходит доктор

Рэнсом с маленьким ребенком на руках. Пекло солнце, и оттого детский плач раскатывался над водой особенно громко. Сотни заключенных сидели в лихорадочно-ярком свете солнца, как персонажи с кричащих афиш с рекламой китайских фильмов. Японцы собрались у грузовиков и, присев на корточки, доставали из вещмешков и ели колобки из вареного риса. Никто из них не сделал даже попытки поделиться едой с охранявшими мост молодыми солдатами.

В глубь страны?.. В Наньдао действительно был порт, но с какой это стати японцы станут их увозить из Шанхая? Джим смотрел, как ярдах в пятидесяти от него бродит по отмели миссис Винсент. Отыскав достаточно чистый, с ее точки зрения, участок поверхности, она набрала в котелок воды для сына и мужа. Доктор Рэнсом умудрился найти добровольцев среди сидевших неподалеку от грузовиков мужчин и организовал живую цепочку, которая передавала от канала к больным ведра с водой.

Джим покачал головой, озадаченный этой совершенно бесполезной тратой сил. Если японцы и в самом деле собираются эвакуировать их в глубь страны, то цель может быть только одна: перебить заключенных так, чтобы этого не за-

метили американские летчики. Он слышал, как плачет в жухлой траве жена инженера из «Шелл». Солнечный свет как будто электричеством зарядил неподвижный воздух над каналом: плотная аура голода, которая раздражала сетчатку и живо напомнила ему о люминесцентном гало, которое осталось от взорвавшегося в воздухе «Мустанга». Эта мертвая земля загорелась от горящего тела мертвого американского летчика. Если они все умрут, это будет только к лучшему; тогда их жизни подойдут наконец к логическому завершению, которое ясно обозначилось еще тогда, когда «Идзумо» потопил «Буревестник» и когда британцы сдали Сингапур практически без боя.

А может быть, они уже давно умерли? Джим откинулся на спину и стал считать пылинки, парящие в лучах солнечного света. Эту простую истину каждый китаец знал с самого момента своего рождения. Если британские заключенные тоже свыкнутся с ней, им больше не нужно будет бояться путешествия к месту их общей смерти…

— Миссис Филипс… я тут подумал насчет войны. — Джим перекатился на бок. Он хотел было объяснить миссис Филипс, что она уже мертва, но старуха миссионерка уснула. Джим окинул взглядом ее закатившиеся глаза, ее открытый рот со

сломанной искусственной челюстью внутри. — Миссис Филипс, нам больше нечего бояться…

Сквозь пыль ударили фары. Жандармская штабная машина тронулась с места и покатила по дороге. Вниз по насыпи пошли японские солдаты, они поводили дулами винтовок и жестами велели заключенным подниматься. Грузовики в хвосте колонны также завели моторы. Люди начали карабкаться вверх, обратно на дорогу, волоча за собой детей и вещи. Другие так и остались лежать в примятой траве, не желая покидать этот безмятежный солнечный берег.

Джим лежал на боку, удобно устроив под голову локоть. От съеденной картофелины его клонило в сон: звуки бомбежки и голоса английских женщин казались невероятно далекими. Он смотрел на траву и пытался прикинуть, с какой скоростью растут ее листья — по восьмой доле дюйма в день, одна миллионная мили в час?..

Потом он заметил, что в траве, совсем рядом с ним, стоит японский солдат. На берегу осталось лежать около сотни заключенных, остальные уже успели взобраться наверх и выстроились в колонну, вслед за штабной машиной. Вокруг Джима лежало еще несколько человек. Миссис Филипс по-прежнему мертвой хваткой вцепи-

лась в ручки своего саквояжа; с другой стороны тихонько всхлипывала женщина из блока D, а муж держал ее за плечи.

У японского солдата к щетине вокруг рта прилипли несколько рисинок. Он молча глядел на Джима и прикидывал про себя, сможет ли Джим идти, а рисинки тем временем шевелились, как вши. Такое выражение на лице японского солдата Джим уже видел раньше, в шанхайском фильтрационном центре, но в первый раз в жизни ему было все равно. Он останется здесь, у неспешно бегущей воды, и поможет миссис Филипс искать Бога.

— Вставай, Джим! Тебя все ждут!

Вниз по насыпи неверным шагом брела изнуренная мужская фигура. Мистер Макстед поклонился и улыбнулся японскому солдату так, как будто встретил старого знакомого. Он упал в траву рядом с Джимом и потянул мальчика за плечо.

— Ты молодец, Джим. Нам пора идти в Нанькао.

— Они все равно увезут нас в глубь страны, мистер Макстед. Я с таким же успехом могу остаться и здесь, с миссис Филипс.

— Мне кажется, миссис Филипс просто нуж-

но чуть-чуть передохнуть. Там, в Наньдао, нас ждет наш паек, Джим. И ты должен показать нам дорогу.

Подтянув шорты, мистер Макстед еще раз поклонился японскому солдату и помог Джиму встать на ноги.

Колонна, шаркая ногами, тронулась с места вслед за штабной машиной. Джим оглянулся на откос, на котором осталась сотня — или около того — заключенных. Солдат облизывал рисинки с верхней губы, миссис Филипс лежала у его ног в желтеющей жухлой траве, над женщиной из блока D на коленях стоял ее муж. Другие солдаты бродили по откосу, перешагивая через лежащих людей: винтовки они закинули за спину. Может быть, они остались, чтобы чуть погодя помочь миссис Филипс и прочим добраться до Наньдао?

Это вряд ли. Джим вычеркнул из головы миссис Филипс, перехватил поудобнее свой деревянный ящичек и стал глядеть перед собой на дорогу, стараясь попасть ногой точно в след бредущего впереди человека. Мистер Макстед снова отстал. Короткий отдых на берегу канала утомил всех пуще прежнего. В полумиле от моста, возле сгоревшего грузовика, дорога на Наньдао поворачивала под прямым углом к каналу и шла дальше

по гребню насыпи между двумя рисовыми полями. Процессия остановилась. Заключенные, покачиваясь, стояли на солнцепеке, а японцы молча смотрели на них, не делая никаких попыток поторопить или перенаправить шествие. Потом подошвы деревянных башмаков зашаркали о дорогу, и колонна двинулась дальше.

Джим оглянулся на выгоревший скелет грузовика — и поразился множеству чемоданов, оставшихся лежать на пустой дороге. Выбившись из сил, заключенные попросту роняли вещи, без единого слова, и шли дальше. На залитой солнцем дороге остались лежать чемоданы и корзинки, теннисные ракетки, молоточки для крикета и узлы маскарадных костюмов: как будто вдруг исчезла проезжая партия отпускников, растворившись в синем небе.

Джим покрепче перехватил коробку и ускорил шаг. У него столько лет не было ни единой вещи за душой, и теперь он не собирался расставаться с нажитой собственностью. Он подумал о миссис Филипс и об их последнем разговоре у солнечного канала: место куда более приятное, чем лагерное кладбище, обычный фон их разговоров о проблемах жизни и смерти. Это был очень добрый поступок со стороны миссис Филипс — отдать ему

свою последнюю картофелину; и тут он вспомнил о своих сумеречных — в полубреду — мыслях о том, что он уже умер. Нет, он не умер. Джим с трудом переставлял ноги, тяжело опуская подошвы туфель в пыль, и поражался собственной слабости. Смерти, старухе с перламутрово-бледной кожей, почти что удалось сманить его с дороги одной-единственной сладкой картофелиной.

30
Олимпийский стадион

Всю вторую половину дня они шли на север по долине реки Хуанпу, сквозь лабиринт ручьев и ирригационных каналов, прорытых между рисовыми полями. Аэродром Лунхуа остался позади, а многоэтажки Французской концессии, похожие на огромные рекламные щиты, маячили в ярком августовском солнце все ближе и ближе. В нескольких сотнях ярдов справа от них текла коричневая Хуанпу, над поверхностью которой там и здесь торчали на отмелях остовы потопленных патрульных катеров и моторных джонок.

Чем ближе колонна подходила к Наньдао, тем более явственными становились следы американских бомбардировок. На рисовых делянках

красовались воронки, похожие на круглые садовые бассейны, и в них плавали туши водяных буйволов. Они прошли мимо остатков расстрелянной «Мустангами» и «Лайтнингами» транспортной колонны. В тени деревьев стояла шеренга грузовиков и штабных машин, как будто нарочно выставленных в ряд мастерской по демонтажу автомобильной техники — под открытым небом. На моторах вместо капотов и крыльев, сорванных мощным огнем скорострельных авиационных пушек, громоздились колеса, дверцы и коленвалы.

Стоило кому-то из заключенных остановиться возле разбитой машины, чтобы чуть-чуть передохнуть, — и с заляпанных кровью лобовых стекол тут же поднимались тучи мух. В нескольких шагах от Джима из строя вышел мистер Макстед и присел на подножку грузовика. Джим, не выпуская из рук коробки, повернул назад.

— Нам осталось всего ничего, мистер Макстед. Я уже чувствую, как пахнет портом.

— Не беспокойся, Джим. Я присматриваю и за тобой, и за собой.

— Наши пайки…

Мистер Макстед протянул руку и взял Джима за запястье. Его тело, изношенное малярией и го-

лодом, было едва отличимо от скелета машины, на которой он сидел. Мимо прошли три грузовика, давя колесами сплошь усыпавшие дорогу осколки стекол. Пациенты лагерной больнички лежали друг на друге вповалку, как свернутые в рулон ковры. В последнем грузовике, спиной к водительской кабине, стоял доктор Рэнсом, почти по колено в неподвижных людских телах. Завидев Джима, он ухватился за борт грузовика.

— Макстед!.. Давай, Джим, давай! Брось ты этот ящик!

— Война кончилась, доктор Рэнсом!

Джим стоял и смотрел на три десятка японских солдат, которые замыкали процессию. Они неторопливо вышагивали по дороге, забросив винтовки за спины, и очень напомнили Джиму друзей отца и как они возвращаются под вечер с состязаний по стрельбе, в Хуньджяо, еще до войны. Грузовики подняли облако белой пыли, и доктор Рэнсом исчез. Мимо Джима, глядя в землю, прошли первые несколько солдат: сплошь большие сильные мужчины. На них пахну́ло мочой, и ноздри у них едва заметно задрожали. Дорога сильно пылила; ремни и гимнастерки солдат припорошил тонкий слой белой пыли, напомнив Джиму о взлетной полосе на аэродроме Лунхуа.

— Ладно, Джим… — Мистер Макстед встал, и Джим почувствовал, как от его шортов резко пахнуло экскрементами. — Давай хоть поглядим на твой Наньдао.

Прихрамывая, опершись о плечо Джима, он потащился вперед, и под подошвами его деревянных башмаков захрустело битое стекло. О том, чтобы догнать грузовики, нечего было даже и думать, и они присоединились к плетущейся в хвосте колонны группе отстающих. Кое-кто из заключенных решил больше не мучиться. Такие вместе с детьми просто садились на подножки разбитых бомбами штабных машин: цыгане, готовые начать новую жизнь на этих грудах искореженного металла. Но Джим упорно глядел себе под ноги, на белую пыль, покрывшую его ноги и туфли, как слой талька, которым китайские похоронщики припудривают скелет, прежде чем перезахоронить. Он знал, что сейчас самое главное — двигаться вперед.

Ближе к вечеру слой пыли у Джима на руках и ногах стал отблескивать светом. Солнце клонилось к холмам Шанхайской возвышенности, и затопленные рисовые делянки стали похожи на жидкую шахматную доску с подсвеченными квадратиками, поле для игры в войну, на

котором расставлены сбитые самолеты и сгоревшие танки. Освещенные закатным солнцем, заключенные этакой бригадой застывших под студийными юпитерами киношных статистов стояли на железнодорожной насыпи; ветка шла на склады в Наньдао. Лагуны и ручьи вокруг текли водой шафранового цвета — трубопроводы гигантской парфюмерной фабрики, забитые утопшими в ароматических маслах мулами и буйволами.

Грузовики, громыхая по шпалам, поехали дальше. Джим, с трудом удерживая равновесие на стальном рельсе, стал выглядывать сквозь сумерки очертания кирпичных складов у причала. Через реку к допотопному маяку вел бетонный мол. Группа японцев рассматривала в полевые бинокли стальной корпус сухогруза-угольщика, подбитого американскими бомбардировщиками и выброшенного на песчаную отмель в середине реки. Сожженная взрывами рубка была теперь такой же черной, как мачты и люки угольных трюмов.

Милей ниже угольщика по течению была военно-морская авиабаза Наньдао и похоронные пирсы, возле которых Джим прибился к Бейси. Размышляя о том, не вернулся ли бывший стю-

ард в свое старое логово, Джим поволок мистера Макстеда вслед за остальными заключенными, которые уже сворачивали с железнодорожной насыпи на береговую дамбу. К западу от доков, в мелкой лагуне, лежал выгоревший остов «B-29»: торчавший на фоне меркнущего неба хвост был похож на серебристый рекламный щит с опознавательными знаками эскадрильи.

Джим, не отрывая глаз от сбитого самолета, сел рядом с мистером Макстедом где-то на самом краешке сбившихся в полумраке в плотную массу людских тел. Ему казалось, что от голода все у него внутри онемело. Он стал сосать пальцы, радуясь хотя бы вкусу гноя на губах, потом начал рвать растущую на насыпи траву, стебелек за стебельком, и жевать кислые листья. Японский капрал повел доктора Рэнсома и миссис Пирс куда-то в сторону доков. Верфи и склады, которые издалека, да еще в темноте, казались нетронутыми, на самом деле были разрушены почти до основания. Начался прилив, и возле мола стали перекатываться с боку на бок два ржавых остова разбитых торпедных катеров, а в камышах, ярдах в пятидесяти от того места, где, скрючившись, сидел Джим, зашевелились трупы японских моряков. Впрочем, это не помешало несколь-

ким заключенным-британцам подойти к самой кромке и напиться прямо из реки. Изможденная женщина держала ребенка на китайский манер, подхватив под коленки, пока он испражнялся на запачканный нефтяными пятнами ил, потом села на корточки и последовала его примеру. Потом к ней присоединились другие, и когда Джим пошел к воде, чтобы напиться, в воздухе стояла густая вонь от женских испражнений.

Джим стоял у реки, приткнув себе под ноги деревянный ящик. Прилив тихо слизывал с его туфель меловую пыль. Вода у него в котелке отблескивала соляркой, вымытой из затонувших в шанхайской гавани сухогрузов. Длинные полосы разлившейся нефти ползли, пересекаясь и наползая друг на друга, по всей поверхности Хуанпу, словно змеи, решившие задушить в реке последние остатки жизни.

Он осторожно глотнул воды, потом глянул вниз, на коробку, в бока которой плескалась вода. Он нес этот ящик с собой от самого Лунхуа, судорожно цепляясь за те немногие предметы, которые ему с таким трудом удалось нажить за все эти годы. Он пытался заставить войну длиться как можно дольше, и чтобы вместе с ней не умирала та размеренная и довольно-таки безопасная

жизнь, к которой он привык в лагере. Теперь пришла пора отделаться от Лунхуа и встретить лицом к лицу настоящее, сколь бы опасным и неопределенным оно ни оказалось: единственное правило, которое ни разу не подвело его за долгие годы войны.

Он толкнул коробку ногой на покрытую маслянистой пленкой поверхность реки. В последние минуты перед наступлением темноты мертвые воды вдруг ожили, разом вспыхнув миллионом радужных роз. Коробка поплыла прочь, похожая на гробик китайчонка, а навстречу ей со всех сторон спешили нефтяные пятна и слали через реку приветственные волны света.

Джим, перешагивая через лежащих на земле заключенных, добрался до мистера Макстеда и сел рядом. Он сунул ему в руки котелок с водой и принялся счищать с туфель налипший песок.

— Все в порядке, Джим?

— Война рано или поздно кончится, мистер Макстед.

— Так и будет, Джим. — Мистер Макстед на секунду ожил. — И мы сегодня же ночью будем в Шанхае.

— В Шанхае?.. — Джим подумал: он, наверное, уже бредит и грезит о Шанхае, совсем как

умирающие в лагерной больничке, которые в последнем горячечном бреду бормотали о том, как они вернутся в Лондон. — А разве нас не отправят вверх по реке?

— Сегодня уже точно не отправят… — И мистер Макстед указал на догорающий в темноте за длинным молом угольщик.

Джим стал смотреть, как из рубки и из палубных надстроек угольщика вырываются клубы подсвеченного снизу пламенем дыма: откуда угодно, только не из трубы. В машинном отсеке пламя, похоже, обосновалось всерьез, корма у корабля раскалилась и тускло мерцала красным, как угли в топке. На этом судне их должны были увезти вверх по реке, а потом убить где-нибудь в окрестностях Сучжоу. Джим почувствовал облегчение, но и разочарование — разом.

— А как насчет наших пайков, мистер Макстед?

— Ждут не дождутся нас в Шанхае. Как в старые добрые времена, Джим.

Джим сидел и смотрел, как мистер Макстед тихо клонится назад, в гущу человеческих тел. Он потратил последние силы на то, чтобы какое-то время сидеть прямо и убедить Джима, что все идет как надо, что кто-то по-прежнему за ними

всеми присматривает — госпожа удача или тот неизвестный американский наводчик, который спас их от погрузки в угольные трюмы.

— Мистер Макстед, а вы хотите, чтобы война кончилась? Уже недолго осталось.

— Всего ничего. Думай о родителях, Джим. Считай, что она уже кончилась.

— Но, мистер Макстед, когда в таком случае начнется следующая?..

По железнодорожной насыпи шли японские солдаты, а за ними доктор Рэнсом и миссис Пирс. Капралы принялись перекрикиваться между собой, и голоса их гулко отдавались от железнодорожного полотна. Начался мелкий дождик, охранники у грузовиков накинули капюшоны. От разогретых за день рельсов пошел пар; заключенные поднялись на ноги, прижимая к себе детишек. Темноту прорезали десятки голосов, жены вцепились в мужей.

— Дигби… Дигби…

— Скотта…

— Джейк…

— Банти…

Женщина со спящим ребенком на плече ухватила было Джима за предплечье, но он оттолкнул ее руку и попытался поднять мистера Макстеда.

Из-за темноты и маслянистой речной воды у них обоих кружились головы, и они, того и гляди, могли упасть, запнувшись о скользкие рельсы. Вслед за тремя грузовиками заключенные ушли с насыпи и собрались на пристани у складских развалин. Около сотни человек остались на дамбе, окончательно выбившись из сил и смирившись с тем будущим, которое уготовили для них японцы. Они сидели под железнодорожной насыпью, а солдаты в курящихся паром капюшонах стояли и смотрели на них.

Как только колонна тронулась в путь, Джим понял, что примерно четверть тех, кто вышел сегодня утром из Лунхуа, отстали где-то по дороге. Они еще не успели дойти до ворот судоремонтного завода, как еще несколько человек повернули обратно. Престарелый шотландец из блока Е, отставной бухгалтер Шанхайской энергетической компании, с которым Джим часто играл в шахматы, вдруг сделал шаг в сторону. Как будто забыв, где был и чем занимался всю войну, он пересек мощенный булыжником двор, а потом пошел сквозь дождь обратно к Дамбе.

* * *

Через час после наступления темноты они добрались до футбольного стадиона на западной окраине Наньдао. Это железобетонное сооружение было выстроено по приказу мадам Чан Кайши, в надежде, что Китай станет страной — организатором Олимпийских игр 1940 года. В 1937 году сюда пришли японцы, и стадион стал ставкой военного командования, управлявшего зоной к югу от Шанхая.

Колонна заключенных прошла по тихой парковке. Десятки бомбовых воронок разворотили макадамовое покрытие, но белые полосы разметки по-прежнему вели куда-то в темноту. На парковке аккуратными рядами стояла поврежденная военная техника — изувеченные шрапнельными осколками грузовики и бензовозы, лишенные гусениц танки и бронированные тягачи-транспортеры, каждый из которых волок за собой по два артиллерийских орудия. Джим смотрел на будто оспой изъеденный фасад стадиона. Осколки сбили целые пласты белой штукатурки, и из-под них появились прежние китайские иероглифы, провозглашающие великую мощь гоминьдана: пугающие лозунги, которые висели

во тьме, как рекламные неоновые надписи над довоенными шанхайскими кинотеатрами.

Через бетонный туннель они вышли на темную арену. Своими полукруглыми трибунами она тут же напомнила Джиму шанхайский фильтрационный центр, вот только конец войны умножил тамошние опасности в сотню раз. Японские солдаты встали цепью по всему периметру беговой дорожки. Дождь капал у них с капюшонов, вспыхивал живыми капельками света на штыках и затворах винтовок. Первые заключенные уже начали садиться прямо на мокрую траву. Мистер Макстед рухнул Джиму под ноги, как будто выпряженный из-под ярма. Джим клубочком свернулся рядом с ним, время от времени поднимая руку, чтобы отогнать налетевших вслед за ними на стадион москитов.

Из туннеля выехали три грузовика и остановились на гаревой дорожке. Доктор Рэнсом пробрался между больными и перелез через задний борт. Из кабины второго грузовика, оставив мужа и сына сидеть рядом с японцем-водителем, вышла миссис Пирс. Сквозь дождь Джим слышал, как доктор Рэнсом препирается с японцами. Жандармский старший сержант молча и безо всякого выражения на лице слушал его из-под капюшона,

потом закурил сигарету, пошел к трибунам и сел в первом ряду, как будто вознамерившись посмотреть специально для него устроенное среди ночи акробатическое шоу.

Джим обрадовался, когда миссис Пирс вернулась в кабину грузовика. Жалобные интонации доктора Рэнсома, те самые, которыми он пользовал Джима, выговаривая ему за игры на кладбище, были совершенно неуместны на стадионе Наньдао. Буквально через несколько минут после прибытия над футбольным полем, занятым двенадцатью сотнями заключенных, воцарилась полная тишина. Люди скорчились на земле, потеснее прижавшись друг к другу, а с трибун на них смотрели часовые. Доктор Рэнсом бродил среди детей и женщин, по-прежнему пытаясь играть ту роль, к которой привык в Лунхуа. Джим лежал и ждал, когда же он споткнется — и он таки споткнулся, вызвав вспышку раздражения у кучки лежавших рядом мужчин.

Над стадионом шел дождь; Джим лег на спину и подставил теплым каплям лицо, они бежали по щекам и согревали кожу. Несмотря на дождь, над заключенными кружили тучи мух. Джим смахнул их с лица мистера Макстеда и попытался обтереть кожу дождевой водой, но мухи тут же

собрались снова, пытаясь добраться до изъеденных язвочками десен.

Джим смотрел на едва заметные облачка пара, вырывающиеся изо рта у мистера Макстеда. Он прикидывал, что еще он может сделать для этого человека, и жалел о том, что выбросил ящик. Отправить коробку вниз по течению — это был жест сентиментальный и бессмысленный, первый взрослый поступок в его жизни. Он мог бы поменять свое имущество на что-нибудь съестное для мистера Макстеда. Среди японских солдат попадались католики, которые ходили к мессе. Одному из этих, в промокших насквозь капюшонах, охранников вполне мог пригодиться учебник Кеннеди, а может быть, Джиму даже удалось бы договориться об уроках латинского языка…

Но мистер Макстед мирно спал. Сквозь скопище ползающих у него по губам мух прорывались облачка пара и смешивались с дыханием других лежащих рядом заключенных. Когда, часом позже, дождь кончился, стадион осветили далекие вспышки взрывов американского воздушного налета — как зарницы в сезон муссонов. Ребенком, сидя в уютной и покойной спальне на Амхерст-авеню, Джим смотрел, как внезапная

вспышка выхватывает из темноты застигнутую посреди теннисного корта или на краю бассейна крысу. Вера говорила, что это Бог снимает со вспышкой ночные прегрешения Шанхая. Бесшумные всполохи ночного авианалета, где-то в районе японских военно-морских баз в устье Янцзы, вспыхивали влажными отблесками на руках и ногах Джима — еще одно напоминание о тонком налете меловой пыли, который он впервые увидел на аэродроме Лунхуа, когда строил взлетно-посадочную полосу. Он знал, что одновременно и спит, и бодрствует; видит во сне войну, и война тоже видит его во сне.

Джим положил голову на грудь мистеру Макстеду. Над стадионом танцевала стробоскопическая рябь далеких вспышек, одев спящих узников в призрачные саваны. Может быть, им всем суждено принять участие в строительстве гигантской взлетной полосы? В полуяви-полусне Джим услышал в отдаленном гуле американских бомбардировщиков могучие аккорды приближающейся смерти. Спрягая про себя латинские глаголы — ничего более похожего на молитву он не смог вспомнить, — Джим уснул рядом с мистером Макстедом и видел во сне взлетные полосы.

31
Империя Солнца

Сырое утреннее солнце заполонило стадион, отражаясь в бессчетных лужах на гаревой дорожке и в хромированных радиаторах американских автомобилей, припаркованных рядами за футбольными воротами в северной оконечности стадиона. Опершись о плечо мистера Макстеда, Джим оглядел сотни лежащих на теплой траве мужчин и женщин. Некоторые сидели на корточках: бледные, обгоревшие на солнце лица, цветом похожие на отмокшую кожу, с которой слиняла вся краска. Они смотрели на автомобили, полированные решетки радиаторов явно их пугали: такие глаза были у крестьян в Хуньджяо, когда те поднимали головы от рисовой рассады и провожали взглядом родительский «паккард».

Джим отогнал мух от глаз и губ мистера Макстеда. Архитектор лежал совершенно неподвижно, и обычного пульса во впадине между ребрами видно не было, но Джим слышал его слабое прерывистое дыхание.

— Ну вот, вам уже и лучше, мистер Макстед… Я

принесу вам воды.

Джим покосился на выстроившиеся в ряд машины. Даже на то, чтобы сфокусировать взгляд, у него ушли едва ли не все его силы. Он попытался держать голову прямо: земля под ногами ходила ходуном, как будто японцы пытались, раскачав стадион, высыпать из него заключенных вон.

Мистер Макстед повернулся и посмотрел на Джима, Джим указывал рукой на автомобили. Их там было штук пятьдесят — «бьюики», «Линкольн Зефиры» и два стоящих бок о бок белых «кадиллака». Неужели шоферы прознали про то, что война кончилась, и приехали, чтобы развезти по домам своих британских хозяев? Джим погладил мистера Макстеда по щеке, потом положил руку во впадину под ребрами и попытался массировать сердце. Жаль будет, если мистер Макстед умрет в тот самый момент, когда его «студебекер» готов отвезти его обратно в шанхайские ночные клубы.

Впрочем, японские солдаты по-прежнему сидели на бетонных скамьях возле входного туннеля и, сгрудившись вокруг железной печки, прихлебывали чай. Между грузовиками, где лежали больные, тянуло дымком. Два молодых солдата передавали доктору Рэнсому ведра с водой, но

жандармам, казалось, дела до заполонивших стадион узников Лунхуа было не больше, чем вчера.

Джим встал, чувствуя, как дрожат у него ноги, и стал оглядывать ряд за рядом, пытаясь отыскать родительский «паккард». А где, собственно, шоферы? По идее, должны стоять каждый у своей машины, как это обычно делалось при разъезде из загородного клуба. Потом солнце скрылось за небольшим грозовым облаком, и стадион погас, разом сбившись на монотонный тускло-оливковый цвет. Джим еще раз окинул взглядом ржавые потеки на хромированных радиаторах и понял, что эти американские машины стоят здесь уже не первый год. На ветровых стеклах запеклась пленочка зимней грязи, шины спустили: часть добычи, взятой японцами у граждан стран-союзниц.

Джим стал осматривать трибуны на северном и западном скатах стадиона. С бетонных подставок сняли сиденья, и целые сектора трибун использовались теперь как хранилища под открытым небом. Десятки кабинетов из черного дерева и столов из красного, без единой царапины, сотни венских стульев стояли плотными рядами, как будто на складе большого мебельного магазина. Кровати и гардеробы, холодильники и кондици-

онеры громоздились вавилонскими башнями, наваленные друг на друга. Огромная президентская ложа, где в один прекрасный день мадам Чан и генералиссимус могли стоя приветствовать съехавшихся со всего мира атлетов, была сплошь завалена рулеточными столами, коктейль-барами и беспорядочной толпой позолоченных гипсовых нимф, каждая из которых держала над головой безвкусную вычурную лампу. На бетонных ступеньках лежали кое-как завернутые в брезент скатки персидских и турецких ковров, и с них, как с торчащих из кучи металлолома ржавых труб, капала вода.

Для Джима эти потрепанные трофеи, собранные из особняков и ночных клубов Шанхая, казалось, сохранили весь блеск, всю витринную роскошь новизны, как те заполненные мебелью залы универмага «Синсиер компани», по которым они как-то раз бродили с мамой до войны. Он во все глаза смотрел на трибуны и был почти готов к тому, что вот сейчас из какого-нибудь закутка появится мама в роскошном шелковом платье и проведет затянутой в перчатку рукой по резной, из черного дерева, полировке.

Он сел и прикрыл от яркого света глаза. Он помассировал большим и указательным пальцами

щеки мистера Макстеда, потом раздвинул ему губы и выбросил набившихся в рот мух. Вокруг на сырой траве лежали обитатели лагеря Лунхуа и смотрели на выставку бывшей своей собственности; и этот мираж делался все роскошнее по мере того, как разгоралось яркое августовское солнце.

Впрочем, очарование миража прошло довольно быстро. Джим вытер руки о шорты мистера Макстеда. Японцы довольно часто использовали стадион в качестве пересыльного лагеря, и выбитый газон был сплошь покрыт засаленными тряпками и золой от маленьких костерков, обрывками палаточного брезента и деревянными ящиками. Были здесь и самые безошибочные признаки человеческого присутствия — пятна засохшей крови и кучки экскрементов, на которых пировали тысячи мух.

Шумно завелся мотор больничного грузовика. Солдаты-японцы спустились с трибун и выстроились в колонну. Они попарно стали взбираться через задний борт в кузов, и на лицах у них были марлевые повязки. Доктор Рэнсом и с ним еще трое заключенных-британцев принялись спускать на землю трупы и тех из пациентов, кто был слишком слаб, чтобы выдержать очередной дневной переезд. Они лежали в оставленных

грузовиками на газоне длинных выбоинах и перебирали мягкую землю пальцами, так, словно пытались натянуть ее на себя.

Джим скорчился рядом с мистером Макстедом и стал качать его диафрагму, как кузнечный мех. Он видел, как доктор Рэнсом возвращает своих пациентов из мертвых, а для мистера Макстеда сейчас самым важным было прийти в себя прежде, чем их погонят дальше. Заключенные вокруг уже сидели, и довольно прямо, а некоторые мужчины уже поднялись на ноги и стояли возле своих лежащих кучками женщин и детей. Из тех интернированных, что постарше, кое-кто за ночь умер — в десяти футах от Джима лежала в своем выцветшем бумажном платье и смотрела в небо миссис Уэнтворт, которая играла роль леди Брэкнелл. Другие лежали в лужицах воды, выдавленных весом их тел из мягкой травы.

У Джима болели руки, он слишком долго массировал мистеру Макстеду легкие. Он сидел и ждал, когда доктор Рэнсом наконец спрыгнет через задний борт и сам займется мистером Макстедом. Но все три грузовика вдруг разом тронулись с места и поехали в бетонный туннель, и в одном из них раскачивалась из стороны в сторону белобрысая голова доктора Рэнсома. У Джима было сильное

искушение встать и рвануть за ними следом, но он знал, что уже принял решение остаться с мистером Макстедом. Он давно успел понять: заботиться о ком-то — это все равно, как если бы кто-то заботился о тебе.

Джим слышал, как грузовики идут через парковку, как кашляют, набирая скорость, их моторы. Лагерь Лунхуа наконец-то расформировали. У туннеля уже строилась к маршу колонна заключенных. На беговой дорожке стояло человек триста, молодые британцы со своими женами и детьми, и перед ними ходил туда-сюда жандармский сержант. Рядом, на футбольном поле, остались те заключенные, кто был слишком слаб, чтобы сесть или встать. Они лежали, разбросанные по зеленой лужайке, как павшие на поле брани. Между ними бродили японские солдаты с таким видом, словно искали куда-то запропастившийся мяч, а эти британцы, которые забрели ненароком в самый глухой тупичок войны, нимало их не интересовали.

Час спустя колонна тронулась в путь, заключенные прошаркали через туннель, и ни один из них даже не обернулся. С ними ушли шестеро японских солдат, а остальные тут же возобновили неусыпную охрану холодильников и кабинетов

из черного дерева. Старшие унтер-офицеры прохлаждались у туннеля, смотрели, как кружат в небе американские разведывательные самолеты, и не предпринимали ни малейшей попытки хоть как-то сорганизовать оставшихся на стадионе заключенных. Однако минут через пятнадцать на гаревой дорожке сама собой начала собираться вторая маршевая партия, и японцы подошли поближе, чтобы ее досмотреть.

Джим провел рукой по влажной траве и сунул пальцы в рот мистеру Макстеду, почувствовав костяшками, как мелко дрожат у архитектора губы. Но августовское солнце уже начало подсушивать траву. Джим перевел взгляд на лужу рядом, на гаревой дорожке. Он дождался, когда пройдет часовой, потом пересек газон и стал пить, зачерпывая воду рукой. Вода пробежала вниз по горлу, как замороженная ртуть, как электрический разряд, от которого у Джима едва не остановилось сердце. Прежде чем японец успел его прогнать, Джим набрал воды в обе ладони и понес ее мистеру Макстеду.

Когда он тонкой струйкой сливал воду в рот мистеру Макстеду, из десен у архитектора выбирались и, жужжа, улетали прочь мухи. Рядом с мистером Макстедом лежал старый майор

Гриффин, отставной офицер Индийской армии, который читал в Лунхуа лекции о пехотном вооружении времен Первой мировой войны. Сил на то, чтобы сесть, у него не было, и он попросту указал пальцем на сложенные лодочкой ладони Джима.

Джим слепил вместе губы мистера Макстеда и искренне обрадовался, когда кончик языка рефлекторно высунулся между ними наружу. Пытаясь приободрить мистера Макстеда, Джим сказал:

— Мистер Макстед, наш паек уже на подходе.

— Молодец, Джейми, держись.

Майор Гриффин сделал слабый знак рукой.

— Джим…

— Иду, майор Гриффин…

Джим сходил к беговой дорожке и вернулся с пригоршней воды. Сидя на корточках рядом с майором и похлопывая его по щекам, он заметил, что в двадцати футах от них на газоне сидит миссис Винсент. Ребенка и мужа она оставила в группе заключенных, лежащих в самом центре футбольного поля. Не в силах сделать ни шагу больше, она смотрела на Джима, и взгляд у нее был совсем как в Лунхуа, когда она следила за тем, как он ест долгоносиков, такой же отчаян-

ный. Ночной дождь смыл с ее платья последние остатки краски, и цвет лица у нее был пепельно-серый, точь-в-точь как у китайских рабочих на аэродроме Лунхуа. Миссис Винсент, пожалуй, выстроила бы очень странную взлетную полосу, подумал Джим.

— Джейми…

Она позвала его детским именем, которое мистер Макстед в бреду вызволил из какого-то давнего довоенного воспоминания. Она хотела, чтобы он снова стал ребенком и бегал, бегал, бегал, выполняя чужие поручения — за счет чего и выжил в Лунхуа.

Набирая в ладони холодную воду из лужи, Джим вспомнил, как миссис Винсент отказалась помогать ему, когда он болел. Но ему всегда нравилось смотреть, как она ест. Он стоял и ждал, пока она пила из его рук.

Когда она выпила все, что было, он попытался помочь ей подняться на ноги.

— Миссис Винсент, война кончилась.

С неприязненной гримаской на лице она оттолкнула его руки прочь, но ему уже было все равно. Он стоял и смотрел, как она, пошатываясь, идет между сидящими на газоне заключенными. Потом присел рядом с мистером Макстедом и

принялся обмахивать у него с лица мух. Он все еще чувствовал на пальцах ее быстрый язык.

— Джейми…

Еще кто-то звал его так, словно он был китайский кули, которому надо выслужиться перед господами-европейцами. Голова у него кружилась так, что даже и сидеть было бы трудно, и Джим лег на траву рядом с мистером Максте-дом. Все, кончился мальчик на побегушках. Руки у него закоченели от холодной воды. Война что-то уж слишком затянулась. В фильтрационном центре и в Лунхуа он делал все возможное для того, чтобы остаться в живых, но теперь какая-то его часть хотела умереть. Это был единственный способ разделаться с войной раз и навсегда.

Джим обвел взглядом сотни лежащих на газоне заключенных. Ему хотелось, чтобы они умерли все, в окружении своих гнилых ковров и кабинетов для коктейлей. Он с радостью заметил, что многие уже последовали его рекомендации, и совершенно искренне озлился на тех, которые все еще могли передвигать ноги и формировали теперь вторую маршевую колонну. Он догадывался, что, вероятнее всего, их просто загоняют до смерти по окрестностям Шанхая, но ему хотелось, чтобы они остались здесь, на стадионе, и чтобы,

когда они будут подыхать, перед глазами у них стояли белые «кадиллаки».

Джим яростно смахнул мух с лица мистера Макстеда. Хохоча над миссис Винсент, он начал раскачиваться на коленях, как делал когда-то в детстве, петь себе под нос и размеренно бить ладонью оземь.

— Джейми… Джейми…

Рядом по гаревой дорожке расхаживал японский часовой. Он прошел по газону и остановился рядом с Джимом. Шум явно действовал ему на нервы, и он совсем уже было собрался ударить мальчика ногой в развалившемся наполовину ботинке. Но тут вдруг над стадионом полыхнула мощная вспышка света, мигом залившая весь юго-западный угол футбольного поля, так, словно где-то к северо-востоку от Шанхая взорвалась невероятных размеров американская бомба. Часовой заколебался, оглянулся через плечо; свет между тем становился все ярче и ярче. Через несколько секунд он угас, но повсюду на стадионе остался его бледный отсвет, на грудах ворованной мебели на трибунах, на автомобилях за стойками футбольных ворот, на занявших весь газон заключенных. Они сидели на самом донышке огромной плавильной печи, и грело эту

печь второе солнце.

Джим оглядел свои бледные руки и ноги, потом перевел взгляд на исхудавшее лицо японского солдата, которого, судя по всему, эта вспышка всерьез обескуражила. Они оба ждали грома, грохота, который неизменно приходил вслед за вспышкой от разрыва, но над стадионом и над прилегающими землями лежала мертвая тишина, как будто на несколько секунд солнце померкло, отчаявшись. Джим улыбнулся японцу, жалея о том, что не может ему сказать одну простую вещь: этот свет — предвестник смерти, это значит, что крохотная его душа вот-вот соединится с большой душой гибнущего мира.

Эти игры, эти видения продолжались до второй половины дня, когда над стадионом вновь заходило зарево от воздушного налета на Хонкю. Джим лежал в полудреме и чувствовал, что земля пружинит у него под спиной, как пол бальной залы в «Шанхай кантри-клаб». Вспышки света перебегали с одной трибуны на другую, преображая мебель в серию живописных картин, иллюстраций из британской колониальной жизни.

В сумерках у туннеля собралась последняя маршевая партия. Джим сел рядом с мистером Макстедом и стал смотреть, как человек пятьде-

сят заключенных сами строятся в колонну. Куда они собрались? Многие едва держались на ногах, и Джим сильно сомневался, что они дойдут хотя бы до парковки у ворот стадиона.

Впервые после отправки из Лунхуа японцы начали проявлять признаки нетерпения. Торопясь избавиться от последних способных самостоятельно передвигаться заключенных, солдаты стали сходиться со всех концов поля. Они толкали заключенных и тащили их за собой за руки. Капрал в белой марлевой повязке на лице светил фонариком в лица умерших, а потом переворачивал труп на спину.

За спинами японцев суетился штатский-евроазиат, спеша прийти на помощь каждому, кто собрался отправиться в путь, — похожий на посыльного в хорошо отлаженной туристической фирме. По краям поля японцы уже начали грабить мертвых, снимая с них пояса и ботинки.

— Мистер Макстед… — В последний момент относительного просветления Джим сел, зная, что должен оставить умирающего архитектора и уйти вместе с последней колонной в ночь. — Мистер Макстед, мне пора идти. Надо кончать с ней, с этой войной…

Он попытался встать, но тут вдруг почувство-

вал, как на запястье у него сомкнулись пальцы мистера Макстеда.

— Не ходи с ними… Джим… оставайся здесь.

Джим ждал, что вот сейчас мистер Макстед умрет. Но тот продолжал тянуть его руку вниз, словно пытаясь пригвоздить ее к земле. Джим сидел и смотрел, как маршевая партия, шаркая, тронулась по направлению к туннелю. Те, кто был не в состоянии пройти больше двух-трех шагов, падали и оставались лежать на гаревой дорожке. Джим слышал, как приближаются приглушенные марлевыми повязками голоса японцев, слышал, как поперхнулся от вони и сплюнул на землю сержант.

Рядом с ним, хрипло отдуваясь из-под маски, встал на колени солдат. По груди и бедрам Джима, обшаривая карманы, прошлись его сильные руки. Потом они грубо сорвали у него с ног туфли и зашвырнули их на гаревую дорожку. Джим лежал не двигаясь, и отсветы горящих в Хонкю нефтехранилищ плясали на трибунах, подпаливая бока ворованных холодильников, решетки на радиаторах белых «кадиллаков» и лампы гипсовых нимф в ложе генералиссимуса.

Часть III
32
Евроазиат

Тихий солнечный свет залил стадион. С безоблачного неба шквалом сыпался мелкий град, волна изморози, осыпавшейся в трех милях над долиной Янцзы с крыльев американских самолетов. Подсвеченные солнцем, ледяные кристаллы падали на футбольное поле, как дождь из новогодней мишуры.

Джим сел и дотронулся до градин, до разбросанных в траве ледяных самородков. Рядом с ним лежало одетое огоньками тело мистера Максте-да, и на его пепельно-сером лице переливались крохотные радуги. Но буквально через несколько секунд град растаял и впитался в землю. Джим стал слушать самолеты, надеясь, что они запустят еще один каскад града, но небо было пустынным, от горизонта и до горизонта. На газоне встали на колени несколько заключенных, они ели градины и переговаривались между собой поверх тел мертвых товарищей.

Японцы ушли. Ночью, никем не замеченные,

жандармские солдаты и унтер-офицеры собрали свое снаряжение и исчезли. Джим босыми ногами стоял в ледяной траве и смотрел на туннель, туда, где выход. С парковки сквозь тьму просачивались и перемигивались на бетонных стенах неверные отблески солнечного света. Один из британцев, в сношенных деревянных башмаках, уже двинулся, прихрамывая, к выходу; за ним, закрыв лицо руками, шла его жена в рваном хлопчатобумажном платье.

Джим ждал винтовочного выстрела, ждал, что британца сейчас отбросит к ногам жены; но они оба спокойно вышли на парковку и принялись рассматривать покореженную бомбами технику. Джим оставил мистера Макстеда лежать на траве и вышел на беговую дорожку, намереваясь пойти за ними следом, но потом поосторожничал и решил сперва забраться на трибуну.

Бетонные ступеньки, казалось, шли аж на седьмое небо. Джим остановился передохнуть возле кучи ворованной мебели. Он сел на стул с прямой спинкой возле большого обеденного стола и попил с полированного черного дерева теплой дождевой воды. Внизу тридцать или около того заключенных с трудом поднимались на ноги, как будто после закончившегося бог знает чем

пикника. Женщины сидели в траве между тел своих бывших подруг и тихо перебирали волосы, а их мужья — те немногие, кто выжил, — вглядывались сквозь пыльные стекла в приборные доски стоящих на поле автомобилей.

Мертвых было больше ста человек: разбросанных по футбольному полю в полном беспорядке, как будто за ночь они напáдали с неба. Джим повернулся к ним спиной и, шлепая по лужам, взобрался на верхний ярус трибуны. Теперь, избавившись от мистера Макстеда, он чувствовал себя виновным в его смерти, и это чувство вины каким-то образом было связано с потерей теннисных туфель. Он смотрел на мокрые отпечатки босых ступней на бетоне и твердил себе раз за разом, что вполне мог продать их японцам, обменять на горсть риса или на сладкую картофелину. А так, притворившись мертвым, он потерял разом и туфли, и мистера Макстеда.

Однако мертвые спасли Джиму жизнь, избавив его от ночного перехода. Лежа ночь напролет рядом с их холодными телами, наполовину бодрствующий, наполовину сонный, Джим чувствовал себя гораздо ближе к ним, чем к живущим. Мистер Макстед давно уже стал совсем холодным, а Джим все продолжал тереть ему ще-

ки и отгонять с лица мух. В течение нескольких следующих дней он почти не отходил от мистера Макстеда, несмотря на тучи мух и на то, что от тела архитектора шел запах. Заключенные, которые сбились в кучку в центре поля, махали на Джима руками каждый раз, как он пытался подойти к ним, и велели убираться прочь. Он пил дождевую воду с полированной мебели на трибунах, а ноги таскал исключительно благодаря тому, что нашел в кармане у мистера Уэнтворта одну-единственную картофелину, а еще японские солдаты иногда бросали в его сторону прогорклые рисовые зерна.

Джим облокотился на металлические перила и посмотрел вниз, на парковку. Британская пара стояла и смотрела на разбитые машины — последний мужчина и последняя женщина в мире. Джим рассмеялся, глядя на них, но получился не смех, а кашель, и изо рта у него вылетел комок желтого гноя. Ему хотелось крикнуть им: мира больше нет! Прошлой ночью всяк запрыгнул в свою могилу и по уши укутался землей!

И скатертью дорога… Джим смотрел на обреченную смерти землю, на заполненные водой бомбовые воронки в рисовых полях, на стволы умолкших зениток с пагоды Лунхуа, на приткнув-

шиеся к берегам реки разбитые сухогрузы. За его спиной, не далее чем в трех милях, лежал тихий город. Многоэтажки Французской концессии и высотные офис-билдинги вдоль Дамбы были похожи на увеличенную копию той далекой панорамы, которая все эти годы придавала ему сил.

Над стадионом промчался прохладный — с реки — ветерок, и на какую-то долю секунды солнце снова затмило тот самый, ни на что не похожий северо-западный свет, отблеск которого он видел на трибунах. Джим поднял к глазам бледно-восковые руки. Он знал, что жив, но в то же время чувствовал себя таким же мертвым, как мистер Макстед. Может быть, его душа, вместо того чтобы покинуть тело, заплуталась где-нибудь у него в голове и тихо умерла сама собой?

Джиму снова захотелось пить, и он пошел вниз по бетонным ступенькам, на ходу сгоняя к краю воду с обеденных и письменных столов. Если война кончилась, самое время заняться поисками отца и мамы. С другой стороны, британцам лучше не соваться одним в Шанхай, если рядом не будет японцев, которые смогут их защитить.

За воротами на футбольном поле одному из британцев удалось поднять капот у белого

«кадиллака». Он возился с мотором, то и дело дотрагиваясь до цилиндров, а остальные стояли вокруг и смотрели. Джим вскинулся и побежал вниз по лестнице, готовясь предложить свои услуги в качестве бортинженера и лоцмана. Он до сих пор помнил в лицо каждую улицу, каждый шанхайский переулок.

Спустившись на беговую дорожку, он заметил, что на стадион вошли три человека. Двое были китайцы кули, голые по пояс, в черных хлопчатобумажных брюках, подвязанных на щиколотках чуть выше соломенных сандалий. Третий — тот самый евроазиат в белой рубашке, которого Джим видел с японскими жандармами. Они стояли у выхода из туннеля, и евроазиат внимательно осматривал стадион. Сидящих на газоне заключенных он тоже удостоил взглядом, но основной интерес для него явно заключался в грудах ворованной мебели на трибунах.

За поясом у евроазиата был тяжелый автоматический пистолет, но Джиму он улыбнулся так обворожительно, как будто они были старые друзья, которых лишь военные невзгоды заставили надолго разлучиться.

— Эй, парень… ты как себя чувствуешь? — Он оценил его обтрепанную рубашку и шорты, его

босые ноги, изъязвленные и сплошь покрытые грязью. — Концлагерь Лунхуа? Должно быть, несладко тебе пришлось.

Джим невозмутимо смотрел на евроазиата. Этот человек улыбался, но глаза у него были холодные. По-английски он говорил с сильным американским акцентом, но акцент у него звучал натянуто, и Джим подумал, что, вероятнее всего, евроазиат нахватался, пока допрашивал экипажи сбитых американских самолетов. На нем были часы из хромированной стали, а пистолет был точно такой же, какие добывали японцы в Лунхуа со сбитых «Суперкрепостей». Идущая со стадиона вонь заставляла его беспокойно раздувать широкие ноздри и отвлекала от созерцания трибун. В туннеле показалась британская чета, и евроазиат посторонился, чтобы пропустить их обратно на стадион.

— Да у вас тут целое хозяйство, — задумчиво сказал он. — Что, мамка с папкой тоже тут? Вид у тебя такой, что ты, наверно, в момент схавал бы пару мешков риса, а? Слушай, парень, ты тут поспрашивай у своих, может, у кого есть браслеты, кольца обручальные, цепочки. А я бы с тобой поделился.

— Война кончилась?

Глаза у евроазиата мигом нырнули куда-то вниз и в сторону, как будто на него нашло секундное помрачение рассудка. Но он тут же собрался и ответил Джиму самой что ни на есть искренней улыбкой.

— Ну уж в этом-то ты можешь не сомневаться. Того и гляди весь американский военно-морской флот встанет на прикол возле Дамбы. — Вид у Джима явно был не слишком доверчивый, и евроазиат тут же пояснил: — Парень, они теперь сбрасывают атомные бомбы. Дядя Сэм уронил по кусочку солнца на Нагасаки и на Хиросиму, миллион человек убитыми. Одна такая офигенная вспышка…

— Я ее видел.

— Видел?.. Что, все небо осветила, да? Очень может быть. — В голосе у евроазиата звучало сомнение, но он наконец оторвал глаза от бывшей японской добычи и внимательно посмотрел на Джима. Несмотря на всю свою непринужденность, он был очень неуверен в себе, как будто знал, что ожидаемый в ближайшем будущем военно-морской флот США с большим сомнением отнесется к его проамериканским взглядам. Он с опаской покосился на небо.

— Атомные бомбы… хреново приходится всем

этим япошкам, но тебе зато счастье, парень. И мамке с папкой твоим тоже.

Джим взвешивал про себя полученную информацию, а евроазиат тем временем подошел к бетонной урне у входа в туннель и принялся в ней копаться.

— Так война действительно кончилась?

— Да, все, кранты, кончилась, мы все теперь большие друзья. Император только что объявил о капитуляции.

— А где тогда американцы?

— На подходе, парень, на подходе. Они и досюда доберутся со своими атомными бомбами.

— Белый свет?

— В самую точку, парень. Атомная бомба, сверхоружие Соединенных Штатов. Ты, наверное, видел ту, что сбросили на Нагасаки.

— Да, я видел атомную бомбу. А что случилось с доктором Рэнсомом? — Евроазиат явно не понял, о чем речь, и Джим добавил: — И с теми, кто ушел отсюда, пешком?

— Плохие новости, парень. — Евроазиат затряс головой, как будто искренне сожалел о некой незначительной, но досадной оплошности. — Сам понимаешь, американские бомбежки, еще болезни какие-то. Может, твой приятель и вы-

карабкался…

Джим совсем уже было собрался уйти, когда евроазиат вынырнул наконец из урны. В одной руке у него была пара сношенных деревянных башмаков, которые он тут же швырнул на гаревую дорожку. В другой болтались связанные шнурками теннисные туфли Джима. Он хотел что-то сказать кули, но тут Джим сделал шаг вперед:

— Это мое — мне их дал доктор Рэнсом.

Тон у него был решительный и отрывистый, и он потянул туфли из рук евроазиата к себе. Джим ждал, что тот сейчас вынет из-за пояса пистолет или прикажет китайцам сбить его с ног. Но, несмотря на голод и усталость от лазанья по трибунам, Джим чувствовал, как к нему возвращается обычная для европейца властная уверенность в себе.

— Ладно, ладно, парень. — Евроазиат не на шутку встревожился. — Я их тут специально спрятал на случай, если ты живой. Не забудь, скажи мамке и папке.

Джим шагнул мимо кули и вошел в залитый светом солнца туннель. На парковке между танков и сгоревших грузовиков слонялись кучки британцев. Они, пошатываясь, брели вдоль выцветших линий разметки, понятия не имея, куда

идут и зачем, как будто стоило пережить всю войну, чтобы теперь испустить дух в этом убогом лабиринте. Августовское солнце за стенами стадиона жарило даже сильнее, чем внутри, как будто сил ему придавала царящая над полями и каналами непроницаемая тишина. От этой бесхозной земли исходило тихое белое сияние. Неужели вспышка атомной бомбы, про которую говорил евроазиат, опалила и эти поля? Джим вспомнил горящее тело американского летчика и тот беззвучный свет, который заполонил стадион и всех, живых и мертвых, одел в одинаковые белые саваны.

33
Летчик-камикадзе

Туфли были те самые. Джим с радостным чувством уверенности стоял возле прикрывающего технику на парковке бетонного дота. Мимо центрального входа шла дорога на Шанхай, к южным пригородам. Поля были безлюдны, но ярдах в трехстах в противотанковом рву у дороги сидел взвод китайских марионеточных солдат. Все еще одетые в выцветшую оранжево-зеленую форму, они, сидя на корточках и поставив между колен

винтовки, сгрудились возле железной печки. Унтер-офицер вылез из рва, упер руки в бока и ждал, когда Джим подойдет поближе.

Если он и в самом деле к ним подойдет, они убьют его из-за одних только туфель. Джим знал: он слишком слаб, чтобы дойти до Шанхая, не говоря уже о тех бесчисленных опасностях, которые подстерегают его по пути. Скрывшись за дотом, он пошел в сторону знакомых и оттого казавшихся безопасными мест в районе аэродрома Лунхуа. До западной оконечности аэродрома было не более полумили — сплошная крапива и дикий сахарный тростник, с вкраплениями сброшенных топливных баков и фюзеляжей от сбитых самолетов. Между торчащими в небо ржавыми хвостами самолетов видна была белая взлетная полоса — когда не пропадала, растворившись в раскаленном полуденном мареве.

Стадион остался позади. Дорога была — прямой пустой меридиан, который бежит себе вокруг планеты, а планету война отбросила прочь, за ненадобностью. Джим шел по обочине, перешагивая через разбитые деревянные башмаки и тряпки, брошенные британскими заключенными на последней сотне ярдов пути к стадиону. По обе стороны от него были разбитые бомбежкой

траншеи и доты, мир непролазной грязи. На краю заполненной водой танковой ловушки, среди покрышек и патронных ящиков, лежал труп китайского солдата, похожий на взорвавшийся бак с краской: оранжевая форма разошлась на вздувшихся плечах и ягодицах по швам, и кожа сквозь них маслянисто поблескивала. У дороги прикорнула упряжная лошадь с содранной с боков шкурой. Джим заглянул под ребра, в объемистую грудную клетку: а вдруг там крыса.

Он сошел с дороги, когда она свернула на восток, к порту в Наньдао, выбрался на земляную насыпь вдоль ирригационного канала и пошел через затопленные рисовые поля. Даже здесь, в миле к западу от реки, топливо из разбитых сухогрузов просачивалось по ручьям и каналам и покрывало залитые водой поля сияющей радужной пленкой. Джим передохнул на окружной дороге у аэродрома, потом перелез через проволоку и пошел к ближайшему заброшенному самолету. Вдали, на той стороне летного поля, громоздились возле пагод зенитной вышки разрушенные бомбардировщиками мастерские и ангары. Среди разбитых самолетов бродили несколько японских механиков, но китайцы-старьевщики все куда-то подевались, явно испугавшись странной

здешней тишины. Джим прислушался, пытаясь уловить знакомый звук ножовки по металлу или кусачек, но воздух был пуст, как будто дикая ярость американских бомбежек на долгие годы вперед изгнала из этих мест любые звуки.

Джим остановился под хвостовым оперением истребителя «Зеро». Сквозь крылья уже успел прорасти дикий сахарный тростник. Пулеметные очереди сорвали и обожгли с лонжеронов фюзеляжа металлическую кожу, но даже и ржавая эта скорлупа хранила в себе все очарование тех великолепных машин, за которыми он когда-то следил с балкона актового зала, как они взмывают в небо с той самой взлетной полосы, которую он помогал строить. Джим дотронулся рукой до похожих на оперение стрелы лопаток звездообразного двигателя и провел рукой по искореженной лопасти винта. Из радиатора масляного охладителя сочился гликоль, покрывая весь самолет розовой пунктирной паутиной. Он встал на основание крыла и посмотрел в кабину, на нетронутую приборную панель с датчиками и колесиками настройки дифферента. От этих дросселей и рычагов выпуска шасси веяло невероятной печалью, и даже от обычных заклепок, вбитых в металл неизвестной японкой на сбороч-

ном конвейере завода «Мицубиси».

Джим бродил меж сбитых самолетов, которые, казалось, плыли по зеленому морю крапивы, и — один за другим — снова отправлял их в полет. От всей этой бесхозной красоты у него закружилась голова, и он сел отдохнуть на хвост «Хаятэ». Он смотрел на небо над Шанхаем и ждал американцев, которые начнут садиться на аэродром Лунхуа. Он ничего не ел уже два дня, но голова у него была совершенно ясная.

— …а-ах …а-ах.

Этот звук, глубокий выдох, полный отчаяния и ярости, пришел откуда-то с края поля. Прежде чем Джим успел спрятаться, крапива за ближайшим «Зеро» зашевелилась. Футах в двадцати от него на летное поле вышел японский летчик. На нем был обычный мешковатый летный комбинезон с нашивками особого штурмового отряда на рукавах. Он был безоружен, но в руках у него был выдернутый из ограждения сосновый кол. Он резко, на выдохе, рубил крапиву и раздраженно оглядывался на ржавеющие самолеты, так, словно пытался усилием воли заставить их вернуться в строй.

Джим пригнулся что было сил, надеясь, что выцветшая камуфляжная раскраска «Хаятэ» хоть

как-то его спрячет. Он заметил, что этому летчику, офицеру, не было еще и двадцати: не успевшее оформиться лицо, мягкие линии подбородка и носа. По землистому цвету лица и выпирающим костяшкам на запястьях Джим понял, что летчик находится на той же стадии голодного истощения, что и он сам. Вот только глубокие гортанные выдохи были как у взрослого мужчины, как будто при вступлении в отряд камикадзе ему в качестве особого поощрения выдали легкие и глотку другого летчика, постарше.

— …ы-ых…

Он заметил Джима на хвосте «Хаятэ» и несколько секунд молча смотрел на него сквозь высокие стебли крапивы. Потом развернулся и продолжил свой гротескный обход летного поля.

Джим смотрел, как он рубит сахарный тростник, быть может, расчищая место для посадки геликоптера. Может быть, в ответ на американские атомные бомбардировки японцы приготовили какое-то секретное оружие, высокоэффективный реактивный истребитель, которому будет нужна куда более длинная взлетная полоса, чем здесь, в Лунхуа? Джим ждал, что летчик вот-вот подаст сигнал часовым возле пагоды. Но японец по-прежнему ходил от одного сбитого самолета

к другому. Потом остановился, покачал головой, и Джим вдруг снова вспомнил, что лет этому пилоту совсем немного. В начале войны, да наверняка еще и несколько месяцев тому назад, он учился в школе и прямо со школьной скамьи угодил на ускоренные летные курсы.

Джим встал и пошел через крапиву к жухлой траве на краю летного поля. Он шел следом за японцем, ярдах в пятидесяти, и остановился, когда летчик задержался у поврежденного «Зеро», чтобы подергать рули высоты. Он подождал, пока тот снова тронется в путь, и опять пошел следом, даже не пытаясь прятаться и старательно всякий раз ставя ногу в свежий отпечаток армейского башмака.

Весь следующий час они бродили вдоль южного периметра аэродрома, молодой летчик с мальчиком в кильватере. Из летнего марева выплыли бараки и спальные блоки лагеря Лунхуа. Вдалеке, на той стороне летного поля, грелись на солнышке возле сгоревших ангаров японские механики. Летчик видел, что Джим идет за ним следом, но ни разу не сделал попытки позвать своих. И только когда в поле зрения показалась огневая точка с двумя охранявшими ее солдатами, японец остановился и жестом подозвал

Джима к себе.

Они стояли у ржавого самолета, от которого старьевщики уже успели отпилить оба крыла. Летчик с шумом втянул в себя воздух, явно смущаясь терпеливого взгляда Джима: как старшеклассник, вынужденный обратить внимание на восторженного шкета, класса на три младше, чем он сам. Несмотря на молодость, он, казалось, уже успел довести себя до последней степени совершенно взрослого чувства отчаяния. От полуразложившегося трупа китайского кули, который угнездился в зарослях сахарного тростника, среди топливных баков и двигательных блоков тучей взвились в воздух мухи. Они кружили у лица летчика, они стучались о его губы, как нетерпеливые гости в ожидании банкета. Они были очень похожи на тех мух, что ползали по лицу мистера Макстеда. Неужели они догадывались, что этот летчик уже давно должен был погибнуть, направив самолет на американский авианосец возле острова Окинава?

Как бы то ни было, летчик не делал ни малейшей попытки от них отмахнуться. Он, естественно, вполне отдавал себе отчет в том, что жизнь его кончена, что гоминьдановские войска, которые должны вот-вот войти в Шанхай, не замедлят

разделаться с ним при первой же возможности.

Японец поднял кол. Как лунатик, вынырнувший из забытья, он зашвырнул его подальше в крапиву. Джим вздрогнул; заметив это, японец потянулся к нагрудному карману летной куртки и вынул оттуда маленькое манго.

Джим принял желтый плод из загрубевшей руки летчика. Манго было все еще теплым — от тела японца. Пытаясь выказать равное самообладание, Джим заставил себя не есть его сразу. Он стоял и ждал, пока пилот, отвернувшись, оглядывает взлетную полосу.

Наконец тот сделал шаг вперед и с раздраженным выкриком отвесил Джиму подзатыльник. И махнул рукой в сторону ограды, как будто предупреждая, что земля здесь заражена и что Джим должен убираться отсюда подобру-поздорову.

34
Летающий холодильник

Сладкое манго скользило у Джима во рту, как язычок миссис Винсент по внутренней поверхности ладоней. Отойдя футов на десять от ограды, Джим сел на топливный бак, упавший в бурьян на краю затопленного рисового поля. Он

проглотил нежную мякоть и стал катать во рту косточку, соскабливая с нее остатки сердцевины. Он уже думал о следующем манго. Если удастся расположить к себе этого японского летчика, бегать со всякими там поручениями и вообще всячески быть полезным, манго может оказаться не последним. За несколько дней он наберется сил настолько, что сможет дойти до Шанхая. К тому времени там уже высадятся американцы, и Джим представит им летчика-камикадзе как своего друга. Американцы по сути своей народ не злой, и они с готовностью закроют глаза на такую мелочь, как налеты пилотов-самоубийц на их авианосцы в районе Окинавы. А когда настанет мир, японец научит Джима летать…

Опьянев от сладкого сока, Джим соскользнул наземь, привалившись к топливному баку спиной. Он окинул взглядом ровную поверхность затопленной делянки и решил, что хватит с него детских фантазий. Во-первых, откуда он знает, что война действительно кончилась? Евроазиат в белой рубашке, конечно, вел себя подозрительно бесцеремонно, но его единственная забота была — попытаться украсть со стадиона машины и дорогую мебель. Что же до полетов, то летчик-камикадзе может оказаться не самым лучшим

инструктором…

В августовском небе раздался знакомый гул, привычный угрожающий дрон моторов. Джим вскочил на ноги, едва не подавившись косточкой. Прямо перед ним, ярдах в восьмистах над пустынными полями, летел американский бомбардировщик. Это была четырехмоторная «Суперкрепость», и шла она куда медленней, чем любой другой американский самолет, который Джиму приходилось видеть за всю войну. Он что, и впрямь собрался сесть на аэродроме Лунхуа? Джим стал махать рукой пилоту в закрытой стеклянным колпаком кабине. «Суперкрепость» пролетела прямо у него над головой, и от рева моторов содрогнулась земля, а разбитые самолеты на краю летного поля начали вибрировать в унисон.

На брюхе «Суперкрепости» разверзлись бомбовые люки, открыв уложенные в десятки рядов серебристые цилиндры, готовые вот-вот рухнуть с держателей вниз. Самолет с грохотом пошел дальше: один из моторов на правом крыле работал на высокой свистящей ноте, от этого свиста воздух как будто треснул пополам. У Джима не было сил двигаться с места; он сидел и ждал, что вот-вот вокруг него начнут рваться бомбы, но

вместо этого небо вдруг вспыхнуло созвездьем разноцветных парашютов. По воздуху, словно радуясь жаркому августовскому солнцу, плыли десятки цветных куполов. Эти яркие зонтики живо напомнили Джиму наполненные горячим воздухом воздушные шары китайских фокусников, которые под занавес детских праздников на открытом воздухе, в саду на Амхерст-авеню, вдруг появлялись невесть откуда и улетали в небо. Что, летчики с «B-29» хотят таким образом развлечь его, не дать ему упасть духом, пока они заходят на посадку?

Парашюты плыли мимо и приземлиться должны были как раз в районе лагеря Лунхуа. Джим как мог попытался сфокусировать взгляд на разноцветных куполах. Два парашюта столкнулись, запутались стропами. Серебристый цилиндр рванул мигом скомкавшийся купол вниз и ушел в вертикальное пике, ударившись в насыпь ярдах в двухстах от того места, где сидел Джим.

Собравшись в последний раз, прежде чем лечь и уснуть навсегда под ржавеющими остовами самолетов, Джим продрался сквозь заросли сахарного тростника и шагнул в воду. Он добрел по мелководью до залитой водой бомбовой воронки почти посередине поля, обошел ее по краю, а

потом, вдоль кромки поля, вышел к каналу.

Пока он карабкался вверх по насыпи, последние парашюты упали в полях к западу от лагеря Лунхуа, гул моторов «Б-29» смолк где-то над Янцзы. Джим подошел к лежащему поперек дамбы огромному алому шатру, такому большому, что можно было бы накрыть им дом. Он смотрел на блестящую тонкую ткань, роскошнее которой в жизни не видал, на безукоризненные швы и строчки, на белые стропы, которые уходили в идущий вдоль канала дренажный сток.

Цилиндрический короб лопнул при падении. Джим спустился по склону, покрытому спекшейся от жары коркой, и сел на корточках над открытой горловиной цилиндра. Вокруг, на дне стока, лежало целое состояние, в самой твердой валюте: консервы и пачки сигарет. Ящик был до отказа набит картонными коробками; одна из них выпала из сужающейся кверху горловины, и все ее содержимое рассыпалось по земле. Джим ползал среди консервных банок и тер глаза, чтобы хоть с горем пополам прочесть, что на них написано. Здесь были банки «Спама», «Клима» и «Нескафе», плитки шоколада и обернутые в целлофан пачки «Лаки Страйк» и «Честерфилда», пачки «Ридерз дайджест» и «Лайф», «Тайм»

и «Сэтеди ивнинг пост».

Такое количество еды сбило Джима с толку, поставив его перед давно забытой проблемой выбора. Банки и упаковки были проморожены насквозь, как будто их только что вынули из добротной американской морозилки. Он начал складывать в картонную коробку банки с тушенкой и молоком, плитки шоколада и пачку «Ридерз дайджест». Потом, впервые за несколько дней подумав на шаг вперед, добавил блок «Честерфилда».

Когда он выбрался из стока, алый шатер парашюта тихо набух от сквозящего вдоль канала ветерка. Прижав свои ледяные сокровища к груди, Джим спустился с насыпи и побрел вброд обратно через рисовую делянку. Он шел по краю воронки к периметру аэродрома, когда в небе опять раздался неторопливый гул моторов «B-29». Он остановился и стал искать взглядом самолет, уже прикидывая, что станет делать с таким количеством падающих с неба богатств.

И почти в тот же самый момент раздался винтовочный выстрел. Ярдах в ста от Джима, на той стороне рисовой делянки, по насыпи бежал японский солдат. Босой, в разодранной форме, он промчался мимо алого парашюта, спрыгнул

с заросшего бурьяном бока насыпи и со всех ног понесся через рисовое поле. Вихрь поднятых его отчаянно работающими ногами брызг скрыл его почти с головой, а потом он и вовсе исчез среди погребальных курганов и островков дикого сахарного тростника.

Джим скрючился как мог на краю воронки, спрятавшись за несколькими стебельками одичавшего риса. На дамбе появился второй японский солдат. Он был без оружия, но ремни и портупея с подсумками были по-прежнему при нем. Добежав до парашюта, он остановился, чтобы перевести дыхание. Потом оглянулся через плечо, и Джим узнал припухшее от туберкулеза лицо рядового Кимуры.

За ним по дамбе гнались несколько европейцев с утяжеленными бамбуковыми дубинками в руках. У одного из европейцев была винтовка, но Кимура, не обращая на них внимания, взялся поправлять на выцветшей гимнастерке ремни. Потом он сбросил с ноги в воду окончательно развалившийся башмак и пошел вниз по насыпи к залитому водой полю. Он успел пройти шагов десять, когда раздался второй винтовочный выстрел.

Рядовой Кимура упал лицом вниз в мелково-

дье. Джим сидел, укрывшись за редкой порослью дикого риса, и смотрел, как европейцы подходят к парашюту. Они нервически переругивались между собой. Все они были из бывших британских заключенных, босые и в драных шортах, хотя в Лунхуа никто из них раньше не сидел. За старшего у них был взбудораженный молодой англичанин, у которого обе кисти были замотаны грязным бинтом. Должно быть, сидел все эти годы в подземном карцере, подумал Джим. Кожа у него была невероятно белая и поблескивала на солнце, как кожица вынутой из раковины улитки. Он размахивал забинтованными руками, как парой окровавленных сигнальных флажков, будто передавая сам себе предупреждение о каком-то особенно густом порыве ярости.

Все четверо начали скатывать купол парашюта. Несмотря на явные признаки долгого голодания, работали они быстро и вскоре вытянули из стока металлический ящик. Они загрузили в него все, что высыпалось при падении, привинтили на место коническую крышку и поволокли тяжелый цилиндр вдоль по дамбе.

Джим сидел и смотрел, как они мелькают между погребальными курганами, все ближе и ближе к лагерю Лунхуа. Его так и подмывало броситься

следом и присоединиться к ним, но прошедшие годы научили его прежде всего проявлять осторожность и лишний раз не высовываться. В пятидесяти футах от него лежал рядовой Кимура, и из спины у него растекалось, разворачивалось в воде красное облако, похожее на купол притопленного парашюта.

Пятнадцать минут спустя, убедившись, что никто не наблюдает за ним с окрестных рисовых полей, Джим выбрался из редкой поросли дикого риса и вернулся в свое укрытие среди обломков сбитых самолетов.

* * *

Торопливо, даже не вымыв рук в затопленном рисовом поле, Джим вскрыл консервный замок и закатал к краю банки «Спама» жестяную крышку. От розовой массы рубленого мяса, открывшегося солнцу как зияющая рана, пахнуло густым пряным духом. Он утопил пальцы в мясе и сунул кусок себе промеж губ. Во рту полыхнуло чужим, всепроникающим вкусом, вкусом животного жира. После нескольких лет вареного риса и сладкого картофеля его рот вдруг превратился в океан экзотических запахов. Тщательно пережевывая каждый кусочек, как учил доктор Рэнсом,

чтобы не упустить ни грана содержащихся в нем питательных веществ, Джим прикончил банку.

После всех этих солей и пряностей ему захотелось пить; он открыл банку «Клима» и обнаружил внутри белый порошок. Он набил этой жирной на ощупь пудрой рот, добрался сквозь бурьян до края поля и запил ее пригоршней теплой воды. Густая жирная пена тут же забила ему рот, нос и глотку, и его вырвало прямо в воду, белым пенистым ручьем. Джим смотрел на бьющий из него белоснежный фонтан и удивленно думал: неужто он умрет от голода только потому, что разучился есть? Потом он благоразумно прочел инструкцию на банке и намешал себе целую пинту молока, такого густого, что слой жира плавал поверху, как нефтяная пленка в окрестных ручьях и каналах.

Опьянев от еды, Джим откинулся на горячую траву и удовлетворенно взялся за плитку твердого, сладкого шоколада. Он только что завершил самую роскошную трапезу в своей жизни, и желудок стоял у него под ребрами, как туго накачанный футбольный мяч. Рядом, на поверхности воды, мигом налетевшая туча мух пировала на облаке белой блевотины. Джим вытер грязь со второй банки «Спама» и стал ждать японского летчика, чтобы вернуть ему долг за манго.

В трех милях к западу, в районе лагерей Хуньджяо и Сиккавэй, с лениво парящего в августовском небе «B-29» посыпались десятки разноцветных парашютов. Оказавшись в центре этого безумного миража, когда с неба вдруг свалились все сокровища Америки, Джим рассмеялся от счастья. И взялся за вторую, едва ли не более важную перемену блюд, проглотив разом шесть номеров «Ридерз дайджест». Он листал хрусткие белые страницы журналов, таких непохожих на те захватанные экземпляры, которые он до дыр зачитывал в Лунхуа. Они были полны заголовков и набранных жирным шрифтом ключевых фраз из мира, с которым он даже и близко не был знаком, а еще там была тьма незнакомых имен и названий — Паттон[53], Белзен, джип, GI[54],

[53] Примечания: 53

Джордж Смит Паттон мл. (1885–1945), американский генерал, командовал бронетанковыми частями, сперва в 1942 году в Северной Африке, затем, в 1943-м, — командир 7-й армии вторжения в Италию. В июне 1944 года командовал 3-й бронетанковой армией, которая вела наступление уже на территории Германии, затем — военный комендант Баварии. Погиб 21 декабря 1945 года в автокатастрофе.

[54] Примечания: 54

GI, от *Government Issue*, «правительственное имущество», солдат Вооруженных сил США, также «Джи-Ай Джо».

AWOL[55], Юта-бич, фон Рундштедт, «котел» и тысячи других подробностей большой европейской войны. Вместе взятые, они описывали героическое приключение, имевшее место на какой-то другой планете, исполненное сцен самопожертвования и стоицизма, бесчисленных героических деяний, целую вселенную, которая ничего общего не имела с той войной, которая разворачивалась на глазах у Джима в устье Янцзы, этой огромной реки, у которой, при всем ее величии, не хватало сил, чтобы вытолкнуть через устье в открытое море всех — бесчисленных — мертвых китайцев.

Утомленный роскошью иллюстрированных журналов, Джим клевал носом среди блевотины и мух. Пытаясь доказать «Ридерз дайджест», что и его война чего-нибудь да стоит, он вспомнил ослепительный белый свет от атомной бомбы в Нагасаки; он собственными глазами видел его отблеск, отразившийся в Южно-Китайском море. Это бледное гало до сих пор слоем лака лежало на тихих здешних полях, но ему, конечно, было

[55] Примечания: 55

Сокр. от *absent without official leave*; (находящийся) в самовольной отлучке.

не равняться с Днем Д[56] или с Арденнами. В отличие от войны в Китае, в Европе каждый твердо знал, на чьей он стороне — проблема, которую Джим так до конца для себя и не решил. Европейская война породила множество новых имен, новых слов. Но, может быть, она, таким образом, всего лишь решила перезарядить оружие, пополнить боезапас — здесь, у великих рек Восточной Азии, — чтобы затем длиться вечно и на другом, куда более двусмысленном языке, которым Джим уже начал понемногу овладевать?

35
Лейтенант Прайс

Вскоре после полудня Джим уже достаточно отдохнул, чтобы отвлечься от разрешения этого насущного вопроса и поесть во второй раз. Теплый «Спам», из которого вышел весь холод, накопленный за время полета в бомбовых люках «B-29», проскользнул у него между пальцами и упал в пыль. Он поднял маленький цилиндр из мяса и студня, счистил с него грязь и мух и вымыл

[56] Примечания: 56

D — Day — день высадки союзных войск на Атлантическом побережье Европы (6 июня 1944 г.).

остатками молока.

Вгрызаясь в плитку шоколада и думая о наступлении в Арденнах, Джим смотрел, как милях в двух к юго-западу утюжит небо еще один «B-29». Бомбардировщик шел в сопровождении истребителя, «Мустанга», который закладывал широкие круги в тысяче футов над «Суперкрепостью», так, словно пилоту откровенно наскучила рутинная работа по сопровождению транспортов с гуманитарной помощью. К земле потянулась пестрая стая парашютов, должно быть, предназначенная для группы изголодавшихся за это время узников Лунхуа, не замеченной японцами при отправке колонны на стадион в Наньдао.

Джим обернулся и окинул взглядом шанхайский горизонт. Интересно, а теперь у него хватит сил, чтобы пройти несколько самых опасных миль до западных пригородов? Может быть, родители уже успели вернуться в дом на Амхерставеню? После перехода от самого Сучжоу они, должно быть, голодны и будут рады последней банке «Спама» и блоку «Честерфилда». Улыбаясь себе под нос, Джим стал думать о маме — он уже совсем не помнил ее лица, но прекрасно мог себе представить ее реакцию на «Спам». А кроме того, ей теперь будет что почитать…

Джим встал, решительно настроившись пуститься в обратный путь, в Шанхай. Он похлопал себя по вздувшемуся животу, прикидывая, а не заболел ли он какой-нибудь новой американской болезнью, которая бывает, если съешь слишком много пищи за один присест. И в тот же миг увидел сквозь ветви дерева, как в его сторону обернулись разом несколько человеческих лиц. По окружной дороге, мимо разбитых самолетов, шли шестеро китайских солдат. Это были северные китайцы, высокие, широкие в кости, на них были синие стеганые куртки и туго набитые вещмешки за плечами. На мягких фуражках светились красные пятиконечные звезды, а командир нес пулемет незнакомой конструкции с решетчатым наствольником и барабанным магазином. На носу у него были очки, и он был моложе и более легкой комплекции, чем его бойцы, а взгляд — сосредоточенный, как у бухгалтера или студента.

Мерным шагом, так, словно они уже прошли не одну сотню миль, шестеро солдат лавировали между остовами самолетов. Они прошли в двадцати футах от Джима, который спрятал за спиной «Спам» и блок «Честерфилда». Он решил для себя, что это, должно быть, китайские ком-

мунисты. И при любых раскладах американцев они должны очень не любить. Если они увидят сигареты, то могут застрелить его прежде, чем он успеет объяснить, что когда-то всерьез подумывал стать коммунистом.

Но солдаты смотрели на него безо всякого интереса, на лицах у них не было той привычной и тревожащей смеси из подобострастия и презрения, с которой китайцы всегда смотрели на европейцев и американцев. Шли они быстро и вскоре скрылись за деревьями. Джим перебрался через ограду из колючей проволоки и отправился искать японского летчика. Он хотел предупредить его насчет солдат-коммунистов: японца они пристрелят тут же, не задумываясь.

Он уже решил, что в одиночку добираться до Шанхая не стоит. И Лунхуа, и Наньдао просто кишмя кишели вооруженными людьми.

Сперва он вернется в лагерь и присоединится к тем британским заключенным, которые застрелили рядового Кимуру. Как только они в достаточной степени окрепнут, им наверняка захочется вернуться в шанхайские бары и ночные клубы. А Джим достаточно покатался на «студебекере» мистера Макстеда, чтоб послужить им гидом.

* * *

Хотя до ворот лагеря Лунхуа была всего лишь миля с хвостиком, Джиму потребовалось два часа времени на то, чтобы преодолеть этот клочок пустынной сельской местности. Чтобы не проходить мимо рядового Кимуры, он перешел вброд через рисовую делянку, а потом пошел по дамбе в сторону шанхайской трассы. Склоны дамбы являли собой немое свидетельство недавних авианалетов. В канавах лежали выгоревшие грузовики и грузовые подводы, а рядом с ними — трупы солдат из марионеточных армий, лошадей и водяных буйволов. От тысяч рассыпанных повсюду пустых гильз разливалось неровное золотистое сияние, как если бы солдаты перед смертью перебирали награбленные сокровища.

Джим шел по тихой дороге и смотрел, как заходит с запада американский истребитель. Пилот сидел в кабине, откинув плексигласовый колпак; над Джимом он сбросил газ, так что стало слышно, как машина шуршит о воздух, и облетел его по кругу. Но тут Джим увидел, что пулеметные порты у самолета открыты и стволы глядят прямо на него, и ему пришло в голову, что летчик может убить его просто так, от скуки. Он поднял блок

«Честерфилда» и пачку «Ридерз дайджест» и показал их летчику, как подборку разноцветных паспортов. Пилот помахал ему рукой, заложил машину на крыло и взял курс на Шанхай.

Присутствие американского летчика приободрило Джима. Он уверенно прошел последние оставшиеся до лагеря несколько сот ярдов. Вид знакомых зданий, вышки и забора из колючей проволоки согрел его и прибавил уверенности в себе. Он возвращался домой, в свой настоящий дом. Если в Шанхае будет слишком опасно, может быть, отец с матерью переберутся с Амхерст-авеню сюда, к нему, и они все вместе станут жить в Лунхуа. С практической точки зрения жаль, конечно, что японские солдаты ушли и теперь некому охранять лагерь…

Подойдя к лагерю, Джим удивился, увидев, что китайцы, крестьяне и дезертиры вернулись на свое обычное место возле ворот. Они сидели, скрючившись, на самом солнцепеке и терпеливо смотрели на голого по пояс британца, который стоял за колючей проволокой. Вокруг костлявых бедер у британца был ремень, а на ремне — пистолет в кобуре. Джим сразу же узнал в нем мистера Таллоха, главного механика в шанхайском агентстве «Паккарда». Он всю войну

проиграл в карты в блоке D и оторвался от игры всего один-единственный раз: чтобы сцепиться с доктором Рэнсомом по поводу собственной очереди вывозить нечистоты, — знать он не знает никакой очереди и никуда идти не собирается. В последний раз Джим видел его лежащим возле караулки после неудачной попытки добраться пешком до Шанхая.

Теперь он стоял, опершись о ворота, расковыривал воспалившийся струп на губе и смотрел за тем, что происходило на плац-параде. Там двое британцев затаскивали в дверь караулки сброшенный с самолета металлический короб вместе с куполом парашюта. Третий стоял на крыше и разглядывал окрестности в японский полевой бинокль.

— Мистер Таллох… — Джим потянул ворота на себя, громыхнув висячим замком и запорной цепью. — Мистер Таллох, у вас ворота заперты.

Таллох с видимым неудовольствием воззрился на Джима: он явно не признал этого четырнадцатилетнего оборванца, а блок сигарет выглядел и вовсе подозрительно.

— Откуда ты, черт подери, взялся? Ты что, парень, британец, что ли?

— Мистер Таллох, я был в Лунхуа. Я прожил

здесь три года. — Таллох двинулся прочь, и Джим закричал ему вслед: — Я работал в больничке, с доктором Рэнсомом!

— Доктор Рэнсом? — Таллох вернулся к воротам и скептически воззрился на Джима. — Доктор Говновоз?..

— Точнее не бывает, мистер Таллох. Я как раз и возил для доктора Рэнсома это самое говно. Мне нужно добраться до Шанхая, мистер Таллох, чтобы найти отца с матерью. У нас там был «паккард», мистер Таллох.

— Он свое говно отвозил. — Таллох достал из подвешенного к ремню подсумка оставшуюся от сержанта Нагаты связку ключей. Он по-прежнему не был уверен, пускать ему Джима в лагерь или нет. — «Паккард», говоришь? Хорошая машина…

Он отворил ворота и махнул Джиму рукой: заходи. Услышав лязг цепи, из караулки вышел тот самый англичанин с забинтованными руками, который застрелил рядового Кимуру. Ему явно пришлось изрядно поголодать, но, несмотря на это, тело у него было сильное и дерганое, как будто все время на нервах, а еще очень бледное, особенно по контрасту с кровавыми пятнами на забинтованных костяшках пальцев. Такую меловую кожу и такие же безумные глаза Джим

видел у заключенных, которых выпустили на свет божий после того, как они по нескольку месяцев просидели в подземных камерах в полицейском участке на мосту. Грудь и плечи у него были сплошь усеяны шрамами от горящих сигарет; складывалось впечатление, будто его специально истыкали горячей кочергой, чтобы проверить, загорится он или нет.

— Запри ворота! — Он ткнул в сторону Джима забинтованной рукой. — Вышвырни его вон!

— Прайс, я знаю этого парня. Его родители купили у нас «паккард».

— Да пошел он! Если все, кто покупал у вас «паккарды», к нам сюда понабьются…

— Да, лейтенант, ты прав. Давай-ка, парень, вали отсюда. И побыстрей.

Джим попытался подставить под закрывающиеся ворота ногу в теннисной туфле, и лейтенант Прайс ударил его забинтованным кулаком в грудь. У Джима перехватило дыхание, и он тяжело рухнул на землю рядом с китайцами, которые молча сидели и смотрели на происходящее. «Спам» и блок «Честерфилда» он удержал, но вот «Ридерз дайджест», все шесть штук, выскользнули у него из-под рубашки и рассыпались по траве, где их тут же порасхватали крестьянки.

Маленькие полупрозрачные от голода женщины в черных брюках сидели вокруг Джима и держали в руках журналы, каждая по одному, как будто вознамерились организовать дискуссию по итогам европейской войны.

Прайс с грохотом захлопнул ворота прямо у них перед носом. Его откровенно приводило в бешенство все, что только попадалось на глаза: лагерь, пустые рисовые делянки и даже солнце в небе. Он затряс головой и тут вдруг заметил у Джима в руках банку «Спама».

— Ты откуда это взял? Все, что сбрасывают в Лунхуа, принадлежит нам! — Он что-то выкрикнул по-китайски, обращаясь к женщинам так, словно подозревал их в соучастии в краже. — Таллох!.. Они воруют наш «Спам»!

Он снова открыл ворота, чтобы отобрать у Джима банку, но тут с вышки раздался крик часового. Человек с биноклем выбежал на наружную лестницу и указывал рукой в сторону шанхайского тракта.

С запада появились два «B-29», мигом заполонив слитным гулом моторов тихие пустынные поля. Заметив лагерь, они разделились. Один пошел к Лунхуа, открыв бомбовые люки, чтобы сбросить груз. Другой сменил курс и полетел в

сторону района Путун, к востоку от Шанхая.

Когда «Суперкрепость» с ревом промчалась у них над головами, Джим скорчился рядом с китайскими крестьянами. Из ворот выбежали Прайс и еще трое британцев, вооруженных винтовкой и бамбуковыми палками, и пустились наискосок через ближайшее поле. В небе уже было полным-полно парашютов, алых и синих куполов, которые плыли в сторону рисовых делянок, в полумиле от лагеря.

Грохот моторов «B-29» стих вдалеке, превратившись в подобие отдаленного грома. Джима так и подмывало броситься следом за Прайсом и его людьми и предложить им свою помощь. Парашюты приземлились по ту сторону от системы старых противотанковых рвов. Британцы поняли, что добыча от них ушла, и разбрелись кто куда. Прайс взобрался на земляной редут и в ярости размахивал винтовкой. Один из британцев сполз в мелкий канал и брел теперь по пояс в воде, выбирая дорогу в труднопроходимой гуще водорослей; остальные бежали по насыпям между рисовыми делянками.

Таллох стоял и смотрел на них, и в глазах у него читалась безнадежность. Джим встал и протиснулся мимо него сквозь ворота. Бывший механик

расстегнул кобуру и положил руку на рукоять тяжелого пистолета. Вид падающих парашютов взбудоражил его; похожие на бечевку прядки мускулов на плечах и руках возбужденно подрагивали и переплетались подобием «кошачьей колыбели».

— Мистер Таллох, а война кончилась? — спросил Джим. — Правда кончилась?

— Война?.. — Таллох, казалось, давно успел забыть о том, что она вообще когда-то и где-то была. — Лучше бы, чтоб так, парень, а не то того и гляди начнется следующая.

— Я тут неподалеку видел солдат-коммунистов, мистер Таллох.

— Их тут как грязи. Ну ничего, погоди, лейтенант Прайс и до них доберется. Давай-ка мы припаркуем тебя в караулке, а, парень? И смотри, не попадайся ему на глаза…

Джим двинулся следом за Таллохом через плац-парад, а потом они вместе вошли в караулку. Когда-то безукоризненно чистый пол комендатуры, который каждый день драили, в перерывах между избиениями, заключенные-китайцы, теперь был сплошь покрыт грязью и мусором. Списки и другие японские документы валялись вперемешку с пустыми пачками из-под «Ла-

ки Страйк», использованными винтовочными обоймами и рваными армейскими башмаками. Вдоль дальней стены стояли десятки коробок с продовольствием. Голый британец лет пятидесяти, бывший бармен из «Шанхай кантри-клаба», сидел на бамбуковом табурете и сортировал тушенку, сигареты и кофе. Плитки шоколада он складывал стопками на столе коменданта, а пачки «Ридерз дайджест» и «Сэтеди ивнинг пост» резким движением отшвыривал в сторону. В комендатуре пол был сплошь усыпан рваными журнальными страницами.

Рядом с ним сидел молодой солдат-британец в лохмотьях, оставшихся от формы сифортского полка шотландских горных стрелков, и обрезал с парашютов нейлоновые стропы. Веревки он скатывал в бухты, а потом отточенными движениями складывал полотнища синего и алого шелка.

Таллох окинул взглядом эту сокровищницу с явственно читающимся на лице чувством священного ужаса перед невероятным богатством, которое удалось собрать ему и его товарищам. Джима он от двери оттолкнул, словно опасаясь, что при виде такого количества шоколада мальчик попросту съедет с катушек.

— Ты сюда даже и не пялься, сынок. Садись-ка вот здесь и лопай свой «Спам».

Но Джим смотрел вовсе не на шоколад, а на разбросанные по полу журналы. Ему хотелось собрать их все листочек к листочку и спрятать в надежном месте, чтобы хватило на следующую войну.

— Мистер Таллох, мне, пожалуй, уже пора идти в Шанхай.

— В Шанхай? Да там нет ничего, если не считать шести миллионов подыхающих с голоду кули. Ты не успеешь произнести «Шоссе Кипящего Колодца», а они уже сделают тебе обрезание. По полной.

— Мистер Таллох, мои родители…

— Па-арень! Хотел бы я посмотреть на чьих угодно родителей, которым сейчас придет в голову сунуться в Шанхай. Что им там делать? Менять доллары Федерального резервного банка на сотню мешков риса? Да тут жратва сама с неба сыплется.

Над рисовыми полями эхом раскатился винтовочный выстрел, и следом еще два, один за другим. Оставив голого бармена присматривать за сокровищницей, Таллох и сифортский горный стрелок выскочили из караулки и вскарабкались

по наружной лестнице на смотровую вышку.

Джим начал было собирать и расправлять журналы на полу комендатуры, но бармен накричал на него и велел убираться вон. Предоставленный самому себе, Джим вышел в тюремный дворик за комендатурой. С банкой теплого «Спама» в руках, он принялся заглядывать в пустые камеры, рассматривая пятна присохшей крови и экскрементов на бетонных стенах.

В самой дальней камере, в тени подвешенной на дверной решетке циновки был труп японского солдата. Он лежал на цементной скамье — на единственном в камере предмете обстановки, — и его плечи были туго примотаны к стойкам разбитого деревянного стула. Вместо головы у него было кровавое месиво, сплошь усыпанное мухами и похожее на разбитый арбуз с черными арбузными семечками.

Джим стоял и смотрел на солдата сквозь решетку, искренне не понимая, как так могло случиться, чтобы один из тех японцев, которые столько лет охраняли его, попал в тюрьму и чтобы его забили насмерть в одной из его же собственных камер. Смерть рядового Кимуры он принял, поскольку она совершенно логично вписалась в анонимную безликость затопленного рисового

поля, но вот это из ряда вон выходящее нарушение правил, управлявших до сей поры жизнью лагеря, убедило наконец Джима в том, что война, должно быть, и в самом деле закончилась.

Джим вернулся в комендантскую, оставив за спиной тюремный двор. Он сел за стол сержанта Нагаты — роскошь, о которой прежде даже и мечтать бы не посмел, — и принялся читать разрозненные, с недостающими страницами номера «Лайф» и «Сэтеди ивнинг пост». Но великолепные, удивительные объявления, заголовки и рекламные слоганы — «Когда люди научатся делать Машины Лучше Нынешних, выпускать их будет “Бьюик”!» — как-то перестали его занимать. Несмотря на все то количество пищи, которое он съел за последнее время, голова у него была как будто в тумане: из-за необходимости найти способ добраться до Шанхая и из-за всех тех пертурбаций, которые произошли в устоявшемся и вполне безопасном пейзаже войны после невесть откуда свалившегося, непредсказуемого мира. Мир настал, но даже и настал он как-то наперекосяк.

Сквозь разбитое окошко Джим видел, как через реку, милях в двух от лагеря, перелетел «B-29», выискивая среди Путунских складов каких-нибудь

бывших заключенных. Сидевшие у ворот Лунхуа крестьяне не обращали на бомбардировщик никакого внимания. Джим уже давно заметил, что китайцы вообще никогда не поднимают головы, чтобы взглянуть на пролетающий самолет. Они были гражданами одной из воевавших с Японией стран-союзниц, но вся эта гуманитарная помощь была не про них.

Он слышал злые голоса британцев, которые возвращались из своего неудачного набега на окрестные поля. Они сделали все, что могли, но разжились в итоге всего-навсего двумя новыми коробами. Лейтенант Прайс встал возле ворот — винтовка в подрагивающих руках на изготовку, — а все остальные принялись затаскивать короба в лагерь. Пот лил с них ручьями и капал на алый парашютный шелк. Остальные парашюты растаяли где-то в полях: таинственные обитатели погребальных курганов увели их из-под самого носа у лейтенанта Прайса.

Огромные, как бомбы, короба лежали на полу комендатуры. Голый бармен сел верхом сперва на один, потом на другой, пятная пóтом серебристую полированную поверхность, а сифортский горный стрелок сшибал с горловин заглушки прикладом винтовки. Потом они стали рвать

картонные коробки, выгребая тощими руками банки с тушенкой и кофе, шоколад и сигареты. За спиной у них стоял лейтенант Прайс, и кости у него в плечах ходили ходуном, как кастаньеты. Он был разом возбужден и изможден, и ему нужно было сорвать на ком-то или на чем-нибудь грызущее его изнутри раздражение и найти применение той ярости, которую он открыл в себе, пока забивал насмерть японского солдата.

Он заметил Джима, тихо читавшего журналы за столом сержанта Нагаты.

— Таллох! Он опять тут как тут! Этот твой недомерок с «паккардом»…

— Этот парень жил тут в лагере, лейтенант. Работал на одного здешнего доктора.

— Что он тут всюду сует свой нос! Иди запри его в какой-нибудь камере!

— Да он вообще-то не из особо разговорчивых, лейтенант. — Таллох взял Джима за руку и нехотя потянул в сторону тюремного двора. — Он шел сюда пешком от самого стадиона в Наньдао.

— Наньдао?.. Большой стадион? — Прайс обернулся к Джиму с видимым интересом, с простодушным интересом фанатика. — И сколько же ты там просидел, а, пацан?

— Три дня, — ответил Джим. — Или нет, на-

верное, дней шесть. Как раз пока война не кончилась.

— Да он считать не умеет.

— Зато, сдается мне, он замечает все, что нужно, лейтенант.

— Это уж точно. Это наверняка. Шастает вокруг и вынюхивает. Ну, пацан, и что же ты там видел, на этом стадионе? — Прайс эдак по-свойски подмигнул Джиму. — Оружие? Склады?

— Там в основном машины, — принялся объяснять Джим. — По крайней мере пять «бьюиков», два «кадиллака» и еще «Линкольн Зефир».

— К черту машины! Тебя что, в гараже рожали? Что еще ты там видел?

— Кучу ковров и всякой мебели.

— Что, шубы? — вмешался Таллох. — Лейтенант, на тамошних складах артиллерии не было. А как насчет виски, а, сынок?

Прайс выдернул у Джима из рук «Лайф».

— Брось ты это дело, глаза испортишь. Слушай, что тебе говорит мистер Таллох. Ты видел там виски?

Джим отступил на шаг, так, чтобы между ним и этим психом оказались авиационные короба. Руки у лейтенанта, словно от возбуждения, от ощущения близости спрятанных на стадионе На-

ньдао сокровищ, снова принялись кровоточить под бинтами. Джим знал, что лейтенанту Прайсу больше всего хотелось бы сейчас остаться с ним наедине и забить его насмерть, не потому, что он такой жестокий человек, а просто потому, что только зрелище переживаемой другим человеком боли может прогнать картину тех страданий, которые пришлось перенести ему самому.

— Там вполне могло быть и виски, — тактично сказал он. — Там было полным-полно баров.

— Баров?.. — Прайс перешагнул через лежащие на полу блоки «Честерфилда» и изготовился ударить Джима по лицу. — Я тебе сейчас покажу бары…

— Коктейль-бары, шкафы такие для спиртного — по крайней мере штук двадцать. А в них вполне могло быть виски.

— Это просто отель какой-то. Таллох, что у вас тут, ребята, была за война такая? Ладно, пацан, что еще ты там видел?

— Я видел атомную бомбу, которую сбросили на Нагасаки, — ответил Джим. Голос у него стал чистым и звонким. — Я видел белую вспышку! А теперь война кончилась?

Мужчины вокруг, все в поту, отложили коробки и банки. Лейтенант Прайс смотрел на Джима,

он был удивлен этой последней его фразой, но уже был на грани того, чтобы в нее поверить. Он прикурил сигарету, и в этот самый миг над лагерем пронесся американский самолет, одинокий «Мустанг», который взял курс домой, на базу, на Окинаву. Сквозь рев двигателей Джим прокричал еще раз:

— Я видел атомную бомбу!..

— Н-да… должно быть, ты ее на самом деле видел.

Лейтенант Прайс поправил повязки на кровоточащих кулаках. Он яростно затянулся сигаретой. Глядя на Джима голодным взглядом, он подобрал со стола экземпляр «Лайф» и вышел из караулки. Сквозь утихающий вдали над полями рокот авиационного мотора они слышали, как он ходит взад-вперед по тюремному двору и стучит о решетки свернутым в трубку журналом.

36
Мухи

Лейтенант Прайс — он что, и в самом деле поверил в то, что его отравила атомная бомба? Джим шел через плац-парад, поглядывая по сторонам на пустые бараки и спальные блоки. Солнце било

в открытые окна, так, словно обитатели всех этих комнат только что попрятались, заметив, что он уже близко. Упоминание о налете на Нагасаки в сочетании с добычей, которая ждала Прайса на стадионе в Наньдао, слегка остудило бывшего офицера нанкинской полиции. Джим около часа помогал взрослым разгружать короба с гуманитарной помощью, и Прайс не стал возражать даже тогда, когда Таллох оделил юного рекрута плиткой американского шоколада. Образы, связанные с насилием и голодом, перемешались у Прайса в голове и существовали бок о бок — уже давно, все те годы, что он провел в плену у нанкинских китайцев-коллаборационистов.

Держа в руках банку «Спама» и пачку журналов «Лайф», Джим взобрался по лестнице и вошел в нижний вестибюль блока D. Он задержался у доски объявлений, разглядывая выцветшие лагерные бюллетени и приказы коменданта. Потом зашел в спальни и принялся ходить вдоль выстроенных рядами коек. После исхода заключенных японцы сломали все самодельные выгородки, так, словно надеялись найти что-то ценное в этой мешанине из грязных, в пятнах мочи матрацев и мебели, сколоченной кое-как из планок от упаковочных ящиков.

И все же, несмотря на царившее в лагере запустение, он, казалось, был готов в любой момент принять должное количество постояльцев. Возле блока G Джим зацепился глазом за спекшуюся землю, на которой остались глубокие, годами наезженные колеи от железных колес раздаточных тачек, и все сходились в одной точке, возле кухни. Он постоял в дверях своей комнаты, почти не удивившись тому обстоятельству, что журнальные вырезки по-прежнему пришпилены к стене у него над койкой. В последние минуты перед тем, как отправиться в Наньдао, миссис Винсент сорвала с его выгородки занавеску, удовлетворив многолетнее желание занять всю комнату. Занавеска, аккуратно сложенная, лежала у Джима под койкой, и он поймал себя на желании натянуть ее заново.

В комнате стоял легко узнаваемый запах, запах, которого он не замечал все эти годы, разом притягательный и неоднозначный. Он понял, что именно так пахло тело миссис Винсент, и на секунду ему показалось, что и она тоже вернулась в лагерь. Джим растянулся на койке миссис Винсент и, балансируя банкой «Спама» на лбу, стал рассматривать комнату под этим непривычным углом зрения — привилегия, которой

он ни разу не удостоился за все то время, которое здесь прожил. Его притулившаяся к дверному косяку выгородка сильно смахивала отсюда на один из тех нелепых шалашиков из циновок и старых газет, которыми шанхайские нищие обстраивали на ночь собственное тело. Должно быть, он часто казался миссис Винсент чем-то вроде зверя в логове. Ничего удивительного, думал Джим, рассматривая экземпляр «Лайф», в том, что его присутствие так сильно раздражало миссис Винсент, что она настолько остро хотела от него избавиться — хотя бы и посредством его, Джима, смерти.

Джим лежал на соломенном тюфяке, впитывая запах ее тела, пытаясь угнездить бедра и плечи в неглубоких вмятинах, которые она оставила после себя. С точки зрения миссис Винсент, эти проведенные вместе три года выглядели немного иначе; два-три шага в пределах крошечной комнатенки, и вот тебе уже совсем другая война, совсем другое испытание для этой женщины с изможденным мужем и больным ребенком.

Джим думал о миссис Винсент с приязненным чувством, и ему хотелось, чтобы они по-прежнему были вместе. Ему недоставало доктора Рэнсома, и миссис Пирс, и компании мужчин, которые

целыми днями сидели на ступеньках — как ни выйдешь из вестибюля, они тут как тут. Джиму пришло в голову, что и они тоже могут скучать сейчас по Лунхуа. Может быть, когда-нибудь они тоже вернутся в лагерь.

Он вышел из комнаты и двинулся дальше по коридору, к заднему входу, где обычно играли дети. Следы их игр — в классики, в шарики, в боевой волчок — до сих пор были видны на земле. Джим вбросил в игровое поле для классиков плоский камушек и лихо провел его вплоть до самой последней клетки, а потом отправился дальше, осматривать пустой лагерь. Он уже чувствовал, как Лунхуа заново собирается вокруг него, принимает его к себе.

На подходе к больничке он начал думать: а вдруг доктор Рэнсом сидит сейчас там? У входа в шестой барак лежал в луже насквозь промокший костюм Пьеро, оставленный «Комедиантами Лунхуа». Джим остановился, чтобы протереть банку «Спама». Он аккуратно вытер крышку банки кружевным воротником, вспоминая при этом лекции доктора Рэнсома по личной гигиене.

Бамбуковые жалюзи на окнах больнички были опущены, так, словно доктор Рэнсом в приказном порядке устроил своим пациентам послеобе-

денный сон. Джим взобрался на крыльцо, и ему показалось, что изнутри доносится какое-то невнятное бормотание. Как только он отворил дверь, его окутало плотное облако мух. Ошалев от яркого света, они все разом ринулись в дверной проем, как будто пытаясь сбросить на ходу прилипший к крыльям тяжелый ДУХ.

Смахнув мух с губ, Джим зашел в мужскую палату. Гнилостный воздух стекал с фанерных стен, и в нем купались мухи и пировали на сваленных грудами на койках мертвых телах. Похожие на отбракованные туши в не прошедшей санитарного контроля скотобойне, различимые разве что по драным шортам, по платьям в цветочек и по кое-как напяленным на распухшие ноги деревянным башмакам, здесь лежали десятки бывших обитателей Лунхуа. Спины и плечи у них блестели от слизи, а рты с вывернутыми, между раздувшихся щек, губами были раскрыты, как будто этих разжиревших мужчин и женщин силком оторвали от банкета, а они не успели утолить даже первого аппетита и мучились теперь от голода.

Он прошелся по темной палате, плотно прижав к груди банку «Спама» и дыша сквозь притиснутую к носу пачку журналов. Лица у мертвых

были совершенно карикатурные, но некоторых Джим все-таки узнал. Он искал доктора Рэнсома и миссис Винсент, решив, что сюда свезли тех заключенных, которые отстали от колонны во время обратного перехода от стадиона до лагеря. Мухи суетились на гниющих телах: им откуда-то уже было известно, что война кончилась, и теперь они решили не упустить ни единого лоскутка человеческой плоти, чтобы наесться впрок в ожидании голодного мирного времени.

Джим стоял на ступеньках больнички и смотрел на пустой лагерь и на тихие поля за колючей проволокой. Мухи вскоре отстали от него и вернулись в палату. Он пошел в сторону больничного огородика. Прогулялся между полуувядшими растениями, раздумывая, не полить ли их прямо сейчас, и сорвал два последних томата. Он поднес было один из них ко рту, но остановился, вспомнив свои былые страхи: а что, если его душа уже умерла тогда, на стадионе в Наньдао, и теперь живет только тело? Если душе не удалось выбраться из тела, и она умерла прямо там, внутри, то, может быть, тело тоже не стоит кормить, а то он раздуется, как трупы в больничке?

* * *

Поднявшись на балкон актового зала, Джим сидел и вспоминал свою последнюю ночь на стадионе в Наньдао. Ближе к вечеру к лагерным воротам подошел китайский торговец в сопровождении трех кули. Они принесли на длинных бамбуковых коромыслах глиняные кувшины с рисовым вином. Джим сидел и смотрел, как возле караулки оформляется бартерная сделка. Лейтенант Прайс был все-таки не дурак и вовремя закрыл дверь в комендатуру, чтобы китайцы не увидели всех тамошних сокровищ. Кувшины с вином ушли за несколько блоков «Лаки Страйк» и за одно-единственное парашютное полотнище. Торговец ушел, следом за ним ушли кули с тюком парашютного шелка, и британцы очень скоро все перепились. Джим решил, что сегодня ему не стоит возвращаться в караулку. В густеющей темноте то и дело маячило белое тело лейтенанта Прайса с разгоревшимися от вина красными ожогами от сигарет на груди.

Джим сидел на балконе и смотрел на аэродром Лунхуа. Он осторожно открыл банку «Спама». Жаль, что нельзя разделить ее с доктором Рэнсомом. Поднеся ко рту первую порцию теплого

мяса, он вспомнил о трупах в больничке. Вид мертвых заключенных ничуть его не испугал. Если честно, он все это время прекрасно отдавал себе отчет в том, что отставших во время перехода из Лунхуа в Наньдао либо оставили умирать, либо убили прямо на месте. И все-таки рубленое мясо в банке отчего-то ассоциировалось у него с теми распухшими трупами. Каждый кусок был покрыт точно такой же на вид слизью. Живые, которые едят или пьют слишком быстро, как Таллох или этот полицейский лейтенант с вечно окровавленными руками, скоро присоединятся к лежащим в больничке обожравшимся мертвым. Еда кормит смерть, жадную и затаившуюся до времени смерть, которая угнездилась в их же собственных телах.

Джим слушал доносившиеся из караулки пьяные крики, а потом целый град выстрелов: это Прайс решил пострелять из винтовки над головами сидящих за воротами китайцев. Эта фигура, этот альбинос с выцветшей от долгого сидения в подземной тюрьме кожей и с забинтованными руками, внушал Джиму страх — первый из мертвых, которые восстанут из земли, чтобы развязать следующую мировую войну.

Он дал глазам отдохнуть на уверенной геомет-

рии взлетно-посадочной полосы. В четырехстах ярдах от актового зала между разбитыми самолетами ходил молодой японский летчик. В руке у него была бамбуковая палка, и он что-то искал ею в крапиве. Его мешковатый летный костюм, подсвеченный сумеречным воздухом, напомнил Джиму о другом пилоте, и тоже в сумерках, который три года назад спас ему жизнь и открыл ему ворота в Лунхуа.

37
Забронировать комнату

Едва рассвело, Джима разбудили первые разведывательные полеты американских истребителей. Спал он в эту ночь на койке миссис Винсент и теперь из окошка в блоке G смотрел, как пара «Мустангов» кружит над пагодой на аэродроме Лунхуа. Час спустя над лагерями для интернированных и военнопленных вокруг Шанхая снова начали сбрасывать гуманитарную помощь. Из утренней дымки над Янцзы одно за другим появлялись звенья «B-29» и, открыв бомбовые люки, утюжили воздух над пустынными рисовыми полями, — армада пустых лимузинов внаем, в ожидании случайного клиента.

Теперь, когда война кончилась, американские бомбардировщики то ли не хотели сбрасывать груз прямо в цель, то ли им это занятие окончательно приелось. Они избавлялись от багажа где-нибудь прямо над полем, в пределах прямой видимости от лагеря, и, качнув на прощание крыльями, неторопливо удалялись восвояси, исполнив таким образом свой ежедневный долг, — что страшно злило Таллоха и лейтенанта Прайса.

Когда же наконец в Шанхай придут американские войска и американский военно-морской флот? С крыши блока G Джим внимательно разглядывал гладкое зеркало реки в трех милях к северу. Вполне понятно, что американцы осторожничают и не заходят в устье Янцзы, опасаясь, что отдельные капитаны японских подлодок могли не согласиться с капитуляцией. Но пока они туда не войдут, Джиму тоже не стоит в одиночку пускаться на поиски отца и матери. Весь Шанхай и прилегающая к нему сельская местность представляли сейчас собой ничейную землю, где не было ни мира, ни войны, вакуум, который очень скоро захочет заполнить своими людьми каждый оказавшийся поблизости полевой командир, каждый китайский генерал-переметчик.

Дождавшись, пока Прайс и его люди отправятся на поиски парашютов, Джим спустился и пошел в караулку. Воздушная волна от мощных двигателей гуманитарной «Суперкрепости» нагнала из больнички гнилостную вонь, которая потом пеленой висела над лагерем еще на протяжении нескольких часов. Но Таллох, казалось, ничего подобного попросту не замечал. Как только лейтенант Прайс исчезал из пределов прямой видимости — призрак отправился к погребальным курганам охотиться на других призраков, — Таллох не имел ничего против присутствия Джима в комендантской. Джим первым делом подошел к выставленным у стены консервным банкам. Он наскоро позавтракал «Спамом» и порошковым молоком, а потом уселся за стол сержанта Нагаты и принялся жевать плитку шоколада и разбирать по порядку американские журналы.

Чуть позже, когда Таллох отправился издеваться над увеличивающейся день ото дня толпой голодных китайцев у ворот лагеря, Джим забрался по лестнице на смотровую вышку. Оттуда было видно, как Прайс и его команда обшаривают русла ручьев к западу от лагеря. Они объединились с еще одной группой бывших заключенных из лагеря в Хуньджяо, и теперь

по насыпям между противотанковыми рвами бегали вооруженные люди и стреляли куда-то в сторону, поверх затопленных рисовых делянок. Уже было ясно, что бывшие британские пленные — не единственные падальщики на этой равнине. За несколько недель до конца войны из всех близлежащих китайских деревень ушли жители; теперь они возвращались. По округе шастали банды кули, обдирая покрышки и панели кузовов со сгоревших японских грузовиков. По дорогам брели взводы бывших гоминьдановских солдат, которые перебежали в свое время на сторону коллаборационистов; они прекрасно знали, что их ожидает, если они попадут в руки своих бывших товарищей-националистов, но в окрестностях Шанхая можно было поживиться американской гуманитарной помощью, и их тянуло сюда как магнитом. Пока Джим стоял на вышке, мимо ворот Лунхуа пробрела целая рота таких вот совершенно деморализованных солдат. При полном вооружении, в драных мундирах с сорванными знаками различия, они прошли всего в нескольких футах от одинокого специалиста по «паккардам», который стоял на страже своих сокровищ: шоколада и «Сэтеди ивнинг пост».

В полдень, когда вернулся завернутый, как по-

койник, в полотнище алого парашютного шелка лейтенант Прайс в сопровождении волокущих очередной короб подчиненных, Джим сгреб свою кипу журналов и удалился в блок G. Он провел еще целый час, разбирая их по порядку, а потом отправился на прогулку по лагерю, стараясь держаться подальше от больнички. Он перебрался через колючую проволоку и принялся обследовать заросшую бурьяном полосу земли между лагерем и аэродромом Лунхуа, надеясь обнаружить где-нибудь поблизости ту самую черепаху, которую выпустил здесь на волю за пару недель до конца войны.

Но в канале за забором не было ничего, кроме тела мертвого японского летчика. Ряд объектов на территории аэродрома Лунхуа — пагода, казармы и диспетчерская вышка — был занят передовой частью гоминьдановских войск. По какой-то непонятной причине японские пилоты и солдаты из наземных служб даже и не пытались уйти с аэродрома и жили теперь в захламленных ангарах и ремонтных мастерских. Каждый день солдаты-националисты вытаскивали оттуда нескольких японцев и убивали их на ничьей земле к югу или к западу от летного поля.

При виде мертвого японского летчика, который

плавал в канале лицом вниз среди сброшенных «Мустангами» дополнительных баков, Джим расстроился не меньше, чем при виде мертвых британцев в лагерной больничке. С этого момента он решил больше не выходить за территорию лагеря. По ночам он спал на койке миссис Винсент, а днем сортировал американские консервы и шоколад или раскладывал по порядку свою коллекцию журналов. Теперь у него была уже целая библиотека, которую он аккуратно разложил по свободным койкам у себя в комнате. «Тайм», «Лайф» и «Ридерз дайджест» осветили, казалось, все мыслимые аспекты войны, мира одновременно знакомого и совершенно не похожего ни на что из того, что он видел в Шанхае и в Лунхуа. По временам, когда он внимательно изучал эффектные репортажи о танковых сражениях и о взятии береговых плацдармов, ему казалось, что он и вовсе понятия не имеет, что такое война.

Тем не менее он продолжал собирать журналы с пола в комендантской и всякий раз прятал под ними пару лишних банок «Спама» и порошкового молока, поскольку предусмотрительно начал собирать свой собственный запас продовольствия. Джиму уже стало ясно, что американцы сбрасывают продовольствие все реже и реже, и

рано или поздно они и вовсе перестанут этим заниматься. Теперь, когда сил у него стало куда больше против прежнего, Джим мог в свое удовольствие рыскать по лагерю, и самую большую радость доставили ему найденные под койкой в блоке D теннисная ракетка и банка с мячиками.

* * *

На третье утро, когда Прайс и его люди стояли с биноклями на крыше караулки, нетерпеливо выглядывая в небе американские самолеты, к воротам лагеря подъехал допотопный грузовой «опель». В кабине сидели двое голых по пояс британцев, бывшие узники Лунхуа, а в кузове тряслись их дети и жены-китаянки вместе со всем своим скарбом. В последний раз Джим видел этих двоих мужчин, старших рабочих с судоремонтного завода «Моллер Лайн», на стадионе Наньдао — в то утро, когда кончилась война, они поднимали капоты белых «кадиллаков» и копались в моторах. Каким-то образом им все-таки удалось добраться до Шанхая и разыскать свои семьи, не интернированные в свое время японцами. В городе они явно оказались не ко двору и вот теперь решили вернуться в Лунхуа.

Они уже успели по дороге разжиться своей

первой добычей. В кузове лежал похожий на бомбу цилиндрический авиационный короб, рядом с которым маленькие дети в китайских рубашонках казались еще меньше, чем были в действительности. Джим стоял у окна Бейси и смотрел с довольной улыбкой, как Таллох и лейтенант Прайс спускаются с крыши караулки. Они подошли к воротам, но открывать их не стали. Тут же разгорелась жестокая перепалка — между Прайсом и бывшими заключенными Лунхуа, которые то и дело яростно тыкали пальцами в сторону блока Е, теперь совершенно пустого, если не считать тихо смеющегося себе под нос четырнадцатилетнего мальчика в окошке верхнего этажа.

Джим замолотил кулаками о цементный подоконник, а потом помахал рукой двоим бывшим заключенным и их сердито насупившимся женам-китаянкам. Все эти годы они только и мечтали о том, чтобы найти способ удрать из лагеря, и вот теперь сами же просят впустить их обратно, чтобы занять свои места в преддверии Третьей мировой войны. Много же им понадобилось времени, чтобы понять простую истину, которую Джим знал всегда, — что в пределах Лунхуа они свободны.

Ворота отворились; сделка состоялась. «Опель» произвел-таки впечатление на лейтенанта Прайса. Через минуту оба британца вместе с женами и детьми уже спешили через плац-парад к блоку D, а за ними по пятам мчались первые утренние «Мустанги». Налетевшая на лагерь следом за самолетами воздушная волна всколыхнула и погнала сквозь пустые здания смрадный ветер, трупную вонь, которую несла на крыльях туча объевшихся мух.

Китайские нищие у ворот прикрыли лица. Но Джим вдохнул этот смрад полной грудью, оставив за колючей проволокой свои недавние мысли о больничке и о мертвом японском летчике, который плавает в канале. Настало время позабыть о мертвых. Лагерь на свой лад начал понемногу оживать. Несколько дней на порошковом молоке и шоколаде сделали Джима сильнее, но не настолько, чтобы он смог выдержать долгий переход до Шанхая. В лагерь станут возвращаться другие люди, и, может быть, среди них окажутся и отец с матерью. Даже если американцы станут сбрасывать еще меньше еды, чем сейчас, продовольствие так или иначе будет поступать регулярно. Джим посмотрел вниз, на заброшенные кухни по ту сторону караулки и

на ржавеющую рядом с ними груду раздаточных тачек. Он уже поймал себя на мысли, что съел бы сейчас сладкую картофелину…

Его туфли звонко печатали шаг по пустым коридорам и дальше вниз, по каменным ступеням крыльца. Выбежав из вестибюля, он услышал, как ритмично застучал мотор «опеля». Таллох и сифортский горный стрелок грузили в кузов через задний борт скатку парашютного шелка и ящики с консервами.

— Джим! Вот ты где! — Таллох жестом подозвал его к себе. — И куда это ты собрался?

— В блок G, мистер Таллох. — Джим запыхался, хватанул воздух ртом и облокотился о трясущееся, как в лихорадке, крыло «опеля». В дверях караулки стоял лейтенант Прайс и методично вщелкивал патроны в магазин винтовки, с видом скряги, который тайком ото всех пересчитывает золотые монеты. — Я хотел забронировать комнату для родителей — может так случиться, что они тоже приедут в Лунхуа. Я и вам забронирую комнату, мистер Таллох.

— Джим… Джим… — Таллох положил руку Джиму на голову, пытаясь унять этого перевозбудившегося мальчика. — Знаешь что, сдается мне, теперь самое время поехать и попытаться найти

твоего отца. Война закончилась, Джим.

— А как насчет следующей войны, мистер Таллох? Вы же сами сказали, что она вот-вот начнется.

Механик подсадил Джима в кузов.

— Джим, прежде чем начать новую войну, нужно сперва рассчитаться со старой. Мы тебя подбросим — ты едешь обратно, в Шанхай!

38
Дорога на Шанхай

Грузовик бросало от одной обочины шанхайского тракта к другой, и Джим то и дело падал на болтавшуюся туда-сюда скатку парашютного шелка. Он цеплялся за стоящие вокруг него коробки с НЗ и слушал, как в кабине орут, пытаясь перекричать трубный рев мотора, Таллох и лейтенант Прайс.

Сквозь выцветший камуфляж заднего окошка кабины Джим видел забинтованные руки бывшего полицейского, нарочито, напоказ поднятые над рулем, так что идущая на скорости машина вильнула в сторону и едва не слетела с дороги. Колеса чиркнули по кромке насыпи, подняв вихрь пыли и опавших листьев. Таллох сидел на

пассажирском сиденье, поставив рядом с собой кувшин с вином и высунув в открытое окно ствол винтовки. Когда между разбитыми осколками авиабомб деревьями показались многоэтажки Французской концессии, он радостно забарабанил кулаком в дырявый брезентовый тент.

Лейтенанта Прайса явно нельзя было сажать за руль, но, несмотря на это, Джим был рад, что они с Таллохом оба в таком приподнятом настроении. Когда они выехали из лагеря, лейтенант долго не мог отыскать вторую скорость, и в результате свою первую милю по шанхайскому тракту они проползли с жутким ревом и со скоростью пешехода; Джим уже начал бояться, что в радиаторе вот-вот выкипит вода. Потом в районе Хуньджяо американцы сбросили очередную порцию парашютов, и к Прайсу мигом вернулись водительские навыки. Они долго громыхали по проселкам и насыпям, пытаясь сопроводить парашюты вплоть до места приземления и радуясь тому обстоятельству, что смогут теперь продать на шанхайском черном рынке такое огромное количество американских товаров.

Однако всякий раз кому-то удавалось добраться до сокровища раньше их. Битых полчаса они носились по заброшенным рисовым полям, а

в итоге так и не нашли ни единого авиационного короба. Прайс размахивал винтовкой и был готов перестрелять весь белый свет.

К счастью, Прайс вскоре сбавил обороты. Едва вырулив обратно на шанхайский тракт, лейтенант направил грузовик прямо на тело мертвого японского курьера, который лежал на дороге рядом со своим мотоциклом. Голова у покойника взорвалась целым ливнем кровавых ошметков и кусочков мозговой ткани, которые забрызгали стоящие возле дороги деревья. Такой шедевр водительского мастерства привел Прайса в прекраснейшее расположение духа, и Джим искренне понадеялся, что эта эйфория продлится достаточно долго, чтобы ему удалось невредимым доехать с ними до Шанхая и спрыгнуть возле первого же светофора.

Джим оглянулся на едва заметные вдалеке крыши лагеря. Он уезжал из Лунхуа, и это было само по себе странно, однако он уже понял, что лагерь просто-напросто в очередной раз поймал его, как сделал это три года назад, во время войны. Одного слова Таллоха оказалось достаточно, чтобы тот внешне надежный мир, который он уже начал выстраивать вокруг себя из единственной крохотной комнатенки и нескольких банок «Спама»,

рухнул в небытие.

Они проехали мимо пагоды Лунхуа на северной оконечности аэродрома; стволы зенитных установок по-прежнему были направлены в небо. Джим стал искать глазами среди разрушенных ангаров какую-нибудь фигуру, хотя бы отдаленно напоминающую молодого летчика-камикадзе. Ему было жаль, что он так и не успел отплатить ему за то манго. В миле к востоку стоял олимпийский стадион Наньдао. Иероглифы на выщербленном осколками фасаде, воспевающие щедрость генералиссимуса Чана, еще задорнее, чем прежде, царили над автостоянкой — как будто история повернула вспять, и старый феодальный Китай вернулся, чтобы предъявить свои права на эту землю.

Грузовик резко бросило вбок, и он, накренившись, перевалился через боковую кромку шоссе. Лейтенанту Прайсу ни с того ни с сего пришло в голову свернуть на проселок, который вел к стадиону. Джим слышал, как Таллох начал было протестовать, но тут над рулем появился кувшин с вином и перешел из рук в руки. Они проехали мимо первых блиндажей и стрелковых ячеек, отрытых возле бывшей японской штаб-квартиры. Через поля потянулись полуобвалившиеся

противотанковые рвы со скатами, сплошь замусоренными пулеметными лентами и ящиками из-под патронов.

Джим откинулся на скатку из парашютного шелка. Он с самого начала знал, что олимпийский стадион окажется непреодолимым искушением для лейтенанта Прайса. С тех пор как он снова поселился в Лунхуа, британцы постоянно расспрашивали его о той мебели, которой были заставлены трибуны стадиона. И Джиму, для того чтобы обезопасить источники поступления пищи и журналов, приходилось слегка корректировать собственные воспоминания. И вот теперь созданный им мираж завладел воображением Прайса, и отыгрывать назад было поздно.

Ярдах в ста от автостоянки они свернули с дороги и припарковали грузовик в узкой дренажной выемке между насыпями двух идущих параллельно противотанковых рвов. Прайс и Таллох, совершенно пьяные, выбрались из кабины. Оба закурили, искоса поглядывая на стадион.

Прайс постучал стволом винтовки в борт кузова. Когда он позвал Джима, в голосе у него явственно звучала насмешка:

— Шанхай-Джим…

— Просто заглянем по дороге, и все, Джим, —

пьяным голосом объяснил Таллох. — Захватим ящик скотча и пару шубок для девочек с Нанкинского проспекта.

— Я не видел там шуб, мистер Таллох, и скотча тоже не видел. Там было много кресел и обеденных столов.

Лейтенант Прайс оттолкнул Таллоха в сторону.

— Обеденные столы? Ты что, считаешь, что мы позавтракать сюда приехали? — Он посмотрел на фасад стадиона так, словно тамошняя полуосыпавшаяся штукатурка пыталась соперничать белизной с его выцветшей кожей.

Джим ушел в сторону от винтовочного ствола, нацеленного прямо ему в голову.

— Там были буфеты и гардеробы.

— Гардеробы? — Таллох снова объявился за спиной у Прайса. — Лейтенант, все сходится.

— Все правильно, — успокоил себя Прайс. Он пробежался пальцами по сигаретным ожогам, выстукивая тайный код боли и памяти. — Я же тебе говорил, что у этого пацана глаза на месте.

Они перешли дорогу и двинулись через автостоянку. Прайс оперся обеими руками о корпус мертвого, без гусениц, танка и сплюнул густую тюремную мокроту в открытый передний люк.

Джим, стараясь держаться подальше, прошелся между рядами грузовиков, думая о мистере Макстеде. Может быть, он до сих пор лежит на испачканном кровью футбольном газоне? Он съел так много пищи за эти несколько дней, что теперь чувствовал себя виноватым, а еще он вспомнил, что мог тогда продать свои туфли для гольфа. На олимпийском стадионе, конечно, была тьма-тьмущая награбленных японцами барных стоек, но сам по себе он отчего-то казался Джиму зловещим и мрачным и не предвещал ничего хорошего. Здесь он видел отсвет от ядерного взрыва в Нагасаки. И этот белый призрачный свет до сих пор лежал и на дороге, по которой они отправились в свой последний путь из Лунхуа, и на беленом фасаде стадиона, и на известково-бледной коже лейтенанта Прайса.

Отогнав мух журналом, Джим сел на подножку грузовика и принялся изучать свой «Лайф». На фотографии американские морские пехотинцы поднимали на вершине горы Сурибаши флаг, после победы в сражении за Иводзиму. Война. Если судить по журналам, то война, в которой бились американцы, была предприятием героическим и больше всего походила на комиксы, которые Джим читал, когда был маленьким. Даже мерт-

вые здесь получали свою долю общего блеска, превращаясь не в мертвых, а в павших…

Над головами пронеслись два «Мустанга», ведя за собой грузно надвинувшуюся с западной стороны горизонта «Суперкрепость»: с открытыми бомбовыми люками, готовую засыпать пустынные поля банками «Спама» и пачками «Ридерз дайджест». Эхо двигателей забарабанило по земле у Джима под ногами, подернув дрожью разбитые машины на автостоянке.

Джим опустил журнал и увидел, что из входного туннеля стадиона бегут вооруженные люди и что-то кричат на ходу, но их крики тонули в реве моторов. «Суперкрепость» ушла в сторону, но люди в панике бежали и бежали из туннеля, так, словно боялись, что стадион сейчас начнут бомбить. Через автостоянку промчался бородатый европеец в кожаной куртке американского пилота, за ним бежали еще двое, с охотничьими ружьями в руках. Следом, во главе группы вооруженных бамбуковыми палками кули, пробежал, согнувшись чуть не до самой земли, голый по пояс китаец в черных штанах и с пистолетом на поясе.

Из туннеля вышел, отблескивая на ярком солнце стволами винтовок, взвод гоминьдановцев.

Они остановились, подняли винтовки и ударили вслед бегущим нестройным залпом из всех стволов. Джим открыл дверцу и забрался внутрь кабины. В пятидесяти футах от входа, в белой, осыпавшейся сверху известковой пыли, лежал Таллох. Мимо него, уставив белое как фонарик, лицо в землю, бежал к выстроившимся в ряд грузовикам лейтенант Прайс. Оборвав с руки бинт, он перескочил через невысокую стенку на краю автостоянки и с головой ушел в воду на идущем вдоль дороги затопленном рисовом поле.

Китайский офицер в последний раз выстрелил из пистолета в барахтающегося в воде Прайса и сел на корточки прямо у самого выхода. Его солдаты с винтовками наперевес подошли к крайней линии ржавеющих автомобилей. Они как мух, напоказ, отогнали последних раненых членов разбойничьей шайки, сделали поворот кругом и вернулись в безопасные стены стадиона. Мертвый Таллох лежал на солнцепеке, и его кровь быстро впитывалась в меловую пыль.

Над Хуньджяо снижались алые и синие купола парашютов. Джим перебрался через сиденье, открыл дверцу на дальней от стадиона стороне грузовика и выскользнул из кабины. Стараясь не показываться из-за ржавых зарядных ящиков

и полевых пушек, он побежал к ограде на краю автостоянки.

Лейтенант Прайс бросил «опель» вместе с грузом шелка и НЗ на произвол судьбы. Добравшись до дренажной выемки, Джим увидел, что грузовик стоит один-одинешенек между двумя высокими насыпями от противотанковых рвов. На земле возле кабины, с пассажирской стороны, дымился брошенный Таллохом окурок «Лаки Страйк».

Джим посмотрел сквозь окно на приборный щиток. Интересно, сможет ли он довести грузовик до Шанхая? Солдатам-националистам на стадионе сдаваться не было смысла — они наверняка примут его за одного из налетчиков и пристрелят прямо на месте.

Думая о Таллохе, который умер, так и не увидев белых «кадиллаков» Наньдао, Джим решил, что в Шанхай нужно идти пешком. Он уже взобрался на борт грузовика, чтобы забрать из кузова несколько банок еды и пару номеров «Ридерз дайджест», когда услышал за спиной тяжелые шаги. Прежде чем он успел обернуться, кто-то схватил его сзади за плечи. Потом в затылок ему ударили тяжелым, словно каменным, кулаком, и он перелетел через борт на дно кузова.

Сидя между разбросанных коробок с сигаретами, Джим почувствовал, что изо рта и носа у него идет кровь и капает между пальцами на парашютный шелк. Он поднял голову и увидел перед собой того самого полуголого китайца с пистолетом на поясе, который, согнувшись в три погибели, бежал со стадиона. Он смотрел на Джима с тем самым безразличным выражением в глазах, которое Джим часто замечал у повара на Амхерст-авеню перед тем, как тот сворачивал шею курице. За спиной у полуголого появился китайский кули с бамбуковой палкой в руке: ему явно не терпелось поскорее добраться до сваленных в кузове богатств.

По обе стороны дренажной выемки вниз по скатам дамб шли вооруженные люди во главе с бородатым европейцем в кожаной летной куртке. Банда наполовину состояла из китайцев, частью обычных кули с бамбуковыми палками, частью одетых в гоминьдановские или коллаборационистские мундиры: эти все были при портупеях и винтовках. Остальные были европейцы или американцы, в самой разнообразной одежде, обвешанные патронташами, пулеметными лентами и форменными портупеями с подсумками для патронов, какие носили в шанхайской поли-

ции, и все это поверх кителей китайского образца. Большинство пребывало в самой что ни на есть плачевной физической форме, из чего Джим сделал вывод, что все это — бывшие заключенные.

Кули поднял палку. Джим втянул носом кровь и проглотил горячий комок мокроты.

— Я иду в лагерь Лунхуа… Я британский заключенный… — Он указал рукой на юго-запад. Из-за разбитого носа голос у него вдруг зазвучал неожиданными басовитыми нотами, как если бы тело вдруг принялось бешеными темпами взрослеть, стремясь использовать оставшиеся от жизни несколько секунд. — Лагерь Лунхуа…

Не обращая на него внимания, вооруженные люди расселись по склонам дамб и закурили. Мимо грузовика прошел европеец в летной куртке. Кули подобрал брошенный Таллохом окурок и жадно затянулся. Все то и дело поглядывали на небо и на пустынную дорогу за стадионом. Они принесли с собой неторопливое, пустое время концентрационного лагеря. У них были худые бесцветные лица, и оттого казалось, что они выбрались из какого-то неведомого и глубокого подземного логова.

— Лунхуа… — повторил Джим. Кули с дубинкой по-прежнему, не отрываясь, смотрел на него.

Джим знал, что по малейшему сигналу он сделает шаг вперед и размозжит ему голову. Голый по пояс китаец, который ударил Джима, осматривал грузовик, особенно его заинтересовали задние колеса. Пытаясь хоть как-то привлечь внимание европейцев, Джим вытянул руку в сторону стадиона Лунхуа. — «Линкольн Зефиры» — в Наньдао. «Бьюики», белые «кадиллаки»…

— Это кто тут рассуждает о «кадиллаках»?» — К грузовику, с винтовкой через плечо, подошел маленький седоволосый американец с неуловимо женственными манерами. На его слова никто не обратил внимания, и он прикурил сигарету, чтобы хоть как-то сгладить явное пренебрежение публики к собственной персоне. Язычок пламени подсветил его напудренные щеки, на секунду выхватив, как лучом юпитера, знакомые настороженные глаза со взглядом одновременно цепким и уклончивым.

— Бейси! — Джим вытер текущую из носа кровь. — Это я, Бейси — Джим! Шанхай-Джим!

Бывший стюард уставился на Джима. Немного подумав, он холодно кивнул головой, так, словно признал этого четырнадцатилетнего мальчика, но смысла в этом знакомстве больше не видел. Он пробежался глазами по коробкам с НЗ и попро-

бовал на ощупь парашютный шелк. И отступил в сторону, чтобы кули, размахиваясь палкой, случайно его не задел.

— Бейси! — Джим подобрал с пола рассыпавшиеся журналы и пальцами счистил с обложек налипшую кровь. Он вытянул их перед собой; голый по пояс китаец с пистолетом на поясе злобно вскинул на него глаза. — Журнал «Лайф», Бейси, «Ридерз дайджест»! Я привез тебе самые свежие номера… Бейси, я выучил тысячу новых слов — Белзен, фон Рундштедт, Джи-Ай Джо…

39
Бандиты

Машина шла по берегу заполненной нефтью лагуны, мимо ржавого остова выброшенного на берег торпедного катера. Джим, зажатый на заднем сиденье «бьюика» между Бейси и бородатым французом, сидел и смотрел, как из-под колес машины веером летят брызги. Яркие радуги раскрывались, как павлиньи хвосты, превращая далекие офис-билдинги деловой части Шанхая в башни из волшебной сказки. Тот же кричаще-яркий свет одел и торпедный катер, и лежащие на мелководье едва заметные в прибое тела мерт-

вых японцев.

Джим попытался оглянуться через плечо на уходящие вдаль очертания Шанхая, но из-за ушиба на шее и затылке вертеть головой было больно.

— Эй, парень, — француз ударил Джима по руке стволом зажатого между колен карабина, — а ну-ка угомонись. А то еще раз нос расшибу…

— Джим, тут и так места мало. Давай-ка лучше посидим с тобой спокойно и поучим новые слова. — Бейси приобнял его за плечи. — Или почитай лучше «дайджест», чтобы не уснуть.

— Ты прав, Бейси. Я постараюсь не уснуть.

Джим знал, что спать ни в коем случае нельзя. Он уперся ногами в лежащие на полу салона патронные ящики и щипал себя за губы до тех пор, пока в глазах не прояснилось. Рядом с французом, возле правой пассажирской дверцы, сидел тот самый кули, который чуть было не убил Джима, перед тем как вмешался Бейси. На переднем сиденье, рядом с китайцем-водителем, были двое австралийцев из лагеря Сиккавэй.

В заляпанный грязью «бьюик» их втиснулось семеро. На стеклах до сих пор красовались эмблемы и наклейки из рисовой бумаги с лозунгами того генерала-коллаборациониста, чьей штаб-

ной машиной «бьюик» проработал всю войну. На сиденьях — пятна от высохшей блевоты и от крови: Джима и раненых бандитов. Кроме бамбуковых палок и стрелкового оружия, машина была чуть не доверху набита ящиками с патронами, коробками американских сигарет, глиняными кувшинами с рисовым вином и пивными бутылками, в которые мужчины почти непрерывно мочились все то время, пока они неслись по проселочным дорогам к юго-западу от Шанхая.

Они остановились, и у колес «бьюика» водоворотами закрутилась подернутая нефтяной пленкой вода лагуны. Впереди был японский грузовик, на котором ехала еще примерно дюжина бандитов. Тяжело груженная машина осторожно взбиралась по узкому крутому въезду из серого кирпича, который вел с берега на идущую по береговой дамбе дорогу. Кузов был забит американскими коробами с гуманитарной помощью, японской амуницией, захваченной сегодня утром на военных складах в Наньдао, и сборной солянкой из скатанных тюфяков, велосипедов и швейных машинок, награбленных в деревнях к югу от Лунхуа.

«Бьюик», ломая колесами серый кирпич, взобрался на эстакаду и пошел быстрее, в облаке

летящей из-под колес грузовика пыли. Дорога шла в глубь материка, и вскоре, потеряв из виду лагуну, они принялись плутать в лабиринте каналов и рисовых делянок. Джим подумал, а знает ли вообще эта банда, этот ядовитый челнок, снующий туда-сюда по блеклой, в крупную клетку земле, куда она, собственно, в данный момент направляется. Впрочем, ярдах в восьмистах от них по параллельной дороге шел вдоль заброшенных полей еще один грузовик. В добытом на олимпийском стадионе допотопном «опеле» ехали оставшиеся пять членов банды. С военно-морской авиабазы в Наньдао они разъехались на рассвете в разные стороны, но каким-то образом умудрились встретиться буквально за несколько минут до подхода к следующей цели.

Когда дороги начали сходиться, Джим заметил голую по пояс фигуру китайского бандита в черных брюках и с револьвером на поясе. Он стоял за кабиной и выкрикивал команды водителю-китайцу. Джим боялся этого бывшего офицера китайской марионеточной армии, чей железный кулак он до сих пор чувствовал каждой зашибленной косточкой на шее и на затылке. Спасло его только присутствие Бейси, но эта отсрочка смертного приговора могла оказаться весьма

недолговременной. Капитан Сунг практически не обращал внимания на Бейси, да и вообще на кого-либо из входивших в банду европейцев, и Джим для него был чем-то вроде собаки, которую при необходимости можно в любой момент уработать насмерть. Через час после того, как он попал в руки бандитов, Джим уже полз между погребальными курганами к какой-то деревушке возле Хуньджяо: его выслали вперед, как высылают гончую, чтобы разнюхать, что к чему, и вызвать на себя возможный огонь. Все еще наполовину оглушенный, капая кровью из носа на зажатый в руке номер «Ридерз дайджест», он лежал среди полусгнивших гробов и ждал, пока не затихла стрельба и бандиты не вернулись из деревни с велосипедами, мешками с рисом и скатанными в трубку постелями. Поняв, что истинным лидером банды является капитан Сунг, он попытался продемонстрировать китайцу, что может быть полезным. Но капитан Сунг не желал, чтобы Джим был у него на посылках. Война изменила китайцев — и деревенские, и бродяги-кули, и разбредшиеся кто куда солдаты из марионеточных армий смотрели на европейцев с выражением, которого Джим до войны в принципе за китайцами не замечал: как будто

европейцы просто перестали существовать на свете — и это несмотря на то, что британцы помогли американцам разбить японцев.

На перекрестке грузовики остановились. Капитан Сунг выпрыгнул из «опеля» и подошел к «бьюику». Бейси как бы невзначай взял Джима под локоть. Бейси ничего не имел против смерти Джима, и только неумеренные его описания той добычи, которая дожидается бандитов на стадионе в Наньдао, как-то подогревали интерес к нему со стороны Бейси.

Закрутив целое торнадо из трех пылевых столбов, машины развернулись и поехали вдоль заброшенного канала. Примерно через полмили они остановились у каменного моста, за которым была покинутая жителями деревушка. Капитан Сунг и двое из его людей выбрались из грузовика, от «бьюика» к ним присоединились француз и кули с бамбуковой палкой. Австралийцы остались сидеть и пить рисовое вино на переднем сиденье, не обращая внимания на убогие деревенские лачуги. При обычном раскладе капитан Сунг подозвал бы Джима и отправил бы его побродить между домами, но в деревне явно никого не было, и столь же явно ее уже не один раз вычистили действующие в этом районе бандитские шайки.

— Мы поедем обратно в Шанхай, Бейси? — спросил Джим.

— Скоро, Джим, теперь уже скоро. Только сперва нам нужно забрать кое-какое снаряжение. Особенное снаряжение, Джим.

— Вы попрятали это снаряжение по деревням? Снаряжение для военной экономики?

— В самую точку. Это снаряжение оставило для нас в этих местах УСС[57], когда я работал под прикрытием в контакте с гоминьдановцами. Ты же не хочешь, чтобы оно досталось коммунистам, а, Джим?

Они оба решили продолжить играть в эту игру. Джим посмотрел на заброшенную деревушку, единственная улица которой была разделена посередине открытой сточной канавой.

— Здесь, наверное, полным-полно коммунистов. А война кончилась, Бейси?

— Кончилась, Джим. Скажем даже так: она кончилась эффектнейшим образом.

— Бейси… — Ему в голову пришла давно знако-

---

[57] Примечания: 57

Управление стратегических служб, федеральное ведомство США, сформированное в 1942 году с целью сбора и анализа стратегической разведывательной информации. Просуществовало до 1945 года. С 1947 года все бывшие функции УСС были переданы созданному в соответствии с законом о национальной безопасности Центральному разведывательному управлению.

мая мысль. — А следующая война эффектнейшим образом началась?

— Можно и так сказать, Джим. Я рад, что тоже помог тебе с новыми словами.

— Я еще стольких слов не знаю, Бейси. Я хочу вернуться в Шанхай. Если мне повезет, я, может быть, сегодня же найду там отца и мать.

— Шанхай? Сейчас это самое опасное место на свете, Джим. В Шанхае сейчас одним везением не обойдешься. Давай-ка лучше подождем, пока у Дамбы не отдаст швартовы американский военно-морской флот.

— А Дядя Сэм скоро прибудет в Шанхай, Бейси? Вместе со всеми своими братишками[58] и Джи-Ай Джо?

— Он будет тут как тут, Джим. И вместе с ним все Джи-Ай, сколько их только ни есть на всем Тихом океане…

Судя по тону, возможность воссоединиться с соотечественниками не слишком радовала Бейси. Джим уже задавал ему вопросы о том, как он сбежал из Лунхуа, но Бейси тут же начинал темнить и говорить недомолвками. Как обычно, все, что с ним случилось в прошлом, в прошлом и исчезло

---

[58] Примечания: 58

В оригинале разговорное американское словечко Gob — «морячок», «братишка».

и уже давно не представляло для него никакого интереса. Он остался все тем же маленьким жеманным человечком, который тщательно ухаживал за своими руками и не заботился ни о чем, что не могло принести выгоды в самой ближайшей перспективе. Его сила заключалась в том, что он никогда не позволял себе фантазировать, поскольку никогда и ничего не принимал как само собой разумеющееся, в отличие от доктора Рэнсома, который считал, что само собой разумеется очень многое. При этом доктор Рэнсом, вероятнее всего, умер во время последнего исхода из Лунхуа, а Бейси выжил. И вот теперь, впервые в жизни, греза о спрятанных на олимпийском стадионе сокровищах спустила предохранительную задвижку в хитром механизме безопасности по имени Бейси. А Джим усердно подкармливал бывшего стюарда видениями богатств, которых вполне достанет, чтобы вернуться в Соединенные Штаты и впредь ни в чем себе не отказывать. Он решил для себя, что Бейси в свое время, услышав по лагерному радио о неминуемой и близкой эвакуации лагеря в направлении мест для массового захоронения, просто-напросто подкупил ночную охрану, с тем чтобы та переправила его и дала ему возможность спрятаться в одном из

складских помещений в Наньдао.

Бейси полировал ногти, а Джим сидел с ним рядом и думал о том, что весь военный опыт по сути даже близко не затронул этого американца. Голод, страдания и смерть были всего лишь эпизодами из беспорядочного придорожного спектакля, на который взираешь из пассажирского окошка проезжающего мимо «бьюика», жестокого спектакля, вроде довоенных публичных казней через повешение в Шанхае, на которые ходили посмотреть сошедшие на берег в увольнительную британские и американские моряки. Он ничему не научился у войны, поскольку ничего от войны не ждал — совсем как те китайские крестьяне, которых он теперь грабил и убивал. Как говорил доктор Рэнсом, люди, которые ничего не ждут от жизни, — опасные люди. Пятистам миллионам китайцев, так или иначе, придется научиться ждать от жизни всего — всего на свете.

Бандиты расселись на мосту на корточках и принялись за рисовое вино, а Джим стал нянчить свой разбитый нос. Несмотря на годы голодного существования в лагерях, мало кто из бандитов давал себе труд есть сваленные в кузовах грузовиков консервы. Они сидели и пили вино на солнцепеке, каждый сам по себе, лишь изредка

перебрасываясь короткими фразами. Джим до сих пор почти никого из них не знал по имени. В сумерках, когда банда возвращалась на базу летающих лодок в Наньдао, они в большинстве своем разбредались вместе со своей долей дневной добычи по каким-то своим логовам в многоэтажках Старого города, а к утру снова собирались вместе, как фабричные рабочие. Джим спал в припаркованном на бетонном стапеле «бьюике», а Бейси и бородатый француз пили до самого утра в пилотской кают-компании.

Француз вернулся из деревни и нагнулся над окошком автомобиля, с той стороны, где сидел Бейси.

— Пусто — ни тебе дерьма собачьего.

— Уж эту-то радость они могли бы нам оставить, — в сердцах сказал Бейси. — И что это китайцы не возвращаются в свои деревни?

— А они в курсе, что война кончилась? — спросил Джим. — Ты бы объяснил им насчет конца войны, а, Бейси?

— Наверное, так и сделаю… Мы не можем валандаться тут до бесконечности, Джим. К Шанхаю идут большие люди — штук шесть разных гоминьдановских армий.

— И у вас может не получиться забрать ваше

снаряжение?

— То-то и оно. Придется сейчас съездить в эту коммунистическую деревню. А потом я отвезу тебя к папке. И ты ему расскажешь, как я за тобой приглядывал всю войну и научил тебя массе новых слов.

— Ты ведь и правда присматривал за мной, Бейси.

— Н-да… — Бейси задумчиво посмотрел на Джима. — Оставайся-ка ты лучше с нами. Не слишком будет хорошо, если тебя в городе украдут.

— А там сейчас много тех, кто занимается кидненппингом, Бейси?

— И эти плюс к ним еще и коммунисты. Люди, которые не желают признавать, что война кончилась. Ты не забывай об этом, Джим.

— Хорошо. — Пытаясь отвлечь бывшего стюарда какой-нибудь более приятной темой, Джим спросил: — Бейси, а ты видел, как взорвалась атомная бомба? Я видел вспышку над Нагасаки со стадиона в Наньдао.

— Да что ты говоришь, сынок… — Бейси внимательно посмотрел на Джима, озадаченный тем, насколько спокойный тон у этого мальчика с вечно текущей из носа кровью. — Ты видел атомный взрыв?..

— Целую минуту, Бейси. Белый свет залил весь Шанхай, ярче солнечного света. Я думаю, Бог просто решил все рассмотреть как следует.

— Наверняка именно это и было у него на уме. Этот белый свет, Джим… Может, удастся тебе сфотографироваться для «Лайфа».

— Ты правда сможешь это сделать, Бейси?

Перспектива оказаться на страницах «Лайф» воодушевила Джима. Он вытер натекшую на губы кровь и даже попытался одернуть рваную рубашку на случай, если прямо сейчас на сцене появится фотограф. Капитан Сунг дал сигнал, и бандиты заняли свои места в машинах. Машины развернулись и взяли курс в сторону реки, а Джим все представлял себе собственное фото среди картинок с «тиграми» и американскими морскими пехотинцами. В банде Бейси он был уже четыре дня, и ему пришло в голову, что родители, скорее всего, сочли, что он погиб во время эвакуации лагеря Лунхуа. И может так случиться, что они будут сидеть возле бассейна на Амхерст-авеню, просматривая последний номер «Лайф», и вдруг узнают лицо собственного сына между фотографиями адмиралов и генералов…

* * *

Они ехали мимо восточного периметра аэродрома Лунхуа. Джим облокотился о Бейси и высунул голову из окна. Он принялся высматривать в ручьях и на рисовых делянках тела японских авиаторов. Захватившие часть аэродрома гоминьдановские отряды по-прежнему убивали японцев маленькими порциями.

— Тебе нравятся эти самолеты, Джим?

— Когда-нибудь я стану летчиком, Бейси. И отвезу отца и мать на Яву. Я много думал об этом.

— Не самая худшая мечта. — Бейси оттолкнул Джима от окна и указал на притулившуюся к маленькой рощице группу разбитых самолетов. — Вон там, смотри, японец-летун — и никто до него еще не добрался.

Бейси передернул затвор винтовки. Джим снова высунулся из окна, глядя в сторону деревьев. Возле хвостового стабилизатора «Зеро» он увидел бледное лицо молодого пилота, едва заметное среди хаоса фюзеляжей и крыльев.

— Это «косяк, и в воду», — быстро сказал Джим. — «Где ты, моя крыша». Бейси, а хочешь, я расскажу тебе о стадионе? Там должны быть меховые шубы, мне кажется, мистер Таллох видел

их перед тем, как его застрелили, и сотни ящиков шотландского виски…

К счастью, Бейси решил поднять стекло. В «бьюик» уже набилась целая туча едкой вездесущей пыли. Она клубами вставала с меловой поверхности грунтовки и ложилась поверх слоя пыли, уже собранной машиной с выгоревших полей, с идущих вдоль противотанковых рвов насыпей и с погребальных курганов; и отблескивала она тем самым светом, который Джим видел на олимпийском стадионе в Наньдао, светом, возвестившим окончание одной войны и начало следующей.

Вскоре после наступления сумерек они подъехали к коммунистическому городку в двух милях южнее Лунхуа. Жалкие одноэтажные домишки притулились к стене керамической фабрики, похожие на картинку в детской энциклопедии, которую когда-то видел и запомнил Джим, на картинке дома точно так же теснились вокруг католического собора. Куполообразные печи для обжига и кирпичные трубы собрали на себя последние остатки солнечного света, как будто нарочно, чтобы разрекламировать тепло и процветание, привнесенное в эту горстку хибар коммунистическим режимом.

— Правильно, Джим, так держать, всегда полагайся на силу слова. Но атаку начинать все равно тебе.

Прежде чем Джим успел положить на полочку у окна свой «Ридерз дайджест», капитан Сунг рывком распахнул дверцу машины. Голый по пояс офицер выволок Джима из «бьюика». У мальчика из носа ручьем лилась кровь, но Сунг обращался с ним как охотник за трюфелями с натасканной на грибы свиньей: ворча и выкрикивая какие-то односложные команды, он толкнул Джима на ту сторону дороги, больно ткнув его на прощание в ребра стволом автоматического пистолета. Оба грузовика и «бьюик» остановились за насыпью, по которой шла железнодорожная ветка Шанхай — Ханьчжоу. Ярдах в трехстах от того места, где они остановились, от железной дороги широким полукругом отходило ответвление к керамической фабрике, за которым из города их точно никто не мог увидеть. Бандиты вышли размять ноги на высохшую рисовую делянку под насыпью. Некоторые открыли подсумки, достали ветошь и начали чистить оружие. Другие расставили на капоте «бьюика» кувшины с вином, закурили и выпили по первой. Они молча стояли в густеющих сумерках, каждый сам по себе.

Джим потрусил по высохшей поверхности рисового поля, слушая, как постепенно стихают за спиной свист и вопли капитана Сунга. Он пережал себе нос, надеясь, что кровь перестанет течь, потом, наоборот, дал ей литься свободно и размазываться на ветру по щекам. Если ему повезет, то часовой, которого коммунисты вполне могли выставить на железнодорожной насыпи у завода, подумает, что он уже ранен, и сосредоточит огонь на оставшихся у него за спиной бандитах.

Джим добрался до подножия насыпи и присел в зарослях дикого риса. Он вытер со стеблей тут же накапавшую кровь и облизал пальцы. Со своей задачей он уже справился. В пятидесяти футах от него капитан Сунг пересек рисовое поле и начал взбираться по сыпучему откосу. За ним шли все его кули, вооруженные бамбуковыми палками, и Бейси с французом. Две группы бандитов двинулись через соседнее поле. Австралийцы и гоминьдановец-дезертир остались сидеть на подножке «бьюика», попивая рисовое вино.

Джим взобрался по склону, на ощупь похожему на тальк. Насыпь подмыло дождем, и местами она обвалилась, так что ржавые рельсы вместе с прикрученными к ним гнилыми шпалами повисли в воздухе. Несколько участков полотна кто-то

недавно заменил, должно быть, коммунисты, которые избрали городок в качестве базы. Местечко было захолустное, но коммунисты учли то обстоятельство, что завод имел свою пристань, плюс железнодорожная ветка, большой запас кирпича, если разобрать трубы и печи для обжига, и к тому же отсюда было рукой подать до аэродрома Лунхуа. Однако, если верить Бейси, они ушли отсюда еще два дня назад, чтобы продолжить начатое наступление на Шанхай, и несколько сот жителей городка остались теперь безо всякой защиты. Кроме личной собственности обывателей, здесь могли оказаться военные склады коммунистов, а еще бывшие коллаборационисты: и то, и другое можно при случае пустить в ход при переговорах с уже вышедшими на ближние подступы к Шанхаю гоминьдановскими генералами и получить взамен генеральскую благосклонность.

Джим скрючился на самой кромке насыпи, укрывшись за шпалами. Внизу лежала чересполосица необработанных рисовых полей, отрезанная от окружавших городок огородных участков судоходным каналом. Узкие улочки были пустынны, но кое-где из труб поднимался дымок. На той стороне реки раздался одиночный гулкий выстрел корабельной пушки. На фарватере стояли на

якоре две гоминьдановские канонерки. Снаряд упал на складском дворе керамической фабрики, подняв тучу красной кирпичной пыли. Дальше к югу на берег высаживался с деревянного лихтера отряд регулярных националистических войск, и оттуда как-то вдруг донеслась частая ружейная стрельба.

Вверх по каналу под самой Дамбой прошла, ритмично ухая дизельным мотором, бронированная джонка. На мостике стояли китайские офицеры в новеньких американских мундирах и стальных касках и разглядывали в бинокли город и прилегающие к нему огороды. Ближняя из двух канонерок выстрелила еще раз; на сей раз снаряд разорвался в самой гуще крытых серой черепицей домишек, подняв в воздух целую тучу каких-то неразличимых на расстоянии обломков. И тут же город закипел. Как муравьи из разбившегося цветочного горшка, сотни китайцев ринулись по узким улицам прочь из города в окрестные поля. На головах они тащили скатанные в трубку постели и свертки с одеждой. Они бежали по тропинкам между огородными участками. Через ручей у дороги брела по пояс в воде пожилая китаянка в черных брюках и что-то кричала своим родственникам, которые сбегали

вниз по берегу.

Моторная джонка шла вдоль канала, и мотор стучал — как будто кулаками изнутри в деревянный корпус. Джим ясно видел тщательно отглаженные складки на брюках у старших китайских офицеров и их элегантные американские ботинки, высокие, со шнуровкой. Даже расположившиеся на нижней палубе взводы личной охраны были щедро — напоказ — увешаны оружием и рациями. На полубаке поперек палубы стоял черный лимузин «крайслер», на антенне у которого трепетал личный вымпел гоминьдановского генерала.

На носу у джонки была установлена бронированная башенка с автоматической пушкой. Безо всякого предупреждения артиллеристы открыли по городу огонь. Трассеры свистели над головами у бегущих горожан и рвались, ударившись о крыши домов. По сигналу с мостика артиллеристы развернули орудие и перенесли огонь на маленький хуторок в нескольких сотнях ярдов к западу от города. Там, на пыльной дороге возле сгрудившихся в кучку одноэтажных домиков, уже рвались первые выпущенные с канонерок крупнокалиберные снаряды. Высадившаяся с деревянного лихтера рота гоминьдановцев

рассыпалась по рисовым делянкам, охотясь на спасающихся бегством жителей.

Затем следующий залп при первом же попадании вызвал взрыв колоссальной мощности. Кучка глинобитных домиков, втянутая в огромное клубящееся облако, исчезла, рассыпавшись на мелкие обломки. На хуторе был спрятан склад боеприпасов, и теперь там вовсю рвались артиллерийские снаряды, выбрасывая высоко в воздух столбы порохового дыма. На ведущей к хутору дороге сотни горожан попáдали среди разбросанных там и сям постельных скаток и узлов с одеждой, как будто этим людям вдруг пришла в голову мысль переночевать всем вместе посреди открытого поля.

Джим прижал руки ко рту и к носу, изо всех сил пытаясь не закричать. Он смотрел на расстилающуюся перед ним огненную долину, на затянутые дымом поля, подсвеченные вспышками орудийных залпов и заревом горящих у стен керамической фабрики домов. Печи для обжига и заводские трубы полыхали закатным солнцем так, будто кто-то вновь развел огонь в давно уже вышедших из строя топках и теперь станет топить их исключительно телами людей, упавших кто где, на собственных же огородах.

Джим слушал мерный рокот уходящей вдоль по каналу джонки, ее злобное сердце, которое через весь Китай несло сюда этот дробный ритм смерти, пока безукоризненно чистые и выглаженные генералы на мостике прятали за биноклями глаза и высчитывали хитрую, как астрономия, баллистическую цифирь.

— Бейси… — Бандиты спешно оттягивались от железнодорожной линии. Капитан Сунг и его кули уже спустились с насыпи и рассаживались теперь по грузовикам. — Бейси, а может быть, вернемся лучше в Лунхуа?

— Обратно в лагерь? — Бывший стюард сощурился от оседающей сверху пыли. Его явно контузило взрывной волной от взлетевшего на воздух склада, и теперь он оглядывался на окружающий пейзаж так, как будто только что очнулся от долгого и тяжкого сна. — Ты хочешь вернуться обратно в лагерь, Джим?..

— Нам нужно постоянно быть начеку, да, Бейси? Когда придут американцы…

В первый раз Бейси не нашелся, что ему ответить. Он откинулся спиной на деревянные шпалы, а потом указал рукой на север и издал долгий торжествующий свист. В десяти милях от насыпи, по ту сторону от зловеще притихшего

зеркала реки, рядом с офис-билдингами и отелями Шанхая заняли свое место подсвеченные солнцем мачты и палубные надстройки американского крейсера.

40
Упавший летчик

Всю ночь с другой стороны реки, из Путуна, доносились звуки артиллерийской канонады. Широкий черный столб дыма, шире, чем сама по себе территория, занятая горящими складами, лег на воду и бросил тень на берег возле Наньдао. Сидя на переднем сиденье припаркованного на высохшем иле у воды «бьюика», Джим смотрел, как вспыхивают на пыльном лобовом стекле всполохи далеких орудийных залпов. Звук у американских пушек, которые привезли с собой вошедшие в Шанхай националисты, был хриплый и влажный, как будто стволы у них были сплошь залиты водой. Вода, лишенная солнца, выбилась из сил, и прилив набегал на широкую отмель как-то уныло, словно бы нехотя. Очередная вспышка выхватила из полумрака длинный ствол стоящей за молом в Путуне гоминьдановской самоходки, зарябила у Джима на руках (он

как раз положил их на руль «бьюика») и осветила высокую рубку выброшенной на мель в сотне ярдов от «бьюика» подводной лодки.

Джим увидел, как из дымного облака вырвался разведывательный самолет, вытянул за собой шлейф черной хмари и на ходу попытался стряхнуть ее с крыльев. С юго-запада заходило звено американских бомбардировщиков. Канонада тут же смолкла, и от противоположного берега отвалил усиленный мешками с песком торпедный катер, готовый подобрать любые сброшенные и отбившиеся от основной массы короба.

От «В-29» отделилась дюжина парашютов и быстро пошла к земле. В коробах теперь сбрасывали не «Спам», «Клим» и «Ридерз дайджест», а боеприпасы и взрывчатку для гоминьдановских войск. Батальон националистов с приданной артиллерией как раз добивал остатки вцепившегося зубами в руины разрушенных Путунских складов отряда коммунистов. Трупы солдат-коммунистов были сложены на моле штабелями, как дрова.

В наступившей вслед за прошедшими бомбардировщиками тишине Джим расслышал накатывающий волнами отдаленный грохот заградительного артиллерийского огня — со

стороны Хуньджяо и сельских районов к западу от Шанхая. Вокруг города сомкнули кольцо по меньшей мере три националистические армии и теперь изо всех сил пытались перехватить друг у друга контроль над аэродромами, доками и железнодорожными линиями, а прежде всего над складами оставшегося от японцев оружия, вещевого и пищевого довольствия. С националистами то сотрудничали, то дрались остатки марионеточных армий, отряды перебежчиков, бывших гоминьдановцев, которых тоже прижали к морю, и разношерстные вооруженные формирования, созданные разного рода местными авторитетами, которые теперь пытались проложить себе дорогу обратно в Шанхай.

Десятки тысяч китайских крестьян катились на восток впереди этой кипящей волны — как пыль перед единым фронтом из метел десятка постоянно дерущихся между собой уборщиков. Колонны беженцев брели по проселкам, пытались укрыться в полях и разграбленных деревнях, а от предместий Шанхая их отгоняли передовые отряды гоминьдановских армий.

Именно этих беженцев, банд голодных кули, вооруженных ножами и мотыгами, Джим и боялся сильнее всех прочих. Бейси и его сотоварищи

тоже всячески старались не попадаться им на глаза и оттого держались как можно ближе к любой закипающей схватке. На восточных окраинах Наньдао, между верфью и военно-морской авиабазой, расстилалась ничейная земля, сплошь доки, амбары и пустующие казармы, которые, с точки зрения нерегулярных гоминьдановских формирований и крестьян-беженцев, находились слишком близко от бушующих на той стороне реки, в Путуне, боев. Здесь, в лабиринте бетонных укреплений и бункеров, как раз и разбили лагерь Бейси и шестеро уцелевших членов шайки, у которых и осталось только что старенький довоенный «бьюик» и смутная надежда продать себя подороже какому-нибудь генералу-националисту.

Впрочем, теперь даже и автомобиль представлял собой слишком заметную мишень для гоминьдановских артиллеристов.

— Посиди-ка пока за рулем, Джим, — сказал Бейси, когда бандиты вышли из остановившегося на прибрежной отмели «бьюика». — Представь себе, что ты ведешь шикарную машину.

— Правда можно, Бейси?.. — Джим ухватился за руль, а бандиты сбились в кучку на черной отмели за машиной и принялись приводить в

порядок оружие. При звуке доносившихся из-за реки взрывов лица у них заметно подергивались. — А ты, Бейси, ты пойдешь на стадион?

— Так точно, Джим. Помнишь, сколько времени мы с тобой провели в Лунхуа — у нас с тобой есть некоторые капвложения, а капвложения нужно защищать. Националистам очень хочется взять Шанхай, и если они действительно будут его контролировать, то не потерпят здесь никаких иностранных деловых интересов.

— То есть нас с тобой, Бейси?

— То есть тебя, Джим. Ты член иностранного делового сообщества. Когда мы вернемся, принесем тебе настоящую шубу и ящик виски для твоего папаши.

Бейси оглянулся на полуразрушенные пакгаузы и сложенные на моле трупы так, словно за ними скрывались сказочные богатства, все как есть сокровища Востока, которые только и нужно будет упаковать и переправить во Фриско[59]. Джиму стало жалко Бейси, и даже возникло искушение предупредить его о том, что стадион, вероятнее всего, пуст, а те немногие ценные вещи, которые за три года, проведенные под

---

[59] Примечания: 59
Разговорное наименование Сан-Франциско.

дождем и солнцем, не испортились вконец, наверняка уже успели растащить гоминьдановцы. Но Бейси уже заглотил крючок и теперь ходко, по собственной воле, шел туда, где его забагрят. Если ему повезет, если он переживет атаку на стадион, он просто-напросто забросит винтовку в кусты и пешим ходом вернется в Шанхай. Через пару дней он уже устроится официантом в баре отеля «Катай» и станет, расшаркиваясь и рассыпаясь во множестве лишних телодвижений, обслуживать сошедших на берег офицеров того крейсера, который ошвартовался у Дамбы…

Когда Бейси и его люди ушли, растворившись среди полуразрушенных прибрежных пакгаузов, Джим взялся за лежавшие рядом с ним на сиденье журналы. В том, что Вторая мировая война закончилась, сомнений у него больше не было, но началась ли между тем Третья мировая война? Разглядывая запечатленные на фотоснимках высадку в День Д, форсирование Рейна и взятие Берлина, он никак не мог отделаться от ощущения, что все это — малая война, не более чем репетиция настоящей схватки, которая уже началась, именно здесь, на Дальнем Востоке, с атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Джим вспомнил о белом свете, который сплош-

ным покровом лег на землю, о тени иного солнца. Именно здесь, в устьях великих азиатских рек, будут иметь место последние, решающие битвы, которым суждено определить судьбу планеты.

Джим вытер накапавшую на руль кровь; на путунском берегу снова началась канонада. Вот уже четыре дня как у него носом шла кровь, то затихая, а то опять ручьем. Он сглотнул и посмотрел на открытую дорогу, которая вела от верфи к видневшемуся вдалеке стадиону. В сотне ярдов от «бьюика» двое китайцев из нерегулярных частей взобрались на бак подтопленной подводной лодки. Закинув винтовки за спину и не обращая внимания на битву за рекой, они пошли по палубе к высокой башне корабельной рубки.

Джим открыл дверцу с водительской стороны. Самое время сматываться, пока китайцы не обратили внимания на «бьюик». Из груды сваленных на полу салона консервных банок, коробок с сигаретами и винтовочных обойм он выбрал плитку шоколада, банку «Спама» и один экземпляр «Лайф». Как только китайцы скрылись за рубкой, он выбрался из машины. Согнувшись за невысоким парапетом набережной, он побежал к каменной эстакаде, которая вела на причальный пирс шанхайской речной полиции. Не более чем

в двух милях к северу стояли многоэтажки и складские здания Старого города, а за ними высились офис-билдинги центральной части Шанхая, но Джим, не обращая на них внимания, двинулся назад, к аэродрому Лунхуа.

Над олимпийским стадионом поднялся столб дыма, негустого и белого, подсвеченного снизу одиноким язычком пламени: как будто Бейси и его банда решили развести праздничный костер из сваленной на трибунах старой мебели. Заградительный артиллерийский огонь в Путуне и Хуньджяо стих, и со стороны стадиона до Джима донеслась короткая скороговорка винтовочных выстрелов.

Идти по открытой дороге было небезопасно, и Джим свернул в сторону. Он шел сквозь заросли дикого сахарного тростника, которым сплошь заросла полоса отчуждения у северной оконечности аэродрома. Со стороны открытого летного поля, разрушенных ангаров и пагоды его прикрывали деревья и ржавые нефтеналивные баки. На тропинке у него под ногами, как картофельные чипсы на медном подносе, лежали пустые винтовочные гильзы. Он шел вдоль сохранившегося кое-где проволочного заграждения, старательно избегая маленьких землянок в зарослях крапивы,

у входов в которые тучами висели мухи.

По обе стороны от тропинки лежали трупы застреленных или заколотых штыками японцев. Джим остановился у неглубокой ирригационной канавы, в которой со связанными за спиной руками лежал рядовой наземной службы японских военно-воздушных сил. Его лицо было скрыто живой жужжащей маской, сотнями жирующих мух. Развернув плитку шоколада и отмахнувшись журналом от мух, тут же налетевших на его собственное лицо, Джим побрел дальше через сахарный тростник. Десятки мертвых японцев лежали в бурьяне так, как будто попáдали с неба: члены молодой армады ангелов, которые пытались, выстроившись клином, улететь отсюда на родные японские аэродромы, а их посшибали зенитчики.

Джим перешагнул через завалившуюся набок секцию проволочного заграждения и пошел мимо разбросанных там и сям под деревьями разбитых самолетов. Их фюзеляжи были покрыты потеками ржавчины — следствием летних дождей. В ярком утреннем свете бесновались мухи, ненужная, беспричинная ярость. Повернувшись к ним спиной, Джим зашагал по открытому травяному простору летного поля. В одном из полуразру-

шенных ангаров, в тени, сидела группа японцев и слушала доносившуюся со стороны стадиона ружейную перестрелку; Джим прошел мимо них, но они не обратили на него внимания.

Под ногами у него как-то вдруг оказалась бетонная взлетно-посадочная полоса. К немалому его удивлению, вблизи она оказалась растрескавшейся, запачканной пятнами масла, следами колес и царапинами от недораскрывшихся шасси. Но теперь, с началом Третьей мировой войны, наверняка здесь скоро выстроят новую взлетно-посадочную полосу. Джим добрался до конца бетонки и пошел по траве к южному периметру аэродрома. Земля здесь была неровной, сперва он пробирался между заросшими бурьяном отвалами, оставшимися от тех еще, трехлетней давности, земляных работ, потом спустился в низину, где когда-то японские грузовики вываливали строительный мусор и черепицу.

Несмотря на высокую крапиву и жаркое сентябрьское солнце, низина, казалось, была сплошь покрыта все той же самой пепельно-белой пыльцой. Белесые берега канала — как края сосуда, в котором обмывают мертвых. На мелководье лежала туша неразорвавшейся авиабомбы, как гигантская черепаха, которая попыталась было

закопаться в донный ил, но успела зарыть только голову — и уснула.

Прекрасно зная, что даже вибрация от низко летящего «Мустанга» может заставить ее сдетонировать, Джим решил обойти ее подальше и углубился в бурьян, раздвигая перед собой стебли крапивы журналом. Он подбросил вверх банку «Спама» и поймал ее одной рукой, но при повторном броске упустил, и она закатилась в траву. Порыскав туда-сюда в бурьяне, он в конце концов отыскал ее у самой кромки воды и решил съесть тушенку прямо здесь и сейчас, пока она еще куда-нибудь не ускользнула у него из рук.

Присев на берегу канала, он смыл грязь с крышки. Из носа в воду упала капля крови, и на нее тут же налетели мириады маленьких рыбешек, каждая не больше спичечной головки. Когда о воду ударилась вторая капля, закипела война не на жизнь, а на смерть, в которую, казалось, были вовлечены целые нации и страны, состоящие из крохотных рыбок. Понятия не имея о залитой солнцем поверхности, сияющей в десятой доли дюйма от них, они метались под водой, яростно набрасываясь друг на друга. Откашлявшись, Джим наклонился и уронил в воду тяжелый сгусток гноя с воспаленных десен. Сгусток упал

как мощная глубинная бомба, повергнув рыбьи полчища в отчаянный приступ паники. Через секунду вода была совершенно чистой, если не считать медленно расплывающегося облачка гноя.

Потеряв интерес к рыбам, Джим растянулся в прибрежном тростнике и принялся изучать в журнале рекламные объявления. Артиллерийская канонада приобрела другой, более глубокий оттенок звука. Пушки в Сиккавэе и Хуньджяо били теперь куда громче: соперничающие между собой армии националистов все плотнее сжимали кольцо вокруг Шанхая. Он съест «Спам», а потом сделает последнюю попытку пробраться в Шанхай. Он прекрасно понимал, что Бейси и его банда даже и не думали возвращаться к «бьюику» и оставили его на илистой отмели специально, чтобы отвлечь внимание китайцев, которые в противном случае могли увязаться за ними по пятам и нагнать их где-нибудь у реки.

Рядом в тростниках, одобряя принятое решение, дважды кивнула чья-то голова. Джим затаил дыхание, досасывая последний, уже обкатанный во рту кусочек шоколада. Столь неожиданное понимание со стороны чужого человека встревожило его. Должно быть, тот умеет читать мысли.

Человеческая фигура лежала на прибрежном откосе в камышах всего в нескольких футах от Джима, по самые колени в воде. Словно бы нарочно для того, чтобы подбодрить Джима, голова кивнула еще раз. Джим вытянул руку и раздвинул стебли травы, чтобы получше рассмотреть лицо. Круглые щеки, мягкий нос, заострившийся от лишений военного детства: перед ним был подросток-азиат, сын какого-нибудь местного крестьянина, который пришел на канал порыбачить. Мальчик лежал на спине, окруженный глухой стеной камыша и бурьяна, так, словно делил на двоих с Джимом большую кровать под балдахином, и тихо прислушивался к каким-то своим мыслям.

Джим сел и занес над головой руку со свернутым в трубку журналом. Он ждал, что вот-вот сквозь мушиное жужжание из бурьяна послышится звук шагов. Но низина была пуста, и только мухи жадно жрали прозрачный осенний воздух. Фигура едва заметно пошевелилась, подмяв еще несколько стеблей. Мальчик окончательно разомлел на солнце, и у него не было сил даже на то, чтобы не дать собственному телу сползти в ручей.

Со всеми предосторожностями, накрепко вби-

тыми в него долгими годами войны, Джим сперва встал на колени, потом поднялся на ноги и перешагнул через камыш. Потом, дав себе как следует успокоиться, он еще раз внимательно посмотрел на лениво раскинувшуюся фигуру.

Перед ним, в замаранном кровью комбинезоне с нашивками особого штурмового отряда, лежало тело того самого молодого японского летчика.

41
Операция по спасению

Джим окончательно пал духом. Примяв траву руками, он освободил себе немного места рядом с японцем. Пилот лежал в своем комбинезоне, неловко подвернув одну руку под спину. Его сбросили с откоса в сторону канала, и когда он упал, ноги тоже подвернулись под туловище. Правое колено уже коснулось воды, и та начала пропитывать штанину на бедре. Джим поднял голову и увидел след из примятого тростника там, где катилось тело: стебли медленно выпрямлялись, вытягиваясь к солнцу.

Он смотрел на летчика и в первый раз в жизни радовался мухам, которые тучей вились между ним и этим трупом. Лицо у японца выглядело

теперь куда более детским, чем его запомнил Джим, как будто смерть вернула этого мальчика в его истинный возраст, в раннюю юность, проведенную в глухой японской деревушке. Губы над неровными зубами слегка разошлись, как будто в ожидании кусочка рыбы, который мать подхватит палочками и сунет ему в рот.

Ошарашенный видом этого мертвого летчика, Джим сидел и смотрел, как колени японца понемногу сползают в воду. Он сел на корточки и принялся перелистывать страницы «Лайф», пытаясь сосредоточиться на фотографиях Черчилля и Эйзенхауэра. Он столько времени возлагал все свои надежды на этого молодого пилота, в бессмысленной мечте о том, как они вдвоем улетят отсюда прочь, оставив за спиной Лунхуа, Шанхай и войну вообще — навсегда. Чтобы выжить в войне, ему был позарез необходим этот летчик, придуманный брат-близнец, собственное отражение, в которое он смотрелся сквозь ограду из колючей проволоки. Если этот японец умер, значит, и он тоже умер, хотя бы отчасти. Он забыл об одной простой истине, которую с самого рождения знали миллионы китайцев: что жизнь каждого из них равнозначна смерти и может таковой обернуться в любой момент, и

что думать иначе — значит, обманывать себя.

Джим сидел и слушал грохот канонады в Хуньджяо и Сиккавэе и как ходит и жужжит кругами над головой гоминьдановский самолет-корректировщик. Через летное поле донесся звук ружейной перестрелки, это Бейси и его бандиты пытаются прорваться на стадион. Мертвые вовсю играли в свои опасные игры.

Решив не обращать на них внимания, Джим постарался с головой уйти в журнал, но с лежащих дальше по течению трупов налетели мухи и очень скоро обнаружили тело молодого пилота. Джим встал и положил японцу руки на плечи. Подхватив его под мышки, он вытянул ноги летчика из воды, а потом перетащил его на узкий участок относительно ровной земли.

Несмотря на пухлое лицо, пилот почти ничего не весил. Его исхудавшее тело было легким, как тела тех детишек из Лунхуа, с которыми Джим боролся, когда был молодым. Комбинезон на поясе и штанины насквозь пропитались кровью. Его проткнули сзади штыком, в поясницу, а потом еще и еще, в ягодицы и в бедра, и сбросили с откоса к другим, уже лежащим у реки японцам.

Присев возле тела на корточки, Джим щелкнул ключом консервной банки и начал скатывать

крышку. Если съесть содержимое, то банку можно будет использовать для того, чтобы вырыть японцу могилу. А схоронив летчика, он отправится пешком в Шанхай, не обращая внимания на те игры, в которые играют мертвецы. Если он встретит там родителей, то скажет им, что началась Третья мировая война, и пусть они поскорей возвращаются в свой лагерь в Сучжоу.

Разогретый на солнце студень рубленого мяса комьями набух под скользкой слизью растаявшего жира. Джим вымыл в канале одну руку и отрезал краем крышки небольшой кусочек. Он поднял было мясо ко рту, но тут же выплюнул его прямо в реку. Эта скользкая плоть еще не умерла, как будто ее только что отрезали от тела живого зверя. Кишки и легкие животного дышали в банке, а сердце гнало сквозь них кровь. Джим отрезал еще один кусок и положил его в рот. Он чувствовал губами биение пульса и страх этой твари в тот миг, когда ее зарезали.

Он вынул кусок изо рта и внимательно посмотрел на маслянистую мякоть. Живая плоть не предназначена для того, чтобы кормить ею мертвых. Эта пища сама пожрет того, кто попытается ее съесть. Джим выплюнул последнюю прилипшую к губам крупинку в траву возле

японца. Наклонившись над трупом, он потрогал указательным пальцем побелевшие губы, готовясь втиснуть между ними кусочек ветчины.

Щербатые зубы летчика сомкнулись у него на пальце, прорезав кожу. Джим выронил банку с мясом, которая укатилась по траве в воду. Он выдрал руку из сомкнутых челюстей, уверенный, что этот японский труп сейчас встанет и сожрет его дочиста. Не ведая, что творит, Джим ударил летчика по лицу, а потом вскочил и принялся кричать на него сквозь плотное облако налетевшей мухоты.

Рот летчика открылся в беззвучной гримасе. Его глаза, так и не войдя в фокус, уставились в горячее полуденное небо, но когда на зрачок села муха и жадно присосалась к нему, веко дрогнуло. Один из штыковых уколов в спину вышел насквозь, и теперь из дырочки в комбинезоне, на животе, потекла свежая кровь. Узкие плечи заерзали по примятой траве, пытаясь оживить безвольно лежащие руки.

Джим во все глаза глядел на мертвого летчика, пытаясь постичь смысл происшедшего чуда. Дотронувшись до японца, он вернул его к жизни; раздвинув ему зубы, он расчистил в смерти крохотное оконце и дал душе вернуться.

Сев на сырой склон, Джим вытянул ноги и вытер руки о рваные штаны. У самого лица летали мухи и кусали краешки губ, но он не обращал на них внимания. Он вспомнил, как задал однажды миссис Филипс и миссис Гилмор вопрос насчет воскресения Лазаря, и как они в ответ настаивали на том, что никакого чуда тут нет, а есть самое что ни на есть ординарное явление. Доктор Рэнсом каждый день воскрешал людей из мертвых — через массаж сердца.

Джим воззрился на собственные руки, отказываясь верить в их чудодейственную силу. Он поднял ладони на свет, дав солнцу согреть кожу. Впервые с начала войны в нем всколыхнулась бурная волна надежды. Если он смог поднять из мертвых японского летчика, значит, сможет поднять и себя самого, и миллионы китайцев, которые погибли на войне и продолжают гибнуть в боях за Шанхай, ради добычи столь же призрачной, как и сокровища с олимпийского стадиона. Он поднимет Бейси, когда того убьют охраняющие стадион гоминьдановцы, но остальных членов банды поднимать не станет, и уж ни при каких раскладах ни лейтенанта Прайса, ни капитана Сунга. Он воскресит отца и мать, доктора Рэнсома и миссис Винсент, и британских

заключенных из больнички в Лунхуа. Он воскресит японских авиаторов, которые разбросаны по канавам вокруг аэродрома, и, конечно, достаточное количество техников и инженерного персонала, чтобы привести в рабочее состояние целую эскадрилью самолетов.

Японец едва заметно хватанул воздух ртом. Зрачки у него дрогнули и даже как будто пошли по кругу, как у тех пациентов, которых оживлял доктор Рэнсом. Он едва-едва начал возвращаться к жизни, но Джим знал, что его все равно придется оставить тут, у канала. Руки и плечи у него задрожали от прошедшего сквозь них разряда той самой энергии, что дала силу и солнцу, и бомбе, которую сбросили на Нагасаки и взрыву которой Джим был свидетель. Джим уже представлял себе, как аккуратненько встанут из мертвых миссис Филипс и миссис Гилмор и станут слушать с обычным сосредоточенным и несколько озадаченным выражением на лицах его историю о том, как он их спас. Он представил себе доктора Рэнсома, который отряхивает землю с плеча, и миссис Винсент, которая неодобрительно косится через плечо на отверстую могилу…

Джим втянул из десен гной и кровь и, наскоро проглотив, соскользнул по влажной траве в мел-

кую теплую воду канала. Успокоившись и поймав равновесие, он умылся. Ему хотелось выглядеть наилучшим образом, когда миссис Винсент откроет глаза и снова его увидит. Он вытер руки о щеки молодого летчика. Этого придется оставить прямо здесь, но ведь Джиму теперь, совсем как доктору Рэнсому, придется тратить всего по нескольку секунд на каждого нетерпеливо ожидающего своей очереди покойника.

* * *

Джим бежал через низину к лагерю, примечая на ходу, что орудия в Путуне и Хуньджяо как-то все вдруг замолчали. Через летное поле к ангарам подошла и остановилась колонна военных грузовиков; на диспетчерскую вышку карабкались вооруженные люди в американских касках. Над Лунхуа кружили целые стаи «Мустангов», в сомкнутом строю, слитной воздушной волной прибивая к земле сухую траву. Помахав им рукой, Джим бросился к лагерной ограде. Он знал, что американские самолеты прибыли сюда не случайно: они станут вывозить всех тех, кого ему удастся воскресить. У погребальных курганов к западу от лагеря стояли трое китайцев с мотыгами, первые из пострадавших от войны,

которые пришли его приветствовать. Он окликнул двоих европейцев в лагерных робах, которые выбрались из широко разлившегося ручья с самодельным бреднем в руках. Они оглянулись на Джима и тоже что-то крикнули в ответ, как будто удивившись тому, что они снова живы и что в руках у них это скромное средство труда.

Джим перелез через проволоку и побежал по гаревой дорожке к лагерной больничке. На кладбище стояли люди с лопатами, прикрывая ладонями глаза от непривычного дневного света. Они что, сами выкопались, по собственной инициативе? Подбежав уже почти к самому больничному крыльцу, Джим попытался унять бившую его дрожь. Бамбуковая дверь была раскрыта настежь, и в воздухе клубилась туча мух: праздник кончился. В дверном проеме стоял рыжеволосый человек в новенькой американской форме и стряхивал мух с лица, а на лице у него была зеленая марлевая повязка. В руке человек держал инсектицидную бомбу.

— Доктор Рэнсом!.. — Джим выплюнул скопившуюся во рту кровь и взлетел на полусгнившее крыльцо. — Вы вернулись, доктор Рэнсом! Все в порядке, теперь все возвращаются! Я пойду найду миссис Винсент!..

Он попытался нырнуть мимо доктора Рэнсома в темноту, но тот перехватил его за плечи.

— Постой, Джим, не спеши… Я так и знал, что ты где-нибудь поблизости. — Он снял с лица маску и, притянув Джима к себе, принялся изучать его десны, не обращая внимания на кровь, которая мигом испятнала новенькую, с иголочки, американскую армейскую рубашку. — Тебя ждут родители, Джим. Бедолага, ты никогда не поверишь, что война действительно кончилась.

Часть IV
42
Страшный город

Два месяца спустя, накануне отплытия в Англию, сойдя со сходней парохода «Аррава» и в последний раз ступив на китайскую землю, Джим вспомнил слова доктора Рэнсома. Облаченный в шелковые рубашку и галстук и в серый фланелевый костюм, купленный в универмаге «Синсиер компании», Джим вежливо пропустил вперед пожилую чету англичан и подождал, пока те проковыляют по деревянному настилу. Внизу была Дамба во всем мишурном и многошумном блеске наступающей ночи. Все свободное место на набережной было запружено тысячами китайцев, которые кое-как протискивались между трамваями и лимузинами, джипами и грузовиками американской армии, ордами пеших и велорикш. И все они выглядывали британских и американских военнослужащих, которые то и дело возникали у входов в стоящие вдоль Дамбы отели. С пристани, скрытой от Джима баком и кормой «Арравы», сошли на берег отправленные

в увольнительную моряки со ставшего на якорь посреди реки американского крейсера. Они едва успели ступить с борта своего десантного баркаса на твердую землю, а китайцы уже ринулись вперед: сотни карманников и велорикш, проституток и зазывал из ночных баров, лоточников, продающих вразнос разлитый в бутылки из-под «Джонни Уокера» самогон, торговцы золотом и продавцы опиума, то есть граждане Шанхая в его вечернем варианте, сплошь черный шелк, лисий мех, фальшивый блеск.

Молодые американские моряки протискивались сквозь обитателей сампанов и орущих полицейских из военной полиции. Моряки пытались держаться вместе и вместе же отбиваться от толпы желающих радушно принять столь дорогих гостей. Но, не успев добраться даже до первой остановки, где можно было бы сесть на трамвай и отправиться в самый центр Дамбы, они были сметены безостановочным потоком рикш, их руки уже лежали на плечах девочек из местных баров, а девочки вовсю кричали непристойности лощеным сутенерам, которые сидели за штурвалами довоенных «паккардов», взятых в свое время из гаражей на тихих улочках возле Нанкинского шоссе.

Над панорамой шанхайского вечера царили три огромных киноэкрана, которые стояли на трех сооруженных вдоль Дамбы подмостках. По договоренности с командованием американского военно-морского флота, генерал-националист, получивший пост военного коменданта Шанхая, организовал на них в режиме нон-стоп показ кинохроники с европейского и тихоокеанского театров боевых действий, для того чтобы дать жителям Шанхая возможность хоть одним глазком взглянуть на недавно завершенную мировую войну.

Джим шагнул с шатких мостков на землю и посмотрел вверх на мелко подрагивающее изображение на экране, у которого едва хватало сил конкурировать с неоновыми вывесками и бегущими огнями на фасадах отелей и ночных клубов. Сквозь шум дорожного движения лишь время от времени пробивались гулкие, как отдаленный артиллерийский залп, фрагменты звукового сопровождения. Он начал войну с просмотра кинохроники в часовне Шанхайского собора — и вот теперь собрался распрощаться с ней под теми же самыми, почти не изменившимися за эти годы образами — русские пулеметчики идут вперед через развалины Сталинграда, американские

морпехи при помощи огнеметов выкуривают японцев с какого-то тихоокеанского островка, истребители Королевских военно-воздушных сил расстреливают на ходу немецкий товарняк с боеприпасами… Примерно через каждые десять минут на экране появлялись китайские иероглифы, и бесчисленные гоминьдановские армии на параде в Нанкине принимались приветствовать стоящего на трибуне победоносного генералиссимуса Чана. Из всех участников и творцов истории никак не были отмечены только китайские коммунисты, но ведь, в конце концов, их не так давно окончательно выбили из Шанхая и из всех других прибрежных городов. Их вклад в победу уже давно был сброшен со счетов, погребен под наслоениями киножурналов, которые упорно настаивали на собственной версии войны.

За те два месяца, которые прошли с момента его возвращения на Амхерст-авеню, Джим часто ходил во вновь открывшиеся шанхайские кинотеатры. Родители медленно приходили в себя после собственных нескольких лет заключения, проведенных в концлагере Сучжоу, и у Джима было полным-полно свободного времени, чтобы вволю помотаться по Шанхаю. После визита к дантисту, русскому белоэмигранту во Фран-

цузской концессии, он велел Янгу везти его на «Линкольн Зефире» в «Гранд» или в «Катай», где садился в самом первом ряду огромного прохладного зала и смотрел очередную экранизацию «Батаанга» или «Воительницы».

Янг не понимал, зачем Джиму по многу раз смотреть одни и те же фильмы. В свою очередь, Джим задавался не менее темным вопросом: как Янг провел все эти годы — в качестве водителя и денщика у какого-нибудь китайского генерала-коллаборациониста, или переводчика у японцев, или же, наконец, гоминьдановского агента, работающего по совместительству на коммунистов? Янг появился на своем лимузине в тот же самый день, когда родители вернулись на Амхерст-авеню, быстро и почти не торгуясь продал машину отцу Джима и восстановился в должности семейного шофера. Янг уже появлялся в эпизодических ролях в двух фильмах, недавно отснятых на возрожденной Шанхайской киностудии. Джим подозревал, что пока он сидит в кинотеатре «Катай» на очередном сдвоенном киносеансе, Янг сдает машину в аренду в качестве реквизита для очередной киносъемки.

Эти голливудские фильмы, так же как и парящие над человеческим муравейником Дамбы

ролики кинохроники, безмерно восхищали Джима. После того как дантист как следует потрудился над его челюстью, а другой врач заживил поврежденное мягкое нёбо, Джим довольно быстро начал набирать вес. Днем, один за большим обеденным столом, он ел столько, сколько влезет, а по ночам безмятежно отсыпался в собственной спальне на верхнем этаже сказочного, ирреального дома на Амхерст-авеню, который когда-то и впрямь был его родным домом, но теперь казался точно такой же малодостоверной иллюзией, как продукция Шанхайской киностудии.

На протяжении всего того времени, что он прожил на Амхерст-авеню, Джим часто думал о своей выгородке в лагерной комнате миссис Винсент. В конце октября он велел Янгу отвезти его в Лунхуа; Янгу это явно пришлось не по вкусу, но возражать он не стал. Они покружили по западным предместьям Шанхая и вскоре выехали к первому из прикрывающих подъезды к городу укрепленных контрольно-пропускных пунктов. Солдаты-националисты, сидя на американских танках, заворачивали прочь сотни отчаявшихся, лишенных земли и риса крестьян, которые пытались пробраться в Шанхай, чтобы хоть как-то выжить. Вокруг выгоревшего олимпийского

стадиона в Наньдао вырос целый город из глинобитных хибарок со стенами, укрепленными где старой автомобильной покрышкой, где баком из-под авиационного керосина. Над трибунами стадиона по-прежнему поднимался дым — и служил ориентиром для американских летчиков, которые летели сюда над Желтым морем с баз в Японии и на Окинаве.

Когда они свернули на окружную дорогу, Джим принялся во все глаза смотреть на аэродром Лунхуа, который успел превратиться в розовую мечту любого летчика. На летном поле десятками стояли самолеты военно-морских и военно-воздушных сил США, новенькие, только что спущенные с конвейера истребители и сияющие хромированным покрытием транспортные самолеты, которые хоть сейчас можно было выставлять в рекламных витринах на Нанкинском шоссе.

Джим ожидал увидеть лагерь в полном запустении, но ничего подобного: бывшая тюрьма ожила опять, на столбы по периметру натягивали новенькую колючую проволоку.

Несмотря на то что война уже три месяца как кончилась, в этом тщательно охраняемом компаунде до сих пор жили сотни три граждан

Соединенного Королевства. В бывших спальных помещениях блока Е обитали теперь целые семьи, понастроившие клетушек из стенок американских ящиков для НЗ, парашютных коробов и стопок нечитанных номеров «Ридерз дайджест». Когда Джим, в поисках бывшей выгородки Бейси, попытался вытянуть из самодельной стены один журнал, его бесцеремоннейшим образом прогнали вон.

Оставив жильцов сторожить свои сокровища, он дал знак Янгу подъехать к блоку G. В комнате Винсентов жила теперь китайская ама, которая работала на обитавшую через коридор британскую пару. Ни впустить Джима, ни открыть дверь больше чем на чуть-чуть она не захотела; он вернулся в «линкольн» и велел Янгу сделать прощальный круг по лагерю.

Ни больнички, ни кладбища больше не существовало: на их месте остался всего лишь участок выжженной, покрытой углями и пеплом земли, из которой торчали несколько обгоревших балок. Могилы тщательно сровняли с землей, так, словно собрались разбить здесь с десяток теннисных кортов. Джим походил между пустыми канистрами из-под керосина, которым, видимо, и облили больничку, чтобы сжечь, посмотрел

сквозь колючую проволоку на летное поле, на бетонную взлетно-посадочную полосу, которая упиралась в пагоду Лунхуа. Обломки разбитых японских самолетов заросли густым бурьяном. Пока он стоял у ограды, пробегая глазами по руслу узкого канала, над лагерем пролетел американский бомбардировщик. На доли секунды, отразившись от серебристого испода крыльев, по крапиве и чахлым ивам пробежал призрачный бледный отсвет.

Янга эта поездка в Лунхуа отчего-то обидела, и всю обратную дорогу он просидел за рулем мрачнее тучи, а Джим думал о последних неделях войны. Под конец вообще все как-то спуталось. Он почти совсем ничего не ел, и, должно быть, с головой у него тоже не все было в порядке. Однако он знал наверняка, что видел вспышку атомной бомбы над Нагасаки даже через те четыреста миль, которые занимало Желтое море. Более того, он видел начало Третьей мировой войны и отдавал себе отчет в том, что находился в самом центре разворачивающихся событий. Толпы, которые смотрят на Дамбе кинохронику, никак не могут взять в толк, что это всего лишь киножурнал перед настоящей, полномасштабной войной, которая между тем уже началась.

Придет время, и не будет больше кинохроники.

В последние несколько недель перед тем, как отплыть вместе с матерью на «Арраве» в Англию, Джим часто думал о молодом японском летчике, которого он воскресил из мертвых. Теперь он уже не был до конца уверен, что это тот самый летчик, который скормил ему манго. Очень может быть, что этот юноша как раз был при смерти и очнулся, когда Джим завозился рядом в траве. И тем не менее имела место определенная цепь событий, и может так случиться, что с ходом времени из мертвых воскреснут и другие люди. Миссис Винсент и ее муж умерли после обратного перехода от стадиона в глубь материка, вдалеке от Шанхая, в какой-то маленькой деревушке на юго-западе. Но Джим мог помочь оставшимся в больничке заключенным. А Бейси, он что, умер во время нападения на стадион, чуть-чуть не добравшись до золоченых нимф президентской ложи? Или они с лейтенантом Прайсом по-прежнему скитаются по долине Янцзы в «бьюике» бывшего генерала-коллаборациониста и ждут, когда третья по счету война опять вернет их к жизни?

Родителям Джим ничего об этом не рассказывал. Не стал он особо доверяться и доктору Рэнсому, который открыто подозревал Джима в

том, что тот решил и после перемирия остаться в лагере Лунхуа, чтобы по-прежнему играть в свои игры, замешенные на войне и смерти. Джим помнил свое возвращение в дом на Амхерст-авеню и родителей, которые встретили его в саду в шезлонгах, — слабыми улыбками. Трава у пересохшего бассейна разрослась так, что скрывала их чуть ли не с головой, и Джим тут же вспомнил густые заросли крапивы, в которых лежали мертвые японские летчики. Пока доктор Рэнсом в своем американском мундире неловко стоял на веранде, Джим хотел было объяснить родителям, сколько всякого они с доктором пережили вместе, но у отца с матерью позади была своя собственная война.

Они были очень рады Джиму, но за прошедшие годы сильно постарели и стали какие-то… не от мира сего.

Джим прошелся по причалу, возле которого стояла «Аррава», глядя вверх, на мерцающую над головами у толпы кинохронику. Второй экран, перед «Палас-отелем», опустел, и образы салютующих армий и танковых атак сменились прямоугольником серебристого света, который висел в ночном воздухе окном в иной мир.

Пока армейские техники чинили на своем

высоком помосте вышедший из строя кинопроектор, Джим пересек трамвайные рельсы и двинулся в сторону экрана. Словно бы впервые увидев, китайцы останавливались и смотрели на белый прямоугольник. Джима толкнул рикша-кули, в тележке у которого сидели две девочки из бара в меховых шубках; он остановился и отряхнул рукав пиджака. Напудренные лица проституток в призрачном свете киноэкрана казались зловещими масками.

Впрочем, китайцы уже отворачивались от экрана, привлеченные совсем другим зрелищем. У лестницы, ведущей к парадному входу «Шанхай-клаба», уже собралась толпа. Сквозь дверь-турникет наружу вывалилась группа английских и американских моряков и выстроилась на верхней ступеньке; моряки о чем-то спорили и пьяно махали руками в сторону ошвартованного у Дамбы крейсера. Потом они начали выстраиваться в одну шеренгу, как хор, а китайцы стояли внизу и смотрели. Заметив, что они привлекли внимание любопытной, хотя и молчаливой аудитории, моряки начали свистеть и подначивать китайцев. Потом, по сигналу самого старшего в шеренге, они все разом расстегнули свои расклешенные книзу брюки и принялись

мочиться на лестницу.

В пятидесяти ярдах ниже выхода китайцы молча стояли и смотрели на то, как множество струй сливается в пенистый поток мочи, который бежит вниз по ступенькам на улицу. Когда он добежал до тротуара, китайцы отошли, и лица у них были пустыми, лишенными какого бы то ни было выражения. Джим оглянулся на стоящих вокруг людей, на клерков, кули и крестьянок, прекрасно понимая, о чем они сейчас думают. В один прекрасный день Китай заставит весь остальной мир платить по счетам, и вот тогда мало не покажется никому.

Армейские киномеханики наладили наконец свой проектор, и в небе над головами толпы снова развернулись авиационные сражения. Моряков увезла куда-то кавалькада рикш, а Джим пошел обратно на «Арраву». Родители отдыхали сейчас в салоне первого класса на верхней палубе, и Джиму хотелось провести последний вечер с отцом; завтра они отплывают в Англию, вдвоем с матерью.

Он ступил на сходни, зная, что, вероятнее всего, покидает Шанхай навсегда и отправляется в маленькую непонятную страну на другом конце света, в которой ни разу не был, но которая,

формально говоря, и есть его родина. Но из Шанхая уедет только часть его души. Другая часть останется здесь навсегда, возвращаясь с каждым следующим приливом, как гробы, спущенные на воду с погребального пирса в Наньдао.

Под носовыми обводами «Арравы» плыл по ночному течению маленький детский гробик. Бумажные цветы рассыпались, захлестнутые волной от катера, который перевозил на берег матросов с американского крейсера. Цветы выстроились вокруг гроба в неровную колеблющуюся гирлянду, а тот уже пустился в дальний путь к устью Янцзы, только для того, чтобы утром прилив вернул его назад, к здешним пирсам и отмелям, обратно к берегам этого страшного города.

1984

Конец моей войны
Джеймс Баллард

Неужели война и впрямь кончилась? Шла вторая неделя августа 1945 года, и такие слухи уже несколько дней ходили по лагерю в Лунхуа. В восьми милях к северу, за опустевшими деревнями и заброшенными рисовыми полями лежал Шанхай, и я помню, как часами глядел на многоэтажки Французской концессии, видневшиеся на горизонте. Нейтральные швейцарцы и шведы, просидевшие там всю войну, может, как раз настраивали свои коротковолновые радиоприемники, чтобы услышать последние новости об американских бомбежках японских городов и репортаж о мирных переговорах.

Но мы в Лунхуа, в лагере для интернированных, не знали ничего. Позабыв про работу, британские заключенные собирались в группы под балконом кабинета в блоке F, где сидело японское командование. И внимательно следили за нервными охранниками в надежде заметить хоть малейший намек на перемены. Остальные, то есть мы, выходили из бараков и общежитий и, задрав го-

ловы, глядели в непривычно пустое небо. Раньше «Мустанги» и «B-29» каждый день прилетали бомбить шанхайские доки и ближайший японский военный аэродром, но теперь они куда-то подевались. Запасы еды подошли к концу несколько недель назад, мы держались только благодаря пайкам от швейцарского Красного Креста.

Я ждал, что отец вот-вот объявит: все, войне конец! Но он, как и я, ничего не знал. Они с мамой сидели в нашей комнатушке в блоке G, а моя семилетняя сестренка Маргарет играла на улице с другими детьми. Два с половиной года здесь, в лагере, родителям приходилось делиться со мной скудными порциями рисовой похлебки и сладкого картофеля, и они были ужасно истощены. Я чувствовал: они что-то знают и не хотят говорить мне. Боятся, что наша жизнь в заключении может кончиться неожиданно и страшно.

И вот настало восьмое августа. Проснувшись, мы обнаружили, что за ночь все японские охранники исчезли. Мы были уверены: теперь-то война точно кончилась! Люди молча столпились у раскрытых ворот лагеря, поглядывая на пыльную дорогу, ведущую в Шанхай. Несколько человек посмелее вышли за забор из колючей проволоки, несмело втягивая ноздрями свежий воздух. Я был

среди них и осторожно приблизился к могильному холму в двухстах ярдах от забора. Оглянулся через плечо на лагерь, на тесный, скученный мирок, что так долго был моим домом. А свободная, мирная жизнь казалась полной опасностей, совсем как это молчаливое небо. Я бегом бросился назад, под защиту забора, и облегченно вздохнул, вновь оказавшись в безопасной тесноте лагеря.

Но некоторые все же решили покинуть Лунхуа насовсем. С полдюжины британцев из блока Е вышли за ворота и направились через поля в сторону Шанхая, весело помахав нам на прощание. Назавтра все они вернулись в лагерь — лежа без сознания в кузовах грузовиков, на которых приехала новая смена охранников-японцев. Беглецы, оказывается, вшестером отправились кутить по барам в центре Шанхая, и военная полиция Кэмпэйтай (японский аналог гестапо) схватила их и жестоко избила.

Узнав об этом, разъяренные англичанки и бельгийки столпились под балконом командования. Они стояли там в своих обтрепанных хлопчатобумажных платьях и орали оскорбления в адрес невозмутимых японских солдат. Орали до хрипоты, заляпав слюной шею и грудь.

А потом все это наконец прекратилось. На

следующий день после обращения Хирохито Красный Крест сообщил, что война закончилась. Японские войска согласились сложить оружие. Нам рассказали об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, которые стерли оба города с лица земли, положив тем самым конец войне.

— Так война кончилась? — спросил я отца. — Взаправду кончилась?

— Да, взаправду, — мрачно кивнул он. — Скоро, Джейми, ты будешь скучать по Лунхуа.

* * *

Скучать-то я, может, и стал бы, но уж очень хотелось вновь увидеть Шанхай и наш дом на Амхерст-авеню. Из двух тысяч интернированных бóльшая часть осталась в лагере, не в силах пешком одолеть расстояние до города. Денег у них не было, возможности заработать — тоже. Войска Чан Кайши отошли далеко в глубь страны, а ближайшие американские части находились на острове Окинава. Вокруг Лунхуа было небезопасно — опустевшую сельскую местность наводнили разрозненные группы японских солдат, обездоленные крестьяне и оставшиеся без командования китайцы из марионеточной армии. Прошло еще много дней, прежде чем

авангард союзнической армии добрался до Шанхая и взял под контроль эту территорию.

Снова появились «B-29»: они летели над лагерем медленно и низко, футах в пятистах. Из раскрытых бомболюков падали теперь не бомбы, а запасы продовольствия. Картонные коробки с С-пайками, в которых были немыслимые сокровища: банки «Спама»[60] и «Клима»[61], пачки «Лаки Страйк» и «Честерфилда». А еще полоски твердого, как кирпич, шоколада, от которого рот наполнялся умопомрачительной сладостью. Парашюты плыли над лагерем, опускались на окрестные поля и в каналы, и группы интернированных бросались отбирать их у китайских крестьян, забывая, что они тоже союзное гражданское население.

---

[60] Примечания: 60

«Spiced ham» (острая ветчина), а также «Shoulder of pork and ham» (свиная лопатка и ветчина) и было товарным знаком для мясных консервов компании Hormel Foods Corporation — острого колбасного фарша из свинины. После Второй мировой войны остались огромные запасы этих консервов, изготовленные для снабжения во время войны не только американских солдат, но и солдат союзников по программе ленд-лиза. Для того чтобы сбыть свою продукцию не первой свежести, компания Hormel Foods провела первую в своем роде рекламную кампанию. Слово «SPAM» бросалось в глаза на каждом углу, с витрин всех дешевых магазинов, оно было написано на бортах автобусов и трамваев. Это слово можно было прочесть на фасадах домов и в газетах. Реклама консервов «SPAM» беспрерывно транслировалась по радио. Стало нарицательным после одноименного скетча «Монти Пайтонов».

[61] Примечания: 61

Марка сухого молока, рекламный слоган которого гласил «Прочитай наоборот». Во время Второй мировой войны «Клим» изначально входил в состав армейского сухпайка. Позже «Клим» выдавался Красным Крестом военнопленным, особенно тем, кто содержался в немецких лагерях для военнопленных, для увеличения калорийности рациона.

Все это меня так взбудоражило, что я решил добираться до Шанхая пешком. И через три дня после обращения Хирохито, ни слова не сказав родителям, ушел к северной границе лагеря и там, под прикрытием старой душевой, перелез через колючую проволоку.

Прямо передо мной простиралась сеть заброшенных каналов, лежали покинутые деревни. Справа, между лагерем и рекой Хуанпу, был японский военный аэродром. Пагода храма Лунхуа, которую японцы превратили в наблюдательную вышку, чернела в сыром августовском тумане. Во время американских налетов она сияла, как рождественская елка, лучами трассирующих снарядов пытаясь зацепить низко идущие «Мустанги». Но теперь ее покинутые орудия молчали.

Чтобы не попасться бдительным японским дозорным, я обошел аэродром, влез на насыпь железной дороги Ханчжоу — Шанхай и пошел по шпалам между гудящими рельсами. Через полчаса добрался до небольшого полустанка, где расположился взвод японских солдат. Рассевшись на корточки среди винтовок и ящиков с патронами, они ждали поезда, который уже никогда не придет.

Ярдов за двадцать я увидел, что с ними пленник, молодой китаец в черных штанах и белой рубахе. Он стоял, привязанный к столбу телеграфными проводами, которые содрали с ближайшей опоры, и один из японцев медленно душил его. Провод натягивался все сильнее, китаец уронил голову набок и запел что-то тонким, тихим голосом.

Другие солдаты уже не обращали на умирающего внимания. Они внимательно наблюдали, как я подхожу ближе в своей драной рубашке и обтрепанных шортах цвета хаки. Мне хотелось сказать им, что война кончилась, но я и сам не очень в это верил и понимал, что для японских солдат конец войны мало что значит. Ни во что не ставя собственные жизни, они не считались и с чужими.

Миновав полустанок, я двинулся по шпалам дальше. Тонкий, слабый голос умирающего китайца еще какое-то время плыл за мною следом, делаясь все тише и тише, пока смерть не оборвала его песню. Мне не забыть его никогда, но увы — в тот момент это убийство было для меня всего лишь очередным мелким эпизодом войны.

Два часа спустя, усталый и измученный жаждой, я добрался до восточной окраины Шанхая. В

конце Амхерст-авеню остановился: там был дом Кендал-Уордов, моих лучших друзей. Их тоже интернировали в лагерь около Шанхая, только в другой. Надеясь, что и они вернулись, я поднялся по ступенькам к распахнутой входной двери. В проеме виднелось голубое небо: от дома остались одни лишь стены. Китайцы, уходя, забрали все, что смогли. Выломали балки и половицы, стропила и дверные рамы. Не осталось ни труб, ни электропроводки — ничего. Разве что призраки наших детских игр…

В нескольких сотнях ярдов дальше по Амхерст-авеню был дом номер 31. Он принадлежал нам, Баллардам. Крыша и окна оказались невредимы, а когда я позвонил, дверь мне открыл молодой китайский солдат в форме марионеточной армии.

— Это мой дом, — заявил я. Он попытался преградить мне путь винтовкой, но я упорно лез вперед, и он меня впустил. Вспомнил, что война кончилась и для него тоже. Я осматривал безмолвные комнаты — после нищеты и толкучки Лунхуа они казались огромными, роскошными и какими-то нежилыми. Здесь уцелело все: ковры, мебель, книжные шкафы. Плита и холодильник тоже были на своих местах, в кухне, обставленной на американский манер. Наш дом,

оказывается, занял один генерал марионеточной армии, и война кончилась так внезапно, что он попросту не успел ничего отсюда украсть.

Я бродил по притихшему дому, пытаясь расставить по местам сотни воспоминаний из детства. Но слишком многое забылось, и теперь я словно пришел в гости к самому себе. Поднялся на верхний этаж, зашел в свою комнату и лег на кровать. Поглядел на книжные полки — там у меня хранились выпуски «Чамз»[62] и американские комиксы. На ржавые крюки в потолке — на них я подвешивал свои модели самолетов. Да, мыслями я оставался в Лунхуа, но какая-то часть меня все же вернулась домой.

* * *

Мои родители прибыли в Шанхай в 1929 году на борту лайнера компании «Пи энд О». Путешествие из Саутгемптона заняло долгие пять недель. Год спустя я появился на свет в Шанхайском центральном госпитале. Отец управлял текстильной фабрикой под названием «Китайская набивка и отделка». Это была дочерняя компания ман-

[62] Примечания: 62

«Приятели», газета для мальчиков. Издатель объединял еженедельную газету в ежемесячные и годовые издания.

честерской «Ассоциации набойщиков ситца». В тридцатые годы Шанхай представлял собой эдакий тихоокеанский Париж, один из самых цветистых и броских городов мира. Это был оплот рискованных капиталистических авантюр, дерзких и разнообразных. Пять миллионов китайского населения, а также сотня тысяч американцев и европейцев создавали невероятный контраст. Это был город зловонных переулков и изящных бульваров, небоскребов и загородных вилл, многоэтажек в стиле ар-деко и фахверковых тюдоровских особняков.

Семейный шофер возил меня в Соборную школу, и из окна автомобиля я глядел на другой мир, мрачный и грязный. Мир подпольных игорных домов и опиумных притонов, попрошаек всех рангов, рикш-кули и проституток в норковых шубах. Каждое утро грузовики британской администрации объезжали территорию Международного сеттльмента и увозили трупы китайцев, умерших за ночь от болезней или голода. Да, неоновые огни Шанхая сияли ярче всех в мире, но мостовые его были всех жестче и бесприютнее.

И шофер, и няни-белоэмигрантки старались меня оберегать от подобных зрелищ, и все же

я довольно скоро узнал о темной стороне шанхайской жизни. О том, что здесь крадут детей, что бандиты убивают друг друга, а китайские коммунисты продолжают свою тайную борьбу против Чай Кайши и его гоминьдановцев. Первые признаки того, что неоновым огням суждено погаснуть, появились в 1937 году, когда японские войска вторглись в Китай и захватили прибрежные города. Они не пересекали границы Международного сеттльмента, расположенного в центре Шанхая, но на окраинах города шли ожесточенные бои. Японцы одновременно ударили на земле, с моря и с воздуха, но это была еще только прелюдия к грандиозным сражениям Второй мировой войны.

Целые огромные районы города лежали в руинах. Бомба, случайно упавшая на авеню Эдуарда Седьмого, унесла жизни больше тысячи человек. Амхерст-авеню находилась за пределами Международного сеттльмента, и когда над нашей крышей засвистели японские и китайские снаряды, мы сняли дом в относительно безопасных пределах Французской концессии и перебрались туда. Хозяева его покинули, и бассейн во дворе уже начал пересыхать. День за днем наблюдая, как проступает дно, я чувствовал: уходит не

только вода.

Когда сражение кончилось, разбитые армии Чан Кайши отступили далеко вглубь своей огромной страны, а мы вернулись на Амхерст-авеню. Жизнь в Международном сеттльменте вновь завертелась в привычном блеске. Спустя неделю после окончания битвы мои родители отправились с друзьями на экскурсию по полю боя к югу от Шанхая. Кавалькада «паккардов» и «бьюиков» двигалась вдоль осыпавшихся траншей и блиндажей. За рулем сидели личные шоферы, а в окна выглядывали любопытные дети, их элегантные матери и отцы в соломенных шляпах. Картины, проплывающие мимо, напоминали желтоватые фото с места битвы при Сомме, которые я видел в «Иллюстрейтед Лондон Ньюс».

Придерживая подолы платьев, мама и ее подруги осторожно ступали между бесчисленных стреляных гильз. На берегу ручья белел лошадиный скелет, а в каналах плавали трупы китайских солдат, и медленное течение шевелило их руки и ноги. В траве змеились пулеметные ленты, повсюду валялись неразорвавшиеся снаряды и ошметки амуниции. Одному мальчику из Соборной школы оторвало руку, когда он во время подобной прогулки подобрал с земли гранату.

Но надо отдать ему должное: когда он вырос, то стал чемпионом по плаванию.

Японцы продолжали контролировать окраины Шанхая, и мой путь в школу пролегал мимо их блокпостов. Шел сороковой год, и у меня теперь был собственный, первый в жизни велосипед. Под предлогом «заехать к Кендал-Уордам» я катался все дольше и дальше, выезжая на оживленные улицы и уворачиваясь от огромных французских трамваев. Иногда доезжал до Дамбы, где стоял японский крейсер «Идзумо» и две канонерки: британский «Буревестник» и американский «Бдительный». Добродушные томми, сидя возле орудий, обложенных мешками с песком, часто звали меня посидеть с ними: то просили почистить винтовку, то надевали мне на голову свои форменные кепи.

Проезжая мимо блокпостов, я каждый раз не мог удержаться, чтобы не поглазеть на японских солдат. С китайскими фермерами и рикшами-кули, что пытались пробраться на территорию сеттльмента, они расправлялись жестоко и беспощадно. У меня до сих пор стоит перед глазами крестьянка, бьющаяся в истерике возле трамвайной станции на авеню Жоффр. До сих пор я слышу ее рыдания над мужем, которого ткнули штыком,

и он умирал на булыжной мостовой, а мимо равнодушно катили «линкольны» и «студебекеры». Я знал, что японские солдаты ужасно храбрые, и очень надеялся, что британским томми не придется с ними драться. Но помимо храбрости была в них какая-то неуловимая печаль. Этим они разительно отличались от наших знакомых, развеселых европейцев и американцев, а меня буквально завораживали.

К 1941 году все уже понимали, что скоро может разразиться гораздо более масштабная война. В моей школе многие парты опустели: родители увозили детей подальше от Шанхая, в безопасные Гонконг и Сингапур. От Дамбы отходили пароходы, битком набитые бегущими из города европейцами. Я как-то раз прикатил на велике навестить одного приятеля на авеню Фош. Но дом стоял пустой, и брошенные вещи россыпью валялись на кроватях. И как-то очень быстро я сообразил, что наша привычная жизнь — театр, в котором и актеры, и декорации могут попросту исчезнуть за один день.

Почему же мои родители, как и многие другие, остались в Шанхае, подвергая опасности своих близких? Они ведь знали о Нанкинской Резне, во время которой озверевшие японцы уничто-

жили 20 000 мирных китайцев. Мало того, они собственными глазами видели, как безжалостно японцы обходились с китайскими крестьянами в пригородах Шанхая, как насиловали и убивали.

Одни не уехали отчасти потому, что там, в Шанхае, был теперь их дом, была успешная сытая жизнь вдали от Англии, еще не оправившейся от Великой депрессии тридцатых годов. Другие были миссионеры и учителя, они посвятили жизнь служению китайскому народу. И те, и эти свято верили: их спасет военная мощь Британии и Америки. Да, Британия проигрывала в войне с Германией, да, Дюнкерк пришлось оставить, и Франция капитулировала — но никто не сомневался: японцам не по силам тягаться с Британской империей и ее Королевским флотом.

Британия, как известно, владела неприступной крепостью в Сингапуре, а также мощным военным флотом. Японские летчики видели из своих кабин плохо и летали в очках, а их кое-как сляпанные самолеты и в подметки не годились «Спитфайрам» и «Харрикейнам». Сидя в загородном клубе за бокалами, европейцы уверяли друг друга: война с Японией кончится через пару недель — ну, максимум через месяц.

Эти спесивые домыслы подверглись испыта-

нию седьмого декабря 1941 года, когда японские самолеты атаковали с авианосцев Перл-Харбор. В Шанхае, который находился за Линией перемены даты, уже наступило восьмое декабря. Лежа в постели, я читал Библию, готовился к завтрашнему экзамену по Священному Писанию и вдруг услышал, как по Амхерст-авеню грохочут танки. Это японцы двинулись на Международный сеттльмент.

Отец с матерью в панике метались по дому, а по пятам за ними бегали, перешептываясь, напуганные слуги. Я глядел, как они швыряют в чемоданы кипы одежды. Умолял отвезти меня в школу, ибо знал, что преподобный Мэтьюс, самодур-директор, будет в ярости. Но тотчас умолк, когда отец сказал самые чудесные слова, какие только может услышать школьник:

— Джейми, теперь у тебя очень долго не будет ни уроков, ни экзаменов.

Война — это не так уж и плохо, решил я в тот момент.

Японцы захватили Международный сеттльмент, и установился шаткий, фальшивый мир: началась военная оккупация. Нескольких высокопоставленных британских чиновников схватили и бросили в тюрьму, но тысячи простых

англичан и европейцев оказались предоставлены сами себе. Однако все они вконец упали духом, когда стало известно о гибели «Отпора» и «Принца Уэльского», двух огромных боевых кораблей, которые шли из Сингапура в Шанхай без прикрытия с воздуха.

Невысокие узкоглазые японцы, что близоруко щурились сквозь пилотские очки, умели, оказывается, отлично управлять торпедоносцами. Вскоре они взяли Гонконг, а сингапурский гарнизон сдался сам, хотя втрое превосходил японские войска по численности. Вот так война забила последний гвоздь в крышку гроба Британской империи, но сама покойница была единственной, кто об этом не знал, и конвульсивно дергалась еще много-много лет.

Миф о непобедимости Британии лопнул, и с этим трудно было смириться одиннадцатилетнему пареньку, росшему на книгах Джорджа Генти, на историях о подвигах безрассудных храбрецов у северо-западных границ. Могущество империи воздвиглось на почве обмана. Во многом блестящего, но все же обмана.

На протяжении сорок второго года жизнь в Шанхае постепенно сходила на нет. Автомобили у всех отобрали, и отцу приходилось ездить на

работу на велосипеде. Граждане союзных стран носили на рукавах нашивки с соответствующими номерами. Британские компании продолжали работать, но к их руководству теперь подключились японские наблюдатели. Больше не было развеселых вечеринок. Я стал слишком большой для своего велосипеда и ездил теперь в школу на роликах. Она открылась снова: преподобный Мэтьюс словно бы и не знал, что началась война. Моему возмущению не было предела.

А японцы тем временем активно создавали вокруг Шанхая сеть лагерей, куда интернировали гражданское население: англичан, голландцев и бельгийцев. И в начале сорок третьего года пришел черед нам, Баллардам, туда отправиться. Сначала нас привезли в перевалочный пункт, который устроили в загородном клубе «Коламбия». Я помню, какая толпа с чемоданами туда набилась. Многие женщины были в меховых манто, а сидели снаружи, возле бассейна, словно беженцы. И скоро нас всех увезли оттуда, навстречу долгим годам заключения. И во многом именно с этого для меня началась взрослая жизнь.

Лагерь Лунхуа находился в безлюдной глуши к югу от Шанхая и занимал территорию бывшего педагогического колледжа. Его аудитории теперь

служили общими спальнями, в ветхих деревянных бараках поселили незамужних женщин, а бунгало, где жили сотрудники, заняли японские охранники и начальник лагеря.

Этот район, изрезанный множеством речушек и каналов, был печально известен как рассадник малярии. И очень скоро болезнь добралась до лагеря. Душными, влажными летними днями все двигались как в дурмане, истекая по́том. Кормили нас в первый год одним лишь сладким картофелем, вареным рисом да черствым ржаным хлебом — разве что изредка перепадали кусочки мяса размером с игральные кости. Да не мясо это было, а сплошные хрящи. В комнатах и коридорах общежитий громоздились чемоданы и сундуки, а перегородки из развешанных на веревочках простыней превратили спальни в лабиринт крошечных закутков. Теперь в лагере набралось две тысячи интернированных, и жизнь текла в изнуряющей жаре летом и пронизывающем холоде зимой. Там властвовали вонь, шум и унылая рутина.

Но меня здешняя жизнь очень увлекала. Как большинство английских детей в предвоенном Шанхае, из взрослых мужчин я общался только с отцом и его друзьями. А здесь за несколько

недель, шатаясь по лагерю с шахматной доской под мышкой, я подружился с десятками людей. Архитекторы и юристы, инженеры и фабриканты — все они так томились от скуки, что были не прочь сыграть в шахматы и заодно поделиться с неискушенным юным слушателем толикой циничной житейской мудрости.

Наша семья состояла из четырех человек, поэтому нам выделили одну из сорока комнатушек в блоке G. Она была такая тесная, что отцу по утрам приходилось поднимать свой матрас и прислонять его к стене — тогда можно было накрыть карточный столик и за ним поесть. А обо мне все детство заботились слуги, и теперь я блаженствовал оттого, что родители — вот они, стоит протянуть руку. Едят, спят — словом, живут бок о бок со мной, совсем как в обездоленных китайских семьях, которые я видел в шанхайских трущобах, проезжая мимо на велике.

Но им-то, конечно, шебутной и постоянно галдящий отпрыск доставлял одни только хлопоты, поэтому они радовались, когда меня не было в нашей убогой комнатке. И я слонялся по лагерю, подсаживался к игрокам в бридж и покер, следил за игрой. И с любопытством наблюдал, как люди привыкают к лагерной жизни. В Шанхае многие

англичане годами непрерывно пьянствовали, и пары сухого мартини изо дня в день сопровождали их по маршруту «работа-обед-ужин-ночной клуб». Теперь, впервые «просохнув», они стали худеть, но зато начали читать, вернулись к давно позабытым хобби, организовали театральные кружки и вечерние чтения.

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю: заключение в лагере помогало людям раскрыть и ощутить неизвестные им самим грани своей личности. Они прятали от посторонних свои чувства, вели строгий учет надеждам и переживаниям. И часто кто-нибудь нелюдимый или раздражительный вдруг проявлял удивительное, неожиданное благородство. А миссионеры, вроде бы посвятившие жизнь самоотверженному служению бедному китайскому народу, внезапно обнаруживали склонность к эгоизму.

Несколько закоренелых бездельников упорно отказывались работать, но все остальные энергично брались за дела, которые им поручали. Они вели хозяйство в лагере: готовили еду, чистили отстойники, пополняли запасы воды. Вскоре открылась школа, ставшая для родителей долгожданной отдушиной, а для японцев — эффективным карательным инструментом.

Если кто-то пытался сбежать или нарушал хоть одно правило, они закрывали школу и объявляли комендантский час до конца дня, вынуждая родителей самостоятельно развлекать беспокойных, изнывающих от скуки детей.

Поскольку японцы меня все так же завораживали, я вскоре познакомился кое с кем из охранников. Ошиваясь возле бунгало, я быстро сообразил: японские солдаты здесь такие же пленники, как и мы. Те, кто помоложе, часто зазывали меня в гости, в неуютные комнаты без всякой мебели. Облачали в доспехи для кэндо и учили драться на деревянных мечах, обрушивая на меня десятки быстрых ударов. Обратно в блок G я шел с гудящей головой.

Они были такие дружелюбные, только пока Япония одерживала победы. Но после Мидуэйского сражения ветер переменился, и жизнь в лагере Лунхуа стала ухудшаться. Зимой бетонные стены неотапливаемых бараков дышали полярной стужей. Приехало несколько посылок от Красного Креста, там были комбинезоны и ботинки с подошвами из автомобильных шин. Рацион урезали, теперь мы обходились рисом и дробленой пшеницей, которая раньше шла на корм животным (ее я особенно любил). То и

другое казалось просто мусором с продуктовых складов — там было полным-полно гвоздей и дохлых насекомых. Я помню, как мы десятками выбирали из каши долгоносиков и раскладывали по краям тарелок. В конце концов отец сказал, что нам необходим протеин, и мы перестали их выбирать.

У нас был небольшой огородик, и, чтобы удобрить грядки, мы с отцом таскали в баках нечистоты из отстойника в блоке G. По всему лагерю люди прилежно возделывали землю, ставили огуречные парники. Помидоры и дыни, росшие там же, хоть как-то разнообразили наш рацион, но вкус мяса, молока, масла и сахара я к сорок четвертому году уже давно забыл.

К началу последнего года войны между мной и родителями вдруг появилось непонятное отчуждение. Мы слишком много времени провели бок о бок, и при этом у них не было никаких рычагов давления, которыми пользуются родители в обычной жизни: ни поощрить подарком, ни лишить какого-то удовольствия в качестве наказания. Лагерь Лунхуа превратился в гигантскую трущобу, а в трущобах мальчики-подростки всегда дичают. Я теперь сочувствую жителям бедных кварталов, которых обвиняют в том, что

они не держат в узде своих детей.

Кормежка наша становилась все скуднее, а японцы-охранники, злые из-за налетов американских бомбардировщиков на ближний аэродром, начали проявлять бессмысленную жестокость. Господин Хаяши, бывший дипломат, а нынче комендант лагеря, уже не мог заставить своих солдат подчиняться. Но он был честный и порядочный человек, и после войны мой отец отправился в Гонконг, где судили военных преступников, чтобы дать показания в его защиту. К счастью, суд был справедлив, и Хаяши оправдали.

Во всем мире День победы над Японией праздновали двадцать четыре часа. Но в окрестностях Лунхуа его, казалось, отмечали несколько долгих дней. Часы войны наконец перестали тикать. Наконец первые американские военные корабли бросили якорь напротив Дамбы, и Шанхай перешел под контроль американцев. Почти сразу он принял первоначальный, довоенный облик, бары и бордели вновь гостеприимно распахнули свои двери. Шлюхи раскатывали по улицам на велорикшах, преследуя джипы американских офицеров.

Наше семейство покинуло Лунхуа через неде-

лю после прекращения боевых действий. Но я частенько возвращался туда, если удавалось тормознуть попутный американский грузовик. Отчего-то я по-прежнему ощущал, что мой настоящий дом там. Может быть, оттого, что именно в Лунхуа я перестал быть ребенком, начал многое осознавать по-взрослому. Впервые увидел взрослых людей под гнетом тяжелейших условий — такого опыта в мирном Шанхае я бы ни за что не получил.

Потом, когда мы вернулись к себе на Амхерст-авеню, родители решились сказать, какая страшная опасность нам грозила. Хаяши сообщил им, что японское военное командование планировало осенью 1945 года закрыть лагерь Лунхуа и двинуться в глубь страны. Там, вдалеке от Шанхая и нейтральной европейской администрации, они уничтожили бы всех заключенных, чтобы без помех встретить американцев в устье Янцзы.

Американская военная мощь действительно спасла нам жизнь. Да, американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки — и все же они спасли не только нас, но и миллионы мирных людей в Азии. И, вероятнее всего, миллионы японцев на архипелаге. Я считаю большим заблуждением распространенное нынче мне-

ние, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — глубоко безнравственный акт, военное преступление, сравнимое со зверствами нацистов.

За все время продвижения через Тихий океан американская армия освободила один-единственный крупный город — Манилу. И за месяц ожесточенных боев там погибли 6000 американцев, 20 000 японцев и больше 100 000 филиппинцев, основную часть которых вырезали просто так. Общее число гораздо больше, чем в той же Хиросиме.

А сколько бы еще полегло, если бы американцам и британцам пришлось биться за Сингапур, Сайгон, Гонконг и Шанхай? Гигантская японская армия откатывалась назад, к устью Янцзы, и она превратила бы Шанхай в выжженную мертвую землю. Масштаб потерь, которые понесли бы японцы в случае американского вторжения, стал очевиден во время кровопролитного сражения за Окинаву, крупный остров недалеко от архипелага. Там погибло около 200 000 японцев, в основном мирные жители.

Некоторые историки полагают, что война уже, по сути, сама закончилась. И что японские власти, видя свои разрушенные города и полнейший развал инфраструктуры, капитулировали бы и

так, без атомных ударов. Но эта теория не учитывает один важный фактор — простого японского солдата. Который бессчетное количество раз доказывал: пока у него есть винтовка или граната, он будет биться до последнего. Собственная храбрость — вот единственная инфраструктура, которая нужна японскому пехотинцу, и было бы опрометчиво полагать, что свою родную землю он защищал бы менее яростно, чем коралловый атолл в сотнях миль от дома.

Утверждения, что американцы совершили военное преступление, взорвав бомбы над Хиросимой и Нагасаки, имели один неблагоприятный эффект для самих японцев: они окончательно уверились, что в этой войне были не агрессорами, а жертвами. Как нация, они так и не признали вину в зверствах, которые творили — и вряд ли признают, покуда мы будем покаянно склонять головы в память о Хиросиме и Нагасаки.

Споры о том, что атомное оружие — отдельный вид зла, ибо несет генетическую угрозу будущим поколениям, я считаю столь же бессмысленными. Обычная пуля, попав в сердце, несет угрозу куда бóльшую, ибо ее жертва отправляется прямиком в могилу, никаких будущих поколений не породив.

* * *

В 1992 году, спустя почти полвека, я снова приехал в лагерь Лунхуа. К моему удивлению, там все было в точности как я запомнил. Правда, ветхие бараки исчезли: на месте лагеря была теперь школа. Дети разъехались на каникулы, и я зашел в свою бывшую комнату. И там, стоя меж двухъярусных коек, я вдруг осознал: здесь я был по-настоящему счастлив, чувствовал себя воистину дома. Здесь, в заключении, где в любой момент мог погибнуть.

Но чтобы выжить в войне, человек, особенно мирный, должен принять правила, которые она диктует. И, может быть, даже научиться встречать ее с радостью, как научился я.

Впервые опубликовано в Sunday Times в 1995 году.

Доброта женщин

Предисловие к «Доброте женщин»
Мишель Фейбер

Джеймс Грэм Баллард, как и многие другие, на чьем сердце оставила след война, бóльшую часть жизни предпочитал о ней молчать. Умри он в пятьдесят с небольшим (что вполне могло случиться, учитывая пристрастие к алкоголю и табаку) — и свидетельством его жизни в годы войны был бы один-единственный короткий рассказ, «Затишье». Баллард предпочитал претворять свои воспоминания в гораздо более фантастические образы: затонувшие миры, бетонные острова, последние берега, выставки жестокости.

И лишь в восьмидесятые он направил свой талант, словно прожектор, на собственную жизнь, чтобы вытащить на свет, а может быть, и совсем изгнать призраков Шанхая. Впервые он бросил им вызов в «Империи Солнца», потом снова взялся за них, уже с другой стороны, в «Доброте женщин», и, наконец, уже перед смертью, изложил свою историю в *Miracles of Life*, автобиографии, которую принято считать «самой

правдивой». Писатель, чья репутация всегда основывалась на принципе «никаких объяснений, никаких извинений», к концу жизни все сильнее стремился донести до людей, через какие испытания он прошел и как они на него повлияли.

«Империя Солнца» с этой задачей справиться не могла. Во-первых, там не рассказывалось, что стало *потом* с мальчиком, который видел трупы на улицах родного города и несколько лет выживал в японском лагере для интернированных. А во-вторых, читатели уже воспринимали этот роман через призму сентиментальной, излишне жизнерадостной экранизации Стивена Спилберга. Но «Доброта женщин», которая позиционировалась как продолжение «Империи Солнца», возвращает читателей к прямому, откровенному стилю ранних работ Балларда, где он показывал, что ужас и насилие могут сделать с человеческой психикой. Эпизод, где юный Джим видит, как скучающие, полусонные японские солдаты медленно душат пленного китайца электрическим проводом — искусное сочетание недосказанности в самой сцене и гнетущего отголоска после. Джиму удается спастись, уйти от японцев, но мы понимаем, что от этого зрелища ему не уйти уже никогда.

Как и в «Империи Солнца», Баллард для большего драматизма убрал из лагеря своих родителей — его Джим там жил сиротой. И другие события первой книги подаются здесь несколько иначе, через других персонажей. На протяжении семнадцати глав, похожих на небольшие повести, Баллард художественно перерабатывает основные этапы своей жизни в период с 1937 по 1987 год. Начиная с детства в Шанхае, где богатые, вечно подвыпившие переселенцы с запада играют в теннис, ходят по магазинам, предпочитая не замечать, как множатся на улицах груды трупов китайских беженцев, погибших от голода, тифа или бомбежек. «Мне, ребенку, который отродясь не видел ничего иного, Шанхай представлялся эдаким сном наяву, где все, что только можно вообразить, уже воплотилось в крайней своей степени». Эти слова вполне могут служить общим манифестом всех романов Балларда.

Его всегда увлекали сюрреалисты, и он полагал, что именно из их полотен почерпнул характерную ауру, которой наполнил свои книги. Шанхай, который мы видим в «Доброте женщин», — это галерея неизвестных шедевров Дали, Магритта, Дельво и других. Мертвые китайцы, лежащие у входа в разрушенный бомбежкой парк развлече-

ний, «покрыты слоем белой пыли, сквозь которую проступают темные пятна, словно трупы надели камуфляжные костюмы». Образ, достойный Де Кирико. Оторванные руки Баллард с жутковатой простотой называет «потерянными». Личные шоферы везут скучающих экспатов на поля прошедших боев, где открытые гробы напоминают «выдвинутые ящики шкафа, который перерыли сверху донизу». Из-за вмятых в землю стреляных гильз «кажется, что ходишь по золотым дорожкам», а убитые солдаты лежат «в осыпавшихся траншеях, по пояс в земле, словно уснув в заброшенном дортуаре». Будучи вынужден наблюдать такие картины в обществе изящно одетых дам, «отгоняющих веерами мух от лица», Джим получает кошмарный опыт, впитывает эмоционально-этические конфликты, которые охарактеризуют собой двадцатый век.

Если странный, безумный Шанхай является в романе провозвестником Аушвица, Вьетнама и бессмысленного хаоса современного инфопространства, то учеба Джима на медика в послевоенном Лондоне раскрывает принципы Балларда как прозаика. В эпизоде, где Джим препарирует труп, подруга предупреждает его: «Сперва надо срезать весь жир, иначе не доберешься до фас-

ции». Это очень точная метафора клинически четкого подхода Балларда к повествованию, его невероятной смеси концентрации и легкости. И, хотя Баллард любил противопоставлять себя ярым авангардистам от литературы, утверждая «я писатель в душе глубоко старомодный», он отрицал приемы, с викторианских времен лежащие в основе добротной популярной прозы. Сюрреалистский акцент на необъяснимом и свойственное научной фантастике снисхождение к беспорядочным описаниям и неестественным диалогам отвечали его собственным взглядам, но, возможно, разочаровывали некоторых читателей.

В сфере телесности и особенно секса Баллард противоречит канонам английской литературы сильнее всего. Трудно представить другого британского писателя, способного выдать что-то вроде: «По моему лицу скользнули ее маленькие, стертые от стирки ладони. Они пахли губной помадой, спермой и анальной слизью». Частые упоминания пениса, половых губ, простаты и тазовых костей подчеркивают мнение Джима, что «Анатомия» Грея — книга гораздо более важная, чем «Улисс». Даже в главе, которая посвящена супружеской любви и чуду новой жизни, мы видим,

как Джим вправляет Мириам прямую кишку, которая выпала во время родовых схваток. Те, кто начал читать Балларда с «Империи Солнца», номинированной на Букеровскую премию и лишенной даже намека на секс, возможно, сочли такую откровенность неприятной. И Баллард, обретя известность после ее выхода, действительно получал возмущенные письма: люди сожалели, что стали читать другие его книги. Да, он разделял пренебрежение Уильяма Берроуза к «правилам хорошего вкуса», однако его акцент на телесном — не просто способ шокировать читателей. Не веря в бессмертие души, в мистицизм вечной жизни, в котором находили утешение более «духовные» авторы, он бесстыдно восхищался плотью — каждой порой кожи, каждым ее шрамиком и прыщиком. Эпизод в «Доброте женщин», где Джим вскрывает женский труп, Баллард выписывает деликатно и почтительно, даже благоговейно.

При всем своем модернизме Баллард все-таки рос на традициях предыдущего поколения, на «Бигглзе» и «Чамз». И эти ценности он отбросить не мог. Отсюда его противоречивое восхищение солдатами, презрение к пораженческому настрою англичан в Сингапуре и любовь к военным

самолетам, которую он пронес через всю жизнь. Все это делало его совершенно чужим для нового поколения — длинноволосых пацифистов с их шумными протестами. И причина не только в возрасте: и Уильям С. Берроуз, и Тимоти Лири были много старше, но их обоих трудно представить плечом к плечу с Джимом и почетным караулом Королевских ВВС на похоронах давно погибшего пилота «Спитфайра». Из этой сцены становится ясно: Баллард, который цинично смотрит на многое, к павшим воинам относится со скорбным почтением.

Бóльшая часть книги писалась в период с шестидесятых до начала семидесятых, когда Баллард уже замыслил сюжеты, которые принесли ему славу знатока общественной анатомии. И его взаимоотношения с этим периодом были очень необычны. Его не трогала музыка, не влекло очарование психоделии, а идеализма хиппи он попросту не понимал. Поэтому, в отличие от многих экспериментаторов, оставался равнодушным к духу шестидесятых. Да, его радовала та встряска, которой подверглась классовая система, та волна контркультуры, которая, поднявшись, принесла ему популярность. И все же в «Доброте женщин» он рисует шестидесятые как эпоху, где

наркотики, громкие политические убийства, послевоенные психотравмы и телевидение лишают общество разума. «Упадок чувств и эмоций, угасание настоящей страсти опалили это несчастное десятилетие, словно безжалостное солнце — детскую площадку».

В чем же искать надежду, если общество сошло с ума, а мир вокруг исходит ядом? В доброте женщин? Неужели это женская забота помогает Джиму (и автору вместе с ним) выстоять и идти дальше? Да, название книги предлагает нам считать именно так. Но более внимательный взгляд ставит эту идею под сомнение. У Джима нет матери, а есть только вечно угрюмая няня, которая всего лишь приглядывает за ним. Потом, во взрослой жизни, появляется непостоянная и неверная любовница Салли Мамфорд с явной тягой к самоуничтожению. Даже Мириам, жена, хоть и поддерживает его, вечно желает перемен, рассматривает брак как «поворот с прямой дороги в тупик». Но в конце концов она, как и собственная супруга Балларда, внезапно умирает, оставляя его одного растить троих детей. «Соблазны развязки» — вот более подходящее название для этой книги. И действительно, в последних главах мы видим явно притянутые за уши сцены

секса, когда женщины, что-то значившие в жизни Джима, вдруг снова возникают рядом, чтобы заняться с ним любовью. Это отчаянная попытка автора связать все воедино путем надуманных диалогов и обмена физиологическими жидкостями. Если какие-то женщины и были для Джима (как и для самого Балларда) спасением, так это его дочери, которые дарили отцу, топившему горе в бутылке, ту стабильность и утешение, ту любовь и счастье, в которых он так нуждался.

Баллард был не лишен эмоций — как не лишены их и его работы. И отстраненность, которую многие критики называли истинно баллардовской, вовсе не такая ледяная и всеобъемлющая, как представляется. В романе «Доброта женщин» теплые чувства — сострадание, страсть, родительская любовь, дружеская привязанность — полноводной рекой текут глубоко под кожей. Но, подобно венам, которые сжимаются или спадаются при приближении инфузионной иглы, эти чувства избегают баллардовского пера, беспристрастного, как скальпель патологоанатома. «Доброта женщин» — любопытная смесь, сочетание, порой не совсем удачное, беспощадной жесткости ранних, более фантастичных работ и новой для него человечности, которая вытеснила

извращенный мистицизм. За много лет до этого, когда издательство вернуло «Автокатастрофу» с комментарием «автор психически болен и лечению не подлежит», Баллард только воодушевился, ибо это подтверждало: книга задевает за живое. Но к 1991 году он уже не купался в лучах негодования критиков.

По правде говоря, внутренняя добропорядочность Балларда сквозила во всех его сюжетах, даже самых скандальных. Он хотел, чтобы все жили в любви и заботе, в дружной семье, какая была у него самого в тихом пригородном Шеппертоне. А не теряли человеческий облик, предаваясь безумию и каннибализму, как толпы, заключенные в «Высотке». Его обзывали нигилистом-извращенцем, чемпионом по оргазмическим автокатастрофам — что показывает, сколь недалекими были и остаются ревнители общественной морали. А он, как любой сатирик, полагал, что люди в своих поступках должны руководствоваться состраданием и законами нравственности. Печалясь, что этого не происходит, он выражал свою тревогу — но вместо того, чтобы истерично заламывать руки, демонстрировал нам всем антиутопичное будущее как свершившийся факт. Погружал нас туда силой.

Я говорю «нас», но вынужден признать, что сам открыл для себя Балларда на удивление поздно. На удивление, потому что он настолько неразрывно связан с другими культурными явлениями, что сейчас даже представить трудно, как я мог его «пропустить». Будучи поклонником андеграундных комиксов, я наизусть знал невероятно жестокие, натуралистичные антиутопии Гаэтано Либераторе. Нес в массы идеи Фиби Глекнер — а она в одной из немногих своих работ, которой у меня не было, создала анатомическую фантасмагорию для переиздания «Выставки жестокости». Я кайфовал под «Hamburger Lady» Throbbing Gristle (чистейший Баллард, только в форме звука), тащился от «Алых Песков» Пола Шутце, подпевал под «Высотку» Hawkwind. Обожал фильмы Дэвида Кроненберга. Был под сильным впечатлением от *Industrial Culture Handbook*, выпущенной в восьмидесятые издательством Re/Search. Много раз перечитывал их издания, но почему-то ни разу не встречал те, что были посвящены творчеству Балларда.

Теперь, оглядываясь назад, я не могу объяснить, почему «избегал» Балларда. Возможно, подсознательно опасался, что его работы слишком сильно повлияют на мои? Ведь если брать мое творчество, то любой рассказ, например «Обоснование кокосов», теперь кажется потрясающе, упоительно «баллардовским», и я особенно рад, что сам, без его наставлений, исследовал эту сферу. И вместе с тем очень горько оттого, что он не появился в моей жизни, пока был жив сам. Я написал бы ему письмо, где превознес бы его непоколебимые взгляды и его работы, почти всегда прекрасные. Да, наверное, дело именно в этом.

Фирн бай Тейн, 2014

Часть I
Сезон убийц
1
Кровавая суббота

Летом 1937 года каждый день после обеда я отправлялся на велосипеде на шанхайский Бунд посмотреть, не началась ли война. Надо было только дождаться, пока мать с отцом уедут в загородный клуб. Они неторопливо переодевались в костюмы для тенниса в своей спальне, а я все дивился, как они безразличны к приближающейся войне, которой сломать нас так же просто, как отцу подать первый мяч. Помню, я с наполеоновским нетерпением семилетки расхаживал взад-вперед, перешагивая солдатиков, расставленных на ковре, как японская и китайская армии под Шанхаем. Иногда мне казалось, что я в одиночку сдерживаю войну.

Не обращая внимания на смешки флиртующей с отцом матери, я следил за небом над Амхерставеню. В любой момент над зданиями городских универмагов могли появиться эскадрильи японских бомбардировщиков, разбомбить нашу

кафедральную школу. В моем детском сознании не укладывалась мысль о долгой войне: представлялось, что она продлится несколько минут, в крайнем случае, до вечера. Я, пропустивший уже так много увлекательных событий, боялся только одного: что война окончится прежде, чем я замечу ее начало.

Все лето в Шанхае только и говорили о войне Японии с Китаем. Таская с тарелок закуски, я слушал, как собравшиеся на бридж подруги матери обсуждают перестрелку, случившуюся 7 июня на мосту Марко Поло в Пекине — она послужила сигналом к вторжению японцев в Северный Китай. Приказ о контратаке Чан Кайши отдал только через месяц — ходили слухи, что германские советники генералиссимуса уговаривали его оставить северные провинции и дать бой под укрепленной столицей, Нанкином. Однако хитрый Чан решил бросить японцам вызов под Шанхаем, в устье Янцзы, в надежде на помощь американцев и европейцев.

Выезжая к Бунду, я своими глазами видел скапливающиеся вокруг Международного сеттльмента китайские войска. В пятницу, 13 августа, едва отец с матерью устроились на заднем сиденье «паккарда», я вывел из гаража велосипед,

подкачал шины и отправился в дальнюю поездку к набережной. Моя белорусская гувернантка Ольга думала, что я еду в гости к Дэвиду Хантеру — мой друг жил в западном конце Амхерст-авеню. Молодая гувернантка отличалась странными перепадами настроения. Иногда она застывала со странно остановившимся взглядом, не прочь была примерить платья моей матери и рада была хоть ненадолго от меня избавиться.

Через час я добрался до Бунда, однако набережная была так забита возбужденными офисными клерками, что я с трудом пробился к берегу. Я звонил в звонок, обгоняя дребезжащие трамваи и сцепившиеся колесами тележки рикш с измученными кули, объезжая агрессивных нищих и карманников. Беженцы из Чжабэя и Нантао рекой текли в Международный сеттльмент[63], кричали в равнодушные фасады банков и торговых домов вдоль Бунда. Многотысячные китайские войска окопались на северных окраинах Шанхая против японского гарнизона, расположившегося в захваченном Янпу. Со ступеней отеля «Катай» я, оставив швейцару велосипед, рассматривал

[63] Примечания: 63

Сеттльмент — обособленные кварталы в центре некоторых крупных городов Китая в XIX — начале XX века, сдаваемые в аренду иностранным государствам. — *Прим. ред.*

заполонившие реку Хуанпу военные корабли. Там были британские эсминцы, сторожевики, канонерки, французский крейсер, американский «Огаста» и старый японский крейсер «Идзумо», который, по словам отца, еще в 1905 году участвовал в потоплении флота Российской империи.

Несмотря на такое скопление войск, война в тот вечер решительно не желала начинаться. Я, разочарованный и усталый, в помятом и запачканном школьном пиджачке, принялся крутить педали в сторону Амхерст-авеню, чтобы успеть к чаю и любимому радиосериалу. Потирая ободранные коленки, я присмотрелся к войскам оловянных солдатиков и перестроил их согласно расположению войск, замеченному по пути к дому. Не слыша окликов Ольги, я ломал голову, как бы выйти из этой патовой ситуации, и надеялся, что отец, знакомый с одним из китайских банкиров, стоявших за спиной Чан Кайши, передаст плоды моих запутанных размышлений генералиссимусу.

Думая над проблемами, превосходившими сложностью даже домашние задания по французскому, я забрел в родительскую спальню. Ольга в меховой шубе стояла перед зеркалом высотой в человеческий рост. Я подсел к туалетному сто-

лику и принялся переставлять духи и щетки для волос, а Ольга через зеркало хмуро посматривала на меня, как на чужака, забравшегося в дом. Я говорил матери, что Ольга играет с ее одеждой, но мать только улыбнулась и ничего не сказала Ольге.

Позднее я понял, что семнадцатилетняя девушка из состоятельной минской семьи сама была почти ребенком. Катаясь по городу на велосипеде, я поражался бедности русских и еврейских беженцев, обитавших в районе доходных домов. Одно дело — когда бедны китайцы, но видеть в подобной нищете европейцев было тревожно. На их лицах было отчаяние, какого никогда не выказывали китайцы. Однажды, когда я проезжал мимо темного подъезда доходного дома, русская старуха велела мне убираться и крикнула, что мои родители — воры. Я несколько дней верил ее словам.

Беженцы в заплатанных меховых шубах стояли на ступенях Парк-отеля в надежде продать старомодные драгоценности. Женщины помоложе густо красили глаза и губы — для того, как мне думалось, чтобы подбодрить себя. Они окликали заходивших в отель британских и американских военных, но чем торговали эти женщины, мать

мне объяснить не смогла. В конце концов она сказала, что эти женщины дают уроки русского и французского.

Я вечно мучился с заданиями по французскому и знал, что многие «белые русские» превосходно владеют французским. Я попросил Ольгу давать мне уроки французского, как те молодые девушки у Парк-отеля. Я стал искать карманный словарик, а Ольга села на кровать и уставилась на меня, как на диковинное животное из зоопарка. Испугавшись, что задел ее чувства намеком на бедность семьи, я подарил Ольге свою шелковую рубашку с просьбой передать ее больному отцу. Ольга целых пять минут держала рубашку в руках, как церковный покров на службе в соборе, а потом молча вернула ее в мой шкаф. Я и прежде замечал, что в русских гувернантках кроется женская тайна такой глубины, какой и близко не было в матерях моих приятелей.

* * *

— Ну что, Джеймс? — Ольга повесила шубу на вешалку и накинула на плечи утреннее платье моей матери. — Ты уже дочитал книгу, которую брал на каникулы? Что-то ты сегодня сам не свой.

— Я думаю о войне, Ольга.

— Ты о ней каждый день думаешь. И ты, и генерал Чан. Думаю, он был бы рад с тобой познакомиться.

— Ну, я мог бы с ним встретиться… — На самом деле мне казалось, что генералиссимус уделяет войне недостаточно внимания. — Ольга, ты не знаешь, когда начнется война?

— Разве она еще не началась? Все говорят…

— Нет, я о настоящей войне. Войне в Шанхае.

— Разве это настоящая? В Шанхае нет ничего настоящего, Джеймс. Спросил бы лучше отца.

— Он не знает. Я спрашивал после завтрака.

— Жаль. Много ли такого, чего он не знает?

Ольга в материнском платье присела на отцовскую постель, погладила шелковое покрывало и расправила складки. Она ласкала отпечаток отцовских плеч, и мне вдруг показалось, что она сейчас нырнет под простыню.

— Он много всего знает, но…

— Напоминаю, что сегодня пятница, тринадцатое, Джеймс. Подходящий день для начала войны?

— Ой, Ольга!.. — Эта новость осветила мир. Я кинулся к окну — уже не раз замечал, что приметы и суеверия сбываются. — Я тебе скажу, если

что-то увижу!

Ольга встала за мной и накрыла рукой мое ухо в успокаивающем жесте. Она любила интимное прикосновение материнской одежды и густой запах куртки отца для верховой езды, а меня касалась редко. Она не сводила глаз с неба над Бундом. Из кочегарок старых судов поднимался угольный дым. Темные столбы дыма сталкивались, теснили друг друга — корабли меняли место, расходились, ревя гудками. Тусклый свет заострил лицо Ольги, придав ему сходство со скульптурами, которые я видел на шанхайском кладбище. Она прикрыла лицо полой нарядного халата, словно сквозь тонкую вуаль смотрела сон о гибели Российской империи.

— Да, Джеймс, похоже, сегодня твоя война начнется.

— Ой, спасибо, Ольга!

Но не успела война начаться, как неожиданно вернулись из клуба отец с матерью. С ними были двое британцев, офицеры шанхайской добровольческой части в обтягивающих мундирах времен Великой войны. Я хотел пробраться за ними в отцовский кабинет, но мать вывела меня в сад и постаралась занять, показывая, как пьют воду из бассейна золотые иволги.

Я встревожился, заметив ее беспокойство, потому что мать, в отличие от Ольги, никогда ни о чем не тревожилась. Чтобы ее не расстраивать, я провел остаток дня в детской: слушал гудки военных кораблей и переставлял солдатиков. На следующий день, которому было суждено войти в историю как Кровавая Суббота, моя миниатюрная армия наконец пришла в движение.

* * *

Помню, в последнюю ночь мира в Шанхае дул влажный муссон, заглушавший выстрелы китайских снайперов и далекий грохот корабельных орудий — японские корабли обстреливали китайские береговые батареи Вусуна. Я проснулся во влажной духоте: шторм прошел, и промытые дождем неоновые огни города горели еще ярче.

Родители уже к завтраку оделись в костюмы для тенниса, но через несколько минут отец сам сел за руль «паккарда», посадив шофера рядом, и отъехали они не в сторону гольф-клуба.

— Джеймс, сегодня ты побудешь дома, — объявил отец, глядя мне в глаза, как делал всегда, когда у него имелись некие невысказанные соображения. — Можешь дочитать «Робинзона Крузо».

— Познакомишься с человеком-Пятницей и людоедами, — улыбнулась мать, но глаза у нее были пустыми, как при виде нашего спаниеля, сбитого машиной врача-немца на Коламбиа-роуд. Я подумал, не умерла ли ночью Ольга, но нет, она стояла в дверях, прижимая к щекам ворот халата.

— Я уже познакомился с людоедами. — При всей увлекательности, кораблекрушение Робинзона бледнело в сравнении с военным сражением на Хуанпу, в котором будут тонуть настоящие корабли. — А можно мы сходим на «Побудку»? Дэвид Хантер на следующей неделе собирался…

Представление, поставленное солдатами британского гарнизона, сопровождалось грохотом пушек, вспышками и штыковыми атаками. Оно воссоздавало самые славные сражения Великой войны: битвы при Монсе, Ипре и десант в Галлиполи. Этот спектакль был настолько похож на войну, что на большее мне и надеяться не приходилось.

— Посмотрим, Джейми. «Побудку» могут отменить, солдаты очень заняты.

— Понятно. А можно тогда на «Адских гонщиков»?

Эта труппа американских каскадеров гоняла на своих помятых «фордах» и «шевроле» через

деревянные баррикады, облитые пылающим бензином. Зрелище отрепетированных ужасов навеки затмило будничные автомобильные катастрофы на улицах Шанхая.

— Ты обещала…

— «Адские гонщики» сегодня не выступают. Вернулись в Манилу.

— Они готовятся к войне. — Я представил себе этих неразговорчивых американцев в защитных масках и костюмах пилотов, прорывающимися сквозь огненную стену в ответ на залп с «Идзумо». — А в гольф-клуб можно?

— Нет! Сиди дома с Ольгой! Я повторять не буду… — Таким тоном отец говорил с недовольными рабочими во время беспорядков на его текстильной фабрике в Пудуне, на восточном берегу реки. Я задумался, почему Ольга, когда отец сердится, не сводит с него глаз. Ее невыразительный взгляд становился жадным, почти голодным — такое выражение я ощущал на своем лице при виде мороженого. Так же смотрел на отца профсоюзный лидер, коммунист, угрожавший ему смертью перед конторой на Сычуан-роуд. Я опасался, что Ольга убьет и съест отца.

— Это обязательно? Ольга все время слушает французскую танцевальную музыку.

— И ты с ней послушай, — посоветовала мать. — Пусть Ольга поучит тебя танцевать.

Эта угроза была для меня еще страшнее угрозы нескончаемого мира. В прикосновениях Ольги, редких и рассеянных, было нечто странно интимное. Когда я уже лежал в постели, она иногда раздевалась у меня в ванной, не прикрыв дверь. Позже я пришел к выводу, что таким способом она внушала себе, что меня больше не существует. Как только родители уезжали в гольф-клуб, я только и думал, как бы доставить ей неприятности.

— Дэвид сказал, что Ольга…

— Хорошо! — Раздраженный звонком телефона, на который не решались ответить слуги, отец смягчился. — Можешь повидать Дэвида Хантера. Но больше никуда.

Почему он боялся Шанхая? Отец, при всей своей вспыльчивости, сдался довольно быстро: как видно, положение в мире было таким неверным, что даже уговоры ребенка кое-что значили. Отец был слишком занят, чтобы играть со мной в солдатики, и часто устремлял на меня тот же твердый, но рассеянный взгляд, каким смотрел на собравшихся к утренней молитве мальчиков директор кафедральной школы. Уходя к машине,

отец притопывал шипованными подошвами туфель для гольфа, оставляя на дорожке глубокие отметины. Вроде следов на песке у Крузо.

«Паккард» еще не отъехал от дома, а Ольга уже вернулась на веранду с журналами, которые выписывала мать: «Вог» и «Сетердэй ивнинг пост». Временами она окликала меня — голос звучал издалека, как речные сирены от Вусуна. Я догадывался, что Ольге известно о моих ежедневных велосипедных прогулках по Шанхаю. Она прекрасно понимала, что в темных переулках у Бабблинг-Велл-роуд меня могут похитить или обобрать до нитки. Может быть, на нее так подействовала Гражданская война в России, долгий путь с родителями через Турцию и Ирак и этот ничейный город в русле Янцзы, что ей было уже все равно, если бы ребенка, вверенного ее заботе, убили.

— К кому тебя отпустил отец, Джеймс?

— К Дэвиду Хантеру. Он мой лучший друг. Я пойду, Ольга?

— У тебя так много лучших друзей… Предупреди меня, если начнется война, Джеймс.

Она махнула рукой, и я удрал. На самом деле я вовсе не собирался к Дэвиду. Все летние каникулы мы со школьными друзьями вели в Шанхае

эпическую игру в прятки: она длилась неделями и захватывала весь город. Выезжая с матерью в загородный клуб или попивая чай со льдом в шоколадной, я все присматривался, не видно ли Дэвида — он мог, сбежав от своей кормилицы, пробиться сквозь толпу и ударить меня по плечу — запятнать. Игра добавляла еще один слой странности и непредсказуемости и без того странному городу.

Я выкатил из гаража велосипед, застегнул пиджачок и поехал по дорожке от дома. Колени мелькали, как лопасти взбивалки. Вывернув на Амхерст-авеню, я обогнал колонну крестьян, тащившихся от западной окраины. Эти беженцы из мест, оккупированных японской или китайской армией, брели мимо больших зданий с жалким скарбом на плечах. Они пробирались к далеким многоэтажкам в центре Шанхая и не видели ничего, кроме жесткого асфальта под ногами. Они не замечали блестящих бамперов «бьюиков» и «крайслеров», не слышали гудков, которыми китайцы-шоферы пытались прогнать их с дороги.

Привстав на педалях, я протиснулся мимо рикши, нагруженного свернутыми циновками. На них, вцепившись в разобранную крышу и стены

своей хижины, примостились две старухи. Я чуял запах их тел, искалеченных годами тяжелой работы, и такой же едкий пот, и голодное дыхание обнищавших крестьян. Однако ночной дождь, промочивший их одежду, еще сверкал на солнце, придавая грубой холстине подобие шелков на прилавке дорогого универмага — как будто магия Шанхая уже понемногу преображала этих обездоленных людей.

Что с ними станется? Мать старательно обходила вопросы о беженцах. Зато Ольга равнодушно объяснила мне, что большинство скоро умрет от голода или от тифа в переулках Чжабэя. Каждое утро по дороге в школу я встречал грузовики шанхайского муниципалитета, объезжавшие город, чтобы собрать сотни трупов умерших за ночь китайцев. Я убеждал себя, что умирают только старики, хотя сам видел тело моего ровесника, прислонившееся к решетке ограды у конторы отца. Он держал в белой руке жестянку из-под сигарет — возможно, последний дар бросившей его семьи. Я надеялся, что другие станут барменами, официантами или девушками третьего разряда из всемирного парка аттракционов. Мать говорила, что тоже на это надеется.

Отбросив эти мысли, радуясь предстоящему

дню, я выехал на авеню Жоффр, где длинный зеленый бульвар тянулся из Французской концессии до Бунда. Раздражительные французские солдаты охраняли пропускной пункт, возведенный из мешков песка на трамвайных путях. Они опасливо посматривали в пустое небо и сплевывали под ноги проходящим китайцам. Они ненавидели этот уродливый город, место их ссылки на краю света. Но меня при въезде в Шанхай охватывало радостное волнение. Моим детским глазам, не знавшим ничего другого, Шанхай представлялся сном наяву — любой вымысел моего воображения этот город доводил до крайности. Броские плакаты, неоновые вывески ночных клубов, молодые китайские гангстеры и наглые нищие, острыми взглядами провожавшие мой велосипед, составляли залитое светом царство, полное восторгов, несравнимых с американскими комиксами или любимыми мной радиоспектаклями.

Шанхай переварит все, даже подступающую войну, как бы яростно ни дымили крейсера на реке Хуанпу. Отец называл Шанхай самым передовым городом мира, так что я знал: рано или поздно все города планеты наполнятся радиостанциями, адскими гонщиками и казино. На арене собачьих бегов толпы китайцев и ев-

ропейцев ломились к рядам скамей, вовсе не думая о войсках Гоминьдан, окруживших город в ожидании атаки японцев. На стадионе хай-алай[64] толкались, спеша сделать ставки, игроки, а у Большого театра на Нанкин-роуд уже стояли утренние зрители, собравшиеся на последний голливудский мюзикл «Золотоискатели 1937».

Но среди этих чудес больше всего меня поражал Большой Всемирный парк аттракционов на авеню Эдуарда Седьмого. Шофер, без ведома родителей, часто отвозил меня в его грязные недружелюбные пещеры. Забрав меня из школы, Янг обычно оставлял машину у парка аттракционов и отправлялся по своим таинственным делам, которые занимали у него бóльшую часть дня.

Гигантское складское здание парка наполняли свет и звук. В нем были фокусники и фейерверки, игровые автоматы и певички. В воздухе стояла дымка от жаровен, сало оседало на лице блестящей пленкой, смешиваясь с запахами благовоний и курильниц. Я, ошеломленный шумом,

[64] Примечания: 64

Хай-алай (джай-алай) — игра в мяч баскского происхождения, в которую играют на площадке, огороженной тремя стенами, и мячом из твердой резины. Мяч ловят и бросают с помощью длинного изогнутого плетеного совка, привязанного к руке. — *Прим. ред.*

следовал за Янгом, который пробирался между акробатами и ударявшими в гонги китайскими актерами. Лекари, обезглавив огромного белого гуся, продавали прохожим чашечки горячей крови, а другие свирепые птицы топали ногами и гоготали, если я проходил слишком близко. Пока Янг шептался с игроками в маджонг и свахами, я из-под его ног заглядывал в открытые туалеты и глазел на страшных идолов, скалившихся над дверями храма, на таинственные кабинки для подглядывания, на массажные кабинки с изящными китаяночками в вышитых платьях с высоким воротом и прорезями на подоле до самых бедер, несопоставимо более впечатляющими, чем Ольга.

Однако в ту субботу Всемирный оказался закрыт. Площадки для танцев, прилавки для вяленой рыбы, ящики для любовной переписки разобрали, потому что муниципалитет превратил ветхое здание в убежище для беженцев. Сотни обезумевших китайцев рвались под его ненадежную крышу, проламывая кордон сикхской полиции в потемневших от пота тюрбанах цвета хаки. Сикхи хлестали гнилозубых крестьян тяжелыми бамбуковыми палками — словно ковры выбивали. Здоровенный сержант-британец

тыкал служебным револьвером в старуху, сморщенную как обезьянка, с перебинтованными ступнями. Мозолистые кулачки старухи стучали по его груди.

Я стоял на другой стороне улицы, слушал гудки с реки — могучие стоны слепых зверей, вызывающих друг друга на бой. Впервые мне пришло в голову, что война уже пришла в Шанхай. Вместе с толпой китайцев-клерков я протиснулся между сточной канавой и бортом большой полицейской машины шанхайской полиции со сдвоенным пулеметом Томпсона над кабиной.

Задыхаясь, я остановился в дверях похоронной конторы. Пожилой гробовщик сидел среди гробов в глубине помещения, его белые пальцы мелькали над счетами. Щелчки эхом отдавались от пустых гробов, напомнив мне примету, которую Янг проиллюстрировал, щелкнув пальцами у меня перед носом: «Если гроб треснет, гробовщик знает, что он кому-то понадобится…»

Я слушал щелчки костяшек и всматривался в гробы — нет ли трещин. Скоро в Шанхае потрескается множество гробов. Старик все быстрее шевелил пальцами и мечтательно поглядывал на меня. Что он считал: сколько народу умрет в Шанхае? Под каким номером окажусь я — где-то

между треснувшими гробами и щелкающими костяшками?

За спиной прогудела машина. Белый «Линкольн Зефир» пробивался сквозь поток движения, затертый рикшами и беженцами, осаждавшими парк аттракционов. Дэвид Хантер стоял на коленях на заднем сиденье, рядом с няней-австралийкой. Светлые волосы лезли ему в глаза. Забыв о гробах и костяшках, я вместе с велосипедом заспешил подальше, чтобы Дэвид не увидел меня, когда на улице станет свободнее.

Сирена воздушной тревоги прозвучала с одного из офисных зданий, и на ее звук наложился тяжелый осязаемый рокот, словно рушилось небо. На меня с криком налетел кули. Он нес на бамбуковом коромысле вязанки хвороста, и вены на его любу напоминали жирных червей. На бегу кули сбил мой велосипед. Я потер разбитые коленки и потянулся к рулю, но бегущие сшибли меня наземь. Задыхаясь, я лежал среди лотерейных билетиков, обрывков газет и соломенных сандалий, а белый «линкольн» проплывал мимо. Дэвид, покручивая светлую прядь за пассажирским окном, нахмурился: он не узнал меня, но удивился, почему английский мальчик в пиджачке кафедральной школы выбрал такое время, чтобы

поваляться в грязной канаве.

Сирена вопила, разрывая воздух. Китайцы — офисные работники, секретарши, прислуга из отелей — бежали по Нанкин-роуд от Бунда. За ними с реки поднималось огромное облако белого пара, подсвеченное снизу вспышками выстрелов. Вокруг облака кружили три двухмоторных бомбардировщика, ложились на крыло, пролетая через пепельные клубы.

Китайская эскадрилья бомбила «Идзумо» и японскую текстильную фабрику в Янпу, всего в миле от Бунда, за Садовым мостом. Окна в зданиях на Тибет-роуд дребезжали от раскатов оружий. Мимо прокатил к Бунду трамвай — его пассажиры выпрыгивали на ходу. Высоко над ними, на крыше здания «Сокони-вакуум» стояла беззаботная группка европейцев в белых теннисных костюмах. Они смотрели в бинокли и указывали друг другу на различные подробности зрелища.

Неужели война в самом деле началась? Я ждал чего-то упорядоченного и организованного, как на представлении «Побудки». В воздухе гудели самолеты: пилотам как будто наскучила цель, и они кружили над «Идзумо», просто убивая время до возвращения на базу. Французские и английские корабли стояли на якоре у путунского берега; на

мостиках тихо перемигивались сигнальные огни — капитаны с легким любопытством обсуждали бомбардировку, разворачивающуюся ниже по течению.

Забравшись на велосипед, я выпрямил руль и отряхнул пиджак от пыли: молодой куратор младших классов любил в свободное время прогуляться по городу и доносил на тех, кого заметил в неопрятной одежде. Я поехал за пустым трамваем, прямо между блестящими рельсами. Ближе к Бунду кондуктор, браня водителя и размахивая кожаной сумкой с мелочью, выскочил на мостовую. Трамвайный звонок дребезжал на пустой улице. Из дверей офисного здания смотрели столпившиеся там клерки.

Возле носа «Идзумо» над мелкими волнами взлетел фонтан брызг, замер на миг и обрушился водопадом. Клочья пены взметнулись выше антенн и мачт древнего крейсера. Вторая эскадрилья бомбардировщиков строем заходила по Хуанпу между Бундом и Путуном, где за жирным дымом виднелась фабрика моего отца. Один самолет отстал — пилот не удержался в строю. Он покачал крыльями, как в шоу высшего пилотажа на аэродроме Хунджао.

— Джейми, брось велосипед, поезжай с нами!

Ко мне подкрался белый «Линкольн Зефир». Няня Дэвида звала меня, протянув руки через плечи испуганного шофера-китайца. Придерживая одной рукой соломенную шляпку, другой она манила меня к машине. Няня Арнольд всегда была простой и дружелюбной, гораздо милее моей Ольги, и ее окрик меня удивил. Дэвид узнал меня, и его глаза победно сверкнули. Он смахнул со лба светлую челку — я мог стать его первой добычей в наших марафонских прятках.

«Идзумо» окутался дымом, вокруг его бортов вертелись струи маслянистого пара. Сквозь тучи копоти я различал огонь зенитных орудий, но выстрелы терялись за монотонным гулом бомбардировщиков.

— Джейми, глупый ты!..

Я нажал на педали и умчался от них за стену шума и дыма. Из окон отцовской конторы на Чухуан-роуд вываливались стекла. Секретари разбегались от дверей, в их белых рубашках блестели иголочки осколков. Я наехал передним колесом на обвалившийся кусок карниза. Пока я выправлял педаль, бомбардировщик на бреющем полете пронесся прочь от заградительного огня японского крейсера. Он пролетел над Бундом, показав открытые люки, и уронил две бомбы на

пустой сампан[65], причаливший в бухте.

Я, боясь пропустить фонтан взрыва, забрался в седло, но две сильных руки подхватили меня под мышки. Британский сержант полиции пинком отбросил велосипед и вместе со мной присел за крыльцом здания «Сокони». Он так прижимал меня к своему боку, что его револьвер расцарапал кожу на моем колене.

Обломки посыпались между отелями и домами Нанкин-роуд, улица покрылась белым пеплом. Горячий воздух ворвался в легкие и швырнул меня наземь рядом с сержантом. Клерк-китаец выскочил на нас из клуба пыли, по лбу у него текла кровь. Случайная бомба попала в «Палас-отель», а другая на авеню Эдуарда Седьмого рядом с парком аттракционов. Здания на Чихуан-роуд качались, стряхивая на мостовую осколки стекла и черепицы.

Пожилая евразийка с окровавленным ухом вышла из остановившейся у тротуара машины. Женщина деликатно промокала кровь носовым платком, когда сержант толкнул меня к ней.

---

[65] Примечания: 65

Сампан (или санпан, чампан, сампон, сампань) — собирательное название для различного вида дощатых плоскодонных лодок, плавающих недалеко от берега и по рекам Малайзии, Индии и Японии. — *Прим. ред.*

— Побудьте здесь! — Он тряхнул меня за плечо, как будто будил спящую куклу. — Парень, останься с ней!

Как только сержант побежал в сторону Нанкин-роуд, женщина выпустила мою руку и отмахнулась — ей было не до меня. По моей ноге сочилась кровь, впитываясь в белый носок. Опустив глаза на царапину, я заметил, что потерял одну туфлю. В голове было пусто. Я даже дотронулся до щеки, проверяя, на месте ли она. Взрыв высосал с улицы воздух, трудно было дышать. Рассеянно помахав мне, женщина побрела через обломки, отряхивая пыль с сумочки. Кровь продолжала сбегать по ее уху, пока она вглядывалась в разбитые окна, ища свое.

Мимо проехала санитарная машина шанхайских добровольческих частей — под ее шинами трещало стекло. Я понял, что оглох, да и все вокруг тоже оглохло, словно мир больше не слышал сам себя. На двести ярдов от парка аттракционов почти не осталось целых зданий. Над обнажившимися этажами поднимался дым, оборванные провода искрили и подскакивали как петарды. На улице среди разбитых тележек и выгоревших машин лежали сотни мертвых китайцев. Их тела были присыпаны белой штукатуркой, на которой

проступали темные пятна, — словно мертвецы натянули на себя камуфляж. Я, проходя между ними, споткнулся о пожилую даму, лежавшую на спине. Пухлое лицо, присыпанное пылью, последний раз строго хмурилось на меня. Клерк без руки сидел у заднего колеса выпотрошенного автобуса. Среди обломков парка аттракционов было полно рук и ног — и еще палочек для курений, игральных карт, граммофонных пластинок и масок драконов, а также голова от чучела кита; все белое от пыли. Через улицу тянулась полоса шелка — как перевязка для раненых зданий и оторванных рук.

Я ждал, что меня кто-то окликнет, но умолкший воздух звенел, как пауза после тревожного колокола. Я больше не слышал своих шагов по битому стеклу. Я вернулся к «линкольну» Хантеров. Шофер в светлой ливрее стоял у водительской дверцы, стирая пыль с ветрового стекла. Дэвид один сидел на заднем сиденье, зажимая рот ладонями. Он не заметил меня — неподвижным взглядом уставился на порванный чехол, словно не хотел меня видеть.

Сквозь разбитое окно я взглянул на няню Арнольд, лежавшую поперек передних сидений. Волосы закрывали ей лицо, взрывная волна за-

толкала их в рот. Ладони были раскрыты — белые ладони, уверявшие прохожих, что перед смертью она тщательно вымыла руки.

* * *

После, навещая меня в городской больнице, Дэвид спрашивал, отчего у меня была кровь на ноге. Как ни странно, он за всю Кровавую Субботу заметил только эту кровь.

— Бомбой ранило, — сказал я ему.

Я понемногу начинал хвастаться, сам не зная, как много правды в моем хвастовстве. Мощная бомба, попавшая в парк аттракционов, убила тысячу двенадцать человек — почти всех беженцев, собравшихся там. Все, гордясь, что Шанхай опять отличился, повторяли: «Наибольшее число жертв от одного взрыва за всю военную историю». Мое мелкое ранение позволяло мне числиться среди тысячи семи раненых. Я не был младшим из них, но мне хотелось считать себя номером 1007, и я твердо вывел это число чернилами у себя на предплечье.

Яростные бои вокруг Международного сеттльмента затянулись на несколько месяцев, пока японцам не удалось вытеснить китайцев из Шанхая. При этом погибли десятки тысяч солдат и

гражданских. Но бомба, по ошибке сброшенная китайским летчиком на авеню Эдуарда Седьмого, заняла особое место в мифологии войны — стала ярким примером того, как массовое убийство теперь падает с неба.

Отдыхая в постели шанхайской больницы, я думал не о бомбе в парке аттракционов, а о войске игрушечных солдатиков на полу моей детской. Спасатели волонтерского корпуса еще несли меня к машине, а я уже понимал, что линию фронта придется перестроить. Я увидел долгожданную настоящую войну и с чувством легкой вины вспоминал, что среди фигурок китайских солдат нет убитых. Время от времени слух у меня ненадолго включался, и гул японских орудий, бьющийся в больничные окна, словно звал меня из иного мира.

Впрочем, через несколько дней воспоминания о бомбежке поблекли. Я с усилием вспоминал пыль и обломки на Шихуань-роуд, но разрозненные картины уже сливались с кинохрониками гражданской войны в Испании и маневров британских и французских войск. Бои в западных предместьях Шанхая затягивали окно дымной занавесью, а когда ее отдергивал осенний ветер, становились видны горящие доходные дома

Нантао. Врачи и медсестры, проверявшие мне слух камертоном, Ольга и одноклассники, родители, заходившие по вечерам, мелькали как актеры немого фильма, который крутил для нас отец Дэвида Хантера на стене столовой. Бомба, уничтожившая парк аттракционов и убившая больше тысячи человек, превратилась в сцену из этого фильма.

Вернуться на Амхерст-авеню я смог только через три месяца. Осколки снарядов китайской и японской батарей, размещавшихся на вокзале Сиккавэй и в Хунджао, пролетали над крышей нашего дома, поэтому родители перебрались в квартиру во Французской концессии. Битва за Шанхай шла по периметру сеттльмента, сотрясала двери и заставляла лифты застревать в шахтах. Как-то раз мы с Ольгой целый час провели в металлической клетке. Она, обычно такая молчаливая, все это время заливала меня потоком слов, хоть и знала, что я ничего не слышу. Я часто задумывался, не винит ли она меня в начале войны — впрочем, в глазах Ольги это было бы наименьшим из моих прегрешений.

В ноябре китайские войска стали отступать из Шанхая вверх по Янцзы, к Нанкину. Оставленные ими руины пригородов занимали японцы, оце-

пившие Международный сеттльмент кольцом танков и пулеметных постов. Теперь на Амхерставеню было безопасно. Пока вернувшиеся домой родители беседовали со слугами, я бросился в детскую — мне не терпелось увидеть солдатиков.

Миниатюрное сражение за Шанхай разнесло в стороны. Сломанные солдатики валялись среди рельсов железной дороги и игрушечных машинок. Кто-то — может быть, кули или мальчик номер два — использовал моего «Робинзона Крузо» как пепельницу, нервно тыкал окурками в обложку, выглядывая в окно. Я подумал, не нажаловаться ли отцу, но сообразил, что слугам было так же страшно, как мне.

Я собрал солдатиков и потом еще пробовал играть с ними, но игры стали серьезнее тех, что шли у меня в детской до Кровавой Субботы. Когда мы с Дэвидом расставляли друг против друга войска, я с тревогой думал, не хотим ли мы втайне убить друг друга. Вспомнив оторванные руки и ноги в парке аттракционов, я убирал солдатиков в коробку.

К Рождеству у меня появились новые наборы солдатиков: шотландские горцы в боевых килтах и гвардия Колдстримского полка в шапках из медвежьих шкур. К моему удивлению,

затянувшиеся бои не изменили жизнь Международного сеттльмента — как будто ожесточенные военные действия были всего лишь жестокой забавой, вроде публичных удушений, какие случались в Старом городе. Неоновые вывески над четырьмя ночными клубами Шанхая горели ярче прежнего. Отец играл в крикет в загородном клубе, мать собирала партии в бридж и давала обеды. Я был пажом на роскошном венчании во Французском клубе. Бунд запрудили торговые суда и сампаны, нагруженные милями яркого ситца, производившегося красильной фабрикой отца для изящных китаянок, толпами валивших в сеттльмент. Работа крупных экспортно-импортных предприятий на Чихуань-роуд кипела как никогда. Радиостанции передавали американские приключенческие сериалы, танцевальные залы были забиты девушками второго и третьего разряда, а британский гарнизон снова давал «Побудку». Даже «Адские гонщики» вернулись из Манилы и снова гоняли, не щадя машин. В отдаленных областях Китая шла война между японцами и чанкайшистами, а в казино вертелись колесики рулетки, раскручивая мечты о старом Шанхае.

Словно решив напомнить себе о войне, родите-

ли с друзьями как-то воскресным утром выехали на экскурсию по местам боевых действий к западу от Шанхая. Нас пригласило Британское консульство, поэтому жены нарядились в шелковые платья, а мужья — в модные серые костюмы и панамы. Когда караван авто остановился перед пропускным пунктом на Кесвик-роуд, я подумал, что усталый японский часовой завернет нас обратно, но солдат молча махнул, разрешая проезд, как будто мы не стоили даже взгляда.

Отъехав от города на три мили, мы остановились на пустынной дороге. Я помню поле боя под молчащим небом и выжженную деревню у заброшенного канала. Шоферы открыли дверцы, и мы вышли на дорогу, засыпанную золотом. Под ногами лежали сотни винтовочных гильз. Пустые окопы тянулись от могильника к могильнику, гробы торчали из похоронных курганов, как ящики сломанного платяного шкафа. Повсюду были обрывки камуфляжной сетки, пустые коробки из-под снарядов, сапоги и каски, ржавеющие штыки и сигнальные ракеты. Стрелковые ячейки заполнились водой, за ними поднимался земляной редут, разбитый японской артиллерией. На месте, где стояла пушка, валялся труп лошади, ноги палками торчали вверх, к солнцу.

Мы все озирали эту сцену. Дамы отмахивались от мух, их мужья тихо переговаривались — группа инвесторов на просмотре недоснятого военного фильма. Мой отец с мистером Хантером первыми направились к каналу, по мелкой воде которого плыли китайские солдаты. В затопленных окопах повсюду лежали мертвые пехотинцы, до пояса укрытые землей — словно они уснули в старой спальне.

Дэвид шел рядом со мной и бормотал себе под нос. Ему хотелось домой, я видел его очумелый взгляд сквозь челку. Он держался поближе к матери, но мертвое поле боя окружало его со всех сторон. Дэвид, нарочно пачкая начищенные ботинки, пинками отшвыривал коробки из-под патронов на спящих солдат.

Я приставил ладони к ушам в надежде поймать звук, который мог бы их разбудить.

2
Неудавшийся побег

По Лунхуа целый день ходили слухи, что готовится побег. Дрожа на ступеньках детского барака, я дожидался, пока сержант Нагата закончит третью за день внеплановую перекличку.

Как всегда, при первом же подозрении на попытку к бегству, японские солдаты заперли ворота тяжелыми засовами: чисто символически, как заметил отец Дэвида Хантера, поскольку вряд ли беглецы собирались покинуть Лунхуа через главные ворота. Куда проще было выбраться через ограждение периметра, как ежедневно делали подростки, искавшие улетевший теннисный мячик или расставлявшие бесполезные силки для птиц по просьбе американских моряков.

Как обычно для японских церемоний, от этого символического жеста все же была практическая польза. Запертые ворота служили для китайских коллаборационистов знаком повысить бдительность в окрестностях лагеря, а для немногочисленных осведомителей внутри лагеря — они всегда узнавали о происходящем последними — держать ухо востро.

Однако створки ворот вяло обвисли на подгнивших столбах, а часовые топали рваными сапогами по холодной земле со скукой, едва ли не больше обычной. Почти все японские солдаты, такие как рядовой Кимура, были крестьянскими сыновьями, из семей настолько бедных, что Лунхуа с его двумя тысячами заключенных и неисчерпаемым запасом крикетных молотков

и теннисных ракеток представлялся им раем. Общие спальни с голыми бетонными стенами не отапливались, зато в них временами давали электричество; немыслимая роскошь для японского крестьянина.

Я свистнул в два пальца в надежде привлечь внимание Кимуры, но тот не оглянулся, уставившись на нищего китайца, дожидавшегося объедков за воротами — как всегда, тщетно. Уныло поглядывая на запущенное рисовое поле, Кимура нахмурился и выдохнул пар из широких ноздрей. Я подумал, что он вспоминает родителей, работавших на маленьком поле в глухом углу Хоккайдо. Мы оба все годы войны не видели родителей, но Кимура был более одинок, чем я. В панике при захвате японцами Международного сеттльмента меня разлучили с родителями. Я потерял их на выходе из отеля на Бунд, но был уверен, что увижу снова, хотя их лица и начинали блекнуть в памяти. А Кимуру почти наверняка ждала смерть — здесь, среди пустых рисовых полей, когда японцы дадут американцам последний бой в устье Янцзы.

Я нацелил палец на его бритую голову, словно наводил «маузер» сержанта Нагаты, и прищелкнул большим пальцем.

— Джейми, я все слышу!

Рослая для четырнадцати лет англичанка Пегги Гарднер встала рядом со мной в дверях, поежившись от холода. Она подтолкнула меня острым локтем, словно хотела сбить прицел.

— В кого стреляешь?

— В рядового Кимуру.

— Ты его вчера застрелил. — Пегги покачала головой с беззлобной укоризной — ее любимая манера. — Рядовой Кимура — твой друг.

— Я и в друзей стреляю. — Как ни странно, целиться в друзей было еще соблазнительнее, чем во врагов. — К тому же рядовой Кимура мне не настоящий друг.

— Ну да, как же. Миссис Дуайт считает тебя осведомителем. Зачем ты стреляешь в людей?

Сержант Нагата показался из блока D, щурясь в список с именами. За ним шел британец-блоковый. Пегги оттолкнула меня от двери и силой завела мне руки за спину. Подозревавший даже траву на плацу сержант Нагата не одобрил бы моих упражнений в стрельбе. Я откинулся на Пегги, с удовольствием ощутил ее сильные руки и холодный бодрящий запах тела. Она вечно ввязывалась со мной в потасовки. Обдумывать причины я пока был не готов.

— Зачем, Джейми? Ты уже перестрелял весь лагерь. Ты хочешь остаться здесь один?

— Миссис Дуайт не застрелил.

Ханжа-миссионерша вместе с другими вдовами опекала восьмерых мальчиков и девочек из детского барака, военных сирот, разлученных с родителями, которых интернировали в другой лагерь, под Шанхаем или под Нанкином. Миссис Дуайт заботилась не столько о том, чтобы мы получали положенные пайки, сколько о нашем духовном здравии. Я сам слышал, как она объясняла это недоумевающему коменданту Хиаши. Духовное здравие, на взгляд миссис Дуайт, означало, что я должен тихо сидеть в промозглом бараке над заданием по латыни, а не бегать по поручениям или в поисках еды, чем занимался целыми днями. Для миссис Дуайт я был «вольнодумцем» — и в этом определении не было ни грамма похвалы. Духовное благополучие, кажется, оказывалось обратно пропорциональным количеству полученной человеком пищи — возможно, поэтому миссис Дуайт и прочие миссионеры считали столь успешной свою довоенную деятельность в голодающих северных провинциях Китая.

— После войны попрошу отца по-настоящему

пристрелить миссис Дуайт, — угрюмо сказал я. — Он, знаешь ли, не любит миссионеров.

— Джейми! — Пегги попыталась надрать мне уши.

Дочь врача из Циндао была годом старше меня и притворялась впечатлительной девицей. Обо мне она заботилась куда больше, чем миссис Дуайт. Когда я болел, именно Пегги возилась со мной и отдавала мне часть порций младших детей. Я собирался когда-нибудь отблагодарить ее. Пегги правила детским бараком твердо и великодушно, а я доставлял ей больше всего хлопот. Мне нравилось постоянно поддразнивать ее, но в последнее время Пегги удручала меня склонностью подражать миссис Дуайт, корча из себя строгую вдову, словно добивалась одобрения этих старух. Мне больше по вкусу была упрямая девчонка, которая не пасовала перед мальчишками-одноклассниками, заступалась за малышей и обладала особой элегантностью узких бедер, с которой я пока не освоился.

— Если твой отец кого и пристрелит, так начнет с доктора Синклера, — заметила Пегги. Этот злобный священник был директором лагерной школы. — Он хуже сержанта Нагаты.

— Пегги, — озабоченно спросил я, — он тебя

бил?

— Чуть не попробовал. Вечно поглядывает на меня с улыбочкой, как будто я его дочка и он собирается меня наказать.

— Ты говорила миссис Дуайт?

— Она не станет слушать. Они думают, раз к нам добры, так им все позволено. Она его больше меня боится.

— Никого он не побьет.

— Тебя когда-нибудь побьет.

— Я не дамся.

Это были пустые слова, и ближайший урок латыни мог доказать, что я ошибался. Хотя до сих пор мне удавалось избегать тяжелой руки священника. Я заметил, что доктор Синклер оставляет в покое детей состоятельных британцев. Он ни разу не ударил Дэвида Хантера, хотя Дэвид его нарочно провоцировал, а задавал трепку сыновьям фабричных мастеров, шанхайских полицейских и матерей-евразиек. Я никак не мог понять, почему родители не протестовали, когда их дети возвращались в блок G с ушами, ободранными до крови кольцами на пальцах Синклера. Как будто родители считали законным напоминание, как низко они стоят в британской общине Шанхая.

Заскучав и желая выпендриться перед Пегги, я поднял со ступеньки камень и запустил его в воздух над плацем.

— Джейми, ты влип! Сержант Нагата видел…

Я застыл на месте. Сержант Нагата стоял на дорожке в двадцати шагах от детского барака. Уставившись на меня, он набрал в легкие воздух, медленно багровея от наплыва эмоций. Мне самому трудно давалось понимание британцев из Лунхуа, а для сержанта Нагата они были непостижимой тайной: упрямый народ, чье войско без боя сдало Сингапур, а пленные вели себя как победители. Сержант почему-то все присматривался ко мне, словно я был ключом к этой головоломке.

Я так и не понял, почему он выделил среди двухсот детей одного тринадцатилетнего мальчика. Думал, что я попытаюсь бежать или служу тайным связным между бараками? На самом деле большинство взрослых шарахались от моих предложений сыграть в шахматы вслепую и от моих рассуждений о ходе войны и тактике японцев. Их быстро утомляла моя неиссякаемая энергия, а кроме того, я вечно думал о будущем. Никто не представлял, когда кончится война — возможно, в 1947-м, а то и в 1948-м, — и за-

ключенные предпочитали просто вычеркнуть из мыслей эти бесконечные годы ожидания. Насыщенная программа лекций и концертных вечеров, которыми занимались в первые годы, давно сошла на нет. Интернированные отдыхали в своих каморках, читали последние письма из Англии, оживлялись при дребезжании тележки с едой. Не одна миссис Дуайт считала мое слишком живое воображение опасным.

— Джейми, берегись… — Вредная Пегги оттолкнула меня от двери. Я вывалился на гравий дорожки, но у сержанта Нагаты были дела поважнее, чем пересчитывать по головам детей войны. Помахивая списком, он увел свою свиту к кордегардии. Я с сожалением проводил его взглядом: мне нравилось ссориться с сержантом Нагатой. В японцах, в их серьезности и стоицизме, было нечто, вызывающее мое восхищение. Я подумывал когда-нибудь вступить в японскую авиацию, хотя другие мои кумиры, американские «Летучие тигры», летали в эскадрильях Чан Кайши.

— Почему он не зашел? — разочарованно спросила Пегги, вздрагивая в своем заплатанном джемпере. — А вдруг бы ты сбежал? Представляешь, что сказала бы миссис Дуайт? Она бы тебя прокляла!

— Я и так проклят. — Я не слишком понимал, что значит это слово, поэтому сменил тему. — Ночью может быть побег.

— Кто сказал? Ты с ними бежишь?

— Сказали Бейси и Демарест.

Американские матросы с торгового судна были бесценным источником информации, хотя нередко разыгрывали меня выдумками.

На самом деле я даже не думал о побеге. Родители находились в лагере Сучжоу, слишком далеко, чтобы дойти пешком, да и британское начальство лагеря вряд ли пустило бы меня на территорию. Они панически боялись, что заключенные из других лагерей занесут к ним тиф или холеру.

— Я бы ушел с ними, только Бейси ошибся. — Я указал на кордегардию, у которой рядовой Кимура с излишним рвением приветствовал сержанта. — Когда сержант Нагата ждет побега, ворота всегда закрывают.

— Ну… — Пегги вздернула плечи к бледным щекам и прищурилась на японцев. — А если они хотят, чтобы мы разбежались?

— Что? — Это откровение меня поразило.

Из передач утаенного заключенными радиоприемника я знал, что война сейчас, в ноябре 1943-го, складывается не в пользу японцев. После

атаки на Перл-Харбор и первых успехов в Тихоокеанском бассейне они получили тяжелые удары в битве за Мидуэй и в Коралловом море. Над Шанхаем появились американские самолеты-разведчики, и вскоре ожидались первые налеты бомбардировщиков. Активность японцев на реке Хуанпу усилилась, в поле севернее нашего лагеря установили зенитные батареи. Пагода Лунхуа превратилась в вооруженный форт, снабженный мощными прожекторами и скорострельным орудием. Корейские и японские охранники лагеря обращались с заключенными с нарастающей жестокостью, и даже рядовой Кимура разозлился, когда я показал ему свои рисунки «Отпор» и «Принц Уэльский» — британских кораблей, потопленных в Южно-Китайском море японскими пикирующими бомбардировщиками.

Еще более тревожным признаком было сокращение пищевого рациона. Сладкий батат и ячмень — грубый корм для скота — соскребали с пола хранилищ. В еде попадались дохлые жучки и ржавые гвозди. Мы с Пегги постоянно хотели есть.

— Джейми, а если… — Пегги улыбнулась, явно увлекаясь собственным рассуждением. — А если

японцы хотят, чтобы мы разбежались, чтобы не приходилось нас кормить? Им бы тогда досталось больше еды.

Она ждала ответа и уже готовилась успокаивать меня, понимая, что зашла слишком далеко. Пегги знала, что всякая угроза существованию лагеря пугает меня больше любых неприятностей. Я боялся не только отмены пайков. Страшно было представить, что лагерь Лунхуа, ставший для меня целым миром, погрузится в анархию. Мы с Пегги оказались бы первыми жертвами. Если бы японцы забыли о нас, мы стали бы добычей скитавшихся по округе мародеров, беглых гоминьданцев и дезертиров из марионеточной армии. Банда холостяков из блока Е захватила бы запасы еды, хранившиеся за кухней, и тогда миссис Дуайт нечего было бы предложить детям, кроме молитвы.

Я почувствовал руку Пегги на своем плече и услышал сквозь тонкую стенку груди стук ее сердца. Она часто выглядела нездоровой, но я решительно не хотел отпускать ее в лагерную больницу. В этой больнице пациентам не становилось лучше. Чтобы пережить зиму, нам нужно было дополнительное питание, но кладовые с едой запирались тщательнее, чем камеры в

кордегардии.

Когда прозвучал отбой, интернированные показались в дверях блоков, словно в первый раз оглядывая лагерь. Большая семья заключенных стала оживать. Одинокие женщины развешивали полинявшее белье и ветошь для гигиенических целей за блоком G. Стайка детей под предводительством Дэвида Хантера неслась к плацу. Дэвид на зависть мне носил отцовские ботинки, и когда он расхаживал по лагерю, я редко отрывал взгляд от его ног. Миссис Хант предлагала мне свои туфли для гольфа, но я из гордости отказался — и тут же пожалел о своей глупости, поскольку мои кеды изорвались не меньше, чем опорки рядового Кимуры. За время войны мы с Дэвидом охладели друг к другу. Я завидовал, что он живет с родителями; я же на попытки прибиться к доброжелательным взрослым каждый раз получал отпор. Только Бейси и американцы принимали меня дружески, и то потому, что я исполнял их мелкие поручения.

Миссис Дуайт приближалась к детскому бараку, обметая все бегающими глазами, как шустрой шваброй. Она одобрительно улыбнулась Пегги, стоявшей с металлическим ведром, спаянным из кровельных листов, которые муссон сорвал с

крыши. Принесенной из котельной тепловатой водой Пегги собиралась вымыть младших детей и ополоснуть туалет.

— Пегги, ты на Ватерлоо?

— Да, миссис Дуайт, — с измученным видом согласилась та, и миссионерша любовно потрепала ее по голове.

— Попроси Джейми помочь. Ему делать нечего.

— Он занят, думает. — Скосив хитрый взгляд в мою сторону, Пегги простодушно добавила: — Знаете, миссис Дуайт, Джейми задумал побег.

— Правда? Я думала, он давно в бегах. Ну, я найду ему, о чем подумать. Джейми, ты завтра перебираешься в блок G. Пора тебе покинуть детский барак.

Я вырвался из припадка голодных грез, какие нередко накатывали на меня. На горизонте виднелись многоквартирные дома Французской концессии — они напомнили мне старый довоенный Шанхай и рождественские праздники, на которые отец приглашал труппу китайских актеров, разыгрывавших народное представление. Мне вспомнился бридж на двоих на кровати матери, беззаботные поездки на велосипеде, Всемирный парк аттракционов с жонглерами,

акробатами и певичками. Все это представлялось далеким, как «Белоснежка» или «Пиноккио», которые я смотрел, сидя рядом со скучающей Ольгой в кинозале «Гранд-театра».

— Почему, миссис Дуайт? Мне нужно остаться с Пегги, пока война не кончится.

— Нет, — нахмурилась миссис Дуайт, словно услышав непристойное предложение. — Тебе будет лучше с мальчиками твоего возраста.

— Миссис Дуайт, мне с ними лучше не будет. Они только и делают, что играют.

— Возможно. Ты будешь жить с мистером и миссис Винсент.

Миссис Дуайт принялась пространно расписывать достоинства комнатушки Винсентов, в которой мне предстояло жить бок о бок с холодными супругами и их больным сыном. Пегги смотрела с сочувствием, прижав ведро к груди, словно приготовившись защищать меня от новой угрозы.

Но я уже переключился на практический лад. Понятно, Винсенты — мрачный жокей-любитель и его ледяная жена — легко меня подавят, ведь их вовсе не обрадует мое вторжение в и так тесные владения. Можно бы подкупить миссис Винсент, посулив, что после войны отец вознаградит ее

за доброту ко мне. К сожалению, взрослое население Лунхуа так погрузились в уныние, что их уже не вдохновляла подвешенная перед носом морковка.

Чтобы подкупить Винсентов, потребуется нечто более земное. Не слушая больше миссис Дуайт, я вытащил из-под койки жестянку для угля, крикнул Пегги: «До свидания!» — и убежал на кухню.

* * *

За помещением кухни плевались на холодном ветру угольки, рассыпанные по куче золы. Истопники, в одних шортах и деревянных колодках на ногах, выносили из пышущих жаром дверей полные лопаты горячей золы. Вечерний рисовый супчик уже сварили, теперь мистер Сангстер и мистер Боулс гасили огонь и чистили печь на ночь. Я ждал, сидя на вершине кучи, с удовольствием вдыхая нездоровый дым и наблюдая, как на аэродроме Лунхуа прогреваются ночные истребители японцев.

— Поберегись, юный Джим. — Мистер Сангстер, работавший прежде бухгалтером на шанхайской электростанции, высыпал мне на ноги лопату золы. Засыпав рваные кеды, зола обожгла пальцы

на ногах. Я отполз подальше, размышляя, сколько пайков уходит на поддержание медвежьей фигуры мистера Сангстера. Впрочем, миссис Сангстер дружила с моей матерью, и грубая шутка ее мужа подарила мне ценные угольки, высыпанные прямо к ногам. Мелкие услуги были тайной валютой Лунхуа.

Еще двое угольщиков забрались ко мне на вершину: пожилая миссис Тутл, делившая каморку в женском бараке с сестрой и варившая противные травяные чаи из бурьяна и полевых цветов, выросших по периметру, и мистер Хопкинс, преподаватель искусства из кафедральной школы, все пытавшийся обогреть комнату блока G, где лежала его больная малярией жена. Он разгребал золу деревянной линейкой, а миссис Тутл обходилась старыми щипчиками для сахара. Обоим агрегатам было не сравниться с пинцетом, который я смастерил из гнутой проволоки. В этой куче золы таилось истинное сокровище, но мало кто из интернированных мог собраться с силами, чтобы добыть себе тепло. Они предпочитали дрожать в своих комнатушках, жалуясь на холод.

Присев на корточки, я выбирал не догоревшие в печи кусочки кокса, иногда не больше орешка, и складывал их в жестянку из-под галет, чтобы

выменять потом на лишний батат или довоенный номер «Ридерз дайджест» или «Попьюлар микеникс», сокровища американских моряков. Долгие годы эти журналы поддерживали меня, питая разгоряченное воображение. Миссис Дуайт вечно сетовала, что я слишком мечтателен, но ведь кроме фантазий, у меня ничего не было.

Я уже понял, что вечное осуждение всего и вся — основное занятие британцев. Сидя на куче золы рядом с обреченно роющимися рядом мистером Хопкинсом и миссис Тутл, я поглядывал на лагерь внизу. Британцам нечего было ждать от будущего, в отличие от американцев, для которых мир полон надежд. Любой американец мог служить рекламой оптимизма и успеха, как яркие страницы «Сатердей ивнинг пост» — в то время как у каждого англичанина на лбу было написано «Не переступать черту!». Отец говорил, что когда-нибудь я буду учиться в английской школе. Я же теперь боялся, что Англия после войны окажется увеличенной версией лагеря Лунхуа: тот же снобизм, социальное расслоение, «лучшие семейства» с привычными разговорами о «нашем маленьком Лондоне», которыми они щеголяют как значком дорогого клуба. Клуба, в который я вовсе не желал вступать.

В золе под моими ногами дотлевало последнее тепло. С сырых рисовых полей, из лабиринта каналов, окружавших Лунхуа, тянуло ознобом. Я смотрел на выхлоп японских истребителей и согревал себя размышлениями о мощи их двигателей. Мистер Хопкинс уже отправился к больной жене с добытыми угольками, а миссис Тутл все тыкала щипцами в золу. В Лунхуа действовал комендантский час, но японцы не слишком следили за его соблюдением. Интернированные, жившие в неотапливаемых бараках и бетонных зданиях учительского колледжа, рано ложились в постель — если вообще утруждали себя тем, чтобы вставать. Миссис Дуайт и прочие дамы-миссионерши привыкли, что я с шахматной доской под мышкой шляюсь по взрослым баракам, собирая последние слухи о войне.

Я сполз с кучи поближе к миссис Тутл и отобрал из жестянки три уголька покрупнее.

— Джейми… я не могу их взять!

— Оставьте себе, миссис Тутл. Скажите сестре, что это подарок от меня.

— Скажу…

Уже кипятя в мыслях чашку травяного чая, она скрылась в темноте. Мне было жаль старуху, но надо было от нее избавиться. Оставшись

на куче один, отгороженный от лагеря крышей кухни, я пополз по склону к кирпичной стене пристройки.

Там хранились запасы продовольствия на ближайшую неделю — мешки блестящего риса и грязного ячменя, соломенные тюки сладкого батата. Скрючившись у задней стены, я вытащил из-за пазухи самодельный нож, который смастерил из обломка японского штыка. Обломок — всего два дюйма клинка — я нашел в заброшенном колодце за лагерной больницей и заточил, превратив в полезный инструмент. Часами сидя на куче золы в ожидании следующей порции, я заметил, что цемент, скрепляющий кирпичи пристройки, немногим тверже засохшей глины. То ли китайские подрядчики обманули японцев, заказывавших строительство Лунхуа, то ли сами японцы не ожидали, что война продлится больше нескольких месяцев: надеялись, что Америка запросит мира раньше.

Я, стараясь не шуметь, принялся царапать известку. Скрежет клинка терялся за рокотом самолетных моторов. Через десять минут удалось вынуть первый кирпич. Запустив пальцы в темный проем, я коснулся грубой соломенной оплетки тюка с бататом.

Следующие два кирпича сами выпали в руки, словно вся стена вот-вот собиралась рухнуть. Кирпичи лежали рядом со мной, как золотые слитки. Потом их надо будет вставить на место, присыпав вместо известки белым пеплом от угля. Если повезет, мне удастся еще не раз посетить склад продовольствия, не вызвав подозрений мистера Кристи. Бывший управляющий «Палас-отеля» фанатично стерег плесневелые клубни и обметки со складских полов. Дай ему волю, продовольственные запасы Лунхуа превзошли бы склады торговой компании, а все заключенные перемерли бы с голоду.

Я вынимал кирпичи, понемногу увеличивая лаз. Далекие огни аэродрома бросали на стену выше моей головы тень ограждения по периметру. Бóльшую часть проема загораживал соломенный тюк, но в проходящем луче прожектора я успевал разглядеть душное помещение склада: таинственный мир, похожий на хижину гномов из «Белоснежки». У стены громоздились тяжелые мешки, их туши напоминали семейство уютно похрапывающих в берлоге медведей. Проблесков раскаяния в воровстве как не бывало. Я уже подумывал залезть внутрь и закрыть за собой дыру. Мы с Пегги здесь бы и спали: тут тепло, безопасно,

рядом дремлют большие мешки…

* * *

Ночное небо разорвала сигнальная ракета. Янтарный свет дрожал в нимбе белого дыма. Ракета медленно опускалась на поле за периметром лагеря, за границей аэродрома, отражаясь в стоящей на полях воде.

Я невольно выпрямился, и моя тень метнулась по стене пристройки. В пятидесяти футах от меня в яркой вспышке застыли четверо; их лица светились оранжевым, как стекла фонаря. Двое мужчин уже лезли через ограду, третий занес ногу на провисшую проволоку. Они перекликались в свете разрывающейся ракеты. Застрявший в проволоке рванул рубаху и, проламывая бурьян, выбежал на рисовое поле. Клок ткани повис на колючках, как рваный флаг.

Землю по обе стороны ограды осветили лучи фонарей. В высокой траве между периметром и аэродромом стояли японские солдаты с оружием. Неудачливые беглецы остановились и ждали, пока к ним подойдут.

Четвертый, оставшийся у проволоки, принялся выпутывать застрявшую рубаху. Когда он поднял голову, я узнал светлые волосы и перекошенную

физиономию Дэвида Хантера.

Ракета опустилась на рисовое поле и канула в темную воду. Я, улучив момент, метнулся от кучи золы к задней двери кухни. На бегу споткнулся о жестянку, рассыпав драгоценные угольки, и налетел лицом на луч фонаря. Рядовой Кимура, подняв винтовку, загородил мне дорогу. У его ноздрей белел пар. Рядом стоял сержант Нагата. Луч его фонаря бил мне в лоб, а смотрел он на своих людей, окруживших беглецов. Когда тех сбили наземь, сержант поманил меня к себе. Я ждал удара, а он уставился мне в лицо, словно не мог узнать меня — или же поверить, что из всех интернированных Лунхуа именно я вздумаю бежать.

* * *

Потом мы сидели за деревянным столом кордегардии. Японские солдаты выстроились у стены, мокрая трава налипла на их сапоги. Комендант Хиаши, поднятый с постели в штабном бунгало, расхаживал по комнате, с трудом сдерживая себя. Бывший дипломат, служивший в японском посольстве в Лондоне, этот маленький, щепетильный и болезненно нервный мужчина был единственным штатским японцем в лаге-

ре. Сержанта Нагату он боялся не меньше, чем заключенные. Он вел допрос, прерываясь на длинные паузы, чтобы точно сформулировать фразу на английском.

Сержант Нагата считал допрос пустой тратой времени. От скуки он прохаживался за нашими спинами и наугад лупил по головам. В ушах у меня звенело, как после разрыва бомбы на авеню Эдуарда Седьмого. Я не сомневался, что скоро совсем оглохну и не смогу разбирать запинающихся вопросов мистера Хиаши.

На краю деревянной скамьи, избитый прикладами, сидел двадцатидевятилетний лондонец по кличке Мореход. Отбыв срок в Шанхае за ограбление рикши, он стал бригадиром на заправочной станции «Шелл», а попав в лагерь, почти не поднимался со своей койки. Рядом сидели братья Ролстон, спокойные парни, приехавшие из Англии, чтобы работать на шанхайском ипподроме. Они нервно перешучивались с Дэвидом Хантером, который втиснулся между ними, повесив голову. На его светлых волосах запеклась кровь.

Я не понимал, зачем Дэвиду, жившему с любящими родителями, вздумалось бежать из лагеря. Видимо, мистер Хиаши тоже не мог этого понять.

— Вы вышли… через… забор? — Он ткнул пальцем в Морехода. — Вы?

— Нет, мы не вышли. Мы перелезли, — не без юмора возразил Мореход. — Знаете, одной ногой на…

Старший Ролстон наклонил голову, капнув мне на руку кровью, и шепнул сценическим шепотом:

— Я где-то поцарапался!

Оба брата захихикали, и сержант Нагата, шагнув ближе, ударил их кулаками по головам. Оба ударились лбами о стол. Удар их оглушил, но парни все равно криво ухмылялись. Следующего вопроса мистера Хиаши братья не расслышали, за что получили еще по удару.

Я покосился на Дэвида, повел бровями, советуя ему не вмешиваться, но его увлек этот образчик британского юмора. Слезы текли у него по щекам, но Дэвид неудержимо хихикал за компанию с братьями. Моего взгляда он избегал и как будто радовался, что попался и будет наказан. Все они, как китайцы, смеялись от страха, но мистер Хиаши с сержантом Нагата видели в этом истинно британскую дерзость. Британцы надменнее всего держатся тогда, когда побеждены.

Ошеломленный мистер Хиаши занял место во

главе стола. В министерстве иностранных дел Токио его явно не готовили к председательству на столь пестрых собраниях. Хиаши остановился совсем рядом со мной, и я ощутил, как вздрогнул дипломат, когда сержант Нагата ударил хохочущего Ролстона. Мне тоже было страшно и тоже хотелось смеяться, но я уже успел задуматься, что будет, когда сержант обнаружит мой лаз в продуктовый склад.

Мистер Хиаши посмотрел на меня и заметил мой удрученный взгляд. Обрадовавшись крохе здравомыслия в этом безумии, он опустил ладонь мне на голову, словно проверяя, настоящий ли я.

— Ты не… пытался бежать?

— Нет, мистер Хиаши.

— Нет?

— Мистер Хиаши, мне нравится в Лунхуа. Я не хочу бежать.

Хиаши впервые поднял руку, остановив сержанта.

— Не бежал. Хорошо, — с бесконечным облегчением произнес он. Старший Ролстон устремил на меня стеклянные от побоев глаза.

— Позаботься о себе, парень. Больше некому.

— Каждый в Лунхуа, — начал мистер Хиаши, словно обращаясь к собранию интернированных.

Не находя слов, он выпустил набранный в легкие воздух, словно смирившись со своим бессилием перед этим странным языком и странным народом. Окровавленный Мореход лежал поперек стола, но Ролстоны еще не сдались и готовы были и дальше дразнить японцев. Я восхищался их отвагой так же, как восхищался японцами. Никогда не мог понять, почему отважные британцы встречались только среди «неподходящих знакомств», а офицеры, с которыми танцевали в ночном клубе моя мать и ее подруги, без выстрела сдали Сингапур.

Мистер Хиаши устремил на меня подрагивающий палец и указал им на дверь. Через пять минут я уже был в детском бараке и выкладывал Пегги с потрясенной миссис Дуайт сагу о неудачном побеге.

* * *

На следующий день американцы впервые бомбили Шанхай при свете дня. «Летающие крепости» с аэродрома в Чунцине атаковали верфи на Янцзы. Война наконец пришла к японцам в дом. Укрепляя противовоздушную оборону на аэродроме, они забыли о попытке к бегству. Трое заключенных, проведя ночь в камере кордегар-

дии, благополучно вернулись к себе в блок Е. Растрепанный, изуродованный синяками Дэвид Хантер смотрел на меня в окно комнаты своих родителей и не пожелал помахать в ответ, когда я махнул ему с плаца.

Мне повезло, о моей попытке взлома продуктового склада никто не узнал. Японцы вставили кирпичи на место, решив, что это беглецы запасались провиантом на долгий путь до китайских позиций — до них было четыреста миль бездорожья.

Я врал всем, кто готов был поверить, что присоединился к беглецам в последний момент. Миссис Дуайт от меня ничего другого и не ожидала, но Пегги, слушая мое бахвальство, с добродушным скепсисом качала головой. Она знала, что я слишком привязан к Лунхуа, что лагерь составляет весь мой мир и в нем я обрел особую свободу, какой не знал в Шанхае.

Рано или поздно война должна была кончиться, а тем временем я учился сосуществовать с непробиваемой супружеской парой, к которой меня подселили. Я возвел вокруг своей койки подобие шалаша, постаравшись воссоздать в нем мирный интерьер продуктового склада. Сидя на куче золы, дожидаясь, пока мистер Сангстер

высыплет вечернюю лопату угля мне на ноги, я высматривал в небе американские бомбардировщики и вспоминал белую пыль и трескающиеся гробы на авеню Эдуарда Седьмого.

Внизу подо мной полоски свежего цементного раствора обозначали тайную дверь во внутренний мир лагеря. Я вовсе не хотел бежать — я пытался пробраться еще глубже в его сердце.

3
Японские солдаты

Все кричали, что война окончена. Заключенные высовывались из окон, махали друг другу через плац, указывая на небо. Пегги Гарднер с делегацией миссионерок собрались у кордегардии и через дверь разглядывали разоренный стол сержанта Нагаты. Я стоял у открытых ворот лагеря, смотрел на пыльную дорогу, тянувшуюся к югу вдоль длинного рукава реки Хуанпу. Августовское небо затянула многослойная дымка — словно пустую землю накрыли гигантской сеткой от москитов. Пряди облаков сшивали небо жемчужной нитью. Следы американских самолетов-разведчиков расплывались над головой, как крупные буквы таинственного и грозного

послания.

— Что говорят, Джейми? — крикнула мне Пегги. — Правда, что войне конец?

— Спроси сержанта Нагату. Я к реке.

— Сержанта Нагаты больше нет. Иди хоть в Шанхай. — Пегги теребила заплату на платье. Ей жаль было меня отпускать, к тому же она едва верила, что я соберусь с духом. — Была бы охота…

Восторги восторгами, но, как правильно заметила Пегги, никто не спешил покинуть лагерь. Мы целыми днями слушали разговоры о том, что американцы сбросили на Японию супербомбу, уничтожили города Нагасаки и Хиросиму. Кое-кто даже уверял, будто видел вспышку взрыва. Эскадрильи «B-29» оставили в покое аэродром Лунхуа, но у зениток все еще дежурили вооруженные японские солдаты. Однажды утром мы обнаружили, что мистер Хиаши и охрана исчезли, скрылись под покровом ночного комендантского часа. Мы стояли у проволочного ограждения, словно дети, которые, оставшись без учителя, не знают, можно ли выйти из класса.

Весь день мы высматривали на дороге от Шанхая американские грузовики, несущиеся к нам в тучах пыли — хотя всем было известно, что

ближайшие американцы в сотне миль от нас, на острове Окинава. Устав ждать, несколько мужчин из блока E выбрались за проволоку и остановились в высокой траве. Они уставились в тихую пустоту со странным смущением, словно не могли вспомнить, кто они такие.

Я, выделываясь перед Пегги, забрался на ограду у блока G и пошел к погребальному кургану в двух сотнях ярдов от лагеря — по ступеням гнилых гробов, в которых под одеялами шелковистой земли спали маленькие скелеты. Остановившись на фоне слишком яркого неба, я помахал Пегги, которая, прижавшись к проволоке, ждала, что меня вот-вот застрелят. Отсюда мне были видны сгоревшие ангары и воронки на взлетной полосе аэродрома, обломки истребителей и неизменная линия крыш Шанхая, все три года ограничивавшая мой кругозор. Я невольно оглядывался через плечо на лагерь, впервые увидев с непривычной точки зрения его бетонные здания и деревянные бараки.

Выйти из лагеря было все равно что выйти из себя. Может, атомная бомба раскололa небо и вывернула все наизнанку? Я чувствовал себя неспокойно под открытым небом, где представлял собой соблазнительную мишень для

какого-нибудь японского часового. Сбежав вниз по гробам, оставив отпечатки ног на земляных покрывалах, я бросился за безопасную проволоку. Не обращая внимания на сердитые взгляды Пегги, я вернулся в блок G и спрятался за занавеской, отгораживавшей каморку, впервые с радостью прислушиваясь к жалобам мистера Винсента на власти, забывшие уведомить нас об окончании войны.

Хотел ли я, чтобы война кончилась? На следующий день, когда в Лунхуа вернулась японская охрана, я встретил солдат с тайным облегчением. В лагерной жизни и так наметилась трещина: группа мужчин под предводительством братьев Ролстон попыталась прорваться на кухню, а другие разграбили кордегардию. Запас продуктов почти иссяк, наш дневной паек свелся к миске рисового отвара. Воздушные налеты американцев устанавливали подобие порядка, который уважали и заключенные, и охрана. А теперь небо стало пустым и голым — дом остался без крыши.

К счастью, японцы вернули гарнизон в кордегардию и поставили у кузни часовых. Однако солдаты выглядели бледными и встревоженными, а рядовой Кимура прятал от меня глаза, уже понимая, что ему не увидеть своих родных. Даже

сержант Нагата был подавлен и отмахнулся от меня, когда я притащился к кордегардии в надежде изобрести трюк, который бы его подбодрил. Он сидел как каменный за своим столом и не слушал англичанок и бельгиек в рваных холщовых платьях, выкрикивавших ему проклятие из-за окна. Женщины вопили так, что брызги слюны ожерельями собирались у них на груди.

Наконец по радио выступил император Хирохито, призвавший свои войска сложить оружие. Тогда я открыто посмеялся над этой передачей: ни один японец не сдастся, пока у него остался штык или граната, винтовка и хоть один патрон. Они будут драться до конца! Я, как и все, был уверен, что японские войска в Китае дадут последний бой чанкайшистам и американцам в устье Янцзы, в пределах видимости от Лунхуа.

Но в небе над нами появился первый американский самолет-разведчик, а противовоздушные орудия на аэродроме молчали. Сержант Нагата, который вернулся в лагерь со своими людьми исключительно в надежде найти здесь еду, снова бросил нас, ушел из лагеря ночью. В полдень следующего дня двое инженеров шанхайской водопроводной компании, всю войну скрывавшие радиоприемник, выставили потресканный баке-

литовый динамик на балкон над входом в блок F, и тогда мы наконец услышали запись победных речей Рузвельта и Макартура.

* * *

Итак, сказал я себе, война окончена. Но и стоя у открытых ворот, я не избавился от сомнений. Миссионерши куда-то ушли, и Пегги, безнадежно пожав плечами, вернулась в детский барак, оставив меня топтаться между подгнившими столбами. В лагере все было прежним, но за изгородью начинался другой мир. Обочины дороги заросли диким рисом, ростки сахарного тростника и желтая грязь рисовых полей были окрашены жутковатым свечением, словно их коснулась радиация взорвавшейся в четырехстах милях за Китайским морем бомбы, сброшенной на Нагасаки. Я шагнул вперед, но пробитые колесами грузовиков колеи завернули меня обратно в лагерь.

Все же я понимал, что пора уходить. Отец с матерью скоро вернутся в наш шанхайский дом, и я хотел встретить их, пока еще оставалась зыбкая надежда, что родители не совсем меня забыли. До Шанхая было восемь миль по безмолвным рисовым полям, через покинутые деревни. В карманах

у меня лежала бутылка воды, вскипяченной Пегги, и отложенный впрок батат — проверив их, я вышел за ворота на дорогу.

Двинулся я по пыльной обочине, стараясь не терять из вида линии крыш. За колючей проволокой разворачивался очередной лагерный день. Пусть война и закончилась, но женщины все так же занимались стиркой, а мужчины сидели на ступенях блоков. Дэвид Хантер с группой детей помладше играли в затяжную игру: прыгали все разом, когда Дэвид хлестал веревкой по земле у них под ногами. Эти его вечные дикие шутки…

За детским бараком Пегги учила читать четырехлетку. Я ее окликнул, но она была так поглощена чтением, что не услышала. Родителям Пегги предстояло неделями добираться к ней из Циндао. Лунхуа был мне настоящим домом, а Пегги — лучшей подругой, ближе отца и матери, как бы ни старались миссионерши нас развести. Мы часто ссорились, но в темные времена Пегги привыкла полагаться на меня и сдерживать мои фантазии, чтобы не занесли слишком далеко.

Я миновал кухонный садик за больницей, грядки бобов и помидоров. Их растили мы с Пегги как прибавку к пайку. Землю удобряли, черпая ведрами из туалетных баков блока G — единственный

полезный продукт существования Винсентов. Миссис Дуайт стояла на крыльце больнички, поучая юного евразийца, отец которого служил шофером у шанхайского епископа. Парень прежде бы кротко выслушал выговор вдовы, но сейчас по его скучающему лицу было видно: ее сентенции больше не производят впечатления. Власть Британии потускнела, затонула вместе с торпедированными «Отпором» и «Принцем Уэльским». Атака японцев на Перл-Харбор стала первым бунтом колонизированных народов Востока против имперского Запада. Быть может, Шанхай за время войны изменился сильнее, чем я думал.

Я сошел с дороги, повернулся к лагерю спиной и шагнул в высокую траву, которой заросла земля от края аэродрома до канала. От стоячей воды поднялась туча москитов, приветствуя меня как первого гостя их пустынного мира. В лазурном воздухе охотились стрекозы, голубые искры отражались в нефтяных разводах — из разбитых бомбами сухогрузов в Нантао протекло топливо.

В канале лежал затонувший японский патрульный катер. Пулемет с бронированной турели уставился в небо. Возвращающиеся в деревни крестьяне уже разрубили на дрова деревянную палубу. Американский «Мустанг» застал патруль

врасплох, команда не успела укрыться и догнивала в жидкой грязи канала. Один японский солдат лежал лицом вниз на отмели; течение отполировало медные пряжки его снаряжения. С берега было видно, как струя воды шевелит волосы на его голове. Между пальцами кружили водяные жучки, поблескивая сигнальными огоньками, словно солдат отбивал на поверхности воды последнюю радиограмму.

Через полмили канал свернул к слиянию с Хуанпу. Я не пошел вдоль него, а зашагал по пояс в траве к круглой воронке, залитой водой. В молочной воде плавала водяная змея, обследовала новые владения. За воронкой проходила дорога к аэродрому, за разбитыми бараками мастерских стояли лишившиеся крыш ангары. Застигнутый последним американским налетом китаец — солдат марионеточной армии — лежал на насыпи одноколейки. Его обобрали, вывернули карманы и ранец для боеприпасов. Мертвец был окружен клочьями бумаги: страничками документов, писем и маленькими фотокарточками, летописью жизни, которую он, быть может, сам выложил напоказ перед смертью.

Позавидовав его богатству, я забрался на земляную насыпь. Тупиковая ветка железной дороги

Ханчжоу — Шанхай уходила на северо-запад и терялась в тумане. Я зашагал между гудящими на жаре рельсами, приспосабливая шаг к промежуткам между шпалами. Поискал глазами лагерь Лунхуа, но знакомые крыши уже скрылись. На заброшенных полях лежал резкий свет, ярче обычного солнечного, как будто воздух был пронизан энергией, излучаемой темным оружием, взорвавшимся за Китайским морем. Я уставился на свои ладони, проверяя, не коснулась ли она и меня, потом отхлебнул теплой воды из бутылки. Мне впервые пришло в голову, что в мире за пределами Лунхуа, может быть, никто не выжил — потому-то война и кончилась.

Получасом позже, оставив позади еще одну туманную милю, я подошел к полустанку. У путей стоял маленький зал ожидания и билетная касса, на ней болталось выцветшее расписание поездов. На бетонной платформе сидели четверо японских солдат в полном вооружении: винтовки под рукой, поверх линялых мундиров полотняные портупеи и ранцы с патронами. Может быть, рядовые ожидали на этом сельском полустанке приказов, которые уже никогда не поступят. Они варили на самодельной печурке простую еду, использовали в качестве дров дощечки со стен

зала ожидания и отдыхали на полуденной жаре.

Они следили за моим приближением, покуривая самокрутки. Я замедлил шаг, подумав, не обойти ли японцев стороной. Под насыпью тянулся заполненный дождями противотанковый ров, в нем лежал мертвый буйвол. Туша этого кроткого быка почему-то ободрила меня, и я вздохнул поглубже, собираясь съехать вниз по насыпи.

Тут один из японцев махнул мне рукой. Я оглянулся, скользя по мягкой земле. Бежать не стоило — было некуда, а японцы не задумываясь подстрелили бы меня. Я добрался до платформы и подошел к махавшему мне рядовому. Тот, ворча над последней миской еды, присел на корточки рядом со своей винтовкой. Его тяжелые натруженные руки сматывали телефонный провод, который он срезал с деревянного столба у станции.

Спиной к столбу сидел со связанными за спиной руками молодой китаец в белой рубахе и темных брюках. Его грудь стягивали витки провода, он хватал ртом воздух. Его подвижные губы и сдержанный взгляд напомнили мне клерков, работавших до войны у отца. Ему было явно не место на этом заброшенном полустанке, в отличие от солдат, да и от меня тоже. Японец

туго привязал его к телефонному столбу, словно соединил якорем с этой запустелой землей.

Китаец задыхался, его горло вздувалось, тщетно пытаясь заглотить воздух. Стараясь не смотреть на него, я обернулся к сматывавшему провод солдату. Опыт общения с японцами научил меня никогда не обсуждать их поступки и не вмешиваться в их ссоры. Я говорил себе, что китаец — важный пленник, а привязали они его, чтобы поспать после обеда.

Один солдат действительно уже дремал в тени под стеной, положив голову на ранец. Другой сидел у печурки, вычищая котелок. Лица их ничего не выражали, как будто японцы знали, что война окончена, но понимали, что для них это ничего не меняет.

Только рядовой, сматывавший провод, проявил ко мне некоторый интерес. Вероятно, он дрался с войсками Гоминьдан в глубине страны и редко видел европейцев. Пайки у солдат были такими же скудными, как в Лунхуа, но этот парень все еще сохранил мясистость широких висков, и его скулы вздувались, как у боксера под конец тяжелой схватки. Он потеребил губу черным пальцем и натужно прокашлялся, словно выпуская в воздух струйку ненужных более мыслей.

Я, утомленный долгой ходьбой, прислонился к платформе, не решаясь пока съесть свой батат. Капрал, привязавший молодого китайца к столбу, был малорослым человечком с выдубленным войной лицом. Едва я поднес руку к карману, он голодными глазами уставился на меня. От запаха подгорелого на печурке жира у меня закружилась голова, и я достал из кармана бутылку с водой.

Коротко крякнув, рядовой протянул руку. Я снял крышечку, быстро глотнул и подал ему бутылку. Солдат шумно отпил, сказал что-то капралу и разочарованно вернул мне воду — ожидал чего-то покрепче. Бросив моток проволоки на платформу рядом с пленником, он переключился на меня. На обветрившихся губах появилась жалостливая улыбка, он ткнул пальцем в солнце, потом в пятна пота на моей полотняной рубашке.

— Жарко? — спросил я. — Да, это атомная бомба. Вы знаете, что война кончилась? Император…

Я молол, что попало. В тишине, в дымке, окутавшей землю, звуки исходили только от китайца. Когда его грудь обвил еще один виток провода, пленник попытался задержать дыхание, а потом часто задышал, забился головой о деревянный столб. Его глаза вылезли из орбит. Капрал завязал узел и рывком затянул петлю. С губ юноши упала

капля слюны с кровью, оставила пятно на белой рубахе. Взглянув на меня, китаец выдавил короткое слово, похожее на окрик собаке.

Рядовой понимающе кивнул, покосившись в небо, и знаком велел мне пить. Казалось, он занят своими мыслями, но глаза его непрестанно осматривали поля вокруг. Он переводил взгляд от высохшего рисового поля у насыпи на погребальный курган в его северо-западном углу, на каменный мостик через канал. Знал ли он, что война окончена, что император призвал его сдаться? Среди холщовых мешков и коробок с патронами у стены зала ожидания стояла полевая рация, выдававшаяся только особым частям. Они могли слышать, что война окончена, но этот простой факт, столь важный для любого штатского вдали от линии фронта, для них ничего не значил. Через несколько недель американские войска доберутся до Шанхая, и китайцы, с которыми они сражались столько лет, получат власть над этой опустошенной землей. В мыслях солдат не было места будущему — потому что в этом будущем не было места им.

Я решил, что, пока есть возможность, лучше съесть батат. Рядовой одобрительно посмотрел, как я жую, и смахнул муху с моего плеча. Его

мундир состоял из лохмотьев, скрепленных полосками портупеи, от которых густыми слоями поднимался запах пота. Когда я доел шкурку батата, он показал на прилипший к ладони кусочек мякоти и дождался, пока я положу его в рот.

Когда рядовой запросто улыбнулся мне, я ощутил беспокойную гордость. Я, вопреки себе, восхищался этим японским солдатом, его вздувшимися висками и разбитым лицом. Он был простой трудяга, но сумел ответить на вызов войны. Тяжелые плечи с пятнами экземы и мушиных укусов вздувались под тканью рубахи, грудь распирала ремни портупеи, словно под ними затаился зверь. Один из тех сильных мужчин, что совсем не походили на слабаков — британских офицеров и взрослых из Лунхуа. Равняться с этим японским воином могли бы только Мореход да братья Ролстон.

Я доел и вытер губы пальцами. По шее рядового в ямки ключиц тек пот. Я жалел, что слишком мало научился у рядового Кимуры японскому — не сумел бы объяснить, что война кончилась. Китаец на платформе, кажется, уже едва дышал, затянутый телефонный провод сломал ему ребра. На его лбу проступили кровоподтеки от застоявшейся крови. Капрал, устав от работы

— затягивать толстый провод, — отбросил моток на бетон и, жестко выпрямившись, отошел по платформе.

Палец рядового постукивал по губе, отбивал шифровку себе самому. Он поморщился — какое-то воспоминание донимало его, как надоедливый москит. Я рискнул вытащить из кармана складной нож и, не раскрывая, протянул его рядовому, в надежде, что тот захочет проверить остроту клинка и, может быть, перережет связывающий пленника провод.

Однако клинок его не заинтересовал. Срезав клок, торчавший из рваного голенища, он обратил внимание на рукоять, улыбнулся ковбою, вырезанному на перламутровой накладке. Толстый палец обвел фигурку в «стетсоне» и высоких ковбойских сапогах, витки лассо, напоминавшие моток, лежавший у японца под ногами.

Блестящие рельсы стонали от зноя, как от боли. Китаец у столба обмяк, его шея вздулась и посинела. Подняв голову, он бросил на меня горячечный взгляд. Так смотрят на пассажира, вместе с тобой опоздавшего на поезд. Китаец был четырьмя или пятью годами старше меня и аккуратно подстрижен — миссис Дуайт добивалась от меня такой же стрижки. Был ли он одним из тысяч агентов

Гоминьдана, наполнивших Шанхай, или офисным клерком, работавшим на оккупационные власти и не понравившимся Кэмпэйтай?

Капрал спустился с платформы и стал подбирать палки для костра. Я устремил взгляд на линию путей, в надежде увидеть американский патруль. С той минуты, как я покинул Лунхуа, все часы встали. Время остановилось, и только далекий гул американских самолетов напоминал о мире по ту сторону жемчужного сияния.

Рядовой жестом приказал мне вывернуть карманы. Капрал, стоя на краю платформы, мочился на пути. Капли мочи шипели, попадая на раскаленные рельсы. Вверх взлетали облачка желтого пара. Широко расставляя ноги, капрал вернулся к китайскому пленнику. Затягивая проволоку, он порезал ладонь и, прежде чем продолжить свою работу, горестно покачал головой.

Я поспешно стал рыться в карманах, вытащил и протянул рядовому галстучную булавку — может быть, блеск серебра отвлечет капрала? Взгляд рядового снова просветлел при виде полустертой гравировки — длиннорогой коровы. Он ногтем большого пальца отковырнул шелушащееся покрытие и нацепил булавку на латунную пряжку портупеи. Спеша похвастаться новым гербом,

крикнул через плечо, вздувая грудь. Капрал выразительно кивнул, но не оглянулся — был слишком занят затягиванием узлов. Он тянул, упираясь ногами, как крестьянин, стягивающий сноп или вязанку дров.

Рядовой вернул мне булавку и только теперь заметил прозрачный целлулоидный ремень, продетый в пояс моих шортов. Этот ремень я выклянчил у американского моряка и гордился им, как величайшим богатством. В довоенном Шанхае такие были редкостью, и за ними жадно гонялись молодые китайские гангстеры.

Пока я снимал ремень, рядовой хитро поглядывал на меня. Я догадывался, что он взвешивает в уме некоторую двойственность, воплощенную в этом прозрачном ремешке, почти невидимом на поясе. Японец рассматривал ремень, поднимал его к свету, как шкурку редкой змеи. Он погнул пластик сильными пальцами, дунул сквозь проделанные мною дополнительные дырочки и покачал головой, осуждая грубую работу.

— Слушай, оставь себе пояс, — сказал я ему. — Война кончилась, понимаешь? Все едут домой.

Китаец у столба перестал дышать — я понял, что он умирает. Капрал быстро наматывал провод, умелыми движениями затягивал узлы. Руки

молодого пленника были стянуты сзади проволокой, но пальцы вцепились в сиденье брюк, словно он пытался содрать с себя смерть. Когда остатки воздуха вылетели из его смятой груди, китаец уставился на капрала диким взглядом, словно только теперь увидел.

— Послушайте, сержант Нагата…

Ремень в руках у рядового хрустнул. Он протянул мне обломки. Заметил, как я дрожу, и понял, что только усилием воли я удерживаюсь от бегства. Он проследил мой взгляд — на второй телефонный столб на западном конце платформы и провод, петлями свисающий с него. Отдыхающий солдат из-под стены следил, как я скатываю целлулоидный ремень. Другой передвинул котелок подальше от струйки мочи, текущей по бетону из-под ног китайца. Смерть юноши никого не тронула, словно они и сами уже умерли и деловито готовились к любому концу, какой явится к ним из солнечного сияния.

Вокруг туши буйвола в противотанковом рву плавала капюшонная крыса. Несмотря на съеденный батат, голова кружилась от голода. Дымка разошлась, и поля кругом открылись взору с неожиданной четкостью. Мир приблизился к платформе и показал мне себя. Мне стало ясно:

этот заброшенный полустанок — перевалочная станция, с которой всех, кого убила эта война, доставляют в канавы и в погребальные курганы вокруг Лунхуа. Четверо японских солдат готовили нас к последнему пути. Я и задушенный ими китаец были запоздавшими пассажирами, а после нас они закроют станцию и сами отправятся в путь.

* * *

Через час они меня отпустили. Я так и не понял, почему японцы позволили пятнадцатилетнему мальчишке стать свидетелем убийства. Я тащился вдоль колеи, слишком усталый, чтобы шагать по шпалам, и ждал, когда же в стальной рельс ударит винтовочная пуля. А когда оглянулся, платформа уже растаяла на фоне полей.

Железнодорожная колея повернула к северу, вышла на насыпь линии Шанхай — Ханчжоу. Я съехал по гравийной насыпи, прошел безлюдную деревню и направился к тихой фабрике на западной окраине города. Приближаясь к Амхерст-авеню, я узнал собор на Зикавей и кампус университета Чиао Тунг, где в войну располагался штаб марионеточной армии, собранной японцами.

Я прибавил шаг, выйдя на тихую пригородную улицу между зелеными дворами европейских домов с открытыми опорными балками в каменной кладке и фасадами океанских лайнеров. На ступенях группками сидели китайцы — ждали возвращения хозяев, как статисты, готовые к вызову на съемочную площадку. Время собиралось подняться с колен. Однако на несколько минут Шанхай, возвращения в который я так терпеливо ждал, потерял надо мной власть.

* * *

На следующий день, 14 августа, я наконец снова увидел родителей. Всю войну наш дом занимал генерал марионеточной армии. Когда я добрался домой после долгого пути из Лунхуа, дверь сторожил один невооруженный солдатик. Он не пытался помешать, когда я протиснулся мимо, а через полчаса и вовсе исчез. Я остолбенело бродил по тихому дому, вдыхал незнакомые запахи застойного воздуха. На отцовском столе лежали китайские газеты, на диске граммофона — пластинка с китайской танцевальной музыкой, но в остальном ни ковер, ни мебель не потревожили, война словно обошла наш дом стороной. Даже мои игрушки остались в шкафу: форт из папье-

маше и артиллерия времен Великой войны. Взяв пушечки в руки, я не мог поверить, что когда-то играл с ними, и смутно пожалел малыша, относившегося к игрушкам с такой серьезностью.

В холодильнике было полно вареного риса и остатков последнего обеда, который марионеточный генерал съел, прежде чем сбросить мундир и затеряться в переулках Старого города. Я подкрепился холодной лапшой и окороком, поражаясь вкусу сала, потом допил рисовое вино из каменного кувшина. Обессилев, сел на веранде и уставился на заросли сада и пересохший бассейн, превращенный в мусорную яму.

Полупьяный, с раздувшимся от невиданного пира животом, я скитался по дому. Лег на матрас матери, вдохнул запах масла для волос, которым пользовался генерал, и перешел в ванную комнату, похожую на белоснежный собор. Оказалось, я забыл, что там делать. Я пытался вернуться в себя прежнего, но тот мальчик был слишком мал и ограничен. Как игрушки в детской. Я заснул в отцовском кресле в обитом деревянными панелями кабинете. Тяжелая кожаная мебель и темные стены напоминали мне кухонный склад Лунхуа, который я мечтал разделить с Пегги.

К полудню следующего дня приехали родители

— на такси, покрытом желтой пылью дороги на Лунхуа. Они ездили за мной в лагерь. Весело улыбаясь, отец и мать обняли меня так, словно мы расставались всего на несколько дней. Действительно ли они меня узнали? Я был счастлив, что наша встреча состоялась, но мы напоминали актеров, играющих плохо выученные роли. Они исполняли роли родителей, я — сына. Через несколько дней представление пошло гладко, и мы по-настоящему обрадовались друг другу. Я вспомнил голос, губы и щеки матери, но с ее лица смотрели глаза старой женщины, и они, в свою очередь, не узнавали меня.

Между тем жизнь в Шанхае сразу пошла как прежде, словно войны и не было. Снова появился шофер Янг и бóльшая часть слуг, так что я почти готов был увидеть Ольгу, которая отправит меня в кровать. Сидя в непривычной новой одежде за столом с друзьями родителей, я начал вспоминать Шанхай моего детства. Родители принимали у себя прежних знакомых: французов, богатых китайских дельцов, офицеров американской оккупационной армии. Я слушал разговоры о последних спектаклях Лондона и Бродвея, о ценах на недвижимость в Гонконге и в Калифорнии, о дешевом антиквариате, который выбрасывали

на рынок обнищавшие китайские семьи.

Война уже растворялась в причудливой истории Шанхая — вместе с бомбой на авеню Эдуарда Седьмого, атакой японцев и тяжелыми годами оккупации. Имущество стран Оси, текстильные фабрики японцев и инженерные сооружения Германии быстро приватизировались и запускались в ход новыми владельцами. Крупные торговые дома вновь открывали свои офисы. Шанхайский порт был забит торговыми судами, разгружавшими товары для универмагов на Нанкин-роуд. Ночное небо освещали тысячи баров и клубов. Всюду роились отпущенные в увольнительную американцы. Армию войны принимала в свои объятия еще более дисциплинированная армия мира: китайские сутенеры с воинством русских, китайских и евроазиатских проституток, встречавших солдат прямо на набережной Бунда.

Но я держался в стороне от этой активности, будто попал в неведомое будущее. Случилось так много всего, что я пока не мог ни помнить, ни забыть. Слишком многие воспоминания Лунхуа было бы трудно разделить с родителями. За завтраком мы с ними обменивались впечатлениями так, словно вспоминали сцены из фильмов. А я ощущал себя другим, будто потерял часть себя

где-то на полдороге между Лунхуа и Шанхаем.

Самое удивительное, что шанхайские улицы по-прежнему патрулировали японские солдаты. Когда Янг вез меня в «бьюике» марионеточного генерала на прием в саду британского консульства, я указал ему на японских часовых в линялой форме, стоявших с длинными винтовками на крыльце мэрии. Янг прогудел в гудок, разгоняя велорикш, нищих и офисных клерков, и крикнул японцам, чтобы пропустили. Я вглядывался в лица под кепи с острыми козырьками — нет ли среди них того рядового и капрала, которых я оставил на полустанке.

По распоряжению властей США и Гоминьдана японцы охраняли ключевые правительственные здания по всему городу. Отец рассказал, что «Свободная Франция», оккупировавшая Индокитай, тоже вербовала японцев для борьбы с коммунистическим Вьетмином. И все же при виде вооруженных японцев я каждый раз вспоминал пустынный полустанок на юге от Шанхая и представлял, что эти охраняющие город солдаты готовят барменов, проституток и американских рядовых к долгому пути с пересадкой на той платформе.

Первый трибунал над военными преступ-

никами состоялся в октябре: высшим чинам, распоряжавшимся в Шанхае во время войны, был предъявлен бесконечный список обвинений в зверских преступлениях против мирного китайского населения. Вскользь было упомянуто, что японцы собирались закрыть Лунхуа и отправить нас в глубь страны, подальше от глаз нейтралов, живших в Шанхае. Если бы не внезапное окончание войны, от нас бы избавились, так что наши жизни спасла атомная бомба. Жемчужный свет, висевший над Лунхуа, всегда будет напоминать мне спасительное чудо Хиросимы и Нагасаки.

Раз в неделю я посещал лагерь, где еще жили несколько сотен британских интернированных. Они держались на пайках, которые сбрасывал на парашюте «B-29», такой же, какой бомбил Нагасаки. Мертвые понемногу смешивались с живыми. Янг вел машину к югу в сторону Лунхуа, а я искал взглядом железнодорожную платформу, готовясь увидеть на ней толпу вновь прибывших.

Все это я пробовал объяснить Пегги, дожидавшейся плывших из Циндао родителей. Я подарил ей одежду, купленную в «Сайнсерс», модную у американцев губную помаду, нейлоновые чулки и коробку швейцарского шоколада. Я счастлив был снова оказаться с ней в детском бараке, смот-

реть, как она наносит косметику. За румянами и помадой просвечивало яркое женское лицо, красивее всех проституток «Парк-отеля». Мне хотелось обнять Пегги, поблагодарить за все, что она для меня сделала, но мы с ней слишком хорошо знали друг друга. Я чувствовал, что она уже начинает освобождаться от лагеря, и скоро нас разведет в разные стороны.

Я небрежно описал смерть молодого китайца. Когда закончил, спрятав свои чувства за шоколадкой с ликером, сообразил, что сделал его очень похожим на себя.

— Джейми, тебе нельзя было уходить из лагеря. — Пегги посадила малыша в кроватку. — Мы хотели тебя удержать…

— Я рад, что вернулся в Шанхай. Знаешь, я ведь искал сержанта Нагату.

— Те солдаты могли тебя убить.

— Им незачем было — я был еще не готов.

— Джейми, они тебя не тронули! Ты от них ушел!

— Наверно — а мне все кажется, что надо было остаться. Пегги, они бы мне ничего не сделали.

Она уже видела мое разочарование.

* * *

В конце октября я уезжал из отеля «Катай», где обедала мать, на одном такси с двумя американскими пилотами морской авиации. Они искали казино отеля «Дель Монте». Я велел китайцу-шоферу ехать на авеню Хайг, и там обнаружилось, что казино в последние дни войны разгромили японцы. Выйдя из машины, мы разглядывали разбитые окна и осколки стекла на ступенях, когда я заметил, как из вестибюля обветшалого жилого здания «Империал», где теперь расположились несколько борделей, подзывает водителя Дэвид Хантер.

Дэвид, как и я, был в светло-сером костюме с галстуком. Как все мальчики из Лунхуа, он чувствовал себя в этом наряде не совсем удобно, как будто недавно вышел на свободу после срока в исправительном заведении. Бывало, мы встречались каждый день, но порой я всеми силами уклонялся от встречи. Дэвид оправился от побоев, которые нанес ему сержант Нагата в ночь побега, зато полюбил рискованные шутки, которые меня утомляли. Я часто видел его у «Парк-отеля» — Дэвид с напряженной улыбкой разглядывал евразиек, поджидавших на ступенях американ-

ских гостей. Однажды он заманил в отцовский «студебекер» подозрительную четырнадцатилетнюю проститутку-китаянку; машину он одолжил у отца, чтобы свозить нас на хай-алай. На стоянке машин девица привычно устроилась у Дэвида на коленях, задрала до пояса вышитую юбку и через плечо что-то крикнула шоферу-китайцу. От ее энтузиазма и наготы у меня закружилась голова, и я вышел подышать, но через двадцать минут, когда мы с шофером вернулись, китаянка яростно отбивалась, осыпая Дэвида китайской бранью, и пыталась выскочить в окно. Дэвид бурно хохотал, обнимая ее за талию, но его уши под всклокоченными волосами горели, как после оплеух сержанта Нагаты.

* * *

Давя ногами оконные стекла отеля «Дель Монте», я счел за благо ускользнуть от Дэвида незамеченным и, оставив американцев в такси, вошел в казино. У стен вестибюля валялись опрокинутые золоченые стулья, красные бархатные шторы сорвали с окон. Игровые залы, как в вывернутом наизнанку сновидении, были залиты солнечным светом, превращавшим танцплощадку в сцену автомобильной аварии. Столы с рулетками за-

мерли на ребре, вокруг рассыпались фишки, а золоченая статуя обнаженной женщины, подпиравшей воздетыми руками балдахин над баром, распростерлась на осколках рухнувшей люстры спящей красавицей в самоцветном гамаке.

Официант-китаец и женщина-европейка поднимали упавшие стулья и сметали просыпавшуюся с потолка штукатурку. Когда я прошел мимо, женщина выпрямилась и двинулась вдогонку, потянула меня за рукав.

— Джеймс! Мне говорили, что вы вернулись. Помнишь свою Ольгу?

Ольга Ульянова острыми пальчиками ущипнула меня за щеку и, еще сомневаясь, не обозналась ли, ощупала плечи, провела ярким маникюром по лацканам пиджака.

— Ольга, как ты меня напугала! Совсем не изменилась.

Я был рад ее видеть, хотя время как будто сдвинулось во все стороны сразу. Если я стал старше на три года, то Ольга выглядела теперь двадцатилетней и сорокалетней сразу. Лицо за лицом, в слоях краски пережитого, за которым блестели острые замученные глаза. Я догадывался, что она проводит дни, отбиваясь от американских матросов в тележках велорикш на Нанкин-роуд.

Ее шелковое платье порвалось под мышкой, сквозь прореху виднелся большой синяк у ключицы и пятно помады на лямке лифчика. Взгляд, которым она охватила меня с головы до пят, показывал, что она уже списала со счетов мой военный опыт.

— Какой… модный костюмчик. Мистер Сангстер рассказывал, что ты неплохо проводил время в Лунхуа. Наверно, скучаешь по нему?

— Да, немножко. Я свожу тебя туда, Ольга.

— Нет, спасибо. Я довольно наслушалась об этих лагерях. Танцы и концерты. А здесь, скажу я тебе, был настоящий ад. Знал бы ты, на что приходилось идти моей матери, Джеймс. С нами японцы не церемонились.

Она тяжело вздохнула, покачнувшись под воспоминаниями. Ольга была трезва, но я догадывался, что три года до того она провела полупьяной.

— Ты здесь работаешь, Ольга? Или хозяйка?

— Буду когда-нибудь. Всюду бары, отели, эстрады… Поверь, Джеймс, у этих американских парней денег больше, чем у мадам Чан.

— Надеюсь, они щедро тебе платят, Ольга.

— Что? А, ну, мы же победили, не так ли? Скажи, Джеймс, а твой отец по-прежнему богат?

— Точно нет. — Мысль о деньгах воспламенила ее угасший было интерес ко мне. — Он всю войну провел в лагере Сучжоу.

— Это не значит, что он обеднел. Скажу я тебе, деньги можно найти где угодно. Надо только хорошенько искать и хорошенько тянуть.

Ольга, заново оценивая меня, стерла с зубов помаду. Она уже возбуждала меня, несмотря на сбивающие с толку перемены настроения, и во всех отношениях была более капризной и волнующей, чем женщины из Лунхуа. До войны, когда я раздевался, Ольга смотрела на мое обнаженное тело с холодным любопытством посетителя зоопарка перед клеткой редкого, но неинтересного животного. Я был уверен, что теперь ее не возбудит никакое мужское тело, однако глаза Ольги рассматривали меня так, словно она готовилась взвалить на мои плечи тяжелый груз.

— Вижу, ты все такой же мечтатель, Джеймс. Но твой отец… он теперь, пока здесь американцы, мог бы сделать удачные вложения. Есть один ресторанчик на авеню Жоффр, всего на шесть столиков…

Она шагнула вперед, споткнулась, наступив высоким каблуком на подвеску люстры, покачнулась и вернула равновесие, сжав мое плечо.

Прижавшись к моему, ее бедро почти напомнило мне о чем-то забытом. Сильный запах пота и пудры поднимался из выреза ее поношенного платья — возбуждающий запах, памятный мне по женскому бараку Лунхуа.

Я позволил ей опереться на мою руку, и мы, давя осколки, прошли через танцплощадку. Когда она потерлась бедром о мою ногу, в голове у меня взметнулся целый ворох мыслей. Война все ускорила; казалось, кругом несутся поезда, и мне на них не успеть. Мне хотелось секса с Ольгой, но я понятия не имел, как к ней подступиться. И понимал, что она с удовольствием посмеется над моей неуклюжестью.

Не только застенчивость удерживала меня. Меня отчасти привлекала к Ольге возможность вернуться в детство, но если я был в чем уверен, так это в том, что уже не ребенок, и игра в прятки на шанхайских улицах закончилась навсегда. Ребенок, оставленный на воспитание слуг, что считается удачей или привилегией, на деле становится жертвой самых беспощадных манипуляций. Я не желал, чтобы мной снова манипулировали, используя голод, страх или секс. Когда я впервые лягу с женщиной, это будет Пегги Гарднер.

Я вслушивался в равномерное шарканье щетки официанта. Свободная рука Ольги забралась мне под жилет, прижалась к животу. Она медлила, как будто опасаясь получить отпор, страшась напоминания о службе гувернантки, о довоенном прозябании родителей в трущобе, о нудных часах присмотра за маленьким англичанином с его велосипедом и безудержными фантазиями.

По запавшему горлу, по разбухшим венам на груди я догадывался, что в минувшие три года Ольга питалась не лучше меня. Я обхватил ее за талию и вдруг проникся сочувствием к этой жесткой женщине с сумятицей в голове. Никто, кроме рядового на полустанке, не смотрел на меня так внимательно. Мне захотелось рассказать Ольге о мертвом китайце, но затерянный японский патруль уже уходил в глубины памяти.

— Вы возвращаетесь в Англию, Джеймс?

— После Рождества — я плыву на «Арраве» с матерью.

Этот транспортный корабль, переделанный из плавучего рефрижератора, доставлял на родину шанхайских репатриантов.

— Отец остается здесь.

— Остается? Это хорошо. Я расскажу ему про свой ресторан. А ты в Англии будешь учиться?

— Если придется. — Что-то толкнуло меня добавить: — Хочу стать врачом.

— Врачом? Это прекрасно. Когда я заболею, будешь за мной ухаживать. Теперь твоя очередь.

Когда я, пообещав напомнить о ней отцу, собрался уходить, Ольга сказала:

— Теперь у тебя для игры в прятки — целый мир.

* * *

Через неделю после Рождества я навсегда покинул Шанхай. Шестьсот бывших интернированных, преимущественно женщины и дети, отплывали в Англию на бывшем мясовозе. Отец и другие оставшиеся в Шанхае британцы стояли на причале Хункоу и махали вслед отходившей по ленивой бурой воде «Арраве». Когда мы, пробравшись между американскими эсминцами и десантными судами, вышли на середину русла, я отошел от матери на корму.

Родные продолжали махать нам с причала, и отец, высмотрев меня, поднял руку, но я не смог помахать ему в ответ, о чем потом много лет жалел. Может быть, я сердился за то, что он отсылал меня из этого таинственного и ослепительного города.

Когда банки и отели наконец скрылись в тумане над Бундом, я отнес свой чемодан в мужскую столовую. На ночь мы развешивали койки-гамаки на открытой палубе, где когда-то висели мороженые туши из Новой Зеландии. В темноте сотни спящих тел раскачивались в такт, как бараны в холщовых мешках.

После ужина я вернулся на корму. Палуба почти опустела, «Аррава» приближалась к выходу в Янцзы. Шанхай скрылся — город мечты, отгородившийся от мира. Рисовые поля и прибрежные деревушки протянулись до горизонта. От ближайшей земли — Нагасаки — их отделяло только море.

«Аррава» задержалась в Вусуне, ожидая большого отлива на Янцзы при впадении в Китайское море. Держась ближе к восточному брегу Хуанпу, мы миновали большой десантный корабль американцев, причаливший к берегу. Судно, в трюме которого помещались когда-то танки, было немногим меньше «Арравы». Оно далеко выползло на отмель плоским днищем, словно тянулось к этому пустынному берегу. «Аррава» не угрожала ему столкновением, однако с мостика десантного судна замигал сигнальный фонарь. Палубу охраняла военная полиция американцев,

патрульные навели на нас оружие и жестами приказывали держаться подальше.

В воздухе плыла едкая вонь, будто поднимавшаяся из сточных канав, заполненных кровью. Склонившись на перила, я рассмотрел в трюме американского судна сотни японских солдат. Они сидели плотными рядами, колени одних упирались в спины других. Все были в плохом состоянии, некоторые лежали, раздавленные массой тел. Никто не смотрел на «Арраву», только несколько унтер-офицеров в наручниках обернулись к нашему судну.

С мостика десантного корабля рявкнул мегафон, американские офицеры орали на британского рулевого. «Аррава» явно появилась не вовремя. Японцев возвращали из Китая на родину, но я сомневался, многие ли из этих людей, численностью едва ли не в целую бригаду, переживут трехдневное плавание до Японии.

Потом мой взгляд упал на другую группу вооруженных солдат, стоявших на обрыве над илистой отмелью. Сотни пехотинцев Гоминьдана в кепи и обмотках, с примкнутыми штыками стояли на травянистом склоне, ожидая прохода «Арравы».

У меня над головой, разрывая трубы, заревела сирена; эхо пошло гулять над широкими водами

Янцзы. Мы проплыли дальше, взбивая воду единственным винтом. Брызги летели мне в лицо. Носовая сходня десантного судна откинулась, и первый японский солдат, спотыкаясь, шагнул в илистую грязь.

Часть II
Безумные годы
4
Королева ночи

Годами моей жизни в Кембридже правили женщины: студентки-однокурсницы, веселые медсестры из больницы Адден-брукс, с которыми я выпивал на Кеме, мрачные ассистентки с кафедры физиологии, вечно полирующие растрескавшиеся ногти за рядом банок с эмбрионами, а больше всего — доктор Элизабет Грант. Весь первый семестр я ежедневно видел ее голой, знал ее так близко, как ни одну женщину в жизни. Но ни разу не обнял ее.

Я помню октябрьское утро на кафедре анатомии. Там я впервые увидел доктора Грант. Вместе с сотнями новичков медицинского колледжа я сидел в амфитеатре, слушая вступительную речь профессора Харриса, возглавлявшего кафедру анатомии. Я один сидел в верхнем ряду, нарочно отдалившись от других учащихся. Те, освобожденные от воинской повинности фанатики регби, были в большинстве своем сыновьями провинци-

альных врачей, которым со временем предстояло перенять отцовские практики. Уже тогда мысль, что лет через сорок мне понадобятся их услуги и жизнь окажется в руках этих добродушных, но бездуховных личностей, угнетала. Впрочем, в 1950 году я ничего не понимал в медицине. Мне еще предстояло узнать, что ни одухотворенность, ни добродушие в ней ничего не значат.

Профессор Харрис вошел в зал и поднялся на кафедру. Маленький полный уэльсец осмотрел ряды румяных юношей, как аукционист осматривает ряды быков на рынке. Заметив меня, одиноко сидящего под самой крышей, он спросил, как меня зовут, и велел погасить сигарету.

— Присоединяйтесь к нам — не нужно обосабливаться. Вы скоро поймете, что мы нужны друг другу.

Он ждал, пока я, покраснев, спускался в нижние ряды. Несмотря на это унижение, я восхищался Харрисом. Они с братом, ныне оба — видные специалисты, родились в бедной семье из Сванси, и один шесть лет зарабатывал другому на обучение. Поздно начав карьеру, Харрис быстро продвинулся до профессора анатомии в Кембридже. Идеализм и простое происхождение выделяли его среди других преподавателей, и себя я считал

похожим на него. Разумеется, собственное детство в привилегированной обстановке начисто стерлось из моей памяти.

Чтобы ввести нас в профессию, Харрис коснулся истории медицины от Везалия и Галена, подчеркнул, что она начиналась как ремесло и низко ценилась в обществе вплоть до нынешнего века. Только недавно, отвечая эмоциональным потребностям пациентов, статус медика повысился до уровня более древних дисциплин, причем, как предупредил Харрис, еще на нашем веку этот статус может рухнуть. Мне вспомнилось, что в Китае врачу платят, только пока пациент в добром здравии. На время болезни оплата прекращается и возобновляется только после прекращения лечения.

В заключение Харрис выделил анатомию как фундамент медицины и предупредил, что некоторые из нас не выдержат долгих часов в анатомическом театре. Те, у кого зрелище трупа вызовет непреодолимое отвращение, должны обратиться к нему в частном порядке — их переведут на другую специальность.

Многие ли обращались? На моем курсе — никто. Я вспоминаю внезапно наступившую тишину и неловкие шутки при первом визите в зал для

вскрытий, похожий одновременно на ночной клуб и на бойню с потолком из матового стекла. Около двадцати трупов, лицом вверх, ожидали нас на столах. Пропитанная формалином кожа цветом напоминала старую слоновую кость. Примечательнее всего в трупах был этот сочный оттенок кожи, словно характер каждого самоуверенно проступил на поверхности тел. В резком свете выделялось каждое пятнышко: родинки и шрамы от операций, бородавки и поблекшие татуировки. Сразу бросились в глазах ампутированные пальцы ноги и лишняя пара сосков на груди трупа, сложенного как призовой борец. Каждое тело было атласом, на котором вычерчен жизненный путь.

Я занял место у назначенного мне стеклянного стола, разложил руководство по вскрытию и инструменты. За это время поймал несколько любопытных взглядов — мой труп, единственный среди всех, был женщиной. Для вскрытия человеческое тело разделялось на четыре части: грудь и живот, голова и шея, руки и ноги. Каждая занимала у команды из двух студентов один семестр. На медицинском факультете я не знал никого, кто стал бы моим напарником, кроме Пегги Гарднер, учившейся на последнем

курсе — и решил выбирать наугад. Просматривая список номеров, я заметил обозначение 17F и не задумываясь вписал рядом свое имя.

И, разумеется, очутился перед лысой плечистой женщиной, умершей под конец средних лет. Над ее выбритыми бровями, губой и лобком поднимались тонкие светлые волоски, а лицо было решительным, как у школьной директрисы или старшей медсестры в больнице. В целом ее трудно было отличить от мужских трупов: жировые ткани груди расплылись по грудной клетке, а у мужчин гениталии съеживались и скрывались в паху. И все равно она привлекала взгляды. Большинство студентов провели годы войны в интернатах, вдали от разбомбленных городов, и, возможно, никогда не видели обнаженных тел, тем более — тел зрелых женщин.

Одна только Пегги Гарднер, войдя в зал и увидев, как я работаю с напарником, тридцатилетним дантистом из Нигерии, изучавшим анатомию, осталась невозмутимой.

— У вас будет намного больше работы, — укоризненно заметила она. — Чтобы добраться до

фасции[66], придется срезать жир.

— Так выпало… — И я добавил смущенно: — Мне почему-то досталась Королева Ночи.

— Чушь! И что за легкомыслие, Джейми? Все стараешься выделиться… Совсем не изменился со времен Лунхуа.

— Пегги, это прямо смертный приговор.

Я, может быть, и не изменился, а вот Пегги преобразилась из узкоплечей шестнадцатилетней девчонки, отплывшей со мной на «Арраве». Я еще помнил, как она начинала подражать манерам вдовы Дуайт. Первые годы Пегги в Англии прошли вдали от мужчин. За ее изящной походкой я различал самоуверенных старых ханжей — учительниц ее брайтонского интерната. Стильная, но застегнутая на все пуговицы, Пегги проплывала сквозь толпу заигрывавших с ней молодых демонстраторов.

Впрочем, для Пегги, кажется, Англия стала домом, а для меня была транзитной зоной между прошлой жизнью в Китае и будущим, которое никак не желало наступить. Я был заброшен

---

[66] Примечания: 66

Фасцией сейчас обобщенно называют все соединительные ткани человека. В годы действия романа этот термин использовался только для так называемых «чехлов», окружающих мускулатуру, т. е. соединительная оболочка, в которую не входят кожа, кровь и лимфа. — *Прим. ред.*

в тесную серую страну, где солнце редко показывается над крышами, в лабиринт классов и каст, непрерывно разраставшийся изнутри. Если судить по разговорам англичан, они победили в войне, но вели себя как побежденные. За школьные годы я успел понять, насколько чужой здесь: другие мальчики не обижали меня, но сторонились, словно чувствовали некую угрозу. Я только и думал о возвращении в Шанхай, но когда в 1949-м власть взял Мао Дзэдун, этот путь бегства для меня закрылся.

Едва попав в Кембридж, я пригласил Пегги к себе, в комнату Королевского колледжа, выходившую окнами на часовню, где вечно гремел орган. Безудержно радуясь встрече, я смотрел, как она обходит комнату, качает головой перед репродукциями Магритта и Дали на каминной полке, над романами Камю и Бориса Виана. Мне вспоминался детский барак Лунхуа, где она подробно, в двенадцать шагов объясняла мне, как пришить пуговицу к рубашке. Благоразумное ведение хозяйства способно было обуздать любых демонов, даже демона голода.

— Зачем ты это читаешь? Ты же не собираешься в Сорбонну? Здесь о них и не слышали.

— Пегги, в Кембридже ни о чем не слышали. У

членов совета на уме только треклятые мадригалы, да еще как бы попасть в Мозговой трест[67]. Это одна сплошная псевдоготика с тысячами велосипедов в придачу.

— Не готика и не фальшивая. — Пегги перевернула лежавшие на каминной полке романы лицом вниз. Она явно беспокоилась за меня. — Когда Королевская часовня строилась, она была новшеством, не в пример нынешнему Корбюзье, и выглядела невероятно дикой и странной. А если вспомнить о Кавендишской, так именно там Резерфорд расщепил атом.

— Тебя послушать — прямо хижина Энн Хатауэй[68]. Я видел Фостера — он вчера бежал рысцой на вечеринку у провоста. Ветхий старичок с грустным взглядом, похож на разочарованного педофила.

— Поздравляю, — одобрительно кивнула Пегги, — ты наконец увидел подлинный Королевский колледж. Он не гладил тебя по коленке?

---

[67] Примечания: 67

Имеется в виду Брэйн-траст, престижная группа советников, консультантов, специалистов экстра-класса, преимущественно в области планирования и политической стратегии. — *Прим. ред.*

[68] Примечания: 68

Дом Энн Хатауэй — старинное жилое здание, где в детстве жила жена Уильяма Шекспира. Популярная историческая достопримечательность. — *Прим. ред.*

— Я этого ждал, но не дождался. Подлинного Королевского здесь хватает. Если прислушаться, услышишь, как всхлипывают маленькие хористы. Не зря же там целый день играет орган.

— Просто ты для него слишком взрослый. Тебе больше подходят медсестры из Адденбрука. Они тебя совсем испортят… смелыми разговорами о психоанализе.

— О психоанализе! Если я о нем и говорил, так только сам с собой. Здесь в нем видят неуклюжую центральноевропейскую шутку. — За окном остановились, разглядывая часовню, американские туристы. — Вчера я видел на стоянке кафедры психологии «шевроле» — должно быть, единственный в Европе. Боже мой, сразу вспомнил Шанхай и американцев!

— Зачем? Перестань вспоминать Шанхай и Лунхуа. Все прошло.

— Вообще-то я и не вспоминаю. Но не прошло.

Пегги взяла меня за руку — словно мы снова сидели в детском бараке и она уговаривала меня не доводить сержанта Нагату.

— Джейми, попробуй помнить, что мы сейчас в Англии.

— Да… Странное дело, Лунхуа был уменьшенной моделью Англии. Я все думал: почему никто

не пытается бежать?

— Куда им было бежать?

— Не в том дело. Лунхуа напоминал им дом. Помнишь надписи? «Станция Ватерлоо», «Пикадилли», «Серпентайн» — тот стоячий пруд, что распространял малярию?

— Они подбадривали людей. И ты забываешь, что кое-кто сбежал. Это тебе хотелось, чтобы война длилась вечно. Пока Дэвид и Ролстоны рвались за ограду, ты ломился внутрь. Это всех насмешило.

— В продуктовый склад? Что, все знали? Я хотел остаться там жить, с тобой. Как Гензель и Гретель. Господи, как я тебя любил!

Но когда я коснулся ее талии, собираясь поблагодарить за все, что она сделала для меня в Лунхуа, Пегги ловко увернулась. Я сел в кресло. За окном безумно блеял орган. Вспомнились похотливые старики, сделавшие последний год Пегги в лагере тяжелым испытанием. Она почему-то расстроилась при виде моих книг и репродукций: возможно, испугалась, что Кембридж рассыплется, как Циндао ее детства. Французские романы и моя показная «усталость от жизни» были не просто подростковой игрой — Пегги чуяла в них угрозу, и в том, что я выбрал для вскрытия

женский труп, тоже. Пегги, моя первая любовь, к сожалению, так и не стала первой любовницей. Она слишком хорошо знала меня по Лунхуа, она мыла и кормила меня во время болезни, она разделила со мной слишком много тяжелых переживаний, чтобы хотеть сойтись снова.

* * *

В ближайшие недели, приступив к вскрытию мертвой женщины, я понял, что не ошибся в выборе. Я жил как все студенты, выпивал на реке с адденбрукскими медсестрами, играл в теннис с товарищами по Королевскому колледжу, но университет во всех отношениях оставался для меня заграничным городом. Иногда, разбуженный среди ночи очередным соло на органе, я не мог вспомнить, где нахожусь. Тогда я улавливал слабый запах человеческого жира и формалина, исходивший от моих пальцев, и думал о женщине в анатомическом театре. Я представлял, как она лежит на темном столе, погрузившаяся в смертный сон глубже любого фараона. Ее невозмутимость затрагивала и другие трупы, и студентов. Предъявляя себя юношам со скальпелями, женщина странным образом вносила порядок в воспоминания о мертвых китайцах и

японцах, виденных мной во время войны.

Когда четыре пары студентов приступали к вскрытию этой неизвестной женщины, откидывая пласты кожи на конечностях, на шее и брюшине, она словно в последний раз раздевалась, снимая с себя все смертное. Сидя рядом с ней, я рассекал кожу на плече, разделял мышцы, обнажал нервы плечевого сплетения — струны, двигавшие некогда ее руками, которыми она ласкала мужа, расчесывала волосы, баюкала ребенка. Я пытался прочесть ее характер по шрамам под подбородком — следам, возможно, автомобильной катастрофы, — по зажившему перелому сильного носа, по родинке на правом виске, которую она, наверно, прикрывала красивым светлым локоном. Притворяясь, будто читаю Каннигема — руководство по вскрытию, на страницах которого уже остались жирные пятна, — я рассматривал зрелые бедра и мозоли на пальцах левой руки — руки виолончелистки-любительницы? Студенты и демонстраторы задерживались за нашими спинами, заглядывая в открытые двери ее тела. Их привлекала эта одинокая женщина среди мертвых мужчин. Она одна не стала мишенью сальных прозекторских шуток.

В надежде выяснить, кто она, я разговорил ассистента из препараторской, но узнал только, что женщина была врачом. Почти все трупы оказались умершими врачами, которые пожертвовали свои тела науке — я считал, что предсмертная воля мужчин и женщин, завещающих себя следующему поколению врачей, свидетельствует о величии их духа.

Чувствуя ее власть над собой и желая хоть на несколько часов отделаться от Кембриджа, я купил мотоцикл «триумф» и завел обыкновение кататься по полям к северу от города, где сеть канав и болотистая земля немного напоминали окрестности Шанхая. За изгородями лежали забытые аэродромы военного времени. С них не так давно взлетали бомбардировщики, атаковавшие Германию, а теперь появились новые большие базы, где в бункерах скрывались самолеты с атомным боезапасом. Их взлетные полосы патрулировали военные машины американцев, над воротами развевались звездно-полосатые флаги. По сельским дорогам разъезжали «крайслеры» и «олдсмобили», возникая внезапно блестящими хромированными грезами. За рулем сидели крупные задумчивые мужчины, рядом нарядные жены, осматривавшие местность с самоуве-

ренностью оккупантов. На своих тщательно охраняемых базах они готовили еще не оправившуюся от Второй мировой Англию к Третьей мировой войне. Тогда атомное зарево, виденное мною над Нагасаки, окутает эти тусклые поля и превратит ветхую готику университета в сияющий замок.

* * *

Каждое утро, уезжая после вскрытия, я видел припаркованный у кафедры психологии синий «шевроле» — собственность, вероятно, гостя Кембриджа, какого-нибудь нобелевского лауреата из Гарварда или Массачусетского технологического. Любуясь машиной и оставленной за сиденьем пластинкой Стэна Кентона, я заметил на ветровом стекле стикер, приглашающий добровольцев для эксперимента. Большинство добровольцев кафедры были студентами-медиками, всегда готовыми, наклеив себе на грудь электроды, шагать по ленте тренажера или крутить педали, не хихикая в микрофон.

Поколебавшись, я толкнул дверь означенного кабинета, еще сомневаясь, не лучше ли было провести остаток дня с демонстраторшей кафедры физиологии — той, что с растрескавшимися

ногтками. Преподаватель стоял на коленях, усердно пытаясь починить электрокофеварку. Он не обернулся ко мне, пока, закончив работу, не передал машинку высокой темноволосой старшекласснице, стоявшей у секретарского стола.

— Вот так… сперва кофе, потом психология. — Взглянув на меня, он спросил: — Новая жертва? Ни один доброволец лишним не будет. Мириам, заполни на него свидетельство о смерти.

Я узнал восходящую звезду кафедры, доктора Ричарда Сазерленда. Вероятно, ему принадлежали и «шевроле», и запись Стэна Кентона. В первую очередь киноактер, а потом уже член совета кембриджского колледжа, этот высокий шотландец причесывал копну рыжих волос в расчете на максимальный эффект. Носил он баскетбольные туфли, рубаху из шотландки и джинсы — так в Кембридже одевались только отслужившие в армии американцы. На стене за его спиной красовался деревянный пропеллер «Тайгер Мот», номерная табличка с кодом Нью-Джерси и фото, на котором Сазерленд снялся вместе с фон Нейманом. Докторскую степень Сазерленд получил в Принстоне, причем ходили слухи, что ему случалось выступать по телевидению — невообразимая карьера по меркам

академического Кембриджа.

Он ласково оглядел меня и как будто сразу угадал, что меня сюда привело.

— Первый курс медицинского. Как я догадался? По формалину — все вы благоухаете, как гробовщики из Глазго. Давайте покажу, чем мы занимаемся.

Под одобрительно-ехидным взглядом школьницы он быстро объяснил мне суть эксперимента: проверка устойчивости последовательных образов в оптических центрах мозга.

— Вам будет интересно, увидите, как работает мозг — если, конечно, у вас, медиков, он есть, Мириам иногда сомневается. Прежде всего попросим заполнить анкету, чтобы получить представление о вашем психологическом профиле. Верно ли, что последовательные образы у интровертов более устойчивы, чем у экстравертов? Ничего личного, нам не интересно, вожделели ли вы свою бабушку.

— Она меня вожделела.

— Какая решимость! Мириам, за дело, он готов к исповеди.

— Ищу тиски для пальцев, профессор.

Сазерленд снял с крючка у двери американскую лыжную курточку.

— Мириам в шестом классе в школе Пирс, но помогает мне, пока моя секретарша сидит с младенцем. Увидимся, сейчас у меня лекция.

Он ушел, а Мириам принялась за анкету. Она зачитывала вопросы с издевательской торжественностью и пристально следила за выражением моего лица при ответе. Пальцы ее перебирали бусинки браслета, словно подсчитывая впечатления. Я догадывался, что счет не в мою пользу. Девушка, хоть и носила еще школьную форму, была всего на год моложе меня, а в кабинете чувствовала себя хозяйкой и с пухлыми папками обращалась как опытный бухгалтер. Она распустила школьный галстук. Мятое платье и лабораторные пятна на хлопчатой блузке придавали ей своего рода небрежный блеск. Не она ли только что встала с незастланной кровати, которую я заметил в смежном кабинете? Я гадал, не любовники ли они с Сазерлендом.

Только услышав, что я родился в Китае, Мириам удостоила меня неподдельного внимания.

— В Шанхае? Ты и в войну там жил?

— Был интернирован японцами. Знаешь Пегги Гарднер?

— Конечно — мы все от нее без ума.

— Она была в том же лагере.

— Пегги? Странно, почему она не рассказывала.

— Ничего особенного там не случалось.

— Не верю! Сколько вы с Пегги там пробыли?

— Три года. Я никогда о них не вспоминаю.

— А может быть, стоило бы. — Орудуя американской шариковой ручкой в виде серебристой ракеты, Мириам подсчитала мои баллы — и подняла брови, пальцами теребя бусинки. — А потом поступил в Лейс — воображаю, каково тебе там пришлось.

— Нормально. Как в лагере, только кормили хуже.

— Господи, мне ли не знать, как кормят в школах! Я на прошлой неделе чуть не возглавила бунт. — Она понизила голос: — Я сюда хожу только за шоколадками. Ричард прозвал меня своей маленькой шоколадницей.

— Почему ты на него работаешь?

Она ткнула в пятно на платье, повернулась ко мне грудью.

— Я давно болталась здесь после уроков — самая интересная кафедра. Я слушала разные лекции — Ливиса, Райла, Лича. Ричард лучший. Он както подвез меня на машине. — Она улыбнулась воспоминанию.

— Ты будешь заниматься психологией?

— Еще чего! Хватит с меня Кембриджа. Мой отец — казначей в Фицуильяме. А я хочу подавать коктейли в Нью-Йорке или поселюсь на необитаемом острове с тремя незнакомыми мужчинами. Лишь бы отсюда вырваться.

— У меня есть мотоцикл. Почему ты себе не купишь?

— Куплю! — Опасаясь, что я не поверю, она не без гордости добавила: — Я хотела завербоваться в королевскую авиацию. Ричард катал меня на своем «Тайгер Мот»! И сказал, что у меня дар к полету. Авиация меня нагло отвергла, сославшись на отсутствие удобств в реактивных бомбардировщиках. Господи, пустите меня в самолет, и я научусь писать в бутылку из-под молока!

— Ну… как говорит профессор Харрис, анатомия — основа всему.

— Он прав. А ты почему пошел на медицину?

— Уже не помню. Кажется, хотел стать психиатром.

— А зачем? Кого ты хотел вылечить? Это что-то связанное с войной?

Я помолчал: эта школьница задавала слишком острые вопросы.

— Может быть, и так, я пока не знаю.

— Ну, так узнаешь, — обнадежила она. — А теперь ты режешь свой первый труп. Обходись с ним попочтительнее.

— Разумеется. Кстати, это женщина.

— Женщина? — Она присвистнула сквозь щербатый зуб. — Ты — мой первый некрофил.

— В каком-то смысле так и есть.

— Продолжай. Ведется скрытая запись.

— Ничего. Подбирайся поближе — это похоже на жуткий брак.

— Держись! Профессор Харрис выкупит тебя из местной лечебницы. — Откинувшись назад, Мириам задрала ноги на стол, открыв длинные бедра, на которых сквозь дыры в школьных чулках просвечивала белая кожа.

— И что? — спросил я.

— Не хочешь вместо покойницы попробовать живую?

* * *

Эта умница полушутя разглядела сквозь мою юношескую браваду, что меня до сих пор преследуют события военных лет и я пытаюсь перенести их в мирный Кембридж. Студенты налегали на шесты, толкая по Кему плоскодонки, вели бесконечные беседы в кофейнях, обсуждали новости

дня в Союзе, подражая ораторам Палаты общин, а между тем на аэродромах вокруг университета накапливались для решающего ядерного удара американские бомбардировщики.

Воскресным утром я повез Мириам на кембриджский аэродром. Над полем на своем «Тайгер Мот» кружил Ричард Сазерленд. Потом я возил ее к большим американским базам в Лэйкенхите и Милденхолле, и мы вместе пробивались навстречу ноябрьскому ветру, чтобы посмотреть на атомные бомбардировщики. Однажды на заброшенной авиабазе Второй мировой мы увидели стоявшие поодаль от ангаров британские «Либерейторы». Мириам осталась сторожить, а я перелез через проволоку и пошел к оставленному без охраны бомбардировщику. Подтянувшись, я забрался через нижний люк в тесную от приборов кабину. Ветер барабанил по корпусу и гнул тяжелые крылья, а я представлял, что лечу на восток.

— Джим, ты так и напрашиваешься на арест, — сказала Мириам, когда мы вернулись в Королевский. — Где сейчас твой отец?

— Еще в Китае.

— Ты не почувствуешь себя дома, пока он не вернется в Англию.

— Он застрял в Шанхае: коммунисты отдали его под суд. К счастью, Маркса и Энгельса он читал больше, чем судьи из крестьян, поэтому его отпустили.

— Отсюда мораль… — Мириам взяла меня под руку. Мы стояли у камина, и она рассматривала репродукции моих сюрреалистов.

— Эрнст, Дали, Почтальон Шеваль… самый подходящий для тебя набор. Зря Пегги Гарднер их разносит. Полагайся на свое воображение, пусть даже оно мрачновато.

— Мириам… — я слишком часто слышал это в школе. — Мрачновато — слабо сказано. Скажи спасибо, что тебе не приходится полагаться на свое воображение.

— Вот-вот, сейчас он начнет подкоп…

Я рассказывал ей, как пытался проникнуть в продуктовый склад. Мириам этот рассказ насмешил и немало растрогал. Эта смышленая школьница с дерзким взглядом и заразительным энтузиазмом уже очаровала меня. Временами она становилась ко мне равнодушна — ее мысли занимала обида на какую-нибудь школьную учительницу или нескончаемые ссоры с матерью, не разрешавшей дочери выпивать в студенческих клубах. Прокторы нажаловались отцу Мириам,

что его дочь видели в плоскодонке с компанией студентов из Тринити и с кружкой пива в руке.

Она не переставала меня удивлять. Рассказала, что оптическими экспериментами профессор Сазерленд занимается только для отвода глаз, а настоящая цель исследования — определить психологический профиль студентов, готовых стать добровольцами в медицинских экспериментах. Научные работники всегда полагали, что завербованные добровольцы представляют собой типичный срез студенческой популяции.

— А это не так. Ричард говорит, отзываются только агрессивные экстраверты или невротичные интроверты.

— А нормальные?

— Не приходят. Напиваются или валяют дурака на речке.

— Зовите профессора Харриса… — Мы с ней лежали в постели, и я шарил рукой под одеялом. — А я кто такой получаюсь?

Мириам втиснула мне голову в подушку и смахнула волосы со лба.

— Ты, Джим, военный преступник.

— Что?

— Если судить по образу мыслей. Мы с Ричардом тебя обсуждали.

— Еще один фиктивный тест…

— Слушай, если не считать войну, ты вел себя как обычный ребенок-шизофреник. У одного пациента Ричарда был сын-шизофреник. Он двадцать лет тихо пытался покончить с собой. Ничего другого ему не хотелось.

— И чем кончилось?

— Не помню. Ты, во всяком случае, еще поживешь. В ближайшие три недели ты мне нужен. — Она приподнялась на локте, опустила правую грудь мне на щеку и стала ногтем обводить сосок. — Скажи, это странно — вскрывать женщину? Ты говорил, она там одна.

— Тише! Она — королева ночи.

— Знаю, она самая опасная моя соперница. Вообрази, что ты вскрываешь меня. С чего бы начал?

Я с улыбкой повернулся к ней лицом, отбросил смятые простыни, чтобы тепло камина коснулось ее широких бедер и грудной клетки.

— Не знаю. Вскрытие — это своего рода эротическая экспертиза. Можно бы начать с шейного треугольника, только пришлось бы вывернуть тебе шею… — я поцеловал родинку под ее подбородком, ощутил вкус духов ее матери. — Или с резекции носа — ты получилась бы немножко

курносенькой. — Я пробрался языком ей в ноздрю, пахнущую увядшей лавандой, и Мириам прыснула от смеха. — Что касается маммопластики для увеличения груди, она в твоем случае не нужна. — Я прошелся губами от мускусной впадинки подмышки до полной груди с тяжелым соском. Под белой кожей просвечивали вены — гадюки, готовые ужалить принцессу. Я попробовал на вкус кожу груди, принюхался к запаху желез, обвел языком твердую пуговку соска и двинулся вниз, к животу. — Пупок у тебя пахнет устрицами.

— Погоди, живот ты еще не вскрывал.

— Мне не понадобятся инструменты, кроме ломтика лимона.

— Вот чему вас учат на кафедре? Мать всегда советовала остерегаться неумелых докторов!

Я обнял ее, прижался губами к соску. До Мириам я занимался любовью только с китаянками, подружками Дэвида Хантера в Шанхае, с немолодой хозяйкой маленькой лондонской гостиницы, в которой мы жили с матерью после возвращения с Дальнего Востока, и с ее дочерью, да еще с кембриджскими проститутками, которые принимали меня за американского солдата, притворяющегося студентом — весьма прониц-

тельная догадка, учитывая обстоятельства. Секс с Мириам впервые принес мне предчувствие будущего. Я надеялся, что мы с ней будем любить друг друга еще много раз, что где-то в запертых складах сердца кроются неограниченные запасы тепла.

Пальцы Мириам ущипнули мне грудь, прищемив грудину. Она пробежалась по животу, изящно обогнув пуп, и, вскрикнув, зажала мою мошонку «рачьей клешней». Рассмеявшись, я положил себе на бедра ее ногу. Мириам оседлала меня, зажав пенис между половыми губами и дразня меня прикосновением. Я вошел в ее вагину — я сейчас с радостью вскрыл бы ее, так сильно она была мне нужна. Представился странный секс между одержимым хирургом и живой женщиной в пустом анатомическом театре зловещей клиники, каких хватало на окраинах Кембриджа. Я целовал бы плевру ее легких, водил языком по бронхам, прижимался бы лицом к влажной сердечной оболочке, пульсирующей под губами…

— Джим… — Мириам задержала палец на кончике моего носа, — о чем ты думаешь?

— Это, наверно, противозаконно…

— Так перестань!

Я крепко обнимал ее, забыв зал для вскрытий

и трупы, забыв атомные бомбардировщики и голые ноябрьские поля.

* * *

Вскоре после того Мириам вернулась к друзьям из Тринити и в лабораторию Ричарда Сазерленда. Ее пугали мои упорные визиты на американские базы. Она видела, что я увяз в прошлом и не слишком стараюсь освободиться. Еще Мириам сознавала, что я во власти женщины, чье тело изучил более интимно, чем ее. Она беспокоилась обо мне, пыталась разговорить, добивалась рассказов о Шанхае и о войне и даже пробралась в прозекторскую, чтобы лицом к лицу встретиться с соперницей. Но я слишком берег Мириам, чтобы подставить ее своему прошлому.

Итак, она мудро и по-доброму поцеловала меня у каминной полки, аккуратно повернув сюрреалистов лицом к стене, и дружески помахав, закрыла за собой дверь моей комнаты.

Мне жаль было ее отпускать, но Мириам не ошиблась: между ней и мертвой женщиной-врачом шел странный поединок, и эта дуэль понемногу заполняла всю мою кембриджскую жизнь. Я чувствовал, что матовые глаза молчащей женщины воссоединяют меня с Шанхаем,

который я оставил позади, но носил в себе как неотвязный сон. В голове у меня маячили Бунд и Нанкин-роуд. За окном анатомической библиотеки, выходящим на плоскую равнину с американскими авиабазами и сияющим призраком Третьей мировой, я видел заброшенные рисовые поля Лунхуа. Железнодорожные пути, возвращавшие меня в Кембридж после выходных в Лондоне, казалось, приведут к полустанку, где до сих пор ждут японские солдаты.

Женщина-врач на анатомическом столе молча отождествляла себя со всеми жертвами войны в Китае и с молодым китайским клерком, убитым у телефонного столба на моих глазах. Рассекая, исследуя изнутри ее тело, я приближался к некой скрытой истине, о которой ни с кем не мог заговорить после отплытия на «Арраве» из Шанхая. Мясные трюмы рефрижератора несли в Англию тайный груз. Я слишком скоро оставил Шанхай, забрав оттуда неразрешимые проблемы, а истощенная войной, занятая собой Англия никак не могла помочь мне от них отделаться.

Британцы пережили свою войну: конфликт с четкими военными и политическими целями, совсем не похожий на то, что было в Китае. Они справлялись с мучительными воспоминаниями

и понизившимся статусом тем же способом, что взрослые в Лунхуа. Над руинами разбомбленных улиц, над рухнувшей надеждой на лучший мир они водрузили мифологию лозунгов, парад патриотических знамен, навек запечатавший прошлое от взыскательного взгляда.

Даже бывшие военные, участники настоящих боев, с которыми я встречался в лондонских барах, казалось, пережили другую войну — кровавый спектакль, не слишком далекий от «Побудки», в постановке которой — подумать только! — участвовали двое из моих новых знакомых. Мы в Шанхае с 1937-го и до взрыва атомной бомбы были не воюющей стороной и не жертвами, а подневольными зрителями казни. Те, кого притянуло слишком близко, коснулись крови на орудиях.

Я пробовал зажмуриться, задремать в тесной квартире пьяниц-демонстраторов, но прошлое не отступало. Трупы все больше и больше напоминали мне оторванные конечности, которые я видел на авеню Эдуарда Седьмого.

В последний четверг ноября я выехал на кембриджский аэродром. Я знал, что Мириам часто прогуливает спортивные занятия в школе, чтобы полюбоваться трюками, которые проделывал на

своем «Тайгер Мот» Ричард Сазерленд. И верно: когда я подъехал, она сидела в «шевроле», включив мощный обогреватель салона.

Мириам весело помахала мне и открыла пассажирскую дверь. Я с удовольствием сел рядом, прислушиваясь к будоражащему гулу самолетных моторов.

Ничуть не стесняясь помятой школьной формы, Мириам взяла меня за озябшую руку. Ее грудь вздрогнула, когда старинный биплан пролетел над стоянкой, ударив струей от пропеллера в стекло «шевроле».

— Ну, как там, в прозекторской? — спросила она. — Какие новости от покойницы?

— Я пока работаю над рукой — хорошо бы ее отделить, но она вроде как крепится…

— Джим, ты не думал бросить медицину?

— Пока нет. У меня же только первый семестр. Подожду, пока закончу с головой и шеей.

— Как бы не было поздно. Скажи тьютору, что хочешь изучать английскую литературу.

— После медицинского? Чего ради? «Анатомия» Грея — более великое произведение, чем «Улисс».

— Тебе это не помогает — только хуже становится. Когда режешь тела, ты вспоминаешь о войне.

— Мириам. — Я сжал ее плечо, чтобы успокоить. — Настоящие трупы не похожи на тела в прозекторской. Они выглядят как живые — и это самое странное.

— Я хотела бы помочь, Джим, но не могу.

— Наверно, нет. — Я смотрел, как Ричард вылезает из кабины и широко шагает к нам в желтом пилотском комбинезоне. — Я буду летать.

— Хорошо! Тогда и меня научишь. Мне нужно летать!

Она поцеловала меня и, выскочив из машины, забрала у Ричарда шлем, а я оседлал свой «триумф». Странное трио мы составляли: авиатор, школьница и студент-медик. Ричард наблюдал за мной с дружелюбной улыбкой актера. Вспомнив американское белье Мириам, я задумался, не была ли эта храбрая девушка его подарком мне или очередным экспериментом. Ричард всегда радовался встречам со мной, расспрашивал о войне — небрежно и с некоторым сладострастием, словно я был подопытным, которому предъявили слишком много сцен насилия. Иногда он, ожидая, пока Мириам закончит печатать, наблюдал, как я листаю страницы «Лайф» с фотографиями войны в Корее. При всем при том я любил его за энергичность и широту взглядов,

за Мириам и за американский автомобиль. Их с сестрой до начала лондонского блица эвакуировали в Австралию, но на Ричарде не осталось следа сиднейских окраин — никакого прошлого, только настоящее.

— Джим, Мириам говорит, ты хочешь летать. Приходи на следующей неделе, я тебя прокачу. Сможешь попробовать петли и бочки.

— Спасибо, Ричард. Доверите мне управление?

— Конечно.

Однажды мы с Мириам раздразнили его, обогнав на моем «триумфе», когда Ричард летел над дорогой на Ньюмаркет.

— Кстати, ты бывал в Лэйкенхите? Там большая авиабаза.

— И не раз.

— Каждые выходные ездит. — Мириам взяла меня под руку, прижалась щекой к кожаной куртке, словно хотела по ее потертым швам прочитать, куда ветер дует. — Когда начнется война, Джим первый об этом узнает.

— Само собой. Никогда в этом не сомневался. Джим, есть возможность посетить базу — это какой-то англо-американский проект, чтобы мы не чувствовали себя покинутыми, когда начнется Армагеддон. Едем с нами — глядишь, повезет:

сможем увидеть атомный бомбардировщик.

— Подписано, Ричард.

Я догадывался, что опять становлюсь участником эксперимента, и вспоминал термин «внушенная психопатия», который Ричард однажды упомянул на лекции. Он тогда метался вокруг кафедры, как актер, читающий монолог Гамлета. Он забыл о двадцати студентах в первом ряду и обращался только ко мне — я сидел высоко наверху, под объявлением «Не курить!» и демонстративно курил. Впрочем, Ричард уже вышел за пределы пустых рядов и обращался к великой аудитории, которую созерцал в пространстве.

Он одобрительно смотрел, как я завожу тяжелый «триумф». Мириам помахала мне, когда я проезжал между стоящими на земле самолетами.

— Увидимся вечером, Джим. Может, сводишь в киношку? А от той женщины держись подальше!

* * *

Однако свободу мне дала как раз мертвая женщина-врач. Вскрытие продолжалось неделю за неделей: команды студентов срезали поверхностные мышцы трупов и добирались до костей.

Каждое тело для удобства разбиралось на части. Мы с дантистом из Нигерии отделили руку от грудной клетки женщины и хранили конечность в деревянном ящике у дальней стены прозекторской.

Однажды утром я с удивлением увидел ее без головы. Долго искал на столах, а нашел на дне шкафа, среди дюжины других голов. В ухе у каждой были продеты бирки с именами студентов. Кожа лица и лицевые мускулы уже были вскрыты — каждый слой теперь распахивался, как книжные страницы. Я держал голову в руках, заглядывал в глаза, еще оставшиеся в иссеченных глазницах. Кто-то толкнул меня под руку, и книга ее лица раскрылась, обнажив голодные кости и неровные зубы — предупреждение, что мне пора бежать.

Врач, демонстрировавший женскую мочеполовую систему, попросил студентов, работавших за нашим столом, убрать оставшуюся руку и ноги, так что скоро осталась только грудная и брюшная часть. Матка, фаллопиевы трубы и почечные лоханки были представлены как на миниатюрной сцене в рамке кулис из брюшных мускулов. Ненужные кровеносные сосуды и нервные ткани сложили в лоток для отходов. Я скрепил ее лопат-

ку с плечевой костью и пометил биркой со своим именем. Я держал иссеченную руку, из которой уже вытянул на свет нервы и сухожилия. Слои кожи и мышц напоминали карточную колоду, карты которой она готова была сдать мне для игры.

В последний день семестра королева ночи пропала. Столы освободили, ассистенты отмывали стеклянные крышки. После рождественских каникул под верхним светом будут разложены новые трупы, и мы начнем иссечение новых частей тела.

В поисках затерявшегося скальпеля, я зашел в препараторскую, где старший ассистент связывал кости каждого трупа. Позже их должны были кремировать или захоронить индивидуально. Кости с жалкими остатками тканей и хрящей лежали на рабочем столе, как остатки множества воскресных трапез.

Осмотрев столы, я отыскал знакомую руку, крепкой бечевкой привязанную к ребрам и бедренным костям. Все вместе уместилось бы в маленьком чемодане. Я прочитал на ярлыке: доктор Элизабет Грант. Покойница не просто пожертвовала свое тело для изучения: она свела всю себя к связке лоснящихся от жира палочек,

словно добровольно отказывалась от власти, которую приобрела надо мной.

Я бросил халат в корзину для грязного белья, освободил свой шкафчик и пошел искать Мириам. Чтобы переманить ее от Ричарда Сазерленда, мне пришлось бы купить американский автомобиль и научиться летать, став для нее собственным Линдбергом, готовым на пакете сэндвичей и силе воли перелететь Атлантику.

5
Ребята из НАТО

Гул двигателей по утрам разгонял воздушный поток в моем сознании задолго до того, как я выводил «Гарвард» с аэродромного перрона. На летном поле Муз-Джо лежал снег, он выкрасил в цвет свежего белья ветроуказатели и решетки посадочных огней. Небо же было голубым, полетнему ярким и прозрачным, его подсвечивали ледяные кристаллы в верхних слоях атмосферы. Летная погода, о которой мы, курсанты, так мечтали, скучая над затрепанными журналами в кают-компании.

Полеты пришлось прервать на четыре дня из-за саскачеванских туманов, но сегодня все

«Гарварды» в рабочем состоянии выстроились на перроне базы НАТО. Техники обходили ряд самолетов с аккумуляторами на тележках. С башни мигал зеленый огонек, и первые самолеты уже выруливали на взлетную дорожку. Когда очередной двигатель, прокашлявшись, оживал, на общий гул накладывались новые слои — рев выхлопной струи и воздухозаборов. Окна офицерской столовой и курсантских казарм дрожали от шума винтов.

Техники подвели свою тележку под мое правое крыло. Одетые как полярники — в ветровках, защитных очках, в наушниках, — они подключили провод к стартеру мотора. Я завершил предвзлетную проверку, махнул им из-под колпака и нажал стертую латунную кнопку зажигания.

Тяжелый мотор фыркнул и вздрогнул, цилиндры прочищали сопла, на лобовое стекло с винта соскользнул слой рыхлого льда. Лопасти неуверенно провернулись. Я открыл дроссель, увеличив подачу топлива на карбюраторы, и почувствовал, как ремни тянут меня за плечи. Цилиндры заработали дружно, струя воздуха сбросила слой льда с колпака кабины, ударилась в желтые крылья и хвостовое оперение. Колонка управления у моих коленей задрожала. Орган-

ный гул наполнил кабину и накрыл ледяную пустыню Саскачевана, выгнав из головы все лишнее. Ожидая, пока отсоединят аккумулятор, я думал о задержавшемся письме от Мириам, о пьяной ссоре в баре отеля «Ирокез» в Муз-Джо, о наряде вне очереди на уборку ангара и о пятидесяти долларах, которые должен был Дэвиду Хантеру за то, что сорвал вторую передачу его «олдсмобиля». Но едва мотор ожил и я толкнул педаль тормоза «Гарварда», все это забылось.

Слева от меня выруливал с перрона капитан турецкой армии Хамид. Он морщился от запаха собственного дыхания в открытой маске, вспоминая не поддающуюся описанию яичницу с ветчиной на завтрак в столовой. Свой «Гарвард» он направлял тяжелой рукой, заставляя вилять вправо-влево, как глупую лошадь на плацу. А мне не мешали ни завтраки, ни зимние поля, в которых ничего не случалось. Сзади меня поторапливал пылкий француз — махал из-за стекла летной перчаткой. «Гарварды» взлетали один за другим и уходили вправо от аэродрома: самостоятельные курсанты, ученики с инструкторами на заднем сиденье — молодые летчики НАТО готовились к еще более холодным полетам в тесных верхних эшелонах над равниной Северной Гер-

мании. Я, пройдя курс знакомства с реактивными самолетами, перевелся в бомбардировочную авиацию. Я видел себя не за рычагами управления устаревшего учебного самолета времен Второй мировой, а в стрелокрылом ядерном «Вулкане», несущем над болотистыми лесами Белоруссии кусочки солнца в бомбовом отсеке.

— Экипаж два девять девять один… — Канадский диспетчер прижался к стеклу башни, рассматривая меня в полевой бинокль. За мной, нацелив двигатели мне в затылок, ждали своей очереди другие «Гарварды».

— Башня Муз-Джо, это номер… — Меня прервал скрипучий треск. Как бы четко я ни выговаривал слова, как бы ни старался отделаться от английского выговора, сменив его на канадский акцент, диспетчеры канадской авиабазы нарочно искажали звук, сливая через интеркомы злость на учебную программу НАТО. Французские, норвежские и турецкие пилоты, несмотря на часы, отведенные на изучение английского, практически не понимали своих инструкторов. Третья мировая успеет начаться и закончиться, пока мы будем разбираться между собой в вавилонском смешении канадского неба.

Остановившись в начале полосы, я дождался

окончательного сигнала диспетчерской и открыл дроссель на максимум. Освободившийся от тормозов «Гарвард» близоруким носорогом ринулся вперед, не пропустив ни единой трещины в разбитом асфальте. На полной мощности двигатель норовил сорваться с креплений — я все ждал, что старенький самолет развалится, не добежав до конца полосы. Но этот «Гарвард» обучил не одно поколение американских летчиков. Я подал рычаг вперед, поднимая хвост. На семидесяти узлах отвел его назад, и машина спокойно поднялась в воздух, опираясь широкими крыльями на восходящие потоки от нагретой взлетной полосы. Я поднялся на три тысячи метров, выровнялся и перевел мотор в крейсерский режим. Зимние поля южного Саскачевана, замерзшие озера и пустые дороги протянулись до горизонта. От Саскатуна необжитые пространства канадского севера простирались до края земли, освещенные только северным сиянием да полосами конденсата, оставленными в верхних слоях атмосферы военными самолетами. Здесь мощные радары НОРАД и оборонительная система русских рычали друг на друга, как заблудившиеся во льдах львы.

Немного распустив ремни, я вслушался в ровный шум мотора и осмотрел лежащую внизу

белую землю. Официально мне полагалось отрабатывать развороты на вертикалях и штопоры, а потом проложить курс до Свифт-Каррент и вернуться в Муз-Джо, но я, как большинство начинающих пилотов, и не думал следовать инструкции. После вечера в «Ирокезе» я два дня мучился от похмелья и от воспалившегося укуса на плече. Резкий сброс тысячи футов высоты не пошел бы на пользу здоровью. Я поднимался в воздух, чтобы успокоиться, подумать о Мириам, отдохнуть и помечтать.

* * *

Авиация, о которой я грезил еще с Шанхая, привела меня в этот далекий поселок на западе Канады. Отучившись два года, я ушел из Кембриджа, вполне излечившись от желания стать врачом. Резерфорд Резерфордом, но университет был отрезан от нового мира американских бомбардировщиков, взлетавших с окрестных аэродромов и готовившихся к решающей глобальной войне. Берлинский «воздушный мост», война в Корее, новое вооружение Европы принадлежали миру, рождение которого я видел на рисовых полях в бассейне Янцзы. Доктор Элизабет Грант освободила меня от грез о мертвых, но

всепланетная прозекторская скоро должна была пополниться целой армией убитых.

Я сидел с Мириам в кембриджских кинозалах и волей-неволей должен был смотреть хроники испытаний водородной бомбы. Гигантский взрыв на атолле Эниветок взволновал и очаровал меня. Мне пришлось сдерживать дрожь рук, чтобы не напугать Мириам. Мистические грибовидные облака, поднимавшиеся над тихоокеанскими атоллами, с которых «B-29» принесли в Нагасаки второй день Апокалипсиса, стали богатейшей пищей для психопатических фантазий, в которых не существовало запретов. Грезы об атомной войне навеки срослись для меня с шанхайскими воспоминаниями, в которых я ступал по белой пыли, засыпавшей авеню Эдуарда Седьмого, — ребенок в предчувствии будущего.

Работая копирайтером в лондонском рекламном агентстве, я постоянно думал о пионерах авиации — Лилиентале и братьях Райт, о Линдберге и даже о маленьком Минье, окончившем жизнь в нищете и ночевавшем в заброшенном ангаре под крылом своей любимой «Небесной блохи». Романтика и высота полета связывалась в моем сознании с оружием уничтожения и его возрастающими возможностями.

На встрече шанхайских друзей в отеле «Риджент-Палас» я впервые с 1946 года увиделся с Дэвидом Хантером. За семь лет он почти не изменился, глаза под светлой челкой все так же шарили по дверям и окнам, словно Дэвид только что сбежал из исправительного заведения. Поработав несколько лет у отца в Сити агентом по экспорту-импорту, он потом побывал инструктором по теннису, актером и даже послушником у иезуитов. Мы стали встречаться за обедами — нас влекло друг к другу общее чувство нерешенных в прошлом задач. Дэвид почти все время был пьян и в то же время педантично трезв. Он не мог разобраться в собственной жизни, но точно знал, куда следует направить мою.

Когда его лицо краснело от выпитого джина, я видел проступающие синяки.

— Психиатрия не для тебя, Джим, — откровенно говорил он, взмахом руки отвергая целую карьеру. — Ты бы потратил всю жизнь на психоанализ самого себя.

— Почему? Вряд ли там есть что анализировать.

— Не морочь мне голову, милый мой. Твои пациенты не выходили бы из приемной. — Дэвид устремил на меня тот же раздраженно-понима-

ющий взгляд, которым иногда встречал меня Ричард Сазерленд, — словно надеялся на внезапное проникновение в глубины моей личности. — Вот скажи, ты до сих пор думаешь о Шанхае?

— Меньше, чем раньше. Его можно забыть — Шанхай-то нас забыл.

— Неуютная мысль. Странный город, но он нас держит. Все эти несчастные китайцы… Каково было в Кембридже?

— Я не успел разобраться. Замечательная лавка академических сувениров для американских студентов — за несколько долларов можно прикупить маленького чудака-профессора. Больше всего Кембридж подходит туристам и компаньонкам.

— Я прошел курс в летной школе. Зачем-то мне вздумалось опрыскивать посевы в Британской Гвиане. Любопытно, какие глупости приходят в голову. — Дэвид покачал головой, осуждая сам себя. — Когда мы с девушкой катались по Кему на плоскодонке, нам показалось, что в Кембридже недурно живется.

— У американцев там ядерные базы. На полосе самые современные самолеты с грузом водородных бомб, по проселкам разъезжают на «крайслерах» сержанты-квартирмейстеры: ищут

фермы, где можно закупить индюшатину.

— Ядерные базы… ты, полагаю, много крутился вокруг них?

— Было дело. Это лучше, чем круглосуточно петь мадригалы или изображать из себя Руперта Брука.

— Как сказать. Видел бы ты Йель — впрочем, боюсь, мадригалы можно услышать и там. — Дэвид приподнял ладони и уставился на них, как на новое оружие. — Знаешь, нам бы надо завербоваться в американскую авиацию. Тебе пойдет американская летная форма, Джим, и разъезжать по Кембриджу в «крайслере» — тоже по тебе. Тебе же, в сущности, этого всегда и хотелось. Завалил бы всех девиц, которых еще не завалили мальчики в летной форме. Подумай, Джим!

— Я думаю, Дэвид. На самом деле, это чуть ли не первая свежая мысль за много лет.

— И не только девиц. — Дэвид придержал вилкой кусок мяса и обвел зал таким взглядом, словно хотел разогнуть все ножи и вилки в ресторане. Его возбужденную и уверенную улыбку я помнил по Шанхаю, когда Дэвид зазывал пугливую русскую барменшу в «Империал», где снимал квартирку у русского дантиста. Ему всегда удавалось спровоцировать молодую проститутку на

применение силы. Секс на вкус Дэвида должен был по возможности походить на тот ужасный вечер в кордегардии с сержантом Нагатой и мистером Хиаши.

Карьера военного летчика была еще более прямой дорогой к желанному для него царству насилия. Наш с ним жизненный путь все еще определяли годы войны в Шанхае. Дэвид по-своему, осторожно и вдумчиво, мечтал о насилии, а я искал способ воссоздать то жемчужное сияние, которое видел над рисовыми полями у полустанка в Лунхуа. Американские базы под Кембриджем казались мне многообещающими в этом отношении.

На следующей неделе мы снова встретились и поговорили о том, что может дать карьера летчика. Я скучал над работой копирайтера, а на выходные в Кембридж ездил теперь реже, потому что Мириам принялась за диссертацию по истории искусств. Оставаясь мятежной шестиклассницей, она стала звездой первой величины среди студентов: шокировала парней-первокурсников мощным мотоциклом, играла в порнографической пьесе Аполлинера, запрещенной проктором, и тайком проводила мужчин в свою комнату в Гиртоне. Меня она встречала

с радостью и всякий раз так хваталась за мои плечи, словно готова была сегодня же выйти замуж. Мириам ждала, пока я разберусь с войной и определюсь со своими желаниями.

Полеты на американских бомбардировщиках, готовившихся к ядерной атаке на Советский Союз, представлялись воплощением мечты, решающим вызовом, который позволит взглянуть в лицо самому себе. Однако посольство США неразумно отказалось дать нам рекомендацию на курсы пилотов. Дэвид был ошеломлен, когда вежливый, но усталый чиновник сообщил нам об отказе. Тот явно счел нас совершенно сумасшедшими и настойчиво посоветовал обратиться в королевскую авиацию.

— Не будет тебе «крайслера», Джим, а будет исцарапанный на грунтовках «моррис», — потрепал меня по плечу Дэвид. Мы уже подписали краткосрочный контракт и теперь стояли перед вербовочной конторой королевской авиации в Кингзуэй. — Но все же на Третьей мировой нам обеспечено место в первом ряду.

* * *

Нечего и говорить: он верно угадал истинную причину моего вступления в авиацию. Три меся-

ца первичного обучения в Линкольншире, изучая основы метеорологии, отскребая непристойные надписи со стен ангаров и паля из пулемета на стрельбище, я не терял надежды свести воедино разрозненные элементы своей жизни. Я самым практическим образом готовился к Третьей мировой, уже начавшейся в Нагасаки и Хиросиме и получившей первые взносы в виде берлинского кризиса и корейской войны. Армагеддон моих грез должен был воплотиться где-нибудь в небе над Центральной Европой.

Сложилось так, что нас, едва оперившихся пилотов, послали не на передовую в Западную Германию, а чуть ли не в самый глухой уголок мира, на базу канадской авиации в Саскачеване, в Муз-Джо. Согласно договору НАТО, летчики европейских членов союза могли тренироваться в Канаде. Мы пересекли Атлантику на «Эмпресс оф Британ» — довоенном лайнере канадского тихоокеанского флота с барочными залами кают-компаний. Мириам на мотоцикле приехала в Ливерпуль меня провожать и с восторгом любовалась золоченой мебелью и услужливыми стюардами — казалось, предстоящая война будет такой роскошной, что даже рядовые приедут на фронт в «роллс-ройсах». Обнимая меня на

прощание, она явно не надеялась еще увидеться. Ливерпуль давно скрылся за горизонтом, а я все стоял у борта и махал ей.

Пережив Атлантику — субарктический регион встающей дыбом воды, разломанных льдов и прожорливых морских птиц, мы высадились в Монреале и приступили к приятному периоду аккомодации на воздушной базе Торонто. Нас месяц готовили к социальной и психологической ломке образа жизни, к переходу на вафли и индейку. Мы с Дэвидом с радостью приняли новшества. Даже бесконечные часы пропаганды и фильмы о венерических заболеваниях, внушавшие, что вся женская половина рода человеческого несет заразу, не испортили нам удовольствия от переезда в Северную Америку.

Наконец, после четырех суток на поезде, мы прибыли в Муз-Джо. Выйдя с чемоданами на платформу, наша пестрая компания подозрительных турок, стоиков-норвежцев, нетерпеливых французов и похмельных бриттов уставилась на затерянный в прерии поселок.

— Видела бы это Мириам… — Я окидывал взором бескрайние равнины Саскачевана. — Где они кончаются? Мы на какой планете?

— Если на земле когда-нибудь высадятся гости с

чужих планет, они выберут для себя эти места, — угрюмо заметил Дэвид. — Муз-Джо в Саскачеване будет напоминать им родину.

Однако Муз-Джо оказался неожиданно интересным местом. За 49-й параллелью лежали великие города американского Среднего Запада. Эйзенхауэровское перевооружение Соединенных Штатов принесло стране процветание и оптимизм, неведомые Европе. По автострадам двигался флот роскошных автомобилей, словно раса инопланетян уже прибыла сюда провести отпуск. На второй день Дэвид купил подержанный «олдсмобиль», и мы стали разъезжать на нем во все стороны. Канадцы, обитающие в краю снегов и вечной мерзлоты, были, как все пустынники, гостеприимны и терпимы к чужакам. Виннипег, Реджайна и Саскатун представлялись нам городами северной пустыни, ледяными Самаркандами. Каждая улица выходила на белый пустой горизонт. Мое сознание металось, силясь заполнить пустоту.

* * *

На «Гарвард» легла тень, крылья потемнели. Ударивший по колпаку рев двигателя заставил меня очнуться. Пилот французского учебного

самолета пронесся мимо в неглубоком пике — так близко, что струя от его пропеллера чуть не сбила мой «Гарвард» в переворот на высокой скорости. Подтянув ремни, я выбросил сигару и приготовился к погоне, но тут у моего правого крыла вынырнул второй француз и пошел по крутой полуспирали, которая должна была вывести его мне в хвост. Пока я плыл над заснеженной пустыней Оленьего озера, слушая музыкальную передачу местной радиостанции из Медисин-Хэт, ко мне сзади подкрались два самолета.

Следующие пять минут наши дряхлые учебные самолетики метались по небу в подобии собачьей драки. Рассыпались мы, только завидев приближающийся с юга «Гарвард» с двойным управлением — в нем сидел канадец-инструктор. Оленье озеро лежало вне зоны полетов, а несанкционированное снижение каралось военным трибуналом. Мощное лобби саскачеванских фермеров, разводивших соболей, было нашим заядлым врагом, их фермы помечались на наших картах, как германские заводы во Вторую мировую. Нам нравилось пролетать над ними так низко, чтобы разъяренные фермеры не успевали сфотографировать номер машины, и с таким шумом, чтобы обезумевшие животные вырывались

из клеток и скрывались в снегах.

Эти противозаконные забавы поддерживали нас в тонусе. Французы легли на юго-восточный курс, уходя к Медисин-Хэт, а канадский инструктор погнался за мной. Наверняка он орал на меня по рации, но баки мои были на пятьдесят галлонов легче, и я скоро оторвался. Отстав, канадец повернул к Муз-Джо.

Я высматривал на белой равнине железнодорожную линию или шоссе, по которым мог бы ориентироваться на местности. Здесь, в семи десятках миль севернее Муз-Джо, земля была гладкой: множество озер скрывались под снегом. Снег начал подтаивать под острыми как иголки солнечным лучами, и темные проталины походили на чашки с черным шербетом. Милей правее над белизной поднималась башня элеватора, словно серебристая скульптура у железнодорожной насыпи. Я свернул к ней, посматривая одним глазком на указатель топлива и следуя за тенью «Гарварда» на поверхности забавного озера, имеющего форму черепахи. На одной из черепашьих лап я заметил полузатонувший предмет, похожий на плоскую желтую крышу.

Или на учебный «Гарвард», перевернувшийся на пятнадцатифутовой глубине? Топлива на

второй облет не хватило, и я пошел вдоль железнодорожной ветки к Свифт-Каррент, откуда взял курс на Муз-Джо. Но, прокладывая на коленке фальшивый маршрут, я вспоминал пропавшего через два месяца после прибытия турецкого пилота, капитана Артвина.

Из всех курсантов НАТО хуже всего приходилось туркам. Они возрастом и чином превосходили канадских инструкторов, а из английского знали несколько слов на всех. Сложив жалованье в общий котел, они купили у поселкового торговца подержанными машинами старенький «форд», но тут же обнаружили, что ездить в Муз-Джо некуда. Одетые в зеленую форму американского образца, с золотыми погонами на плечах, турки молча сидели в столовой и слушали, как поземка хлещет в окна. Когда снег переставал, они всматривались в мутное небо с тройным солнцем, словно видели в этой оптической иллюзии, вызванной ледяным туманом, сигнал к отчаянным действиям.

Капитан Артвин пропал во время учебного полета — возможно, не справился со снегами и миражами. Канадские инструктора облетали снежный ландшафт на сто миль вокруг базы. Другие турки помогали в поисках, но ни один

из них не выказывал ни малейшего удивления. Артвин, как ни странно, пропал вместе со всем имуществом: сменной формой, новенькой электробритвой и американским радиоприемником. Все решили, что он перебежал к русским, я же был уверен, что Артвин, сытый по горло базой Муз-Джо, просто полетел домой.

Его «Гарвард» так и не нашли. Может быть, пилот сумел дотянуть до отдаленного аэродрома в Альберте или на Северо-Западных территориях, подзаправился при помощи сочувствующих Советам механиков и сумел выбраться через Аляску к Берингову проливу. Но это было маловероятно, и мне нравилось думать, что капитан Артвин летел на восток, не глядя на показатель горючего, пока не канул в собственную мечту.

— Артвин? Вот бедолага, — отозвался на мое сообщение Дэвид. Мне желтая крыша полузатонувшей хижины явственно напомнила «Гарвард». — Докладывать будешь?

— А то как же! Прошу прощения, командир, меня нечаянно занесло на Оленье озеро — вы же знаете, эти чертовы озера с виду все одинаковы.

— А туркам скажешь?

Мы сняли летные комбинезоны, и Дэвид протянул мне бутылку бурбона, которую держал в

парашютном шкафчике. Я наблюдал за капитаном Хамидом. Тот складывал сапоги, шлем и комбинезон с той же аккуратностью, с какой Артвин, наверно, паковал свое радио и электробритву. Эти внушительные, чрезвычайно сдержанные люди напоминали мне японцев, вечно балансировавших на грани нервного срыва. Датчане и норвежцы держались замкнуто, британцы глушили себя выпивкой на земле и в воздухе. Французы вечно бунтовали, отказывались повиноваться старшим по званию, пока из Оттавы не прилетал военный атташе и не добивался для них каких-то уступок. Американское меню: вафли, котлеты из индюшатины и молоко кувшинами — было для них сплошным оскорблением. Но срыва я ждал именно от этих трезвых турок.

Сидя на лекциях по метеорологии, просматривая фильмы, демонстрировавшие, как промывать мужские гениталии после соития, я все ждал, что турки расхватают оружие из оружейной и перебьют подчистую весь англоязычный мир.

— Сказать туркам? — задумался я. — Страшновато. Не хотелось бы, проснувшись, обнаружить во рту собственные тестикулы.

— Я, милый мой, рад, что тестикулы еще при

тебе. Сегодня пятница, и мы идем в «Ирокез». — Дэвид, почти не прячась от проходившего мимо инструктора, хлебнул из бутылки. — Жаль Артвина. Не добрался, значит, в матушку-Россию.

— По-моему, он и не пытался. Он не в Советы бежал.

— А куда же?

— Он летел домой. Наверняка.

— Ну, недалеко он улетел.

— Достаточно далеко.

— Джим? — Вместо того, чтобы отдать бутылку мне, Дэвид вставил на место пробку. — Как это понимать? У тебя опять взгляд, как в Лунхуа.

— Никакого Лунхуа.

— Артвин лежит вверх ногами в пятнадцати футах ледяной воды. Это не дом.

— Это просто фигура речи — люди сами создают себе мифы.

— Уж лучше бы ты мадригалы пел. Ну ладно, сегодня идем в «Ирокез». — Дэвид качнулся, удержался за меня и, на миг протрезвев, добавил: — Обещай, что, нажаривая Иветту и Бриджит, будешь думать о Мириам…

* * *

Через четыре часа я лежал на кровати в номере отеля «Ирокез», сжимая в кулаках махровое покрывало. Комната вращалась замедляющимся волчком. За ее пределами по часовой стрелке кружила большая карусель старенького отеля с облупившимися потолками, с шумом из бара внизу, с улицами Муз-Джо, его заправками и магазинами, и дальше — с заснеженными полями и бредущим вдоль железнодорожного кювета стариком бизоном в свалявшихся клочьях шерсти. Я почему-то оказался в центре вращения, который начинал крениться, словно ложась на крыло для разворота. Я пилотировал мир…

— Джим, ты еще с нами? — окликнул меня из-за сияния прикроватного бра Дэвид. — Ох, господи. Не смотрите на него.

Я пытался развернуть наволочку, чтобы стошнило в нее. Мои брюки валялись на полу у кровати. Ничего не соображая, меня вывернуло на них. Слезы текли из глаз и из носа, клочья индюшатины и бурбон с прожилками крови прокисшим рагу лежали в дыхательных путях.

— Иисусе, что за вид! — восклицал где-то сзади Дэвид. — Не мне бы говорить, девочки, но нет

зрелища отвратительнее, чем британский офицер без штанов. Вот такие, как он, чернили нашу репутацию в Сингапуре. Неудивительно, что японцы давали им пощечины.

Я уронил брюки на потертый пурпурный ковер и опустил голову на лоскутный валик, пропитанный помадой для волос бесчисленных коммивояжеров. Комната остановилась, и я увидел на соседней кровати голого Дэвида. Он радостно и чуточку безумно хохотал над двумя девицами, которые, стоя над ним на коленях, ловили губами его пенис. Уверенным баритоном Дэвид запел:

— *Обогащенная смесь при холодном карбюраторе дает наивысшее давление…*

Одна девица была плечистой блондинкой — голой, если не считать спущенных до щиколоток шелковых чулок. У второй, обратившей ко мне шершавые пятки, на талии болтался черный лифчик. Он съехал на ягодицы, когда Дэвид раздвинул их левой рукой, а правой стал ласкать темные волосы и розовые складки ее вульвы.

— Боже, Иветта, да… да… какие зубы, ради бога, прямо буфетная стойка. Я сейчас лопну. Боже, как воняет…

Женщины, игнорируя болтовню, продолжали

трудиться над его вялой эрекцией, обсуждая в то же время местный салон красоты, обслуживавший заведение. Я ощущал укусы на пенисе и боль в анусе от вонзившихся в слизистую нестриженых ногтков. Смутно вспомнился секс с этой блондинкой, Иветтой, пока Дэвид играл в свои игры в ванной: подбивал Бриджит отлупить его по заду подошвой туфельки на каблуке — за то, что он сыплет в унитаз долларовые бумажки.

Пятничная ночь в «Ирокезе» шла привычным порядком. Началось с двух часов форсированной выпивки в баре, забитом натовскими пилотами и железнодорожными рабочими. Рубашки у нас промокли от стекавшего со стойки пива. Потом мы увели Иветту и Бриджит в номера на втором этаже. Я, как обычно, спьяну плохо отличал стены от пола. Плоские поверхности — на одних ковер, на других лампы и выключатели, но все наплывали на меня и норовили ударить в лицо.

Дэвиду почему-то нравилось заниматься сексом в одной комнате со мной: ему нужно было смотреть — и чтобы на него смотрели. Бриджит оседлала меня, прикрывшись узеньким лифчиком, как масонским передником. Одной рукой она заправляла в себя мой пенис, а другой прищемила тестикулы. Иветта наконец добилась,

чтобы я кончил. Она откинулась на спину, приблизив грудь к моим губам, а палец запихнув мне в анус. Дэвид призывал взглянуть, что он вытворяет на соседней кровати. Он устремлял на меня на удивление невинный, доверчивый взгляд. На бедре у него краснел отпечаток туфли, а Иветта сидела на нем, размазывая по подушке оставленную мной в ее вульве сперму. Руки ее задумчиво массировали царапину на тяжелом животе. Как-то Дэвид сделал фотографии, которые в Муз-Джо отказались проявлять. У женщин от вспышки заболели глаза, зато их лица, такие пустые во время секса, наконец ожили, и я увидел двух домохозяек, бросивших работяг-мужей, чтобы вознестись к вершинам роскоши.

— Вам, мальчикам из НАТО, без выпивки никак, — высказалась Иветта и поморщилась вслед Дэвиду, который унес в ванную мои брюки. — Как это его взяли в авиацию?

— Интриги коммунистов, — объяснил Дэвид, отмывая брюки в раковине и сдирая с них кусочки индейки. — Вы же слушали сенатора Маккарти? НАТО — заговор против США. Мы так заняты склоками между собой, что на русских не остается времени.

— Верю. Странно, как у вас хватает сил влезть

в самолет.

— Иветта, дай я скажу. От выпивки-другой эти старые корыта только лучше летают. Джимми собирается в одиночку начать Третью мировую.

— Похоже, он уже отвоевал. — Черноволосая Бриджит в черной комбинации присела ко мне на кровать. Ее маленькие, морщинистые от моющих средств, пахнущие помадой, спермой и ректальной слизью руки пробежались по моему лбу, отыскивая под ним сознание. В ее глазах мелькнула озабоченность, но тотчас погасла, сменившись великим равнодушием ко всем мужчинам на свете. Ее миловидное личико было серьезно, как у задумавшего что-то ребенка. Она помогла мне добраться до ванны и молча смотрела, как я умываюсь, присев на край. Дэвид выполоскал и развесил на батарее мои брюки. Когда я отмылся, Бриджит встала перед зеркалом и принялась отмывать груди, намыливая следы зубов Дэвида.

Я увел Бриджит в свободную спальню и сел рядом с ней на кровать. От грохотавшей за стеной музыки содрогался викторианский туалетный столик. Рассматривая отражение Бриджит в ростовом зеркале, я понял, что она беременна. Приподняв ей подол, я уставился на пухлый изгиб

живота. Взял ее за грудь, удивляясь, что из этого тяжелого шара еще не брызжет молоко, потом нежно коснулся живота.

— Эй, до этого ты еще не дорос, — оттолкнула меня Бриджит. — Иметь меня можно, а остальное не для тебя.

— Ничего. — Мне в голову не приходило, что можно играть в сексуальные игры с нерожденным младенцем. — На котором ты месяце, Бриджит?

— Врач говорит — четвертый, а по-моему, пятый.

— Это хорошо. А отец кто? Он знает?

— Какой отец? — Она уставилась на меня, как на незнающего жизни мальчишку. — Нет у нее отца.

— Может, будет мальчик?

— Девочка, — с полной уверенностью возразила она и, улегшись на постель, задрала колени, открыв вульву. Я встал на колени, поднял ее ягодицы себе на бедра и ввел пенис в вагину. Меня трогала мысль, что я делю это место с нерожденным младенцем. Ради него самого я надеялся, что это не сын.

— Не стесняйся, ей это не повредит.

Кто был отцом: кто-то из датчан или нор-

вежцев, или канадский рабочий, ждущий ее в трейлерном поселке за элеватором?

— Капитан Артвин здесь не бывал?

— Это кто еще такой?

— Артвин. Тот пилот-турок, что пропал.

— Все они пропадают, вот что я тебе скажу. Я бывала с турками. Иветте они нравятся, а мне нет. Тот какой был?

— Я его не видел. Он улетел куда-то.

— Отличная мысль. В следующий раз мог бы позвать меня с собой.

Она держала меня за мошонку и чертила узоры на тестикулах.

— Ну, малыш, давай еще… вот так, толкай мамочку…

Я лежал рядом с ней, не сводя глаз с изгиба ее живота.

Скоро те же слова ей скажет акушерка. Поняв, что это не похоть, Бриджит позволила мне поднять ей юбку и положить ладонь на кожу. Ребенок был на удивление большой. По коже, словно узнавая мою руку, пробегала дрожь.

— Ты из Англии? — спросила Бриджит. — Всегда мечтала там побывать. Может, увидела бы короля с королевой.

— Король умер. Но я их видел — они приезжали

к нам в колледж.

— На уровне?

— Конечно. Подкатил большой лимузин, и из него вышли четыре маленьких человечка: король с королевой и принцессы. Смотрели так, будто только что прилетели с другой планеты.

— Это что-то! Ты в самом деле с ними знаком?

— Почти… — Я из студенческого озорства снял с себя академическую мантию и бросил ее в лужу у колес подъезжавшего «даймлера». Описывая тот случай, понял, что впервые сумел произвести на Бриджит впечатление. Входя в ее тело, я работал на нее, на ее нерожденного ребенка, а теперь стал чем-то большим, чем двадцать канадских долларов.

Дэвид и Иветта в соседней комнате уснули. Я порадовался, что Дэвид утих и сумел обнять Иветту без поддержки сложных игр. Дэвида успокаивали самолеты и эти деловитые женщины с прямолинейным взглядом на жизнь.

Бриджит повернулась на бок и положила мою ладонь себе на живот.

— Тебе не противно?

— Я был студентом-медиком.

— Тогда ты в этом разбираешься. Иветта говорит, в последние месяцы будет тяжело. Могут

привязываться неподходящие парни.

Я гладил ей спину — как, в моем представлении, должны были делать молодые мужья, лаская беременных жен. Почувствовал, как шевельнулся ребенок, словно разбуженный музыкой из-за стены. Маловероятно, чтобы капитан Артвин оказался отцом этого ребенка, но в моем сознании их что-то связывало. Если предположить, что Артвин погиб и мне одному известна его могила, я как товарищ по эскадрилье чувствовал свою ответственность за этого младенца. Я старался не забывать Мириам, но ее письма приходили все реже.

— Скажи, Бриджит, ты бы хотела уехать в Англию?

— Конечно. Познакомилась бы с королевой… ты бы меня представил.

— Я серьезно. Денег у меня хватит.

— И что?

— Поедем вместе? Ты можешь там остаться со мной.

— Вместе? — Она отвернулась от меня, легла на спину и, сняв мою руку с живота, одернула комбинацию.

— Почему бы и нет? — Я ждал ответа. — Думаешь, я слишком молод?

— Самую малость. Вы, мальчики из НАТО… вы будете летать со своими атомными бомбами, охраняя мир. Давай поспим, пока есть время…

* * *

Меня обидела ее холодность, хотя пьяная мысль в неровном свете утреннего похмелья выглядела очень наивной. Через неделю, пролетая над Оленьим озером, я попытался вспомнить, где видел затонувший «Гарвард». Где-то на северо-западе лежало озеро, похожее на черепаху, но теперь оно потерялось в однообразном ландшафте. Лед, согретый февральским солнцем, начал таять, и озера меняли форму — снег отступал к настоящим берегам. Забыв про задание по навигации, я летал взад-вперед над белой землей, мимо одинокой водокачки и элеваторной башни.

Через час я нашел «Гарвард», но к тому времени горючее было на исходе. Озеро-черепаха превратилось в вытянутый эллипс в группе мелких озер, разделенных желтоватыми протоками. Фюзеляж скрывали водоросли, но я рассмотрел на крыльях полустертые номера. Сделав круг на высоте пятьсот футов, я отметил озеро на карте. Когда озеро весной прогреется — ранней весной, за месяц до перевода в реактивную школу Виннипега, — я

арендую непотопляемую надувную лодку и покажу туркам, где лежит их товарищ. Я надеялся, что они оставят его в озере, в коконе укрывших его от мира водорослей, продолжать одинокий полет.

За двадцать миль до Муз-Джо баки опустели. Мне повезло — подвернулась пустая дорога между двумя полями. В последний момент перед приземлением я заметил под снегом столбики изгороди. «Гарвард» коснулся земли, взбив над тихой землей грязную снежную бурю. Машина лишилась кончика правого крыла, развернулась на сто восемьдесят градусов и замерла в придорожной канаве.

Через пятнадцать минут подъехал на грязном «кадиллаке» канадец с соболиной фермы. Я, оглушенный, сидел в кабине. Фермер хладнокровно разглядывал вытекающую из-под моего шлема кровь и жесткими губами втягивал сигаретный дым. Потом он поднял окна и уехал. Позже я узнал, что он так и не сообщил на аэродром — может быть, надеялся, что я замерзну насмерть за разбитым колпаком кабины.

* * *

Старшие инструктора, разбирая мое дело, не скрывали замешательства. Меня видели над

Оленьим озером, но не могли понять, как я сумел извести столь солидные запасы горючего. Было решено, что я должен буду оставить тренировки и вернуться в Англию, но они все пересматривали мой летный план, подозревая, что я шел каким-то секретным курсом.

Может быть, они вообразили, что я планировал перелет к русским и повторял путь, избранный для бегства капитаном Артвином? В каком-то смысле они были правы, и Дэвид об этом прекрасно знал. Он не вступился за меня, потому что понимал: мне пора уходить из авиации. Какие бы мифы я ни создавал для себя, их придется сооружать из будничных мелочей, из мелких привязанностей и доброты, а не из атомных бомбардировщиков и грез о гибели мира. Сообщив о пропавшем «Гарварде», я мог добиться перемены решения, если бы не был уже сыт авиацией. Я хотел забыть Шанхай, авеню Эдуарда Седьмого и вспышку бомбы в Нагасаки — и знал для этого простой способ.

Я не полечу на Москву во время Третьей мировой. Нерожденный ребенок в отеле «Ирокез» дал мне новую цель. Мириам писала, что нашла работу в газете на Флит-стрит, и я хотел снова быть с ней, восхищаться ее американским бе-

льем. Жаль было расставаться с Дэвидом, без конца разъезжавшим на подержанном «олдсмобиле» по саскачеванским дорогам, но и Дэвид уже поговаривал об уходе из военной авиации в коммерческую. А пока ему лучше было остаться в Муз-Джо и по возможности подбадривать турок. Ребятам из НАТО предстояло бунтовать и шуметь в баре «Ирокез», фильмам о профилактике венерических заболеваний — крутиться в метеорологическом зале, а капитану Артвину — продолжать долгий полет к дому.

6
Волшебный мир

— Пойдем в Волшебный мир? — спросил я детей.

— В Волшебный мир! Да! — Четырехлетний Генри был уже у ворот, брякал железной щеколдой и орал задремавшему соседскому ретриверу: — Полли! Мы в Волшебный мир!

Трехлетняя Элис скакала по дорожке, щеголяя блестящими туфельками.

— Волшебный мир! Волшебный мир!..

Мириам, пока я искал в завалах игрушек и непросмотренных счетов на тумбочке темные

очки, прислонилась к двери. Она махала детям и улыбалась так, будто не надеялась снова их увидеть и хотела навеки запомнить эту минуту. Когда мы вернемся с прогулки, в Элис и Генри обнаружится множество маленьких волшебных изменений. Прежних себя они оставят где-то в лесу. Родители ностальгируют по каждой секунде их потерянных жизней.

— Присматривай за ними.

— Они сами за мной присмотрят. Мы уходим на час — ты же в курсе, что за это время ничего не случится?

— Не знаю…

На последнем месяце беременности время для Мириам как будто замедлилось, растягивая мельчайшие ее жесты — поднятую к отяжелевшей груди руку, рассеянный мазок помадой по губам… Она существовала в не ведающем времени мире ребенка, которого носила в себе: жизнь матери и младенца должна была начаться одновременно. Мириам прижалась ко мне, зная, как мне нравится ощущать теплую выпуклость под халатом, и легонько похлопала меня по пенису.

— Проверь, все ли взял для прогулки.

— Тс-с… услышит повитуха Белл. Она и так от меня не в восторге.

— Она тебя обожает, ведь это ты обеспечил ей работу.

Я обнял Мириам, вдохнул знакомый запах детской присыпки, базилика, лака и стирального порошка от ее халатика. На подоле виднелось коричневое пятно, оставленное кем-то из детей: одно из бесчисленных пятен и запахов нашего маленького дома — царства мягких подмышек и разбухших сосков, в котором я прожил целую жизнь.

— Ты пока отдохни. Не устраивай переворот в спальне.

— Принесите и мне немножко волшебства.

* * *

Помахав ей напоследок, я запер ворота и вместе с Генри и Элис зашагал по солнечной улице. Ретривер Полли решил нас проводить. Он трусил рядом с Элис, сворачивая временами, чтобы обнюхать и оросить фонарный столб. На Чарлтон-стрит стояли скромные домики в тихих пригородных скверах, но я видел их глазами собаки и детей. Их взгляды придавали особую свежесть розам и декоративным горкам, свежей краске на дверях и забытым роликовым конькам, словно вещи, осознавая, что Полли и дети скоро

их забудут, старались поярче выделиться. Наш домик был таким же скромным, как все — жалованья помощника редактора научного журнала едва хватало на скромную закладную, — но Мириам, Генри и Элис превратили его в вечную ярмарку, веселую и шумную.

За другими дверями нашей улицы жили другие Мириам. Молодые жены с детьми гуляли по улицам Шеппертона и играли в его садах, как агенты иноземной власти.

Я все удивлялся, как много здесь детей — городок на Темзе был настоящим генератором жизни. Проходя по Чарлтон, мы собрали компанию из светловолосого малыша на трехколесном велосипеде, двух десятилетних девочек и крошечной дочери местного строителя. На заливных лугах было полно детишек — они играли в траве и ловили мальков на заросших камышом берегах ручья. Я легко поверил бы, что яркие летние платья, маленькие рыбацкие сетки и детские голоса — это мираж, поднявшийся над дремлющим под ивами ручейком.

Элис с Генри бросились к берегу. На садовой скамейке сидели, приглядывая за малышами, две матери. Я скинул теннисные туфли и босиком пошел по прохладной траве. За ивами начинался

залитый тихим озерком карьер. Гигантский экскаватор вздымался над ним как пусковые башни над мысом Канаверал.

Шеппертон был окружен водой — река, пруд в карьере и лондонское водохранилище очертили горизонты нашей жизни. Я однажды сказал Мириам, что мы живем в подводном мире, захватившем наши умы, а наши соседи по Шеппертону — новый вид морских млекопитающих из следующих «Детей вод».

— А ты — трубочист Том, — отозвалась она, словно впервые узнав меня. — Бедный Том…

— А ты кто? Миссис Воздаяние?

— Не думаю. Скорее миссис Поощрение…

Но все мы были детьми вод. Элис визжала, потому что Генри швырялся в нее зеленой тиной, которую прутиком вылавливал из ручья. Я показал малышам мертвого водяного жучка, но их больше интересовал баллончик аэрозоля, плававший в камышах. В нем осталось еще немного газа, и Генри прыснул краской на подлетевшую слишком близко стрекозу.

Спасаясь от раскрашенного воздуха, мы прошли между ивами к месту, где ручей пересекался с дорогой. Вода бежала по обкатанной гальке, но машины, вздумавшие сократить дорогу к Шеп-

пертону, нередко застревали на этом броде. Измученные водители, оглянувшись, обнаруживали множество зрителей, матерей с любопытными детишками. На этом месте снимался эпизод с бродом из «Женевьевы». Глядя, как буксует на экране старинный автомобиль, мы с Мириам словно видели себя с Генри и Элис — за кадром, у блестящих перил пешеходного мостика.

Ретривер вывел нас к верхнему притоку ручья. По дороге мы собрали еще детей. Над кронами деревьев поднимались прямоугольные павильоны Шеппертонской киностудии. Они символизировали дух городка не меньше, чем многочисленные водоемы. Многие из телепрограмм снимались на улицах Шеппертона, и его зеленые дорожки знали по всей Англии. В четырехлетнем сознании Генри Шеппертон уже колонизировал всю страну.

Смешение образов и иллюзий делало Шеппертон особенным местом, где подлинная реальность отдыхала на слиянии с вымыслом. Рядом с нами жили супруги, чья дочка снималась в небольших ролях. Дважды в неделю дети видели ее в любимом телесериале и порой отворачивались от экрана, чтобы посмотреть, как она идет по нашей улице к дому, возвращаясь после визита

к родственникам. Генри с Элис бросались здороваться с девочкой, принимая как должное, что ее истинная суть лежит где-то между мимолетным уличным образом и куда более стойким образом на экране. Многие наши соседи подрабатывали на студии статистами, и порой мне казалось, что мы с Мириам играем роли в каком-то безалаберно-счастливом реалити-шоу, сценарий которого подстраивается под нашу жизнь.

Дети, присев на берегу карьерного озера, рассматривали затонувший автомобиль на песчаном дне. Озеро арендовал местный рыболовный клуб, и в открытые окна проплывали радужные форели. Эта подводная машина очень интриговала Генри и Элис.

— Генри, куда она едет? — спросила Элис.

— Далеко, — ответил тот. — В Китай едет.

Мириам объяснила детям, что если вырыть в нашем саду достаточно глубокую яму, попадешь через нее в Китай. Карьер был самой глубокой ямой, какую доводилось видеть Генри, и он не раз доказывал мне, что через него можно донырнуть до Шанхая. Когда я нырял в озере, он следил за мной так, словно я вот-вот мог уплыть в мир своего детства.

— Папа, ты поплывешь в Китай?

— Нет, это слишком далеко, до чая не успеть. Сходим лучше в Волшебный мир.

Я дождался, пока Полли вновь соберет детей вокруг себя, и повел их к стене хвойного леса. Среди сосновых шишек валялись матрацы и ржавые велосипеды. Тенистая тропинка вывела нас на прогалину позади киностудии. Солнце играло на выросшей по колено траве, и дети кинулись вперед, мотая головками как фонариками.

В траве стояли отслужившие декорации к рекламным роликам. На солнце лежала конфета величиной с автомобиль, картонажная обертка отслоилась от деревянного каркаса. Рядом стояла пачка стирального порошка с меня ростом, ее фанерные стенки погнулись от сырости. Бутылка кетчупа из оргстекла была выкрашена красной эмалью. От пакетиков шампуня и тюбиков зубной пасты отставала обивка, но Элис с Генри это не смущало. Они с визгом носились по траве, зачарованные исполинскими предметами знакомой домашней обстановки.

Высшую ступень на пьедестале их любви занимал десятифутовый рулон розовой туалетной бумаги. В прошлый раз Генри оторвал полоску подгнившего холста, и дети через открывшуюся дверцу пробрались внутрь. Я слышал, как они

взвизгивают от восторга при виде туалетного ролика, в котором поместилась вся компания. Дети махали руками, звали Полли, который отчаянно вынюхивал вход в темное нутро рулона.

— Устроим праздник! — выкрикнул кто-то.

— Бал, бал!.. — Элис заскакала внутри, не сводя глаз со своих блестящих туфелек — как бы не исчезли с ног.

Я лежал в траве и с удовольствием думал, что скоро на этой зачарованной поляне появится еще один малыш. Хорошо, что наш третий ребенок родится здесь — не только из лона Мириам, но возле ручья, заливных лугов. Первые роды проходили в соседней больнице и закончились раньше, чем я вернулся домой ожидать звонка на следующий день. Наш великан-сын, серьезный как олдермен, когда я добрался до палаты, уже спал на руках у Мириам. Но детей там надолго разлучали с матерями, и младенцы хором вопили в кроватках за тяжелой дверью, поэтому Мириам поклялась, что следующего ребенка родит дома, в собственной постели.

На том мы и порешили, и спали вместе с подрастающей Элис, и занимались любовью за час до первой схватки. Мириам лежала на своей подушке, вцепившись в изголовье с вечно пере-

горающей лампочкой для чтения, в окружении шкафов с привычной одеждой, под фотографией матери, среди подаренных друзьями цветов и поздравительных открыток. В этом теплом и абсолютно негигиеничном логове она быстренько родила Элис — я даже не успел поплакать за надежным плечом повитухи Белл. В ту ночь мы спали вместе, Элис лежала в колыбельке рядом. А ретривер Полли обнюхивал мусорный бачок, куда выбросили завернутую в газету плаценту. На следующий день Мириам уже принимала друзей и провожала меня на работу.

Я не просто радовался, что ребенок родится в Шеппертоне — я готов был поверить, что и сам здесь родился. Прошлое уплывало, унося с собой воспоминания о Кембридже и Канаде, об анатомическом театре и снежных пустынях Саскачевана, даже о Шанхае. Теплый свет над Шеппертоном напоминал мне сияние над пустыми рисовыми полями у железнодорожной ветки, но свет, заливавший луга, шел от более доброго и нежного солнца. Дети Мириам и другие, игравшие у ручья, занимали внутри меня место мертвых китайцев, лежавших в кюветах и каналах Лунхуа.

Я впервые жил в бесконечном настоящем,

которое ничем не было обязано прошлому. Самолеты, оставлявшие белые следы в небе над Шеппертоном, несли туристов на пляжи Корфу и Коста-Браво. Скоро вся планета уйдет в отпуск. На мысе Канаверал американцы готовили космические полеты. Ричард Сазерленд выступал по телевизору из космического центра. Флоридское солнце блестело на его выгоревших волосах. Он теперь вел научно-популярную программу — представитель нового племени ученых, которые по-свойски обращались к миру с телеэкранов. Его оптимистичные комментарии как рука к перчатке подходили к рекламе конфет и кондиционеров. Настоящее — однозначное и бодрое, как детская раскраска, — аннексировало и прошлое, и будущее.

Я проснулся в нагретой солнцем траве. Разбудил меня шум ссоры из туалетного рулона. Над лужайкой проплывал легкий самолет, его пропеллер блестел на солнце. Одномоторный «Пайпер» летел с запада, с аэродрома «Фэйр-Оук» за Чертси. Он, снизившись, заложил широкий круг над студией, словно пилот высматривал нашу заветную поляну.

Дети забыли о ссоре. Элис подбежала и спряталась за моим плечом — я успел подняться на

колени.

— Это плохой самолет, папа?

Я не в первый раз удивился ее проницательности. Дочка заметила, как я хмурюсь на самолет с блестящей за пассажирской дверью камерой.

— Нет, самолет хороший. Может быть, он привезет тебе подарок.

Генри уселся ко мне на колено, оттолкнул руку Элис.

— Папа, а бомба на нем есть?

— Бомба? Кому понадобится бомбить Шеппертон?

— Дяде Дэвиду. У него есть бомба, пап. Он мне рассказывал.

— Уже нет. К тому же он слишком любит вас и маму. Пойдем-ка мы домой…

* * *

Дэвид Хантер навестил нас в тот же день. Он ушел из военной авиации, когда закончился краткосрочный контракт — после боевых действий против террористов в Кении и последнего ознакомительного полета на атомном бомбардировщике «Вулкан».

— Подумай, Мириам, — с удовольствием напоминал он. — Если бы тот турок не перебежал к

русским, мы с твоим мужем могли бы бросить первую водородную бомбу на Москву. Как бы тебе понравилось быть замужем за человеком, начавшим Третью мировую войну?

Дэвида все еще прикрывало нервное обаяние, но держался он неспокойно, словно все время ждал, что прошлое вынырнет из-за спины с каким-нибудь нелепым, но неотступным вопросом. Несколько месяцев он обихаживал частную авиацию, а потом купил маленькую компанию, занимавшуюся аэросъемками. Он пропадал месяцами: фотографировал промышленные комплексы Бразилии или гостиничные районы на Сейшелах, а в последние недели обосновался в Фэйр-Оук — снимал фильм о трассе довоенных Бруклендских мотогонок.

Дэвид так и не пустил корни и не уставал поражаться моей тихой домашней жизни — подозревал, что мне приходится подавлять бóльшую часть своей истинной природы. Мириам не любила разговоров о Шанхае, поэтому он редко касался в разговоре военных лет.

Пришел он с подарками для детей, бутылкой виски для меня — которую тут же открыл и отпил оттуда, — а также с цветами и набором первоклассных комплиментов для Мириам.

— Почему беременные женщины так сексапильны? Объясни, Мириам? Я нутром чую, когда-нибудь мы поженимся.

— Тебе придется встать в очередь, — предупредила Мириам. — Ричард Сазерленд, Генри, Джим… путь к алтарю придется прокладывать с боем.

— Боже, женщина, я уже на коленях перед алтарем! — Он положил ладонь на халатик Мириам. — Он уже на подходе… если родится сегодня, можно мне посмотреть?

— Только если докажешь, что ты — отец.

Мириам нравилось его внимание, как и внимание других мужчин — их комплименты она принимала куда живее, чем мои. Она вечно флиртовала, но пять лет замужества и дети превратили самый легкий флирт в серьезное занятие. Для матери двоих детей секс — все или ничего. Я видел, что иногда она рвется сбежать на персональный необитаемый остров с тремя незнакомыми мужчинами — хотя муж и дети должны быть прилично устроены в ближайшей бухте. А еще я понимал: она потому поощряет мое сочинительство, что это хоть какое-то подобие приключений. Когда-нибудь Мириам заведет роман, и мое второе детство окончится. Теперь

я узнал, что женщина, любящая мужа и детей, может все же не знать покоя и желать бегства от них.

* * *

Когда мы вышли в сад побродить среди сломанных игрушек, Дэвид перешел к делу.

— В конце месяца я улетаю в Гонконг. Все расходы оплачиваются. Снимаем новый жилой район в Коулуне для китайского застройщика.

— Лакомый кусочек! Повидаешься со старыми знакомыми по Шанхаю.

— Постараюсь ни с кем не встречаться. Я еду к самому Шанхаю.

— Вспомни меня, когда будешь гулять по Бунду.

— Я вообще-то думал, не поедешь ли ты со мной.

— В Гонконг?

— В основном в Шанхай. Мог бы взять месяц отпуска. Нам надо вернуться и увидеть своими глазами, как там сейчас.

— Дэвид, я не могу. Даже если бы хотел — есть Мириам и младенец. Ты кого-нибудь найдешь в Гонконге.

— Нет уж, спасибо! Старые шанхайцы, разгово-

ры про английские завтраки и маджонг и сколько у них было слуг… ничего общего с настоящим. Нет, ехать надо нам с тобой!

— Ничего настоящего и не было.

— Для начала, Джим, были мы. Тот полустанок, о котором ты все толковал в Муз-Джо. Ради тебя надо его найти.

— Это было убийство. Прискорбно для того китайца, но ничего особенного.

— Ты говорил, он пытался тебе что-то сказать. Тебе надо от этого избавиться — от карусели, которая целыми днями крутится в голове…

— Дэвид, я только тогда и был счастлив.

— Нельзя быть слишком счастливым, Джим.

Когда Дэвид ушел, я рассказал о его предложении Мириам.

— Дэвид дурак! — Она со стуком опустила тарелку на кухонный стол, где дети соорудили миниатюрную копию Волшебного мира. — Ты много лет не летал. Он бы прибил тебя при первой же попытке оторваться от земли.

— Ему не нужен пилот. Ему нужно пройтись со мной по Шанхаю, по улицам, где мы играли в прятки… Мне иногда кажется, он до сих пор играет сам с собой. Как те старые шанхайцы, которых он терпеть не может.

Мириам, хотя и понимала, что я никуда не собираюсь, стала утешать:

— Забудь, милый, ты оставил все это позади.

— Может, когда-нибудь я напишу о войне — тогда не помешает там побывать.

— И не поможет. Ты напишешь гораздо правдивее, если не станешь возвращаться. Я, приезжая к маме с папой в Кембридж, хожу по дому и не верю, что жила здесь ребенком. Это похоже на фильм с очень старыми актерами, сценарий которого не могут вспомнить даже они сами.

* * *

Позже, в постели, когда дети уже уснули, а старый ретривер в последний раз облаял луну, я разминал усталые плечи Мириам. Странные запахи парили над ее ушами и подмышками — будоражащие запахи взлета и падения гормонов, волнами захлестывающих друг друга. Я коснулся нежных сосков, влажных от выделений, памятных мне по прежним ее беременностям.

— Вкусно? — спросила Мириам, допивая вино, которое помогало ей уснуть.

Я коснулся пальцами губ, насладился ароматами, которые вкусом больше напоминали ее вульву, чем копящееся в грудях молоко.

— Молозиво… вообще-то мужчины не пьют молока своих жен.

— К счастью для младенцев. Природа позаботилась, чтобы все доставалось им. А чье молоко ты пробовал?

— Ничье.

Я вспомнил беременную проститутку из Муз-Джо, мечтавшую познакомиться с королевой.

— Попроси образчик у подружек-медсестер.

— Повитухе Белл это понравится.

— Скажешь ей, что мы открываем молочную торговлю. Молочные продукты «Мамина гордость».

— И девиз: «Дадим работу шеппертонским грудям!»

— Свежевзбитое масло из материнского молока. И, боже мой, йогурты, коктейли… подумай, Джим!

— И ассортимент сыров с оттенком сигареты, помады и зубной пасты…

— Жены полицейских дадут острый сыр вроде козьего. — Мириам наслаждалась порывами фантазии и питала здоровый интерес к разнообразным возможностям человеческой анатомии и физиологии; озорной юмор сюрреалистов всегда был ей понятен. Немного скучая в Шеппертоне,

она с удовольствием атаковала мирную домашнюю мораль городка. Пока я смачивал ладони жидкостью из ее сосков, она с удовольствием развивала мысль:

— У вегетарианок сыры будут пресные и постные, у актрис из Вест-Энда перезрелый камамбер, королева и принцессы выдадут элитный стилтон…

— А мы соберем всех друзей на дегустацию…

— Представляю себе Пегги Гарднер! — Мириам села, хохоча в подушку. Ее чрево колыхалось, младенец качался на волнах смешков и фырканья.

Через пятнадцать минут начались роды.

* * *

— Наведем-ка порядок, милая. Малышу нужна чистенькая спальня.

Повитуха Белл привычно обходила комнату, тревожа мокрой тряпкой пыль и слои талька на туалетном столике. «Беременное» платье Мириам она повесила в шкаф, как театральный костюм, убранный до следующего сезона. Под кроватью обнаружила одноногого мишку и детский горшок с окаменевшим содержимым и, аристократично поморщившись, вручила находки мне. Приехала она после полуночи — Мириам

только что приняла ванну, но акушерка все равно побрила ее и обтерла прямо в постели. Не поднимая роженицу, сменила постель, сложным способом складывая простыни, как фокусник, демонстрирующий трюк с гигантским оригами.

Теперь мать и спальня соответствовали требованиям повитухи Белл, и можно было рожать. На тумбочке стоял чемоданчик с инструментами, лежали перчатки и баллон с газом — все, кроме пресловутой горячей воды, которой с меня не потребовали ни капли.

Заплакала во сне потревоженная шумом Элис. Генри проснулся и заорал на нее, раскачивая свою колыбельку так, что она стукнулась об стену. Мириам лежала тихо, большими глазами глядя в сосредоточенное лицо миссис Белл, ожидая новой схватки. Я вышел успокоить детей, сыграл с Элис в ее любимую игру в слова, дал Генри старенькое одеяльце для младенцев вместо соски — вселенную добрых запахов.

Когда я вернулся в спальню, схватки у Мириам повторялись через минуту. Ночная рубашка была скатана под грудью, она глубоко размеренно дышала, а миссис Белл сидела рядом, стетоскопом выслушивая сердцебиение ребенка.

— Можете взять жену за руку — я знаю, ей бы

этого хотелось.

Я сжал пальцы. Мириам вскользь улыбнулась, но я видел, что ее уносит от меня. По-настоящему с ней были только повитуха и ребенок. Она облизнула губы, глядя на тусклый потолок и абажур лампочки в изголовье так, словно это были первые роды на свете — перворождение, от которого пошло все живое. Когда Мириам выпустила мою руку, мне показалось, что они с повитухой Белл вернулись в первобытный мир, куда не вторгались мужчины и даже их роль в зачатии была еще неизвестна. Там цепь жизни тянулась от матери к дочери и от дочери к матери. Отцы и сыновья оставались в тени вместе с собаками и скотом, вроде ретривера Полли, рычащего сейчас на незнакомую машину миссис Белл из окна соседской гостиной.

И все-таки я был рад, что Мириам взяла верх над миссис Белл — настояла, чтобы я присутствовал при родах. Ультрасовременный Ричард Сазерленд трусливо отверг полушутливое приглашение Мириам присутствовать при этом событии. Он заявил, что вид женщины с обнаженными гениталиями, задыхающейся от боли, неизбежно вызовет в сознании акт насилия и принизит жену в глазах мужа, как если бы тот

наблюдал за ее борьбой с невидимым чужаком. Не зря старейшие культуры мира, храня тайну женского тела, изолировали женщину на время родов.

Я же, наоборот, в последние минуты чувствовал себя как никогда близким Мириам. Все связывало меня с ней: пот на ее бедрах, родинка над пупком, веснушки и перламутровые шрамики швов, выбритая кожа лобка и яркие лепестки половых губ, выпуклый клитор, умилительно клонящийся влево, оставшийся с детства шрам на коленке и пятна на ягодицах, влажный блеск талька на грудях и на плечах…

Она шумно пукнула и, вскинув руки, вцепилась в изголовье. Повитуха Белл воротила нос, хотя воздух и так был тяжелым от анестезирующего газа.

— Если так пойдет, разбудим всю улицу. Ну-ка, толкай, милая. Малыш готов, толкай крепче.

Мириам свела брови и сосредоточилась, ожидая следующей схватки. Тяжело дыша, сжала кулаки.

— Господи, геморрой меня убьет…

Я встал на колени, ввел руку между ягодицами и пальцами прижал вздувшийся анус. Набухшие узлы слизистой лезли наружу, так что я ввел ей

в анус подушечку и удерживал там до последней схватки.

— Еще разок, он уже идет, подтолкни — вот головка!..

Вульва вздулась, и между ногами Мириам показалась макушка крошечной головы. Черные влажные волоски были аккуратно разделены на пробор, словно заботливая природа причесала ребенка перед первым явлением в мир.

— Толкай, мы уже почти здесь.

Появилось все личико: высокий лоб, миниатюрный нос и ротик, закрытые глаза, обведенные морщинами, словно геологическими эпохами, предшествовавшими этому ребенку в царстве жизни. Пробуждаясь в глубокий сон существования, он был не юн, но бесконечно стар. В древнеегипетской гладкости его щек, в фараоновских веках и ноздрях виделись миллионы лет. Губы сжаты, словно дитя терпеливо переносило бесконечное путешествие через всю вселенную до этого скромного дома с заждавшейся матерью.

И вдруг юность накрыла дитя: с последним выплеском жидкости в руки повитухи Белл лег розовый голый детеныш. У меня из глаз хлынули слезы. Пальцы Мириам сжали мне руку. Небо между крышами соседних домов наполнялось

рассветом. Уходившая от меня на несколько часов Мириам вернулась и снова была моей женой.

* * *

Она проспала все утро, и малышка спала рядом с ней в плетеной колыбельке. К полудню заглянула повитуха Белл, выкупала младенца и объявила, что удовлетворена, словно официально принимая нашу дочь в будничный мир пространства и времени. Прежде чем уйти, она дала Мириам косметичку, щетку для волос и зеркальце. Сидящая у огня повитуха, озабоченная чистотой и отхождением вод, вводила жизнь в свет. А вот местный врач доктор Роджерс, наблюдавший Мириам, своими бодряческими шутками и неуместными советами походил на легкомысленного экскурсовода, забывшего, где расположен священный источник.

Элис с Генри пробрались в спальню и с неодобрительным любопытством изучали младенца.

— Она будет у нас жить? — спросила Элис.

— Разве ты не хочешь ее оставить? — рассмеялась Мириам.

— Наверно…

Генри больше интересовался неубранным снаряжением повитухи: колпачками от буты-

лок, тампонами и маской для газа. Мириам, сев в постели, крепко обняла детей. Немного спустя, когда я вез их на день к подруге жены, они уже планировали новые игры и обсуждали церемонию встречи новой сестрички. В моих бессонных глазах Шеппертон переменился. Воздух стал ярче, словно город подсветили для съемок бюджетного фильма. Женщины, сидевшие под колпаками фенов в парикмахерской, кассиры в банке напоминали мне статистов, нанятых, чтобы изображать обычную жизнь маленького городка. В любой момент могли начаться съемки, в которых мне назначили проходную роль, а я забыл свою реплику.

Когда я вернулся домой, Мириам позвала меня в спальню. Она переодела ночную рубашку, уложила волосы, нарумянилась и напудрилась. Полоска помады на губах напоминала вымпел, гордо реющий над разгромом тихой спальни.

Я взглянул на малышку. Та снова переменилась, стала пухлее и живее, шевелила во сне губами, словно вспоминала послание, доверенное ей незримыми силами творения. За несколько часов она не раз сменила роли: от древней вестницы до скользкого водяного духа, крещенного в материнских водах, а потом к сонной пеленашке,

кривящейся от света и ветерка.

— Люси? — предложил я.

— Да… Люси. — Мириам поманила меня к себе на кровать. — Ты, наверно, совсем вымотался. Приляг со мной на часок.

Я разделся и лег рядом с ней, обняв за плечи. Слабый запах газа еще держался на подушках, и я почувствовал, что уплываю в ту полнокровную ночь, из которой вышла Люси.

— Держи меня, — Мириам прижала мою руку к животу. Опустив ворот рубашки, она обнажила груди с набухшими сосками, уже натертыми губами младенца. Сдвинув вниз простыню, она подняла рубашку до бедер, нашла и взяла в ладонь мой пенис. Подняв колени к груди, улыбалась, а я растирал ей ступни и икры, гладил бедра.

— Войди в меня.

Я, лежа на боку, бережно вошел в ее вагину. Стенки уже сжались и крепко обнимали меня.

Люси шевельнулась, в горле у нее пискнуло. Мириам улыбалась дочери и гладила меня по груди, а я тихо двигался в ней. Чудо жизни дышало над нами, над спящим ребенком, над залитым солнцем городком.

7
Остров

Я энергично плыл в четырех сотнях ярдов от пляжа Санта-Маргарита, когда паром «Эстартит» повернул на меня. Судно, нагруженное направляющимися в Кадакес или к дому Дали отпускниками, резало темную воду у выхода из бухты Росеса в открытое море. Пена, взбитая носом, брызгала на пассажирскую палубу, остужая ноги юных немок и скандинавок, которые рассматривали в бинокль ящеричные спины холмов.

Мимо прошла яхта — ее грот почти касался воды. На борту сидела пожилая пара французов в желтых спасательных жилетах и скептически смотрела на меня. Два подростка на водном велосипеде были еще дальше от берега, но и я отбился от купающихся. Мне хотелось переплыть бухту от Санта-Маргариты. Там было немногим больше мили, но французы явно не верили, что мне это по силам.

Забыв о них, я поплыл на спине по освещенной солнцем воде, временами поглядывая на балкон

наших апартаментов. После завтрака я сообщил, что намерен бросить вызов бухте. Грандиозность предприятия увлекла детей.

— Папа, там самое малое семнадцать бассейнов! — воскликнула Элис, подразумевая плавательный бассейн Шеппертона.

— Скорее, сто, — поправил я. — Или двести, если и возвращаться вплавь.

— Двести! Опять ты, папа, сказки рассказываешь…

Последовал внеплановый урок арифметики — один из немногих, который их заинтересовал. Мне было видно детей, они сидели в рядок на борту надувной лодки, обсуждая, где я сейчас. Я помахал им и увидел, как Мириам в летней шляпке и черном бикини машет в ответ, а потом замелькали и маленькие ручки. Как минимум до вечернего чая мне был обеспечен статус героя.

Я поднажал, двигаясь в сторону мыса. Сильное, закрученное против часовой стрелки течение в бухте сносило меня к западу. До парома оставалось меньше ста футов, он сворачивал к заливу Росес, где забирал последнюю порцию туристов. Рулевой за открытыми окнами рубки всматривался в кишащую водными велосипедами воду как охотник в кусты, где затаились индейки. За-

метив меня, он повернул прямо в мою сторону.

Пьяный, что ли? Я ждал, что он отвернет штурвал, но рычаги его усов были наставлены на меня, как стрелки путевого указателя. Бесчисленные туристы все лето сводили с ума капитанов Коста Бравы, официантов и таксистов. Одинокий пловец, смятый носом парома, взволновал бы рулевого не больше, чем бабочка на ветровом стекле. Паром быстро надвигался, по воде передавался глухой рокот его винта. Перейдя на самый быстрый свой стиль, я поплыл под прямым углом к курсу судна. Пассажиры, перегнувшись через фальшборт, глазели на меня как на самоубийцу.

Паром прошел в дюжине футов, бросив мне в лицо облако мазутного дыма, шум двигателя и звон пивных бутылок. До пляжа было шестьсот ярдов, передо мной маячили фасады незнакомых отелей. Наш дом сдвинулся, дети с Мириам скрылись за рядом зонтов и причаленных к берегу велосипедов. Течение унесло меня за оконечность бетонного мола, отмечавшего конец пляжа. Мне открылась дикая береговая линия Ампуриабрава — травянистые дюны, русла ручьев и москитные лужицы.

Я уже не надеялся переплыть бухту и отдался течению, которое несло меня к пустынному бе-

регу. Мол закрывал от меня Санта-Маргариту, и я тревожился, заметила ли Мириам, как я скрылся за смертоносным носом парома.

На пляж я выбрался через двадцать минут, измотанный так, что даже ползти не мог. Я лежал на мелководье, опустив руки на влажный песок, а любопытные маленькие волны тыкались мне в подбородок. Мимо проскочил катерок, двое мужчин катали на водных лыжах пятнадцатилетнюю девочку. Они унеслись дальше, оставив позади рев поп-музыки.

Песок, нетронутый подошвами отдыхающих, был пухлым как сахарная пудра. Выйдя из воды, я погрузился в эту мягкую перину. Меня чуть не порубило на кровавый бифштекс под скептическими взглядами сотен туристов, вцепившихся в путеводители по дому Дали. Где-то за молом затрещал мотор надувной лодки. Мириам уже заметила меня и спешила к берегу. Она умело причалила лодку, и Генри выпрыгнул на песок.

— Ты в порядке? — Мириам встала на колени рядом. — Что ты здесь делаешь? Я вышла замуж за сумасшедшего!

Генри взглянул на меня и наморщил нос:

— Он умер?

— Он ужасно старательно прикидывается.

— Чувствую себя, как будто уже умер. — Я сел, радуясь, что вижу солнце. — Пытался переплыть Стикс — и паромщик чуть не утопил меня.

— Какой нахал! Пожалуемся в национальную гвардию!

— Может, они в заговоре.

— А сколько бассейнов ты проплыл? — спросил Генри.

— Около тысячи. — Я привалился к Мириам, устроил натертый подбородок на ее остуженном морем плече. — А где Элис с Люси?

— Оставила с Нордландами — они смотрели на тебя с балкона. Генри, давай погрузим папу в лодку.

— Погодите, давайте немножко осмотримся. Это, кажется, остров.

— Настоящий необитаемый остров, пап? С людоедами?

— Определенно, с людоедами…

Мы высадились на длинную песчаную косу, отделенную от дюн Ампуриабрава неглубоким проливом. Коса шириной около пятидесяти ярдов повторяла изгиб бухты, кое-где поднимались травянистые пригорки. Выбравшись на более твердую почву, мы увидели остатки навеса из ржавой жести. Рядом валялись винные бутылки,

старый переносной радиоприемник и велосипедное колесо. В лощине между дюнами зимой жгли костер. За проливом до самой дороги на Фигуэрас тянулся лабиринт овражков и лиманов, но над ними уже стояли знаки строительной разметки, предвещая новый курорт с отелями, набережной и квартирами для сдачи внаем.

Я шел рядом с Мириам, обняв ее за талию. Из высокой травы к нам выскочил Генри.

— Там домик Венди! У него двери, окна. И знаете что? — настоящая уборная!

— Домик Венди с уборной? — Мириам взяла его за руку. — Ты уверен?

— Да — я туда пописал!

На западном конце островка дюны поднимались над морем на целых двадцать футов. Старый волнолом обрушился, и камни от него вынесло на берег. В сложенной из обломков ограде стояла нарядная хижина, во времена Эдуарда Седьмого служившая купальней, а потом, пожалуй, не один год проработавшая курятником на каком-нибудь заднем дворе в Розасе. Край кровли из рваного парашюта был подперт деревянными жердями, образуя тенистую веранду.

Я толкнул дверь хижины и заглянул внутрь. Примитивная кухня с каменной раковиной,

плита, работающая от газового баллона, и химический туалет. Нанесенный снаружи песок покрывал дощатый пол.

Мириам устроилась в плетеном кресле на веранде, а мы с Генри отправились исследовать дюны. Мы нашли гильзы от фейерверков и чудом попавшую сюда портативную пишущую машинку. Когда я вернулся с ней к домику, Мириам одобрительно кивнула.

Я присел рядом с ней и выдул из клавиш песок.

— Ну, пожалуй, я готов к работе. Не совсем «Вилла на холме», но что уж…

— Молодец, — Мириам прикрыла глаза, слушая шум волн. — Здесь чудесно. Чье это все?

— Местных битников? Не заперто, все переломано…

— Похоже на Шеппертон. Я всегда подозревала, что мы в Шеппертоне, сами того не зная, были битниками.

— И остались. — Я пристроил ноги на пишущую машинку, уже забыв, что собирался работать. — Не хотелось бы напоминать, но эти апартаменты нас разорят.

— Я поговорю с сеньором Роблесом. Он поймет.

— Ты все только собираешься. На этот раз уж

постарайся произвести впечатление.

— Постараюсь… по-моему, ему нравится разглядывать мою грудь.

— Говорить тебе придется с его злобной маленькой секретаршей. Надеюсь, ей тоже понравится твоя грудь.

— Может, и понравится… — Мириам, посматривая в сторону Санта-Маргариты, принялась натирать мои обгоревшие плечи кремом. В последнее время ее удивляли восхищенные взгляды женщин. Восхищение своего пола ценилось выше и острее, чем все, что могли предложить ей мужчины. Это походило на любовное соперничество сестер. Все женщины принадлежали к некому тайному обществу и за спинами мужчин заговорщицки обменивались взглядами.

— Завтра привезем девочек, — сказала Мириам. — Хочу им это показать — здесь прямо как в телевизоре.

— Мириам, что ты говоришь!..

— Вот скажи, почему бы нам не купить такой домик? Ты всегда говорил, что хотел бы жить в Испании.

— Когда-нибудь купим.

— Хемингуэй, Гауди, Бунюэль… ты тоже мог бы здесь работать, этот мир больше по тебе. — Ми-

риам развернула меня к себе лицом и уткнула палец мне в лоб. — Взгляни правде в глаза, милый, в Англии ты никогда не будешь дома.

— Правда? В Шеппертоне я как дома.

— Нет, даже в Шеппертоне. Ты восемнадцать лет живешь в Англии, а все смотришь так, будто вышел не на той станции.

— Может быть, надо было мне вернуться в Шанхай. Дэвид звал…

— Нет, не в Шанхай. С этим ты покончил, слава богу. Испания даст тебе удар тока, ты давно его ждешь.

— Я жду?

— Да, как кролик Скиннера[69]. Ты заскучал над единственным рычагом. Вспомни, как ты ожил на той третьеразрядной корриде в Фигуэрасе!

— Это — Испания для туристов. А что здесь со школами?

— Есть здесь школы. Может, испанцы и чокнутые, но грамоту знают. Вспомни своих родителей — они же уехали в Китай.

— Но захватили с собой кусочек Суррея. С Испанией будет труднее. Во всяком случае, тебе.

— Фигня! Надо вытащить тебя из Англии… Вот

---

[69] Примечания: 69

Имеется в виду один из экспериментов для доказательства теории бихевиоризма. — *Прим. ред.*

сейчас ты нашел маленькую чужую землю, где тебе уютно — и это опасно. Кстати, Дали живет здесь, в Порт-Льигате. Ты мог бы с ним познакомиться.

— И его таинственная Гала, жуткая спутница!

Мириам наклонилась меня поцеловать и укусила за ухо. Подержала на языке капельку крови и оставила ее между моими губами.

— Джим, тебе нужно больше встречаться с жуткими женщинами. Скандал с секретаршей сеньора Роблеса пойдет тебе на пользу. Я это устрою.

— Я не знаю, как к ней подступиться…

— Милый, тебе и не придется ничего делать. Она тихо вскроет тебе мозг рукой нейрохирурга. Бедняжка мой любимый, я тебя защищу…

Она положила мою голову себе на колени, пахнущие морской солью, детским лосьоном и духами, которыми дала попользоваться миссис Нордланд. Мы посмотрели на барахтающегося за волноломом Генри. Тот подобрал камень и нес его через патио к устроенной в песке лесенке. Разгладил ступеньку и, тщательно уложив на нее камень, с ребяческой гордостью осмотрел свою работу.

— Я иду к тебе, Генри! — Мириам оттолкнула

меня и вскочила. Вошла в воду, стала вместе с Генри укладывать камни. Я растянулся на земле под навесом, глядя, как они выкладывают простенькую лестницу, которая в мыслях Мириам уже вела к новой жизни. Восемь лет брака и трое детей не притушили ее энтузиазма. Она с первых дней знакомства подталкивала меня вперед, отказывалась от отпуска, чтобы я мог закончить книгу, уводила детей в Лондонский зоопарк, давая мне несколько часов тишины. Она всегда твердо верила в меня — даже когда мои книги отвергали одну за другой. Она прятала банковские извещения, тайком одалживала деньги у матери и у Дика Сазерленда. Во многих отношениях она меня переделала. Я всем был обязан ей: детьми, первой публикацией, вернувшейся верой в мир.

Но вскоре ожидались перемены, и я не знал, справлюсь ли с ними. Мириам исполняла роль в игравшемся на открытой сцене Шеппертона спектакле «Как вам это понравится» — играла Розалинду в духе пламенного феминизма. И уже поговаривала о возвращении к журнальной работе. Наблюдая, как она нетерпеливо возится на кухне с бесконечной готовкой, я видел зрелую, волевую женщину, какой она станет к сорока годам. Ей предстояло оставить меня далеко поза-

ди, как нерешительного Питера Пена с полными карманами чужой желтой земли.

Сейчас она на минуту отдала сердце Испании. Я подозревал, что сеньор Роблес уже показывал ей свои виллы в холмах над Росесом и Кадакесом.

Дали мог оказаться не таким приятным соседом, как представлялось Мириам, но я с удовольствием видел, как она купается во пристальных взглядах меланхоличных испанцев, разгуливая по супермаркетам Росеса в черном бикини. В нашей жизни предстояло воцариться экономике удовольствий и свободы выбора.

* * *

На средиземноморском побережье прорастала новая Европа — вытянутый в одну линию город трех тысяч миль в длину и трехсот метров в ширину от Гибралтара до Глифады за восточными окраинами Афин. Старая Европа сбрасывала с себя прошлое, иерархию и снобизм. Здесь в бесклассовом мире машинистка из Ланкашира сидела за одним столиком с финансистом из Стокгольма и водителем грузовика из Дании. Пляжи Испании стали европейской Калифорнией или по меньшей мере Флоридой. Мне нравилась эта пляжная культура с ее бесконечными автостра-

дами и отелями. Это было то будущее, которое создавали президент Кеннеди и космическая гонка — жилые кварталы, заложенные заранее для еще не построенных научных городков и хайтековых проектов.

Действительно, было что-то лунное в белых зданиях отелей, вокруг которых кишели преступники, торгующие североафриканским гашишем и краденым антиквариатом или просто скрывающиеся от Скотленд-Ярда. После тусклого света Северной Европы странная геометрия этих пересвеченных зданий словно уводила нас в абстрактный мир, лишившийся эмоций. Да и секс здесь стал более стилизованным. После полудня, уложив детей спать на самые жаркие часы, мы с Мириам пили на кухне белое вино. В приятном опьянении ей нравилось заниматься любовью перед зеркалами в ванной, принимая позы извращенной гимнастки на фоне белого кафеля. Она смотрела на меня застывшим взглядом, словно мы занимались сексом в космической капсуле в сотнях миль над землей, зачиная расу астронавтов.

За год, проведенный в Коста Брава, у нас бы полностью атрофировалась кора головного мозга. Я видел, какими пустыми становятся лица

стадных туристов уже через неделю отдыха. До отъезда из Англии мы посмотрели хичкоковский «Психо» и видели в английских секретаршах в бикини подобия Джанет Ли, отменивших ключевую сцену в ванной, но начисто позабывших, где оставили свою жизнь.

— Шевелись, Джим, — крикнула мне Мириам, помахав рукой, вымазанной в мокром песке. — Мы тут надрываемся, а он развалился как паша́. Завтра приплывем сюда — девочкам понравится.

Сооружая незатейливую лестницу, Мириам по-своему трогательно доказывала, что не шутила насчет Испании. Мы впятером каждое утро садились в лодку и на целый день отбывали на пикник. Я починил навес, зашил рваный парашютный шелк, а Мириам с детьми прибрали домик и двор. Пообедав холодной курятиной с сангрией, мы дремали в тени или купались с детьми у каменных ступенек. По бухте проносились люди на водных лыжах, на пляже Санта-Маргариты блестели переносные приемники, а сумасшедший паромщик нацеливал нос своего судна на каждого подвернувшегося пловца.

* * *

Через неделю мы, высадившись на острове, обнаружили, что наш тайный пляж занят. Через мелкий пролив переехал маленький «ситроен», нагруженный чемоданами и палатками. Бородатый мужчина и молодая брюнетка с короткой стрижкой купались у построенного Мириам маленького причала, а с берега на них смотрел высокий обнаженный мужчина лет сорока с волосами до плеч. В одной руке он держал книгу, в другой трубку.

Дети нерешительно остановились у машины. Генри ткнул пальцем в стикер, прикрепленный на бампере над французской номерной табличкой: «Счастье догоняет 2CV».

— Что такое 2CV?

— Вот такая машина… давай-ка поздороваемся.

— А зачем счастье ее догоняет?

Элис всмотрелась сквозь челку и схватила Мириам за руку.

— Они людоеды? Папа будет с ними драться?

— Нет, конечно. Это, наверно, их дом.

Машина была битком набита бутылками испанского вина, буханками хлеба и дешевыми

изданиями Керуака, Генри Миллера, Гинзберга и Уильяма Берроуза. К багажнику на крыше кое-как прихватили кожаный чемодан с этикетками нью-йоркских и чикагских отелей. Украли у рассеянного пассажира на вокзале Перпиньяна? Глядя, как голый мужчина машет детям трубкой, я живо представил себе новую породу курортных уголовников, вытаскивающих у туристки кошелек, не отрываясь от «Вопля» или «На дороге».

Купающийся бородач что-то крикнул детям по-французски. Дверь купальни открылась, из нее вышла поздороваться молодая белокожая блондинка. Одета она была в пляжные туфельки на высоком каблуке и нижнюю часть сливочного купальника. Изящество ее лица было чуточку подпорчено, как будто девушка слишком долго пренебрегала собой каким-то особым способом. Солнце отразилось от ее безупречной американской улыбки, в которой отсутствующий левый клык заменили лучшим образчиком английской стоматологии. Зато ее свободные манеры мне сразу понравились.

— Привет… я думала, кухню прибирали малютки-пикси. — Она подхватила Люси на руки и прижала ошеломленную девочку к плечу. — Ты пикси?

— Нет! Мама!..

— А я думаю, да. Ты чистила, мыла, подметала…

Она болтала с приятным новоанглийским выговором, а куритель трубки тем временем подходил к нам. Дети разглядывали его, разинув рты. Их заинтриговали не столько пенис и мошонка, сколько звездообразные шрамы на животе и бедрах мужчины. Я решил, что тот был тяжело ранен на войне.

Поняв, что мы англичане, мужчина представился:

— Питер Лайкьярд. Вы из Лондона? Это хорошо. Я преподаю в политехе на Риджент-стрит. Это, — он указал на пару в воде, — Роберт и Мьюриэль Джуберт из Нантерра. А это Салли Мамфорд, американка и моя студентка. Похоже, она собирается украсть ваших деток.

— Верно, подумываю. — Девушка поставила Люси на землю и пригласила нас в тень. Торжественно выставила на столик кувшин сангрии, тапас и сигареты. Французская пара уже легла загорать в патио, дети изучали их голые тела взглядами опытных антропологов. Меня и Мириам они каждый день видели голыми, но даже небольшие анатомические отличия незнакомцев

открывали им целую вселенную.

Поделившись с этой дружелюбной компанией содержимым корзинки с завтраком и вином из переносного холодильника, мы сели выпить под парашютной крышей. Лайкьярд объяснил, что они каждое лето приезжают в Ампуриабрава — хотя этот раз, к сожалению, станет последним. Скоро бульдозер застройщиков сровняет островок с землей.

— Остров исчезнет, буквально оденется в бетон. Пляж превратят в полмили отелей и жилых домов. — Он кивнул на расставленные в дюнах столбы разметки как на строй виселиц. — В Героне показывают модель комплекса. Собираются объединить набережные с аллеей бутиков и баров и продать все это дюссельдорфским дантистам. Через три года все здесь будет декорацией с псевдостаринными каталонскими деревушками, расставленными вдоль каналов.

— Мириам предлагала нам здесь обосноваться — считает, что моему воображению это пойдет на пользу.

— Не думаю, что здесь останется работа для воображения. Лично мне трудно вообразить этих непьющих прожигателей жизни на здешних берегах. Когда бюргерство сходится с сюрреализ-

мом, победитель известен заранее.

На берегу визжали дети — возведенный Генри песчаный замок держал оборону против поднятых паромом волн. Салли, стоя на четвереньках, соорудила из сырого песка причудливую двуспальную кровать со столбиками и периной, под которую, к полному восторгу девочек, засунула Люси с Элис. Я задремал, а Мириам помогала Лайкьярду с Джубертами разгружать машину. Лайкьярд работал неспешно, в паузах набивая трубку и прочитывая страницу-другую из книг, пачками набитых под сиденья. Глядя, как он дружески обнимает Мириам за талию, я ощутил, какими мы стали добропорядочными с нашей съемной квартирой, семейной машиной и верной лодочкой, которую возили на прицепе. Даже наши старания по уборке купальни укладывались в тот же мотив. Я вечно посмеивался над родителями, которые экспортировали в Шанхай кусочек Суррея, но и мы с Мириам занимались тем же бизнесом. Настоящими канатоходцами и исполнителями смертельных трюков были дюссельдорфские дантисты.

В сумерках в теплом воздухе заструился дымок марихуаны, защекотал ноздри наших детей. Мы с сожалением собрали вещи и загрузили их в

лодку.

— Пока, пикси, приплывайте завтра снова, — сказала Салли, пока дети натягивали спасательные жилеты. — Продолжим уборку — нам надо весь пляж подмести. Смотрите, сколько песка!

Мириам поморщилась, но мне эта шумная американка пришлась по душе. Она зашла в воду, наполняя воздух дымом слабо набитой самокрутки. Подняв сигарету повыше, она свободной рукой подтолкнула лодку. Включив мотор, я увидел, что нас провожает ее щедрая ироничная улыбка.

* * *

— Господи, я чувствую себя такой правильной, — пожаловалась Мириам, обводя взглядом нашу квартирку. — «Продолжим уборку» — это в мой адрес шпилька.

— Дружеская.

— Я очень правильная?

— Моя бедная респектабельная жена? — Я, чтобы утешить, притиснул ее к холодильнику. — Мириам, Джуберты работают в либеральном лицее, сам он преподает современную литературу в модном политехникуме. Они ездят на «ситроене» и курят травку. Куда уж респектабельнее?

— Уходишь от ответа. — Мириам допила пастис и уставилась на песчаную косу за молом — бледное пятно, протянувшееся вдоль берега Ампуриабрава. Костер, от которого мы ушли, светился тусклым угольком. — Давай купим травки.

— Ладно. Знаю, тебе жизнь не в жизнь без встречи с испанской полицией — они такие красавчики. Вспомни, у Лайкьярда и его приятелей нет детей.

— Удивительно — по-моему, они так стараются! Как ты думаешь, они спят друг с другом?

— Кому какое дело? Может, они все блюдут целибат.

— Мне, пожалуй, есть дело. — Мириам отрывисто кивнула собственным мыслям, уже обдумывая метод восстановления, возвращения всего, чего ее лишили брак и материнство. Я часто замечал, как она засматривается в зеркало ванной, словно чувствуя, что вся ее жизнь — муж и дети — это уход с главного пути.

Мы каждое утро возвращались на остров, оставляя за спиной пляж Санта-Маргариты, так пропитавшийся ароматами дезодорантов и масла для загара, что обрел собственный микроклимат. Мы вытаскивали резиновую лодку на песок под мысом и присоединялись к компании под

рваным парашютом. Ближе к вечеру французы, большие любители птиц, накидывали сари и брели вброд к дюнам Ампуриабравы с камерами и блокнотами наготове. Салли плавала с Генри и девочками, а Мириам помогала Лайкьярду мостить дворик, таская обломки волнолома.

Наблюдая за Салли, я удивлялся ее радостной легкости с детьми. Она то и дело опускалась на колени, изобретая для них игры, заговоры и тайные поручения, которые ребята стрелой бросались исполнять. Мириам рассказала, что девушка была дочерью бостонского коммерсанта и завоевала отличия, редкие для девочки из богатой семьи: добилась исключения из частной школы, а потом и из элитарного колледжа. Она сбежала на Средиземное море, нанялась на яхту к отцовским друзьям и добралась до Англии, чтобы познакомиться с «Битлз». Она воображала себя вольной душой и сознательно пренебрегала здоровьем. Жила на тапасе, сангрии и травке. Мне казалось, что она мстит за себя собственному телу.

Еще Мириам самым непринужденным тоном сообщила, что Салли спит и с Лайкьярдом, и с Джубертом — это известие она заглотила целиком и переваривала не спеша. И только во время поездки в Барселону, куда мы отправились

посмотреть на Кордобу и Пако Камина, она распознала кровоточащий срез сознания Салли и зыбкость ее связи с миром.

* * *

Мы, оставив Люси и Элис у нас дома с Джубертами, погрузились в машину. В честь Кордобы мы взяли места в «примо баррерас» и купили фундадор, чтобы поднять тост за сверчка на арене, шокировавшего традиционалистов оригинальными трюками и безрассудной отвагой. Генри сидел между мной и Салли, обнимая огромного пластикового быка, у которого, как шепнула мне Салли, пенис и мошонка больше, чем у самого Генри.

Один из первых быков, растерявшись от воплей толпы туристов, перескочил барьер и пробежал мимо нас, забрызгав слюной и взмахнув шершавыми рогами в дюймах от наших рук. Генри вцепился в игрушечного быка, потрясенный горящими глазами этого свирепого и потрясающего зверя, а Салли вскочила на ноги и хлопнула его по измазанному в навозе крупу. На ней было светлое шелковое платье; от возбуждения лиф и подмышки пропитались потом. Схватив Генри за руку, она свистела и орала, заводя саму себя,

под гром оркестра и визг зрителей. Когда бандерильеросукрасили плечи быка дротиками с бантами, она со странным гортанным криком поднялась с места. Она выглядела как умалишенная на бойне.

Застеснявшись, Салли притихла, когда красавица-тореро в элегантной черной куртке и расклешенных брюках сразилась с быком попортугальски, сидя в седле. Властная женщина с мощным носом и гримом лощеной банкирши грозно взглянула на зрителей и заметила у барьера Салли. Две женщины уставились друг на друга сквозь шум и запах крови и фундадора. Временами казалось, что нападающий бык достанет тореро, но та каждый раз ускоряла движения, и рога проходили мимо бока ее лошади. В паузе, когда бык в крови и ярости давился языком, она прямо сидела в седле в дюжине футов от нас. Нам с Салли слышно было, как эта статная женщина сыпала непристойностями, оскорбляя мужскую силу и предков быка.

Спешившись, чтобы добить измотанное животное, она помазала кончик шпаги слюной с алых губ, показывая, что атакует быка как мужчина и более того, и что ее слюна — семя, которым она оплодотворяет падающего к ее ногам зверя.

Я, опьянев от фундадора и шума толпы, пытался представить, кто мог бы хотя бы подойти к этой устрашающей женщине, не то чтобы заняться с ней сексом. А Салли уже решилась. Она с мокрыми от пота подмышками вцепилась в деревянные перила и уставилась на всадницу так, словно узнала в ней всех школьных директрис своего новоанглийского детства. Я так и ждал, что девушка сорвет с себя шелковое платье, перепрыгнет барьер и, вскочив на лошадь, сожмет ее бока белыми бедрами, а руками обхватит тореро за талию, чтобы вдвоем с ней ускакать с арены.

Пока на арене работал Кордоба, я забыл о Салли и вместе с Мириам и Лайкьярдом любовался этим красавцем: уличным задирой, наполовину бандитом, наполовину кинозвездой. Лайкьярд сквозь вой и аплодисменты показал нам: как бы близко ни проходил бык, парень не переступал ногами. При всей своей театральности и открытом пренебрежении традициями арены, он серьезно рисковал жизнью. Измотав второго быка, он стал валять дурака, унижая задыхающееся окровавленное животное, которое, шатаясь, надвигалось на него. Кордоба обратил к быку спину и встал на колени. Когда передние ноги у быка подогнулись, рога остановились всего в несколь-

ких дюймах от плеча тореро, раскинувшего руки под восторженный рев зрителей — между тем как старики-испанцы с отвращением уходили прочь.

Когда мы покидали обезумевших европейских и американских туристов, я увидел, как Салли карабкается по рядам. Платье у нее на спине порвалось. Часом позже мы нашли ее в давке вокруг черного «мерседеса» тореро. Помада у нее размазалась от стычки с шоферами и телохранителями. Мы с Лайкьярдом отнесли ее в нашу машину, а потрясенный малыш Генри предложил девушке своего быка. Салли, пока мы укладывали ее на заднее сиденье, отбивалась крепкими кулачками, все еще сжатыми от несбывшегося кровавого оргазма этого дня. Мириам сумела ее утихомирить: держала за руки и стирала разводы туши с подбородка. Женщины сидели бок о бок, как сестры после буйных поминок.

В потоке машин, возвращающихся в Герону, я смотрел в зеркало, как сходит со щек Салли жаркий румянец. Она сидела в порванном шелковом платье — непослушная школьница, — гладя грубую шкуру игрушечного быка и стиснув губы, словно глотала оставшийся во рту вкус ядовитой эмоции.

* * *

— Нравится мне это американское нахальство, — сказала Мириам, когда мы вернулись домой. — Знает, чего хочет, идет и берет. Конечно, она совершенно сумасшедшая.

— Или совершенно нормальная — для таких, как Салли, это одно и то же.

— Джим, она хотела отыметь этих быков. Не говоря уже о Кордобе и шофере. Готова поспорить, она пыталась отрезать им мошонки. Кстати, куда их потом девают?

— Это вроде деликатеса. Хочешь попробовать? Найдем в Героне хороший ресторан…

— Можно бы… — Мириам устремила решительный взгляд за перила балкона. — Секс — это ветвь гастрономии. Из лучших поваров получаются лучшие любовники. Это быстро понимает каждая женщина.

Я видел «Ситроен 2CV», пересекающий песчаные дюны Ампуриабрава. Крыша была откинута, Салли стояла за спиной Лайкьярда, клочья шелкового платья вымпелами развевались между столбами разметки — яростная фурия объезжала виселицы.

Мириам обняла меня.

— Она странная, но мне нравится. Хотел бы ты жениться на такой?

— Я и женился.

— Я хотела бы ей помочь. Ей нужен ребенок.

— Тут только я могу помочь.

— Ты уже занят секретаршей сеньора Роблеса. Завтрашний день может оказаться сложным.

Я обнял Мириам, радуясь, что Салли дала толчок ее фантазии.

— Милая, ты ведь всегда мечтала жить на острове с тремя незнакомцами.

Однако на следующий день Салли была в обычном солнечном настроении. Она, приладив к голове соломенные рога, стояла на коленях у домика-купальни, а Генри дразнил ее кухонным полотенцем. Пока Мириам кормила Элис и Люси, я прихватил горсть черных оливок и бутылку пива и ушел в поросшие бурьяном дюны. Сел в лощине, прикидывая свой путь через бухту. Вспоминая Кордобу и истерзанных быков в ожидании удара шпаги, я представлял, как потрясенный турист на водном велосипеде пересек бы кровавую кильватерную струю. Паром давно ушел к Кадакесу, а волны еще плескали о берег, словно сам Посейдон напоминал, что я спасся только чудом.

Салли с сигаретой спустилась ко мне. Соломен-

ные рога так и торчали над ее белыми волосами.

— Время отдыха… — она присела рядом. — Боже, как же я облажалась. Вы с Мириам… должно быть, в этом что-то есть.

— Скажи, если узнаешь что. Мы с 1957-го ищем.

Салли подбросила в воздух соломенные рога.

— Они удивительные, вот что я тебе скажу. Все у них превращается в праздник. Если бы у меня детство было таким веселым.

Под эти тоскливые слова она смахнула лезущие в глаза волосы, чуть не опалив кончики сигаретой. Бесконечно терпеливая с Генри, Элис и Люси, Салли легко срывалась на собственное тело, словно усталая мать на бесчувственного ребенка, не замечающего, как ей плохо. Она до мяса обгрызала ногти, и левый сосок у нее был стерт до красноты. От ее бикини поднимался слабый запашок старой спермы, и я догадался, что она не первый день забывает сменить трусики.

— Где ваша квартира? Не могу ее разглядеть.

— Следующий дом за отелем с вывеской… если не перенесли. Надо было взять пару палаток и ехать прямо сюда.

— Здесь здорово. Мне больше всего нравится Гозо — остров Цирцеи. Я пила из ее источника.

И Руанда. В прошлом году я собиралась поселиться с ватуси[70]. — Она налепила на ногу песок, словно готовя себя для раскрашенного белой глиной мужа. — Мириам говорила, что ты родом из Китая.

— Давно уехал. Уже обжился в Англии.

— Тебе нравится?

— К этому надо привыкнуть.

— Может быть, это и хорошо. Может, тебе нужно чувствовать себя беженцем.

— А тебе?

Она поморщилась: сквозь дым блеснули американские зубы.

— Я все жду. В наше время на востоке редко увидишь звезду. Иногда кажется, что всюду, в общем, одинаково. Мириам говорила, вы хотели купить травки?

— Только если у вас есть лишняя. Она кажется себе слишком добропорядочной.

— Травка хороша к сексу… — Салли лежала на боку, касаясь грудью бутылки с пивом в моей руке. Сквозь зеленое стекло сосок казался мне увеличенным. Она отдала мне сигарету, и я под ее взглядом затянулся неплотно набитой смесью

---

[70] Примечания: 70

Порода крупного рогатого скота, выведенная в Африке. — *Прим. ред.*

конопли с табаком. Детей не видно было из-за мыса. Мириам что-то делала в патио, и пустой пляж предостерег бы в случае чего нас, лежащих среди сухой травы. Салли взяла у меня с ладони оливку, прихватив губами большой палец. Она ждала, но я чувствовал странное стеснение, как девственник, не знавший женщин. Все восемь лет брака я был верен Мириам и знал ее тело куда лучше собственного. Тело другой женщины, не говоря уж о ее эмоциях и потребностях, было непостижимой тайной.

— Ну, пойду обратно к чудовищам. — Салли встала, смахнула с бедер песок и коротко улыбнулась, без всякой обиды стирая отвергнутое предложение.

Она зашагала по берегу, и я пошел за ней, отстав на пятьдесят шагов — задержался, чтобы стереть с лица виноватый пот. Я с удивлением заметил, что дрожу от злости на себя — я был верен Мириам, но чуточку менее, чем мне представлялось.

Когда я добрался до хижины, Джуберты вылезали из «ситроена», зажав под мышками хлеб, тапас и дешевое вино из бакалеи. Лайкьярд проводил урок биологии: дети стояли в ряд, зачарованно глядя на ящерицу у него в руках, а Салли корчила им рожи у него из-за плеча.

Волна, поднятая паромом в Эстартит, ударилась в берег. Мириам шла через дворик, чтобы выполоскать в море купальник. Прыгнув через ступеньку, она поскользнулась на гладком камне. Правая нога поехала в сторону, и Мириам тяжело упала на лесенку.

На стук головы о камень обернулись все. Когда я добежал до ступеней, она лежала в полуобмороке, глядела мне в лицо и не узнавала. Бедро у нее вывернулось, из глубокого пореза на щиколотке бежала кровь.

Лайкьярд оказался рядом, махнул ящерицей на детей, чтобы не подходили, и забросил ее в море. Я перевернул Мириам на бок, нащупывая сломанную кость. Она, еще оглушенная, схватилась за мое плечо и села. Ее бледное лицо стало маленьким, она часто и неглубоко дышала.

— Боже, как свалилась, — выдавила она. — Вот дура, и куда меня понесло?

— Любимая, ты в порядке? Нога…

— Страшно болит. Не волнуйся, Люси. Мама сглупила и упала. Господи, голова… и зачем я выкладывала эти ступеньки…

Мы с Салли помогли ей добраться до патио, усадили в плетеное кресло. Мириам дрожала, волосы прилипли к голове. Она взяла Генри за

руку. Я как мог удерживал ее содрогающиеся плечи, пока Салли промывала рану смоченной в минеральной воде тряпицей. Когда Мириам повернулась, чтобы поцеловать Генри, я увидел набухающий под неповрежденной кожей синяк за правым ухом.

Лайкьярд уже надел джинсы и сандалии. Он что-то сказал Джубертам и вытащил бутылку, но Мириам отмахнулась от вина. Она успокаивала детей — лицо у нее было таким же маленьким, как у них, взгляд все обращался к лестнице, словно она заново повторяла неудачный шаг.

— Я отвезу ее домой, — предложил Лайкьярд. — Ребят прокатим на машине, а ей будет удобнее в лодке.

Салли с Джубертами помогли мне уложить Мириам в лодку. Мы оттолкнулись от берега, оставив на песке корзинку для пикников и вещи — волны уже промочили полотенца. Мириам помахала забиравшимся в машину детям и неловко уцепилась за борта лодочки. За время короткого плавания ее как будто оживил морской воздух, и она уверенно улыбнулась мне, виновато подняла брови. Но пока я вытаскивал лодку на пляж, Мириам потеряла сознание, и пришлось уложить ее под зонтами и взглядами загорающих, пока не

отдышалась.

Ей хватило сил добраться до лифта, но, открывая дверь квартиры, я почувствовал, что она лишь наполовину узнает знакомое место. Я стал звонить в бюро, узнавать телефон местного врача, а Мириам, выйдя на балкон, моргала, разглядывая людный пляж. Когда через час приехал врач, она лежала в нашей постели и слабо улыбалась голосам детей с балкона Нордландов. Доктор медленно, но скрупулезно осмотрел ее, ободряюще потрепал меня по плечу и заговорил с Лайкьярдом по-испански. Практикант-медбрат должен был остаться и наблюдать Мириам до вечернего визита доктора.

Практикант остался у постели Мириам, а я вышел на кухню и приготовил детям ужин, отнес на подносе в апартаменты Нордландов. Когда я вернулся, практикант был у телефона. Он поговорил с врачом и велел мне сохранять спокойствие, пока он вызывает «Скорую». Я прошел в спальню и коснулся лба Мириам. Она уже не владела левой рукой и ногой, постоянно проваливалась в неглубокие обмороки и слабо улыбалась, приходя в себя. При виде меня она нахмурилась одной половиной лица и маленькой ладонью коснулась своего онемевшего тела. Пока ехала «Скорая»,

я обезумел от паники. Шофер с санитаром собирали разваливающееся инвалидное кресло. Пока они переругивались, я поднял Мириам и на руках отнес к лифту. Она как сквозь туман следила за огоньками коридорных лампочек. Тело было холодным, словно после нескольких часов в море. Мы устроили ее в машине «Скорой помощи», отмахнулись от возвращавшихся с пляжа туристов и оглянулись на застывших на балконе Нордландов детей.

Мириам их уже не видела. Я услышал, как за спиной закрываются двери машины, увидел неуверенно улыбающегося Лайкьярда. Он поднял сжатый кулак, желая мне удачи. Я пристроился на откидной стул рядом с санитаром, который укутал Мириам одеялом и теперь готовил кислородный баллон. Мы, завывая сиреной, виляя в потоке машин, понеслись по дороге на Фигуэрас. Я разминал Мириам икры, пытался нащупать пульс в ногах. На ее лице под кислородной маской проступил пот. Лицо стало маленьким, как у новорожденной Люси. Только правый глаз еще видел и шарил по тюлевой занавеске на окне машины. Мириам заставляла себя дышать, но ее грудная клетка опала.

Мы встали за автобусом, перегородившим до-

рогу к арене боя быков. Санитар открыл заднюю дверь и набросился на водителя, слишком медленно уступавшего нам дорогу. До больницы мы добрались через десять минут, когда наконец рассосалась толпа расходившихся со стадиона футбольных болельщиков. Продавцы цветов у касс заворачивали нераспроданные букеты, а продавцы газет складывали металлические стеллажи. Но Мириам к тому времени уже умерла.

8
Доброта женщин

Доброта женщин пришла мне на помощь, когда я почти утратил надежду. За несколько недель я убедился, что потерял не только Мириам, но и всех женщин мира. Непреодолимая пустота отделила меня от подруг Мириам и других знакомых женщин, словно те решили отгородить меня тщательно охраняемыми кордонами. Позже я понял, что они держались поодаль, в соседней комнате моей жизни, ожидая, пока я совладаю с гневом на себя. Тогда они вышли и сделали все, чтобы мне помочь. Доброта женщин и любовь к детям направляли меня на безопасный путь в долгие первые месяцы.

Последние дни в Росесе, когда Нордланды помогали мне укладывать вещи, я смотрел с балкона на растянувшихся на пляже туристов, исполняющих роли в той жуткой имитации реальности, какой стала жизнь. Солнце освещало те же зонты и водные велосипеды, но все переменилось. За несколько часов после смерти Мириам весь женский пол мутировал в существ другого вида. Женщины над тарелками креветок в пляжных кафе избегали моего взгляда, облизывая испачканные красным пальцы. Обналичивая дорожные чеки, я заметил, что тела женщин, стоящих в очереди у стойки, утратили запах. Даже миссис Нордланд с ее решительной улыбкой и привязанностью к детям, на меня смотрела взглядом иностранного спасателя.

Только немка — секретарша сеньора Роблеса осталась сама собой. Проверяя по списку обстановку апартаментов, она заглядывала в затемненную спальню, вообразив, очевидно, что Мириам умерла там у меня на руках. Открыв зеркальный шкафчик в ванной, она пробежала пальцами по ряду стаканов для полоскания.

— *Nix kaputt?*

— *Kaputt nix*[71].

Она устремила на меня один из тех взглядов, которые вскоре начали меня злить: смесь любопытства и отчуждения. Взгляд зеваки на месте преступления. Мне хотелось схватить ее за руку и вывернуть локоть, чтобы вдохнуть запах ее подмышки, хотелось втиснуть ей пальцы в ягодичную борозду. Эта наглая женщина вызывала во мне такую неприязнь, что я мог бы заняться с ней сексом, пока дети ждали с Нордландами в машине. Мне хотелось убедиться, что хоть одна женщина еще существует. Но она сбежала от меня в коридор и стала спускаться по лестнице, чтобы не оставаться со мной наедине в лифте. С ее точки зрения, смерть моей жены оставила насильника на свободе.

Росес и похожие на ящериц скалы мыса Креус остались позади — мы ехали к Фигуэрасу, к границе с Францией. Курортные пляжи Коста Брава, отели и кафе скользили мимо как сон, превосходящий дикостью картины Дали: видение конца света, исполненное в грязном песке, в вони солнечной смазки и террасах с переизбытком голого мяса. Мы проехали ворота муниципального

[71] Примечания: 71

— Ничего не сломалось?

— Ничего не сломалось *(нем. диалект.). — Прим. ред.*

кладбища Фигуэраса и длинную аллею кипарисов, ведущую к беленым стенам и фигурным портикам фамильных склепов. Мириам похоронили рядом, на протестантском кладбище, сухом и голом. Там покоились под скромными плитами несколько испанцев-антиклерикалов и английский юноша-яхтсмен. Бросив последний взгляд назад, я повернулся на север, к Пиренеям, к Франции и дому.

Дети сидели на заднем сиденье и всю дорогу до Ла-Манша играли — будто выполняли домашнее задание. Оглушенный потерей Генри молчал, но Элис и Люси скоро приняли командование. Они уже тогда больше заботились обо мне, чем о себе. Милю за милей они помогали мне разбираться в дорожном атласе, выбирали, в каком отеле остановиться на ночь, и стерегли бутылку виски, которую я зажал между коленями. Их здравый смысл и бодрость заложили фундамент, на котором мы отстраивали нашу общую жизнь.

Во время поездки я ничего не помнил, кроме последних минут с Мириам и похорон. Природа совершила преступление против моей молодой жены и детей, и я в смятении и гневе винил не только себя — за то, что привез Мириам в Росес, — но и поросшие виноградником холмы,

деревья, пасущийся скот. Через час после смерти Мириам была воплощением ярости. Она лежала в приемном покое больницы, запрокинув голову и выпятив грудь. Приоткрытый в оскале рот очертил напряженные мышцы губ и горла. Она выпятила челюсть, стиснула зубы в смертном крике.

Нордланд помог мне добраться до похожей на собор похоронной конторы в Фигуэрасе. Мы прошли между ярдами нарядных готических гробов — как мимо церковных скамей, расставленных перед святотатственным алтарем из черного мрамора. Я подумал, что Мириам вполне подходит уйти в землю в гробу, похожем на реквизит к фильму ужасов.

Но вернувшись в больницу вечером, я нашел ее совершено переменившейся. Боль и страх последних мгновений, когда разбитый мозг проваливался внутрь себя, ушли. Лицо расслабилось, кожа вновь стала мягкой и белой. Ей расчесали волосы, а щеки и губы стали маленькими и гладкими, как у девочки, подарив мне последний отблеск ее растворившегося детства.

На следующий день гроб на тележке прикатили на протестантское кладбище. Железные заступы звенели по пыльному гравию. Дети стояли рядом

со мной, одетые в праздничные наряды, и я надеялся, что они никогда не услышат ярости из-под крышки гроба. Молодой испанский священник отказался от ломаного английского и перешел на сочный каталонский, запрещенный некогда генералом Франко. Темные созвучия этого языка были языком мертвых. Мириам никогда не говорила на нем. Салли Мамфорд стояла с Лайкьярдом и Джубертами. На меня они не смотрели. Салли курила и поглядывала на могилы так, словно ждала, что каменные плиты распахнутся и яростные мертвецы бросятся на нас.

Могильщики налегали на заступы. Первые камни ударились в крышку как первый стук в дверь. Нордланд подал заступ мне, и я бросил на гроб две лопаты комковатой земли. Мы вместе ушли с кладбища и проехали сквозь толпы болельщиков, словно оставив позади преступление.

Через три дня пути по суше и морю мы вернулись в Шеппертон. Долгие французские дороги помогли мне выстроить в голове перспективы. Прошлое, к которому я в день свадьбы повернулся спиной, догнало меня и встало за плечом. Смерь Мириам вновь воссоединила меня с безымянными китайцами, умершими во Вторую мировую. Мне вспомнились пыльные мертвецы у разби-

тых машин на Эдуарда Седьмого и выпяченный подбородок китайского клерка на сельском полустанке: первые репетиции вечера в Фигуэрасе. Вернулся образ белых как кость рисовых полей, жемчужный свет, лежавший на Лунхуа после взрыва в Нагасаки. Кеннеди при Карибском кризисе заставил Хрущева первым отвести взгляд, но американские бомбардировщики все еще стояли на плоских полях у Кембриджа, и царство света готово было родиться из бетона аэродромных перронов.

У ворот дома мы увидели сестру Мириам, Дороти, и ее мужа. Оба весело махали нам. Они приготовили лакомства и сюрпризы для детей, накрыли обед и заранее откупорили бутылки вина. Я был благодарен им и крепко обнял Дороти. Но эхо костей Мириам в лепке ее лица и кембриджская накрахмаленность ее выговора вызвали во мне ощущение параллельного мира, изо всех сил подделывающегося под оригинал.

Пока дети разворачивали подарки, я, оставив Дороти с Брайаном, поднялся наверх. Неопрятная комната, разбросанные игрушки и одежда, любимый, но отвергнутый в последнюю минуту плюшевый мишка застыли в минуте нашего отъезда четыре недели назад. Я встал у туалет-

ного столика Мириам, глядя на хаос косметики, гребешков, на прошлогодний флакон масла для загара со сломанным колпачком. Отпечатки ее пальцев остались на слое талька, покрывшего стеклянную столешницу; призрак ее губ — в красном пятне на мятой салфетке.

Я открыл средний ящик, набитый старыми счетами за телефон, тампонами и школьными табелями, сколотыми булавкой старыми лифчиками и верным голландским чепцом, много лет хранившим запасные ключи от машины. Я вывернул на пол корзину для мусора и просеял сквозь пальцы клубки волос и тюбики из-под контрацептивного геля, разорванные подвязки и ажурные чулки, которые она надевала на вечеринки, а потом раскидывала по всей спальне. Я поднес чулок к губам и вдохнул запах бедер Мириам. Тот же запах тела поднимался от подушки и приветствовал меня, когда я открыл шкаф с ее платьями. Ее присутствие наполняло дом как сонмы призраков.

Их нужно было отпустить. Я открыл окна и стал смотреть, как облачка талька и пыли взлетают в воздух, возвращаясь домой, в Фигуэрас. В саду дети разыскивали старые игрушки. Брайан косил газон. Элис переставляла мебель в своем домике

на дереве, выбрасывала наружу карточный столик и стулья, словно затеяла весеннюю уборку перед введением нового домашнего распорядка. Генри нашел не до конца сдувшийся воздушный шарик и прыгал на нем, а Люси испытывала качели, взлетая к новым высотам. Глядя на них, я ощутил на губах первую улыбку. Я знал, что эти дети отважнее меня: за долгий путь домой они ни разу не заговорили о матери — первый из множества заговоров молчания, которые нам предстояло заключить. Я сидел на кровати, а запах тела Мириам уплывал с летним ветром.

Дороти отнесла в кухню остатки холодной говядины. Она была на три года старше Мириам и значительно серьезнее — уже стала партнером в кембриджской юридической конторе. На нашей свадьбе она улыбалась и качала головой, когда я целовал невесту — явно не верила, что я поспею за ее пылкой сестренкой.

Я выпил рюмку беспошлинного виски и задумался, налить ли вторую. Дороти, придержав меня за руку, налила стакан.

— Давай, ты заслужил. Кошмарная, надо думать, была поездка.

— Мы совсем заблудились под Пуатье. Скажу тебе, нас спас французский язык Генри. А я было

уже думал, не повернуть ли назад.

— Надо было повернуть… Нет, что это я? — спохватилась Дороти. — Брайан спрашивал, собираетесь ли вы переезжать?

— Из Шеппертона?

— Или хотя бы из этого дома — чтобы начать с чистого листа.

— Нет… — Я следил за усердно прибиравшими домик девочками. За дождем сухих листьев последовали мягкие игрушки: верные друзья прежних лет вниз головами летели на свежевыкошенный газон. Женщины с малых лет беспощадны. Им иначе нельзя. — Мы уже начинали с чистого листа. Лучше останемся здесь и взглянем правде в глаза.

— Ты оставишь детей?

— Конечно. Это входит в договор.

— Тяжело будет. Мы с Брайаном могли бы взять девочек.

— Спасибо, но нет. Будем держаться вместе.

* * *

После обеда, когда Брайан увез детей в чессингтонский зоопарк, мы с Дороти взялись прибирать комнаты. Вынося разбросанные игрушки и одежду, я чувствовал себя рабочим сцены, меняющим

декорации. Все кренилось под непривычным углом. Даже сходство Дороти с сестрой, эхо широких скул и маленьких рук Мириам, ее сильная походка, четкие бедра усиливали чувство, что мы — дублеры, репетирующие эпизод, играть который предстоит другим.

— Хочешь, займусь спальней? — Дороти смотрела на заваленный мелочами столик и шкаф. — Боже, как это грустно. Выбрось все это, Джим. Вынеси все. Отдай одежду беднякам.

— Не волнуйся, так и сделаю. Мне нужно немножко времени. Это все, что осталось.

— Не все.

Дороти взяла меня за плечо, вытаскивая обратно в настоящее. Я положил ладони ей на талию. Отчаянно хотелось обнять. После призрачных женщин Росеса твердые бедра и уютная грудь Дороти были совершено живыми. Я прижал ладони к ее лопаткам, отыскивая знакомые очертания, узнавать которые меня выучила Мириам. Дороти напряглась и отстранилась, встревоженная дрожью моих рук. Потом приникла ко мне, прижалась щекой к щеке, остужая разгоряченное лицо.

— Хорошо. Пойдем в комнату Генри.

— Нет, здесь. В постели Мириам.

Я, сдерживая себя, развязал ей передник и скользнул ладонью под рубашку, ощутив гладкую кожу спины и сильные ребра. Присел на неубранную постель с простынями, смятыми в последнюю ночь перед отпуском, и прижался лбом к ее бедрам. Дороти спокойно позволила себя раздеть, обняла ладонями за щеки, пробежала пальцами по губам, дав вдохнуть запах. На ее левом плече виднелась незнакомая родинка, и все равно я на миг поверил, что она — Мириам. Я целовал ее половые губы, потом усадил к себе на колени, лаская вульву так, словно невесть сколько раз рукой любящего мужа раздвигал ее губы в этой спальне. Когда я припал губами к ее соскам, она утерла мне пот со лба и потянула на подушку Мириам.

На эти несколько минут долг перед детьми покойной сестры пересилил в ней верность мужу. Она встала надо мной на колени, приспосабливаясь к моему, более широкому туловищу. Я в изнеможении, обессилев от возбуждения, отчаянно стремясь к этой доброй женщине, попытался втиснуть ей в вульву свой вялый пенис. Улыбнувшись рассеянно, но обнадеживающе, Дороти взяла пенис из моих пальцев и принялась массировать головку ладонями. Послюнив кон-

чики пальцев, она смочила вход в вагину, ввела в себя мой пенис, глянула в окно на проезжающую машину и поднесла грудь к моим губам, словно кормилица, нянчащая больного младенца соседей. Когда я кончил и откинулся на подушку, она легла рядом и придерживала мою диафрагму, пока я не выровнял дыхание. Я запустил пальцы ей в вульву и попробовал на вкус сладкую влагу, чтобы вспоминать ее в предстоящие пустые месяцы.

Дождавшись, пока я буду готов, Дороти подала мне одежду и молча начала прибираться на туалетном столике, выстраивая в ряд косметику и щетки для волос. Она протерла заляпанное пальцами зеркало, и я благодарно обнял ее прежде, чем она в последний раз вышла из спальни.

* * *

С того дня я почти год хранил целибат. Мы с детьми часто бывали у Дороти и ее мужа, но любовью с ней больше не занимались. Она выполнила обязанность перед мертвой сестрой, успокоила ее овдовевшего мужа и напомнила ему, что Мириам жива в нашей любви и общих воспоминаниях. Здороваясь, Дороти коротко обнимала меня, оживляя связь между пропав-

шей сестрой и женщинами, который я узнаю в будущем.

Но я, как ни нуждался в других женщинах, не мог к ним приблизиться. Друзья заботливо приглашали меня на вечеринки, но бездна времени и боли разделяла меня с бывавшими там женщинами. Я был неуклюж, не находил слов — и проходил мимо них, пьяный от сексуального желания.

Однажды, зайдя в спальню Дэвида Хантера, я оказался наедине с одной из его приятельниц по авиаклубу, молодой вдовой сержанта королевской авиации, убитого на Кипре. Я догадывался, что Дэвид поручил ей вернуть меня к жизни. Пока он стоял на часах в коридоре, делая вид, будто обсуждает запуск «Меркурия» с пишущим о космосе журналистом, женщина прислонилась к двери и притянула меня к себе на колени. Я обнял узкие плечи — так, будто утешал упавшую дочь. Я прижался щекой к ее губам и ощутил, как они скользнули к уху, как зубы прикусили мочку. Не дождавшись ответа, она запустила руки за пояс брюк, проникла пальцами между ягодиц. Оттянула мне рубашку и принялась пальпировать кожу, словно ощупывала раненого любовника. Она терпеливо дожидалась эрекции, но все же сдалась

наконец, пожала плечами, весело чмокнула меня в лоб и выскользнула за дверь.

Может быть, природа методом проб и ошибок определила, что я не гожусь ни в мужья, ни в отцы и вычеркнула из списков, чтобы я не принес еще больше вреда? Действительно, многие считали, что мне не следует заботиться о детях. Но у меня ничего не осталось, кроме Генри, Люси и Элис, и я не сомневался, что смогу дать им счастье. Мы готовили в тесной кухне по невероятным рецептам девочек, спорили у телевизора и вместе делали домашние задания. Генри, лучше всех помнивший мать, иногда грустил, поэтому вечерами я уносил телевизор к себе в кабинет и садился с ним на диван, обнимая за плечи, пока сын смотрел одну из любимых комедий. Однажды вечером я наконец услышал его смех.

Каждый день был, как пещера Аладдина, полон интриг и восторгов. Элис с Люси — семь лет и четыре года — вскоре взяли все в свои руки, решая, когда нам идти за покупками, когда в гости, нужно ли мне от них отдохнуть или пора устроить тарарам. Они уже примеряли ко мне матерей своих школьных подружек, подбивая меня на легкий флирт и блаженно отмахиваясь от такой мелочи, как наличие мужей. Я забирал их из

школы и вздрагивал от облегчения, когда дети шумно забирались в машину — словно разлука длилась не один месяц.

Больше всего они ненавидели любой намек на ущербность нашей семьи. Слишком многие, руководствуясь народной мудростью или модными веяниями детской психологии, полагали, что потеря матери неизбежно наносит неисцелимую рану и что даже самый любящий отец не заменит детям мать. Даже Пегги Гарднер, работавшая педиатром в лондонской больнице Гая, видимо, разделяла этот взгляд. Заезжая в Шеппертон, она снисходительно смотрела на неопрятные комнаты, заваленные детскими рисунками и самоделками, находя в этом разгроме отражение глубокого кризиса несчастной семьи.

Пегги так и не вышла замуж, хотя к ней выстроилась длинная очередь мужчин, и с детьми она прекрасно ладила. Мириам питала к ней смутное недоверие, потому что знала: Пегги была первой женщиной, которую я возжелал, и наши отношения, даже при невозможности секса, зашли далеко. В то же время ей было любопытно проникнуть за стену самоконтроля, которой Пегги отгораживалась от мира. Добропорядочность покорила Пегги — здравый смысл, терпимость и

понимание совершенно испортили ее.

Через полгода после нашего возвращения из Испании она заглянула к нам по дороге с конференции в Бристоле. В костюме для доклада, с портфелем в руке она с улыбкой присела на диван, пока Люси освобождала ей место. Окруженная расставленными строго по старшинству куклами и мишками Люси, Пегги сама немного походила на мягкую игрушку. Я видел, что мои растущие без матери дети, как всегда, напоминают ей Лунхуа.

— Как хорошо, Люси, — Пегги улыбнулась строю кукол. — Я среди милой маленькой семьи!

— Ты не член семьи, — сообщила ей Люси, — но ты старше всех.

— И умнее всех, — вставил я.

Люси выправила помятого кенгуру.

— Миссис Ру намного умнее — она предсказала папе будущее.

— И что же она нагадала?

— Он проживет до ста лет.

— Чудесно. Думаю, он будет жить вечно.

— Нет, — твердо глядя мне в глаза, возразила Люси, — вечно он жить не будет. Только почти вечно.

Когда Люси ушла, Пегги улыбнулась старень-

ким, но бодрым куклам как модели моей семьи.

— Люси милашка. Они все такие. Ты потрясающе справляешься. Ума не приложу, когда успеваешь писать?

— Они ходят в школу.

— А когда дома? Непрерывный тарарам.

— Мне нравится… — Я чувствовал, что меня загоняют в знакомый угол. — Кто-то пишет под Вивальди, а мне нравится слушать, как играют мои дети. Ничего ненормального в этом нет.

— По-видимому, метод работает. Ты очень мужественный.

— Пегги! — Я в раздражении отобрал у нее бокал вина. — Ради бога! Мужчины способны любить своих детей!

— Только не те, которых я вижу в больнице.

— Им не дают такой возможности. Все социальные условности против них, можешь мне поверить.

— Верю — но условности изменить не просто.

— Женщины и не хотят их менять. Чтобы качать колыбель, нужна всего одна рука, и женщины хотят, чтобы это была их рука.

— Женщины, которых я вижу, только и думают, как бы сбежать из детской.

— Правда? Почти все женщины считают, что

мне не следовало бы самому растить детей. Им это кажется неестественным. И даже тебе.

— Это необычно.

— Посмотри на мужчин на пляже, когда им позволяют играть с детьми. Большей любви и заботы и представить невозможно, а женщины тем временем занимаются расплывшейся помадой!

— Мне кажется, у тебя здесь как на пляже. — Пегги пила вино и рассматривала листки на стенах: дикие картины горящих самолетов, сбрасывающих атомные бомбы. — Работа Генри?

— Он уже лучше. Намного счастливее. Мы много читаем с ним и играем. Я стараюсь пореже уходить из дома.

— Тебе нужно разнообразие.

— Разнообразия мне хватает. Все как в старые времена. Каждый день новое приключение.

— Все равно, не можешь же ты все время нянчиться с детьми.

Я сел на диван и взял Пегги за руку.

— Пегги, я не нянчусь. Я не могу и не пытаюсь занять место Мириам.

— Ты до сих пор тоскуешь — я вижу.

— Конечно… я так многого не сделал для нее. Паршивый из меня был муж.

— По крайней мере, ты ее любил. Думай о ней

сколько хочешь.

— Я и думаю. Я тебе скажу, смерть жены — это сплошной секс. Все время вижу ее в диких снах: как она ходит по спальне в Росесе или на арене в Барселоне. Сны, полные крови и мертвых быков. Я даже в Лунхуа ее видел: она шла по рельсам к тому полустанку. Каким-то странным образом и в это замешалась. Во все эти бессмысленные смерти, полные глубочайшего смысла.

— Ты не думал снова жениться?

— Мало кто пойдет за мужчину с тремя детьми. Я каждый раз злюсь при виде парочек в машине. Как будто они виноваты…

Пегги положила руку мне на плечо. Я смотрел на ее пальцы, не изменившиеся со времен Лунхуа. Когда я лежал в горячке в детском бараке, она разговаривала со мной тоном благоразумной школьницы, пытаясь объяснить каждое бредовое видение. Я ощутил увеличенный сустав запястья: мыщелок треснул, когда я прищемил ей руку дверью.

В детской спорили над игрой в «Монополию» дети. Элис учительским тоном объясняла смысл пропуска хода. Генри желал делать ходы против часовой стрелки. Пегги улыбнулась, не выпуская моей руки, но когда я коснулся ее бедра, отстра-

нилась.

— Пегги…

— Понимаю. В глубине трусов что-то шевельнулось. Мне пора идти.

— Останься на ночь. Почему бы и нет?

Она взяла сумочку.

— Мне надо в Гай. Кроме того, эти сны для тебя одного…

Я подождал, пока она попрощается с детьми. Может, Пегги догадывалась, что я окажусь импотентом, и щадила меня? Слишком близки мы были в Лунхуа. В вынужденном браке двух детей обнаружилось слишком много недостатков и ограничений.

Она пожала мне руку через окно машины — одного из первых импортных японских автомобилей. Странный выбор.

— Все у тебя хорошо — дети о тебе чудесно заботятся. Я поговорила с Люси и Элис — они постараются, чтобы ты чаще выбирался из дома.

Я смотрел, как она отъезжает, как нервно правит машиной. Конечно, она была права — это дети меня растили. Они примирились с прошлым гораздо скорее, чем их отец. Я освободил шкаф, но иногда замечал, что любопытные пальчики теребят подол юбки в щели чемодана, куда я сложил

одежду. Однажды, приводя в порядок садовую изгородь, я заметил, что дети странно притихли. Поднявшись наверх, нашел их в спальне. Они отыскали свадебное платье Мириам, и Элис теперь выступала в нем, спотыкаясь на высоких каблуках, а Люси изображала подружку невесты. На Генри была моя старая шляпа и вечерний пиджак. Дети, сияя от восторга, шествовали вокруг кровати, кланялись и делали реверансы, разыгрывая венчание. Потом Элис растянулась на кровати и закрыла глаза, а Люси с Генри торжественно укрыли ее покрывалом и оставили покоиться на ложе.

Я, не сказав ни слова, бесшумно спустился вниз. Я знал, что они изображали. Через час платье вернулось в чемодан. Несколько блесток конфетти с его подола остались на ковре у моих шлепанцев.

Сам я приходил в себя дольше — мешало еще и то, что почти все из добрых побуждений отказывались упоминать о смерти Мириам. Мои чувствительные друзья и сотрудники сговорились вести себя так, будто Мириам не выпала за окно времени и пространства. Их молчание напоминало мне жестокую детскую игру: мы, не предупредив кого-то из товарищей, притворялись, что его больше нет, беднягу не замечали,

смотрели сквозь него, не принимали в игру. Я с завистью вспоминал сложные похоронные обряды китайцев: публичные причитания вдов, столь презираемые европейцами. Наблюдая, как потрясенная Америка всенародно оплакивала президента Кеннеди, я готов был позавидовать его несчастной жене. Каждый миг ее горя без конца воспроизводили по телевидению и анатомировали в эфире. Смерть ее мужа, как и устранение убийцы, повторяли в замедленном темпе, кадр за кадром из снятой Запрудером ленты. Она носила забрызганную кровью мужа юбку — и это было как крик ярости против мира, сделавшего ее вдовой.

* * *

Однажды вечером после одиннадцати месяцев непрерывного целибата лондонский издатель, живший тогда в Нью-Йорке, вывез меня в турне по стрип-клубам Сохо. Этот худший образчик манхэттеннизированного англичанина, слопав порцию камбалы под шабли, поволок меня от клуба к клубу. Поначалу я пытался ускользнуть от него, потом мне стало любопытно наблюдать за собственной реакцией. Молодые стриптизерши на крошечных сценах-будуарах повторяли

заученные номера, старательно улыбаясь стиснутым в рядах бледным мужчинам. Лаская себе груди и ягодицы, мастурбируя на несколько ритуальных секунд обнаженную вульву, они отражали похоть зрителей так же формально, как стюардесса перед взлетом проводит инструктаж на случай катастрофы. Я ждал, что они возбудят меня, однако в стриптизе было не больше пыла, чем в лекции по мочеполовой системе в анатомическом театре.

— Сколько ты без женщины, Джим? — спросил издатель.

— Давно.

Он объяснил, что турне по Сохо — всего лишь десерт перед эксклюзивным борделем, рекомендованным ему британским уголовником, чьи мемуары он издавал. Но он был так пьян, что хорошо бы, хоть до своего отеля добрался. Глядя, как он разглядывает девушку-подростка с глазами кобры, массирующую себе анус указательным пальцем, я догадался, что этот суррогатный секс ему дороже настоящего. Выставка жестокости возбуждала больше, чем жестокость.

Когда я расставался с ним у дверей такси, он опустил тяжелую руку мне на плечо, силясь проникнуть в суть моего прискорбного состояния.

— Может быть, Джим, тебе просто больше не нравятся девушки?..

* * *

Я ушел от него под шатер кинотеатра, рекламирующего первый фильм из серии «Собачий мир» — стилизации под документальные съемки, где хроники жестокости чередовались с кадрами подлинных человеческих причуд. На газетной стойке рядом с полотняным навесом был наклеен спецвыпуск, посвященный убийству Кеннеди. Зернистые увеличенные копии кадров Запрудера воссоздавали последние минуты президента. У площади Пикадилли участники движения за ядерное разоружение призывали на антивоенный митинг, намеченный на Трафальгар-сквер. Упитанная молодая дама сунула мне в руку листовку с фотографией, изображавшей действие водородной бомбы: сотни добровольцев лежали на нетронутой улице.

Воображение этих благополучных горожан вспламенялось видениями апокалипсиса. Я вспомнил другую атомную бомбу, взрыв которой над Нагасаки якобы видели многие заключенные Лунхуа — бомбу, которая спасла нам жизнь. В едком грохоте музыкальных автоматов, глядя на

девушек, качающих бедрами в такт Трини Лопес, я готов был поверить, что Третья мировая война спасла бы Мириам, а следующая за ней способна поднять ее из могилы. Тайная, еще не изученная мной логика связывала ее смерть с мертвецами на авеню Эдуарда Седьмого, словно неосознанные потребности человечества могли воплотиться только во всесокрушающем сексуальном апокалипсисе, воссозданном в бесконечном множестве стоп-кадров. Фрагменты разбитой мечты кружились в ночном воздухе под ядовитым неоновым светом.

* * *

Этот едкий свет еще застилал мне глаза, когда я на следующее утро подвел детей к школьным воротам. Вернувшись к машине, я заболтался с матерью двух одноклассников Люси. Мы обсудили костюмы для рождественского праздника — она помогала в подготовке.

Той женщине так хотелось показать эскизы, что она пригласила меня выпить кофе у нее дома. Жила она рядом.

За кухонным столом она рассказала, что рассталась с мужем, но белье в стирку тот до сих пор носит домой. Кажется, эта ситуация ее забавляла.

Не дожидаясь вопросов, она пояснила, что они занимались любовью в кухне, пока крутилась стиральная машина.

— Домашние обычаи все переживут, — заметил я. — Мне это нравится. Трогательно.

— Да, правда ведь?.. — Она включила стиральную машину. — Кстати, вам ничего не надо постирать?

— Нет… разве что носовой платок.

— Он немножко заношен. Давайте простирну.

Пока машина крутилась, помахивая нам из затонувшего мира белым флагом моего платка, я усадил ее на кухонный стол, не многим менее тесный, чем сцены стрип-клубов. Ее короткая кожаная юбка стягивала колени, обнявшие мои бедра. Ее руки легли мне на грудь, словно снимая мерку для новой жизни, в которую я готовился нырнуть. Я был благодарен за то, как легко она говорила о Мириам, с которой была хорошо знакома, и за то, что она так умело меня направляла. Эта женщина поняла, что меня проймет только легкий тон, столь же далекий от подлинных чувств, как клубы Сохо и реклама под шатрами.

Когда ее пальцы потянули вниз молнию брюк, я сказал:

— Надеюсь, что-то получится. Так давно ничего

не было…

— Три недели? Или три месяца?

— Одиннадцать месяцев.

— Младенцу давно пора родиться. Посмотрим, что мы можем сделать.

Она расстегнула мне рубашку и прижала ладонь к диафрагме.

— Боже, как напрягся… ну-ка, глубоко вздохни… — Она весело рассмеялась своей шутке. — Хорошо, мы хоть уже знакомы. В наше время начинают с секса, а потом уж берутся ухаживать.

— Я буду за тобой ухаживать.

— Молодец. Кажется, что-то происходит. Ну, ты еще не забыл, что делать дальше?

* * *

В ту ночь мне в последний раз приснилась Мириам. Я шел по шеппертонской улице, шел в магазин и увидел ее на переходе. Она была молодой и красивой — такой, как мне помнилась, и меня наполнила любовь и облегчение — мы еще увидимся. Я радовался, что кошмар последних месяцев прошел и мы снова заживем с детьми в нашем маленьком доме. Я окликнул ее, когда она уверенно шагнула на мостовую. Она обернулась,

весело улыбнулась, узнав, и пошла дальше. Я позвал еще раз, но она прошла мимо витрин и скрылась в потоке машин и пешеходов.

Проснувшись, я прислушался к спящим в соседних комнатах детям. Я лежал в темноте и понимал, что Мириам отпустила меня на свободу.

9
Чокнутые

— Ты их не бросишь!

Салли с гиканьем подбросила шестилетнюю Люси к себе на плечо, а Элис и Генри укутала складками длинной юбки.

— Салли, — беспомощно запротестовал я, — они еще малы для поп-концерта.

— Чушь! Едем все вместе. Не будем его слушать, да?

— Да! — завопили дети.

— Верно! Пальто, шарфы, а для папы — затычки в уши. Устрою пикник, если в этом заплесневелом холодильнике что-нибудь найдется…

Салли командовала. Я, как всегда, смотрел на нее с безмерным восхищением. Она подобрала юбку, открыв длинные белые ноги, и, морщась, присела перед открытым холодильником. Нару-

жу появились салями, бри, две бутылки белого бургундского.

— Так, это для нас. А чем ты кормишь чудовищ?

— Тостами с бобами и тому подобной гадостью.

— Слишком много мороки. Обойдутся салями.

— Они салями терпеть не могут.

— Полюбят как миленькие! Если запить стаканом вина. Это же их первый поп-концерт.

— И мой тоже.

— Отлично. Буду вытаскивать тебя почаще.

Салли облизывалась и тыкала пальцем, наскоро обыскивая холодильник. Погрозила мне вымазанным в сыре пальцем, слизнула с ярко напомаженных губ крошку капустного салата.

— Джим, вы слишком засиделись в Шеппертоне. Живете, как на затерянном в космосе астероиде. Пора вернуться на Землю.

Мне приятно было на нее смотреть, и все равно, подстегивал ли ее амфетамин или обычная американская развязность. Они приехали вместе с Питером Лайкьярдом, но он уже отбыл на концерт под отрытым небом на южном побережье Брайтона. Арт-лаборатория, где Лайкьярд работал директором экспозиций, организовала в пау-

зах чтение стихов и прозы, и Салли, наперекор голосу моего здравого смысла, уговорила меня участвовать. Невозможно было устоять перед вихрем ее доброжелательного энтузиазма.

— Тебе понравится… там и Берроуз будет.

— Великий человек. Но что мне читать?

— Что угодно. Сойдет один из твоих садомазохистских рассказиков. Аудитория там вполне старомодная.

— Как и я. Салли…

Но ее было не остановить. Отъезжая от Шеппертона на юго-восток, я ощутил тревогу, какую всегда ощущал, покидая этот городок на Темзе. Салли была права: два года после смерти Мириам я находил убежище в знакомых скверике и на заливных лугах, и это не прошло даром. Я теперь чаще выезжал в Лондон, но тихие улочки и кирпичные домики под главенством киностудии стали надежным центром моего я. В спокойствии телевизионного поселка сквозил свет, безмятежный, как на кукхэмских картинах Стэнли Спенсера[72].

В то же время я бывал благодарен каждому, кто выманивал меня в свет. Лайкьярд с Салли

---

[72] Примечания: 72

Стэнли Спенсер — английский художник, представитель магического реализма, мастер жанрово-бытовой картины.

возникли в дверях полтора месяца назад. Они привезли подарки и шутки для детей, которые с трудом вспомнили гостей, и бутылку японского виски для меня. Бутылку Салли откупорила еще в дверях. Лайкьярд просил меня написать текст к каталогу фотовыставки, посвященной убийству Кеннеди, но это был лишь предлог для визита.

Я был счастлив видеть обоих, хотя их хижина на острове и стала местом роковой случайности с Мириам. Глядя, как Салли хороводится с детьми, я осознал, как много места она занимала в моей памяти. Временами она наполняла детскую дымком, от которого ноздри детей вздрагивали как крылышки бабочек. Она втягивала их в сложные игры в слова, сочинила причудливое родословное древо для их последнего увлечения, семейства пластмассовых троллей, шокировала их сплетнями из телевизионного мира, в котором теперь работала сборщиком новостей. Никто в пределах слышимости не мог устоять против ее резких комментариев насчет войны во Вьетнаме, моды Карнаби-стрит, последних выходок президента Джонсона и британской полиции. Она внедрилась в свиту Дали в Порт-Льигате и теперь сыпала байками о нем — например, без видимого осуждения рассказала, как он любит

подглядывать за сексом молодых парочек.

Только когда заканчивалось действие очередной таблетки амфетамина, она становилась нервной и замкнутой, терла глаза, выжимая из них холод, и при первой возможности уходила в спальню с сумочкой и стаканом воды. Все же я всегда ждал ее приезда. Салли волновала меня так же, как раньше — Мириам, и я завидовал Лайкьярду, прочно овладевшему ее прихотливым воображением.

Шестидесятые годы были скроены как будто специально для них. Лайкьярд наполнял кабинет Арт-лаборатории дымом трубки, вел на стене дневник последних прорывов психоделиков, записывал свежие галлюцинации и выставки концептуального искусства, как метеоролог регистрирует непредвиденные летние циклоны. Выставки жесткостей войны во Вьетнаме, реклама перформанса в кабаре, где выступающий занимался самокалечением, воскрешение Арто проходили под его снисходительным взглядом, словно Лайкьярд избавился от любых эмоций, а может быть, и никогда не был знаком с такими диковинками. Для него конец света, неизбежный ядерный Армагеддон, против которого еженедельно протестовали участники антивоенных

маршей, был не более чем решающим событием, кульминационной сценой в театре жестокости.

Салли, по крайней мере, сохранила чувства, хотя в ее мозгу они были вбиты в неподходящие по форме гнезда. Она процветала в нестойком мире середины шестидесятых, сделавшем из телесной ущербности добродетель. Съемки гражданских войн в Алжире, Вьетнаме и Конго — Салли участвовала в их обработке, — публиковавшиеся по телевидению, становились нескончаемым групповым катарсисом, психическим суррогатом, которым она заполняла пустоту между амфетаминовыми взлетами. Попытка разобраться в происходящем привела ее в Шеппертон. В сознании Салли любитель скотча, понемногу превращающийся в алкоголика, с печенью, догоняющей по размеру бычью, и тремя детьми выглядел образцом чуть ли не религиозной надежности. Она однажды предложила мне свой пузырек с таблетками амфетамина, но тут же отдернула, словно соблазняла плодом второго запретного дерева.

Как мне было отвлечь ее от Лайкьярда? Ее большая обветшалая квартира в дорогом квартале Бэйсуотера стала музеем неудовлетворенных потребностей. Пыльные фотографии матери,

напряженно сидящей в саду частной психиатрической клиники под Бостоном, соседствовали с кадрами парада из «Триумфа воли».

— Роскошные мужчины… такие блестящие, — с тоской заметила Салли, размещая своих наутюженных героев рядом с охранниками израильского кибуца — вторым ее секс-символом. Она посещала семинар Успенского, прыгала с парашютом в авиаклубе Элстри, ненавидела отца, нажившего состояние на сети универмагов, но бережно хранила письма, которые тот писал ей в школу и носила его старый шлафрок вместо халата, вдыхая запах пота и табака как целительный бальзам. Я по наивности спросил, не было ли между ними инцеста.

— Если бы! — с сожалением протянула она. — Господи, я хотела, чтобы он… я-то знаю, что такое обделенный ребенок.

Всю дорогу до Брайтона она весело играла с детьми на заднем сиденье. Может быть, с надеждой думал я, она хочет стать моей дочерью? После десяти лет со здравомыслящей Мириам трудно было проследить зигзаги сознания Салли. Ангелы Ада, охранявшие вход на концертную площадку, были наряжены в ее любимую черную кожу с эмблемой черепа, но Салли в их сторону

и не взглянула.

Мы оставили машину под решетчатой башней лесов, к которой мог бы причалить космический корабль, и прошли между автобусами и фургонами к палаткам выступающих. Лайкьярд держал совет с сотрудницами Арт-лаборатории: увлеченными молодыми дамами, сплошь концептуальными художницами с устрашающими взглядами мафиози. Всякий, кому за тридцать, был врагом их рода по определению, а наличие трех детей заранее обрекло меня на контрибуции. Общество Салли обеспечило мне временную безопасность, но я чуял, что пропуск будет отозван при малейшем намеке на буржуазность, вроде покупки детям мороженого или поисков чистого туалета. Когда Лайкьярд объявил, что я буду читать текст, прославляющий сексуальность вдовы Кеннеди, за темными стеклами очков на миг блеснул интерес, быстро сменившийся твердокаменной враждебностью. Классовая вражда и чувство исключительности прекрасно уживались с усилителями для рок-музыки и культом Уорхола.

Между всплесками рок-музыки, глядя, как техники тянут провода, дети что-то зашептали Салли.

— Мне тоже, — согласилась та и, всучив Лайкьярду корзинку с припасами, нашла взглядом указатель за сценой: «Бесплатный туалет». Стрелка указывала на липовый лес. Люди, как персонажи с картин Магритта, блуждали между стволами, от которых поднимался пар горячей мочи. На минуту промелькнул Берроуз, строгий и официальный, как гробовщик.

Я проводил взглядом Элис и Люси, которые вслед за подобравшей юбку Салли опасливо пробирались по влажной траве. Генри от восторга орошал каждое дерево и по оплошности забрызгал сапог Ангела Ада, такого непробиваемого, что и бровью не повел. Контркультура уже стала для моих детей откровением, превосходившим самые смелые мечты.

Лайкьярд показал мне свое расписание и деревянные мостки, ведущие на две высокие сцены. Я без энтузиазма рассматривал стальную башню опор.

— Она удержится? Если лопнет какой-нибудь болт, нас всех выбросит на орбиту.

— А что, это идея. Другого шанса может не случиться. Взглянем правде в лицо: программу «Аполло» оседлала Америка стариков. На Луну высадятся люди в возрасте твоего банковского

управляющего.

— Вопрос, вверх полетим или вниз? — Я, чтобы успокоить нервы, спросил в баре виски, но оказалось, что в пластиковом стаканчике пусто, если не считать бурого порошка.

— Это не грязь, — пояснил Лайкьярд. — Это твоя порция виски. Травку кури, только здесь не покупай. Столкнешься с самой беспощадной капиталистической эксплуатацией. — Он кивнул на ложу для важных персон под самой сценой. — Не верь глазам своим, старые классовые перегородки никуда не делись. Лучшие места оставляют для поп-аристократии — промоутеров, представителей студии звукозаписи, телевизионщиков и журналистов. За ними у нас средний класс поп-мира: благовоспитанные девицы из пригородных особнячков, они приезжают на один день. А на дне, как водится, пролетарии наркокультуры.

Обойдя толпу, мы выбрались к широкой канаве, обозначившей границу арендованного у фермера поля. Там разбили лагерь потертые юноши и несколько изможденных девушек. Почти все они провели здесь ночь, спали под деревьями в самодельных брезентовых палатках. Покуривая самокрутки, они стряпали на печурках, от ко-

торых поднимался сладкий сосновый дым. Они напомнили мне китайских крестьян, цеплявшихся за жизнь в ирригационных канавах военного Шанхая. Кто-то протянул мне миску каши. Я присел на корточки под брезентом, принялся за ячменную тюрю с пряностями и пустил по кругу стакан вина из корзины для пикников.

Позже, придя в себя после выступления, я устроился с Салли и детьми на травянистом склоне за сценой. По лугам и перелескам словно прокатилось безобидное, веселое Ватерлоо. В траве, парами и поодиночке, лежали тела павших на поле битвы, а выжившие держали строй под сценой. На многих были красные мундиры с золотым шитьем и эполетами известных английских полков. Я завидовал их умению погружаться в игру. Сам я растратил молодость, расчленяя трупы и обучаясь на военного летчика, пытаясь приспособить себя к реальности послевоенного мира. А шестидесятые годы запросто все перевернули. Средства массовой информации накрыли планету зонтиком в цветах «техниколор» и объявили реальностью самих себя.

Разомлев от теплого вина, я представлял себя на шатком помосте перед толпой. Я орал в заикающийся микрофон, и гигантские фрагменты

прозы обламывались, как куски льда. Никто не расслышал ни слова. Мои грезы о сексуальности миссис Кеннеди прогремели над тихими долинами, распугав скот на дюжину полей вокруг.

— Это была сюрреалистская шутка — надо мной, — сказал я Салли, закрывая глаза от позора. — Не из тех, что одобрили бы Тцара или Дюшан…

— Ты потрясающе выступил. Верно, пикси?

— Да! — Им открыли глаза на мир куда красочнее шеппертонского.

— Салли, все это — абсурд.

— Ну и что? Никому теперь ни до чего нет дела. Джеки Кеннеди, Вьетнам, полет на Луну — всего лишь коммерческая реклама.

— А что рекламируют?

— Все, что тебе требуется: боль, смех, любовь, ненависть. Можно придать любой смысл чему угодно. Только пикси что-то значат.

Кажется, ей было не по себе со мной. Она курила бесконечные самокрутки, глаза у нее стали плоскими. Салли провела день, расхаживая с бутылкой вина в руке, в длинном платье, с порозовевшими от солнца шеей и грудью. Светлые пряди белыми плетями хлестали ее то по одному, то по другому плечу. Фестиваль, праздновавший

сам себя, ей уже наскучил. Она ушла от нас, и через час я нашел ее в тихом поле за стоянкой машин. Салли бегала наперегонки с лошадиным семейством: черной кобылой и парой жеребят: гоняла их по кругу, радостно хлопая себя по бедрам, и глаза у нее светились памятью детства.

Потом она потребовала отвезти ее на брайтонский пляж, и тут я понял, что ее беспокоит. Разыскивая Люси по палаткам выступающих, мы наткнулись на Лайкьярда с одной из его концептуалок. Не замечая Салли, они обнимались в палубном шезлонге за баром, прячась за одной парой темных очков на двоих. Салли смотрела на них, и розовая краска сходила с ее груди. Она взяла Люси за руку, и мы прошли вдоль стойки бара, разбрасывая побуревшие картонные стаканчики.

К счастью, она сразу повеселела, когда мы оставили фестиваль за спиной и вышли на пляж. Прилив и высокие черные волны зажгли в ее глазах иронические огоньки. Мы поставили машину на твердом холме над берегом и стали смотреть на бьющиеся в деревянный мол волны.

— Так! — Салли открыла дверцу. — Я купаться!

— Салли… слишком большая волна.

— А я ей скажу, чтоб унялась… это же просто

большой щенок.

Я прошел за ней по гальке. Сбросив туфли, Салли шагнула к воде. Пена легла к ее ногам, радостно приветствуя красивую молодую сумасшедшую. Я ждал, что Салли разденется, но она сразу вошла в воду, нащупывая босыми ногами подводные камни. Волна обдала ей бедра, промокшее платье липло к коленям.

— Салли! — Генри вышел из машины, забыв выпустить из рук игрушечный самолетик. Личики девочек прижались к оконному стеклу.

Салли шагнула дальше, когда большая волна обрушилась на волнорез. Черная жижа окатила ее и налипла на живот, обратное течение тянуло за ноги. Салли была до подмышек в пене, промокшая ткань спутала ей ноги. Она позволила следующей волне вынести ее к берегу и, нетвердо встав на ноги в полосе прибоя, виновато улыбнулась мне. Пенящаяся волна сбила ее с ног, потянула вниз и понесла в разинутую пасть огромного буруна.

Махнув Генри, чтобы не отходил машины, я вбежал в воду и едва удержался, когда волна ударила меня в колени. Шагнув в воду по грудь, я подскочил на следующей волне и поплыл к беспомощно лежавшей на поверхности Салли.

Схватил ее за плечи, прижал к груди, встал на ноги и вытянул девушку на берег.

Она обмякла на гальке, стуча зубами, а пена разочарованно оседала к ее ногам, словно море метало икру и просило ее оплодотворить. Лямки платья у нее порвались, лифчик съехал на пояс, открыв ледяную кожу торса с налипшими водорослями. Смытые с глаз тени голубыми пятнами стекли на щеки. Нос и подбородок уменьшились, съежились от страха и холода, а на волны, теребившие ее за подол, она уставилась как ребенок, которому уже случалось тонуть в море.

С набережной на нас смотрели. Я укрыл Салли пиджаком и помог ей вернуться в машину, к молчаливым, потрясенным детям. Салли с облегчением опустилась на переднее сиденье.

— Ну, — обратилась она к детям, смахнув полоску морской травы, — сколько бассейнов я проплыла?

* * *

Вечером, когда дети уснули, Салли присела на диван среди мягких игрушек. Хорошее настроение вернулось к ней. Пока мы молча ехали домой, она привалилась к двери, спрятавшись под моим пиджаком и уставившись на мокрое

платье под ногами. Тогда мне думалось, что это была нерешительная попытка самоубийства из-за Лайкьярда на шезлонге или, может быть, отважный акт эксгибиционизма в надежде оказаться в центре внимания. Но когда я упомянул о Лайкьярде, она едва ли узнала имя. Салли едва не утонула просто потому, что вздумала шутки ради окунуться в море.

Теперь она, закутавшись в мой банный халат, дышала над рюмочкой виски. Когда я подсел к ней и игрушкам, она опустила голову мне на плечо.

— Пикси спят? Я не хотела их пугать.

— С ними все в порядке. Думают, что ты хотела поплавать.

— Я и хотела! До самого конца. Когда ты до меня добрался, я как раз думала, каково это будет.

— Утонуть?

— Последние секунды перед концом… у меня странное чувство, что они длятся вечно. — Она отстранилась от меня, пристально уставилась на плюшевую игрушку. — Хорошо бы всю жизнь так прожить.

— Салли, ты…

Она раскрыла мне ладонь и внимательно прочла линии, потом потянула ее под полу халата

и положила себе на грудь. Даже после горячей ванны ее кожа сильно пахла морской солью. Одинокая и невинная Миранда[73], выброшенная на остров Шеппертон. Когда я погладил грудь, она улыбнулась мне, как заговорщица, словно мы — двое детей, затевающих шалость в домике на дереве.

— Соски у меня не очень чувствительные — наверно, меньше, чем у тебя.

Она наблюдала, как я ее раздеваю — следила, как я открываю ее тело, и манила к себе открытой улыбкой. Когда я погладил ей клитор, она откинулась назад, раскинув ноги и пристроив голову между игрушками. Взяла мои пальцы и передвинула их к анусу, ритмично перебрала ими, как по клавишам аккордеона.

— Не трудись. Просто трахни меня в зад.

Она встала на колени на ковре, опираясь плечами и грудью на диванные подушки. Поплевав на пальцы, смочила анус одной рукой, а другой пощупала мой пенис. Я медлил войти в нее, боялся повредить стянутый шрамами анус, но она сама ввела мой пенис, добавив новые трещины и ахнув от боли. Когда я вошел до конца, она

---

[73] Примечания: 73

Вероятно, имеется в виду героиня шекспировской «Бури». — *Прим. ред.*

наконец расслабилась, и прямая кишка стала мягкой, как вагина беременной. Она спрятала лицо среди плюшевых мишек и завела руки за спину, приглашая меня заломить их к лопаткам. Я осторожно задвигался, стараясь контролировать выпячивающуюся кишку и бережно заводя руки так, как ей хотелось, убирая волосы с губ, когда она закричала на меня, как жадный отчаянный ребенок:

— Возьми меня, папочка! Накажи меня! Пикси хочет в попу!

* * *

С этой минуты Салли Мамфорд стала моей проводницей по новому миру. Она с самого начала очень старалась наладить нашу шеппертонскую жизнь, быть женой и матерью, оставленной нами под испанскими кипарисами. Дети видели в ней то ли старшую сестру, то ли добрую колдунью, неисчерпаемый источник чудес. В наше пригородное убежище Салли принесла все свойственное ей доброе веселье и капризный пыл. Я старался остудить и уравновесить ее, когда она взлетала в свое детство, как серфер на волну. Даже играя роль отца, я чувствовал себя удивительно зависимым от нее и надеялся, что сумею

дать ей счастливое детство, которое она давала моим детям.

В то же время я понимал, как многому могу у нее поучиться. Салли была истинным ребенком шестидесятых и вводила меня в тайную логику, которая на моих глазах разворачивалась в эти годы. Из тихих лет домашней жизни в мирном городке на Темзе я шагнул в середину начавшегося без меня десятилетия. Я очнулся от грез о Второй мировой в Англии, которая как будто пережила Третью.

В этом режущем глаз царстве образов: космической гонки, вьетнамской войны, убийства Кеннеди и самоубийства Мерилин Монро — творилась небывалая алхимия фантазий. Медийный ландшафт шестидесятых можно сравнить с лабораторией, созданной с одной целью: излечить меня от всех навязчивых идей. Насилие и порнография складывались в набор чрезвычайных мер, способных придать некий смысл и смерти Мириам, и несчитанным жертвам войны в Китае. Распад чувств и эмоций, гибель привязанностей черным солнцем горели над игровой площадкой этого зловещего десятилетия, а у Салли, казалось, был к нему ключ. Ожесточающие хроники гражданских войн и убийств, стилизация

телевизионного насилия под антологию моды соответствовали научной порнографии, черпавшей материалы не из природы, а из извращенного любопытства ученых.

В Арт-лаборатории, где выставлялись работы модных художниц, перед витриной с использованными гигиеническими салфетками я с гордостью представил Салли Ричарду Сазерленду, который ушел из Кембриджа и возглавлял теперь группу в Институте психологии. В тяжелые месяцы после нашего возвращения из Испании Дик был мне великодушным другом. Он часто приезжал вечерами в Шеппертон с бутылкой бурбона и свежими рассказами о путешествиях на мыс Кеннеди, в Токио или Лос-Анджелес.

— Ты выправишься, — уверенно говорил он мне. Телевизор сохранил в нем молодость. Странствуя по свету с командой Би-би-си, Дик стал одним из первых аэродромных философов, всегда готовых дать интервью прямо в зале ожидания.

Салли сразу приняла его, а Дик увидел в ней все, что мне требовалось: капризы, любовь и извращения. Когда он пригласил нас к себе в лабораторию, я вспомнил знакомство с Мириам во время фальшивого эксперимента. Верный себе, Дик и теперь играл с иллюзией и реальностью.

Он провел экскурсию по лаборатории, очаровал Салли серией отрепетированных оптических фокусов и парадоксов, непрерывно и гладко болтая. Я подумал, что настоящий его талант — в умении внушить каждому встречному чувство, будто тот участвует в телепрограмме.

Роман Дика с телевидением сделал из него истинного гражданина шестидесятых — такого же, как Салли и Питер Лайкьярд. Сазерленда завораживала способность телевизора превращать все в спектакль, не теряя в то же время прочной связи с домашним и будничным. Расставшись с Кембриджем, Дик сжег свое прошлое и пустился в свободное плавание по этому электронному царству, подобно добродушным небесам учившему зрителя восхищаться самим собой. Однажды, раскрывшись, он рассказал мне о своем детстве в Шотландии. Он был сыном эдинбургского гранитного архитектора и ревностной пресвитерианки. Эвакуация к родственникам в Австралию открыла ему глаза на прелести пляжной культуры, в которой любовь и одобрение рождались не из семьи, а из мира вокруг.

Неудивительно, что Дик так и не женился. Без вездесущего телесуфлера, без экрана монитора близкие отношения представлялись ему не

совсем настоящими. Но сознание собственных недостатков делало его проницательным психологом. Он рождал идеи в большом количестве — часто за мой счет. Дом в Шеппертоне его всегда интриговал.

— Ты была у Джима в Шеппертоне, Салли?

— Конечно. Семейный очаг.

— Именно! Первобытная пещера Фрейда, устеленная коврами и миллионами лет любви. В конце концов пригороды овладеют миром, хотя трудно сказать, что они для больших городов: санаторий или зоопарк с милыми зверушками? В сущности, может быть, они — это сон горожанина, а Джим — спящий в фазе быстрого сна. Но, пока он не проснулся, я покажу вам лабораторию. Здесь все немножко не так, как видится — в некотором смысле похоже на реальный мир.

В затемненном демонстрационном зале волонтеры — домохозяйки, секретарши и свободные от дежурства пожарные — просматривали фотографии незнакомых мужчин и женщин, пытаясь определить, кто из них убийца, а кто жертва.

— На самом деле это фотографии предыдущей группы, — шепнул Дик Салли. — Предрассудки относительно черт лица на удивление сильны. Малейшее отклонение, и люди уверены, что ви-

дят насильника детей или гестаповского палача.

Рядом, в лаборатории, другая группа волонтеров заполняла анонимные анкеты о влиянии хроник со сценами насилия на их сексуальную жизнь.

— Конечно, никакого влияния нет, — заверил нас Дик, — да и кадры, которые мы им показываем, гораздо менее жестоки, чем им объявляют заранее. А примечательно то, что большинство полагает, что сексу это на пользу. Все твердят, что по телевизору показывают слишком много насилия, а в душе хотят еще.

— Значит, благодаря телевизору, все оказывается противоположностью тому, что мы видим? — заметил я.

— Похоже на то.

Мы вернулись в кабинет Дика, и он раскинулся в кресле, задрав ноги на стол и позволяя Салли восхищаться его длинными бедрами и актерским профилем.

— В политике это справедливо наверняка. Мы изучали коммерческие телепрограммы, продвигающие калифорнийского губернатора Рейгана. Можно видеть, что вся эта свирепая правоуклонистская чушь — полная противоположность обнадеживающему языку тела. А люди верят

именно языку тела — мы обычно составляем мнение о человеке задолго до того, как он откроет рот. Мы думаем, что Рейган это знает по голливудскому опыту. Вся его политическая карьера — один долгий эпизод с не относящейся к делу звуковой дорожкой. Это можно доказать, отключив звук и предложив людям угадать, что он говорит. Они доверяют его манерам дружелюбного тренера. С другой стороны, попав в кресло губернатора в Сакраменто, он многое может…

— Ты хочешь сказать, что фюреру надо было бы не рычать и не бушевать, а выглядеть… Трусливым Львом?

— Именно. Тоталитарная система будущего будет кроткой и услужливой, и оттого еще более опасной. Хотя всегда останется место и открытому безумию. Мир агностиков поддерживает жизнь в религиозных праздниках, потому что его рабочая сила нуждается в разрядке. Равным образом, когда медицина победит психические заболевания, некоторые психические отклонения станут имитировать ради блага общества — я бы поставил на шизофрению. Кажется, она воплощает представление нормального человека о безумии.

— А не наоборот?

— Пожалуй, нет. Болезнь, которая льстит нашему тщеславию, — огромное преимущество, как бóльшая часть венерических симптомов. — Дик включил стоявший за его столом кинопроектор. — Кстати, о шизофрении, мы просматривали германские фильмы военного времени — нашли в подвале. Среди других катушек попался учебный фильм для «Ваффен СС» по сооружению понтонных мостов.

Салли чуть не упала:

— Боже, как чудно… этим все сказано!

— Верно ведь? — Польщенный ее вниманием Дик неохотно закрыл шторы — он не любил уходить в тень. — Может, показать его в Арт-лаборатории? Я с удовольствием его представлю.

Мы пили вино в затемненном кабинете, в окружении американских номерных табличек и фотографий, на которых Дик пилотировал «Цесну», а проектор прокручивал нам эсэсовский фильм. Может быть, очередную фальшивку? Фильм выглядел убедительно, и Салли крепко вцепилась в мою руку, зачарованная сильными светлокожими молодыми мужчинами, которые добродушно распевали за работой. Дик в мельтешащем свете улыбался про себя, тихо говорил по телефону с продюсером из Би-би-си и с одобрени-

ем наблюдал за Салли. Кажется, он радовался, что я стал любовником этой восторженной и пылкой девушки, и вполне представлял, какой богатый и яростный секс будет у нас этим вечером, пока фильм еще жив в памяти Салли.

Прощаясь, он заверил:

— Она тебе подходит, Джим. Как раз то, что надо.

* * *

Хоть Салли и зависела от меня, во многих отношениях я был ее учеником, и самый важный урок получил на новогодней вечеринке, которую мы устроили в ее бэйсуотерской квартире. Мне почему-то всегда было не по себе в этом доме, заполненном осколками ее прошлого, похожем на заброшенные в войну шанхайские дома, где время надолго застыло и человек, вернувшись, встречался с невидимым чужаком — самим собой несколькими годами моложе. Я расхаживал по персидским коврам в пятнах вина и сигаретного пепла, мимо диванов под нестираными накидками, пропахшими старыми благовониями, и думал о своих детях, которые спят в Шеппертоне под присмотром пожилой няни, читающей путеводитель по Британскому Гондурасу.

Но завтра Салли будет мыть голову Элис и поможет Люси соорудить миниатюрный гардероб для семейки троллей. А сейчас она с амфетамином в левой руке шатается от стены к стене — от афиши фильма «Марат/Сад» к уродцам на фотографиях Дианы Арбус, и встречает визгом Питера Лайкьярда, явившегося с чванливым японцем, недавно отснявшим их задницы.

Салли гордо взяла меня под руку, закашлялась и забрызгала мне левое плечо рвотой. Оправившись, прополоскала рот стаканом вина и радостно поцеловала меня в губы.

— Джим, я нашла чудный крепдешин, Люси будет в восторге…

Она унеслась от меня, перелетая от плеча к плечу, как гимнаст с трапеции на трапецию.

Вскоре после полуночи я, вспомнив о няньке, решил ехать в Шеппертон и стал искать Салли в дыму и шуме. Среди грязных тарелок на кухне обнимались парочки, на двуспальной кровати хозяйки шестеро гостей устроили отдельную вечеринку. Две поклонницы японского художника вместе принимали душ в ванной. Я заглянул во вторую спальню и во вторую ванную, набитую подружками Салли по художественной школе, а потом зашел в маленькую гардеробную.

Едва я появился в дверях, Питер Лайкьярд попросил у меня сигарету — явно старался отвлечь, как ребенка, заглянувшего в спальню родителей.

— Салли занята, Джим… пока не забыл, я хотел спросить тебя насчет фильма, который рвется представить Дик Сазерленд…

Оттолкнув его, я открыл дверь. Салли сидела на корзине для белья, покрытой лоскутной накидкой. Юбка была задрана до пояса, голые ноги обнимали бедра молодого испанского фотографа, знакомого ей по Арт-лаборатории.

Расстегнутые брюки испанца съехали на ляжки, а его сильные руки стягивали лиф платья Салли, открывая груди. Неловкие, почти абстрактные движения: они словно репетировали порнографический цирковой номер — освобождение от одежды без прерывания секса. Он сосал ее правую грудь, Салли целовала его в лоб, сильными ногами увлекая в себя его пенис. При виде меня она ухватилась за плечи испанца и искренне, радостно улыбнулась.

По дороге в Шеппертон я думал о том, что Салли привязана ко мне и бесконечно добра к детям. Глубокая привязанность и самые непринужденные измены сосуществовали, разделенные ее снисходительной улыбкой. Мне вспомни-

лись Винсенты, устало занимавшиеся любовью в Лунхуа, и понимающий взгляд миссис Винсент, заметившей, что я смотрю на них из-за занавески. Я был почти уверен, что Салли нарочно показалась мне, подталкивая к следующему уроку беспощадного обучения. Меня тянуло к ней потому, что в руках Салли был ключ к этому странному десятилетию, но единственным устойчивым элементом в ее мире было непостоянство. Отрешившись от своих эмоций, отделив чувства от действий, я, быть может, научусь даже наслаждаться ее изменами.

Я вспомнил, как она едва не утонула на брайтонском пляже, когда позволила мне достать из воды вторую жену. Я до сих пор ощущал темную мощь бивших меня по бедрам и по груди волн — я шел на глубину, через смерть и темную пену, из которых выволок ее на берег.

Образы боли и гнева парили в воздухе, как плакаты, без конца рекламирующие смерть убиенного президента, знаки насилия и желания, только и способные насытить обделенных.

Я несся навстречу чужим фарам, пересекая лунную Темзу, за которой Шеппертон снился моим детям.

10
Царство света

— Считай ЛСД калейдоскопом мира.

Я слушал Дика, сидя у французского окна своего кабинета, разглядывая стакан воды в руке и кубик сахара, положенный рядом с магнитофоном Би-би-си. Обертка из фольги отбрасывала зловещие блики.

— Готово, Дик? — спросил я через плечо. — Это уже похоже на попытку самоубийства.

— Еще минуту — тебя ждут небеса… — Дик поправил треногу кинокамеры, нацелил мне в лицо свирепые линзы. Я уже ненавидел эту камеру, уродливого робота, уставившегося на меня. Сад был наполнен летним сиянием, которое играло со сломанными игрушками и развевающейся на веревке пижамой. Я предлагал прибрать этот веселый бардак, но Дик твердо велел ничего не менять.

Глотнув воды, я бросил взгляд на рухнувший вигвам, выстроенный Элис и Генри из старого клетчатого одеяла и парниковой рамы. Изгнанная из его темных недр за нарушение какого-то

детского ритуала Люси снесла вигвам педальной машинкой. Страшная месть, которой грозили двое других, была забыта, едва в дверях появились Клео Черчилль с дочерью Пенни. Подруга Дика должна была увести детей к реке, пока мы с ним отчаливаем в другое путешествие — в короткое сафари по просторам моего черепа.

— Дик, в саду разгром, надо навести порядок. Прими это как данность. Телезрители-то будут не под кислотой.

— Как раз то, что нужно для рейтинга. Предложу эту идею Би-би-си. Пусть приложат подарочный набор к радиопрограммам.

Четверо детей вопили в коридоре, требуя мороженого, комиксов и оберток от жевательной резинки. Клео Черчилль просунула голову в дверь и весело скривилась.

— Назревает бунт. Мне придется вас покинуть.

— Отлично, Клео. Джиму уже не терпится. Дай нам пару часов.

— Два часа? Ты бы лучше меня заснял! — Она нахмурилась, глядя на камеру с микрофоном, тонометр и мое кресло с прямой спинкой. — Джим, выглядит это дико… ты уверен?

— Не волнуйся, Дик не раз запечатлевал трипы.

— Все равно. Паромщику верить нельзя.

Я видел, что Клео не одобряет нашу затею. Она считала, что в мире более чем достаточно развлечений для взрослого человека, а эксперимент по химии, который мы с Диком проводили над моим мозгом, — ребячество, вроде шалостей Генри, когда тот докуривает окурок в вигваме или поджигает целый коробок спичек. Улыбчивая и излучающая скромность Клео издавала детские книги. Мы иногда встречались с ней у Дика. Я чувствовал ее беспокойство и немного стеснялся, догадываясь, что ее волнует не только законность предприятия. Неохотно выпустив мое плечо, Клео перевела взгляд с моего вспотевшего лица на неприбранный кабинет и сад. К сомнениям относительно благоразумия экспериментов с ЛСД добавилась мгновенная оценка моей личности и пороков, которые мог пробудить во мне мощный галлюциноген.

— Ну вот… — Дик выставил время на пилотских часах и включил запись. — Сейчас 15.05, 17 июня 1967 года…

Встретив предостерегающий взгляд Клео, я положил кубик сахара на язык и из вредности дал ему полежать. Когда дети, распахнув входную дверь, понеслись к воротам, я еще на секунду за-

колебался. Клео вышла, хлопнув дверью, и тогда я запил сахар водой.

— Хорошо, — обратился ко мне Дик. — Ты еще полчаса ничего не почувствуешь, поэтому сиди спокойно и расслабься. Можем сыграть в шахматы.

— Буду смотреть в сад.

Я обычно обыгрывал Дика в шахматы, но это была единственная игра, где он радовался проигрышу, представляя фигурки драконами. Я послушал, как затихают в конце улицы детские крики и сильный, уверенный голос Клео. Она тоже воспитывала дочь в одиночку и намекала, что ответственному отцу не пристало пробовать сомнительные препараты. ЛСД еще продавался в Англии легально, но уже множились призывы к его запрету.

Я уставился на замусоренный игрушками сад — хранилище счастливых воспоминаний, отложившихся за последние три года на участке загородного дома. Ледник двигался, Мириам мирно спала в его глубинах. Дети почти забыли мать, хотя я зачем-то старался этому помешать. Если память и сохранилась, то где-то на другом уровне, в их доброжелательности, стойкости и вере в любовь, не требующую заслуг.

Как ни странно, Мириам начала удаляться даже от меня и в то же время все ярче проступала в памяти. Она, как статуя мадонны над нефом собора, словно поднималась ввысь по мере того, как я отступал от нее. Линии перспективы моей жизни все еще сходились на Мириам, но я был в долгу перед великим множеством женщин, которых узнал после ее смерти, и прежде всего перед Салли Мамфорд, которая помогла мне твердо встретить напор боли и маниакальной сексуальности. Как ни странно, открытые измены Салли облегчали память о Мириам, словно и ее смерть была особого рода изменой.

Однако Дик отнюдь не настаивал на присутствии Салли во время эксперимента с ЛСД. Ее внезапные перепады настроения и безудержный энтузиазм грозил снести с рельсов галлюцинаторный локомотив. Я, желая заглянуть в запертые двери своего сознания, согласился, чтобы за детьми присмотрела Клео Черчилль. Амфетамин и дринамил я уже пробовал, но они изменяли сознание меньше, чем обычный двойной скотч, а ЛСД, если верить Дику, раздвигал пределы мозга.

Я вспомнил презентацию на Би-би-си научной программы, в съемках которой сейчас принимал

участие. Дик со свойственной ему уверенностью в том, что владеет вниманием зрителя, перебирал схемы мозга и энцефалограммы, как коммивояжер, продающий человеческий мозг заинтересованным инопланетным пришельцам.

«Центральная нервная система – Сикстинская капелла природы, но следует иметь в виду, что мир, который рисуют нам наши чувства – этот кабинет, моя лаборатория, а наше восприятие времени – шаткая конструкция, которую мозг создает, чтобы мы могли выжить и продолжить род. Мы видим весьма условную картину: просто туристический путеводитель по незнакомому городу. Захваченное нами визуальное пространство не совпадает с внешним миром. Тени намного глубже, чем нам представляется: мозг смягчает резкие контрасты, чтобы облегчить нам анализ, иначе мир выглядел бы полосатым, как зебра.

Сознание – рискованная ставка, которую ЦНС делает на свое существование, артефакт, позволяющий ей управляться с внешней и внутренней средой. На самом

деле мы начинаем подозревать, что само время – примитивный психологический конструкт, унаследованный нами из далекого прошлого вместе с аппендиксом и мизинцем. Но мы целиком захвачены этой архаичной структурой, в которой минуты и часы тащатся друг за другом подобно процессии слепцов. Когда мы овладеем более совершенным представлением – в котором, скажем, время будет восприниматься одномоментно, – мы вступим на порог более обширной мысленной вселенной…

Почему умирающим кажется, что они плывут по тоннелю? В предсмертном состоянии различные мозговые центры, создающие цельную картину мира, начинают распадаться. Мозг сканирует дефрагментирующееся поле зрения и создает из последних клеточных колец тоннель, в котором отчаянно хочет видеть путь к спасению. Мозг до самого конца пытается любой ценой рационализировать реальность. Не важно, недостает нам сенсорной информации или ее переизбыток – мозг строит из нее

конструкции, которые должны объяснить мир. Отсюда проистекают не только предсмертные видения, но и наши представления о небесах и аде…»

Все были заинтригованы, но Би-би-си отказался купить сериал.

«Доктор Сазерленд, — возразил директор научных программ, — ваше описание умирающего мозга слишком напоминает Би-би-си».

— Дик, у меня часы встали.

— Дай-ка взгляну? Нет, сейчас без четверти четыре.

— Но должно быть уже гораздо позже!

Я уставился на застывшую секундную стрелку и попробовал завести часы. Пальцы похолодели и казались чуткими, как у ювелира, но мне вдруг померещилось, что они чужие. Минутная стрелка задвигалась и снова застыла. Густой рубиновый свет залил сад, словно солнце накалилось докрасна. Я подался вперед, чуть не выпав из кресла, и уставился в яркое небо цвета цианида.

— Сядь ровно и расслабься, — велел из-за спины Дик и ободряюще похлопал меня по плечу. — Поначалу будет некоторое раздражение сетчатки.

— Дик, я выпадаю из времени.

— Только сейчас заметил? Посмотри на сад, обрати внимание, как воспринимаешь цвета — они наверняка съезжают по спектру.

Я оттолкнул его руку и задумался, не ведет ли он со мной очередную хитрую игру. Дик не терпел конкурентов и всегда завидовал мне из-за Мириам и китайского прошлого. Этот хитрый взгляд помнился мне по его кембриджскому кабинету — взгляд рыбака, подцепившего невиданную рыбу и приготовившегося подхватить ее сачком.

Катушки магнитофона крутились, но я заметил, что вращаются они навстречу друг другу. Я решил, что это особенность антикварной аппаратуры Би-би-си, и стал ждать, когда пленка скрутится петлей. Черный пластиковый чехол отделился от рамы, но я не успел предупредить Дика — он отошел от меня к камере.

Цвета отделялись от поверхностей. Летний воздух стал прозрачной призмой, а на серой нестриженой траве слоями лежал изумруд. Гигантские русские подсолнечники, которые я вырастил для Элис с Люси, нацепили золотые короны, увлекавшие их в небо. Рубиновая дымка пропитала листву вишен. Алая краска на машинке Люси отделилась от помятого металла: искусный маляр раскрасил воздух, а мне хотелось

прижать краску к ржавой скорлупе.

Неприбранный сад засветился химическими красками. Яблоня и домик на дереве сложились в собор в форме шале с витражным окном, в котором сломанные игрушки оказались заключенными каждая в свой ореол. Драконы на китайском ковре у меня под ногами, шершавая кора грушевого дерева под окном и инициалы Генри на ней, пропитанные креозотом панели ограды испускали заключенный в них свет. Зеленая дымка над каждым листом и стеблем, алый цвет машинки Люси превратились в осязаемую кожуру, под которой скрывались, ожидая разоблачения, настоящие листья и машинка. Богатый спектр солнечного света яркими флажками отмечал уникальность каждого камешка и прутика. Преломленные в призме своего истинного я, листья и цветы стали светящимися окошками в праздничном календаре природы.

— Джим, посмотри в камеру…

Дик сидел в кресле рядом со мной и держал магнитофон на коленях. Катушки вращались в разные стороны, но лента не путалась. Когда сияние сада усилилось, меня поразила удивительная яркость его волос: гримерша в студии перестаралась, водрузив на Дика парик из медного флиса

длиной до плеч. Свет сочился сквозь волокна, и мне захотелось предупредить Дика, что у него на щеках сейчас видны каждый прыщик и веснушка. Кровь бежала по расширенным капиллярам, превращая его лицо и руки в огненные карты.

Мне стало душно в мельтешащей комнате. Я встал и вышел в сад, прошелся, утопая ногами в электрическом свечении травы. Камни декоративной горки сияли, как драгоценности в бархате витрины, а земля цветочных клумб была теплой от тления компоста, дарящего жизнь самому себе.

Мои руки и ноги облачились в свет, в перламутровые ножны, сложившиеся в парадные доспехи. Я опустил глаза на простой камень, отмечавший могилку кролика, любимца Генри, ожидая, что зверек вновь сложится из костей и заскачет по светящейся траве. В этой грезе наяву время и пространство уже не навязывали своего присутствия. Мир собирался в новом порядке, временна́я последовательность, как и обещал Дик, сменялась одномоментностью, в которой живые счастливо сосуществовали с мертвыми, одушевленное с неодушевленным. Я ждал, что среди деревьев появится Мириам, снова пройдет по саду, в котором Элис с Люси встретятся со

своими маленькими двойниками, а сам я — с тем молодым мужем, которым был когда-то. Я оглянулся на дом, но Дик пропал, а камера стояла на треноге у моего пустого кресла. Дорога пролегала через долину света к реке, и я решил, что Дик ушел за детьми, чтобы позвать к новым друзьями, дожидающимися их дома.

Я пошел по тропинке вокруг дома. Серебряная обертка моей машины плавала над дорожкой воздушным шариком на привязи. Появились соседи со стариком-ретривером — его шерсть и поседевшая морда светились, как львиная шкура. Передо мной лежал Шеппертон — город матадоров и их жен, одетых в свет. По главной улице потоком шли машины в ярких аурах. Над рекой повис вертолет, лопасти винта бросали серебряные дротики в высокие вязы.

Я перешел через дорогу у военного мемориала и углубился в парк у реки. Вдали, под ивами, мои дети играли с шариками, купленными в кондитерском магазине. Между их ладонями парили шары цветного воздуха. За спинами детей уходила в лес молодая женщина. Ее светлые волосы плыли среди листвы, бросая отсветы на землю у ног. Задыхаясь от изящества ее походки, я увидел, как она успокаивает деревья жестом, а моло-

дых птиц — улыбкой. Ее откровенная красота напомнила мне принцессу в самоцветном гроте Гюстава Моро. Я помахал женщине в надежде, что она и меня коснется своей спокойной грацией, но она уходила за детьми в сторону реки.

Потерявшись в ослепительной листве, я присел на скамью и уставился на застывшие стрелки ручных часов. Свет так разгорелся, что заглушил все краски листьев. Трава стала ковром из толченого стекла, деревья — хрустальными подвесками, высеченными из застывшего воздуха. Мои глаза изнемогали от белизны мира. Элис с Люси бежали ко мне, фигурки на пересвеченной пленке. Пока они играли в снежном дворце, их лица утратили всякое выражение.

Река застыла ледяным опалом, плывущим между заиндевелых берегов. Время стояло на месте, вода не расступилась бы под моими ногами. Я пошел к ней, приготовившись шагнуть на ее шершавую от ряби поверхность, но Клео Черчилль предостерегла меня позаимствованной у Моро улыбкой[74]. Она потянула меня за руку, но я не сомневался, что мы вместе с ней сможем перейти реку и отдохнуть с детьми на лугу против парка.

---

[74] Примечания: 74

По всей видимости, имеется в виду знаменитая улыбка актрисы Жанны Моро.

Я беззвучно окликнул Элис и Люси, которые озадаченно уставились на меня, словно забыли, что я их отец. Потом из-за деревьев выбежал Дик Сазерленд, схватил меня за плечи и увел от воды. Я сел с ним на белую траву, и двери солнца стали смыкаться вокруг меня.

* * *

Через три часа я лежал в постели, подложив под спину подушку. Шея у меня ныла — слишком долго смотрел в небо. Все накрыли внутренние сумерки. Сад потемнел, приглушенные цвета замыкались в деревьях и цветах, словно впали в уныние после недолгой свободы. Я прикрывал воспаленные глаза от бликов, отброшенных окнами проходящих машин. Каждый мой нерв был раздражен и истощен, я не мог ни уснуть, ни расслабиться. Дик, спасший меня у реки, увел обратно в дом и оставил приходить в себя, пока Клео готовила детям ужин.

Дик отвлекся на звонок продюсера и упустил меня — в парк. Я уже сожалел, что принял участие в его эксперименте. Оплошность, пусть даже непреднамеренная, привела к тому, что я чуть было не утопился. Меня раздражало, что Дика больше заинтересовала моя попытка пройтись по

воде подобно Христу, чем видение Шеппертона в образе солнечного сада, спящего рая, ожидающего пробуждения от каждого камешка или листика.

Чтобы успокоить мысли, я уперся глазами в потолок. Стоило мне хоть на несколько секунд задержать взгляд, как в старой штукатурке проступали язвы, словно мои глаза были переносчиками заразной болезни: взгляд горгоны, превращающий мушиный след в пульсирующее воспаленное пятно. Вскоре весь потолок покрылся чумными волдырями. Мои зрительные центры, силясь возвратить видение рая, ошибочно толковали мельчайшие переливы света в тихой спальне.

Я прикрыл глаза и вслушался в голоса детей, радующихся неожиданной вечеринке с Клео и ее дочкой. Их голоса меня успокоили, но стоило шевельнуть рукой, как я увидел покрывшие всю комнату полчища мух. Их дрожащие крылышки усеяли простыни и подушки, одели мои ладони в черные перчатки. Я хотел отогнать их, случайно коснулся головы и обнаружил, что у меня отсутствует кусок черепа. Кончики пальцев погрузились в мягкие ткани мозга.

Клео, услышав мой крик, оставила детей и

взбежала по лестнице. Присев на кровать, она положила мои руки себе на колени и укоризненно покачала головой. Всматриваясь в ее озабоченное лицо, я еще видел сияющий нимб, окружавший ее в парке у реки. Я помнил, как она дарила благословением каждого птенца и каждую травинку.

— Джим… может быть, позвонить Ричарду? Надо бы вызвать местного врача.

— Нет… а вот Пегги Гарднер позвони. У меня это скоро пройдет.

Меньше всего я хотел бы сейчас показываться врачу, лечившему когда-то Мириам — он все еще был под каблуком у повитухи Белл, и дай ему только повод усомниться в моих родительских способностях… Шаманские видения и попытки сократить дорогу в рай принадлежали к той же подозрительной области, что тайные аборты и употребление мускатных орехов как наркотика. Я робко пощупал голову и с облегчением убедился, что череп цел.

— Пальцы у меня такие чувствительные: показалось, что проникли прямо в мозг. С детьми все в порядке?

— Все прекрасно — я придумала им новую игру. Они считают, что у тебя солнечный удар.

— Так и есть! Сильный свет… я сегодня несколь-

ко секунд думал, что вижу… небо и ад.

— Наверняка Ричард опять ошибся с дозировкой. — В ее словах был намек на осуждение, как будто Клео была в курсе сомнительных экспериментов Ричарда. — Надеюсь, дело того стоило.

— Да… да, стоило. — Я схватил ее за руку и переждал, пока не поблекли усеявшие стену термиты. Где-то в моей памяти Клео еще шла по прибрежному лесу, приглашая меня к себе во дворец света. Его двери под уютными вязами были распахнуты настежь. В этом райском видении вся ее застенчивость пропала, она уже не прятала глаз за длинными волосами и вечной улыбкой. — Под конец все пропало, и я видел такое, чего никогда еще не видывал, сон о…

— Реальном мире?

— Обо всех реальных мирах. Все было изначальным… — я, не находя слов, протянул руку и коснулся ее волос. — Я говорил Дику, что ты была похожа на архангела.

Она сняла мою руку со щеки и нахмурилась, не одобряя таких дурачеств.

— Было бы очень неплохо для карьеры. Надеюсь, ты сможешь повторять это по расписанию?

— Непременно. — Я поднялся, неловко сел на краю кровати с ней рядом. — Клео, скажи — в

камере была пленка?

— Думаю, что да. А что?

— Когда люди думают, что их покажут по телевизору, ими проще управлять. Очень похоже на Дика…

— Возможно, ты был слишком доверчив — но, мне кажется, он тебя понимает.

Она задержалась в дверях, взглянув так, словно впервые осознала настоящие мотивы, толкнувшие меня на рискованную экспедицию внутрь собственной головы.

* * *

Если Клео готова была поступиться сомнениями, то Пегги не скрывала осуждения. Я еще несколько дней, гуляя по саду, разглядывая подсолнечники и сломанные игрушки, тщился понять, почему из них ушел свет. Весь Шеппертон выглядел тусклым и инертным, словно попытка ненадолго стать самим собой истощила его силы. Когда дети были в школе, я уходил к реке, искал среди деревьев след присутствия Клео. Когда сквозь листву пробивался солнечный луч, я ловил призрак той волшебной поляны, по которой она, одетая в свет, гуляла с птицами.

— Ты сам впустил к себе в голову троянского

коня, — сказала мне Пегги, неумело изображая сочувствие. — Чего ты на самом деле добивался?

Я пошарил в воздухе в поисках ответа.

— Поставить логику видимого на службу невидимому… — Ответ получился странным, удивил меня самого. — Я и в самом деле заглянул в собственную голову.

— Но милый мой Джим, мы и так знаем, что там. Это ясно всякому, кто прочел хоть несколько страниц.

— Тени на стене… Дик был прав. Я наблюдал мозг в действии, видел, как он собирает разрозненные кусочки времени и пространства в пригодную для жизни иллюзию. — Я указал на стены кабинета, на залитый солнцем сад. — Все это декорации, как в Шеппертонской киностудии.

— А что останется, если убрать декорации?

— Честно говоря, еще не знаю.

— Собираешься еще раз попробовать?

— Через месяц-другой. Дик очень хочет меня заснять.

— Псих! Все это — ради телепрограммы?

— Тут я с ним полностью заодно. Трудно описать тот яркий свет, ощущение, что видишь великое откровение…

— Но… что?

— Я его узнал. Тот же свет сиял над Лунхуа в день, когда кончилась война.

— Она так и не кончилась — для тебя.

Пегги стояла в дверях спиной к саду, рассматривая меня тем же добрым и снисходительным взглядом, что запомнился мне по детскому бараку, когда я описывал новый безумный способ раздобыть нам еду. Свет касался ее сильных плеч и красивых бедер, которые я так ни разу и не обнял. Мы слишком хорошо, *по-настоящему* знали друг друга. Секс — для чужих, как только человек перестает быть чужим, желание умирает. Мириам всегда была достаточно осторожна, чтобы сохранить часть себя втайне от моих глаз. Может быть, когда-нибудь мы с Пегги станем чужими друг другу, возраст и расстояние разведут нас…

Свет сместился, сетчатка не успела среагировать. На миг я увидел Пегги висящей в воздухе над грушевым деревом — словно ангел нашего городка. Я вообразил эту сухую докторшу в благоразумном шерстяном костюме и скромных туфлях парящей над крышами Шеппертона.

— Ты в порядке? — Пегги заглянула мне в глаза. — Ты был где-то очень далеко. Как с детьми? Салли за ними присмотрит?

— Дик попросил свою знакомую, Клео Черчилль. Она взяла с собой дочку и заночевала на диване. У нее более трезвая голова — думаю, он опасался, что Салли…

— Бедная Салли. Вы используете друг друга, как дефективные дети.

* * *

Я тепло поцеловал Пегги, проводил взглядом ее машину, а потом помог детям с домашними заданиями и приготовил обед. Дефективные взрослые? Упрек попал в больное место, сколько бы я ни твердил себе, что ответственность и благоразумие Пегги тоже самообман, что она тоже не в ладу с миром. Пегги заботилась об одиноких и угнетенных детях, но никогда не любила собственного ребенка со всем, что подразумевает такая любовь. Сад ее домика в Челси был населен призраками. Не только в моем сознании стояли на заброшенном полустанке четверо японских солдат, ожидая поезда, который никогда не придет — солдаты, так же, как и мы, попавшие в ловушку времени. Война была для наций средством побега из времени. Нас с Пегги, как тех японских солдат, забыли на платформе, оставили дожидаться новой войны, которая нас освободит.

Они до смерти замучили китайца в надежде, что эта жестокость спустит пружину большой войны.

Три недели спустя, таким же теплым летним днем я сидел в кресле у двери в сад. Камера Дика — с пленкой или без пленки — стояла на треноге. Пока Клео собирала детей на пикник, Дик говорил по телефону с агентом. Он все еще не терял надежды продать сериал о работе мозга региональному телеканалу. По предложению Дика мы превратили заросший сад в образец буржуазной семейной жизни. Детские игрушки были расставлены на траве как выставка на празднике церковной общины. Мы извлекли из темных шкафов старшие поколения мишек и коал и рассадили их в кружок, словно вывели на солнышко обитателей дома престарелых. На сушилке для белья висели выстиранные и отглаженные яркие платьица, а к стволу груши прилепили афишу боя быков, где имя Генри стояло рядом с именами Кордобы и Пако Камина. Услышав крики детей у ворот, я встал с кресла и по тропинке обошел дом. Клео тащила из кухни корзинку с припасами.

Она встретила меня удивленной улыбкой.

— Идешь с нами? Молодец. — Клео все так же не доверяла нашим экспериментам и полагала,

что Дик мной манипулирует.

— Нет. — Я помог ей с корзинкой. — Рад бы, но не могу, мы сейчас начинаем.

Она смахнула волосы со щеки, нарочно открыв мне свое суровое лицо.

— Надеюсь, все обойдется. В прошлый раз…

— Там вышла ошибка в дозе. Не волнуйся. Я снова увижу тебя архангелом.

— Увидел бы лучше, какой есть. — Клео остановилась у машины, поставила корзину на капот. Недавно она помогла Дику расставить игрушки, а потом беспокойно обошла участок — словно сапер, против воли подготовивший взрыв дома. — Шел бы лучше с нами, а? Тебе меньше всех стоило бы ставить опыты над собой.

— Клео, я обещал Дику…

Люси наскочила на меня, хвастаясь новеньким блестящим пояском.

— Папа, ты с нами?

— Давай, папа, — поддержал ее Генри. — Мы собираемся в Волшебный мир.

— Идем, папа!

Клео занялась корзиной, предоставляя мне решать самому.

— Я много слышала о Волшебном мире.

— Надеюсь, он никуда не делся. Старый рекви-

зит для телерекламы.

— Наверно, забавно. Куда реальнее выдумок Дика.

Я открыл для них ворота и посмотрел вслед детям, убегавшим к заливным лугам в компании старого ретривера. Неужели они хотят завербовать Клео в свое потерянное детство, снова отыскать ту идиллию, которую я искал с помощью ЛСД? Я вспомнил бледных призрачных детей, смотревших на меня у реки так, словно я был уже по ту сторону смерти.

Элис, ухватив ретривера за ошейник, с надеждой оглянулась на меня.

— Ты права. — Я догнал Клео и забрал у нее корзину. Теплый запах ее тела был ярче всех видений, вызванных ЛСД. — Дик найдет кого-нибудь другого. Мы прихватим пару бутылок и скоро догоним вас у заводи.

Галлюцинации звенели в летнем воздухе и вприпрыжку бежали на заливной луг, к волшебной поляне за киностудией.

11

Выставка

Мысль устроить выставку разбитых машин пришла мне в голову в 1969 году[75], после дорожной аварии под Фэйр-Оук, в которую попали Салли и Дэвид Хантер. К счастью, они нисколько не пострадали, но странные обстоятельства аварии и поведение свидетелей как будто напрямую вытекали из особой логики шестидесятых годов. Выставка в Арт-лаборатории, заинтриговавшая некоторых посетителей и разозлившая многих, обобщала все навязчивые идеи, которые преследовали меня в те годы, и явственно предсказывала автомобильную катастрофу, в которой я едва не погиб три месяца спустя. То десятилетие до самого конца разворачивало свои огненные мифы.

* * *

Салли, не потерявшая надежды выманить меня из Шеппертона, купила билеты на авиашоу в Фэйр-Оук. Дэвид должен был участвовать в групповом полете старинных «Тайгер Мот». Элис с Люси пугались шума моторов и потому не по-

---

[75] Примечания: 75
Так у автора.

ехали с нами, остались с Клео и ее дочкой. Салли со свойственным ей великодушием решила, что Генри должен получить особый подарок. Приехав, она застала его в детской за сборкой модели самолета, в окружении собственноручно нарисованных истребителей Второй мировой — копий, кажется, более подробных, чем оригиналы.

— Едем, Генри. Я попрошу Дэвида прокатить тебя над Шеппертоном.

— Ну… Дэвид — это жуть. А Нил Армстронг там будет?

— Он прислал свои извинения — ему пора возвращаться на Луну. — Салли втиснула свою светловолосую головку в футбольный шлем, подаренный Генри Сазерлендом. — Генри, я буду первой женщиной-астронавтом.

— Ух ты! Женщина!

— Трудно поверить, да? Один великий шаг от лица всего женского пола — как раз то, что нужно.

Когда Генри ушел переодеваться, Салли склонилась над моделями, продувая серебристые пропеллеры дымом «Мароккан голд».

— Они совершенны, словно вылупились из яиц Фаберже. Мир заполнен обломками пластмассы, и маленький Генри в одиночестве собирает их

заново. Вот о чем тебе надо бы писать.

— Я об этом и пишу, Салли. Это фактически единственная моя тема. — Я, радуясь ее приезду, обнял не знающие покоя бедра. — Колеса еще не оторвались от земли, а ты уже на высоте пяти миль.

— Это в тебе капитан говорит. — Она положила мне на плечо руку, исколотую шрамами и благоухающую смесью пробных флакончиков духов. — Сейчас на Шеппертон рухнет другой самолет — «Мамфорд Экспресс»!

Она так и приехала на аэродром в футбольном шлеме. Теперь она реже бывала в Шеппертоне, но эти визиты всегда успокаивали Салли. Она приземлялась у нас, как чудаковатый воздухоплаватель викторианских времен, чей шар тянет к земле канат детской любви. Но стоило только оторваться от нежного притяжения, Салли взмывала ввысь.

Ее светлые волосы развевались над откинутым верхом машины, руку она высунула в окно и махала выходящим с киностудии статистам. С тлеющего кончика ее слабо набитой сигареты сорвался рой искр, поджег ухо сидящему на заднем сиденье верному коале. Услышав, как ахнул Генри, Салли перегнулась через спинку и

прихлопнула тлеющий уголек. Она окликнула регулировщика на въезде в Фэйр-Оук, и молодой полицейский с трепетом уставился на ее бледные как лед ягодицы под мини-юбкой.

Едва мы поставили машину на стоянку, Салли приметила снимавшую шоу киногруппу. Стянув шлем, она устремила пристальный амфетаминовый взгляд на стоящие на поле самолеты и красавцев-пилотов. Марши протеста против войны во Вьетнаме, стычки с полицией, наркотики и полеты на отходняк в Нью-Йорк ввергали ее в перманентный тремор — частично от вечной смены часовых поясов, частично от передозировки героина и эпохи. Подобно многим под конец шестидесятых она, после десятилетних экспериментов с фармацевтикой, воспринимала медиаландшафт как систему искусственного жизнеобеспечения, которая принудительно впрыскивала насилие и чувство в ее онемевший мозг.

Но иногда мне казалось, что именно Салли и несколько тысяч таких, как она, поддерживают это десятилетие, безжалостно выкачивающее из их истощенной нервной системы последние капли энергии и чувства. Карусель раскручивалась все быстрее и увлекала за собой Салли,

оседлавшую загнанного единорога. Я ненавидел ее исколотые руки, зато любил ее визиты в Шеппертон, когда Салли осыпала детей подарками, а меня — бесконечными «новостями с Кингс-роуд». Она с наслаждением проводила часы в палатке, которую девочки разбили в саду, пекла и покрывала глазурью торт на день рождения мишки-ветерана. Потом, когда дети засыпали, она раскидывалась на диване, обхватив меня ногами и чуть не задушивая насмерть, силясь с моей помощью догнать ускользающие воспоминания об отце.

А потом она поспешно одевалась и забывала обо мне, устремляясь в ночь на поиски праздника, слишком нетерпеливая, чтобы отягощать себя заботой о моих потребностях. Обычно я не без облегчения провожал ее взглядом. Меня нервировали пустые шприцы, обнаруженные в туалетном бачке, и беспокоило, что она воровала у детей деньги, словно хотела отчасти вернуть подаренное им внимание. Люси с Элис так любили ее, что не замечали потерь. Когда я попытался одолжить ей денег, Салли помахала передо мной чековой книжкой, и тогда я понял, что ей нужны именно мелкие монетки, украденные из детских кошельков. Карусель закружила ей голову, вну-

шив: ничто, кроме скорости, не имеет значения.

— Салли, милая… Джим, она все-таки вытащила тебя из вашего маленького Алькатраса!

Дэвид в белом летном комбинезоне встал в позу перед своим «Тайгер Мот», поправил огнетушитель. Салли он обнял, а меня встретил дружеской, но прохладной улыбкой и сунул в руки огнетушитель, словно намекая, что скоро он мне пригодится. — Давай, Генри, вылетим без разрешения и разбомбим Шеппертон.

— Ой, а можно, Дэвид? Давай мою школу разбомбим!

Я уже довольно давно догадывался, что Салли с ним встречается. У них не было ничего общего ни в складе характера, ни в интересах — Дэвид не выносил хиппи и байкеров и охотно запретил бы их, — зато их причудливые потребности соответствовали друг другу.

Мы с Генри задержались, чтобы осмотреть миниатюрную «Небесную блоху» — практически воздушный скейт, — а Салли направилась к «Тайгер Мот», на котором Дэвид рекламировал вермут. Она уже разматывала шелковый шарф, словно собиралась заняться любовью прямо под крылом. Дэвид встретил Салли ироничным взглядом, которым смотрел на шлюх в Муз-Джо.

Он обнял ее за плечи, поцеловал светлые волосы и весело махнул Генри. Через минуту на Салли уже была форменная куртка эскадрильи бомбардировщиков, старинный пилотский шлем и маска: мечта фетишиста, блондинка в кожаном летном обмундировании. Когда Салли, привстав на цыпочки, поцеловала Дэвида, ее промежность покорила весь аэродром.

Салли цеплялась за его руку, с удовольствием испытывая этого опасного мужчину. Когда они вместе поднялись в кабину и Дэвид совершил положенный круг над аэродромом, мне показалось, что он выставляет ее перед зрителями, как спустившуюся с облаков небесную наяду. После приземления он извлек ее из кабины и официально представил смертной земле. Лицо у Салли побелело от холода, нос и губы заострились, как у арктической чайки, в ее воспаленных глазах еще свистел ветер. Оставшееся позади небо было для нее героиновой грезой. Я хотел остаться с ними — опасался, что Салли подобьет Дэвида на какой-нибудь рискованный трюк, но Дэвид притворился, что потерял меня в толпе.

В последние годы мы с ним виделись реже. Мне нравился живущий в нем дух разрушения, щедрое обаяние и привязанность к детям — это

он заразил Генри страстью к самолетам, целые вечера проводя с ним на дальних аэродромах. Но Дэвид тяжело перенес смерть Мириам — не мог ее забыть и с течением времени все острее ощущал потерю. Иногда он смотрел на меня так, словно это я в ответе за ее смерть, а он — единственный хранитель ее памяти. За неделю до шоу в Фэйр-Оук он подошел ко мне в ресторане Сохо, где я обедал с американским журналистом, и молча встал у стола, игнорируя приглашение присоединяться. Официанты обходили его, а Дэвид уставился мне в лицо, словно только теперь распознал, кто я такой. Я ждал удара, но Дэвид молча коснулся моего плеча и вернулся к друзьям.

Внешне он по-прежнему держался как благоразумный старший брат, понимающий меня и мои мотивы. Он не читал ничего из моих книг, говорил, что ему это ни к чему — он, мол, уже прожил самую главную историю, которая хранится у меня в голове. Его чувство юмора стало эксцентричным, напоминая моих любимых сюрреалистов. Возрастающее число японских туристов в Лондоне Дэвид воспринимал как намеренную провокацию. Однажды по дороге на премьеру «Космической Одиссеи 2001» — по его словам, «учебный фильм “Пан Американ”

о космических стюардессах» — он остановил свой «ягуар» на площади Белгрейв и с усмешкой принялся разглядывать украшенное лепниной здание. Я решил, что Дэвид узнал адрес популярного комедийного актера, но оказалось, в этом доме расположено японское посольство. Когда из дверей вышел неудачливый атташе, возможно, направлявшийся на семинар по культурным связям между нашими странами, Дэвид резко дал газ и направил машину на пожилого японца, чуть не намотав его на капот. Для Дэвида это была легкая шуточка, нисколько не утратившая остроумия оттого, что японец чуть не погиб.

— Мне приходится напоминать себе о Шанхае, — крикнул он, когда мы на скорости уносились по мосту. — Я начинаю забывать… проклятие в том, что больше и вспомнить нечего.

К счастью, служба в военной авиации обеспечила ему поддержку сообщества бывших военных летчиков — одного из самых надежных в мире. Теперь Дэвид торговал воздушными машинами, продавал двухместные вертолетики поп-звездам и шикующим воротилам бизнеса. Но истинной его страстью были гонки на трассе «Брэндс-Хэтч». Дважды его отстраняли от участия за опасные маневры на трассе — за то самое экстремальное

вождение, которое он практиковал на каждом выезде за город. Дэвид водил машину подчеркнуто небрежно, словно пытался выразить казуальную пустоту. Отрезанный от шанхайского прошлого, которое мы оба начинали забывать, не имея корней в Англии, он видел, как уходят из его жизни немногочисленные элементы реальности: как умирают родители, как друзья военных лет уезжают в Австралию или в Южную Африку.

Я беспокоился за Дэвида и хотел бы помочь ему — так же, как хотел бы снять Салли с иглы, — но был слишком занят детьми. Они рука об руку уходили к бару авиаклуба, и я хотел было последовать за ними, но Генри потянул меня за руку. У него хватило ума понять, что их лучше оставить наедине, к тому же мальчику гораздо интереснее были ряды выстроившихся на траве старых машин, которые чудом поднимались в воздух. Мы с ним провели остаток дня, бродя по полю и радуясь друг другу.

Вернувшись вечером на стоянку, мы не нашли там «ягуара» Дэвида. Салли тоже пропала. Я решил, что Дэвид подвез ее до квартиры в Бэйсуотере. Запах ее тела еще держался в нашей машине, остался отпечатком на сиденье, как почти зримая фотография любви и желания. Я думал

о Салли, пробиваясь к Лондону в плотном потоке движения. Обе полосы были забиты кормовыми огнями, а на травянистой обочине предостерегающе мигали маячки полицейских машин. У моста Чертси столкнулись две машины. Осколки стекла усеяли дорогу. Мы проехали вперед, театрально увернувшись от патрульной машины, как статисты, опаздывающие к дневной съемке. Сначала сквозь встречный поток мне открылась первая из пострадавших машин — лондонское такси, занятое двумя японскими стюардессами и их чемоданами. Таксист под наблюдением полицейского осматривал разбитые фары и решетку радиатора. Молодые японки стояли рядом, чуть ли не виновато щурясь на английское солнце. Я узнал вторую машину и белую ногу, торчавшую из пассажирской дверцы. Серебристый «ягуар» Дэвида развернулся поперек дороги, хромированный бампер изогнулся к проему правого колеса. Салли с Дэвидом сидели на переднем сиденье. Оба не пострадали, но ветровое стекло «ягуара» разлетелось, усыпав пассажирский салон и дорогу стеклянными кубиками. Салли откинулась на спинку, раздвинув бедра и держась за руку Дэвида. Она рассматривала покрывшие ее колени осколки. Ни он, ни она даже не пытались

отряхнуться. Меня поразила их нарочитая поза: так застывают танцоры, которые вдруг обратили на себя внимание зрителей. Оба забыли друг о друге, но позы их наводили на мысль, что они заучивают на будущее точную конфигурацию обнаженных ляжек Салли на коже обивки, точный угол между промежностью Дэвида и рулевой стойкой. Сержант полиции заговорил с ними через окно, но его не услышали, продолжали окоченело пялиться на свои ладони. Они будто репетировали себя для будущего спектакля, для еще более сложной сценической коллизии. На лице Салли не было ни следа шока, а только тонкая улыбка замкнутой на себя сексуальности.

Поток машин подползал к мосту, но я остановился и, открыв дверь, предложил свою помощь, пока не подъехала «Скорая».

— Папа, — предупредил Генри, — полицейский на тебя кричит.

Кулак ударил по крыше моей машины. Я кивнул на сигнал патрульного, ободряюще помахал Салли и Дэвиду и влился в поток машин на мосту. У дороги стояли несколько пешеходов, праздно разглядывали пострадавшие машины. Они расступались, освобождая место другим ценителям. Зрители, разъезжавшиеся с авиашоу, оставляли

машины в переулках и на стоянках ближайших пабов, а сами собирались вокруг «ягуара», изучали повреждения и следы шин на асфальте наметанным глазом любителя, оценивающего высший пилотаж. Двое снимали сцену на кинокамеру, и полицейские, польщенные сочувственным вниманием публики, им не мешали. Но никто не попытался помочь Салли и Дэвиду, а мужчина в летной куртке даже запротестовал, когда медики из подъехавшей «Скорой», извлекая Салли из машины, загородили обзор его дорогой камере. На моих глазах рождался новый уличный театр.

* * *

На протяжении следующей недели я в поездках по центральным районам Лондона обращал внимание на те же задумчивые взгляды людей, собиравшихся на дорожные аварии — словно эти случайные столкновения обнажали тайные формулы их жизни. Офисные работники, вышедшие на обеденный перерыв, и водители, разгружающие товары у магазинов, всматривались в разбитые машины, возникшие из уличного потока под фанфары грохота металла и автомобильных гудков. Всякий раз авария со-

бирала внимательную аудиторию, хладнокровно любующуюся побитыми машинами. Я часто останавливался и выходил к толпе, поражаясь ее спокойной и взвешенной реакции. Еще десять лет назад каждый бросился бы голыми руками разгибать помятую крышу и корпус, лишь бы освободить пострадавших. Теперь же в воображаемом пространстве их жизни правила тупая жестокость, рожденная экологией насилия и высосавшая все их чувства и эмоции. Может быть, в этом вдумчивом единении с разбитой машиной они искали примирения со сминающими сознание телевизионными катастрофами и убийствами, надеялись восстановить, сколько можно, утраченное сопереживание.

К чему может привести такая извращенная логика, я впервые почувствовал, когда Салли вывезла меня на открытие нового здания Арт-лаборатории в Камден-тауне.

Я побаивался ее вдохновенного, но неровного стиля вождения и под разными предлогами не давал ей возить детей. Однако в тот вечер она была удивительно смирной, управляла автомобилем хорошо, не превышала дозволенную скорость и все время посматривала в зеркало заднего вида. Я, тревожась за нее, спросил: может быть, она еще

не оправилась от столкновения после авиашоу?

— Я ничего не почувствовала, — с нескрываемым разочарованием сказала Салли. — Даже не заметила, как это случилось. Раз, и мы сидим все в стекле, и рядом здоровенный полицейский. Ни царапины… по-моему, меня надули.

— Ты могла вылететь через ветровое стекло.

— Джим, какой был бабах! Тебе бы понравилось! Дэвид нечаянно вывернул руль.

— Не верю! — Две японские стюардессы стояли у въезда на мост и моргали от солнечного света, как привязанные к мишени заложницы. — Ручаюсь, он знал, что делает.

— Да, это похоже на Дэвида. Он вообразил себя на гонках. Не понимаю, откуда там взялись японки.

— Салли, он тебя убьет.

— Здорово! Я бы, пожалуй, не прочь.

Мы остановились у эстакады на Вестуэй. Огонек светофора освещал бледное лицо и безумную улыбку Салли. Заметив, что я неприятно поражен, она прижала мою руку к баранке.

— Не волнуйся. Дэвид хочет покончить с собой, а я его не интересую. Он вечно старается ударить какую-нибудь машину. Каждое столкновение ему что-то напоминает — наверно, войну. Вы

никогда не рассказываете о лагере, Джим. Ему там было физически тяжело?

— Физически с ним там ровно ничего не случилось.

— А с тобой?.. Или душевно?

— Салли, это было очень-очень давно.

— Не для Дэвида. Автомобильные катастрофы переносят его обратно. Для него это — как для других бой быков: секс и смерть… Джим, ты не против, что мы с ним?.. Он твой самый старый друг, в некотором смысле это не то, как если бы я подцепила кого-то совсем незнакомого.

— Наверное, да.

— Я люблю пикси. Они мне помогают взрослеть. А ты… ты сейчас все время пишешь, и у меня всякие дела… — тихо, будто про себя проговорила она. — Все меняются, и мы все время расходимся друг с другом. В кои-то веки мне хочется, чтобы можно было остановиться, вспомнить, как все было. Так много всего происходит, и мне хочется во всем участвовать. Хочу быть для каждого мечтой, быть у них прямо внутри…

— Салли, так и есть. Только…

— Джим, я всегда буду тебе давать.

Она смахнула с лица нестриженые волосы, сообразив, что я не всегда ее хочу. Пальцы ее

прошлись по шраму на верхней губе — от удара случайного любовника, подпольного кинопродюсера с дурным характером. Видя, как отважно она пытается собрать себя воедино, я понял — ей не хватает хоть какой-то сердцевины жизни. Шеппертон стал осью ее карусели, там Салли отогревалась, играя с моими детьми, но ее все время уносило к мелькающим огням, к встречному ветру на краю круга. Я был для нее слишком скучен, слишком погружен в детские забавы и домашние задания, слишком привязан к рюмочкам виски с содовой, которые меня веселили, а мир успокаивали, — Салли находила это средство слишком скудным. Ей нужно было, чтобы мир несся навстречу, как волны, которые били ей в живот на брайтонском пляже.

Мы проехали дальше, пересекли Марлибон-роуд и заблудились в лабиринте старых коммерческих зданий у Камденского шоссе. Пока Салли поправляла зеркало заднего вида, я подумал, что она нарочно сбилась с дороги, ждала, что кто-то нас найдет. Я обвел взглядом ряд крыш. Арт-лаборатория переехала в здание старого фармацевтического склада: его открытые бетонные пространства идеально подходили для жестоких вечеринок и выставок, а широкие вентиляци-

онные шахты быстро вытягивали дым травки в случае рейда наркополиции.

Мы свернули на улицу с односторонним движением, и тут я заметил, как мигнула фарами припаркованная в кармане машина. Она двинулась к нам, набирая скорость, ревя мощным двигателем. Я вывернул руль, а Салли нажала педаль тормоза. Но машина уже пронеслась мимо, сбив зеркало пустого фургона. Сквозь суматоху скорости и опасности я распознал серебристый «ягуар» с погнутым бампером. Он, не притормозив, свернул с односторонней улочки и пропал в ночи.

— Салли, давай отъедем куда-нибудь. Вдруг он вернется.

Ее голова откинулась на подголовник, белые волосы лежали на лице кружевом савана. Миг насилия распахнул и захлопнул дверь с ревом плавильной печи. В темноте последний раз звякнуло о корпус разбитое зеркальце. Я, нащупав ногой рычаг, включил заглохший мотор и отвел машину в товарный тупик старого склада.

Мы посидели молча, вслушиваясь в далекие стоны мотора. «Ягуар» продолжал погоню на городских улицах, любовник плакал в ночи.

— Это был Дэвид? — спросил я. — Ты его рас-

смотрела?

— Он вернется, — Салли взяла меня за руку. — Он хотел тебя предупредить.

— Давно он за тобой следит?

— Только иногда. А иногда я за ним слежу. — Она крепко сжала мою руку на баранке руля. — Это игра в прятки. Мы разыгрываем столкновения. Держись от него подальше, Джим — как-то раз он сказал, что ты на самом деле японец.

Она сидела в темноте, всматриваясь в выцветшую надпись на стене — рекламу наборов тиглей и реторт эдвардианских времен. Салли развела бедра, копируя позу, в которой сидела в машине Дэвида после столкновения у моста. Она была спокойна и в то же время возбуждена грезой насилия и желания.

— Здесь уютно. Вечно аварии… Джим, тебе придется…

Она взяла мою руку, положила себе между бедрами. Клинышек ситца был влажен от жидкости, пропитавшей и юбку — пронесшийся мимо «ягуар» вызвал прилив. Она направила мои пальцы к себе в вульву, наложила безымянный на клитор и раскинула руки по спинкам сидений, словно наблюдала из машины увлекательное зрелище катастрофы. Когда я, лаская следы иглы

на бедрах, погладил их, Салли провела по следу моих пальцев своими, отыскивая клейма ранок на белой коже.

— Джим, однажды мы вместе попадем в аварию. Я бы хотела… Ради меня, подумай об этом сейчас.

Она сдвинулась наискосок по сиденью и задрала ляжки, подставив анус и лаская себе вульву указательным пальцем. Я нежно обнял ее, вспоминая проведенные вместе годы. Вспомнилось, как она бегала с лошадьми на поляне за попфестивалем, как ее белые волосы развевались среди конских хвостов, а глаза блестели памятью детства.

Я встал на колени у пассажирского места, остро чувствуя поблескивающую за стеной приборную доску, таращившиеся из темноты монокли шкал. Стилизованный интерьер машины обнимал Салли крепче любовника. Когда мой пенис проник в ее вульву, она придержала меня так, чтобы только головка касалась половых губ. Вытащив из-под платья черную лямку, она спустила лифчик, освободив груди.

Я стал гладить их, а она смотрела на меня безо всякого выражения, словно хотела, чтобы ее изнасиловала машина. Она задержала мою голову

в нескольких дюймах от соска и обвела пальцем знак на груди — диаграмму реального насилия. Она выставляла себя не передо мной, а перед конструкторами машины и перед Дэвидом Хантером, которого я сейчас заменял, и перед неизвестным мужчиной, определившим облик ее детства. Ее пальцы проскребли меня по груди, словно срывая бинт с раны, потом постучали по собственному соску, как делает медсестра, когда берет кровь из вены. Когда я кончил, она прижала грудь к моим губам, словно возвращая мне всю кровь, что я потерял в смертельном сексе, наполнявшем ее видения. Мы лежали рядом, а «ягуар» Дэвида носился по улицам зверем, открывшим охоту на эту странную пару. Когда стена склада осветилась фарами, Салли прижалась головой к моему плечу. Она сосала воспаленные предплечья и жалась к моей груди: боялась, что оторвется от меня и выскочит в набегающий луч.

* * *

Выставка разбитых машин в Арт-лаборатории продолжалась четыре недели, и все это время посетители галереи атаковали экспонаты. Среди тех немногих, кто одобрил выставку от всего сердца, был Питер Лайкьярд. Когда я, послушав-

шись уговоров Салли, предложил ему свой план, Питер согласился не раздумывая.

— Отлично, Джим… своего рода эмоциональный минимализм в чистейшем виде. Уорхолу бы это понравилось.

Я на самом деле имел в виду нечто противоположное. Для меня разбитые машины были вместилищем самых мощных и неотступных эмоций, властным символом новой логики насилия и чувственности, распоряжавшихся нашими жизнями.

В тексте каталога я писал:

> «Брак рассудка с кошмаром, правивший “шестидесятыми”, породил новый, еще более двусмысленный мир. По сети коммуникаций разгуливают призраки зловещей техники и продажные мечты. Термоядерное оружие и безалкогольные напитки сосуществуют в беспокойном царстве, где правит реклама и фальшивки, наука и порнография. Смерть чувств и эмоций дала нам наконец свободу превратить в игру свои психические патологии. “Разбитые машины” – иллюстрация к пандемии катастроф, каждый год уби-

вающих сотни тысяч людей и калечащих миллионы, зато предоставляющих темы для фильмов и телепередач».

Вопреки ожиданиям, устроить выставку получилось легко. Автомобильные кладбища к северу от Лондона были полны сокровищ — запасники технологического Лувра под открытым небом. На свалке машин в Хакни мы выбрали сложившийся как подзорная труба «пежо» и скатившуюся с дорожной насыпи «мини» — сквозь ее крышу проросла трава, да так и осталась до сих пор.

Случайно попался нам «Линкольн Континент», очень похожий на открытый лимузин, в котором встретил смерть президент Кеннеди. Огромная американская машина после лобового столкновения осталась почти целой, только радиатор глубоко вмяло в моторный отсек.

Несомненно, самую сильную реакцию вызывал этот помятый лимузин. Тяжеловесная черная машина сверкала под огнями выставки в окружении голых белых стен. Оставленные на улице, эти машины никого не заставили бы обернуться или загрустить хоть на миг над трагической судьбой пассажиров, а в выставочном зале они фокусировали на себе нервный смех и злые отзывы.

Посетители, которые, бродя по галерее, натыкались на эти машины, начинали бормотать про себя или громко ругаться.

Такая реакция подтвердила мои подозрения, что извращенная технология топчет наши жизни. Продолжая эксперимент над зрителями, я нанял молодую женщину, которая должна была, обнажившись до пояса, брать интервью у гостей в вечер открытия выставки. Вечеринка снималась телекамерами и тут же изображалась на расставленных по залу экранах. Первоначально женщина согласилась работать обнаженной, но при виде машин решила, что откроет только грудь — ее реакция была любопытна сама по себе.

Нечего и говорить, что провокация вывела гостей из равновесия. Ни одно открытие галереи на моей памяти не вырождалось так быстро в буйную попойку. Подначенные Салли и Дэвидом Хантером гости залили машины вином, сорвали зеркала и принялись крушить уцелевшие стекла. Дэвид метался по галерее, добродушно присматривая за бедламом. Его беспокойные руки то и дело касались поврежденных машин — он словно попал в естественную среду обитания.

К концу вечера вечеринка обернулась урод-

ливой стороной. Салли едва не изнасиловал на заднем сиденье лимузина перебравший выпивки скульптор, для которого она позировала в образе вдовы президента. Дэвид, заразившись общим возбуждением, подбивал девушку без лифчика взять у нее интервью в разгар изнасилования.

— Салли, мы в прямом эфире! Расскажи телезрителям, что ты чувствуешь! — Дэвид притащил за собой кинооператора, выхватил у него микрофон и сунул сквозь боковое окно в разъяренное лицо Салли. — Слово тебе, Салли. Прокомментируй своими словами…

К тому времени, как мы с Клео Черчилль выручили Салли, зрители выплеснулись на улицу, словно в поисках продолжения выставки. Оправив порванное платье, Салли лягнула ногой пьяного скульптора и захромала на сломанном каблуке по осколкам винных бутылок. Она поморщилась, увидев себя на телеэкране, и с плачем скрылась в темноте.

— Она не попадет в беду? — Клео уклонилась от струйки вина, стекающей с крыши «линкольна», и с облегчением захлопнула дверцу. — Ты что-то доказал, Джим, только не знаю что. Дело того стоило?

— Эксперимент? Думаю, что да. — Я знал, что

она не одобряет выставку и пришла только ради того, чтобы меня поддержать. — Во всяком случае, взгляды не отрывались от машин — а про большинство экспозиций этого не скажешь. Дик Сазерленд хочет заснять это все для нового сериала. Когда он вернется из Штатов, в телецентре устроят инсценировку этого вечера, где гостей будут играть приглашенные актеры.

— Не дай бог… не позволяй ему все время тебя использовать. — Расстроенная бурным вечером Клео стерла с ладони вино и указала на монитор, транслирующий вид пустой галереи. — Ты уже попал в телевизор — тебе мало?

— Широковещательное телевидение, Клео — Дик считает, что эта идея заслуживает миллионной аудитории.

— По-моему, аудитория уже все видела. На улицах, в реальности, понимаешь?

— Клео, здесь тоже реальность… Я рад, что ты пришла. Подкинуть тебя домой?

— Джим, милый, лучше не надо. Сегодня я не уверена, что ты способен вести машину…

Клео встала перед камерой, использовав экран вместо зеркала, и осмотрела винные пятна на рукавах. Распадающиеся электронные цвета напомнили мне кислотные видения, в которых

Клео, одетая в свет, шла между деревьями по берегу реки. Моя принцесса Моро, превращавшая полуоперившихся птенцов в павлинов и унимавшая ветер грациозным движением руки. Мне, увлеченному ее умом и прямотой, захотелось снова пригласить Клео в Шеппертон.

Но Клео меня опасалась, понимая, что я следую по ненадежной дорожке собственной логики. Если смерть, как поверил, казалось, целый мир, переигрывает жизнь в гляделки, я зря терзаюсь. В некотором отчаянном смысле Мириам оживет, Кеннеди с триумфом проедет по далласской площади, погибшие во Второй мировой успокоятся в могилах, а молодой китаец на затерянном полустанке наконец донесет до меня свое отчаянное послание.

* * *

Выставка продержалась четыре недели. Все это время разгневанные посетители калечили машины. Секта «Харе Кришна» ворвалась в галерею и залила «линкольн» белой краской. Между тем Салли с Дэвидом продолжали свой роман, охотились друг за другом по городу, как мы с Дэвидом когда-то играли в прятки на шанхайских улицах. Эта игра была слишком важна, чтобы положить

ей конец.

Однажды вечером после закрытия выставки я возвращался в Шеппертон по Хаммерсмитской эстакаде и увидел вывернувший передо мной с отводной дороги «MG» Салли. Я провел этот вечер в галерее, где разбирали мои побитые экспонаты, которые своим жалким состоянием — покрытые краской и граффити, с сиденьями, пропитанными мочой — поразили даже закаленных автомобильных старьевщиков, прибывших за ними с прицепами для перевозки автомобилей. Пусть эти машины предназначались под пресс и в переплавку, но, вытаскивая их на улицу, старьевщики уже пытались отчистить несчастных.

Проезжая по эстакаде, я оттирал с ладоней остатки белой краски и наблюдал за спортивной машиной Салли, которая летела в потоке, подмигивая неисправными кормовыми фарами. Раньше, увидев ее на дороге к западу от Лондона, я бы не усомнился, что Салли едет в Шеппертон. Сейчас я был уверен, что она едет к Дэвиду на аэродром Фэйр-Оук, и ощутил на миг малую часть той утраты, которую принесла смерть Мириам. Салли хотя бы еще улыбнется мне; мы будем заниматься с ней любовью и сохраним прежнюю симпатию друг к другу. Только ей меньше всего

нужна была симпатия и привязанность. Ей требовалась загнанная внутрь агрессия Дэвида и его срывы, когда он хлестал по лицу разыгрывавшую трудного ребенка Салли.

За Тикенхэмом дорога расчистилась. У стадиона для регби Салли свернула на первую полосу, заставив идущую сзади машину притормозить. Передние фары ударили в кормовые огни «MG», и Салли нахально просунула палец сквозь дыру в полотняном верхе, рассыпав в ночном воздухе искры сигареты. Она нехотя уступила дорогу более скоростной машине и снова свернула на крайнюю полосу, залив фарами зеркало обогнавшего ее водителя.

Я остался в медленном ряду, но, пройдя следующий поворот, набрал скорость и стал ее догонять. Мне показалось было, что Салли меня заметила, но она, глядя в зеркало заднего вида, принялась поправлять макияж.

Я представил их с Дэвидом, занимающихся любовью на его надувном матрасе под крылом «Цесны» — как часто описывала Салли. Меня наполнили запоздалые ревность и желание, обида, что я уступил Салли этому крылатому человеку, и гнев на себя за боязливую настороженность перед ее пристрастием к игле и мелким воровством.

Я не удержал руль — моя машина рванула через дорогу и коснулась кормы «MG». Они на миг сцепились бамперами, и нас понесло вдоль разделительной полосы. Салли от неожиданности пригнулась, прячась от дикого луча фар и тяжелой массы автомобиля, ринувшегося на нее из темноты. Не выпуская сигарету из губ, она дернула влево, сбила «мягкое» ограждение и, не удержав руля, снова очутилась передо мной.

Я, пытаясь избежать столкновения, резко затормозил на скоростной полосе. Машина вильнула вправо, я почувствовал, как лопнула и сдулась передняя шина. Баранка вырвалась у меня из рук. Машина снесла двойное ограждение и, застряв спущенной шиной в центральном кювете, развернулась боком. При этом она сбила подсвеченный указатель, перевернулась и вылетела на встречную полосу.

Я, повиснув на ремне, увидел проносящийся в нескольких дюймах от лица асфальт, потолок мелькающего гравия, освещенного моими фарами. Ветровое стекло взорвалось стеклянными брызгами. Крыша промялась, а зеркало заднего вида ударило меня по лбу.

Машина застыла посреди встречной полосы в сотне ярдов от снесенного указателя. Я слышал,

как крутятся в темном воздухе колеса. Машины вокруг замедляли ход, гудки перекрикивали друг друга. Я уже чувствовал запах бензина, капающего из двигателя на засыпанную стеклом дорогу. Водители выскакивали из машин и бежали ко мне. Выключив мотор, я попытался выбраться наружу, но помятая крыша заклинила дверь в раме. Пока дюжина мужчин раскачивала машину, чтобы освободить дверь, у окна скапливалась бензиновая лужа. Чей-то кулак ударил по борту. Я открутил вниз окно, отстегнул ремень и упал на смятый потолок.

Меня ухватили за плечи и вытащили из кабины. Оглушенный ударом, я лежал на травянистой обочине, а вокруг моей машины собиралась толпа. Перед глазами у меня еще мелькал освещенный фарами асфальт, словно сама смерть пронеслась перед самым лицом.

Рядом со мной опустился на колени медик из «Скорой», нахмурился над набором первой помощи. Мной он, похоже, не интересовался — жаловался шоферу, что в наборе чего-то недостает. Мигающий маячком полицейский автомобиль остановился в тридцати футах от моей машины, которую раскачивали несколько молодых людей. Две девочки-подростка в нарядных платьях за-

глядывали мне в лицо, переступали балетками по холодной ночной траве. Они мычали себе под нос популярный мотивчик и смотрели на меня, как смотрят на вечеринке на свалившегося к твоим ногам пьяного.

В темноте вспыхнул огонек зажигалки. Я не успел и слова сказать, как между девочками протиснулась Салли Мамфорд. Прикрывая сигарету, она заглянула через головы медиков и поднесла огонек к моему лицу — хотела рассмотреть чуть не прикончившего ее водителя.

* * *

Через четыре месяца, на исходе шестидесятых, я стоял в веселящейся толпе на заброшенном футбольном поле в Восточном Лондоне и смотрел на побитые легковушки, оставшиеся рядом с трассой после гонок на уничтожение. Посреди арены, держа шлем у бедра, стояла Салли в белых джинсах и алой форме водителя ралли. Она сердито орала на Дэвида Хантера, который, выбыв из заезда, отдыхал за рулем своей машины. Когда Салли, присвистывая сквозь сломанный зуб, накинулась на него, Дэвид в своем серебристом костюме откинулся назад и, раскинув руки, самодовольно уставился на ржавые остовы.

Глядя на эти срежиссированные катастрофы, я вспомнил собственную аварию и выставку в Арт-лаборатории. Я и тогда еще считал, что выставка была опытом над психологией зрителей, а вот Дэвид не сомневался, что я провоцировал исключительно самого себя. И не была ли авария, в которой я чудом уцелел, попыткой умереть в смертельно-эротическом акте с Салли?

Дэвид так и заявил, навестив меня в рохамптонской больнице. Я, глядя с постели на эту парочку так любимых мной вырожденцев, понял, что использовал их так же, как Дик Сазерленд и Лайкьярд использовали меня. Я хотел им помочь, но безумный паром шестидесятых захватил наши жизни и увлек под свое скрипучее днище.

Последняя машина взгромоздилась на предпоследнюю, как скучающий бизон в болоте у железнодорожного моста в Муз-Джо. Я вспомнил довоенных «Адских гонщиков» в Шанхае и зрелищные автокатастрофы, инсценированные бесшабашными американцами. Кажется, их призраки из былых времен нависли и над этой скромной трассой, и над самой трагической из автокатастроф — смертью Кеннеди. Я еще помнил отдельные кадры из фильма Запрудера — телевидение разобрало его на атомы, и каж-

дый был представлен на журнальных страницах. Не было ли событие на Дили-плаза всего лишь самой сложной из постановок, предначертанных в шанхайских гонках моего детства?

Мерзнущие на зимнем ветру зрители переминались с ноги на ногу на деревянных трибунах. Ноздри ловили плывущий в воздухе дым и выхлопные газы. Гвоздем представления было воссоздание живописной дорожной аварии, в которой на Манчестерской трассе столкнулись более десятка машин.

Ко всему прочему, в этом номере выступали женщины, поэтому толпа придвинулась, чтобы лучше их видеть. Салли с остальными водителями в полосатых шелковых куртках, накрашенные как на панель, вцепились в борта своих машин и закинули по одной ноге на водительское место. Зрители — коренастые мужчины в кожаных пальто, притиснули меня к перилам. Все они глубоко засунули руки в карманы. Эти явились только ради женской гонки по трассе-восьмерке со множеством столкновений — тут каждый пенис на трибуне окажется зажат в ладони.

12
Под объективом камеры

— Кинофестиваль, — провозгласил Дик Сазерленд над третьим ромовым коктейлем в отеле «Копакабана-палас», — дает неплохое представление о том, как будет выглядеть будущее.

— Прекрасные, но недоступные женщины, потертые мужчины и миллионы грез в одной показушной рекламе?

— Что-то в этом роде. В Лас-Вегасе переснимают «Метрополис» Ланга. Тут не то что иллюзии вытесняют реальность, тут уже иллюзию вытесняет откровенная галлюцинация. Здесь резвится на воле та активность человеческого мозга, которую на всем протяжении эволюции приходилось сдерживать. Как мне это нравится!

— Я так и думал, Дик. А как наш конгресс фильмов о науке?

— Это и к нему относится. Во многих смыслах еще больше. — Дик улыбнулся, не скрывая, как ему приятно меня провоцировать. — Рано или поздно наука, как и все остальное, обратится в телевидение.

— Звучит как угроза.

— Еще какая! Хотя и любопытно будет. Что это за идея, которую ты вечно двигаешь?..

Дик добивался от меня повторения этого затертого пророчества всякий раз, когда ему не хватало самоуверенности или он оказывался в местах, где его не узнавали, и страдал от сенсорной депривации своей телеперсоны.

— Забыл… что ты, возможно, станешь виновником первого научного открытия, сделанного по телевизору?

— Оно самое. Это может случиться здесь. Рио целиком медийный город.

Дик отвернулся от обдуваемой ветерком кондиционера стойки, чтобы полюбоваться на процессию гигантских воздушных шаров, движущуюся по Авенида Атлантика — рекламу звездного фильма фестиваля, «2001» Стенли Кубрика. Над потоком машин плыл флот серебристых космических кораблей, похожих на модели в межпланетном ночном клубе. Экипажи молодых женщин в укороченных скафандрах из фольги, покачивая бедрами, одаривали толпу туристов улыбками официанток, разносящих коктейли. По неясным причинам их удостаивали взглядов лишь нищие и калеки, пристроившиеся

у прибрежных отелей. Волны музыки из усилителей перекрывали вой полицейских сирен и крики продавцов лотерейных билетов. Над пляжем пролетели два легких самолетика, за ними на буксире — плакаты с рекламой фильма-соперника. Наперекор им, большой отрывок из «Так говорил Заратустра» прогрохотал по фасадам отелей и укатился к морю будить самого Посейдона.

Карусель пропала в гомоне и тумане — и тотчас забылась. Никто, кроме Дика и нищих, даже не взглянул на шествие. Над Рио господствовал пляж — не полоска песка, на котором можно позагорать, как в Средиземноморье, а особый город, протянувшийся вдоль моря под открытым небом и заполненный тысячами людей в купальниках, воздушными змеями и продавцами часов, разносчиками мороженого и разбойничьими шайками нищих, не говоря о целой лиге футбольных команд, гоняющих мяч на почти полноразмерных песчаных полях. Угрюмый прибой Атлантики соперничал с крещендо Рихарда Штрауса, волна за волной, призывая кинопродюсеров и организаторов сравняться с его эпическим величием.

Прилетев из Лондона, мы с Диком сразу заметили, что Рио, весело приняв фестиваль в свои объятия, едва ли заметил его. Во всех кинотеатрах

была толпа, на террасах отелей теснились телевизионщики, старлетки и продюсеры. Флотилии лимузинов и автобусов переправляли делегатов из посольства в посольство, а банды проституток с сутенерами были так многочисленны, что вытеснили с улиц Копакабаны всякую надежду найти клиента.

Но город впитал все это в себя — иллюзорные видения фестиваля не могли соперничать с великими иллюзиями самого Рио, напомнившего мне довоенный Шанхай, только в этом Шанхае правили самые смелые и прекрасные в мире женщины. Глядя, как скучающий полисмен замазывает белым ветровое стекло неправильно припаркованной машины, я готов был поверить, что он спасает водителя от ослепляющего, невиданного секса.

И над всем этим были люди фавел — трущоб, заполонивших дюжину больших холмов над улицами Рио. В других городах бедные и отверженные заселяли низины, а в Рио они жили ближе к небу и спускались с облаков, чтобы продемонстрировать своих недокормленных, увечных детей и схватить за рукав туриста. Может быть, здешние нищие однажды обнаружили дверь в небеса открытой, бросились со всем сво-

им скарбом к туманным вершинам и слишком поздно спохватились, что это была уловка тех, кто остался твердо стоять на земле внизу?

— Вы с ним прекрасно смотритесь, — бросил кинооператор нищенке со спящим на сухой груди младенцем, когда та осмелилась протянуть к нему морщинистую руку у «Копакабана-паласа».

Впрочем, мы с Диком легко откупились от совести несколькими фестивальными крузейро и фестивальной же наивностью. Полчища наглых карманников и калек, ревностно отстаивающих свои норы от соперников, опять напомнили мне Шанхай с богатыми нищими под охраной телохранителей. Шанхай тоже был медиагородом, быть может, первым из таких городов — испытательной моделью города будущего, выстроенной Западом на Востоке. Лондон шестидесятых стал вторым. В нем так же смешивались образы и реальность, и было так же знойно.

В Рио вымысел еще не закончил игру с реальностью. На приеме в американском посольстве мы оказались в очереди желающих пожать руку команде звездного корабля «Энтерпрайз» — группе седовласых актеров, похожих на пожилых гробовщиков. Нас окружали прославленные лица, постаревшие и забытые воплощения самих

себя. Через силу поддерживая светскую беседу с женой продюсера, я и себя ощутил самозванцем, не слишком убедительно играющим свою роль. Оставалось только радоваться, что световое шоу и громкая музыка свела все разговоры к невразумительной перекличке.

Дик спас меня. Протолкавшись через толпу, он схватил меня за руку:

— Идем, Джим, познакомишься с Фрицем Лангом.

Он погрузился в кутерьму вечерних нарядов, пробиваясь к двум десяткам гостей, которые словно окружили место незначительного происшествия. Пожилой человек в слишком просторном смокинге сидел в кресле с прямой спинкой, развернутом боком к стене; обмяк в нем, как брошенная чревовещателем кукла. Шум и музыка придавили его, иллюминация заляпала седины дикими синими и зелеными пятнами. Человек казался бесконечно усталым, и я подумал, не умер ли он среди этой пестрой кинотолпы. Пожав Лангу руку и кратко объяснив, как люблю его фильмы, я получил слабый отклик: ироническая искра мелькнула в одном глазу. Как будто режиссер «Метрополиса» сознавал, что нафантазированная им антиутопия сбылась самым

неожиданным образом.

* * *

Отстраненная ирония Ланга вспомнилась, когда мы допили коктейли в баре и отправились в конгресс-холл, где шел фестивальный показ научных и документальных фильмов — приложение к главному фестивалю, которое организаторы спонсировали из почтения к научно-фантастическому эпосу Кубрика. Толпа поклонников осадила нас на выходе из такси, и Дик сразу просиял — пока не сообразил, что большинство здесь составляют карманники, зазывалы борделей и торговцы куклами вуду.

— Эй, мистер, хочешь вуду? Настоящий, хороший вуду! Мистер, хочешь посмотреть на извращения?!

Мы отгородились от леса рук стеклом.

— Ну, Дик, — спросил я, — хочешь? Это тебе не фильм Би-би-си о дикой природе.

— Поживем — увидим. Может, я еще тебя удивлю, Джим. Даже тебя.

Я, чтобы морально поддержать друга, отсидел на его лекции и на устроенном им диспуте, в который раз восхищаясь, как искусно Дик обращается с аудиторией — словно опытный хореограф

мюзик-холла. Однако выступление оказалось на удивление сдержанным, будто Дик нарочно отбросил отрепетированную телевизионную манеру, которую так старательно культивировал в Кембридже. Временами, вызвав смех в зале, он бросал на слушателей взгляд, очень похожий на усталый взгляд Фрица Ланга. Рио был полон старых режиссеров, запертых внутри собственного образа.

Его лаборатория в Институте психологии действовала теперь больше как рекламное бюро. Клео рассказывала мне, что Дик по секрету попросил у коллеги место в его лаборатории, чтобы вернуться к прежним исследованиям. Иногда он часами просиживал там, в святилище своего молодого я, не в силах выдать ничего оригинального. Потом возвращался в собственную лабораторию и превращался в популяризатора психологических идей, скармливающего свите телепродюсеров новости о прорывных открытиях. Я восхищался Диком и жалел, что раньше внушал ему, будто его настоящая лаборатория — мир СМИ. Иногда, услышав вопрос о собственных успехах, он становился почти грубым.

Позже, блуждая по широким коридорам, где показывались внеконкурсные фильмы, я удивил-

ся разнообразию документальных лент. Лишь малая доля доходила до широкой публики. Зоопарки, курсы стоматологии, агрономические научные станции, международные сети отелей, парикмахерские училища и консорциум гробовщиков и бальзамировщиков — все удостоились своего фильма.

В мерцающем полусвете делегаты в рубашках с короткими рукавами стояли перед рядом экранов, наблюдая за разработкой носового шасси «Боинга-707», компрессионными травмами хоккеистов, жизненным циклом камышовой жабы и архитектурой борделей. В голове у меня втяжной механизм носового шасси путался с лечением кожных болезней соболя. Может быть, все эти фильмы сводились по большому счету к одному итогу? Очищенная от эмоций и оценок научная камера расчленяла мир, как студент в анатомическом театре.

Фильмы о медицине и психологии демонстрировали этот процесс еще отчетливее. В главном зале фестиваля Дик представил вечернюю программу на тему: «Терапия отвращением — десенсибилизация в восприятии сексуальных образов». Три фильма описывали работу шведов, японцев и американцев с насильни-

ками-рецидивистами. Этих погруженных в мрачную безысходность мужчин подвергали просмотру бесконечных изображений потенциальных жертв: детей, беззащитных женщин, представителей желанных для них рас и других насильников. Предполагалось, что дозы тошнотворного и электрические разряды вызовут в подопытных условно-рефлекторное отвращение к объектам их желания.

Пока на экране разворачивался ряд жутких картин, я перевел взгляд в зал. Зрители, в большинстве сами документалисты и психологи-профессионалы, уставились на экран застывшими немигающими взглядами, какими смотрят любимые сцены фильмов посетители порносеансов в Сохо или поклонники определенного рода апокалиптической научной фантастики. Когда преступники корчились от боли и блевали в тазики, по залу проходила рябь одобрения — удачному углу съемки или крупному плану радовались так же, как клиенты в Сохо аплодируют выразительной промежности или изящному входу в анус.

Позже, когда мы вернулись в отель на пляже Копакабана и выпили по первому за вечер дайкири со льдом, я сказал Дику:

— Так мне и надо. Лучше бы мы пошли на вуду. Ну и денек!

— Мерзкий материал?

— Я наблюдал за зрителями. Может быть, будущее окажется похожим на кинофестиваль, только на который? Ваш или тот, что по эту сторону пляжа? У них взгляды туристов в лагере смерти — тех туристов, что приезжают еще и еще.

— Мы тебя шокировали, Джим! Уже ради этого стоило приехать в Рио, — Дик, радуясь, что поймал меня, хитро глянул из-за края бокала. В Рио наше соперничество, которое он по каким-то своим соображениям всегда поддерживал, стало более явным. — Любопытно, что научные фильмы волнуют тебя больше жесткого порно.

— Но ведь порнография на самом деле вполне чиста — это неэротичная мечта тела о самом себе. А ваши фильмы — прямиком из психиатрической палаты. Представь, что ты обнаружишь их в фильмотеке сексуальных преступлений.

— Ну и что? Возьмем набор хирургических инструментов — невинных в операционной, но что,

если они попадут в сумочку Майры Хиндли?[76] Ты рассматриваешь их вне контекста.

— Теперь все рассматривается вне контекста. Включи телевизор, Дик, и увидишь министра-убийцу, ребенка с конфетой, задирающую юбку Мерилин… какой сценарий сошьет из этого разум?

— Интересно знать. Скажи-ка?

— У Клео в журнале мод были манекенщицы, танцующие на фоне кадров из фильма Запрудера. Убийство Кеннеди как модный аксессуар?..

— Конечно! В будущем, чтобы разобраться в чем бы то ни было, каждый должен будет стать кинокритиком.

— А не психологом? — удивился я. — Ты ведь…

— Нет, я думаю, психология отжила свое.

Дик холодно оглядел забитую народом террасу «Луксора» — наслаждавшихся отдыхом делегатов и фотографов, ждущих, не появится ли в вестибюле какая-нибудь знаменитость. Кажется, успех дневного выступления его не удовлетворил. Дик будто бы считал, что эпоха телепопуляризации,

---

[76] Примечания: 76

Майра Хиндли — серийная убийца, вместе с Иэном Брэйди совершавшая преступления над детьми в возрасте от десяти до семнадцати лет в 1963–1965 годах в графстве Большой Манчестер. В историю вошли как «Убийства на болотах». — *Прим. ред.*

предоставившая ему безопасную площадку для игр, сменилась куда более открытым и жестоким миром вечно меняющегося медиаландшафта, где слава недолговечна как поденка. Он же, подобно астронавту, слабо связанному с лунной поверхностью, мечтал о планете с более мощной гравитацией. Добиваясь внимания, он вынужден был подпрыгивать все выше в лишенной воздуха пыли, но нечему было притянуть его обратно. Он часто расспрашивал меня о школьных успехах детей, радовался их победам и откровенно завидовал семейным узам. Дик ни разу не был женат, подруги проходили через его жизнь как участницы игрового шоу: веселые, оптимистичные, незапоминающиеся. Одного их восхищения Дику было мало.

* * *

— Доктор Сазерленд! Мы видели ваше интервью. Вы, несомненно, самый красивый психолог Рио…

Дика добродушно окликнул через всю террасу сеньор Марсиал Перейра, ведущий кинокритик местной газеты. Он шел к нашему столику в обществе двух пляжных красавиц. Дика он узнал по интервью, которое у него брали накануне на

городском телеканале Рио. Спутницы Перейры, подсев за столик, удостоили нас взглядами императриц. Они, как и другие горожанки, полны были такого темперамента, изящества и пылкой красоты, что только необъяснимая оплошность избавила их от голливудской карьеры.

— У меня в квартире на Ипанема сегодня гости, — обратился к нам Перейра. — Машина фестивальной службы заберет вас в десять. Нам с каждым днем требуется чуточку больше отдыха. Я оставлю вас с моими подружками. Они актрисы — Кармен и Фортуната, и очень хотят познакомиться с англичанами.

Когда он ушел, женщины прочно обосновались за нашим столиком и стали переговариваться, окидывая террасу быстрыми взглядами. На обеих были шелковые вечерние платья, открывавшие плечи и бедра. Они были немногим старше моих дочерей и так же легко брали в свои руки все, что видели вокруг. Темные волосы Кармен копной стояли над острым покатым профилем — отчасти португальским, отчасти индейским. Она постоянно морщила лоб, словно чего-то не понимала в этом мире. Ее подруга Фортуната, равнодушная блондинка с тяжелой грудью, ожидала намека, что пора уходить, но возбужденный запахом двух

женских тел Дик уже заказал напитки и перешел на пиджин-инглиш:

— Вы живете в Рио? Здесь?

— На пляже? Нет. — Кармен оценила телевизионную улыбку Дика, его золотой медальон и кредитные карты. — В Сан-Пауло. Мы здесь на фестиваль.

— Как мы. Мы из Лондона. Из Англии.

— О, Лондон! Мы с Кармен едем в Лондон… — Фортуната устремила взгляд на образ Карнаби-стрит в собственной голове. В конце улицы стояли «Битлз» и «Роллинг Стоунз». Голос ее звучал мечтательно, но, похоже, девушка ждала от подруги возражений.

— В Рио гораздо лучше, — заверил ее Дик. — Много красивых женщин. Как вы.

— Да… в Рио много женщин. — Кармен произнесла это голосом распорядителя на распродаже. — Вы предпочитаете красивых?

— Конечно. Особенно в Рио.

— Вы актрисы? — спросил я. — Снимались в фильме?

— Да. Я играю в фильме. С Фортунатой, — небрежно бросила она.

Я решил, что мы имеем дело с проститутками из Сан-Паулу, выбравшимися в Рио по случаю

фестиваля, и ждал, когда же Дик догадается, что существует один-единственный способ произвести на их впечатление. Кармен одной рукой постукивала по столу, а другой теребила лямочку платья. Так она демонстрировала мне грудь, в то же время позволив шелковому подолу вздернуться повыше.

Мне вспомнилось, что начало карьеры Мерилин Монро граничило с проституцией. Я пожал руки Фрицу Лангу и команде «Энтерпрайз», но настоящим знакомством с международной киноиндустрией станут эти две невозмутимые шлюхи. Они, может быть, снимались в рекламе собачьего корма или парковочного сервиса.

Я оторвал взгляд от груди Кармен. Дик уже готов был сделать первый ход. Он с самой посадки в аэропорту глаз не сводил глаз с женщин, расхаживавших по тротуарам этого экстравагантного города, но я знал, что мысль о сексе возбуждает его больше самого секса. Чтобы замкнуть цепь желания и воплощения, Дику был нужен я. Я много лет подозревал, что в Кембридже они с Мириам были любовниками. Мириам это отрицала, зато Дик намеками укреплял меня в этом подозрении.

Кармен дергала лямку на плече, как скучаю-

щий гитарист перебирает струны. Фортуната разгладила складки платья широкой ладонью слабоумного ребенка.

— Где вы остановились? — спросил я. — Здесь, в Копакабане?

— Пойдем к нам. — Кармен указала в сторону ближайшего переулка. — У вас есть американские доллары? Один час, два часа…

— Дик? Платить по часам. Идет?

— Конечно. Деньги — первый образчик цифровых часов…

Мы вышли из «Луксора» в толпу на Авенида Атлантика, прошли мимо нищих и торговцев бижутерией, мимо зазывал у стоящих наготове такси. Длинноногая Кармен вырвалась вперед. Когда мы, обогнув сотни сутенеров с шлюхами, добрались до переулка, она уже ступила на проезжую часть. Проституция обеспечивала Рио энергией и движением. Впервые выйдя на его улицы в первый вечер, я подивился очарованию тысяч бесчисленных парочек, дружелюбно болтающих на широких тротуарах, словно весь город заполонили счастливые супруги. Но эти мужья сматывали заработок жен, как отрезы материи, а вольным стрелкам и фестивальным гостям вроде Кармен с Фортунатой приходилось, рискуя

жизнью, двигаться по проезжей части.

Виляя между лимузинами, мы добрались до большого и дешевого многоквартирного дома. Рядом с кнопкой домофона чернели сотни щелей почтовых ящиков — адреса ада. Маленький лифт доставил нас на верхний этаж, где низкий коридор с десятками дверей уходил в сумрачную бесконечность. Потные жильцы выплескивались за пределы тесных квартир. Дети играли под тусклыми лампочками, выживая в сыром коридоре, как плесень в пещере. Мужчины в трусах и безрукавках подпирали стены, матери причесывали дочерей, старухи трудились на раскладных столах. У дверей своей квартиры Кармен, уже достав ключ, остановилась и присмотрелась ко мне так, словно за время пути забыла мое лицо. Переждала, пока пройдет мимо любопытный старик.

— Ну вот, видишь? Пятьдесят долларов.

— Много.

— За двоих. Времени сколько захотите. Потом едем к сеньору Перейра на Ипанема.

— Согласен, Дик?

Он, пока я искал бумажник, уже обнял Фортунату и перешучивался с ней так же, как с моими дочерьми.

Кармен засунула бумажки в сумочку и открыла

дверь. В комнате было полно народу. Три пожилые женщины и маленький ребенок трудились за столом, обложенным пластиковыми мешками. Они изготавливали дешевые сувениры: вставляли в золоченые рамки из папье-маше картонные фото кинозвезд, собирали фестивальные наборы, доставая готовые части из мешков. В открытых картонных коробках на потертом диване лежали сотни пряжек с фестивальной символикой, значки с надписью «2001» и прочие мелочи. Ребенок методично выравнивал их в ряд. Маленькая кухня тоже была завалена товаром, мешки громоздились даже вокруг унитаза в туалете.

— Погодите… — Я повернулся к Дику: — Давай вернемся в отель.

— Нет! — Кармен с удивительной силой потянула меня за руку и указала на дверь спальни. — Мы туда. Там только для нас.

Женщина со степлером равнодушно глянула на нас и пробила скрепкой лоб Элвиса Пресли.

Когда Кармен отперла спальню, я понял, что они с Фортунатой снимают комнату на день. Немытые окна за двуспальной кроватью выходили на узкие балконы большого здания с дешевыми съемными квартирами — самыми дешевыми в этом городе, где бедняков вытесняли ближе к

небу. Балконы были заставлены птичьими клетками и старой мебелью, завешаны стираным бельем.

— О'кей, хорошо проведем время…

Кармен хотела закрыть дверь, но мы с Диком беспокойно осматривались. На мятых простынях виднелись пятна пота и помады, подушки были покрыты голубой вуалью теней для глаз и вагинальными выделениями. Над туалетным столиком из сосновых досок висело белье, на полу у кровати валялись скомканные бумажные салфетки со следами слизи. Эту сцену бесстрастно озирала маленькая кинокамера на треноге. Рядом на стеллаже лежали коробки с пленкой «Кодак».

— Джим, тут что-нибудь подхватишь, — нахмурился Дик и развернулся к двери. Он еще держал Фортунату за талию, но утратил интерес к предстоящей эскападе. Глаза на красивом лице обратились внутрь, он словно постарел за время пути от отеля. Дешевая кинокамера угрожала ему, как никогда не угрожало сложное и современное оборудование телецентра Би-би-си. Я удивился, увидев его так явно вне своей стихии, и не мог понять, зачем он подбил меня связаться с этими проститутками. Может, в расчете на мелкое унижение, которое не повредило бы нашей дружбе,

но закрепило за ним доминантную позицию?

За нашими спинами щелкали, пронзая лица звезд, степлеры. Женщины, не замечая нас, сутулились над работой, покрикивая временами на ребенка. В квартиру зашел старик в жилетке, не вспомнил зачем и растворился в коридоре.

— Джим, нам нужна вторая комната, нельзя же всем…

— Да… — обрадовалась Фортуната, увлекая его к кровати, — всем вместе мило…

Я, кивнув на женщин в потогонной мастерской, велел Кармен:

— Спроси, можно ли нам занять их комнату — всего на час.

— Им нужно работать. Много работы.

— Я дам им десять долларов. Они заслужили передышку. Скажи, пусть сходят в кино.

— Конечно. Я им скажу.

Кармен переговорила с женщинами, и те дружно уставились на меня, дивясь такой застенчивости. Отложив инструменты, они спрятали деньги в общую сумочку и вышли. Когда Кармен закрывала дверь, я увидел, что работницы, прислонившись к стене, закуривают сигареты — готовятся ждать, пока мы кончим.

Дик сбросил на пол поднос со значками и сел

с Фортунатой на диван. Та уже спустила с плеч лямочки платья. Он бледной улыбкой изобразил восхищение тяжестью и округлостью ее тяжелой белой груди — так зеленщик оценивает новый сорт дыни-альбиноса. Когда Фортуната прищемила себе выпуклые соски, я закрыл дверь спальни.

Кармен сбросила туфли на высоких каблуках и повесила платье на шкаф, заботливо, как хорошая хозяйка, расправив шелк. Свободной рукой она дотянулась до пряжки моего ремня и умело расстегнула ее.

— О'кей. Очень мило.

Я тоже разделся, чувствуя, как она мысленно торопит меня. Жизнью проститутки правит время, а не деньги. Чтобы получить удовольствие от такого секса, нужно иметь своеобразные вкусы. С балкона напротив за мной наблюдала тринадцатилетняя девочка с кошкой на руках. Пока я задергивал шторы, Кармен достала тюбик спермицида, выдавила три дюйма в дозатор и, поставив ногу на кровать, раздвинув половые губы, вела носик в вагину. Нажав на поршень, она извлекла дозатор и вытерла пальцы о покрывало.

Я тем временем развернул камеру, направив объектив на кровать.

— Хочешь, я сниму фильм? — спросила Кар-

мен.

— Снимешь нас здесь?

— Хороший фильм, на четыре минуты. Всего сто долларов. Можешь показать подружке. Или жене.

— Жене?

— Да, очень популярно, действительно здорово.

Я сел на кровать и уставился на свое отражение в линзах. Из-за двери слышался смех Дика, гонявшегося за Фортунатой по мастерской, и голоса женщин, окликающих убежавшего по коридору ребенка. На этом фоне спальня была как декорация. Серьезная молодая проститутка, салфетки, которыми она стирала сперму клиента со своей вульвы, пятнистые простыни — все это должно было заводить новых клиентов и даже придавало убогой спальне некоторое величие.

Когда мы с ней легли на кровать, я спросил:

— А в других фильмах ты снималась?

— Конечно! Много фильмов… — Она бросила на камеру у кровати презрительный взгляд, взяла двумя руками мой вялый пенис, легонько потянула за мошонку. — Много фильмов… для настоящего режиссера.

— Это хорошо. — Я догадывался, какого рода

киностудия ее снимала. — Может, для сеньора Перейры?

— Сеньор Перейра — ух! — При имени кинокритика девушка поморщилась: — Его фильмы… не чистые.

Я убрал волосы с сердитого лба, умиляясь ее решительности.

— Ты будешь работать на других режиссеров. Станешь когда-нибудь звездой.

— Да… — она не заметила сомнения в моем голосе. Облизала пальцы и пригладила брови, с яростью вглядываясь в будущее за пределами этой съемной спальни. Когда она стала отковыривать струп с губы, мышцы ее острого как стрела лица сошлись в гримасу трогательного доверия.

Затем Кармен вспомнила, что я лежу рядом, и снова взялась за работу, покачав головой при виде моей вялой эрекции. Она достала левую грудь, постучала ногтем по соску, добиваясь напряжения, потом поднесла грудь к моим губам и прижала теплое тело к носу и подбородку, руку мне положила на свои ягодицы и направила пальцы к анусу, втолкнув кончик безымянного в мягкую ямочку. Рукой она добралась до корня моего пениса, отыскивая простату. Когда пенис ожил, она одобрительно кивнула и проверила,

не потерял ли я взглядом ее груди, а пальцем — ануса. Ее сильные руки опрокинули меня на спину, и она присела надо мной на корточки, так что теперь меня касалась только ее вульва.

Она, как рыбак, терпеливо дожидающийся поклевки, задвигалась, скользя кончиком моего пениса по половым губам. Наконец, удовлетворившись расположением пениса и лобка, опустилась ниже и впустила мой пенис в вагину. И энергично задергалась, поглядывая на себя в зеркало над столиком и временами сдувая волосы с глаз.

Я сжимал ее сильные бедра и понимал, что она трудится так же прилежно, как старухи над значками и сувенирами. Все мы, в том числе, конечно, и я, трудились на благо кинофестиваля. Даже камера без пленки, отражавшая нас линзами, способствовала успеху нашего полового акта. Кармен, приглаживая брови, оценивала свой профиль в объектив, репетируя еще более сложную сексуальную сцену, в которой ей предстояло сниматься. Я, лежавший между ее бедер, не особенно отличался от статиста, нанятого на террасе отеля. Когда Кармен поднялась и подразнила кончик моего пениса своей грудью, я уже почти не сомневался, что мы с небольши-

ми вариациями повторяем заученный эпизод. Камера с ее пассивным и ненавязчивым деспотизмом распоряжалась пространством наших жизней: даже в собственном доме мы все играли доставшиеся нам роли в бытовых эпизодах для рекламы. Каждый, стряпая у себя на кухне, выполнял инструкции производителя, а занимаясь любовью в спальне, воспроизводил знакомый репертуар движений и чувств. Медийная среда превратила всех нас во второстепенных актеров бесконечного дневного сериала.

В будущем и самолеты станут разбиваться, и президентов будут убивать в рамках общепринятой концепции, ритуализированной, как коронация монархов.

Когда я, прижавшись щекой к пропитанной спермой подушке, кончил, Кармен деловито кивнула. Она отняла у меня груди и расцепила вульву с пенисом, как медик отключает систему жизнеобеспечения. Ее тело блестело от моего пота. Кармен встала с кровати и открыла дверь в соседнюю комнату, где Дик с Форутнатой шутливо перебрасывались пластмассовыми сувенирами. Я заметил, что Дик не разделся.

Кармен равнодушно посмотрела на них и закрыла дверь. Вытащила из коробки на столике

салфетку и, ткнув пальцем в дверь, уверенно заявила:

— Он не трахается.

Она ловко вычерпнула из вульвы мою сперму, вытерла потек на бедре и, смяв салфетку, аккуратно бросила ее на пол под камерой, как маленькую дань этому одноглазому инквизитору.

* * *

Ближе к ночи я увидел Кармен под объективом совсем другой кинокамеры. За нами, как и было обещано, прислали лимузин фестивальной службы. В машине сидел еще один гость Перейры, голландский кинопрокатчик. Пока мы проезжали по Копакабана-авеню мимо осажденных жадными толпами кинотеатров, мимо стоящих рука об руку шлюх и сутенеров, мимо туристов, обалдевших при виде местной полиции, которая в погоне за карманником или нарушителем правил парковки заняла все шесть полос движения, прокатчик с Диком погрузились в оживленную беседу.

Дик весь вечер был оживлен и добродушен, а я несколько приуныл. Я соскучился по детям и позвонил Клео Черчилль, которая вызвалась побыть с ними, пока я в отъезде. Я поговорил

с каждым по очереди, взволнованно слушал детские голоса, рассказывавшие о победах и приключениях этого дня: об утонувшем в реке самолетике и о ручной белке в саду. Слушая их, я готов был положить трубку и кинуться в аэропорт. Последней говорила Клео: заверила меня, что все в порядке и дети обо мне почти не вспоминают.

— Не спеши возвращаться — они наслаждаются жизнью. Надеюсь, вы с Диком ведете себя очень плохо.

— Я — да, а Дик слишком занят телеинтервью. Его единодушно признали самым сексуальным психологом в Рио.

— И в Лондоне. Постарайся вернуть его целиком.

Мне вспомнился Дик, валяющий дурака в женской мастерской, и Фортуната с медальончиками Джей Фонда и Бардо на сосках, с лицом Роберта Редфорда на лобке. Дик хотел смотреть, а не трогать. Однако в депрессии был я, а он — в наилучшей форме. Ко мне он теперь относился с некоторой сдержанностью, словно я завалил важный экзамен. Я никогда не любил выступать по телевизору. Дика такая застенчивость забавляла, он объяснял ее старомодностью. Я, несомненно,

был слишком привязан к будничной жизни, к прочной реальности: жена, дети, желание, страх смерти и агония пространства-времени. Дик ушел от всего этого, приняв свой экранный облик за настоящий, так что его внеэкранное я было личностью честолюбивого, но скромного актера, успешно играющего роль куда более блестящего человека. Он мог взять у Кармен с Фортунатой интервью, но не сумел бы разбить чары, коснувшись или возжелав их.

В лимузине, глядя в его самодовольное лицо, я догадался, что Дик — предтеча нового, усовершенствованного человечества. Если мир когда-нибудь обратится в кинофестиваль, все его обитатели будут похожи на Дика Сазерленда. Телевидение сделало из него импотента, но истинной эволюционной задачей было, возможно, сократить слишком разросшуюся популяцию планеты. Посредством объективов камер мы разделяли себя с другими, дистанцировались от чужих эмоций. Глядя в окно на кишащие ликующим народом улицы, я подумал, что Рио не столько радуется жизни, сколько изображает эту радость.

Кроме, конечно, гостей на вечере у сеньора Перейры.

Террасы и гостиные сдвоенной квартиры как будто вращались по орбите над Рио — ночной клуб на спутнике, полный роскошных буфетов, рулеток и иллюминации. Под оркестр маракасов отплясывали сотни гостей, отмечающих канун второго тысячелетия. Пожилые банкиры разыгрывали роли скучающих статистов; лощеные местные гангстеры, прекрасные как кинозвезды, и магнаты, похожие на дорогих мальчиков по вызову, смешались с второстепенными агентами, журналистами и телевизионщиками — пролетариями супербогатства.

Над прококаиненными голосами и грохотом фейерверка с террасы я крикнул голландцу:

— Должно быть, эта вечеринка не прерывалась с прошлогоднего фестиваля! Стильно живут в Рио кинокритики.

— Перейра — не просто кинокритик. У него доля в местной телестудии, разнообразный бизнес и даже собственная кинокомпания.

Что именно выпускает кинокомпания Перейры, я увидел в тот же вечер. Дик танцевал с самой блестящей из женщин, которой можно было дать любой возраст от шестнадцати до шестидесяти. Ее наряд соперничал с блеском городских казино. Мы с голландцем разговорились с американкой,

занимавшейся кастингом, и с ее мужем — того одолевали безумные фантазии, например, провести кастинг среди гостей, завербовав мировой бизнес на второстепенные роли. Поужинав у буфета, мы пошли искать Дика.

На лестнице рядом с установленной в столовой эстрадой мелькнула знакомая блондинка.

— Вы знакомы с Фортунатой? — спросил голландец. — Она рвется сниматься в фильмах Перейры.

— Не умеет играть или в чем дело?

— Она не умна, но играть может — в том-то и проблема. Ему нужны явные любители. Новый сорт реализма.

Второй этаж квартиры выходил на застекленную веранду. Гости облепили перила, разглядывая огни приморской Копакабаны, Сахарную Голову и огромного подсвеченного Христа на Корковадо. Но Фортуната свернула в коридорчик, который мимо кухни и туалета уводил в задние комнаты. У запертой двери охранник в форме беседовал с гангстерами из друзей Перейры. Он пропустил показавшую на размазавшуюся косметику Фортунату, а когда та улыбнулась мне, решил, что я при ней, и кивнул обоим.

Мы попали в частные покои внутри квартиры.

Здесь, кроме письменных столов и стеллажей, собралась вся мебель из расчищенных для гостей комнат. В углу в компании сценического реквизита: двух пластиковых диванчиков, скатанного бирюзового ковра и кричащего покрывала — стояла съемочная аппаратура, светильники и серебряные зонтики.

Фортуната, открыв заднюю дверь, шагнула в коридор, освещенный из-за арки мощными, льдисто-белыми прожекторами. В их сторону смотрели двое в смокингах и женщина в бальном платье с бокалом в руке. Фортуната присоединилась к ним, насупившись, когда пес взвизгнул от боли, а его хозяин сердито прикрикнул. Когда собака, жалобно проскулив, затихла, Фортуната вошла в комнату. Мне через плечо голландца были видны смутные в резком свете лица операторов. Гости в вечерних костюмах отступили к стенам, наблюдая, как Перейра подает знаки своей команде. Он нетерпеливо махнул звукооператору с большим микрофоном, и тот подался вперед, чтобы запечатлеть жалобный лай собаки. Маленький пожилой человек в рубашке с короткими рукавами, с усиками, похожими на зажатый под носом карандаш, то успокаивал, то злил нервную немецкую овчарку. Ослепитель-

ный свет и нервные рывки за поводок выводили крупного пса из себя. Он рвался с поводка, мечтая сбежать домой и скользя лапами по плитке пола.

Перед его носом собрали пышную широкую кровать с лоскутными валиками изголовья, установили дешевую тумбочку и красную пластмассовую лампу. На полу у кровати стояла на коленях голая женщина и бормотала себе под нос, переходя из одних усталых рук в другие. Яростный свет стер все оттенки ее кожи, и тело походило на латекс надувной куклы. Когда женщина, тряхнув длинными волосами, зло глянула на Перейру, я узнал стреловидный профиль Кармен. Пес дернулся, и Кармен хлопнула ладонью по полу, выкрикнув какое-то португальское ругательство. Перейра стал ее успокаивать, но женщина с нескрываемым отвращением уставилась на него, явно жалея, что неразумно связала карьеру с таким негодным продюсером.

Пес навострил уши. Кармен с наигранной скукой обвела взглядом стоящих у стены зрителей. Те сочувственно кивали, качали головами, осуждая некомпетентность тренера и недостаток мужественности у его пса.

Звукооператор протянул вперед микрофон,

оператор поправил наушники. Свет усилился, выбелив лица зрителей. Кармен, подняв руку, досадливо смахнула с себя крошку и самокритично уставилась на свою черную тень.

* * *

Через три дня я стоял на ступенях конференц-центра, дожидаясь Дика Сазерленда, чтобы попрощаться перед отлетом в Лондон. Я потерял его, когда стали расходиться гости конференции, на которой он председательствовал. Решив, что уже не дождусь, пошел к такси, но тут Дик вышел из здания с сеньором Перейрой. Кинокритик многословно благодарил Дика за выступление и за несколько заученных им португальских слов.

В дверях за его спиной, в шелковом платье, подсвеченном экранами и научно-популярными фильмами, Кармен тренировала свой английский на одной из переводчиц-синхронисток. Когда Перейра распрощался с Диком, Кармен с улыбкой шагнула в объятия кинокритика. Они вместе сели в машину.

— Дик, увидимся в Шеппертоне. Кармен, кажется, счастлива… а мне казалось, она ненавидит Перейру.

— Ненавидела. Но похоже, ее карьера идет на

лад — она, кажется, снимается в каком-то фильме с собакой. Перейра хотел показать мне отснятый материал. Среди прокатчиков он произвел фурор.

— «Лесси, вернись, я все прощу…»

— Так он называется? Постараюсь не смотреть.

— Это правильно, Дик.

Дик обратил взор на статую Христа на Корковадо. Он расправил плечи, не без гордости сравнивая себя с телерейтингами медийных персон первого плана. На пляже Копакабаны торговцы запускали воздушных змеев над головами футболистов, а на лотках были рассыпаны значки с лицами телезвезд и фестивальные пряжки. Между лимузинами у отеля пряталась нищенка из фавелы с увечным ребенком — подстерегала неосторожных киномагнатов. В прохладном коридоре конференц-центра крутились на экранах научные фильмы: крупные планы втяжного механизма носового шасси, носовые перегородки и регистраторы боли — великая порнография, дремлющая, пока ее не разбудит магия славы.

13

Станция скорой помощи

Психиатрические больницы похожи на тюрьмы, и часто их обременяют самыми неподходящими названиями. Въезжая в ворота больницы «Саммерфилд» — «летнего поля», — я поражался, кто же так окрестил это мрачное викторианское сооружение. Громадные стены из красного кирпича словно неотступная головная боль поднимались к облупленным карнизам, прорезанным отроду не мытыми окнами — как нарочно, чтобы предохранить пациентов от мрачной атмосферы этого глухого уголка Южного Лондона. Вялые газоны боролись за жизнь в тени хвойных деревьев, но за все время визита к Дэвиду Хантеру я не увидел на них ни одного из двух тысяч пациентов.

Оказалось, что в ворота может беспрепятственно въехать любой, да и бесконечные внутренние дорожки, вьющиеся вокруг больших зданий, создавали впечатление, что «Саммерфилд» открыт миру. На самом деле открытые ворота, как и мертвые газоны, и стоянка для машин посетителей, были отчасти декорацией. Главное здание больницы, цитадель сумасшедшего дома, было плотно закрыто изнутри. Из окон отделения,

где находился Дэвид, через единственное прозрачное стекло, заменившее прежнее, матовое, я видел внутренние дворы, прилегающие к строго охранявшимся флигелям. Стены этих унылых каменных колодцев топорщились железными когтями: хронических больных иногда выпускали сюда, давая бросить безнадежный взгляд в тайну открытого неба. Почему-то прогулочные дворы были разной формы: одни треугольные, другие прямоугольные или в виде гномона, с маленькими нишами неизвестного назначения. Все вместе они складывались в головоломку, которую, должно быть, полагалось разрешить больному, чтобы добиться освобождения.

Два автомобиля занимали противоположные углы стоянки, нарушая правило, согласно которому водители должны парковаться бок о бок. Я заметил, что пациентов чаще всего навещали самые бедные из друзей и родственников. Им приходилось пешком проделывать долгий путь от проходной, после чего усталые посетители только и могли, что сидеть и слушать. На отделениях временных пациентов висели указатели: НАРЦИСС, РОЗМАРИН, ГИАЦИНТ. Я, нагруженный шахматной доской, фруктами, авиажурналами и газетами, направился к входу. И как всегда

тщетно пытался подавить чувство, что прибыл с багажом, чтобы остаться в «Саммерфилде» надолго. Эти тяжеловесные здания производили куда более устрашающее впечатление, чем усталые психиатры, работавшие в них.

Пока дежурный искал в списках мое имя, я гремел шахматами и догадывался, что набор скоро полегчает. Старые шахматные наборы больницы лишились половины фигур. Дэвид хладнокровно объяснил, что обездоленные пациенты, покинутые родными и не имеющие ничего своего, хранят эти краденые сокровища как любимых кукол. Я обычно сидел с Дэвидом в комнате отдыха, а один из приручeнных им стариков разглядывал собственную пешку на раскрытой доске. Этот человек — бывший счетовод в совете по управлению церковными активами, пытался задушить больную жену. Примерно через час созерцания фигуры старик решался сделать осторожный ход.

Когда я собирался уходить, Дэвид закрывал доску, но каждый раз оставлял в руке одну фигуру — обычно черного ферзя, которого отождествлял со мной. Отчасти это делалось, чтобы позлить меня, а отчасти, чтобы я не играл с другими. Разыскивая Дэвида, я услышал его мягкий голос

из женского отделения: он галантно провожал одну из старух к туалету. Закрыв дверь уборной, он весело приветствовал меня.

— Надеюсь, она сообразит, что там делать, — сказал он озабоченно. — Обычно просто стоит, вспоминая дочь. Называет туалет своим шкафом воспоминаний.

По-прежнему доброжелательный и милый Дэвид обвел взглядом комнату отдыха, отыскивая новую тему для разговора. В кожаных креслах сидели больные в халатах, беседуя с присмиревшими родственниками. На диванчике рядом с нами лежала, подтянув колени к подбородку, молодая женщина, погруженная в глубокий аминазиновый сон. Ее открытые глаза закатились под лоб, как будто всматривались в содержимое черепа. У раздатчика пациенты выстроились в очередь за транквилизаторами.

— Вот-вот принесут чай. — Дэвид полистал журнал об авиации и взял меня за руку, показывая, что рад видеть. Его заключение вновь свело нас после отчуждения. — Хорошо, что ты пришел. Как ребята?

— Процветают, сдают экзамены. Генри собирает для тебя модель — самолет братьев Райт. Элис и Люси просились со мной.

— Идея не из лучших. — Дэвид ковырнул шкурку апельсина и коварно улыбнулся мне. — Пусть тебя навещают, когда придет твоя очередь, Джим.

Я пропустил это мимо ушей и стал наблюдать за другой старушкой, которая, в одной ночной сорочке, несла к подоконнику вазу с нарциссами. Она выставила цветы на свет, знакомя их с солнцем.

— Здесь спокойно, — заметил я. — Солнце, спящие женщины. Как в тихом отеле на южном побережье.

— Очень специфический отель, милый мой.

— Понимаю… мне всегда удивительно, что они позволяют мужчинам гулять вместе с женщинами.

— Беременных пока не появилось. — Дэвид уставился на спящую на диване. Подол ее рубахи закрутился вокруг пухлых икр. Когда он развернул доску, я не без злорадства отметил, что среди фигур не хватает черного короля. — К тому же персонал нам вполне доверяет. Для них мы нормальные. Они знают нас в лицо и по именам, знают наши привычки. По-настоящему странными выглядите вы.

— Пожалуй, так и есть.

Дэвид скрючился над доской, следя за мной сквозь ряд фигур. Он все ждал, когда же меня догонит мое настоящее «я». Мои визиты в «Саммерфилд» представлялись ему уроками: я должен был постепенно принять на себя ответственность за ход событий, который привел Дэвида в это мрачное заведение. Провожая меня до лестницы, он каждый раз явно ждал, что я решусь остаться. Займу свободную кровать в отделении Гиацинт, и наш шахматный матч будет продолжаться, пока с доски не растащат все фигуры.

— Салли видел? — вдруг спросил он. — Думаю, она бы хотела получить от тебя весточку.

— Мы по телефону говорили — она сейчас в Шотландии у какой-то богатой знакомой ее отца. Они испытывают новую метадоновую терапию. По голосу — стала намного спокойнее.

— Ей надо вернуться в Штаты. Так и вижу, как она гуляет по Хэйт-Эшбери…

Его дрожащая рука зависла над доской, а неподвижный взгляд обратился на какое-то прихотливое видение из прошлого. Когда я, в надежде подбодрить, коснулся его запястья, Дэвид отшатнулся, и я заметил, что он вернул черного короля на место.

— Дэвид, все в прошлом. Джи-ай возвращаются

из Вьетнама, а Никсон полетел в Китай.

— Знаю. Слава богу, что я здесь, когда все так серьезно. Ты еще будешь скучать по Вьетнаму.

— Я? С чего бы?

— А ежедневные хроники? Я все гадал, почему ты не полетел со мной в Шанхай. А тебе не нужно было — для тебя вместо Шанхая устроили вьетнамскую войну.

— Я не готов был возвращаться. — Я наблюдал за старым счетоводом, согнувшимся над единственной пешкой. — Вышло бы слишком похоже на возвращение преступника к месту преступления.

— Я тебя понимаю, Джим. Я искал тот твой полустанок.

— На линии Ханчжоу — Шанхай? — Я постарался скрыть недоверие. — Ты мне не говорил.

— Ну, Мириам умерла… тебе было о чем подумать. И все равно чертов таксист его не нашел. Эти путеводители как нарочно превращают Шанхай в головоломку.

— Может, его снесли. Я бы не беспокоился. Давай в шахматы сыграем. Черные или белые?

— Нет, он есть. — Дэвид не смотрел на мои руки, ловил глазами взгляд. — Отмечен на карте Транзитной компании. И у тебя в голове.

— Уже нет.

— Нет? Твоя выставка разбитых машин… никто не понял, а ты именно его там представлял.

— За некоторым исключением.

— Безо всяких исключений, Джим. Я-то понимаю…

Он не в первый раз связывал свою последнюю аварию с моей выставкой, намекая, что я послужил катализатором его ошибки на дороге. Но если выставку кто и вдохновлял, то сам Дэвид. Я помнил, как он рыскал по лондонским улицам, управляя машиной так же рискованно, как привык на длинной прямой дороге от Муз-Джо к авиабазе. Они с Салли искали смерти в трущобах восточного Лондона.

Улицы с односторонним движением заманивали его в смертельную рулетку. Как-то вечером через два года после выставки Дэвид выехал на встречную полосу Хаммерсмитской эстакады. Мигая фарами, он вынуждал встречные машины прижиматься к ограждениям. Пожилая виолончелистка с супругом, растерявшись от воя полицейской сирены, преследующей нарушителя, не успела затормозить. Женщина погибла на месте, и Дэвида спасло от обвинения в непреднамеренном убийстве только его странное

поведение после ареста да еще служба в Кении, где он принимал участие в боевых вылетах.

Согласно закону о психическом здоровье, его отправили сначала в закрытую лечебницу в Рэмпторе, а потом перевели под наблюдение в «Саммерфилд». Сейчас, по прошествии шести месяцев, он сотрясался от аминазинового тика в этой солнечной комнате, полной бормочущих в трансе женщин, но память об убитой виолончелистке все еще стучалась в двери его сознания. Я тревожился за него и за его молодое «я», которому Генри теперь был ровесником — за того Дэвида, что вышел из японского лагеря в послевоенный мир. Дэвид понимал, что нужно мне, а в себе не мог разобраться. Он, как умел, пытался воссоздать знакомую ему по войне жестокость, не понимая, что послевоенный мир усердно старается за него. Психопат был святым.

Когда я впервые навестил его в «Саммерфилде», Дэвид, устанавливая правила наших отношений, сказал:

— Запомни, Джим — я на эстакаде проделывал то же, что ты на своей выставке…

Сейчас выбывшие из строя шестидесятники возвращались по домам: в госпитали для ветеранов, в психиатрические лечебницы и в частные

клиники. Салли Мамфорд в гостиной над холодным шотландским озером отмеряла свой день дозами метадона. На мои звонки она отвечала равнодушно, но умиротворенно — совсем не та смятенная и возбудимая женщина, что два месяца назад появилась в Шеппертоне. Ей нужна была моя помощь, но говорить со мной она отказалась. Детей, к счастью, не было дома, они уехали к тетушке. Я кое-как дремал на диване, а Салли всю ночь с плачем бродила по пустым спальням, разыскивала в шкафах старые игрушки и запихивала их в сумку.

На следующий день она дала отвести себя к нашему семейному врачу, который передал ее американскому коллеге из лондонской клиники. Потом ее перевели в специальный санаторий на Темзе около Марлоу — в одну из тех частных тюрем, куда богачи по приговору медиков запирают дряхлых или неудобных родственников. Навестив Салли, я застал ее спокойной. Она улыбалась сквозь сон наяву и говорила со мной с песчаного островка под Росесом, где мы встретились десять лет назад. Она снова была ребенком, доброй и щедрой девушкой, которая пришла на помощь моим детям, когда те в ней больше всего нуждались. Только услышав имя Дика Сазерленда, она

нахмурилась и отвернулась.

Один только Дик вышел из шестидесятых с триумфом. Наука, как я и предвидел, наконец встретилась под объективом его лабораторной камеры с порнографией. Успешные телесериалы о паранормальном: экстрасенсорной перцепции, астрологии, телекинезе — удалось продать американскому телевидению, что привлекло к нему внимание крупного нью-йоркского издателя. Недавно тот основал Институт изучения секса. В дирекции заседали многие гуру контркультуры: пророки ЛСД, модные неврологи, дзен-философы и популяризаторы марксизма. Журнальный воротила с большой помпой объявил, что институт будет продолжать передовые работы Мастерса и Джонсона, Кинси и Хэвлока Эллиса.

Для начала сотрудники посвятили себя съемке научно-популярных фильмов о гетеросексуальных отношениях, используя при этом оптоволоконную технику и миниатюрные телекамеры, внедряемые в тело. Они гонялись за белым китом современной сексологии — женским оргазмом. Однако вскоре кадры из этих научных фильмов появились в журналах компании-спонсора и вознесли продажи на рекордную высоту. Тогда поле исследований расширилось, включив менее

привычные виды сексуальной активности. Институт без шумихи передислоцировали в Лондон, выведя из поля действия законов США и прочих угроз его научным сотрудникам.

Дик в новом помещении института — в бывшем здании отеля над каналом Риджент-парка — стал директором по науке. Здесь под безразличным взглядом камер завербованные им волонтеры исследовали все разрешенные законом вариации отношений. Катушки непроявленных пленок самолетами отправляли в журнальное издательство Нью-Йорка, и отборные кадры появлялись на разворотах в сопровождении ученых комментариев Дика.

Когда я мягко заметил, что продукция этого института неотличима от порнографии, Дик с готовностью согласился.

— Кроме одного: наша цель — не возбуждать, а анализировать. Подумай о том, сколько места занимает в человеческом обществе этот вид деятельности, общий для всего живого, и ты удивишься, как мало мы о нем знаем. Что на самом деле происходит, когда женщина делает тебе фелляцию? Тебе это известно, Джим?

— Слушая тебя, начинаю сомневаться.

— Ну, так о чем говорить?

— А зачем мне это знать?

— Затем, что секс — последний великий фронтир науки. — Дик повел рукой, обнимая горизонт Риджент-парка, как Кортес — безграничные просторы Тихого океана. — О будущем секса можно с уверенностью сказать одно: его станет намного больше. Мы уже наблюдаем новые формы социальных структур, сближающихся с сексуальными фантазиями. То, что ты и другие считают порнографией, возможно, позволит нам выйти из собственных границ и в некотором смысле за пределы секса.

— Должно быть, твой новый сериал будет захватывающим, Дик.

— Ты о нем уже слышал? Хорошо.

Я не слышал, но охотно подхватил тему. Вспоминая Рио, я понимал, что тот вечер с Кармен и Фортунатой был для Дика отважной попыткой сойти с телевизионного экрана в затерянный мир эмоций и желаний. Он отбросил образ сумасшедшего ученого, наполовину кинозвезды, наполовину Роберта Оппенгеймера, на котором держался со времен Кембриджа. Долой кожаную куртку и золотой медальон, даешь твидовый костюм и суконный галстук! Теперь он держался со мной спокойнее, был счастливее и уверенней.

Наконец-то занявшись издавна ускользавшей от него темой, Дик не осознавал, что сам стал жертвой ложного эксперимента.

А Салли пострадала. Она вместе с другими работавшими в институте волонтерами увлеклась евангелическим пылом Дика. Мне она рассказывала, что сырой материал, показанный волонтерам в кинозале института, потряс ее: соборный зал ее собственной вагины, бусины влаги на стенах как самоцветы в гроте. Во время соития с другим добровольным сотрудником лаборатории дистанционно управляемая камера фиксировала непроизвольные движения мускулатуры лица, прилив крови к грудям и животу, тремор кожи на задней стороне бедра.

Наблюдения за этими абстрактными частями собственного тела понемногу вели к бесчувствию. Ее кожа теряла чувствительность к боли, словно нервная система была подключена не к знакомым нервным окончаниям рук и губ, а к экрану просмотрового зала Дика. Перед сеансами она листала в приемной журналы для мужчин и находила между страницами распростертые части своей анатомии, влажный хребет лобка, похожий на далекую горную цепь из окна авиалайнера.

Такое расчленение прогрессировало, пока не

дошло до точки, где она ожидала увидеть кожу со своей груди и бедер растянутой на рекламных плакатах или на обивке кресел в модном ночном клубе. Уйдя, как и большинство волонтеров, из программы Дика, Салли так и не сумела собрать себя заново и бродила по улицам в героиновом тумане, разыскивая пропавшие части лица и губ.

Вскоре после того институтом заинтересовалось министерство внутренних дел, и работу прикрыли. Журнальный воротила за Атлантикой объявил, что сексуальная революция окончена, и пожертвовал мили отснятой пленки фонду Кинси. Волна будущего перекатилась в индустрию отдыха, и новые вложения пошли на курорты Гавайев и Карибских островов. Секс при всем сочувствии был предоставлен самому себе.

Для Дика это стало ударом. В минуту удивительной искренности он признался в наивной надежде, что работу института оценят по достоинству. Он понимал, как пострадала его репутация в научном сообществе. Двери большинства лабораторий закрылись перед ним. Я пытался помочь, познакомил его с заинтересованным издателем и предложил Дику написать популярное руководство по психологии человека. Дик быстро справился, и я, читая этот красочный бестселлер,

как будто сошедший с картинки на пачке чипсов, как всегда, поражался проницательности автора, его уму и остроумию. Его книга продавалась лучше моих, так что Дик мог держаться со мной по-прежнему — дружески-покровительственно. Я остался для него недотепой-студентом, которому разрешают варить кофе в лаборатории и флиртовать с секретаршей.

Но всегда ли крыса в ящике Скиннера контролирует эксперимент? Вспоминая Дэвида Хантера, Дика и Салли, я иногда задумывался, какую роль сыграл в их жизни, не направил ли их к целям, которые поставил себе за много лет до того. Я никогда не манипулировал ими сознательно, но они вошли в предписанные им роли, как актеры, нанятые для исполнения драмы с незнакомым сценарием.

Пегги Гарднер не сомневалась, что вина на мне. Я зашел в ее маленький домик в Челси после встречи с Дэвидом в камере предварительного заключения. Я надеялся, что она сможет свидетельствовать о личности обвиняемого. Пегги села подальше от меня на кресло с прямой спинкой и разглядывала так, словно тем «ягуаром» правил я, а ей, судебному психиатру, предстояло дать мне характеристику.

— Бедный Дэвид. Последний из твоей труппы. Сначала Салли, потом Дик…

— Дик? С ним я ничего не делал. — Я с такой силой опустил на стол рюмку виски, что по лаку пошли трещины. — Пегги?..

— Этот пошлый институт, телепрограммы…

— Он актер в душе. В психологию его случайно занесло. Дик… он шаман эпохи телевидения.

— Сколько лет ты подбивал его покупать все эти американские машины, внушал… как там звучала та чушь? — что он сделает первое научное открытие на телеэкране. Мог ли он устоять?

— Он и не пытался устоять. Ты помнишь его в Кембридже?

— Я старалась с ним не встречаться. Он всегда был слишком внимательным и льстивым.

— Он просто дожидался появления телевидения.

— Тебя он дожидался. — Пегги отошла к камину и уставилась на меня в зеркало, словно перевернутое отражение могло дать ей ключ к моим зловещим видениям. — Иногда мне кажется, что он затеял тот фальшивый эксперимент только ради встречи с тобой.

— Он даже не знал о моем существовании.

— С кем-то вроде тебя. С одержимым Третьей

мировой, с головой, полной американских бомбардировщиков и Лунхуа…

— Об этом я с ним никогда не говорил.

— Тебе и не пришлось говорить. Тебе отчаянно нужно было насилие. Оно всему придавало смысл, но понадобилось телевидение, чтобы наполнить им воздух, чтобы снова и снова играть с ужасом и болью! Дика это по-настоящему возбуждало. Он и Мириам тебе отдал, лишь бы удержать.

— Не слишком ли ты жестока? Он и без меня пробился бы на телевидение.

— Вьетнам, убийство Кеннеди, Конго, эти жуткие зачистки… словно для тебя придуманы.

— Пегги, я у тебя получаюсь прямо-таки военным преступником.

— Мириам говорила, что ты такой и есть. А ведь ты своих детей любишь… — Пегги прижала ладонь к зеркалу, оперлась на надежное стекло. — Перед отходом «Арравы» ты водил меня в Шанхае в кино, на фильм про американские авианосцы.

— «Воительница». Подборка кинохроник.

— Я думала, как бы ты не зарвался в темноте, но зря беспокоилась. Мыслями ты был там, размазан по экрану. Я так удивилась, только на тебя

и смотрела.

— В Шанхае тогда ничего другого не показывали. Да, я всегда увлекался самолетами.

— Ты мне сказал, что смотрел его десять раз!

— Фильм привезли американцы и раздавали бесплатные билеты. А мне делать было нечего.

— Делать нечего? Во всем Шанхае? Ты три года провел взаперти, и тебе нечего было делать, кроме как сидеть в темноте, глядя, как пилоты-самоубийцы разбиваются об американские корабли? — Пегги отвернулась от зеркала, готовая к поединку. — Скажи, ты знал, что у Дика есть копия этого фильма?

— Думаю, что есть.

— Знаешь, Мириам мне рассказывала, как вы его смотрели в Кембридже, у него в гараже.

— Раз или два. У Дика были летные права, а я летал в Канаде. К тому же это замечательный фильм. Те американские летчики были храбрецами. И японские…

— Конечно, были. Не храбрее, чем русские или британские летчики. Чего у американских больше, так это стиля и гламура.

— Как во всем американском. Что из этого?

— А то, что тебе всегда это и было нужно — стильное насилие. Тот ужасный день на же-

лезной дороге под Сикавей — ты к тому времени насмотрелся жестокостей.

— Как все мы. Таков был Шанхай.

— Но в тот раз ты оказался слишком близко. Отчасти это случилось с тобой самим. Все эти автомобильные катастрофы и порнофильмы, смерть Кеннеди — все для тебя способ превратить это в кино, в гламурное насилие. Тебе нужна американизированная смерть.

— Пегги… — В ее голосе была удивительная сила. Я покорно пошел за ней на кухню, куда она унесла поднос с выпивкой. — Замечу интереса ради, что институт Дика выдал оригинальные результаты. Порнографию я никогда не смотрел и в аварию попал раз в жизни. А у тебя по аварии каждый год.

— Знаю. Ты живешь в Шеппертоне и воспитываешь изумительных, счастливых детей. Каким образом — не понимаю!

Я прислонился к холодильнику, обвел взглядом кухоньку с изящными баночками для приправ и дорогими французскими кастрюльками — так не похожую на мою, где вся посуда вразнобой, а половина стаканов с заправок. Дом Пегги был будуаром, созданным, чтобы волновать и очаровывать мужчин. У нее было много романов,

но ни один не оставил на ней следа. Пегги не хранила отпускных снимков, напоминавших бы о мужчинах, которые возили ее во Флоренцию и в Сан-Франциско, год делили с ней виллу в Венеции и в Лоте. На безупречном столе в ее кабинете не было ни одного сувенира от мужчины. Она не была замужем, словно боялась: вдруг родится дочь, дорастет до двенадцати лет и напомнит ей о годах разлуки с родителями.

Любопытно: единственный человек, который помогал ей держаться, ни разу не был допущен в постель, и именно его она постоянно корила и отчитывала, как привыкла отчитывать за проказы в детском бараке.

— А ты, Пегги?

— Я? — Она составила бокалы в посудомойку. — Ты и меня вербуешь в свою репертуарную группу?

— Я имел в виду преданного делу педиатра, который так и не обзавелся своими детьми.

— Я слишком затянула с этим делом. — Пегги вытерла руки и положила ладони мне на плечи. — К тому же у меня был ты. Думается, я неплохо за тобой присматривала.

— И присматриваешь до сих пор… ты поэтому стала педиатром?

— Господи, не смей так говорить! — Она не задумываясь хлопнула меня по губам, спохватилась и поморщилась, глядя на мой разбитый рот. — Ох, черт… у тебя кровь на зубах, Джим. Я не хотела тебя расстраивать, не намекала на Мириам…

Я поцеловал ее — впервые с тех пор, как мы вдвоем сидели в зале «Гран-театра» на Нанкин-роуд. Я чувствовал, что она языком ощущает кровь у меня во рту. Тело ее пахло теперь иначе, и седеющие волосы напомнили ее мать, какой та сошла с американского десантного судна после плавания из Циндао. Я обнял ее, отыскивая тонкий костяк девочки, которую помнил по Лунхуа. Мягкие плечи, прижавшиеся к моей груди, принадлежали другой женщине.

Потом я нащупал лопатки и крепкие ребра двенадцатилетней девчонки, которая уверенно подняла меня, когда я лежал больной. Я скользнул ладонями по ее талии, коснулся знакомого широкого полумесяца тазовых костей. Снова поцеловал и пробежался пальцем по застенчивому подбородку, который удлинился за годы войны и вечно был свернут набок, когда Пегги обдумывала очередной мой замысел: как раздобыть еду. Она улыбнулась мне в кухонное зеркало, извиняясь за разбитый рот. Я нежно приподнял

ей верхнюю губу указательным пальцем; теплые воспоминания нахлынули на меня при виде ее стертых, но все таких же ровных зубов, помеченных теперь моей кровью.

— Кровь перестала идти. — Пегги выскользнула у меня из рук. — Джим, это не практика по строению скелета на первом курсе — пойдем лучше наверх.

Она задернула шторы, откинула покрывало на кровати и стала неторопливо раздеваться, развешивая одежду на креслах у гардероба. Я ждал застенчивости, но она с гордостью взглянула в зеркало на свое красивое тело. Все еще улыбаясь сама себе, встала передо мной — я возился с запонками — и потерла вмятинки от лифчика под грудями. Она втянула живот, скрывая выпуклое брюшко и дразня меня воспоминанием о совсем ином теле, державшемся некогда на этих костях.

Я, сев на кровать, положил руки ей на бедра и поцеловал веснушки на животе и спираль шрама, который обвивал ей поясницу и жемчужным изгибом тянулся к аппендиксу. Шрам остался после операции десять лет назад: резекция Андерсона-Хайнса, удаление почечной лоханки. Когда я забрал ее из Мидлсекской больницы, она, еще шатаясь, прошла со мной по Черинг-Крос-ро-

уд до медицинского отдела в книжном Фойлса, где я купил ей монографию по хирургии с описанием ее операции. Я ощупал неровный шрам, разыскивая в нем следы тысяч синяков и шишек, которые достались ее телу. Я как сейчас видел Пегги, сжимающей монографию на ступеньках магазина и улыбающуюся мне со всем жаром и усталостью ее души.

Я крепко держал ее, высасывал кровь из губы и стеснялся, будто обнимал сестру. Она успокоила меня ладонью и легла рядом, поглаживая по груди, выравнивая движение диафрагмы. Десятилетия нужды и зависимости выплеснулись на меня из ее груди, когда я поднес к губам сосок. Я передвинул ее колено себе на бедро и опустился между ее бедрами, пожелав, чтобы мы с ней сразу зачали ребенка.

Она стерла кровь с соска и поднесла ее к губам.

— Спокойная кровь… это хорошо, Джим. Теперь я могу вспоминать.

Я двигался в ней, в этих глубоких внутренних объятиях, радуясь, что не чувствую больше ее костей.

— Пегги… мне этого хотелось тридцать лет назад!

— Бедный мальчик. Тогда ты не сумел добить-

ся своего. — Она поцеловала меня в лоб, стерев кровь и оставив ее на моей коже. — Это в последний раз — следующего тебе придется ждать еще тридцать лет.

— Я подожду.

Я отдыхал в ней, и она занялась любовью сама с собой. Она смотрела на свою грудь, которая поднималась и опускалась, и касалась пальцами сосков, возбуждая себя, а потом направила мои пальцы к лобку и впала в похотливое воспоминание, столь же недоступное другим, как сон. Мыслями она была очень далеко от этого маленького дома и улочки. Она смотрела на свои крепкие ребра рядом с моей грудью. Резкий допрос в гостиной был для нее способом ухаживать, а кровь на моей губе позволила снова сыграть в больного ребенка. Несколько минут мы лежали на моей койке в детском бараке. Она по-своему, кружным путем, вернулась в войну, когда впервые пожелала меня. Теперь, когда родители ее умерли, мы с ней заняли их место и вольны были вернуться в Шанхай. Мы снова стали двенадцатилетками, вступившими в вынужденный брак среди лохмотьев и малярийной соломы.

* * *

Мы оделись, Пегги поправила мне галстук и жестом заботливой жены смахнула пушинку с пиджака. Когда мы попрощались на крыльце, она крепко поцеловала меня, выпуская в мир.

— Поговори с адвокатом Дэвида, — напомнил я. — Он тебе позвонит.

— Попробуем что-нибудь сделать… я расскажу суду, как он пострадал от японцев.

Она в последний раз обняла меня на виду у прохожих. Окно в детство открылось и закрылось.

* * *

— Вот и чай… слава богу. — Дэвид сел. Шахматы были забыты. — Печенья здесь хороши, лучшие в «Саммерфилде».

Высокая санитарка с Ямайки толкала тележку с котлом-чайником к полированному столу, на котором в ряд были расставлены четыре десятка чашек с блюдцами. Пять минут назад пациенты неуловимо зашевелились. Призрачные фигуры возникали из туалетов и палат, оправляли халаты. Другие молча поднимались и уплывали от родственников, задерживаясь, чтобы тряхнуть

за плечо спящих в креслах мужчин и женщин. Никто не смел подойти к столу — все ждали, пока санитарка, напоказ звенящая чайником, расставит тарелочки с печеньем.

— Ты так добр, Джим. — Дэвид взял меня под руку, но черный король опять временно покинул доску. — Честно говоря, ко мне мало кто приходит.

— Дэвид, я рад тебя навестить. Мы с Пегги делаем все возможное. Надеемся перевести тебя на амбулаторное.

— Старые шанхайцы — от этого никуда не денешься. Здесь интересно… ты мог бы найти новые идеи…

— Это…

Рядом с нами спала в аминазиновом трансе женщина с пухлыми икрами и закатившимися глазами. Она не замечала двигавшихся вокруг призрачных фигур. Те замирали, стоило санитарке бросить на них властный взгляд через плечо, словно все пережитое вынудило их вновь вернуться к детской игре. Старуха в ночной рубахе, не замечая тележки с чаем, раскладывала нарциссы на полоске ковра, отделявшей оконную нишу от комнаты. Я, глядя на нее, пытался угадать, что значит этот цветочный порог — быть

может, ворота, сквозь которые когда-нибудь войдут ее потерянные дети.

— Дорин, перестань безобразничать с цветами! — Санитарка стукнула крышкой чайника и сердито осмотрела ряд вытащенных из вазы нарциссов. — Помоги-ка мне с чаем.

Дорин, неохотно оторвавшись от своего занятия, принялась подставлять чашки под краник. Дэвид откинулся в кресле и потянулся к тележке, словно норовил запустить руку под юбку этой внушительной негритянке. Он смотрел на поднос с печеньем и покачивал ладонью, как кобра головой. Все взгляды обратились на него, даже сонная женщина приподнялась, чтобы лучше видеть.

— Отстаешь, Дорин! — Санитарка шагнула ближе, ее массивные бедра положили конец мечтам Дэвида. Дорин держала полную чашку, устремив взгляд на дрожащую поверхность. Ее явно поразил контраст между бесконечно пластичной жидкостью и блестящей твердостью стола. Она держала чашку на вытянутой руке, силясь разрешить этот геометрический парадокс. И наконец, проверяя безумно смелую гипотезу, отчаянным жестом она перевернула чашку.

— Дорин!.. — Чай забрызгал все вокруг, пропитал печенья и бежал по столу, собираясь в

водопад. Возмущенная санитарка перекрыла краник. Капли намочили ей юбку и накрахмаленный передник. — Дорин, ты зачем это сделала?

— Мне Иисус велел, — деловито объяснила Дорин. Она разглядывала грязный стол, радуясь, что сумела преодолеть неразрешимое противоречие. Ее вдохновение и впрямь казалось божественным.

— Отправляйся в палату! — набросилась на нее санитарка и, схватив Дорин за локоть и запястье, развернула, встряхнув так, что я испугался, не сломала ли руку. Она не била старуху, но, безусловно, та получила дозу телесного наказания. Дорин упала на ковер, и я встал с места, чтобы ее поднять, игнорируя гневную санитарку и шокированные взгляды посетителей. Дорин оказалась легкой, как ребенок. Она, всхлипывая, обнимала пострадавшую руку. Когда я оставил ее у двери палаты, она обвела взглядом ряд пустых кроватей и жалобно обратилась к ним:

— Мне Иисус велел…

* * *

Распрощавшись с Дэвидом, я вышел в вестибюль, радуясь виду пустых газонов и стоянки.

— Двадцать девять, тридцать, тридцать один, —

считал Дэвид, складывая фигуры в коробку. И, заперев замочек, добавил: — Тридцать два.

Он улыбался мне, вполне сознавая, какую игру мы ведем. Игрой Дэвида были поиски ключа, и эти поиски привели его в «Саммерфилд», а Дорин нашла свой ключ в мгновенной вспышке веры и воображения. Я подумал об этой простой женщине, защищавшейся от мира цветочным кордоном и разрешающей насущную тайну пространства-времени отважным жестом.

Я назвался дежурному и вышел на солнечную улицу. Почему-то мне казалось, что «Саммерфилд» отпустил меня в увольнительную. Дэвид и остальные пациенты общими усилиями будут разгадывать головоломку, из которой украли главную часть.

Я шел к машине по влажному асфальту, так и не просохшему после ночного дождя. Прежде чем завести мотор, я записал себе, что через две недели надо будет навестить Дэвида и захватить нарциссы для Дорин. «Саммерфилд» остался позади — пустой лабиринт, где выход перепутан со входом.

Часть III
После войны
14
При свете дня

Звонок Салли Мамфорд меня удивил. Четыре года, как она навсегда вернулась в Америку — прислала прощальную открытку из Беркли в Калифорнии и спряталась где-то в Айдахо, — а теперь Салли опять в Англии с молодым мужем, маленькой дочкой и с домом в сельском районе Норфолка. Бодрым, чуть ли не материнским тоном Салли сообщила, что приехала на полгода, прибилась к чему-то, что по описанию подозрительно напоминало коммуну хиппи из шестидесятых годов. Она пригласила Дэвида, а узнав, что он навсегда лишен водительских прав, предложила приехать и мне — подвезти его.

— У нас живет коза, я сажаю бобы и цветную капусту, сама пеку хлеб. Ты глазам не поверишь!

Мое сердце не знало, то ли взмыть в небо, то ли упасть.

Поездка, в которую мы собрались на третий уик-энд, началась с нестыковок. Дэвид не успел

встретиться с нами в вестибюле отеля «Хитроупента» — его рейс из Брюсселя задержали. Я, прождав час, двинулся на Северную окружную, гадая, не разделяет ли Дэвид мои тайные опасения. Я рад был снова повидать Салли, которая наконец-то обзавелась собственным ребенком и ждала второго — об этом она упомянула так небрежно, словно намеревалась остаток жизни вынашивать детей.

Но мысль о возвращении в уцелевший кусочек шестидесятых пугала меня, как возвращение в похмелье прошлого понедельника. Через восемь лет после окончания того десятилетия кругом было еще слишком много раненных шестидесятыми — ходячих инвалидов, вроде ветеранов никому не нужной войны, живого укора совести для всего общества. Они теснились на окраине мира провинциальных университетов, издавали книги об оккультизме и альтернативном образе жизни или хоронили себя в дальних уголках Би-би-си, всегда готовые занять обеденный перерыв разговорами о программе, посвященной ботанику девятнадцатого века или забытому другу прерафаэлитов.

В их глазах лежала мертвая мечта шестидесятых, а может быть, она лежала и в моих глазах

рядом с надеждами на тысячелетие мира и гармонии — надеждами, которые, как ни странно, возбуждала жестокая эпоха после убийства Кеннеди и миллионов смертей от наркотиков.

Мои дети разъехались по университетам, оставив в жизни невосполнимую пустоту. Дом в Шеппертоне походил на склад студийного реквизита с картонными конфетами и туалетными роликами Волшебного мира. Шкафы, забитые старыми игрушками и моделями самолетов, были декорацией к затянувшемуся семейному реалити-шоу, которое, несмотря на высокие рейтинги и преданную аудиторию, решили прекратить.

Слоняясь по пустым спальням и разглядывая старые фото с каникул, валяющиеся среди мусора, я все сильнее ощущал, что выпал из графика. Вытирая пыль, я засматривался на снимки девочек, болтающих с испанскими и греческими официантами, на Генри, пытающегося прижать к столу руку капитана катера или впервые вставшего на водные лыжи. Мне не хватало нашего общего детства — когда-то казалось, что оно будет длиться вечно. Во время их коротких визитов домой — странных, как встречи родных на экране — я понимал, что взрослею последним. Они приняли взрослую жизнь, а я все еще вспоминал счастли-

вые дни перед телевизором, транслировавшим высадку на Луну или конкурс на Мисс Мира — анахронизмы ушедшего десятилетия.

Покидая Лондон, я уходил в прошлое глубже, чем коммуна Салли под Норвичем. Я мог бы проехать восточнее, миновать Кембридж, где не бывал двадцать лет. Но старый университетский городок, где я познакомился с Мириам и Диком Сазерлендом, стоил того, чтобы сделать крюк, хотя бы ради проверки, остались ли прежними мои сложные чувства к этому месту.

К счастью, все беспокойные воспоминания забылись в реве плотного автомобильного потока на подъезде к городу. Кембридж разросся: промышленные и научные комплексы охватило кольцо скучных жилых кварталов и торговых центров. Посередине, как Старый город в Танжере, сохранился университет — достопримечательность для дисциплинированных групп японских туристов, прибывающих на немецких автобусах с телевизорами в салоне. Студентом я молился, чтобы новый Томас Кромвель покончил с этими университетами, но массовый туризм справился с этим сам, затопив старые университетские городки — как скоро покончит с Римом, Флоренцией и Венецией.

Я оставил машину у реки, перешел Кем и присоединился к японцам, обходившим Королевский колледж. Кандидаты в мантиях болтались рядом, как скучающие статисты в надежде привлечь взгляд режиссера. Фальшиво-эксцентричные члены совета позировали перед часовней с застенчивостью мелких характерных актеров — ждали, пока испанская телегруппа наладит освещение. Дух Диснея и колорит тематических парков витал над готическим камнем. Я слушал экскурсовода и ждал, когда тот признается, что вся часовня — копия из оргстекла для туристов, а оригинал сейчас находится в запасниках заботливого Фонда Форда на Лонг-Бич.

Кембриджские старцы, Резерфорд, Кейнс и Крик, давно депортировались в предприимчивые американские университеты, оставив после себя телеакадемию, интересующуюся только расценками на консультации по сценариям. Между тем реальный мир, впервые увиденный мной с седла мотоцикла, еще не исчез. Вдали от туристов и позирующих господствовала упорная реальность американской силы. За живыми изгородями и решетчатыми заборами стояли на взлетных полосах ядерные бомбардировщики — гаранты цивилизации и порядка, лелеемых

университетами.

Заслышав американский самолет, я свернул с дороги у Милденхолла. Над нами пронесся огромный бомбардировщик. Мимо прошла машина с американским летчиком, проводящим увольнительную с семьей. Пилоты вне базы одевались в гражданское — так лесник в природном заповеднике незаметно присматривает за капризной фауной. Остановившись в узкой аллее, я сквозь ограду рассматривал растрескавшийся бетон вокруг ракетных шахт. Невоспетый, не заслуживший памяти цемент был почтеннее нарядных начищенных камней университета. Взлетные дорожки вели в более осмысленный мир, к вратам памяти и обещаний.

* * *

— Джим! Ты не изменился… хоть бы предупредил!

— Салли?.. Милая, ты же…

— Я — переменилась. Еще бы, господи!

Она яростно обняла меня — руки, обихаживавшие козу, ребенка и мужа, набрали силу. Коротко остриженные волосы были зачесаны от пухлого веселого лица — так могла бы выглядеть более благоразумная младшая сестра Салли, жена вра-

ча из Филадельфии. От ее кожи поднималась радуга запахов, отбросивших меня к первым годам женитьбы — детский лосьон, стиральный порошок, приправы, недавно пересаженная герань, теплая грудь и подмышки, и поверх всего — лучшие духи, купленные ради встречи.

Я положил подарки и любовно оглядел ее, поражаясь внешности бодрой англо-американской домохозяйки. Она была только на третьем месяце, но как будто отяжелела вдвое — красивая женщина с сильными бедрами и теплым оттенком кожи.

В этом уютном фермерском доме с видом на речные отмели я чувствовал себя словно на съемках другого фильма. Еще несколько минут назад, проезжая по проселку к старому металлическому сараю, я готовился увидеть палаточный лагерь и компанию беглых бухгалтеров и звукооператоров, смахивающих блох с кафтанов под бормотание мантр и дымок марихуаны. А этот дом с китайскими коврами и мягкими диванами больше походил на мечту восьмидесятых. Даже книги на кофейном столике были вполне подходящими — не какие-нибудь высокоумные биографии. Здесь царил уютный жилой дух, а детские игрушки, горой сваленные в углу, могли

бы послужить отличным фоном для рекламы зерновых хлебцев.

— Что скажешь? — со знакомым озорством взглянула на меня Салли.

— Похоже на рай. Я счастлив за тебя. Такого точно не ожидал.

— Конечно. Но ты узнал?

— В некотором смысле. Только не говори, что это показывали по телевизору!

— Надеюсь, что нет. Подумай хорошенько… — Когда я сдался, она торжествующе воскликнула: — Это же Шеппертон!

— Что? Моя халупа?

— Да! И не таращи глаза. Когда я обставляла дом, вспоминала тебя и пикси.

— Салли… просто не верится. Я, значит, сам того не зная, был благополучным обитателем пригорода?

— Конечно. Это единственный способ растить детей.

— Да… верно, все решили дети. Жду не дождусь встречи с маленькой Джеки.

— Она чудная. Без нее я бы умерла. Эдвард сейчас привезет ее с детского праздника.

— Еще и Эдвард.

— Тебе он понравится. Он моложе меня, но та-

кой зрелый. Иногда я готова принять его за отца.

— Я рад. — В ее словах не было памяти прошлого, как будто все воспоминания о Бэйсуотере и о скитаниях по Восточному Лондону пропали навсегда. — Салли, здесь чудесно.

— Я купила все разом: с вагончиком, большими собаками, овчинными куртками и церковными собраниями. Надо было давным-давно переселиться к тебе. А теперь рассказывай, как там пикси.

Она разливала чай и радостно хвасталась серебряным чайным набором, доставшимся от матери. Сев на диван, мы рассказали друг другу о себе. Она познакомилась с Эдвардом — преподавателем физики из университета в Восточной Англии, — когда тот проводил годичный академический отпуск в Беркли. Я представил Салли в образе экс-хиппи, из тех, что мрачно сидят на поребрике Эдуард-авеню и непрерывно курят, но на самом деле она там работала в книжном магазинчике — стала остепеняться задолго до знакомства с мужем. Глядя на нее, я чувствовал, как ускользают по водостоку в ее мозгу минувшие годы. Она снова была молода, верила в себя и в мир, в солнечный свет и в эту веселую беспорядочную комнату. На полдороге от тридцати к сорока она

сумела встретиться с собой восемнадцатилетней, с которой распростилась в 1962-м, когда вскочила в самолет в Идлвайлде.

Другая Салли Мамфорд ушла в шестидесятые, принимала слишком много наркотиков, попала в дурную компанию телепсихологов, художественных директоров и устроителей выставок разбитых машин. Слушая, как Салли описывает последние выходки дочки, я радовался за нее. И в то же время гадал, надолго ли это, не новая ли мимолетная фантазия, сон, из тех, что раскалываются при первом ударе волны…

* * *

Потрепанный семейный «вольво» завернул к дому, прокатил по глубоким колеям дорожки. Из машины вышел мужчина с мальчишеским лицом, с копной очень светлых волос и сильными плечами футболиста. Он открыл заднюю дверцу, отстегнул ремни и извлек малышку в праздничном платьице.

— Вот и они. Ты посмотри…

Салли с блестящими от гордости глазами поманила меня к двери. Она подкинула на плечо Джеки, потерлась с ней носами и стала расспрашивать о празднике. Потом поцеловала мужа,

который приветствовал меня тепло, но настороженно. Проходя за Салли с дочкой в гостиную, он сказал, что Дэвид Хантер должен через час быть на станции Норвич.

— Я заберу его от поезда, и мы встретимся с вами на раскопках: раскапываем «Спитфайр» военного времени. Салли думает, что вам будет интересно.

— Будет. Жаль, что нет моего сына.

Салли упомянула, что Эдвард входит в местную группу авиалюбителей, которые раскапывают старые самолеты, рухнувшие на речные отмели. На каминной полке стояли фотографии, на которых древний «Хенкель» и лишившийся крыльев «Мессершмитт» в корке засохшего торфа краном поднимали из ила. Гордостью дома был совершенно целый старый «Харрикейн». Команда Эдварда позировала перед ним вместе с куратором авиамузея, которому они передали самолеты, воевавшие в Битве за Британию.

Но у меня было дело поважнее этих забытых самолетов. Я достал из сумки подарок и вручил яркую, перевязанную лентой коробку маленькой девочке с очень серьезным лицом. Часы, которые Салли с радостью дарила моим детям, в этот момент вспомнились с особой теплотой.

Джеки стояла рядом с матерью, время от времени неловко поднимая плечи, чтобы напомнить себе об ажурном платьице, и наблюдала за мной с милой, но лишенной осмысленности улыбкой. Рассмотрев острые колени и локти, руки, гнувшиеся так сильно, что пальцы касались запястий, и бесцветное лицо, я понял, что затуманенный разум этого ребенка с явной задержкой в развитии никогда не постигнет, какой любящий дом создала для нее Салли.

Я уже пожалел, что выбрал такую сложную игрушку — кукольную кухню с лампочками на батарейках и плитой. Джеки с ней было не разобраться. Она, кажется, почти поняла это сама, когда Эдвард расставил кухню на кофейном столике и подключил батарейки. Она уставилась на отца с застывшей доверчивой улыбкой, словно шла через мир немного под углом к нашему курсу. Девочка то и дело робко протягивала руку и отшатывалась, когда Салли ее отводила — дитя природы, которое вечно будет играть в сумрачном саду, огороженном недосягаемыми стенами теней.

За обедом Салли любовно посматривала на дочь. Эдвард, разливая вино, заговорил о годе, проведенном в Беркли, о случайном знакомстве

с Салли, когда ее машина сломалась на мосту через залив. Судя по всему, этот порядочный и ответственный мужчина даже не думает о том, что его жизнь могла пойти совсем по-другому, не вздумай он в то утро съездить в Сан-Франциско. Я был уверен: это любовное гнездышко — не просто фасад. Дочь еще сильнее скрепила семью, и мечта Салли не рассыплется.

* * *

Вода уходила из дельты с отливом, обнажая илистые отмели. Обсохшие на торфе лодки остались выше нас. Катерок натягивал причальный линь, просыпаясь от крепкого сна на свежем воздухе. Когда мы в гребной лодке отчалили от берега, вода уже сбегала в главное русло, унося с собой отражение дома.

Я удобно устроился среди подушек, а Салли налегала на весла, изредка оглядываясь через плечо и умело пробираясь в лабиринте проток. В двухстах ярдах от дома мы покинули главное русло и углубились в параллельный мир островков и притоков. Эдвард с Джеки уехали на станцию и собирались присоединиться к нам на участке раскопок, но от дома туда проще было добраться на лодке.

— Где это мы? — Салли отдыхала, прикрывая глаза от бликов на влажном иле. — Копают они только в отлив. Если устоишь на ногах, попробуй высмотреть церковный шпиль. Наверно, я слишком сильно взяла влево.

— Вижу. — Я смотрел на городок через море травы. В этом мире забытых ручейков могла затеряться вся военная авиация. — Там вроде бы кран на барже.

— Из норвичского грузового порта. Там в правлении один фанатик самолетов.

Салли сильными руками взялась за весла, развела колени под налившимся животом. Ветер поднимал юбку, открывая длинные загорелые ноги. Бисер шрамов — все, что осталось после старых язв от иглы.

— Что там за самолет? Они уверены, что «Спитфайр»?

— Эдвард так думает — судя по двигателю. Обычно, кроме двигателя, ничего не остается. Тебя, Джим, это впечатлит.

— Мог быть «Мустанг» — на них ставили британские двигатели.

Я смотрел на скользящий вдоль бортов ил, слушал плеск весел и удивлялся, почему Салли так добивалась, чтобы мы с Дэвидом побывали на

раскопках. Вспомнились «Мустанги», атакующие аэродром Лунхуа, и сбитый летчик, за которым гнались на разбитом грузовике японские солдаты. Илистые берега чем-то напоминали мне Хуанпу и мертвые самолеты в ирригационных каналах.

— Сдаюсь. — Салли отложила весла, оставив лодочку дрейфовать по течению. — Пора мне отдохнуть.

— Я погребу.

— Нет, слишком рискованно. А мне это на пользу.

Она, держась за мою руку, прошла по шаткой лодке и опустилась рядом. Стерла со лба пот, прилепивший светлые волосы. Мы плыли по отступающей воде, отгороженные от мира осокой и полями шелковистой грязи.

— Кажется, голос Джеки… — Салли подняла голову на встревоженный крик водяной курочки в камышах. — Нет, слишком далеко.

— Она потрясающая, Салли… ты очень счастливая.

Она прислонилась головой к моему плечу, взяла за руку и провела линии на ладони треснувшим ногтем, словно вспоминая мою странную жизнь.

— Она прекрасна. Эдвард ее обожает. Джеки очень хорошо учится в коррекционном классе, у нее масса друзей.

— А скоро появится братик или сестричка. Кто? В наше время можно выбирать…

— Нет уж, спасибо! Не хочу знать. Мальчик или девочка — пусть *само* решает! — Она приложила мою ладонь к животу и фыркнула, когда ребенок лягнул изнутри. — Берегись беременных женщин, Джим. Ты провел с ними немало времени.

— И был в восторге от каждой минуты… Дай знать, если Эдвард тебе надоест.

— Не надоест. — Она закрыла мою ладонь, спрятав линию жизни. — Помнишь Мириам беременной?

— Она только такой и бывала — вдвое больше тебя, поверь.

— Рада слышать. А я еще втрое вырасту. По-твоему, я изменилась?

— Совершенно. Дэвид глазам не поверит.

— Пора было меняться, Джим. И тебе тоже. Те годы были удивительные, но… я забочусь об Эдварде, о маленькой Джеки, и так этому рада! Нужно быть очень-очень здравомыслящими, чтобы совершать безумные поступки и не попасться на этом.

— Все попадаются.

— Как Дэвид? Знаю.

— А я тебя удивлю. Дэвиду намного лучше. У него в Брюсселе собственная компания воздушных перевозок. Они с подружкой собираются удочерить девочку из Азии.

— Дэвид умер. — Салли уронила руку в воду. — Я по голосу слышу. Умер много лет назад.

— Ты несправедлива. И это неправда — или то же самое можно сказать обо мне. Пегги Гарднер часто так говорит…

— Нет… Все знали, чего искал ты. А Дэвид? В любом случае я рада, что у него все хорошо. — Она улыбнулась про себя, избегая моего взгляда. — Я пробовала дозвониться Дику Сазерленду… Мы с ним общаемся по детской программе. Он — любимый доктор Джеки.

— Он все тот же идол утренних программ. На телевидении люди не стареют. А если стареют, то по-другому. Его беспокоят почки — хочет бросить телевидение и снова стать серьезным психологом.

— Эй, не ты ли всегда твердил, что телевидение — это и есть серьезно! Не говори, будто Дик стал думать своей головой. Мне всегда казалось, что он у тебя под каблуком… А теперь о себе расска-

жи. Столько книг…

— Нечего рассказывать — в том-то и беда. Я все свои взрослые годы провел с детьми. А в пятьдесят вдруг попал в колоссальный вакуум. Так же бывает с матерями. Природа не предусмотрела запасного варианта на этот случай. Или, как сказал бы Дик, ее запасной вариант — смерть.

— Чушь! Ты не умрешь. Во всяком случае, не сегодня. Кроме того, дети у тебя есть, пусть даже их нет дома. Должно быть, это некоторое облегчение. Не представляю, как ты управлялся с девочками-подростками!

— Всегда беспрекословно их слушался. На самом деле, из отцов получаются совсем не плохие матери. Вот матери устраивают кошмарную жизнь дочерям-подросткам. Некоторые подружки Люси и Элис прошли через настоящий ад.

— А ты представь: молодые люди околачивают порог, дочери на таблеточках… Бедным матерям, должно быть, кажется, что в доме бордель. Неудивительно, что Пегги в тебе разочаровалась. Не говоря о том, что ей хотелось бы навеки оставить тебя в том жутком бараке… Зато Мириам гордилась бы Генри и девочками. Ты по-прежнему ее вспоминаешь?

Я начертил на воде свою подпись.

— Время от времени… Черт, я начал забывать ее лицо. Иногда стараюсь вспомнить — и будто смотрю чужие семейные киноленты. Знаю, нехорошо так говорить. Память о любимых положено хранить вечно, но часто она уходит первой…

Салли передвинула мою ладонь на грудь, подержала там немного и положила себе на колени. Все женщины, которых я любил, прощались со мной. Мы лежали рядом под солнцем, вода несла нас сквозь шелестящий тростник.

* * *

На палубе портового крана стучал дизель. Выхлоп замутил прозрачный воздух дельты. С лебедки разматывался кабель, с неба спускался кронблок. Мы с Салли устроились на сухой песчаной седловине между кочками, поставили перед собой открытую корзинку для пикника. Джеки, все в том же нарядном платьице, присела на корточки между коленей матери и улыбнулась качающейся стреле крана.

Ниже в ложбине, устланной сухим камышом, команда Эдварда вычерпывала последний ил из фюзеляжа захороненного самолета. В грунт вогнали стальные листы, образовав металлическую камеру. Их перекрывающиеся края не пропуска-

ли жижу к останкам машины, погрузившейся на шесть футов в глубину. Во время прилива раскоп заполнялся водой, а когда дно обнажалось, воду вычерпывали, после чего команда получала два часа кропотливой работы.

Я встал и поискал глазами Дэвида, который заскучал за время медлительной подготовки. Он был счастлив после долгой разлуки снова увидеть Салли, а ее преображение из хиппи шестидесятых в усердную домохозяйку его позабавило. На радостях он завел с Джеки веселую игру в прятки, а на раскоп вовсе не смотрел, не одобряя мрачного интереса к руинам войны.

— Это вроде твоих треклятых разбитых машин… Джим, что-то ты тогда стронул с места…

— Брось, Дэвид. Эти самолеты еще в войну раскапывали.

— Возможно… Так и жду, что ты арендуешь зал «Олимпии» и выставишь там всем напоказ обломки «Боинга-747»… Еще и получишь грант художественного совета.

Он угрюмо побрел в сторону маленькой гостиницы, у которой, в четырехстах ярдах от раскопа, оставили машины. Выйдя из Саммерфилда, Дэвид обзавелся почти пуританской суровостью к себе и к миру — и ревностью новообращенного. Я

чувствовал, что он осуждает все свое прошлое и винит себя — не только за то, что провел детство в Шанхае, но и за то, что там родился. Никакое раскаяние не могло оправдать исторического преступления; логика, запущенная в ход этим жестоким городом, неизбежно вела к смерти виолончелистки на Хаммерсмитской эстакаде.

Я отошел от Салли к краю песчаного обрыва и заглянул в яму. Из раскопа поднимали ведра грязной жижи, Эдвард стоял по колено в грязи и подводил шланг к последним обломкам двигателя и кабины. Бóльшая часть крыльев и хвостового оперения отсутствовала, отвалилась при падении, но я различил типичные толстоносые очертания одномоторного истребителя Второй мировой.

Когда самолет вышел на свет, все смолкли. Эдвард обмыл из шланга уцелевшую кабину. Наемные рабочие и двое из команды крана смотрели на него. Даже сорок лет спустя нетрудно было представить, с какой силой подбитая машина врезалась в русло ручья. Смятый ударом моторный отсек превратился в груду металла, окаменевшую боль. Мы готовились оплакать самолет, когда Эдвард смоет грязь с клапанной рубашки и крепления винта. В мальчишеском

лице его обнаружилась ясноглазая серьезность, которая, должно быть, снесла весь налет с сердца Салли, едва он остановился на мосту и стал менять спустившее колесо ее «фольксвагена».

Открылись изогнутые изящной дугой лопасти пропеллера. Эдвард вытирал от грязи плечи и грудь. Прислонившись к спущенному в раскоп трапу, он погладил руками двигатель, отыскивая карбюраторы и выхлопные отверстия. Дэвид шел к нам от гостиницы, нес по болотистой равнине поднос с пивными кружками и рассматривал ребенка с большой собакой.

— «Спитфайр», — сказал кто-то. Один из энтузиастов, норвичский врач, обернулся, чтобы показать Салли поднятый вверх большой палец и ободряюще кивнуть мне. Я помахал Дэвиду, который шагал по траве, старясь удержать пену на кружках. Эдвард теперь обмывал верхнюю часть фюзеляжа: открылся колпак кабины и рваные металлические пластины на месте оторванного хвоста. Он увидел что-то, нахмурился и, отвернув струю, покачал головой.

За криком последовало короткое молчание. Все уставились в яму. Врач дал знак людям на палубе, и дизель умолк. Рабочие придвинулись ближе.

— Что там? — спросила Салли. — Что-то с Эд-

вардом?

— Ничего. Колпак закрыт.

— И что это значит?

— Возможно, пилот еще там, — тихо ответил я. — Если бы он выпрыгнул с парашютом, колпак сорвало бы при падении.

— Господи боже, — поморщилась Салли, крепче прижав к себе дочь. Подошел Дэвид с подносом пива. — Извини, Джим, зря мы сюда пришли. Я думала, вам с Дэвидом…

— Нет. — Я тронул ее за плечо. — Я рад, что мы здесь.

— Что у вас? — Дэвид прошел мимо и направился к раскопу. — Кто-то поранился?

— Нет, но…

Я вслед за ним подошел к яме. Пивные кружки разошлись по кругу, но пить никто не стал. Эдвард и врач с ломиками в руках оседлали фюзеляж — так моряки разворачивают саван. Темный колпак подался без труда, открыв плотную массу торфа, запрессованного между окнами и лобовым стеклом. В раскоп стали спускать ведра с водой, размачивать и смывать древний торф. Дэвид с неподвижным лицом стоял рядом со мной и прихлебывал из кружки. Его светлые волосы метались на ветру надо лбом как взбесившийся

семафор. Я смотрел, как его губы пробуют на вкус пивную пену. Белые бусинки липли к тонким шрамам — миниатюрные воздушные шарики, украсившие след катастрофы.

В кабине обнажились циферблаты, сохранившие на десятилетия последние показания приборов, штурвалы управления триммером и рычаг, несколько обрывков почерневшей кожи и ремни на пилотском кресле.

— Пусто в кабине — наверно, он выпрыгнул, — обратился я к Дэвиду, но тот покачал головой и сунул мне в свободную руку свою кружку. Эдвард вытаскивал из-под сиденья кожаный сверток, перетянутый подгнившими стропами — может быть, брошенный летчиком запасной парашют.

Добравшись до кабины, Эдвард положил парашют на кресло и принялся мыть и отсасывать воду шлангом. Дэвид, окликнув его, протолкался между рабочими. Он ступил на край листовой обивки, шагнул на трап прямо в своем сером нарядном костюме. Рабочий указал ему на грязь, уже пропитавшую штанины, но Дэвид, не слушая, упал на колени в мокрый торф на дне раскопа. По самые плечи запустив руки в кабину, он помог Эдварду развернуть кожу свертка. Теперь я увидел, что в руках у них остатки летного комбинезона,

куртка и шлем. Я уже видел выщербленные зубы и носовой выступ маленького черепа. Ни о чем не думая, хлебнул пива из кружки Дэвида и удивился, какое оно холодное.

* * *

Лейтенанта авиации Пирса похоронили через две недели на кладбище под покосившейся колокольней. От могилы виден был ручей, куда он рухнул июльским утром тридцать два года назад. Могила лежала между старых надгробий местных жителей и шестерых летчиков, похороненных здесь в войну. Из семьи Пирса никого не было — единственный родственник, двоюродный брат, был уже стар и жил в Новой Зеландии. Но Королевская авиация прислала на похороны почетный караул, и еще приехали двое летчиков из его эскадрильи. Глядя на этих стариков, на стертые, начищенные медали на темных лацканах их пиджаков, я с трудом верил, что Пирс, успей он выпрыгнуть из своего «Спитфайра», сейчас разменял бы седьмой десяток. Маленький скелет в кожаной обертке летного комбинезона на вид принадлежал подростку, мальчишке, обманом пробравшемуся на базу боевых истребителей.

Я вспоминал, как Эдвард и врач из Норвича

разложили плоский сверток на мокром полу раскопа рядом с обнаженной массой мотора «Мерлин». Как они, осторожно снимая мумифицированную кожу, нашли несколько маленьких костей: лопатку и несколько ребер — едва ли достаточно для взрослого человека. Дэвид в пропитавшемся грязью костюме забрался в кабину и сел в кресло пилота, пошарил руками в мути на полу кабины.

Он ощупывал пол под приборной доской и между педалями, а я представлял его за пультом этого «Спитфайра» на зеленом поле аэродрома в Южной Англии в сороковом году. Будь мы с ним несколькими годами старше, вернулись бы в Англию, чтобы сражаться в той войне, и наши кости вполне могли бы вытащить на свет археологи-любители. Я вспоминал разбитые японские и китайские самолеты на аэродроме Хунчжоу и себя десятилетнего — как часто забирался в кабину забытого в высокой траве истребителя, играл с заржавевшими рычагами. А лейтенант авиации Пирс тогда уже лежал на дне ручья в Норфолке.

Я надеялся, что в его могиле обретут покой не только кости молодого летчика. Дэвид долго не хотел вылезать из раскопа. Он, с черными от грязи руками, сидел в кабине и смотрел вверх,

на дневной свет, словно заново рождался из темных десятилетий памяти на прозрачный воздух Норфолка. На похоронах он стоял рядом со мной, впервые за двадцать лет надев форму летчика военной авиации. Запрокинув голову навстречу легкому бризу, он улыбался и вновь был красив, и губы иронически кривились, как в детстве. С такой же наглой усмешкой он смотрел на коменданта Лунхуа мистера Хиаши.

Я беспокоился, не вспоминает ли он ту сцену. Но позже догадался, что настоящее выздоровление Дэвида началось с возвращения с пивом по илистой равнине. На похороны он привез друга по миру авиации, коренастого южнокорейца, работавшего прежде на японскую авиакомпанию, а теперь — в Лондонском аэропорту. Я тогда недоумевал, зачем Дэвид притащил на скромное норфолкское кладбище этого бесстрастного немолодого чиновника, а после понял: кореец заменил для Дэвида японца, которого он хотел бы пригласить в свидетели погребению злобы последних сорока лет.

15

Последний выпуск

Всех, кого я знал, с самого начала тревожила мысль о последнем телевизионном проекте Ричарда Сазерленда. Клео Черчилль отговаривала меня от участия — задуманный документальный фильм виделся ей особенно отвратительным, выдающим эксгибиционистскую жилку в характере Дика. Я терпимее к нему относился, вдобавок восхищался его отвагой, но все же по разным причинам пытался уклониться от приглашения. В скором времени по телевизору показали множество подобных программ: их создание стало для умирающих способом подготовиться к переходу в мир иной. Но в 1979-м идея подробной записи последних недель перед смертью выглядела почти порнографией.

Все же, как я напомнил Клео, фильм этот вписывался в логику жизни Дика. Он чувствовал себя по-настоящему живым только на телеэкране и, как ни мрачно это звучит, по-настоящему умрет, только если его последние недели и даже сам момент смерти пройдут перед объективами камер. Продюсер Би-би-си уже заинтересовался проектом и определил формат, который позволял вписать фильм в документальный сериал Дика,

посвященный самым табуированным темам.

— Табу? — фыркнув, переспросила Клео, когда мы обсуждали это в ее редакторском кабинете. Она потрудилась отгородиться от меня баррикадой здоровых детских книжек. — На самом деле он создает фильм для вуайеристов, Джим. Он инсценирует секс-смерть, в которой его изнасилуют насмерть эмоции всех уставившихся в экраны зрителей. И ты намерен в этом участвовать?

— Клео, ты несправедлива. Подумай, что стоит за фильмом. Олдос Хаксли, умирая, принял ЛСД — может быть, для Дика это свой способ справиться с вызовом, которому он не смеет взглянуть в лицо. Фильм вряд ли когда-нибудь покажут, и он, смею сказать, об этом знает.

— А ты знаешь? Вздор!

* * *

За три недели до того, после мучительной борьбы с раком щитовидной железы Дик выписался из больницы. Молодая гримерша, готовившая нас к ночной дискуссионной программе, первой заметила опухоль. Я помню, как ждал своей очереди занять место Дика в кресле, а он сидел в окружении ламп и баночек с гримом, и как у него дернулся кадык, когда девушка указала на

распухшее горло. Он поймал мой взгляд в зеркале, словно понимал, что вступает в то измерение, к которому его не подготовил расписанный на годы телесценарий.

Во время записи Дик был подавлен, хотя и сохранил уверенный, обаятельный экранный образ. У меня тогда мелькнула недобрая мысль, что хватило небольшой припухлости, может быть, цисты или легкого йододефицита, чтобы задеть единственную его уязвимую точку — тело. Он улыбался в камеру, но излюбленный репертуар жестов и показался вдруг игрушечным доспехом, падающим с пошатнувшегося воина. Когда я, прежде чем вернуться в Шеппертон, подвозил его до Ричмонда, Дик уже жаловался на боль в горле, словно ему нужно было наказать собственное тело. Я, зная, что в последний год Дик плохо себя чувствовал, уговорил его сходить к врачу.

Вскоре после того он лег в больницу на обследование — попал в парадоксальный мир современной медицины, ультравысоких технологий и полной неуверенности. В первый же мой визит к нему в Кингстонскую больницу Дик заявил: «Все, что принято приписывать пациентам — самообман, нежелание взглянуть правде в глаза, неоправданные надежды и отчаяние, рож-

денное общим пессимизмом — на деле относится к врачам».

— Ты пойми, — шепнул он мне, когда медсестра отказалась ответить на прямой вопрос, не подозревают ли у него рак, — первая и главная задача медицинской науки — защитить врача от пациентов. Мы их раздражаем и вызываем у них легкое чувство вины. Мы задаем вопросы, на которые они не умеют ответить. По-настоящему им хочется, чтобы мы куда-нибудь ушли или чтобы с нами ничего плохого не было. Они кладут нас в больницу, но хотят, чтобы мы уверяли их, что здоровы, даже на пороге смерти.

Несмотря на перспективу серьезной операции, Дик уже обрел прежний дух. Он заигрывал с медсестрами и приручил грозную старшую сестру, пообещав ей участие в ближайшем выпуске своей программы. Но обедняющая, перемалывающая человека больничная жизнь уже начала сказываться и на нем, а Дик был достаточно проницателен, чтобы проникнуть сквозь фасад врачебного оптимизма.

— Медсестры здесь просто блеск, — заметил я. — Хоть ложись на соседнюю кровать.

— В целом идея не из лучших. Не забывай, они вроде хозяек в ночном клубе, знают, что клиен-

ты не так уж много получат от их появления в зале. — Дик оперся о большую подушку и обвел глазами палату. — Любопытно: чем выше врач на карьерной лестнице, тем он угрюмее. Интерны и молодые ординаторы довольно бодры — им не приходится принимать серьезных решений. А старшие консультанты погружены в депрессию, потому что понимают, что сделать почти ничего не могут. Серьезный рак — худшее, с чем им приходится сталкиваться — напоминает им, как беспомощна медицина.

Но до следующего моего визита хорошее настроение не продержалось. После операции Дик проснулся с острой болью, не мог глотать и был убежден, что ему в горло пересадили чужую гортань. Оттянув неплотную повязку, он показал мне шрам от уха до уха, стянутый двумя десятками металлических скрепок и покрытый засохшей кровью. Выписали его через три дня, а через неделю Дик зашел к врачу узнать результаты биопсии.

Операция не прояснила истинной природы болезни, а только все запутала. Врач-специалист, наконец приняв больного, выдал ему восторженный отзыв на образовательные телепрограммы по медицине. Дик с мрачным удовольствием

расписывал, как тот встретил слово «рак» молчаливым укором и подробно объяснил, что в свете современной науки этот набор букв ничего не значит. Напоследок врач рекомендовал полное удаление щитовидной железы, заверив, что вскроет старый шрам и таким способом сохранит Дикову шею для телекамер.

— Поразительно, — признавался Дик в разговоре со мной и Клео. — Никто не хочет сказать, что у меня рак. Они как будто сами от себя скрывают, хотя я уже готов принять этот факт. А так я чувствую себя чуть ли не виноватым. Опухоль мозга со множеством метастаз в легкие и печень была бы куда пристойнее…

Мы с Клео восхищались его отвагой и юмором, которые, к сожалению, покинули Дика после второй операции. Полное удаление железы подорвало метаболизм. Дик стал сонным и унылым. Внешне он разительно переменился. Длинный острый подбородок выдавался над утончившейся шеей, и мы с Клео заметили, что он больше не смотрится в принесенное медсестрой зеркальце.

Нас он разглядывал, как представителей незнакомого вида, а настоящими его товарищами стали соседи по палате. Я чувствовал, что он раскаивается в самообмане, и прежде всего в тех,

искренних с виду, стараниях узнать правду о своей болезни. Теперь блеф открылся. Изменилось и его отношение к сестрам. Прекратились иронические шуточки, он стал покорным и сотрудничал с персоналом, как мятежный заключенный, смирившийся наконец с тюремными правилами.

Измученный лучевой терапией Дик лежал на подушках, прикрыв лысую голову бейсболкой с эмблемой NASA, которую Клео нашла в его компьютерном кабинете в Ричмонде. Он больше не интересовался собой, и ни сестры, ни дежурный в регистратуре не могли ответить нам, как он себя чувствует на самом деле. Больница занималась своими делами в мире, параллельном миру пациентов.

Через три недели лучевой терапии Дик узнал, что предстоит еще удаление остатков злокачественного образования. Он совершенно облысел и уже не заботился тем, чтобы прикрывать голову бейсболкой или прятать изуродованную шею. Опершись на мою руку, Дик с трудом дошел до машины, которая должна была доставить его, как с отважным, но деланым юмором он сам заметил, «в царский дворец онкологии» — в больницу «Роял Марсден» на юге Лондона.

Эта ультрасовременная больница оказалась

очень похожа на отель-казино в Лас-Вегасе. Просторные коридоры были увешаны постерами поп-арта, а Дику выделили отдельную палату с телефоном, телевизором и переносным туалетом. На деле эта палата была тюремной камерой, в которую его заперли на девять дней. Счетчик Гейгера над кроватью наблюдал, как из его тела выходят остатки радиоактивного йода. Мы с Клео говорили с ним по телефону, стоя под освинцованным окошком с предупредительной надписью. Голос Дика как будто снимали с ленты, прокручивавшейся с переменной скоростью. Сестра, заходя к нему взять анализ мочи и крови, надевала толстые перчатки и защитный комбинезон и торопилась покинуть палату, как заговорщик, оставивший бомбу с коротким фитилем.

Удаление щитовидной железы прошло довольно успешно, однако злокачественные клетки укоренились в позвоночнике и печени. Дик был слишком слаб, чтобы выдержать лечение в «Марсдене», поэтому его на машине «Скорой» возвратили в Кингстонскую больницу, в палату химиотерапии.

Здесь ему дали оправиться, и Дик, не получая никакого медикаментозного лечения, стал приходить в себя. Я смотрел, как он собирается с

силами, чтобы сесть и примерить новый парик, или шаркает с нами к окну, взглянуть на далекую реку и дома Ричмонда, как расспрашивает Клео о работе издательства — и на меня накатывало теплое чувство. Когда Дик достаточно окрепнет, чтобы выдержать химиотерапию, его переведут в стерильное помещение, где у подавленной иммунной системы будет меньше опасности столкнуться со случайной инфекцией.

Дик, убедившись, что медсестры нет рядом, на минуту провел меня в приготовленную для него стерильную камеру — каморку без всякой мебели, где могли бы скрываться бактерии, с герметичной дверью и окном, с вентиляцией, как на крошечной подводной лодке. Я с содроганием увидел встроенный в стену телеэкран за толстой стеклянной панелью, словно даже телевидение у Дика отняли.

— Уютненько, а? — Дик, съежившись под халатом, поправил парик и поманил меня к двери. — Лучшее, что можно увидеть перед смертью. А телевизор заметил? Как обратная сторона сетчатки.

— Брось, Дик… — я взял его под локоть и ощутил, насколько мой друг стал сильнее — жилистый, упрямый старик. — Тебе намного лучше. Может,

ты сюда и не попадешь. Мне так кажется.

— Да, и мне кажется… — Он с моей помощью доковылял до кушетки в комнате отдыха, а мне придвинул деревянный стул. Пока он разглядывал помещение, я начал понимать, насколько он изменился. Он больше не питал иллюзий на свой счет — Дик всегда любил, когда его узнавали, но сейчас никто, ни сестры, ни пациенты, не вспоминали красавца ведущего, которого столько раз видели в популярных программах. Дика это как будто не огорчало. Он, чтобы выразить равнодушие к прежнему, выбрал слишком большой золотистый парик — почти карикатуру на его рыжеватые волосы.

— У тебя будет время почитать, — заметил я. — У Клео есть твои ключи, она может взять что-нибудь из книг по твоему выбору.

— Нет, я занят, наблюдаю здесь за всем. — Притянув меня к себе, Дик зашептал: — Люди заслуживают восхищения. Многим здесь куда хуже, чем мне — у кого ярды кишок вырезали, у кого половины челюсти не хватает, у кого ребер и бог весть чего еще. Но они, как статисты на площадке, готовы изобразить сцену веселья.

— Может, тебе стоило захватить сюда камеру?

— А это мысль! В самом деле… — Дик глянул

на меня, словно только сейчас узнал. — Говорят, что на фабриках после визита съемочной группы всегда падает производительность. Здесь я ожидаю обратного эффекта. Может быть, в больнице слишком много телеэкранов и слишком мало телекамер. Джим, расскажи о Клео и детях. Кстати, рад тебя видеть!

Мои подозрения окрепли. Он держался на силе воли, пытался проявить интерес к нашему малозначительному миру. Глядя на его остро торчащий подбородок, я чувствовал, как Дик собирает силы, чтобы если не выжить, то хотя бы удержать власть над оставшимся ему временем.

Заехав в больницу в следующее воскресенье, я узнал, что Дик выписался и вернулся домой.

* * *

— Похоже, у меня еще три или четыре месяца, а может, и шесть, — объяснил Дик, пригласив меня в свой компьютерный кабинет. — Заинтересовались и «Омнибус», и «Горизонт».

— Дик, ты уверен?..

— Они предоставят свет и оборудование, и еще статичные видеокамеры, в которые мы будем говорить. Идея фильма: показать, что происходит, когда мы приближаемся к концу, снести все табу

и предрассудки. Никакой высокопарной чуши о жизни и смерти, как можно ближе к обычным разговорам. Для разгона начнем с простого: о лучших фильмах, о последней поездке в Нью-Йорк, Хомский против Скиннера…[77] Бóльшую часть запишем здесь, но под конец переберемся наверх…

Он говорил деловито и уверенно, удобно расположившись за рабочим столом, словно у себя в кабинете, в Институте психологии. Я был впечатлен тем, как непринужденно Дик овладел положением. Он нашел для себя роль, в которой я видел тихий героизм, а сам он — всего лишь самый интересный способ провести оставшееся время. Он еще больше похудел и носил теперь рубашку с высоким воротом и шелковый шарф, прикрывавший подбородок. Более аккуратный парик позволял ему, при определенном освещении, выглядеть прежним, но я снова ощутил, что Дик отвергает добродушный иронический образ, в котором его знали столько лет.

Хотя после месяцев медикаментозного лечения он заметно поправился. Может быть, пережи-

[77] Примечания: 77

Лингвист Аврам Ноам Хомский в 1959 году подверг резкой критике работу Береса Фредерика Скиннера «Вербальное поведение» и бихевиористский подход в вопросе изучения языка.

вал одну из тех ремиссий, что манят ложными надеждами — или, как я все еще надеялся, действительно выздоравливал? Что до задуманной им кошмарной документальной ленты, в худшем случае он мог ставить на то, что, если выживет, отснятый материал лишится ценности. Или же Дик, избавившись в радиоактивной палате «Марсдена» от всех иллюзий, волен теперь был выбирать, какими смелыми предприятиями заполнить последние дни.

Скоро выяснилось, что улучшение было лишь микроскопическим всплеском на идущей вниз кривой графика. Специалисты «Марсдена» согласовали с врачом из Ричмонда препараты, которые должны были сдержать развитие метастаз. Теперь лечение убивало Дика больше, чем болезнь. Рак не распространялся, зато возрастающие дозы химиотерапии уничтожали иммунную систему, так что малейшая инфекция дыхательных путей привела бы к смертельной пневмонии.

Но Дик уже не воспринимал иронии. Он берег оставшиеся силы для проведения важного психологического эксперимента, подвергавшего испытанию не только его самого, но и аудиторию. Во время первого разговора под запись, когда проверяли оборудование, мне даже говорить было

трудно, словно мое горло подражало изрезанной гортани Дика. Вторую встречу пришлось отменить, потому что я подхватил сильную простуду. Но Дик настаивал — он по своим соображениям выбрал собеседником меня. Не только потому что я первым предложил ему идею фильма, но и потому что хотел, чтобы я принял в его смерти непосредственное участие.

Пока мы готовились к съемке первого эпизода, я жалел о своей выдумке. Дик наконец устроился за столом, и стало заметно, что усилие, которым далось ему спокойствие, выпило из него почти всю энергию. Моложавый актер-психолог превратился в сморщенного, раненого старика, заметно сгибающегося под напудренным париком. Я надеялся, что группа Би-би-си выдернет вилку из розетки. Но мельницы телевидения теперь перемалывали все подряд, как зубчатые ролики на бойне, отрывающие последние хрящи от костей туши.

Пока звукооператор проверял уровень звука, я заметил, что Дик снял со стены номерные таблички штата Калифорния, подставки под пиво с Кокоа-Бич и бейджик прессы с мыса Кеннеди. По ходу съемок исчезали и другие памятки прошлого, словно Дик сознательно разбирал тщательно

выстроенный миф о себе.

Но, едва заговорив в камеру, он овладел собой.

> «…Многие оставили подробные отчеты о своей смерти: от греческих стоиков до еврейских врачей в варшавском гетто, которые, умирая от голода, подробно описывали свое состояние. Прежде все, конечно, знали, как это происходит: родные сидели у смертного одра, стараясь утешить умирающего, да и отходили в мир иной люди чаще всего у себя дома. Однако в наши дни мы впервые сталкиваемся со смертью, когда она приходит к нам… Большинство людей умирает в больницах, в окружении аппаратов, и зрелище смерти, особенно близкого человека, стало для нас невыносимо. Почему? Что такого есть в смерти, что она так нарушает наш покой? В этом сериале мы будем наблюдать смерть глазами одного умирающего – моими глазами. Я – доктор Дик Сазерленд. Три месяца назад врач сказал, что…»

Пока Дик отдыхал после вступительного слова, я заметил дату на электронных часах: 23 сентября

1979. Составленные из зеленых зернышек числа отмеряли минуты и часы, не замечая ни камеры, ни комментариев Дика. Тот сидел в шезлонге в ванной комнате, а режиссер и продюсер сериала обсуждали немногочисленные дефекты речи и оговорки. Они решили, что, учитывая природу фильма, ошибки только придадут ему подлинности, хотя при дублировании на иностранные языки для продажи за границу могут возникнуть сложности. Моя роль, к счастью, была невелика: задать Дику несколько общих вопросов о его душевном состоянии.

> «– …Как я себя чувствую? Повергает ли меня мысль о смерти через два месяца – еще до окончания моего любимого сериала – в полную панику? Провожу ли я весь день в страхе, как жертва в фильме ужасов? Как ни странно, нет. Скорее я чувствую себя холодным и отстраненным, словно все это происходит не со мной. Мозг, кажется, научился отступать от самого себя, как локомотив, отцепленный от вагонов. Сказать по правде, самое тяжелое для умирающего – чувства других, особенно друзей. Умирающему действи-

тельно приходится сделать это дважды: один раз за себя и другой для близких…»

Верил ли в это Дик? Его сестра с мужем, бывшим бухгалтером из Данди, переехали к нему, чтобы ухаживать, но они были незаметны, внимательны и всегда готовы поддержать. По дороге домой мне пришло в голову, что у Дика множество знакомых, но практически нет близких друзей, кроме меня. Не мою ли заботу и не мои ли визиты в больницу он подразумевал? Или друзьями, для которых ему приходилось умереть, была телевизионная аудитория, которая столько лет жертвовала ему свое восхищение, а теперь нуждалась в утешении?

Но при второй беседе об аудитории совсем забылось. После первой записи в голове у меня было пусто. Я не мог работать, бродил по комнатам. Время как будто сдвинулось, словно затянувшийся вечер в незнакомом городе. Когда я, часом раньше назначенного, приехал в Ричмонд, Дик словно бы не узнал меня и сверился со своим ежедневником, вспоминая. На протяжении съемок он напряженно сидел за столом с храброй, но вымученной улыбкой, и рассказывал, как провел неделю — которая жутковатым образом

напомнила мою.

Я заметил, что со стены пропали еще некоторые памятки: корешки билетов на премьеру «2001» в Рио, фотографии с американскими астронавтами в Хьюстоне. Я догадывался, что, стирая воспоминания последних двадцати лет, Дик пытается вернуться в юность. Прикованный к месту камерой, он рассуждал о детстве в Шотландии и об эвакуации в Австралию, куда их с сестрой переправили в войну.

> «…мысль о японцах в первые годы войны была как мысль о смерти. Каждый австралиец в глубине души боялся японских солдат и знал, что они приближаются, но никогда их не видел. Конечно, мы представляли японцев карикатурными – в отличие от тебя, Джим, ты-то мальчиком в шанхайском лагере видел их вблизи. Ты знал, каковы они, и не раз видел смерть. Оглядываясь назад, скажи, как это на тебя повлияло?»

Я следил, как крутится пленка в катушке, и только теперь поднял глаза на Дика, который устремил на меня удивительно ясный взгляд и поднял длинный подбородок, обнажив шрам

на шее.

Я неловко ответил:

— Я видел много мертвых — как всегда на войне. Думаю, в чем-то это меня сильно испортило.

— Продолжай… испортило, говоришь? Но как именно?

— Ну… цену утратила не смерть, а жизнь. Мы меньшего стали ждать от жизни.

— Потому что прежде ожидания были завышенными? — Не дав мне ответить, Дик на одном дыхании продолжил: — Может быть, мы преувеличиваем значение жизни и видим, приближаясь к концу, что ожидания не были реалистичными? Может быть, мы разводим жизнь и смерть на разные полюса, между тем как они куда ближе, чем нам представляется? Я приближаюсь к смерти, и это расстояние сокращается…

После записи Дик дружески, но рассеянно пожал мне руку и, напряженно выпрямившись, ушел в гостиную, которая выходила в отгороженный высокой стеной сад. Не начал ли он забывать меня, как забыл подставки для пива и номерные пластинки? Однако его импровизированный с виду вопрос был многозначителен и обращен больше ко мне, чем к зрителям: краткое, но острое проникновение в мои мотивы и личность.

Дни между сеансами записи как бы растягивались, словно я бессознательно жал на тормоза времени, оттягивая приближающийся конец. Сквозь истощенные черты Дика проступал другой человек, гораздо более самостоятельный, чем телевизионный конферансье, которого он вытаскивал из себя прежде, поддавшись соблазнам. На втором и третьем сеансе он говорил в камеру с одышкой и почти раздраженно, описывал радости обычной жизни: сад и пруд с рыбками, чувство победы, когда он заслужил доверие соседской кошки. Но радости эти выглядели абстрактными, как ходы в шахматной партии. Я догадывался, что Дик вступает в область, где все видится с абсолютной ясностью и нет нужды отвлекаться на удовольствия.

Пятую запись отменили, и я решил, что Дик покончил с сериалом. Но его сестра сообщила, что Дик ненадолго вернулся в «Марсден» для подбора новых препаратов, которые стабилизируют вторичную опухоль в колене. Сейчас, через два месяца после самовольной выписки, Дик дышал с заметным трудом: увеличенные доли печени вдавливали диафрагму в грудную клетку. В день, назначенный для беседы, мы с его сестрой постучали в дверь спальни и не дожда-

лись ответа. Войдя, мы застали французское окно открытым ноябрьскому ветру. Дик в шерстяном халате сидел под окном в саду и смотрел в стену, не замечая нас. Такой застывший взгляд я видел у соседского ретривера, пробравшегося умирать к нам в сад. Потом Дик встал с шезлонга, медленно шагнул к нам — и время потекло дальше.

Он, не поздоровавшись, провел нас в компьютерный кабинет, где был установлен маленький монтажный аппарат. Дик еще до появления группы Би-би-си начал просмотр записи предыдущих бесед. Перебирая нетерпеливыми пальцами отрезки ленты, он рассматривал себя, обращающегося к камере. До этой минуты я радовался, что телеэкран облегчает ему последние дни. Техника, которая когда-то измельчила его научную карьеру, теперь как будто стала спасением, однако ее волшебство только что потускнело.

Приехали с Би-би-си — мы услышали из прихожей приглушенные голоса. Обычно приезд съемочной группы немного оживлял Дика, на его лицо возвращалось выражение — как ведро, поднятое из темного колодца. Но сейчас он игнорировал телевизионщиков, уставившись в пустой экран монтажного механизма. Я, подумав, не потерял ли он сознание, тронул Дика за плечо.

Нет, глаза живые.

— Дик, приехали…

— Скажи, чтобы подождали. — Он пренебрежительно махнул в сторону экрана. — Продюсер струсил — хочет сменить «направленность» сериала. Представляешь? Поздновато немножко. Хочет ввести новые темы. Что я думаю об абортах? Аборты — геноцид своими руками… Ему это не понравится.

— Дик, ты на ногах удержишься? Я могу привезти кресло-каталку.

— Не надо. Всего-то дойти до прихожей. Врач из «Марсдена» толковал о протезе. Чудеса современного протезирования, господи боже… Комплекс кастрации поднят на высоту искусства. Говорит, они близки к «пониманию» болезни — и не соображает, что скоро их захлестнет эпидемия воображаемых недугов. Больше всего мы дорожим подпорченной версией самих себя. — Он взял меня за руку и я почувствовал дрожь. — А этот эксперимент… кто-нибудь его продолжит. Может быть, когда-нибудь, как знать…

Это были последние слова, которые я услышал от Дика. Он встал и тихо ушел в спальню, махнув на ходу рукой. Закрыл дверь, оставив меня извиняться перед съемочной группой. Он так

деловито говорил о нашем «эксперименте», что я понял: Дик затеял съемки ради одной-единственной цели. Сериал представлялся ему отчаянным стратегическим планом спасения. Он буквально поверил в мое ироническое пророчество — что он сделает первое великое открытие на экране — и вопреки всякой логике ставил на то, что этим открытием будет лечение неоперабельного рака.

Запланированную последнюю беседу так и не отсняли. Когда я две недели спустя приехал к нему, перед домом стояла «Скорая помощь». В прихожей собрались местный врач и медсестра, сестра Дика и ее муж — всех заливал отсвет осветительных приборов. Дик собирался, пока его не увезли в больницу, запечатлеть последние отблески своей жизни, но говорить от слабости не мог. Продюсер добился у врача позволения заснять напоследок Дика в установленной в столовой кровати — рядом со столом красного дерева и стульями с прямыми спинками. Подходящая обстановка для трибунала.

Я, встав в дверях за спинами операторов, помахал Дику, лежавшему с кислородной маской. В его руке торчала игла капельницы с глюкозой, к сосуду под кроватью тянулся катетер. Дик был без парика, и лицо его словно втянулось в маску,

а тело вытекало по трубкам, свернувшимся, как телефонный провод на груди молодого китайца с полустанка.

16
Невероятный дворец

В Шеппертон приехала ярмарка. Гуляя вдоль реки, я видел за деревьями блестящие фургоны, въезжающие в парк за военным мемориалом. Там были грузовики с машинками и секциями карусели — разобранная на части мечта, которую молчаливый цирковой люд каждые выходные собирал заново в одном из городков долины Темзы, напоминая жителям о забытых уголках их фантазий. Дети, игравшие у воды, уже бежали от берега к парку, шумно призывая матерей. Дюжина составленных в круг машин образовала крепость, взять которую штурмом могли только дети.

Мне вспомнилось, как Люси с Элис катались на единорогах — шестипенсовый билетик обеспечивал радости на целое состояние. Девочки подскакивали в седлах, ленточки развевались, ручки сжимали шеи единорогов, широко распахнутые глазки пронзают воздух. Генри строго сидел в серебристом самолетике, стесняясь

слишком тесной для него кабины, а потом встал по-каскадерски и ухватился за передний край крыла — величественный трехлетний Линдберг.

Я зашагал сквозь полосу леса, почти поверив, что дети ждут меня у входа. Они разъехались к началу летнего семестра, но в моей памяти по-прежнему играли в парке. Блестящие глаза Элис, завиток белой челки Люси, взволнованный вопль Генри, поймавшего новую идею в движении воздуха и света. Парк щедро раздавал свои сокровища. Огромный вяз под ветром осыпался воспоминаниями. Я прикрыл глаза от солнца и взглянул в колеблющуюся крону, высматривая примостившихся в ветвях ребятишек — юные версии нынешних шеппертонских домохозяек и офисных работников. Может, я увижу и молодого себя? Худые щеки и непривычную стрижку, которые я с трудом узнавал в старом фотоальбоме?

Словно вызванный этими воспоминаниями, на стоянке машин, рядом со спортивным «триумфом» обнаружился молодой человек в полосатом деловом костюме и галстуке. Он поглядывал на меня, закрывая полотняный верх. Уходя вслед за детьми к фургонам в центре парка, я пытался понять его взгляд. Он как будто узнал меня. Его «триумф», судя по табличке номерного знака,

был двадцатилетней давности — такой же, как машина, которую иногда одалживал мне Дик Сазерленд.

Меня, болтая сама с собой, догнала дочка соседа. Когда девочка взяла меня за руку и потянула к ярмарке, молодой человек оставил свою машину и целенаправленно зашагал к нам. Может быть, друг Элис или Люси? Форма его подбородка опять напомнила мне самого себя до женитьбы. Вяз встрепенулся, забросав солнечными зайчиками волосы держащейся за мою руку девочки, и я ни с того ни с сего вдруг преисполнился абсурдной уверенности, что этот молодой человек — я сам. Он окликнул меня, предостерегающе вскинув руку:

— Слушайте, вы отец?..

Обернувшись к нему, я чуть не сбил старшую сестру девочки, бежавшую за нами от реки. Пришлось помочь ей подобрать совок и ведерко, а молодой человек, пока мы извинялись друг перед другом, вернулся к машине. Избегая моего взгляда, он откинул верх и сел за руль. Я догадался, что он увидел меня с детьми — слишком старого для их отца и слишком молодого для дедушки — и заподозрил нездоровый интерес.

Я провожал его взглядом, пока шум мотора не

затерялся за военным мемориалом и людными в обеденный час пабами. Когда он скрылся, я почувствовал, что чуть-чуть разминулся с самим собой.

* * *

Это ощущение неминуемой встречи нарастало во мне полгода после смерти Дика Сазерленда. Каждое утро я просыпался, в начале рабочего дня, залитый теплым весенним светом и необъяснимым вдохновением. Я ждал от смерти Дика уныния, испытания, еще более жестокого из-за недоснятого сериала, а вместо него пришло великое освобождение. Воздух у выхода из крематория был таким ярким и острым, что я, шокировав Клео Черчилль, стал высматривать над трубами дымок сожженной плоти.

Светское прощание, с органом в магнитофонной записи и поддельной торжественностью обстановки, напоминало ритуал новой, еще недоразвившейся религии, и это впечатление усиливалось от великого множества присутствующих телепродюсеров. Им, прячущим за толстыми очками вечные мечты о двенадцатичастном сериале, Дик, должно быть, виделся воплощенным божеством эпохи глобального те-

левидения. Мы хоронили того, кто с изощренной предусмотрительностью заранее внедрился в киноархив Би-би-си.

Я успел погоревать о Дике, пока тот был еще жив, понимая, что повторы его старых программ скоро вернутся на экраны. При всей неприязни к нашей документальной ленте, я был благодарен Дику, выбравшему меня ведущим. Сняв мистический покров со своей смерти, он избавил меня от страха перед своей. Впервые после рождения детей я почувствовал, что совершено покончил с прошлым и волен строить новый мир из материала настоящего и будущего.

Само время, очертя голову увлекавшее нас к какой-то своей цели, ослабило хватку. День мог длиться столько, сколько мне хотелось. Встав из-за машинки, я мог целый час смотреть, как паук плетет паутину. Гуляя у реки, я останавливался среди вязов и ждал, пока время уляжется, прислушиваясь к его мерному дыханию за деревьями. Я узнавал тайну и красоту листьев, доброту деревьев, мудрость света. Мой маленький дом, уютные улочки и сады сияли так же ярко, как во время эксперимента с ЛСД и в то бесконечное лето, когда родились Генри, Элис и Люси.

* * *

У входа на ярмарку матери сплетничали и рылись в сумочках, а дети нетерпеливо мялись у кассы. Они с визгом бросились к карусели, оставив позади одинокого медноглазого сына журналиста из Пакистана. Тот застенчиво улыбнулся, когда я купил ему билет, и стрелой рванул за остальными.

Карусель кружилась, дети взвизгивали под бренчащий напев старинного органчика. Поднимались и опускались лошадки и единороги. Маленькие ручки тянули лошадей за гривы, косички развевались в воздухе, а испуганные вскрики сменялись нахмуренной серьезностью.

Глядя, как они проплывают мимо, я подступил ближе к вращающемуся куполу. Свет и звон вытягивали из ветра воспоминаний видение моих собственных детей на этих косматых единорогах. Двухлетий малыш сосредоточенно пилотировал миниатюрный самолетик — молча от страха, он следовал взглядом за горячими вздохами органчика.

Я смотрел на эту волшебную сцену, и карусель представлялась мне почти неподвижной, навеки сохраненной в единственном мгнове-

нии. Впервые я смотрел дальше этих маленьких наездников, за серебряный лес столбиков и вращающиеся зеркала под крышей. Все, кого я знал, оседлали единорогов: Мириам и Дик Сазерленд, совсем юная Салли Мамфорд и мальчишка Дэвид Хантер. Я шагнул вперед, высматривая пустое седло для себя…

— Джим, осторожно! Ты что делаешь?

Деревянная колонка ударила меня по руке. Карусель с шумом и блеском неслась мимо: шелушащаяся краска, отслаивающаяся позолота. Я отступил. Двое мужчин, ждавшие сыновей, поддержали меня, а твердая женская рука взяла под локоть, когда я пошатнулся в кружащемся воздухе.

— Джим… чуть в обморок не упал! — Клео Черчилль взяла меня за щеки и озабоченно всмотрелась в лицо. — Так и думала, что найду тебя здесь. Ты как будто готов был вскочить на карусель.

* * *

Солнечный свет залил сад за окном моего кабинета, развеселил ежевику и бузину, обступившую лужайки.

— Хорошо, что ты машину так не водишь… —

Клео принесла из кухни джин со льдом. — Скажи мне, Джим… ты хотел попасть к детям?

— Не то чтобы… — Я заставил себя хихикнуть и потер ушибленную руку. Розоватое сияние ангостуры растворялось в джине, как кровь, на которую смотришь сквозь крыло бабочки. Владелец карусели с сыном прогнали меня, заподозрив в недобром. — Я забыл, что она движется — солнце сыграло со мной скверную шутку, превратив карусель в подобие стробоскопа.

— Ну ладно, верю. Не вздумай останавливать несущиеся машины… Не хотелось бы объясняться с Люси и Элис.

На каминной полке крутился вентилятор — солнце, отражаясь в ее светлых волосах, воспроизводило этот любопытный эффект. Над голыми плечами Клео стояла та же аура, что над каждым листиком сада. Я жалел, что встревожил ее — она который месяц твердила, что меня бросили в Шеппертоне, как моряка на острове, и случай на ярмарке для нее выглядел еще одной попыткой внутреннего побега.

Мы стали старыми друзьями, так и не став любовниками — однажды я, будучи пьян и задумчив, заметил, что это технический недосмотр, на что Клео ответила поднятой бровью, понима-

ющей улыбкой и молчанием. Но нас разделяла общая дружба с Диком. Разные взгляды на этого замечательного и загадочного человека развели нас друг с другом — а еще некоторая настороженность Клео со мной. Теперь Дика не стало, и мы остались сами по себе — внезапное осознание такого одиночества нередко приводит к установлению новых связей после похорон.

Мне хотелось ее обнять, но все кругом, в этом царстве желания и в мире будничных предметов, ускользало из рук. Чуткие ладони и застенчивые губы Клео, листья на дорожке, радуга на ветровом стекле машины стали идеальной версией самих себя. Смерть Дика преобразила хозяек в магазинах Шеппертона, статистов, выходящих со студии, детей на карусели. Отделившись от своих будничных я, они словно зависли вне времени и пространства, изгнанные из рая обыденности.

* * *

Я остановился у стола, на который Клео положила два манильских конверта. В них были памятки, переданные нам сестрой Дика. Под взглядом Клео, спрятавшейся за рюмкой джина, я извлек номерную табличку Калифорнии, выгоревший снимок Дика в кабине «Цесны», его фото с

астронавтами и сотрудниками космического центра на мысе Кеннеди, сделанное в шестидесятые. Тут же были подносики из голливудского мотеля «Тропикана», фишки из казино в Лас-Вегасе и бейджик забытой конференции по психологии. Я разложил все в хронологическом порядке — насколько мог вспомнить. Фотографии и сувениры были кадрами из фильма его жизни, в котором Дик был и звездой, и режиссером. Безыскусное тщеславие молодого Сазерленда только укрепляло мою к нему любовь. Я радовался, что он умер тихо и без боли, в глубоком покое печеночной комы.

Клео вытерла глаза и взяла меня за плечо.

— Мощи. Кости святого. Ты все это сохранишь?

— Думаю, не стоит. Возьмем каждый что-то одно.

Я смотрел в солнечное небо над Шеппертоном и вспоминал рассуждения Дика о нашем восприятии времени. Если наше ощущение времени — архаическая конструкция, унаследованная от примитивных предков, не сделал ли Дик первый шаг к ее демонтажу?

Клео склонилась над столом, свет коснулся ее светлой макушки. Она вместе с детьми кружилась на карусели — неподвижная и вечно уходящая

от меня. Едва касаясь, помня утвержденное ею расстояние между нами, я все же положил руки ей на плечи и обнял при свете дня.

* * *

Потом, когда я раздевал Клео в спальне, она положила ладонь мне на лоб, словно проверяя температуру.

— Не стоит ждать, пока ты взорвешься. Хорошо, что ушли наверх — эти подставки под пиво немножко нервируют. Как тот ваш жуткий фильм.

— Бедняга, он пытался сотворить чудо. Я видел, как он монтирует ленту, перекидывает отрывки туда-сюда, пытается составить головоломку. Он буквально редактировал собственную жизнь.

— А ты собираешься меня редактировать?

Я, удерживая ее руки, поцеловал сильные запястья.

— Непременно. Все аргументы и разногласия будут стерты. Оставим только вид слева…

— Но я себе нравлюсь справа — в правом профиле больше интеллектуальной цельности…

— Удачные кадры выделим, вызывающие вырежем…

— Господи, да я вся сплошь вызывающая! —

Она помогла мне справиться с молнией. — Это тоже монтаж?

— Вот именно, — я довел язычок молнии до низа спины и позволил платью упасть с ее плеч. — Смотри на это так: я тебя раздеваю, а ты крутишь фильм в обратную сторону.

— Значит, все это просто ошибка киномеханика? Скажи я своей матери, что…

Она, дотянувшись, поправила створки трюмо и открыла дверь платяного шкафа так, что ростовое зеркало размножило наши отражения. И хитро взглянула на меня, проверяя, доволен ли.

— Чувствую себя как дома, — заметил я. — Как в «Леди из Шанхая».

— Чем я провинилась? Ее же застрелили!

* * *

Мы, стояли, голые, в окружении собственных образов: любовники, нашедшие друг друга на оргии в стеклянном доме. Нагие пары обступали нас, проникали друг в друга, полускрытые дверцами. На нас смотрели десятки объективов, умножались и в то же время распадались. Я держал в ладонях груди Клео, касался голубых жилок у ее широких сосков, гладил розовые бороздки от поддержек лифчика. Я поцеловал шрамик

у нее в подмышке — незнакомую мне памятку детства — и пробежался губами по серебристым следам растяжек, как будто само время пропахало ее живот руками засевающей поле Цереры. Она взяла в руки мой пенис, тихонько покатала между ладонями, потянула пальцами за мошонку. Фаллические коридоры разбегались от нас — эротический лабиринт в невероятном дворце. Батальон любовников склонил головы, когда я поцеловал соски Клео. Я сел на кровать, она опустилась на колени на ковер, положив локти мне на бедра. Она взяла в рот головку пениса, коснулась языком кончика моей уретры, затем забрала глубже, прихватила зубами и легонько укусила вздувшийся мускул.

Я притянул ее к себе, посадил рядом и стал целовать бедра и бока. Она твердо вдавила меня плечами в подушки и оседлала, длинные волосы упали мне на грудь. Я откинулся, с радостью деля Клео с зеркалами, но та вдруг дотянулась пяткой до створки шкафа и толкнула ее. Стеклянный дом рассыпался, разбилось световое концертино.

— Только мы с тобой, Джим. Думаю, с бóльшим нам теперь не справиться.

Она вернулась на подушки и легла рядом, смахивая волосы с глаз, подняв колени, чтобы я

гладил ей вульву. Набухшие кровью половые губы гребешком встопорщились над клитором. Мои пальцы разделили их мятые створки и смочили напрягшуюся шишечку. Я приласкал горячую подушечку ее ануса, отвел мягкую шторку узелка. Я, лежа рядом, любовно мастурбировал ее. Когда внезапный выплеск намочил простыню, она ахнула в потолок и от смущения укусила меня в плечо. Переведя дыхание между моими бедрами, она притянула меня к себе.

Мы под наблюдением единственного зеркала любили друг друга до вечера. Лежа глубоко в ней, я не сомневался: этот секс переживет летние часы. Время отказалось сдаться Дику Сазерленду — Янусу, запертому в его беспощадной самооценке. Клео была права, закрывая серебристые экраны. С каждым взглядом в зеркало умирает малая частица нас. Из наших образов возникают стены нашей жизни. Тирания линз теснее сдвигает их вокруг нас, бесконечность сохраненных я отгораживает от внешнего мира. Я крепче прижал Клео, вливая себе в кожу запах ее тела. Однажды мы найдем ключ к зеркалу и вместе войдем в него.

* * *

В конце сентября Клео позвонила мне с работы сказать, что документальный фильм о смерти Дика покажут по телевизору.

— Я думала, они его смыли, — с огорчением сказала она. — Ты будешь смотреть?

— Нет. — Я знал, что она не одобряет этого фильма — подозревает, что Дик пригласил меня участвовать, чтобы навеки привязать к себе. — Мы будем помнить Дика живым.

— Хорошо. Ты меня успокоил. Давай в воскресенье возьмем лодку и сплаваем до Хенли. Ты который месяц не выбираешься из Шеппертона.

Так и было. Клео любила на выходные выезжать из Лондона, стряпать в моей кухне в стиле Третьей мировой и пить двойной джин в пабах у реки. Сидя с ней на берегу, глядя, как она ломает сэндвич и бросает куски наглым лебедям, я был доволен, как не бывал двадцать лет. Салли родила второго ребенка — здоровую девочку — и забрасывала нас приглашениями. Неожиданный брак Пегги Гарднер с архитектором, годившимся ей в сыновья — разница в четырнадцать лет, и как заметила Клео, именно в этом возрасте я покинул детский барак в Лунхуа — и усыновление

Дэвидом с женой-бельгийкой сиротки из Малайи убедили меня, что прошлое упокоилось с миром.

Забирая на прокатной станции прогулочный катер, Клео попросила служащего снять установленный в салоне маленький телевизор, чтобы мы, напившись джина с берегов реки, смогли сладко спать во время ночного показа фильма. Мы отошли от шеппертонской пристани: Клео стояла у штурвала, я рядом, обнимая ее за талию.

— Клео, мы раньше никогда так не делали. Почему?

— Как почему? Ты был пленником Шеппертона.

— Остановимся в Кукхеме, проверим, не переменился ли он.

— Никаких Кукхемов — он не переменился.

— Почему? — Я удивился, потому что знал, как она восхищается картинами Спенсера.

— Потому что Кукхем тебе всегда нравился.

— Слишком много танцующих на деревьях ангелов. Скажи честно, ты бы хотела, чтобы на регату явился Христос с новой проповедью?

— Позавтракаем на Раннимиде. Можем сходить на мемориал Кеннеди.

— А его я одобряю? Надо подумать.

Места-талисманы беспокоили Клео. Она не

зря старалась разорвать их власть надо мной. Решив, что не стану смотреть фильм Дика, я, в ее глазах, сделал первый шаг к выздоровлению, к возвращению в условный мир. Я оглянулся на Шеппертон, на большие вязы в парке у военного мемориала, на киностудии и прибрежные отели, уходящие от меня, как шанхайский Бунд.

— Джим! — Клео сжала мне плечо. — Расслабься, никуда он не денется до твоего возвращения.

— Знаю. Давай принесу выпить.

— Не надо нам пить. Ты всегда ведешь себя так, будто Шеппертон существует только по твоей доброй воле.

Я со смехом обнял ее — катер чуть не врезался в берег.

— Клео, я увидел его во сне.

— Прекрасный сон. С Элис, Генри и Люси. Но все же время от времени просыпайся.

— Хорошо.

* * *

Через два часа мы причалили в Раннимиде и прошли через луг к холму над лесом. Премьер-министр сентиментальным жестом даровал акр земли американскому народу под монолитный памятник Джону Ф. Кеннеди. Во время вьет-

намской войны памятник не раз оскверняли, а однажды даже попытались подорвать.

Мы рука об руку поднялись по тропинке к мемориалу. Трещину в известняке недавно замазали, старые граффити, въевшиеся в камень, перекрыли яркими лозунгами и свастиками, нанесенными из баллончиков. Землю вокруг замусорили и забросали пивными банками, под подножие запихали серебристую обертку готового завтрака. В пятидесяти футах в стороне, полускрытый кустом магнолии, пожилой седовласый мужчина совокуплялся с двадцатилетней женщиной. Расстегнув брюки, он лежал между ее поднятых коленей и дергался в торопливых спазмах, словно его подгоняли эти угрюмые камни.

Клео потупила взгляд и нахмурилась на мусор.

— Здесь что, не убирают? Можно подумать, будто Кеннеди совсем забыт.

— Думаю, так и есть — и в каком-то смысле это хорошо.

Я подумал, какую роль сыграл Кеннеди и его убийство в моей жизни и как телекартина его смерти формировала фантазии шестидесятых годов. Кадры из ленты Запрудера были острее «Распятия» Грюневальда. А теперь остались только граффити, похожие на птичий помет на

памятниках викторианским генералам и государственным деятелям на лондонских площадях.

Мы спустились к воротам и перешли лужайку перед причалом. Несколько человек стояли у своих машин, глядя, как извлекают из воды катер. Отец с дочерью-подростком спустили по каменному скату двухколесный прицеп. Когда он погрузился под воду, отец отцепил причальный конец и направил катер в стальную колыбель. Наверху сидевшая за рулем жена приготовилась вытащить прицеп из воды. Младшая дочь рядом с ней ела мороженое и листала комикс.

Течение тянуло катерок на стремнину. Отец удерживал его на месте, а жена, поглядывая на него в зеркало заднего вида, завела мотор. По сигналу мужа она включила нижнюю передачу и с шумом и выхлопом двинулась вперед. Буксир натянулся, прицеп показался из мелкой воды. Но катер тем временем уплыл, и мужчина закричал жене. Та выключила мотор. Девочка на заднем сиденье, забыв обо всем, углубилась в комикс, лишь изредка вспоминая о мороженом.

Юноша в плавках спустился к воде и помог мужчине подтянуть катер на прицеп. Жена чуть сдала назад, ослабив натяжение буксирного троса. Пока мы с Клео заходили на свое судно, катер

закрепили на прицепе. Жена снова завела мотор, но сняла ручной тормоз прежде, чем включила передачу, и машина задом покатилась под уклон. Люди предостерегающе закричали, парковщик покинул будку и набросился на неумелую водительницу с упреками.

— Что там? — спросила Клео, когда я помогал ей снять причальный канат. — Заехали в реку?

— Похоже, что этим кончится…

Задние колеса машины уже скрылись под водой. Растерявшись от криков парковщика и зевак, женщина утратила контроль над машиной. Девочка на заднем сиденье вскрикнула и подтянула ноги, спасаясь от залившей пол воды. Мать открыла дверцу со своей стороны, передав управление раздраженному мужу. Но едва она шагнула в мелкую воду, закричал юноша в плавках.

Соскользнувший на глубину катер потянул за собой прицеп и машину. Люди выскакивали из припаркованных автомобилей, забывая выпустить из рук чашки с чаем. Двое вошли в реку и вцепились в борта машины, силясь удержать ее против силы течения.

— Клео, подожди меня!

Войдя в воду, я увидел белое личико ребенка на заднем сиденье. Вода уже доходила девочке

до подмышек. Мать, потянувшись к ней, упала в реку, юбка полотняного платья облепила ей лицо. Муж, схватив под мышки, вытянул женщину на скат. Он, и без того измученный, бросился в воду, ушел с головой, пытаясь отцепить буксир.

Я схватился за проем левой дверцы, потянулся к поднявшей над головой мороженое девочке. Ее плечи были уже под водой. Она громко звала мать, вокруг плавали выброшенные салфетки, баллончики, дорожная карта и окурки из пепельницы и перчаточного ящика.

Я не успел дотянуться до ребенка: машина, увлекаемая катером, завалилась набок. Все вскрикнули, когда вода залила крышу и над ней завилась белая спираль мороженого. Дно ушло у меня из-под ног. Рядом с собой я увидел плывущего к катеру отца. Тот отцепил металлические скобки креплений, и суденышко поплыло поперек течения, ударило в борт проходивший прогулочный катер, команда которого, держа в руках бокалы с вином, глазела на нас с палубы.

Нащупав ногами дно, мы вытолкнули машину на скат. Отец рванул дверцу, вода хлынула наружу, но заднее сиденье было пусто. Мужчина кинулся в воду у берега, забил по волнам руками, отыскивая дочь, но смотритель парковки уже

нашел девочку на полу под рулевой колонкой.

К тому времени, как ее положили на мокрую траву, рядом оказалась Клео.

— Господи… ты умеешь оказывать первую помощь?

— Нет, но думаю…

Холодная речная вода стекала по моей груди и ногам. Девочка обвисла в руках смотрителя мертвым кроликом, глаза ее смотрели в пустоту, синие руки волочились по траве. Рыдающая мать гладила ее волосы, а смотритель принялся ритмично прижимать руки к груди. Он скоро устал и наклонился к ее бледным щекам, ловя дыхание, а потом снова принялся сгибать-разгибать руки, словно делал зарядку с куклой.

Потрясенная внезапностью трагедии Клео плакала в ладони. Я притянул ее голову к плечу. Чтобы не смотреть на ребенка, оглянулся на Виндзорскую дорогу — не едет ли «Скорая». Мимо пронесся автобус с туристами из Центральной Азии, но я слишком поздно сообразил, что при группе должен быть хоть один врач.

В пятидесяти футах по тропе к нам бодрым шагом приближался высокий мужчина в походных ботинках. На плечах он нес большой рюкзак, траву раздвигал голыми коленями. Меж-

ду теснившими лоб волосами и густой бородой виднелось узкое лицо с глазами, покрасневшими, может быть, от чтения в плохо освещенной палатке. Из кармана брезентовой рубахи торчал путеводитель по Итону и Виндзору, и мужчина, казалось, больше интересовался достопримечательностями Раннимида, чем трагедией на речном берегу.

Подойдя ближе, он увидел девочку. Никто не успел и слова сказать, как он спустил рюкзак на траву, попросил пожилую пару за ним присмотреть и вошел в круг зрителей. Не обращая внимания на всхлипывающую мать, он встал на колени и перенял ребенка у измученного смотрителя парковки.

Пальцы его задвигались, как пальцы фокусника. Он поднял девочку за плечи, так что голова откинулась назад, потом разжал ей зубы большим пальцем и ловким движением подцепил и вытащил что-то, застрявшее в горле. Одной рукой он придерживал ей ребра, другой нажал на диафрагму. Изо рта у девочки сразу хлынула вода. Тогда мужчина, заботливо огладив бороду, склонился и накрыл губами ее рот и нос. Он стал медленно и мощно дышать, прерываясь, чтобы понажимать ребенку на грудину. Он работал, а

тридцать человек молча стояли вокруг.

— Дышит!.. господи боже! — Клео ногтями впилась в ткань моей рубашки. Девочка закашлялась, подавилась и выплюнула воду из легких и гортани. Бородач внимательно наблюдал за ней покрасневшими глазами, потом сильными руками усадил и помог отдышаться. Девочка глотнула воздух, и взгляд ее сфокусировался на стоящих кругом людях. Она прислонилась к матери, стала кашлять, тереть нос и жадно всасывать воздух, давясь распухшим языком.

Две машины задом съехали к берегу; водители обсуждали, как быстрее добраться до виндзорской больницы — мать, с платья которой продолжала течь вода, понесла девочку к ближайшей. Клео улыбнулась мне сквозь слезы и расплывшуюся тушь. Все следили за ребенком, а я искал бородатого спасителя. Тот, убедившись, что ребенок удобно устроен в машине, выскользнул из толпы, забрал рюкзак и поблагодарил пару, которая переложила его на складной столик. Машины еще не выехали со стоянки, а он уже продолжал путь вдоль берега.

* * *

Через час мы обогнали его по дороге к Виндзору. Мне хотелось поблагодарить человека за всех, кто не успел того сделать, но оказалось трудно найти подходящие слова. Я направил катер ближе к берегу и сбавил скорость, чтобы идти вровень с ним. Мужчина в тяжелых башмаках шел по тропе, сверяясь с картой. На его брезентовой рубахе виднелось пятно засохшего мороженого, которое он выдавил у девочки из живота. Я догадывался, что это школьный учитель или спасатель, хотя с тем же успехом он мог быть карманником или отпущенным на день пациентом психиатрической больницы. Широкие лямки рюкзака врезались ему в плечи, но мужчина как будто не замечал тяжести. На рюкзаке сохла привязанная пара носков — до этого я их не видел. Видимо, мужчина выполоскал их в реке вскоре после спасения ребенка.

Клео помахала ему, и мужчина ответил дружелюбной, но короткой улыбкой, а потом ускорил шаг. Он наслаждался отпуском и предпочитал быть наедине с собой. Условный мир Клео — его голые колени, пятно от мороженого и его сохнущие носки — прошел мимо прогулочного катера

и дремлющих лебедей. Я хотел было спросить, кто он такой, но подумал, что, в сущности, и так знаю.

17
Выкуп за мечту

Гости в маскарадных костюмах собирались на совсем особый карнавал. Вдоль тихой Бэкингемширской улочки выстроились сотни экипажей. Пока я искал место для машины, меня обогнал студийный фургончик с двумя Мариями-Антуанеттами, пиратским капитаном и трио римских сенаторов. Нарумяненные щеки и накрашенные губы наводили на мысль о жертвах чумы на пути в лазарет.

Моя мечта о Шанхае, как все мечты, воплотилась самым неожиданным образом, среди внушительных домов, выстроенных вокруг Саннингдейлского поля для гольфа всего в пятнадцати минутах езды от Шеппертона. Я тридцать лет прожил у студии, но ни разу не вступал в ее огромные гулкие павильоны и оказался не подготовлен к масштабам крупного голливудского кинопроизводства. Джинн, соскочив со страниц моего романа, проворно превращал прошлое в

жизнь, причем с экстравагантностью, ничуть не уступавшей подлинному Шанхаю.

Город воспоминаний, улицы которого я рисовал в рамках печатных листов, материализовался сплавом реальности и гиперреализма. Память ушла в тень новой технологии исторической реконструкции, где прошлое, настоящее и будущее разбиралось на составные части и собиралось заново по прихоти режиссера.

Я выехал из Шеппертона в семь утра и ожидал застать в Саннингдейле маленькую группу подготовки. Особняк, арендованный кинокомпанией, должен был исполнять роль дома моего детства на Амхерст-авеню.

Бóльшую часть фильма уже отсняли в Шанхае, где уцелели не тронутые пришедшими в 1949 году коммунистами банки и отели Бунда. А вот особняки на Амхерст-авеню обветшали, будучи разделенными на тесные квартирки для больших китайских семей и маленькие конторы. В номере 31 по Амхерст-авеню теперь размещалось «Новое агентство китайского импорта и экспорта электроники». Дорожка к дому заросла, прогнившие оконные рамы подпирались бамбуковыми лесами, а над бассейном возвели крышу и превратили его в водонепроницаемый склад.

К счастью, приличная копия Амхерст-авеню нашлась под рукой, на другом конце света, в нескольких милях от Шеппертонской студии. Красивые каменно-деревянные дома постройки тридцатых годов стали образцом зданий для британских эмигрантов — такие же строили в пригородах Шанхая, где за тюдоровскими фасадами прятались американские интерьеры: ванные, кухни, кондиционеры воздуха.

Странновато было думать, что дом по соседству так правдоподобно изобразит дом моего детства — словно городки из долины Темзы влились в Большой Шанхай. Пристроившись за студийной машиной с костюмированными статистами, я осматривал знакомые высокие окна и отмечал, какой острый глаз у художественного директора. Он правдоподобно воссоздал экзотический город памяти из материалов слишком близких, чтобы я их заметил.

Вместо ожидаемой мной маленькой группки в этом тихом уголке Саннингдейла собралась целая эскадра машин. На первый взгляд все это напоминало эвакуацию Лондона — на окрестных полях стояли десятки трейлеров, огромные полотняные навесы протянулись над милями настилов, рядами выстроились двухэтажные автобусы,

автобусы-рестораны и туалетные вагончики, в холодном утреннем воздухе гудели генераторы, посылая ток в лабиринт проводов, тянувшихся на триста ярдов до съемочной площадки.

Я обнаружил, что кинокомпания арендовала не один, а целых четыре особняка, и в каждом нашелся фрагмент моего старого дома: один предоставил сухой плавательный бассейн, второй — прихожую и лужайку, где должен был разыгрываться костюмированный праздник накануне Перл-Харбора, а третий и четвертый воссоздали кухню, столовую и мою спальню. Позже в тот день, обходя съемочную площадку, я заглядывал в окна других особняков у гольф-клуба, гадая, какие еще кусочки моего детства прячутся среди столов для бриджа и бильярдных.

Я оставил машину на краю теннисного корта и стал смотреть, как разгружают реквизит тридцатых годов: китайские ширмы, лампы в стиле модерн, ковры из тигровых шкур и белые телефонные аппараты. Я знал, что весь технический персонал, от парикмахера, сделавшего мне соответствующий эпохе «затылок и виски покороче», до плотника, осветителей и костюмеров, трудился над созданием модели, более правдоподобной,

чем знакомый мне с детства оригинал.

Часы моей жизни описали полный круг и сошлись самым неожиданным образом. Режиссер любезно пригласил меня исполнить роль гостя на костюмированном празднике. Я принял предложение с благодарностью — и с нервозностью пассажира, получающего парашют на борту авиалайнера. Благонамеренный заговор уже пришел в движение.

Многие наши соседи годами подрабатывали на съемках и теперь нанялись играть интернированных в лагере Лунхуа. Не далее как вчера вечером, выходя из шеппертонского винного магазина, я услышал от матери школьной подружки Люси и Элис:

— Джим, я только сейчас узнала — мы с вами в одном лагере! И Тим Болтон там будет, и оба Стейси…

Не только эта женщина с дочерью, которой уже исполнилось двадцать пять, играли заключенных Лунхуа. Я готов был поверить, что вижу сон, и мое спящее сознание вербует в сюжет соседей по Шеппертону. Возвращаясь домой, я размышлял, не потому ли давным-давно поселился в Шеппертоне. Тридцать лет назад мы с Мириам выбрали этот городок наугад, но, может быть,

я уже тогда знал, что однажды напишу роман о Шанхае и его будут снимать на местной студии, пригласив в статисты моих соседей и преобразив соседние здания в дома на Амхерст-авеню? Нашими жизнями распоряжается глубокий смысл; случайностей не бывает.

— Джим, ты добрался! — Одна из помощниц американского режиссера махала мне сквозь поток входивших и выходивших электриков и осветителей. — Мы сомневались, выберешься ли.

— Разве я мог такое пропустить? Хотя позволю себе сказать, Кэти, ощущение довольно странное.

— Еще бы! Хорошо, что ты решил не летать с нами в Шанхай. Как дом?

— Невероятно! — Белые голуби, выпущенные во время вчерашней съемки детского праздника, еще бродили по газону, и охранник спугивал их, заставляя перелететь на крышу. — Надо было его купить еще тридцать лет назад.

— Тогда тебе не о чем было бы писать. И нас бы здесь не было… Снимать начинаем примерно через час, тебе надо переодеться. Костюмер ждет наверху.

— Мне нужна маска…

Я уже заметил, что трое сотрудников украдкой снимают наш разговор для документального фильма о съемках — фильм в фильме занимал свое место в зеркальном коридоре. То же ощущение иллюзии, запертой внутри иллюзии, преследовало меня, когда я вошел в большую спальню на первом этаже. Здесь переодевались исполнители главных ролей — веселая компания, знакомая по десяткам фильмов и телеспектаклей. Я же, наоборот, чувствовал себя самозванцем в красном мундире Джона Буля, цилиндре и жилете в цветах британского флага.

Позже, в длинной гостиной, открывавшейся в сад, я вместе с другим гостями занял место в виртуальной копии дома на Амхерст-авеню. На столике лежали «Таймс» и «Лайф», датированные декабрем 1941-го — за неделю до атаки японцев на Перл-Харбор, — и я все время ждал, что белый телефон зазвонит, предупреждая, что нам лучше отплыть на первом же пассажирском пароходе из Сингапура.

Я стоял со стаканом виски в руке и чувствовал себя непрошеным гостем, из тех, что пробирались иногда на приемы, которые устраивали мои родители: агенты Оси, разыгрывающие торговцев недвижимостью, профессиональные

бриджисты, увлекающиеся морфием, бывшие «хостесс» из ночных клубов, косящие глазом на шкатулку с драгоценностями матери — таких Мальчик номер Один и Мальчик номер Два твердо выпроваживали за дверь. Я ждал, что подойдут родители и, не узнав меня в этом карикатурном костюме, велят уйти.

— Здравствуйте… — Симпатичный двенадцатилетний мальчик — узколицый, со взрослым взглядом — стоял передо мной, одетый в турецкие туфли, полосатый жилет и брючки. Он уверенно представился:

— Я — вы…

И протянул руку, но я видел — мальчик не верит, что моя отяжелевшая фигура могла когда-то быть похожей на его.

— А мы — ваши мама и папа!

Меня со смехом приветствовала привлекательная пара, возрастом чуть за тридцать — он в костюме пирата, она — молочница. Пока мы разговаривали, лампы залили гостиную жарким сиянием. Сон собирался присниться самому себе. Съемочная группа готовилась снять панорамный вид праздника. Обсудив между собой угрозу войны, гости должны были распрощаться и выйти через прихожую на подъездную дорожку, где вто-

рая камера готовилась запечатлеть их отъезд.

Режиссер подошел сказать мне несколько дружеских слов.

— Все в порядке, Джим? — Он ободряюще кивнул. — Ты расслабься — руку на бедро… Как держать виски, ты, похоже, знаешь.

— Немножко практиковался — но не более того.

— Как насчет реплики в диалоге? Можешь выбрать прямо сейчас.

Я уставился на него — сейчас я и имени своего назвать бы не смог. Он потрепал меня по плечу и вернулся к монитору. Все смолкли, камера стала поворачиваться.

Мы в сопровождении камеры вышли в прихожую. Свет был направлен на дорожку и отражался от крыш ожидавших нас автомобилей. На причесанном граблями гравии стоял «бьюик» модели тридцатых, «паккард» с высокой крышей для моих родителей, черный гангстерский «крайслер» с откидными бортами и белыми дисками колес и «Линкольн Зефир» 1940-го. У машин выстроились китайцы-шоферы в довоенных шанхайских ливреях. Зажав фуражки под мышками, они открывали задние дверцы расходящимся гостям.

Озирая происходящее, я старался сосредото-

читься на камере и толпе зевак за воротами. Я забрался на заднее сиденье «паккарда», в последний момент вспомнив, что надо снять цилиндр. Актер, игравший моего шофера, закрыл дверцу и сел за руль. Пока машина проезжала по дорожке между гостями, я чувствовал, как меня уносит с этой тихой аллеи в другой мир и в другое время — в Шанхай полвека назад, к огням Бунда и универмагам на Нанкин-роуд, через Французскую концессию к трамвайному кольцу в конце авеню Жоффр, к блокпостам за колючей проволокой и западному предместью за ними, где в доме с островерхой крышей маленький англичанин играет немецкими игрушками и спугивает устроившегося на карнизе белого голубя.

* * *

Стюарды перед посадкой собирали стаканчики с остатками напитков, ловко пробираясь среди измученных двенадцатичасовым перелетом от Лондона пассажиров. Я сидел рядом с Клео в первом ряду, над нами была кабина «747», я через ее плечо смотрел на северо-восточные пригороды Лос-Анджелеса. По залитой солнцем земле тянулись забитые машинами автострады, и все накрывала желтая дымка, как будто из пустыни

испарялся песок.

— Бассейны, — показала мне Клео. — Тысячи бассейнов. Если прекратятся дожди, здесь люди выживут. Как ты себя чувствуешь?

— Отлично. Прихожу в себя. Как после передозировки амфетаминов.

— Ты и в самом деле перебрал. Не волнуйся, дня через три отпустит, когда все это кончится.

— Надеюсь. Далековато мы собрались в кино.

— Зато какое кино! — На самом деле ни она, ни я не видели фильма. — Жаль, что ты в маскарадном костюме — никто тебя не узнает.

— Роль далеко не главная.

— Чушь! Роль скромная, но значительная.

— Клео, меня вполне могли начисто вырезать.

— Еще чего! Как они могли? — фыркнула она, негодуя на одно только предположение. — Ты единственный, кто действительно там был.

— Не уверен. По-моему, актерам я представлялся лишним — единственным, кто не выглядел настоящим. Из них почти все побывали в Шанхае.

— Мог бы и ты с ними слетать.

— Знаю, но не решился. Еще не готов был снова со всем этим встретиться — я всю жизнь пытался расставить все по местам. Самый правильный

способ вернуться в Шанхай — в фильме. В каком-то смысле съемки начались пятьдесят лет назад.

Премьера должна была состояться через три дня в Вествудском кинотеатре. Я, застегнув ремень, ждал, пока самолет зайдет на круг над океаном и пронесется над ленивыми волнами. Несмотря на долгий перелет из Лондона, мне, что бы я ни говорил Клео, было удивительно легко и спокойно. Я смотрел на пустынные пляжи внизу, на одинокие пальмы на краю Тихого океана, которого не видел с 1946 года. Я никогда не бывал в Лос-Анджелесе, но представлялось правильным, что мое детство сойдется само с собой в этом городе среди пустынь, где безграничное воображение разрушало миф о прошлом и изобретало будущее.

Час спустя мы катили по шоссе Сан-Диего в машине киностудии и любовались видами Лос-Анджелеса — не знакомыми прежде, но узнаваемыми с первого взгляда. Тысячи фильмов и телесериалов инсталлировали этот город в наше сознание куда более аккуратно, чем Британский совет по туризму — пресловутые «медвежьи шапки» и жемчужный облик королевы. Чуть менее чем слишком крикливые бунгало и витрины тянулись на мили под сплетением проводов.

Кварталы легких домиков и вылинявшая на солнце краска создавали впечатление, что весь город — запылившаяся пленка, ожидающая восстановления, когда на нее выделят финансирование. Я влюбился в каждый дюйм города и сразу почувствовал себя дома.

Только когда мы свернули с шоссе на бульвар Санта-Моника, я заметил первое отклонение, звенящий диссонанс из другого уровня реальности. У дороги стоял рекламный щит величиной с теннисный корт — с рекламой фильма, ради которого мы прилетели, и под именами продюсера и режиссера значилось мое имя. На миг сон проснулся и окликнул спящего.

Такие же афиши высились над крышами даже над бульваром Сансет, где в голливудские грезы вмешался другой писатель, Джо Гиллис. В номере отеля я, включив телевизор, наткнулся на рекламу фильма: низко летели «Мустанги», снова горел Шанхай, японские солдаты маршировали по Бунду, а меня-мальчишку уносила обезумевшая толпа кули и клерков. Мы с Клео стояли на балконе, разглядывая рекламу над бульваром Уилшир. Прошлое сбежало из моей головы и карабкалось по крышам, как обреченное создание из сделанного в сороковых годах фильма о

чудовище.

К счастью, Клео тоже ощутила эту иронию.

— Как там Синдбад загонял джинна обратно в бутылку? Вспоминай!

— Кто ж его знает… Наверняка какой-нибудь коварной уловкой.

— Ты столько лет писал о медиаландшафте, а теперь он вырвался на волю и держит тебя на ладони.

— Завтра возьму напрокат машину. Поищем настоящий Лос-Анджелес.

— Проснись, милый! *Этот* и есть настоящий.

На следующее утро мы отправились в путь по таинственному городу. Целые кварталы стояли в густом солнечном свете подобно цельным фрагментам телеэпизодов — странно знакомые, как улицы детства, когда вернешься на них много лет спустя. Далеко не самый молодой, Лос-Анджелес был старейшим из городов двадцатого века, Троей коллективного воображения. Глубочайшие слои наших сновидений залегали под его заправочными станциями и автострадами.

* * *

Накануне премьеры, когда Клео уехала в гости к английским друзьям в Санта-Барбару, мне

позвонил портье. Меня хотела видеть миссис Вайнсток. Я решил, что это местная журналистка, и попросил направить ее в номер. Открыв через минуту дверь, я увидел красивую американку лет шестидесяти пяти, в потрясающей накидке из персидской шерсти и шелковой шляпке. Ее властный взгляд мгновенно ответил на вызов моего недоумения.

— Ты, Джим, был слишком занят, чтобы меня вспоминать?

Она шагнула вперед в бодрящей ауре духов и дорогих тканей, взяла меня за плечи и прижала лицом к своему гладкому плечу.

— Это же я, Ольга! Ольга Ульянова из Шанхая!

— Ольга?! — Меня теснила к телеэкрану гувернантка моего детства, материализовавшаяся в голливудских небесах подобно афишам и рекламе. — Ольга!.. Просто поверить не могу…

— Ты уж постарайся! — Она осмотрела номер, замечая каждую мелочь: висящие в спальне платья Клео, открытые чемоданы и фото с презентации. Пока она окинула меня взглядом, решив, что я не заслуживаю больше нескольких секунд осмотра, я вспоминал нервную молодую женщину, которую видел в ночном клубе «Дель Монте». Черты ее за эти годы почти не изменились, губы

остались такими же резкими, лихорадочные глаза взвешивали, как я одет, насколько уверен в себе, как вписался в реальный мир. Но на лице ее была причудливая маска, словно детские щеки, нос, подбородок крепились к вискам, а сквозь них проглядывали пронизывающие глаза и острые зубы старухи.

— Ты не изменился, Джеймс. Совсем. Все так же разъезжаешь на своем велосипеде. — Она понимающе улыбнулась, бросила накидку на кресло. — Теперь-то ты меня вспомнил?

— Ольга, да… Удивительно с тобой встретиться! Это студия устроила?

— Студия? Не все на свете — кино, Джеймс. Мы с дочерью гостим у старых друзей в Ван-Найс, вот я и подумала, не посмотреть ли, как там мой Джеймс.

— Очень рад, что подумала. А из Шанхая ты выбралась?

— Конечно! Как только ушли американцы. Поверь, Джеймс, я не создана для коммунизма. Живу в Сан-Франциско уже много лет…

— И замуж вышла?..

— За мистера Эдуарда Р. Вайнстока — он хирург-отоларинголог, очень влиятельный. — Она мрачно кивнула, наградив тенью одобрения

единственную нашу с Клео фотографию. — Да ты и сам почти доктор? Я читала интервью — не могу понять…

— Бросил, проучившись пару лет — решил стать писателем.

— Писателем? — Ее ноздри недоверчиво дрогнули, словно лишь пышность этого номера помешала ей осудить такой губительный для карьеры шаг. На Ольге было дорогое платье с блестящей нитью, подходящее для открытия казино в Лас-Вегасе, но я, когда она повернулась на острых как шпаги каблуках, поймал себя на том, что высматриваю предательский шрам под мышкой. Я помнил, как поразил мой ум подростка мимолетный взгляд на ее грудь. В Ольге, вопреки дорогой прическе и драгоценностям, осталось какая-то неряшливость, словно ее тело было одноразовым инструментом, который следовало выбросить после использования. Я вспомнил ее в послевоенном Шанхае — фляжка с водкой, дожидающаяся, пока ее подберет какой-нибудь американский рядовой.

— Так что фильм, Джеймс — хороший?

— Не сомневаюсь. Говорят, лучший. Я еще не смотрел.

— Не смотрел? — Это было серьезное упущение

— видимо, я должен был его исправить прежде, чем подписать контракт, а еще лучше — прежде, чем сесть за книгу. Она покачала головой, словно я был все тем же странноватым мальчиком, колесившим по Шанхаю в поисках войны. — Так или иначе, твоей карьере он на пользу. Ты вечно что-то сочинял. Твоя бедная мать не знала, чего и ждать в следующий раз…

— Я только одну эту книгу написал о Шанхае — почему-то долго не мог взяться.

— Слишком многое нужно забыть. Люди не понимают… Я такого могла бы рассказать о Шанхае! Нам бы с тобой написать книгу, Джеймс, выйдет настоящий бестселлер. Мои идеи с твоими…

— Хватит одной, Ольга. Может быть, напишу продолжение о своей жизни в Англии.

— В Англии? — Ольга недоверчиво понюхала рюмку со скотчем. — Это разве интересно? Я читала про твою жену — так грустно для тебя…

— Это было давно. Я приглашаю тебя пообедать, Ольга, и ты мне все расскажешь.

— Послушай, «давно» не бывает. Когда скончалась моя мать… — И, словно что-то припомнив, она добавила: — И мой второй муж умер. Английский дантист из Гонконга, если не ошибаюсь.

По пути к расположенному на крыше ресторану

Ольга взяла меня под руку жестом искреннего сочувствия, пробужденного в основном жалостью к себе. В ресторане, ощутив на себе внимание, она оживилась как девочка, хвастая гладкими щеками и аккуратным носиком. Та юная Ольга, которую я помнил, чье тело исподтишка разглядывал, когда она раздевалась в ванной, словно маячила сквозь годы, проглядывала сквозь эту немолодую, но все еще блестящую даму. Она, почти не переводя дыхания, болтала о жизни в Гонконге и Маниле — как пробивалась вверх по социальной лестнице, как мужья умирали под ней, будто кони под кавалеристами на Аустерлице.

Когда мы вернулись в номер, она сказала:

— Джеймс, твоей книгой в Сан-Франциско заинтересовались — здесь многие из Шанхая. Не мог бы ты выступить перед нами? Меня можешь назвать другом семьи… Скажем, из дипломатического корпуса.

— Ольга, я бы рад, но мне даже писать о Шанхае было достаточно трудно.

— Конечно. Понимаю, что ты чувствовал. Ты всегда был замкнутым, Джеймс. Никогда не рассказывал матери о вещицах, которые я брала — серебро, нефритовые лошадки… Мне всегда

хотелось тебя за это поблагодарить.

— Ольга, я и не знал.

— Может быть, забыл. У них было так много, а мои родители голодали. Отец совсем потерял надежду, сидя в той комнатушке. Повезло, что он умер до конца войны. Мать меня простила — женщины понимают, а вот отец бы никогда…

Ольга взяла меня под руку, меня оглушил запах ее волос, горла, грудей. Она стояла рядом, глядя на здания Беверли-Хиллз как на исчезнувшие фасады Амхерст-авеню. Я помнил: сорок лет назад ее сильное бедро прижималось к моему, когда мы стояли в осколках стекла среди ночного клуба «Дель Монте». В темные времена, учась в английской школе, я часто вспоминал Ольгу. Если бы я не так робел перед ней, мы бы занялись любовью на столе для рулетки — особенно если бы я предложил свести ее с отцом.

Я обнял эту экзотическую химеру, купившую мечту подтяжкой лица. Ее тело было еще старее моего, но лицо принадлежало все той же юной русской девушке, которая первой положила на меня глаз.

Она улыбнулась про себя, может быть, вспоминая какой-нибудь забавный случай в саду на Амхерст-авеню.

— А твоя подруга, Джеймс? — Она распустила мне галстук и ворот, прошлась ногтем по груди, проверив, на месте ли соски. — Она скоро вернется?

— Только завтра — уехала в Санта-Барбару к знакомым по издательству. Ольга, она тут ни при чем.

— По издательству… Тогда хорошо. — Она подняла ко мне лицо — маленький экран, на котором показывали образ юной женщины.

Я гадал, зачем ей вздумалось искать меня — может быть, из гордости, чтобы напомнить, что она и сейчас может распоряжаться моей жизнью. Ольга явно не считала делом чести отдать долг за украденные у моих родителей мелочи. Но она понимала, что мы с ней, каждый по-своему, жертвы власти Запада над Шанхаем — и эту власть воплощали для нее мои родители. Шанхай одновременно ранил и развращал нас, насколько можно развратить детей. А любовь с ней в этом калифорнийском отеле доказала бы обоим, что мы исцелились.

— Боже… Знаешь, Джеймс, я никогда не ждала мужчину долго. Это было бы для меня дурным примером…

Она взяла меня за запястье тем самым твердым

движением, которым полвека назад направляла в ванную. Встав у кровати, закрыла створку шкафа, чтобы мне на глаза не попалось отражение ее спины. И стала раздевать меня, словно собирая на праздник — ее пальцы, порхая вокруг тела, то и дело касались кожи.

Нарочно медля, она встала передо мной, разыгрывая строгую гувернантку, решающую, позволить ли подопечному какую-то мелкую вольность. Я поцеловал ее с любовью, радуясь, что она выжила и даже благополучно замужем за влиятельным врачом.

Фильм ее жизни отматывался назад, поглощая себя, словно в поисках выпавшего кадра, в котором содержался ключ к нашим прежним я.

* * *

В последние дни в Лос-Анджелесе, где мы прожили еще неделю после премьеры, было решено нанести прощальный визит океану. Дожидаясь машины, мы с Клео стояли у входа в отель, разглядывая черные небоскребы Сенчури-Сити. Эта кучка слепых башен торчала из широко и низко раскинувшегося города как острый обсидиановый Манхэттен.

Клео, глядя на бритвенные грани, содрогну-

лась.

— Неужели к следующему приезду здесь все таким будет? Упаси, Господи… На какие небеса ведут эти шпильки?

— На такие, куда попадать не хочется. Но признай, Клео, модернизм — готика информационного века. Мечты, которые ранят до крови — и никаких сомнений относительно низкого места человека в порядке вещей. Поехали на пляж…

А вот пляж Венис оказался тихим и утешительным. Здесь уцелели нетронутые фрагменты шестидесятых. Широкие пески тянулись под серферами и бодибилдерами, танцорами брейка и нищими, изображающими свихнувшихся на вьетнамской войне. На пляже горели костры из выброшенного морем дерева, в шалашах укрывались компании хиппи. Море казалось далеким — блеск волн вдоль горизонта, будто Тихий океан решил на денек отступить. Я готов был поверить, что мы стоим на дне доисторического моря с окаменевшими окурками, шариковыми ручками и жестянками от пива — зацементированными в культурный слой останками прежней расы.

Я охватил рукой талию Клео. Я был счастлив с ней и радовался, что мы вместе летим в Нью-Йорк. Премьера прошла с большим успехом, с

ненатужным голливудским профессионализмом — легко, как большая приятная галлюцинация: сотни лимузинов, вращающиеся прожекторы, перекрытые от машин улицы с ковровыми дорожками и телохранителями. Зрителей и актеров как будто на вечер выхватили из реальности, направив в ряды кинозала в соболиных накидках и с коробочками попкорна в руках.

Мою маленькую роль и в самом деле вырезали из окончательного варианта — к моему немалому облегчению, но все же мир ненадолго утратил для меня резкость при виде молодого меня с игрушечным самолетиком в руках. Это показалось справедливым: все, что остается в пространстве и времени от каждого из нас — такое вот размытое пятно. К тому же фильм сыграл для меня и более важную роль: взгляд на мастерскую копию Шанхая стал катарсисом, который готовился десятилетиями. Вся мощь современного кино собралась воедино ради этого терапевтического сеанса. Головоломка сошлась; зеркало, как я и ждал, разбилось изнутри. Образ слился в моем сознании с оригиналом и развернул его, прикрыв своим крылом. Глядя на неизменившиеся за полвека отели вдоль Бунда, я почти поверил, что мои шанхайские воспоминания — кинофильм,

бесконечно прокручивавшийся у меня в голове все послевоенные годы в Англии.

— Там корабль спускают на воду.

Клео кивнула на толпу, собравшуюся у берега. Гусеничный трактор задним ходом сползал по песку, волоча прицеп с причудливым парусным судном. Единственная мачта поднималась над каютой, похожей на тростниковую хижину. Подойдя ближе, мы увидели, что и корпус целиком сделан из стеблей папируса, стянутого на корме и на носу как горловина мешка для покупок.

На мачте красовался прямой парус с полузнакомой красной эмблемой.

Клео, остановившись, прищурилась из-под ладони.

— Это же папирусное судно Хейердала — «Ра»! Мы о нем книгу издавали.

— Я думал, он затонул в Атлантике.

— Как видно, решил переплыть Тихий океан. Джим, ты должен записаться в команду! Это оригинал плота, на котором добирались до Китая…

— Вряд ли оригинал.

Команда, стоя на коленях на мелководье, осматривала днище суденышка. Мы перешагнули детей и собак, игравших на песке вокруг трактора. Псевдопапирусная обшивка, спаянная из пласти-

ка и оргстекла, покрывала стальной корпус.

— Копия копии… — Клео рассмеялась над собой — так попасться! — Должно быть, фильм снимают.

— А с виду похоже на настоящий корабль. Для телерекламы им нужно судно с мореходными качествами получше, чем у хейердаловского оригинала. Этот куда-то поплывет.

— Сейчас, Джим, у тебя есть шанс попасть на борт.

Черный лабрадор выскочил из волны, облизал нам руки и отряхнулся, забрызгав с головы до ног. Я потрепал его по голове, восхищаясь спокойной сноровкой американской команды. Мужчина в плавках и соломенной шляпе снимал спуск судна на воду ручной видеокамерой. Этот кораблик, по крайней мере, не затонет, и пробное плавание среди прогулочных яхт Марина Дель Рей, возможно, откроет больше истин о команде и корабле, чем неудачное плавание оригинала через Атлантику.

Я вспомнил, как безмятежно уплывала через вестибюль Беверли-Хиллз Ольга. Как она, прощаясь, прижалась щекой к моей и как я в последний раз поцеловал лицо властительницы моего детства. Эта юная и лишенная возраста маска была

истинным лицом, украденным у нее временем — невинным, нетронутым морщинами лицом, которого ее лишили в юности.

Война задержала и мое детство — мне пришлось снова открывать его с Генри, Люси и Элис. Прошло время отчаянной борьбы: крушения машин, галлюциногены и причудливый секс были отброшены, как словарь слишком пышных метафор. Мириам и все, убитые мировой войной, заключили мир. Обретенное счастье ждало меня совсем рядом — рукой подать, в детях и любимых женщинах, и в друзьях, своими путями пробиравшихся через безумные годы.

Волна резко ударила нас по лодыжкам. Над пляжем пронесся сильный порыв ветра, и суденышко вырвалось из рук команды. С одним только неуклюже цепляющимся за мачту оператором оно уверенно пошло по волнам. Команда бросилась глубже, потянула за причальные концы, но не сумела удержать дерзкий кораблик. Пусть он был копией копии, но обладал плавучестью и запасом прочности, позволявшим выйти в море и проложить свой курс через Тихий океан, взяв в команду единственного *ошанхаевшегося* оператора и, быть может, победоносно закончив плавание на берегу Вусуна.

— Завтра в Нью-Йорк, а потом домой, к детям, — Клео крепко держала меня под руку. Мы возвращались к машине мимо хиппи и ароматных костров, рдевших углями в остывающем воздухе. — Скажи, а когда фильм будут показывать в Лондоне, вставят твой эпизод?

— Надеюсь, что нет. — Я смотрел, как папирусное суденышко взлетает на накатывавшие с океана волны, устремив нос к берегам Китая. — Только представь, Клео, куда это могло бы завести…

1991

Баллардовский подход
Уилл Селф

Почему многие, включая меня самого, считают Дж. Г. Балларда одним из самых заметных английских романистов второй половины двадцатого века? Его причудливые коктейли из сюрреализма двадцатых годов, научной фантастики шестидесятых и нынешней размеренной жизни на тихой окраине могут показаться не просто антиутопией, а самым настоящим извращением. Его проза то тяжело бьет в мозг, требуя признать ее грубую прозаичность, то вдруг расцветает образами нарочито материальными и в то же время до смешного мистическими — эрос и танатос, которые вместе поджариваются на газовом гриле до румяной корочки. И она, эта проза, дерзко и беспощадно, словно масс-спектрометр, разнимает европейское общество на атомы, чтобы все увидели, из чего оно состоит. Если любовь и ненависть, бушующие страсти и общепринятые ценности наводят на вас скуку — значит, вы настоящий баллардовский персонаж, ко всему равнодушный, живущий без цели.

Книги Балларда не назовешь приятными. Это не та литература, которую автор преподносит напыщенно и гордо, четко давая понять между строк, что он ужасно популярный и читаемый и все должны на него равняться. Балларда не читают ни в академиях, ни в книжных клубах. Его героям не нужно от читателя ни сочувствия, ни признания. Не имея никаких моральных устоев, они мрачно смотрят в неотвратимое будущее, и мы очень мало знаем о них помимо профессий и обрывков воспоминаний.

Баллард не получил значимых наград, но снискал широкую известность. Поклонники перед ним благоговели — возможно, это пошло от его научной фантастики, а те из нас, кому больше сорока, наверняка впервые прикоснулись к его творчеству именно с этой стороны. Но когда вышел фильм Стивена Спилберга «Империя Солнца», на тему чего сам Баллард сказал лишь «мои роялти теперь подросли с английского уровня до американского», у широкой общественности появились к нему претензии. А он жил себе в Шеппертоне, в домике на две семьи, размеренной жизнью отца-одиночки, а впоследствии и деда. И там, в этом уединении, писал свои почти пророческие манифесты современного

мира. Другие писатели предполагали, а Баллард предвидел. И, перефразируя название одного сборника своих рассказов, подарил нам наши собственные мифы недалекого будущего.

Посылы Балларда публике всегда были столь же противоречивы, сколь и поучительны. Он не отрицал порнографию и садомазохизм, не скрывал симпатии к типично американской браваде и горечи оттого, что гонка вооружений угасает. Когда в очередном выпуске «Книжного клуба», этого оплота ханжества на Радио 4, он рассказывал о детстве в Шанхае, о лагере для интернированных, то, ни секунды не колеблясь, признался перед всей английской аудиторией: «Я восхищался японскими солдатами. Бойцы, которые побеждают в войне, — что может сильнее притягивать мальчишечье сердце?»

Кто же он, злой сатирик или провидец? Непревзойденный британский насмешник, в глубине души мечтающий о мире?

Ясно одно: работы Балларда, его научно-фантастические химеры (попытки исследовать «внутреннее пространство», как он однажды их назвал), помогли ему пережить нападки и засилье авангардизма. Выстоять, когда все, что было ему близко, из контркультуры стало пре-

вращаться в товар массового потребления — и то если за него просили приятные глазу девяносто девять пенсов. Баллард предсказал, как именно погибнет Диана Спенсер («Автокатастрофа»), как общество придет в упадок в результате послевоенной городской планировки («Высотка»), какие последствия принесет глобальное потепление («Затонувший мир» и рассказ «Последний берег»). Слегка уходил в сюрреализм («Выставка жестокости» и «Алые Пески»), в красках живописал мир зрелищ («Фабрика грез Unlimited», «Привет, Америка»). Всем этим он подтверждал свой провидческий дар, демонстрировал талант летописца. И когда мы видим какое-то явление, будь то бредовые общественные идеи или безумный политический протест, то говорим: это по-баллардовски. Таким образом мы не только отдаем должное великому писателю, но и признаем грозную природу его дара. И теперь воистину пришло время подумать над тем, чтобы очередную странную засушливую весну или теплую зиму назвать попросту «баллардовской».

Впервые напечатано в журнале Prospect в 2003 году.

Худшее из времен
Джеймс Баллард, Дэнни Дензигер

Я появился на свет в 1930 году в Шанхае и все детство провел там вместе с родителями-англичанами. Войну я пережил в японском лагере для интернированных, о чем подробно рассказал в романе «Империя Солнца».

В Англии я оказался только в 1946 году. Отец остался в Шанхае, так что приехал я с матерью и младшей сестренкой. Помню, как стоял у борта бывшего военно-транспортного корабля, на котором мы плыли из Китая, и глядел, как он входит в Саутгемптонский порт. Помню свое потрясение: я был убежден, что мы приплыли не в ту страну.

Из своих детских книг я вынес совсем другой образ Англии. Она представлялась мне счастливым, залитым солнцем краем, где почти нет городов, а есть только бесконечные зеленые холмы, поля и заросшие плющом часовни. Краем, где почти все живут в достатке. А здесь все было какое-то серое, мрачное, холодное — совсем не такое, как в моих книгах. Никаких зеленых лугов под ясными небесами, как на полотнах Констеб-

ла. Только грязные серые переулки Саутгемптона да тяжело нависшие серые тучи. Даже солнце казалось сероватым, и постоянно шел дождь. Но я-то приехал из жаркой страны, где туч вообще не было, а субтропический ливень в Шанхае — это совсем не то же самое, что холодный дождь, донимавший Саутгемптон в 1946 году.

Шанхай представлял собой нечто среднее между Лас-Вегасом и Древним Римом. Его переполняли американские авто и американское безудержное веселье. А теперь я глядел с палубы корабля на совсем другую страну, такую бедную и суровую. До этого дня я ни разу не видел английских машин, и те, что стояли в порту, были похожи на самоходные тележки для угля.

В Саутгемптоне мы сели на поезд и отправились в Лондон. Я вспоминаю, как ехал по его улицам и глядел на разруху вокруг — целые районы бомбежками буквально сровняло с землей, отчего казалось, что весь город лежит в руинах. И люди были ему под стать: сломленные, уставшие, бледные и истощенные. Они выглядели так, словно пережили тяжелейшую оккупацию. Те, с кем мне довелось познакомиться, говорили так, словно победили в войне. А выглядели так, будто проиграли.

Из Лондона мы уехали в Бирмингем, к родителям матери. Там вообще не видно было солнца из-за клубов угольного дыма, изрыгаемых каждой трубой в городе. Люди не могли думать ни о чем, кроме крошечных порций сливочного масла и тушеного мяса, которые получали раз в неделю. После трех лет жизни в лагере для интернированных я переносил физические лишения спокойно, но душевное состояние англичан тревожило меня гораздо сильнее.

Спустя почти год у отца выдался короткий отпуск, он приехал из Шанхая, и весной сорок седьмого года мы отправились в небольшое путешествие на автомобиле по Франции и Италии. Я вспоминаю, как удивлялся изобилию, царившему во Франции: там продукты не выдавались по карточкам, а люди держались более уверенно, жили более яркой, счастливой жизнью.

Эти ранние годы в Англии стали для меня самыми психологически тяжелыми. Отношение соотечественников к остальному миру было за гранью моего понимания. Казалось, страна просто-напросто не осознает, в каком положении находится. Все поголовно до сих пор верили: Великобритания — грозная империя, которая продолжает властвовать над половиной ми-

ра, и поэтому должна иметь мощный военный контингент в любой точке земного шара. Даже и в шестидесятые возникали еще споры о том, должны ли мы разместить войска к востоку от Суэцкого канала.

В обществе царила вера в его стабильность и благополучие, а «Комедии Илинга» эту веру еще больше идеализировали. Меж тем в реальности общество резко раскололось на два лагеря: рабочий класс, то есть неимущих, и средний — не то чтобы «имущих», просто способных позволить себе чуть больше.

И вот их образ мыслей для меня был совершенно непостижим. Весь этот средний класс — мои родители, друзья, родственники, знакомые и иже с ними — прямо-таки исходил плохо скрываемой злобой на окружающий мир. Больше всего их возмущало послевоенное Лейбористское правительство. Бесполезно было говорить о достоинствах и недостатках Национальной службы здравоохранения, которая тогда как раз создавалась. Все напирали на то, что Лейбористское правительство захватило власть, что в страну пришли большевики и теперь отнимут у нас все, что еще осталось.

Это общество настойчиво сопротивлялось

любым переменам. Каждый отчаянно цеплялся за свой узкополосный приемник, где слушал национальное радио — «Хоум Сервис» и «Лайт Програм», основной целью которых было поддерживать в людях иллюзию, что они живут в великой стране.

Предпринимательская деятельность ни у кого не вызывала доверия. Очень трудно было уехать за границу больше чем на несколько дней: с собой разрешалось брать сумму до ста фунтов. Было впечатление, что мы живем в Восточной Европе. Я помню, как люди восприняли в штыки появление супермаркетов, как яростно защищали привычные лавчонки с заветренными ломтиками бекона и сыра, на которые мог чихнуть каждый прохожий. Как были недовольны появлением автомагистралей, и сколько споров было о том, нужно ли вообще строить М1. Свободу передвижений они, казалось, считали чем-то неправильным. Мол, добраться из пункта А в пункт Б максимально быстро — это как-то не по-нашему, не по-английски.

Из-за всего этого я чувствовал себя здесь совершенно чужим. Так и не смог полностью влиться в английскую жизнь вплоть до пятидесятых, когда женился, обзавелся детьми и начал наконец пус-

кать корни. Но теперь дети выросли — и странное дело, отчуждение снова возвращается.

Только в начале шестидесятых в этой стране начался хоть какой-то экономический подъем. Средний класс привык посмеиваться над рабочими, над их стиральными машинами и «Фордами Кортина», над индустрией промтоваров, направленной именно на них. Но на самом-то деле эти стиральные машины и подержанные «форды» как раз и принесли благие перемены. Формирование общества потребления, которое обеспечило в шестидесятые тот самый экономический всплеск, — лучшее, что могло случиться со страной. Это во многих смыслах освободило нас, помогло сломить классовые барьеры.

Англичане поистине восхищают меня — я считаю, это удивительный народ. Они раздражительны и сварливы, но вместе с тем беспристрастны в суждениях. В них очень силен гражданский дух, чувство ответственности друг за друга и редкая, на мой взгляд, склонность к доброте. Они с огромным уважением относятся к проявлениям и чудачествам личности.

Конечно, не хотелось бы все эти черты идеализировать — но они неотделимы от английской жизни и достойны восхищения. И безмерно жаль, что все эти прекрасные качества затянуты, как в смирительную рубашку, в классовую систему, которая мешает их выражению. И англичане цепляются за эту свою смирительную рубашку, они ее любят. Время от времени, правда, могут расстегнуть один-два ремешка и вдохнуть поглубже — но готовы в любой момент затянуть их снова.

Статья впервые опубликована в Independent в 1991 году.